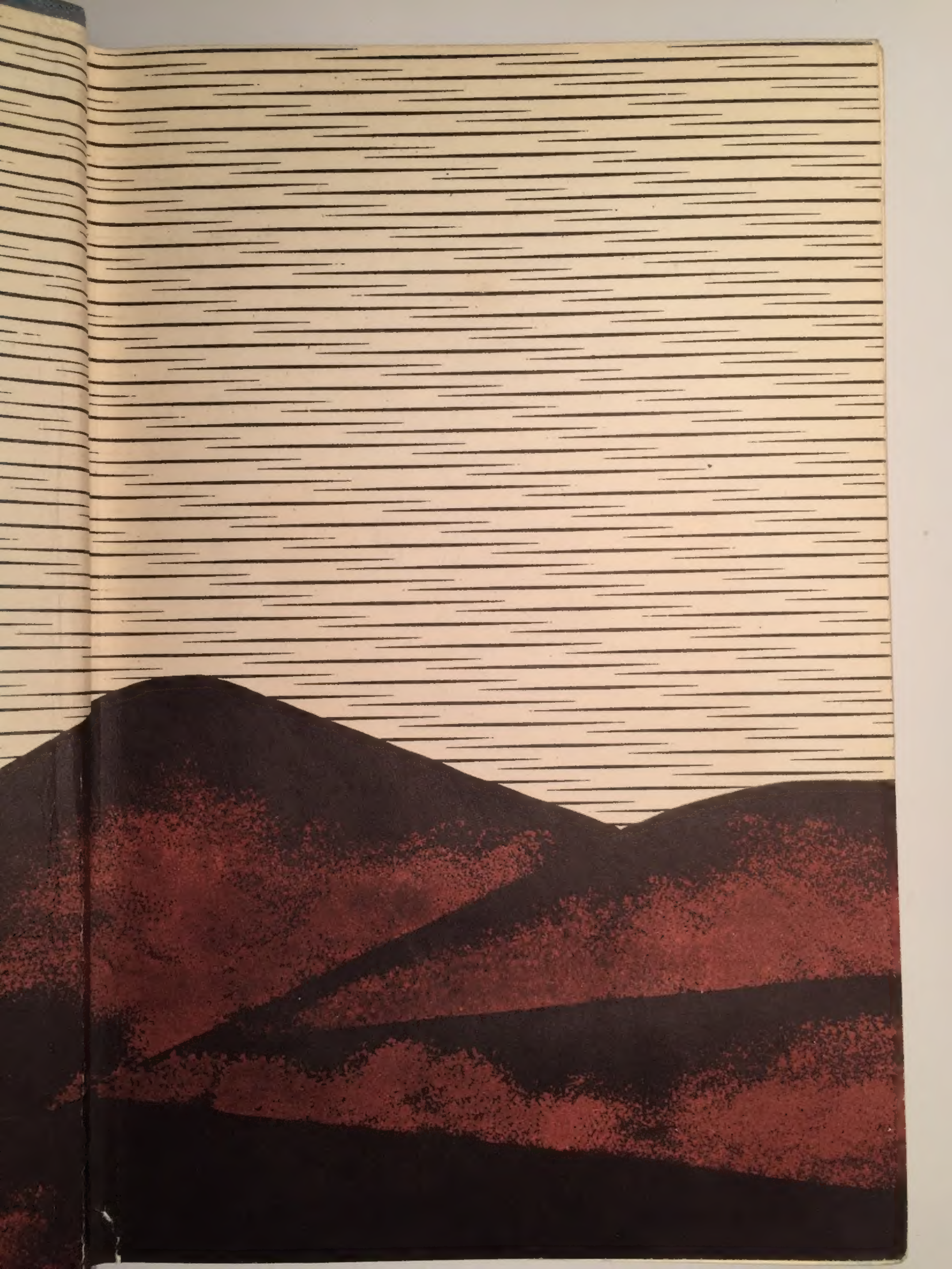
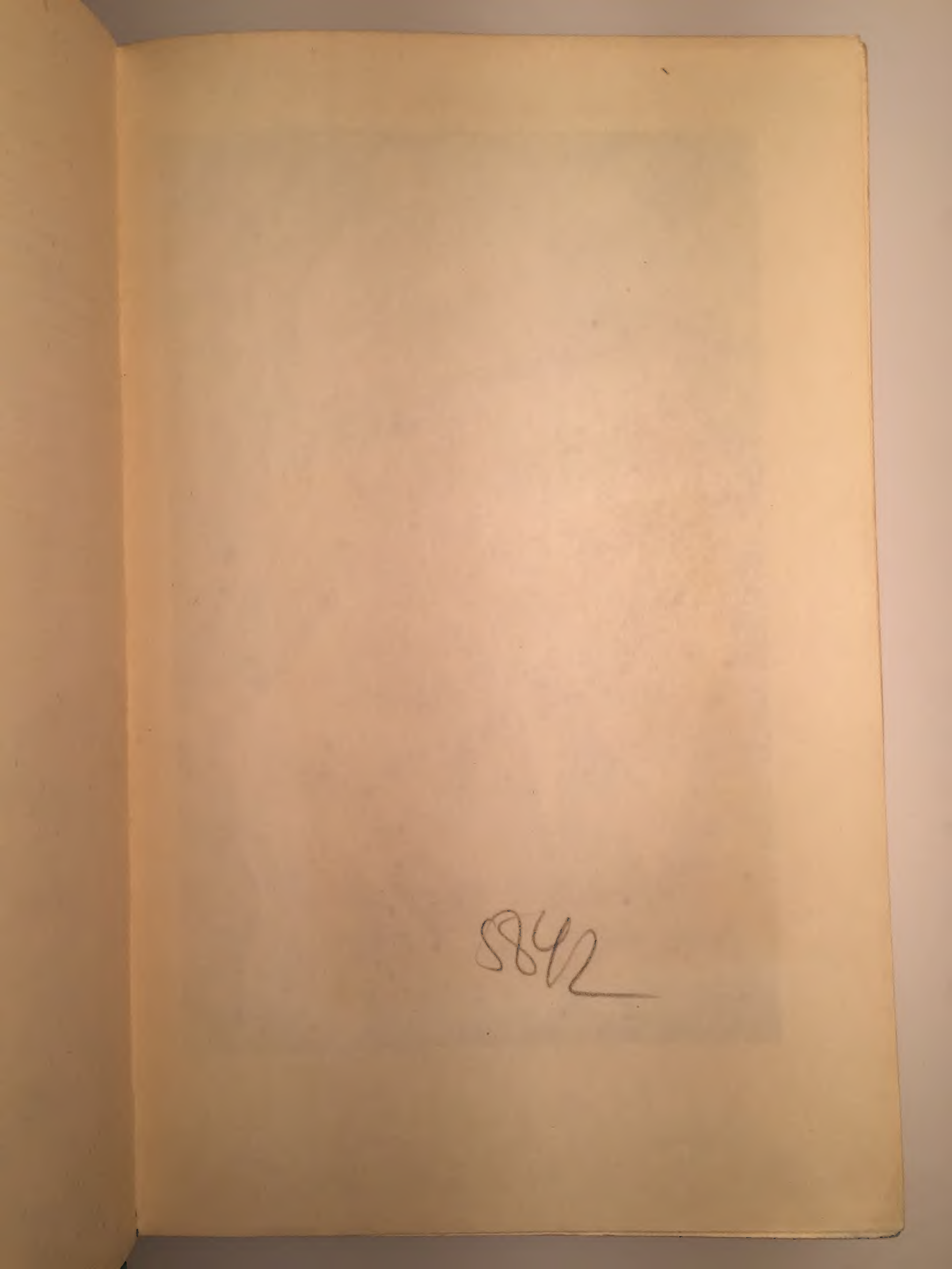
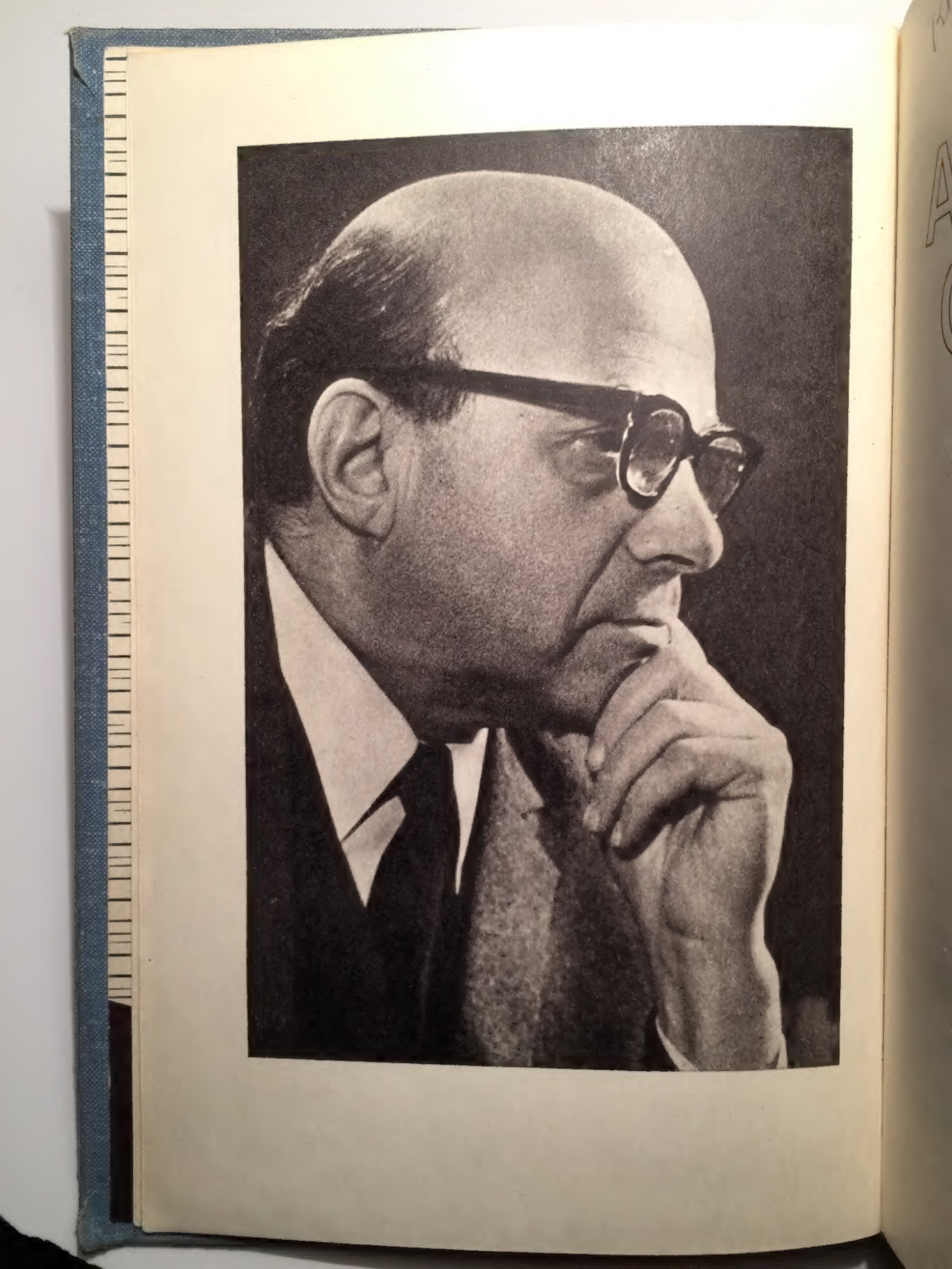
АРКАДИЙ САХНИН

Толпа одиноких







АРКАДИЙ САХНИН

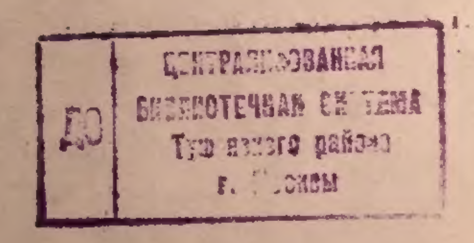
Толпа одиноких

РОМАН И ПОВЕСТИ

Избранные произведения на зарубежные темы

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Художник В. Терещенко



Сахнин А. Я.

С22 Толпа одиноких: Роман и повести/ Худож. В. Терещенко.— М.: Дет. лит., 1979.— 608 с., ил.

В пер.: 1 р. 50 к.

В книгу входят роман и повести. Роман «Тучи на рассвете» о жизни корейской крестьянской семьи написан в результате длительного пребывания автора в Северной и Южной Корее. Он посвящен освободительной миссии Советской Армии и борьбе корейского народа за независимость. Повести рассказывают о встречах писателя с нашими открытыми врагами на Западе.

С $\frac{70803-508}{М101(03)79}$ Без объявл. Р2

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Аркадий Яковлевич Сахнин

ТОЛПА ОДИНОКИХ

ИБ № 4467

Ответственный редактор *И. В. Пахомова.* Художественный редактор *Е. М. Ларская.* Технический редактор *Л. С. Степина.* Корректоры *Э. Л. Лофенфельд* и *А. П. Саркисян.* Сдано в набор 04.01.79. Подписано к печати 25.10.79. А13902. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 38,0. Уч.-изд. л. 39,81. Тираж 220 000 (100 001—220 000) экз. Заказ № 4126. Цена 1 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

НА ЛИНИИ ОГНЯ

Так я назвал десять лет назад предисловие к одной из книг Аркадия Сахнина. И с еще большим правом можно отнести это обобщение к его сегодняшней литературной деятельности. Он неизменно остается на передней линии идеологической борьбы, последовательно и настойчиво разоблачая наших идейных противников и предателей Родины, если для этого ему и приходится идти в их логова и гнездилища на Западе.

Как и должно подлинно художественным произведениям, его документальные повести и очерки несут в себе огромный эмоциональный заряд. Раскрываемые им разящие факты подрывной деятельности против мира не могут ни опровергнуть, ни замолчать и сторонники «героев» писателя.

Речь идет не только о систематических злобных выпадах против него антисоветской прессы. Поборников войны, схваченных, как говорится, за руку, не в силах «вызволить» даже их покровители.

Сошлюсь хотя бы на один пример. Проведя поистине исследовательскую работу, Сахнин выступил в центральной печати

с памфлетом, разоблачающим профессора Йельского университета (США) В. Самарина, как пособника гитлеровцев в годы войны и ярого врага мира, ныне выдающего себя за борца против фашизма. Памфлет был воспроизведен в печати США и Франции. Пришла в движение прогрессивно настроенная часть студенчества и профессуры университета. Несколько месяцев шла борьба за изгнание гитлеровского последыша, в которой участвовал и писатель. Студенческим организациям и руководству Йельского университета он дополнительно представил более двадцати документов, вроде «Клятвы на верность Адольфу Гитлеру», данную Самариным в 1943 году, и газеты, в которых он прославлял фашизм, измываясь над народами СССР и США. Кончилось это тем, что студенты отказались посещать его лекции. Как сообщило затем радио Би-би-си, «в результате бойкота вынужден был покинуть Йельский университет профессор Самарин». А. Сахнин, на мой взгляд, дал более точную формулировку, назвав второй свой очерк на эту тему: «Выгнали».

Подобные примеры, а их немало, и дают мне основание говорить об Аркадии Сахнине как о писателе-борце. Впрочем, еще до меня блестящий советский публицист Георгий Радов, характеризуя его как «человека с передовой», заметил: «Кольцовская работа!.. Сахнин — один из тех, кто в наши дни продолжает традиции писателя-большевика Михаила Кольцова».

Есть у А. Сахнина очерк «Глубина». Мне уже довелось однажды отметить, что это не только название великолепной документальной новеллы, но и ответ на вопрос о том, как, какими средствами достигает автор сильного эмоционального воздействия или, говоря словами того же Г. Радова, как добивается, что его «биотоки» нацелены в самое сердце читателя». Вывод один: глубоким проникновением в характеры людей, в истинный смысл человеческих отношений, своим умением увидеть подчас даже в трагических событиях повод для повествования оптимистического, вооружающего людей верой в победу добра над злом, радости над бедой.

Весьма оригинален и своеобразен и метод раскрытия характеров, что не раз отмечалось литературной критикой. О своих отрицательных персонажах Сахнин пишет, как бы находясь на их стороне, как бы оправдывая их поступки. А о героизме советских людей, о подвигах словно мимоходом, как бы о само собой разумеющемся, о чем вроде бы и говорить-то не стоит. Но вот чудо литературы. Чем с большим пониманием пишет он об отрицательных героях, тем отвратительнее они нам представляются. И чем бесстрастнее сообщает о подвигах, тем

грандиознее они выглядят. А это уже мастерство. Мастерство писателя, проникающего в самые тайные глубины характера.

Еще одно замечательное качество писателя — знание жизни. И тут снова приходит на ум глубина, ибо знание это многостороннее и глубокое. Он работал слесарем депо, водил поезда, имеет богатейший журналистский опыт, всю войну был на фронте. Не в качестве туриста исколесил свою Родину, а затем и многие зарубежные страны Поехал в Ташкент, когда только началось землетрясение, на целину — когда жили еще в палатках, в Курск — как только закончилось знаменитое разминирование, о чем страна и узнала из его очерка.

А. Сахнин пишет только о том, что сам видел, хорошо изучил, что сам пережил. Чтобы написать о водолазе лауреате Государственной премии, сам, надев скафандр, спускался с ним на морское дно, наблюдая, как тот работает. Книга о советских моряках — это результат нескольких рейсов дальнего плавания, которые совершил писатель. Книга о людях военно-морского флота родилась после нескольких его походов на подводных лодках и «морских охотниках». Материалы для очерков о предателях Родины также черпает из первоисточников, встречаясь с ними, как я уже говорил, в их гнездилищах на Западе. А для этого, должен отметить, надо обладать еще и личным мужеством, в чем никак не откажешь писателю, который ради только одного очерка ходил в 1942 году в тыл врага в составе миннодиверсионной группы.

Аркадий Сахнин был редактором дивизионной газеты в соединении, одно название которого показывает, сколь прославленный путь оно прошло: «Третья гвардейская артиллерийская Витебско-Хинганская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Резерва Главного Командования». Переброшенная с Запада на Восток, форсировав Большой Хинган, дивизия сыграла немалую роль в освобождении Маньчжурии и Кореи. Живым свидетелем и участником событий был и майор Сахнин. Вот почему так ярко и убедительно показал он в своем романе «Тучи на рассвете» освободительную миссию Советской Армии на Востоке.

Еще более трех лет после войны писатель оставался в рядах Советской Армии. Сначала работая в гражданской администрации в Пхеньяне, затем в советско-американской комиссии по Корее в Сеуле, он сумел накопить богатейший материал об этой стране. За три года изучил нравы, обычаи, древнюю культуру, экономику, весь образ жизни свободолюбивого корейского народа. На его глазах шло возрождение северной части полуострова и новое закабаление Южной Кореи американским империализмом. И эти процессы ярко и талантливо отображены

в романе. И не случайно почти одновременно, в течение одного года, роман был опубликован в журнале «Знамя», в «Роман-газете» и вышел отдельным изданием.

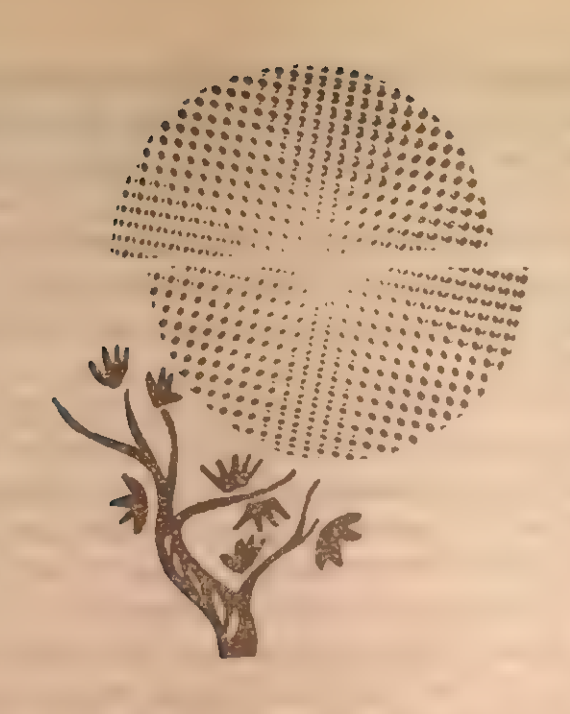
Известный литературовед и критик Л. Скорино в обширном исследовании, опубликованном в «Новом мире» в 1954 году, писала:

«Роман А. Сахнина «Тучи на рассвете», посвященный изображению жизни и борьбы корейского народа, произведение зрелое, написанное уверенной рукой, активным свидетелем и участником великих событий. Богатые жизненные наблюдения, то, что Бажов называл «своеглазным знанием», легли в основу романа. Судьбы главных персонажей романа позволяют А. Сахнину показать в разрезе все слои населения Кореи... Его глубокое сострадание к порабощенным труженикам, его несокрушимая уверенность в праве каждого народа на счастье и порождают тот драматический лиризм, который характеризует лучшие страницы романа, ту взволнованность, с какой обрисованы основные образы книги... В сложном переплетении судеб героев, в неумолимой закономерности развития событий читателю раскрывается все историческое значение освободительного подвига советского народа».

И каждый, кто прочтет роман, убедится в справедливости и точности этих высоких оценок. Потому и переиздавался он много раз, потому и выходил в других странах, потому и обеспечена ему долгая жизнь. Поставленные в нем проблемы столь же актуальны сегодня, как и 25 лет назад, когда роман впервые увидел свет.

Высокой гражданственностью проникнут этот сборник, как и все творчество писателя. Он дарит юным не только увлекательное чтение, но и побуждает к серьезным, волнующим раздумьям о долге человеческом, о путях мужества, бескорыстия, верности. О путях, которыми мечтают идти в будущее те, у кого сейчас в руках эта книга...

Сергей Михалков.
Герой Социалистического Труда



ТУЧИ НА РАССВЕТЕ

Часть первая

●

ДЕРЕВЯННАЯ РУКА

В тот день, когда Мен Хи появилась в помещичьем доме, Тхя еще раз убедился, что не надо забивать себе голову мыслями о новой женитьбе. Отец сам обо всем подумал и привел ему женщину. Непонятно только, почему нельзя сразу жениться — ведь ей уже исполнилось одиннадцать лет. Но и об этом можно не думать. Торопиться ему некуда, во дворе достаточно молодых батрачек.

Ли Тхя, сыну корейского помещика Ли Ду Хана, было тридцать восемь лет. И с каждым годом своей жизни Тхя все больше убеждался, что он прав: утруждать себя умственной работой ни к чему. И действительно, чем меньше он думал и прилагал стараний что-либо сделать, тем меньше отец возлагал на него дел, пока совсем не махнул на Тхя рукой. И ничего, всегда так получалось, что находился человек, который за него подумает,— глядишь, все решается наилучшим образом.

Тхя очень не любил думать. Но это не значит, будто у него совсем не было никаких мыслей. Он просто был убежден, что мысли не должны обременять голову. Пришла какая-нибудь мысль — и тут же ушла. Вот и хорошо. Главное, чтобы

мысли не вызывали необходимости куда-то идти, что-то делать, разговаривать с людьми, упаси бог, спорить с ними. Вообще разговаривал он только в случаях самой крайней необходимости.

Но бывало и так, что какая-нибудь идея овладевала сознанием Тхя на целую неделю. Так получилось, когда он сделал свое знаменитое открытие относительно тепла и холода. Вот как это произошло.

Тхя очень любил спать в тепле, особенно зимой. Но он не мог, как свинья, лечь где попало. Он долго выбирал уголок в своей спальне, раздумывая, как бы устроиться поудобнее. Обеими ладонями ощупывал, достаточно ли прогрелся пол, не осел ли он над дымоходами, хорошо ли натерт верхний его слой из плотной промасленной бумаги.

Облюбовав место, Тхя расстилал тонкое стеганое одеяло, клал под голову валик, заполненный отрубями, доставал из стенного шкафа деревянную кисть руки на короткой бамбуковой палке и ложился.

Такие минуты он считал самыми блаженными в своей жизни. Тепло от пола растекалось по телу, Тхя сладостно ежился и жмурил глаза, подкладывал под щеку ладонь, чесал деревянной рукой спину и наконец засыпал.

И вот однажды, выбирая место для постели, Тхя вдруг осознал, что пол нагрет не везде одинаково. Нельзя сказать, что в одном углу он был холодным, а в другом — горячим. Но все-таки степень нагретости в разных местах оказалась различной, и теплота шла по полу как бы полосами, от одной стены к другой. И вот тут-то задумался Тхя: почему так получается?

Эта мысль не оставляла его целую неделю, пока он наконец не сделал своего открытия. Он пришел к твердому выводу, что двенадцать дымоходов, идущих под полом, нагревают его неравномерно. Участки пола, находящиеся непосредственно над дымоходами, оказались теплее других.

Тхя был очень горд своим открытием. Его особенно радовало, что он довел начатое дело до конца, докопался до сути вопроса. И главное, до всего дошел сам, без всякой посторонней помощи. Отец часто упрекал его, будто он не заканчивает начатых дел. Разве он не доказал сейчас обратное? На радостях Тхя побежал к отцу и обо всем рассказал ему. Но тот покачал головой и грустно заметил:

— Ну что с дурака взять...

Такие слова обидели Тхя. Хотя он часто слышал их, но на этот раз они показались ему несправедливыми. Ему было обидно за отца, который не смог оценить такого открытия.

«Конечно,— размышлял Тхя,— есть, наверно, люди и поумнее меня, придумал же, например, кто-то такую великолепную вещь, как деревянная рука для чесания спины».

Раньше Тхя, как и другие помещики, пользовался чесалкой из кукурузы. Он сам выбирал большой початок, хорошо просушивал его, вылущивал, снова сушил и, наконец, насаживал на палку. Как приятно было чесать спину колючим початком! Но разве можно сравнить эту самодельную чесалку с деревянной рукой, которую он недавно раздобыл? Кисть и расставленные пальцы полусогнуты, и хотя рука вдвое меньше человеческой, но ею можно легко достать до любого места на спине и чесать сколько угодно.

Ну что бы стали делать люди без такой руки? В самом деле, чем почесать под лопаткой? Тхя не мог себе представить, как можно жить без деревянной руки, и был искренне благодарен человеку, который изобрел ее.

А делал руку искусный мастер. Отчетливо выделялась каждая тончайшая линия на ладони, каждая жилка, и кажется, видно было, как пульсирует в ней кровь. Ногти трудно отличить от настоящих, настолько умело они отшлифованы и так правильно подобран лак.

Тхя постоянно находил все новые и новые достоинства в деревянной руке. Оказывается, ею удобно, не нагибаясь, чесать колено и даже икры... Но все же самое приятное — это чесать спину. Жаль только, что его собственные руки устают. Если бы деревянная рука еще сама двигалась по спине и знала бы, где надо чесать сильнее, а какие места пропускать, вот жизнь настала бы! Но так, наверно, бывает только у хозяина рая — Окхвансанде.

Когда Тхя узнал о приходе Мен Хи, ему захотелось взглянуть на невесту. Но он тут же отказался от этого намерения: ведь она только женщина, еще подумает, будто ему интересно смотреть на нее. Зато восьмидесятилетний дед Тхя видел ее и очень сердился.

— Зачем ты привел в дом красивую женщину? — кричал он на своего сына Ли Ду Хана.— Нам нужны женщины, которые думают о работе, а не о красоте лица. Зачем ты привел эту нищенку?

Больше старик ничего не успел сказать, потому что сильно закашлялся.

Жена помещика Ли Ду Хана — Пок Суль с трудом его успокоила.

— Не волнуйтесь, отец,— сказала она.— Мы не станем приучать ее к нарядам, она будет работать, как полагается в порядочном доме.

— Ты права, мать,— лениво заметил Тхя.— Нельзя допускать, чтобы женщина привыкала к расточительности.

— А ты не вмешивайся не в свое дело!— оборвал его дед.

Тхя отошел в сторону. И в самом деле, зачем ему ломать голову, когда в доме столько людей?

А дед долго ходил по всем комнатам, стучал палкой о циновки и кричал:

— Я все равно выгоню эту девку! Пусть уходит! Нам не нужны красивые нищенки. Сын помещика должен жениться на дочери помещика, а не на батрачке!

Ли Ду Хан не перечил старику. Упреки выслушивал почтительно и молча. У него были свои виды на Мен Хи, о которых он не мог сказать даже родному отцу.

Утром Тхя все же решил посмотреть на Мен Хи. Он нашел ее на скотном дворе. Вместе со старой батрачкой она перетаскивала из хлева навоз.

Тхя появился во дворе, и у него было такое лицо, будто он и сам удивлен, что забрел сюда. Он рассеянно посмотрел вокруг и направился к амбару. Шел медленно, лениво переставляя босые ноги, вдавливая в жидкую грязь незавязанные штрипки своих широких белых штанов. Из-под распахнутого халата виднелись болтавшиеся на кушаке кисет, веер и чесалка.

Не доходя до амбара, Тхя вдруг увидел перед собой большую кучу навоза, которой раньше здесь не было. Он беспомощно посмотрел на это неожиданное препятствие, повернул в сторону и направился к арбе, стоявшей в дальнем конце двора. Дойдя до нее, потряс плетенные из камыша борта, покачал головой и, видя, что за ним наблюдают батрачки, озабоченно произнес:

— Совсем развалили хозяйство, пора браться самому за дело...

Потом обратился к Мен Хи:

— Женщина, иди сюда,— и зевнул, чтобы она не подумала, будто он интересуется ею.

Мен Хи не успела еще подойти к нему, как в воротах появилась Пок Суль.

— Это еще что такое! — закричала она.— Вместо того чтобы работать, целый день языком чешешь! Хорошую же невестку мне бог послал!..

Мен Хи молча пошла в хлев.

— Ты куда бежишь? — снова набросилась на нее Пок Суль.— Чем бегать взад-вперед да чесать языком, вымыла бы ноги своему хозяину. Видишь, стоит по колено в грязи.

Иди же! — крикнула она остановившейся Мен Хи.— Возьми таз, там возле кухни.

Тхя очень не хотелось мыть ноги, но ослушаться матери он не посмел и нехотя потащился к себе.

Когда Мен Хи внесла в комнату таз с водой, Тхя занимался своим любимым делом: бил мух. Это занятие всегда доставляло ему наслаждение. В руке он держал мухобойку, какую можно найти у любого лавочника,— резиновую рамку величиной с ладонь, затянутую сеткой из конского волоса и прикрепленную к бамбуковой трости. Заметив на стене муху, Тхя подкрадывался к ней, ударял мухобойкой — и насекомое падало на пол.

Проделывал это Тхя сосредоточенно и с полным знанием дела. Почти не было случая, чтобы он промахнулся, и каждая новая жертва наполняла его сердце гордостью.

Но вот с некоторых пор любимое занятие Тхя, которому он отдавался самозабвенно и уделял почти все свободное от сна и еды время, начало доставлять ему немалые огорчения, а главное, потребовало большого умственного напряжения.

Тхя заметил, что, как бы сильно он ни ударял по мухе, она падала, но не раздавливалась на стене. Это и начало раздражать Тхя. Он бил изо всех сил, доходил до исступления, а результат оставался тот же: мертвая муха падала на пол, не оставляя никакого следа на стене.

Когда вошла Мен Хи, Тхя не обратил на нее внимания: настолько был увлечен своей охотой. Мен Хи не сразу поняла, в чем дело, и испуганно смотрела на Тхя, застывшего в воинственной позе. Потом ей стало смешно, и она с трудом сдержалась, чтобы не засмеяться. Какие странные бывают люди! Взрослый человек — и так ведет себя!

Тхя бил мух до тех пор, пока в изнеможении не опустился на пол. Казалось, только сейчас заметил Мен Хи.

— Почему же ты не моешь мне ноги? — капризно спросил Тхя.

Он сам засучил штаны, поставил ноги в таз и потянулся за чесалкой.

Пока Мен Хи мыла ему ноги, Тхя чесал спину и зевал. Каждый зевок был таким долгим, что он успевал, не закрывая рта, трижды вдохнуть и выдохнуть воздух.

Потом она вытерла ему ноги чистой тряпкой и, взяв таз, собралась уйти. Но тут Тхя посетила новая мысль: почему он должен сам работать чесалкой? Пусть это делает женщина...

Мен Хи терпеливо чесала ему спину, а он зевал. И вдруг

ей захотелось ударить чесалкой по этой запрокинутой в истоме голове. Ведь так просто. Изо всех сил ударить деревянной рукой по лысеющей макушке — и сразу все кончится.

Но тут пришла Пок Суль и велела Мен Хи отправиться ко второй жене Ли Ду Хана и помочь ей по хозяйству, потому что Ли собирается сегодня там ужинать и ночевать.

Мен Хи долго провозилась с уборкой, но не смогла угодить молодой жене Ли, и та прогнала ее. Как только девочка снова появилась во дворе, на нее набросилась Пок Суль.

За это время, кричала она, можно было управиться с хозяйством всех трех жен ее мужа!

Как же попала в богатый дом маленькая Мен Хи, дочь разорившегося крестьянина? Что надо от нее помещику Ли Ду Хану?

ТАЙНА ДРАКОНА

Ли Ду Хан мечтал о золоте. Разве это богатство — пятьдесят тенбо[1] земли! Даже те японские помещики, что живут в деревнях, имеют по триста тенбо.

А Ли Ду Хан должен жить не хуже, чем японский помещик Кураме из соседнего уезда. Тому удалось скупить самые лучшие земли, лесные угодья и пастбища. Пятьдесят тенбо он засевает маком и получает от опиума огромные барыши. Кураме построил себе большую плотину и орошает посевы. Химические удобрения возит со станции на собственной машине. А что Ли Ду Хан? Разве у него настоящее хозяйство? Но он добьется своего, и у него будет золота не меньше, чем у японца.

Ли так привык мечтать о золоте, что эти мечты стали у него как бы родом занятий. Он не любил думать о богатстве между прочим, мимоходом. Если подобные мысли посещали его во время разговора с управляющим или среди хлопот по имению, Ли старался отбросить их, предвкушая удовольствие вволю помечтать, когда кончит дело. Зато после обеда он шел на парадный двор, весь заросший вьющимися растениями, ложился на циновку под деревом-беседкой и начинал мечтать.

Он обязательно найдет золото, и не просто какой-нибудь самородок, а целую скалу, золотую гору. Или вдруг перед его глазами открывалась огромная, до самого горизонта, огненная от мелких красненьких лепестков поляна. Это ди-

---

[1] Тенбо — мера площади, равная 0,99 га.

корастущий женьшень. Сколько здесь может быть корней? Надо, чтобы не меньше тысячи и в каждом корне сто граммов. За грамм женьшеня платят теперь десять граммов золота.

— А что лучше: поляна женьшеня или золотая скала? А почему что-нибудь одно? Пусть в конце поляны женьшеня стоит гора из золота. Или нет, пусть вся поляна будет окружена золотыми горами.

Ли сжился со своими мечтами, и его все больше начинало раздражать отсутствие этого сказочного богатства. И когда узнал, что его хочет повидать тоин[1], он заволновался.

Обычно тоин предсказывал, хороший будет урожай или плохой, ждать дождей или засухи, в общем, говорил о делах, интересующих сельских жителей, и платили ему тем больше, чем больше радостей он обещал.

Часто его благие прорицания не сбывались, и тогда он говорил, будто люди разгневали богов. Когда не оправдывались его дурные предсказания, он объяснял, что много добрых дел совершили крестьяне и боги смилостивились. Но если ему случалось угадать, каким будет лето, вера в тоина укреплялась надолго.

В ту весну он угадал: хлынут ливни. Ли Ду Хан заблаговременно оградил свои посевы от горных потоков и хорошо оплатил труды тоина. Но тот решил, пока слава ему не изменила, урвать еще кое-что.

И случай вскоре представился.

Помещик Ли Ду Хан застал тоина в глубокой задумчивости. Старец сидел на плоской подушке, поджав под себя ноги, и широкие рукава черного шелкового халата совсем закрывали его руки. На голове поверх длинных седых волос возвышалась прозрачная сетчатая шапочка из черного конского волоса, очень похожая на перевернутый чугунок. Перед ним на циновках лежали три раскрытые книги. Их страницы, истертые и пожелтевшие от времени, были густо усеяны рисунками и мельчайшими иероглифами, написанными тушью. С обеих сторон громоздились стопы таких же тяжелых книг. В высоком бамбуковом подсвечнике, который стоял тут же на полу, тускло горела тонкая свеча.

Маленькие оконца были плотно затянуты циновками, а поверх них завешены темными атласными шторами. И хотя на дворе стоял ясный день, в комнате царил полумрак.

---

[1] Тоин — предсказатель.

В углу возвышался огромный, уродливый и непомерно тучный бог довольства, сделанный из красной меди. Его заплывшие жиром щеки сливались с шеей, а тело походило на большой мешок, из-под которого виднелись крошечные ножки. В тусклом дрожащем свете взгляд бога довольства казался загадочным и зловещим.

По обе стороны от большого бога стояли маленькие. Их было много, и у каждого свое назначение, свое, не похожее на других уродцев, лицо и тело.

Здесь собрались боги, ведающие всеми делами на земле. Вот натягивает лук грозный и неумолимый бог войны. Рядом — бог любви и дружбы. А за ним выстроились боги мести и урожая. Тут же хозяин рая Оквансанде и его помощники. Напротив — бог долголетия и счастья, добродушный, улыбающийся старик, с длинной широкой бородой. В правой руке у него посох, в левой персик — символ долголетия.

Богиня веселья стоит в стороне от всех богов, с полуоткрытым ртом и трепетными ноздрями. Бог грома колотит двумя молотками в огромный барабан.

Среди богов затерялся медный укротитель змей. Он загоняет в кувшин змею, и та пятится в сосуд, выбросив вперед раздвоенное жало, со страхом глядя на маленькую, но обладающую магической силой палочку укротителя. Впереди всех изготовился к прыжку лев — собака Будды. Его квадратная пасть с острыми клыками раскрыта, а пышный, совсем не львиный хвост гордо поднят.

Вокруг богов на полу разместились фантастические животные, символизирующие богатство, великодушие, доброту, силу. Извивающийся дракон с телом не то ящерицы, не то змеи, с когтями на лапах и крыльями летучей мыши, с плоским, как нож, хвостом и звериной головой, казалось, метал искры из больших ноздрей и горящих навыкате глаз.

Ли никогда не был в этом святилище, не видел такого скопления богов и священных зверей. В полумраке комнаты ему казалось, что и божества и звери движутся, перешептываются, о чем-то советуются.

Лицо тоина неподвижно, будто он окаменел. Отсутствующий, невидящий взгляд устремлен ввысь, тень от жидкой длинной бороды падает на стену.

Низко кланяясь богам и тоину, Ли Ду Хан робко вошел в комнату. Хозяин ответил медленным поклоном, молча указал глазами на циновку и снова устремил взор вверх.

Ли беззвучно опустился на пол там, где остановился. Тоин наклонил голову, глаза его закрылись, и только по едва

уловимому движению губ можно было догадаться, что он продолжает прерванную беседу с небожителями.

Несколько минут просидел так тоин, и душа Ли все больше наполнялась непонятным чувством. Может, и в самом деле этот колдун переносится в иной мир, недоступный людям?

Медленно и торжественно заговорил тоин:

— В ночь перед новолунием я видел того дракона, что прилетал весной и предупредил о ливнях. Он вымолвил три небесных слова и растаял, оставив облако голубого дыма.

Старец умолк и глубоко вздохнул. Потом положил ладони на раскрытую книгу и снова заговорил:

— Шесть ночей я сидел над книгами, разгадывая эти слова, и вчера открылась их великая тайна. Дракон поведал мне, как может человек, у которого есть сын, получить большое богатство.

При этих словах глаза у Ли Ду Хана вдруг забегали, он заерзал на месте и всем корпусом подался вперед, готовый впитать в себя каждое слово.

Но тоин медлил. Тяжело опустились его веки, и он умолк. Тогда Ли отвязал от кушака спрятанный в шароварах кисет с деньгами и торжественно положил его у ног бога довольства.

— Ты щедр, Ли,— заговорил наконец старик.— У тебя доброе сердце и достойный сын. Я решил поведать тебе тайну дракона.

— О великодушный тоин, ты спас мои посевы, а теперь даешь мне богатство! Так пусть не оскорбит бога мой жалкий дар. Пусть будет он первым взносом в счет моего неоплатного долга!

— В пятнадцатый день седьмой луны,— продолжал тоин,— когда солнце коснется вершины Змеиных скал, дракон повелел идти на восток. Через два ли[1] ты увидишь Двуглавую гору. На ее гребне живет бедная, но красивая девочка по имени Мен Хи. Это капля солнечного света. Она принесет богатство тому, кто сделает ее женой своего сына.

Сказав это, тоин снова застыл в неподвижности, как изваяние, и глаза его устремились ввысь.

Ли Ду Хан понял, что не должен больше тревожить тоина своими земными делами. Он бесшумно встал и, низко кланяясь, попятился к выходу.

Едва помещик скрылся, лицо тоина расплылось в улыбке. Богатство обещано Ли Ду Хану лишь после женитьбы его сына. Но это произойдет не скоро, и кто знает, что может случиться до той поры!

---

[1] Ли — мера длины, около 4 км.

В ДЕРЕВНЕ ЗМЕИНЫЙ ХВОСТ

У подножия скалистой сопки, местами поросшей тощими кривоствольными деревцами, похожими на дырявые зонтики, прилепилось несколько десятков хижин. Это деревня Змеиный хвост. Наверно, ее назвали так потому, что раньше вдоль деревни протекал ручей, который в самом деле издали был похож на извивающуюся змею.

Теперь ручья уже нет, он иссяк, и русло его давно пересохло.

Без ручья деревня имеет осиротевший вид. На глинобитные облупившиеся хижины нахлобучены непомерно большие, рыхлые крыши из рисовой соломы, отчего домики кажутся совсем маленькими и придавленными к земле.

Посреди села — колодец. На длинной цепи к срубу был прикован топор. Он появился здесь со времен последнего крестьянского бунта. Японцы тогда отобрали у жителей деревни все, что может служить оружием, и разрешили иметь только один прикованный к колодцу топор.

С тех пор начались раздоры среди крестьян Змеиного хвоста. Людям надо то наколоть дров, то обтесать оглоблю или ярмо для быка, то выдолбить корыто. Да мало ли для каких дел в крестьянском хозяйстве нужен топор!

Сначала установили очередь по дворам — каждому двору один день. Но из этого ничего не вышло. Пак Собан, или, как его звали, Пак-неудачник, подсчитал, что до него очередь дойдет только в конце лета, а ему топор нужен сейчас. Те, кто жили на верхнем конце деревни, были недовольны, что очередь начали с другого края.

В конце концов решили пользоваться топором как придется, и у колодца всегда возникали долгие споры, а то и драки.

Осенью, в пору заготовки топлива на зиму, многие крестьяне, чтобы избежать ссоры, везли свои дрова к помещику Ли Ду Хану и брали у него топор исполу: одно бревно для себя разрубишь, одно — для помещика. Хоть и больше труда затратишь, зато без драки, да и работать удобнее, если цепь не тащится за топором, не бьет по рукам.

А потом не стало топора и у колодца.

Пак-неудачник не раз обращался к Ли Ду Хану за топором и с другими просьбами. Помещик всегда к нему хорошо относился.

Но на этот раз Ли Ду Хан лишь покачал головой и сказал, что ничем помочь не может. А беда надвигалась большая.

Уже припекает весеннее солнце. Черные от грязи и загара голые дети возятся в пересохшем русле, наполовину заваленном мусором. Медленно идет мимо них Пак Собан, а за ним тащится буйвол, запряженный в пустую двухколесную арбу с высокими бортами, сплетенными из стеблей гаоляна и камыша. Деревянные колеса большие, тяжелые. Вместо спиц крестовина из толстых, грубо обтесанных досок.

Через правую руку Пака перекинута веревка от кольца, продетого в нос животного. Левой рукой он придерживает торчащий изо рта полуметровый чубук с трубкой не более наперстка. Буйвол тащится, едва передвигая ноги, лениво обмахиваясь хвостом и мотая головой, а над ним кружит рой мелких быстрых мушек.

Временами Пак оборачивается, вынимает изо рта давно погасшую трубку и, глядя куда-то поверх животного, подгоняя его, кричит:

— Йо-и-и, йо-и-и, йо-и-и-и...

Звуки тонкие, заунывные, как жалоба, как мольба, как протяжный стон.

— Йо-и-и-и!..

Буйвол давно привык к понуканиям и, не обращая на них внимания, движется тяжело и лениво. Пак ничего другого и не ждет от этого буйвола и подгоняет его только в силу привычки.

Прокричав свое «Йо-и-и», он снова берет в рот чубук и шагает дальше, неторопливо ступая босыми ногами по толстому слою дорожной пыли. И хотя ветра нет, поднятая пыль тоже движется, окутывая Пака. Он не замечает этого. Глубоко запавшие глаза кажутся безжизненными на его изрезанном морщинами, обветренном и сожженном солнцем лице. И лицо, и сгорбленная фигура Пака, и походка — весь его облик выражает безнадежность и безразличие ко всему окружающему.

— Йо-и-и!..

Помещик Ли Ду Хан дал ему арбу, чтобы он мог привезти свой скарб в уплату за долги.

Все беды начались с того дня, когда ушел из дому старший сын, Сен Чель. Это был почтительный сын. Вся деревня говорила: «Хотя Пак Собан и неудачник, а сына вырастил хорошего». Никто так не почитал родителей, как Сен Чель. Он всегда разговаривал с отцом не иначе как склонив голову. Он не был приучен к отдыху, и душа его любила землю, и руки его знали, что такое земля.

И зачем только послал он тогда сына в Пхеньян? Эти две вязанки сена можно было и не продавать: ведь самим

топить было нечем, а на вырученные деньги все равно ничего не удалось купить — так мало их было. Но кто же мог знать, что в городе Сен Чель встретит людей, которые бросили работу на фабрике и заразили его такими страшными мыслями? С тех пор он только и делал, что бегал в город и каждый раз приносил всякие новости. То вдруг взбаламутил деревню вестью, что русские разбили японские войска на Хасане, то рассказал, будто китайцы поднимаются против самураев, то принес весть, что в городе подожгли полицейский участок. Он совсем позабыл о земле.

А однажды Сен Чель вернулся из города, когда вся деревня уже спала. Он разбудил отца и сказал, что уходит в Пхеньян, и уходит совсем, потому что там можно получить работу. Нет, он не спрашивал разрешения, а просто заявил об этом так, будто он старший в доме.

Пак тогда прикрикнул на сына, чтобы тот немедленно ложился спать и никогда больше таких слов не говорил. Но его сын вдруг выпрямился и, не страшась отца, сказал, что не может послушаться. И по всему было видно, что он сделает, как сказал.

Такого позора Пак еще никогда не испытывал. Но он смирился. Ведь у него и без того полон дом горя. Если избить Сен Челя за непослушание, горя только прибавится.

Пак стоял, не зная, что делать, а сын сунул за пазуху початок вареной кукурузы и ушел.

Так поступил его старший сын, на которого он возлагал много надежд. Он ушел и бросил отца, научившего возделывать землю, и бросил землю, вскормившую его.

Но когда старший сын ушел, Пак не разрешил себе предаваться горю, а работал столько, чтобы земля не узнала о его стыде и позоре... И мать его детей работала вместе с ним, и его младший сын, Сен Дин, и даже маленькая Мен Хи не позволяла себе бегать по дворам, когда отец работал.

Тенбо земли, которое в прошлом году арендовал у помещика Ли Ду Хана, надо было хорошо возделать, чтобы земля дала щедрый урожай. Он так думал, и его сердце наполнялось надеждой, и он уже не мог спокойно спать по ночам.

В середине третьей луны, когда снег еще не везде растаял и, потемневший, лежал в ложбинах, Пак вскопал небольшой участок земли под рисовую рассаду и разбросал сверху самый жирный навоз из кучи, что семья собрала на дорогах за осень и зиму. А пока он работал, дети горсть за гор-

стью насыпали в тыквенные ковши с подсоленной водой драгоценные рисовые зерна, а мать выбирала из них для сева самые тяжелые — те, которые оседали на дне.

Когда рассада принялась и уже показались зеленые побеги, Пак полил их раствором из помета шелковичных червей, заработанного за зиму его детьми у помещика Ли Ду Хана. И каждое утро они всей семьей носили воду из канавы и поливали ростки, и над пашней тихо звучала печальная песня:

Ариран[1], Ариран, высоки твои горные кряжи,
И счастье — там, на вершинах скал.
Злые духи, ущелья и пропасти черные
Преграждают пути к дорогой Ариран.

Потом он сходил к Ли Ду Хану, и тот дал ему на несколько дней буйвола, правда, тощего и хромого, но ведь Пак был не так богат, чтобы оплатить хорошую скотину. Он изо всех сил помогал буйволу, а за сохой шла мать его детей.

Вспаханное поле он тоже покрыл ровным слоем удобрений и перекопал его лопатой, чтобы не пахать еще раз и не платить за буйвола лишнего. Перекопанное поле взрыхлил мотыгой, и земля стала мягкой, как пареный рис. Потом оградил свой участок маленьким земляным валом и с помощью черпака заливал его водой из канавы и радовался, что вода быстро исчезала: значит, земля пила ее вволю.

Он много дней так работал, пока вода не покрыла все поле и оно стало похоже на большое зеркало. Тогда выкопал подросшую рассаду, и вся семья, закатав штаны выше колен, полезла в жидкую грязь. Он сам разбросал пучки рассады по всему полю и первый ряд тоже посадил сам, чтобы остальные ряды были такими же прямыми и один росток отстоял от другого ровно на чхи[2] и чтобы жена и дети еще раз посмотрели, как осторожно надо брать нежный стебель из пучка, и насколько глубоко следует погружать его в жидкую землю, и как прижимать его, чтобы он не падал.

И опять вся семья дружно работала, и в словах песни звучала надежда:

Легионы драконов со змеиными жалами
Окружили тебя, Ариран, Ариран.
Но пробьюсь я туда и достигну вершины,
Ведь свобода и счастье на горе Ариран.

---

[1] Ариран — мифическая гора.
[2] Чхи — мера длины, равная 3,03 см.

А когда посадка кончилась, он долго смотрел на свое поле и радовался тому, что все сто тысяч стеблей были посажены правильно и стояли ровно. И каждый из них прошел через его руки или через руки его жены и его детей.

На другой день он заметил, что земля выпила еще немного влаги, и опять долго орудовал черпаком, а потом поправил сорок шесть ростков, которые наклонились, потому что стояли в том месте, куда из черпака выливалась вода...

— Йо-и-и-и!..

Так он работал все прошлое лето. Возвращался домой, когда становилось темно. Брел без мыслей, без чувств. Не зажигая кунжутной коптилки, не раздеваясь, валился на тощую циновку, чтобы с зарею снова выйти в поле.

Он думал о земле, как о живом существе. И она тоже отвечала ему любовью, благодарная, вскормленная им земля.

Сорок мешков риса собрал он осенью со своего участка. Если даже занять под урожай целый дом, то и тогда не хватило бы места. Но рис ушел от него, исчез весь, до зернышка...

— Йо-и-и, йо-и-и, йо-и-и!..

Первые три мешка прямо на току забрал японский сборщик налогов. Стране восходящего солнца, Ниппон, очень нужен рис. Она ведет войну в Китае. Правда, говорят, что на процветание империи самурай отсылает только половину собранного риса, а остальное берет себе. Но ведь из своей доли сборщик должен кое-что отсыпать начальнику, да и полицейскому инспектору тоже нужен рис.

Двадцать мешков помещик Ли Ду Хан вывез за аренду земли и два за пользование буйволом. Он сам в трудном положении: заключил договор на поставки с Восточно-колониальной компанией, а риса не хватает. Зато Ли обещал поддержать Пака. Он хорошо понимает: Пак не лентяй, а только неудачник, ему просто не везет.

После этого у Пака осталось пятнадцать мешков. Но проклятые долги! Разве Ли Ду Хан забудет о них?! В весенний голод Ли дал четыре мешка риса,— значит, как и положено, пришлось вернуть восемь мешков. В июльский голод он дал два мешка. И здесь помещик не требовал лишнего, а только то, что причиталось ему по закону, то есть три мешка. Осталось четыре мешка. Если сменять их на чумизу и расходовать бережно, вместе с отваром из сладкой коры, семья могла бы снова дотянуть до весеннего голода. Но остатка едва хватило погасить десятую часть старой задолженности.

Ли бранился: только четыре мешка в счет старого долга! Ведь в этом году очень нужен рис. Божественный император готовит войну против России. Страна богини Аматерасу

скупает весь урожай. Она управляет солнцем, и солнце империи будет светить всему миру...

— Йо-и-и, йо-и-и, йо-и-и!..

ЗАМУРОВАННЫЕ В БЕТОНЕ

Посреди деревни Пак останавливается у двора без ворот. Он тоскливо оглядывает свою хижину, которая уже не принадлежит ему.

Провисшая крыша из рисовой соломы перетянута веревками, свитыми из такой же соломы. Крохотные оконца, заклеенные бумагой, уже нельзя раздвинуть — настолько их перекосило. Труба очага, видневшаяся позади, сооружена из полого ствола дерева и свернутого листа жести, проржавевшей и дырявой. Вот и все железо, что пошло на строительство дома. Даже гвозди здесь деревянные.

Зато во дворе из земли поднимается стальное сооружение. Это одна из четырех лап гигантской мачты, возвышающейся над хижиной, над всей деревней. Вторая лапа уперлась в соседний двор, и две — в улицу, почти перегородив дорогу. Издали кажется, будто мачта движется, шагает и в эту минуту наступила на деревню всеми своими огромными лапами, пригвоздила ее к земле.

Тяжелые провода тянутся в гору, к другой мачте. На вершине дальней сопки вырисовывается силуэт третьей, а проводов уже не видно. Они теряются, будто тают в воздухе. Ток высокого напряжения идет на металлургические заводы Мицуи и Мицубиси, на военные предприятия Ниппон Сейтецу и Фурукава, на пороховые фабрики Босэки...

Это линия высоковольтной передачи Супхунской гидростанции. По вечерам в хижине Пака горела кунжутная коптилка с фитильком из ваты от одеяла. Фитилек чадил в полумраке, а над хижиной гудели тяжелые провода...

Жизнь всех родственников Пака связана с Супхунской электростанцией. Мачта во дворе всегда напоминает ему о братьях. Он может рассказать, как на гору Супхун приехали самураи. Чтобы соединить плотиной две скалистые гряды на противоположных берегах широкой Амноккан, им потребовалось пятьдесят тысяч корейцев. Желающих оказалось намного больше, отбирали самых сильных и здоровых.

Всем трем братьям Пака повезло: они попали на стройку. Особенно повезло старшему брату. Его сына тоже взяли. Приняли и соседа с сыном. Работая вчетвером и выгадывая на еде, они вполне могли накопить денег, чтобы сообща

купить буйвола или хоть корову. Конечно, они не станут доить животное, чтобы не лишать его сил. Нет, корова будет работать в поле, возить хворост, траву и овощи в город.

Старший брат давно мечтал о собственном буйволе или корове. И вот выпал такой счастливый случай. Нет, он не дурак, чтобы наедаться здесь вволю три года подряд, а потом опять нищенствовать и брать буйвола поденно. Он умеет беречь деньги...

Младшие братья тоже были очень довольны. Несмотря на то что одному из них уже исполнилось девятнадцать, а другому — двадцать, они все еще не были женаты. Они тоже умели беречь деньги, и через три года каждый из них сможет наконец жениться.

Особенно старался самый младший. Никто не упрекнет его потом, будто он мало накопил денег из-за лени. Парень дробил камень быстрее других, доверху накладывал заплечные носилки и почти бежал с грузом. Он быстро приноровился к работе. Когда голова начинала кружиться и тошнило оттого, что хотелось есть, и руки уже не могли орудовать кувалдой, он все равно не позволял себе ждать, пока к нему вернутся силы. Он садился под скалу, где не так пекло солнце, и продолжал работать молотком. Правда, дело шло медленно, потому что большой камень трудно колоть молотком. Но он заметил, что, если долго бить по одному месту, камень в конце концов раскалывается. Потом он стал работать еще расчетливее. Рубил камень днем, а к плотине перетаскивал его вечером, когда солнце уже не жгло.

Вообще юноша умел беречь силы. Он не позволял себе, как другие, после работы шагать почти ли до барака, а удобно устраивался тут же, на камнях, тем более что под открытым небом ночевали многие — все те, у кого не хватало сил дотащиться до циновки. Только они падали по дороге в бараки где придется, а он устраивался заранее.

Но младшему брату все же не повезло. Он вместе с другими замешкался на дне среднего отсека плотины, когда уже сломали лестницу и туда начали заливать бетон. Их задержалось семь человек. Японский администратор не решился остановить бетон: если ждать, пока всех вытащат наверх канатом, бетон может окаменеть в ковшах, да и вообще нельзя прекращать работу ни на минуту.

Администратор тогда очень нервничал и, наклонившись над барьером, кричал вниз, чтобы они не стояли там сбившись в кучу, как стадо баранов. Дурачье, им невдомек, что пространство, которое они занимают, останется не заполненным бетоном и от этого уменьшится прочность плотины.

На помощь администратору прибежал младший надсмотрщик Чо Ден Ок. Он просил японца не волноваться и идти в контору. Он обещал, что все будет хорошо.

Когда тот ушел, Чо начал кричать, чтобы люди в котловане разбежались в разные стороны, тогда раковины в бетоне будут небольшими и не ослабят его. Но разве на дне такого глубокого и широкого колодца услышишь, что кричат сверху?

Правда, их крик был наверху слышен, но это потому, что кричали сразу семь человек, да и слова были простые: «Подождите!», «Спасите!», «Помогите!»

Чо Ден Ок внимательно смотрел вниз. Сначала бетон заполнил дно котлована. Он доставал рабочим только до колен. Это был совсем непонятливый народ: все старались вытащить ноги. Сверху казалось, будто люди там месят бетон, только головы у них были подняты вверх и все они без конца размахивали руками. Они пытались выкарабкаться из бетонной массы, даже когда она доходила им до пояса. Чо Ден Ок удивлялся: как это рабочие не могут сообразить, что им уже не выбраться? А они все еще продолжали кричать. Когда на поверхности остались только головы и руки, крик прекратился. Теперь уже было ясно, что спасти их не удастся.

Чо Ден Ок был очень взволнован, он боялся рассердить японского администратора: эти глупые люди так и остались стоять, сбившись в кучу. Значит, раковина в бетоне будет большой. Потом оказалось, что он зря волновался. Инженеры подсчитали: плотина все равно выдержит нагрузку, так как бетон сильно сожмет посторонние предметы и их объем уменьшится в несколько раз.

Не удалось и среднему брату разбогатеть. Он работал в глубокой пещере, когда взрывали скалу и взрывом засыпало выход. И хотя в пещере было человек восемьдесят, Чо Ден Ок сказал, что откапывать их нет возможности: очень непроизводительный труд. Да и кто может поручиться, что они не задохнулись? А если остались живы, то их так много, что они вполне смогут сами себя отрыть. Но, наверное, они все задохнулись: никто из них так и не вылез из-под камней.

Самурай тогда похвалил Чо Ден Ока, сказал, что этот Чо далеко пойдет, потому что он сообразительный малый. Кореец, а ведь вот как сумел правильно рассудить! И Чо Ден Ок был очень рад. Он долго кланялся, благодарил и заверял, что будет еще больше стараться, только бы уважаемый администратор остался доволен.

Дольше всех на строительстве работал старший брат с сыном. Но он уже не так радовался, как в первые дни. Ока-

залось, что экономить ему не надо, японская администрация заботилась об этом сама. Японцы точно подсчитали, сколько требуется зерна, чтобы человек мог жить, и ровно столько выдавали.

Вообще администрация действовала очень благоразумно. Если рабочему казалось, будто он заработал больше, чем получил, ему подробно объясняли, сколько с него высчитано штрафа, сколько за спецодежду, сколько за поломку носилок. Но больше всего удерживали на процветание японской империи, на укрепление ее военной мощи, на благо великого японского императора и на обычные налоги. Если рабочему не оставалось на пропитание, администрация шла ему навстречу и выдавала продукты в долг.

О буйволе старший брат уже перестал думать и о корове тоже. Оба брата погибли, сын стал совсем плох. Когда обломились леса и на камнях разбились шесть человек, он вместе с другими рабочими пошел жаловаться Чо Ден Оку. Они сказали, что с начала строительства погибло уже много тысяч человек и что, если так будет продолжаться, к концу, наверно, погибнут все.

Чо рассердился. Никто в этом не виноват, кричал он. Пусть не подставляют свои дурацкие головы под обвалы! Разве можно каждого предупредить, что идут взрывные работы? Кто их заставляет падать с лесов? Это не оправдание, будто они истощены голодом. Все едят одинаково, почему же другие не падают?

Когда Супхунская плотина была готова, оказалось, что река вышла из берегов и затопила двадцать три деревни. И снова Чо Ден Ок возмущался: чего эти крестьяне голосят, ведь сами налепили здесь свои хижины! Дурачье, шалаши можно и в горах построить, а имущество у них такое, что и говорить не о чем.

Чо Ден Ок был прав. Действительно, какое уж там имущество! Пак до сих пор не может понять, из-за чего погиб старший брат. Правда, из воды его вытащили, но откачивать уже не стали: поздно. Хорошо, что хоть похоронить удалось по-человечески.

Единственная сестра Пака жила далеко от Супхунской гидростанции, на берегу Восточно-Корейского залива, в деревне Хыннам. Как и все жители окрестных деревень, ее муж ловил рыбу, крабов и осьминогов.

Никто из рыбаков не знал, зачем приехал из Токио в их рыбацкий поселок крупный японский промышленник Ногуци. Все выяснилось спустя девять дней после его отъезда, когда рыбакам шести деревень объявили, что они должны срочно

оплатить недоимки за право спускать на воду джонки и за аренду земли, на которой стоят их хижины.

Им сообщили, что теперь и берег и вода принадлежат Ногуци, который будет строить здесь заводы. Им сказали, что Ногуци просит их забрать свои хижины и совсем оставить эти места. Но рыбакам трудно было выполнить такую просьбу: они не знали, куда ехать. Да и как же можно забрать хижины, если они слеплены из глины? И никто не уехал.

Ногуци больше не настаивал. Но когда у Хыннама появились мачты и с электростанции протянули провода, прибыли японские солдаты и подожгли все шесть прибрежных деревень. Хорошо еще, что произошло это днем и никто не погиб.

Хижины сгорели быстро. Сначала занялись соломенные крыши, а глиняные стены пересохли под огнем и рассыпались. Жерди, на которых держалась глина, тоже горели быстро: они были совсем сухие.

Погорельцы очень убивались, некоторые даже рвали на себе волосы. Ногуци стало жалко их, и он разрешил им остаться у него на строительстве. Он позволил работать всем, даже детям. Он обещал дать в кредит отходы леса, из которого можно будет потом построить бараки.

Остались почти все, а те, кто на первых порах ушли, тоже вернулись, потому что идти было некуда. Этим пришлось особенно туго.

Ногуци обиделся и потом долго не хотел принимать их на работу.

За четыре года в Хыннаме выстроили большой химический комбинат. Здесь тоже погибло несколько тысяч человек, но сестра Пака осталась жива. Каково-то ей сейчас?..

— Йо-и-и!..

ФИТИЛЕК ПОГАС

На пороге появляется жена Пака Апанння и его дочь Мен Хи.

Апанне тридцать семь лет. На ней длинная белая юбка, надетая поверх еще более длинных шаровар, и крошечная, с широкими рукавами кофта на голом теле, не прикрывающая грудь.

Девочка жмется к матери, уцепившись за ее юбку и пугливо глядя во двор, где возятся двое мужчин. Это управляющий Ли Ду Хана и полицейский.

— Что же нам теперь делать? — спрашивает Апанння.

Пак не отвечает. Он тянет буйвола во двор. К отцу подходит младший сын, шестнадцатилетний Сен Дин.

— Давай грузить вещи,— говорит он, зло глядя на управляющего и полицейского.— Они уже весь дом перерыли... И скажи женщинам, пусть перестанут реветь.

— Подожди, сын. Надо так сделать, чтобы все уместилось... Что же вы стоите? — кричит вдруг Пак, обращаясь к жене и дочери.

Апанния бросается на зов мужа. За ней бежит Мен Хи. Девочка подходит к наполненному водой корыту, выдолбленному из толстого ствола дерева, и с трудом опрокидывает его. Она искоса поглядывает на образовавшийся ручеек — пусть вода побежит под ноги управляющему. Правда, он настолько богат, что не носит соломенных сандалий и даже в будний день надевает суконные башмаки, подшитые веревочной подошвой, но и они должны промокнуть. Только бы этот толстопузый, от которого все беды в доме, не заметил проделки Мен Хи раньше времени.

Девочке очень хочется посмотреть, как это получится: важный управляющий стоит в грязной луже. Пусть даже потом ее изобьют, только бы отомстить собаке.

Мен Хи не удалась затея. Глазастый управляющий все заметил и начал ругаться. Полицейский угрожающе поднял бамбуковую палку.

— Не могу же я полное корыто грузить! — оправдывается девочка.

И хотя башмаки управляющего остались сухими, она довольна. Все-таки заставила толстопузого отойти в сторону. Если его попросить, ни за что не отошел бы...

В полчаса погрузили все имущество: старый сундук, соломенный плащ, два одеяла, два чана и даже тыквенные ковшики. Арба трогается с места. Апанния не может сдержать себя и плачет, закрыв лицо и голову подолом юбки. Мен Хи тоже хочется плакать, но она больно кусает губы. Она не будет плакать.

— Замолчи! — кричит Пак, и его жена смолкает.

Медленно тащится буйвол по пыльной дороге. В пыли, как в тумане, движутся за арбой Апанния и Мен Хи. Отец и сын молча идут впереди.

Кое-где из окон и дверей выглядывают крестьяне. Они печально смотрят вслед молчаливому шествию семьи Пака, тяжело вздыхают, качают головами.

Паку хотелось бы услышать слова утешения, но он видит вокруг не людей, а лишь покосившиеся хижины. Да и что ему могут сказать? Ведь и сам он скрывался в доме, когда уходили из деревни разоренные крестьяне. Как смотреть людям в глаза, если помочь нечем?

Темнеет.

Надо торопиться. Ли Ду Хан ждет. Только получив имущество Пака, он даст в долг чумизу.

— Йо-и-и-и!..

Пак идет, не глядя под ноги. Он смотрит вдаль на силуэты мачт, поднимающихся в горы.

Шагают мачты по корейской земле, а за ними тянется кровавый след. Они переступили границы Кореи, взобрались на сопки Ляодунского полуострова. Ток пошел на верфи военных портов Дайрена и Порт-Артура. В этих портах стоят эскадры, готовые покорить весь Дальний Восток.

Из Пусана под Корейским и Цусимским проливами должны пойти электрические поезда в японский порт Симоносеки. Они повезут туда рис и вольфрам, молибден и золото. А навстречу пойдет военное снаряжение для солдат божественной Японии. Без этой дороги трудно завоевать Китай и Россию.

Мачты шагают по захваченной самураями земле, топчут рисовые поля и деревни, поднимаются в горы, на высоких железобетонных сваях переступают через реки. Кровавый след протянулся к японским концернам в Маньчжурии.

Здесь готовят новые мачты. Их должно хватить до Урала.

Паутина проводов накрыла Корею. Вся страна под током. Гудят провода. Ток бешено мчится над опустевшей хижиной Пака, над тысячами таких же хижин и нищих горных деревушек, где жизнь теплится и чадит, как кунжутная коптилка, и гаснет, как высохший фитилек.

Где же теперь зажжет свою коптилку Пак-неудачник?..

Луна большая, холодная, злая. Луна — это тоже солнце, но с дневного солнца богиня Аматерасу сорвала черное покрывало, и оно стало горячим и ярким. Только в нескольких местах кусочки покрывала приклеились. И следы эти будто пятна на солнце. Через стекло их можно увидеть с земли. А с луны покрывало не снято, поэтому она злится. Горы жалеют луну. Когда она появляется в небе, они идут за ней. Там, где нет луны, гор не видно, все они собираются вокруг нее. Луна села на гору Девяти драконов. И горы сейчас же придвинулись ближе, затихли, насторожились и слушают. Тихо-тихо. Никто не осмелится в присутствии луны громко сказать слово.

По безмолвной улице Змеиного хвоста движутся темные силуэты: большой, меньше, еще меньше и сзади совсем маленький. Последнего почти не видно. Это Мен Хи, младшая дочь Пака.

Ей десять лет. Правда, тот, кто начинает вести счет годам только с момента рождения ребенка, забыв, что до этого он около года уже прожил во чреве матери, мог бы сказать, будто ей только девять. Но в семье Пака счет ведут правильно, и Мен хорошо знает, что ей уже десять. Однако все равно она еще совсем маленькая.

Мен Хи идет, быстро перебирая ножками, боясь отстать, боясь просыпать из подола чумизу. Обеими руками вцепилась Мен Хи в свой подол. Как неудобно держать тяжесть на весу! То ли дело нести на голове! Но чумизу не во что высыпать. Да и мать тоже несет зерно в подоле. Только у отца за плечами мешок, а у Сен Дина котомка.

Целый мешок дал в долг старый Ли, и Пак половину отсыпал жене и детям, потому что одному нести тяжело, да и где это видано, чтобы мужчина нес груз, а жена и дети шли с пустыми руками! Надо бы весь груз отдать им, но сейчас ночь, и никто не увидит и не осудит его.

Молча идут они по уснувшей деревне. Вот и колодец, а за ним мачта.

Гудят провода, но уже не горит кунжутка в хижине Пака.

Тихо плачет Апанння.

— Может быть, зайдем домой? Может, осталось что во дворе?

— В разбитом зеркале ничего не увидишь,— говорит Пак, не останавливаясь.— Нечего там делать!

Значит, надо идти. Вот уже последняя хижина и полицейский участок на горе. Но Пак шагает дальше. Уже миновали высокие качели, на которых по большим праздникам выступают бродячие акробаты и качается молодежь. Всей деревней строили их, и Апанння вместе с другими женщинами утрамбовывала землю вокруг столбов.

— Куда мы идем, Пак Собан?

— Молчи, женщина!

Апанння молчит. Она привыкла молчать. У нее нет имени, она — Апанння, что означает родившаяся в том месте, где роды застали ее мать. Она будет покорно брести за мужем, будет выполнять все, что он скажет. Она не посмеет вступить с ним в спор. Он мужчина, он глава семьи. Она не оскорбит его своими женскими неразумными советами. И уж никогда не осмелятся первыми заговорить дети.

Деревня осталась позади, а Пак все идет. Мен Хи тяжело и неудобно нести чумизу. Она все чаще спотыкается. Апанння замечает это и замедляет шаг:

— Высыпь мне в подол свою чумизу, Мен Хи.

— Нет, нет, мне совсем не тяжело.

Луна спряталась, и стало темно. Дальше идти нельзя. Пак молча сворачивает с дороги и ставит мешок на камень. Осторожно ощупывая ногами землю, к нему приближаются остальные.

— Высыпайте чумизу в мешок, я подержу его. Только смотрите, кто уронит хоть одно зерно, будет искать его в траве.

Как хорошо расправить затекшие руки! Можно сесть на корточки и отдохнуть. Пак молчит, значит, молчат все. Мен Хи прижимается к матери и быстро засыпает.

Но луна уже миновала Тигровую гору и вновь осветила дорогу.

— Пора! Спать будем днем в скалах, где никто не увидит нас.

— Почему мы должны прятаться? Куда мы идем из родной деревни? Там люди нас знают и помогут нам. Там господин Ли, он обещал дать еще чумизы, если мы отработаем ту, что взяли сегодня.

Что это разговорилась мать его детей? Она никогда так длинно не говорила.

— Молчи! Поднимайся! — угрюмо отвечает Пак.— Мы уйдем от Ли Ду Хана, и пусть дракон высосет из него яд. Тогда Ли умрет, потому что все его тело заполнено ядом. И в жилах его течет не кровь, а яд.

Они уйдут в горы Орлиных гнезд и станут хваденминами. Живут же тысячи хваденминов в горах! Они возделывают крутые каменные сопки, кочуют по вершинам, голодают, но живут. Их не достанет рука Ли Ду Хана. К ним не добраться сборщику налогов. Их дочерей не гонят в отряды жертвующих телом для солдат божественной Аматерасу.

Чумиза хорошо растет и на каменистой почве. Мешок семян даст двадцать мешков чумизы, и ни одного зерна не достанется Ли Ду Хану. А долг, который числится за Паком, помещик успеет получить когда-нибудь потом.

— Поднимайся, женщина, поднимай детей, пока не встало солнце, пока никто не увидел нас, пока не хватился Ли Ду Хан.

Апання молчит. Она теперь жена хваденмина. Она мать детей хваденмина. Ведь женщина не имеет своего имени. Ее называют: жена Пака или мать Сен Дина. Но теперь даже так ее не будут звать, потому что семья хваденмина живет вдали от всех. Она не увидит больше других людей. Лицо Пака зарастет седыми волосами, длинные, спутанные брови нависнут над глазами, он будет ходить полуголый, как все хваденмины, что десятки лет не спускаются с гор и добывают огонь из камня.

Но ни ей, ни детям Пак не покажется страшным. Ведь он не сразу станет таким. Да и сама она изменится. Ей теперь будут мешать длинные волосы, она стянет их в тугую косу, и Пак перебьет эту косу у самого затылка двумя острыми камнями. Хваденмины делают это очень ловко.

Вставайте, дети, солнце уже поднимается над империей Ниппон и скоро придет сюда! Вставайте, вы теперь дети хваденмина. Вам нечего делать в чужих плодородных долинах, где снимают по два урожая в год. Вы будете расти в горах, одичаете в пещерах. Вы узнаете, как горек отвар из древесной коры, когда нет горстки чумизы.

Вставай, Сен Дин! Ты теперь сын хваденмина. Кожа на твоих руках и лице потрескается от палящего солнца, от горячих муссонов и тропических ливней. Кровавыми трещинами покроется тело. Потом земля забьется в трещины, они заживут, затвердеют, и останутся лишь вздутые полосы на коже. Твои зубы съест цинга, но зубы не нужны хваденминам: у них нет мяса, нет моллюсков. Пить отвар из кореньев, коры и чумизы можно и без зубов.

Вставай, Мен Хи! Вставай, маленькая гордая Мен Хи! Это имя — сверкающая яркость — тебе дала мать. Но теперь ты дочь хваденмина. Хваденмины спят по четыре часа в сутки. Тебе уже пора привыкнуть к этому. Вставай, Мен Хи! Пусть небесный Окхвансанде поможет тебе забыть вкус риса!

ВСТРЕЧА

Еще спит земля, одурманенная луной. Еще не различимы, а только угадываются силуэты гор, но уже встает жена хваденмина. Ей невыносимо трудно поднять свое утомленное тело, но надо вставать. Скоро проснется муж, встанут дети. А до этого надо успеть сварить коренья.

Апанння выходит из хижины, зацепившейся высоко в горах, под нависшей скалой треугольной формы. Этот выступ служит крышей, а гора — задней стеной. Две другие стены — а всего их три по форме выступа — сплетены из сухих веток. Дверь тоже сделана из веток, и ее не отодвигают, а отставляют в сторону.

Хижина прилепилась на самой круче. Надо аккуратно ставить глиняный черепок, иначе он покатится с горы, и снова не из чего будет есть.

Пока Апанння готовит завтрак, вся семья поднимается и усаживается на земле вокруг горшка. Печально смотрит Пак на свой участок — пологий клочок земли, прилегающий к хижине.

Сегодня он начнет пахать.

Но прежде чем пахать землю, ее надо было вырвать, отвоевать у горы, эту землю, покрытую валунами и острыми камнями, перевитую корнями сухого, цепкого кустарника, пересохшую, выжженную и бесплодную.

Пак знал, что такое земля, и знал, как возделывать ее для посева. Он спалил сухой кустарник, а потом вместе со своей женой и детьми выкапывал валуны и скатывал их с горы, а дети руками расчищали землю вокруг тонких корней и перебивали их острыми камнями.

Они работали всей семьей, стоя на коленях, и если одному было трудно выдернуть перебитый корень или сдвинуть с места тяжелый камень, помогал тот, кто находился рядом.

Каждое утро, как только они приступали к работе, Мен Хи тихонько начинала любимую песню «Ариран». Пак не ругал ее за то, что она осмеливалась петь в его присутствии, потому что сам мысленно повторял слова этой песни:

Ариран, Ариран, высоки твои горные кряжи,
И счастье — там, на вершинах скал.
Злые духи, ущелья и пропасти черные
Преграждают пути к дорогой Ариран.

Здесь можно петь, никого не боясь, потому что в горах нет самураев, и те не услышат слова ненавистной им песни, в которую народ вложил свои мечты о свободе и счастье.

Они трудились, не зная усталости, и поднимались в свое жилище, когда становилось темно, потому что в темноте уже ничего не было видно и нельзя было работать.

Они радовались плодам своего труда, и каждый день там, где они проходили, оставался участок чистой, пригодной для обработки земли.

И вот наконец весь участок готов.

— Пусть этот день будет счастливым,— говорит Пак.— Пусть он будет таким же счастливым, как вчерашний.

Вчера он ходил вниз, в чужую деревню. Там он выпросил рисовую солому и свил веревки. Ему сейчас очень нужны веревки. Человек, который дал солому, оказался тоином. Он носит такое странное прозвище — тоин, то есть путь человека, потому что ему известен путь людей. Он может все предсказать. Такой добрый, такой хороший старик. Он не потребовал денег и предсказал, что урожай в этом году будет обильным. Он очень сочувствовал Паку и даже потрепал по плечу маленькую красивую Мен Хи, которая увязалась за отцом.

Вот только не надо было говорить ему, что они поселились на Двуглавой горе. Хоть тоин и добрый человек, но может сообщить полиции и Ли Ду Хану. Тогда — го́ре.

Пак привязывает три веревки к высушенному заостренному корню дуба, на концах веревок делает большие петли. Теперь все готово. Можно начинать пахоту.

В лямки впрягаются мужчины: отец и сын. Апання направляет мотыгу, но никак не может приноровиться к ним. Если не сильно нажимать на мотыгу, борозда получается мелкая — только легкий след, царапина. А стоит ей немного нажать, как лямки впиваются в плечи мужа и Сен Дина. Поэтому борозда выходит неровной: то глубже, то мельче. Работа идет рывками.

Пак злится, кричит на жену. Кричит громко и долго, и никто не смеет ему возразить. Если в душе мужчины вспыхнул гнев, надо, чтобы он вышел наружу. Пусть сильнее кричит, пусть уйдет гнев.

Но сердце у Пака мягче слов. В конце концов он успокаивается и начинает причитать протяжно и заунывно.

— Э-э-э-й ги! Э-э-э ги! — не то поет, не то выкрикивает он, и под эту тоскливую команду мотыга тащится дальше, пока опять не натыкается на что-то твердое.

Каждую борозду вспахивают шесть-семь раз. Даже буйвол не мог бы поднять сразу такую целину.

В дни пахоты и у Мен Хи много дела. Мать всегда говорила, что она растет самостоятельной девочкой.

У Мен Хи черные быстрые глаза, такие черные и блестящие, что кажется, будто они изнутри светятся, а над ними густые черные брови. Волосы тоже черные, и хотя у всех детей волосы бывают только черными, у нее какие-то особенные, с синим отливом.

Мен Хи бойкая девочка. Когда она смеется, на щеках появляются ямочки и становятся видны белые ровные зубы. Только странно: девочка худенькая, а лицо круглое.

Обязанностей у Мен Хи немало. Она собирает уцелевшие с прошлого года лесные орехи, съедобные коренья и травы, кору сладкого дерева — все, чем можно утолить голод. Она не позволит себе даже минутной передышки, пока не наберет еды на всю семью.

Мен Хи хорошо разбирается в кореньях, знает, что нежные листики и лепестки часто бывают горькими, а толстые и колючие, наоборот, вкусными. Радуется, когда находит красные цветочки торачжи. Она не срывает их, а вытаскивает

вместе с тонким волокнистым корнем. Если цветы не опали, значит, корень молодой и вкусный.

Это любимая еда отца. Правда, такие коренья нравятся всем, и отец велит делить их поровну, но мать все равно бо́льшую часть отдает ему. Только бы он не сердился.

Всеми силами Мен Хи старается угодить отцу. Девочка слышит, как он бранит мать и брата, а порой достается и ей, но она чувствует, как тяжело ему самому. Ей жаль отца.

Одно только обидно: он, наверно, думает, что Мен Хи наедается, пока ходит по лесу и лазает по горам. А это совсем не так. Ни одного орешка она не положит в рот, хотя оттого, что еда в руках, есть хочется еще сильнее.

Чем больше удастся собрать съедобных кореньев, тем спокойнее будет дома. И она без устали лазает по кустам, раздвигая колючие ветки худыми, обветренными и потрескавшимися руками.

На ней только штанишки и юбка, даже не юбка, а кусок старого холста, обернутый вокруг тельца и перетянутый шнурком.

Когда надо пробраться между кустами, а ветки, как колючая проволока, сухие, голые, она поднимает с боков юбку и ловко набрасывает ее на голову. Это защищает спину и грудь от колючек. А ноги — не страшно! Внизу меньше веток, да и ноги все равно исцарапаны.

Ее глаза бегают быстро-быстро, ощупывая каждый куст, каждую травинку. И где бы ни спрятался съедобный корешок, она обязательно найдет его!

Мен Хи гордится тем, что кормит всю семью. Правда, еда не очень вкусная, хорошо бы в отвар из кореньев немного чумизы добавить. Но отец не разрешает брать ни одного зернышка: они нужны для посева...

И вот, наконец, зерна брошены в землю.

Получить бы урожай, думает Пак, а там станет легче. Он хорошо воспользуется урожаем. Он не станет сидеть сложа руки и поедать чумизу, пока не съест все. Он будет работать осень и зиму, день и ночь. И мать его детей и дети тоже будут работать осень и зиму. А есть надо так же, как сейчас, будто у них совсем ничего нет. Только детям он будет давать немного чумизы, потому что дети могут умереть. У него осталось всего трое детей, ему и тут не повезло. У других по пять сыновей, а у него только два, да и то старший ушел из дому. Пусть хоть Сен Дин станет опорой семьи.

Работать надо много. И если все они так будут работать и не очень сытно есть, то к будущей осени у них соберется достаточно зерна. Тогда он спустится с горы. Он отдаст долг

Ли Ду Хану и плюнет ему в лицо. Пусть знает этот кровопийца, что Пак — честный человек. Потом он возьмет землю в аренду у японского помещика Кураме. Ведь у него самые плодородные земли. А тогда, может быть, им удастся даже купить тенбо земли.

В голоде прошло лето. Жили надеждой на урожай, молились многочисленным богам, которые ведали всеми благами: кто водой, кто солнцем, кто плодородием.

Но не вняли молитвам боги. Солнце накалило землю, иссушило, выжгло всходы, а потом тропический ливень смыл вместе с чахлыми ростками последние надежды на урожай.

Пак никого больше не ругал. Он молчал. В хижине стояла тишина. Мать и дети говорили шепотом и ждали решения главы семьи.

Вот уже несколько дней Пак говорил себе: «Сегодня обязательно надо что-нибудь придумать». Но приходил новый день — и все оставалось по-прежнему. Пак готов был плакать от горя, но стыдился своих голодных детей, которые безмолвно смотрели на отца и ждали его приказаний. Пак совершенно не знал, что делать. Может быть, пока есть силы, выкопать могилы?..

И вот однажды утром, когда он так сидел и так думал, Сен Дин тихо сказал:

— К нам кто-то идет.

Все повернулись в ту сторону, куда смотрел Сен Дин. Пак еще издали узнал Ли Ду Хана. И странное дело, он не только не испугался, но даже обрадовался. Случись такая встреча немного раньше, до того как погиб урожай, Пак, наверно, спрятался бы в лесу со всей семьей и сидел бы в чаще, выжидая, пока не уйдет с горы этот ненавистный Ли.

Но сейчас он не мог тронуться с места. Не отрывая глаз, смотрел, как медленно поднимается в гору Ли. Внизу осталось человек пять, а Ли идет один. Пак не знал, что́ заставило помещика прийти сюда, в горы, да и не думал об этом. Вообще он ни о чем не думал. Он только сказал:

— Теперь что-то произойдет.

Когда Ли Ду Хан поднялся на гору, он увидел, что хвадемин и все его домочадцы стоят на коленях, лбами касаясь земли.

Первым поднял голову Пак. Узкие, как щелочки, глазки Ли Ду Хана чуть-чуть расширились. Они, наверное, расширились бы еще больше, если бы не так заплыли жиром, потому что Ли очень удивился. Он не ожидал встретить здесь сбежавшего

от долгов издольщика. Он осмотрелся вокруг, увидел потрескавшийся горшок, в котором давно уже не было зерна, мотыгу с лямками, размытое дождями поле, на котором кое-где зацепились тощие, прилипшие к земле стебельки, и сразу все понял.

Он снова перевел взгляд на Пака и встретился с глазами, полными мольбы. Посмотрел на согнутые спины женщины и детей, хихикнул, потом еще раз хихикнул и наконец рассмеялся, замахав кистями своих маленьких ручек с толстыми, как колбаски, пальцами и ямочками на суставах.

Ли смеялся громко, и его тучное тело тряслось, а большое круглое лицо все сморщилось. Ему, наверно, трудно было так смеяться, потому что затылок у него сразу покраснел.

Отдышавшись наконец, Ли Ду Хан сладко сказал:

— Ну, принимайте гостя, угощайте белым рисом нового урожая с собственной земли, ставьте сури[1] на стол.

Сказав это, Ли снова захихикал от радости, оттого что все так хорошо складывается и что он так остроумно сказал.

Пак не знал, как ответить помещику, и растерянно смотрел на него. Но Ли вдруг стал серьезным.

— Есть ли у тебя, беглец, дочь по имени Мен Хи? — спросил он и приказал: — Вставайте!

Все поднялись, и Пак подтолкнул Мен Хи вперед.

— Вот ты какая? — протянул Ли Ду Хан.— Подойди сюда, я получше посмотрю, какая дочь растет у человека, который убежал от долгов.

Мен Хи взглянула на отца, поняла по его глазам, что должна слушаться этого человека, и шагнула к помещику. Но Ли уже не смотрел на нее.

— Пойдем в твой дом,— сказал он Паку,— не дело вести серьезный разговор при женщинах.

Пак поплелся за помещиком в хижину, и вся семья тревожно смотрела им вслед.

«Теперь что-то произойдет»,— вспомнила Апання слова Пака.

Ли Ду Хан брезгливо осмотрел обрывок циновки, валявшийся на полу, потом снял халат, бросил его рядом с циновкой и сел. Примостился в уголке на корточках и Пак.

Ли медленно достал из складок широких штанов кисет и закурил трубку. Пак не мог спокойно сидеть, потому что Ли смотрел на него долго и внимательно, не моргая, и молчал.

«Что бы ему сказать?» — подумал Пак, но ничего не мог придумать.

---

[1] Сури — рисовая водка.

Наконец Ли заговорил:

— Много раз мой отец и мой дед спасали твой род от голодной смерти, хотя это никакой выгоды нам не сулило и даже приносило убыток. И твой дед и твой отец всегда понимали это и вечно были благодарны нам. А ты опозорил свой род и убежал, не заплатив мне долг. По прежним законам все женщины твоего дома должны пойти ко мне в рабство, а ты подлежишь казни посредством удушения. Правда, рабство теперь отменили, но я не признаю новых законов. Сам бог указал мне, где прячется преступник, сам бог требует кары.

Сказав это, помещик снова уставился на Пака, а тот упал на колени, обнял ступни ног Ли, но ответить ничего не мог и только беззвучно открывал рот. Тогда Ли оттолкнул Пака ногой и снова заговорил:

— Но я великодушен и не сделаю даже того, чего требует закон. Я не возьму в залог твоих детей, как поступил бы на моем месте любой помещик. Я люблю добрые дела и сделаю еще одно доброе дело.

При этих словах хваденмин снова бросился на колени, повторяя без конца:

— Спаситель мой, спаситель мой...

— Я скажу тебе, как ты должен дальше жить,— продолжал Ли.

Теперь Пак смотрел на него с благоговением, думая, как бы получше ответить. У него даже мелькнула мысль, не позвать ли жену, но он тут же отогнал эту недостойную мужчины мысль. Ли может подумать, будто он так низко пал, что советуется с женщиной.

А Ли словно понял, о чем думает Пак.

— Неудачная жена тебе досталась,— говорил Ли.— Она рожала всего восемь раз, и только трое детей остались в живых. Слава небу, что оно пощадило твоих сыновей, ведь девочки — это горе в доме, а она нарожала столько девочек! Чтобы облегчить твою жизнь, я заберу твою дочь, которая может только есть, а работать еще не может. Она будет жить в моем доме, а когда ей исполнится тринадцать лет, ее возьмет в жены мой сын.

Пак слушал и в такт словам помещика кивал головой. Он опять не знал, что сказать. У него была одна главная мысль, которая занимала всю его жизнь: как прокормить семью? Ни о чем другом он не думал. А теперь вдруг свалилось счастье: его дочь выйдет замуж за сына помещика. Наверно, тут что-то кроется. Надо внимательно слушать. Но ведь хуже, чем сейчас, не может быть, значит, бояться нечего.

Правда, говорят, сын у Ли Ду Хана не из удачных, но он — единственный наследник.

— Я дам тебе еще чумизы и гаоляна,— продолжал Ли,— и ты вернешь мне долг после свадьбы дочери. На такой большой срок ни один помещик не дает зерно. За все зло и убытки, что ты мне причинил, я делаю тебе добро и ставлю только одно условие: после свадьбы ты, и мать твоих детей, и дети твои забудут дорогу к моему дому.

Бывало, конечно, что и Пак, послушав деревенского сказочника, начинал мечтать, но дальше желания получить такой урожай, чтобы рису хватило и на уплату долгов и для семьи, эти мечты не шли. И вдруг произошло такое, чего даже сказочник не мог бы придумать.

Пак Собан не сразу поверил своему счастью. Может быть, он не так понял Ли Ду Хана. И он неожиданно для самого себя спросил:

— Как же ваш сын возьмет мою дочь? Когда умерла его жена, ему было тридцать шесть лет. С тех пор прошло два года, а моей недостойной дочери нет еще и одиннадцати.

— На старой яблоне цветут цветы, и нет их на молодой,— медленно произнес Ли.— Пусть радуются ее родители, что ей выпало такое счастье.

Апанния сидела возле хижины и слушала разговор мужчин. Она прижимала к себе девочку, а та, ничего не понимая, но предчувствуя какое-то новое горе, ласкалась к матери, стараясь успокоить ее.

Ли ушел, а Пак еще долго сидел на циновке. Потом поднялся, подтянул штаны, расправил плечи и вышел из хижины. Увидев его, Апанния поспешно стала вытирать слезы.

Пак Собан подумал, что она, наверно, слышала, о чем говорил Ли Ду Хан, но все же нашел нужным сообщить ей новость.

— Тут мы с помещиком договорились об одном деле, по которому он приходил ко мне,— солидно сказал Пак.— Я решил выдать свою младшую дочь за его сына.

ПОМОЛВКА

Помолвку справляли, как полагается по всем обычаям, будто и впрямь пришло радостное время выдавать дочь замуж.

Прежде всего проверили, смогут ли новобрачные жить

дружно. Оказалось, что Мен Хи родилась в день зайца, а сын Ли — в день змеи. Ли Ду Хан сказал, будто ничего особенного в этом нет, но Апанния очень убивалась: ведь змея пожирает зайца. Вот если бы Мен Хи родилась хотя бы на сутки раньше, это был бы день тигра. И хоть счастливой жизни могло не быть, но Мен Хи в обиду себя не дала бы. Однако делать было нечего, пришлось примириться.

Потом мать жениха пришла в хижину Пака осмотреть невесту, а Пак спустился в долину и поговорил с Ли Ду Ханом. Они дали друг другу согласие на брак своих детей.

Спустя несколько дней Ли написал большое письмо Паку, состоящее, как полагается, из вежливых слов и приветствий. Только в конце сообщил, что у него есть сын, еще не успевший жениться, и он мог бы подумать насчет того, чтобы обвенчать сына с дочерью Пака.

Письмо было написано на красной бумаге, символизирующей радость. Ответное письмо заготовил тоже Ли, потому что Пак не умел писать и у него не было бумаги.

Пак с Сен Дином ходил за этими письмами к Ли Ду Хану, и тот дал им немного чумизы и гаоляна.

Встречаясь с односельчанами и отвечая на их вопросы, Пак вел себя достойно, как и подобает родственнику помещика.

— Я не могу с вами долго задерживаться,— говорил он.— У нас с Ли Ду Ханом сейчас много хлопот. Вчера в мой дом приходила его жена, да только на женщин трудно положиться. Придется нам с Ли Ду Ханом все самим готовить к помолвке.

И помолвка состоялась.

Теперь никто не мог бы расторгнуть брак Мен Хи с сыном Ли, хотя они еще друг друга не видели и до свадьбы было далеко. Главное — письма на красной бумаге с решением отцов.

После помолвки тоин определил день свадебного обряда. Это тоже непростое дело. Надо выбрать счастливый день, тогда брак будет прочным, а жизнь радостной. Такое дело можно доверить только тоину.

Апанния выстирала ветхую юбочку Мен Хи, причесала ее, сделала из тряпочки бантик и повела дочь в долину. Пак стоял на горе и смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду.

Мать и дочь шли долго и молча. Но вот внизу показалась их родная деревня и большой дом с увитыми виноградом огромными застекленными террасами. Тяжелые черные гроздья ярко выделялись на фоне зелени, закрывавшей почти все строение.

На гребне серой черепичной крыши с загнутыми вверх краями возвышалась на столбиках еще одна крыша, а на ней изготовились для прыжка два резных дракона из черной сосны. Их кроваво-красные глаза из светящегося камня зловеще горели в лучах солнца. С горы был виден большой двор, весь усаженный причудливыми растениями и фруктовыми деревьями.

Мен Хи много раз видела этот дом, но сегодня он показался ей мрачным. Она остановилась и прижалась к коленям матери.

— Не бойся, Мен Хи,— сказала Апання, гладя дочь по спине.— Ты будешь жить в этом красивом доме, ты будешь всегда сыта.

Они прошли первый двор, который был заставлен арбами, завален мусором и навозом. Со всех сторон громоздились сараи, амбары, пристройки. У ворот второго двора они остановились. Какая-то женщина спросила, что им надо. Апання начала объяснять быстро и бессвязно. Она еще не кончила говорить, когда женщина ушла, сказав, чтобы они подождали.

Ждать пришлось долго. Апання видела, что Мен Хи едва сдерживает слезы, но не умела успокоить девочку и только гладила ее волосы. А Мен Хи все теснее прижималась к матери и все крепче стискивала в пальцах подол ее юбки. Наконец снова появилась женщина.

То ли долгое ожидание так подействовало на Апанню, но только она рванулась вперед, как бы боясь опоздать, а рядом с ней, цепляясь за подол, почти бежала Мен Хи.

Апання не заметила, как волосы ее растрепались, а юбка сбилась на сторону. Ее подстегивало сознание того, что человек, вышедший из этого богатого дома, не будет долго стоять и ждать ее, жену хваденмина, жену Пака-неудачника.

Женщина сказала Апанне, что девочку она может оставить, а самой ей не стоит задерживаться и терять здесь время. Апання прижала к себе растерявшуюся Мен Хи, но тут же услышала недовольный голос:

— Разве ты не видишь, что девчонку ждут?

Вслед за своей провожатой Мен Хи пересекла второй двор и по крутым ступенькам спустилась в кухню. Женщина велела ей ждать здесь, а сама поднялась по отлогой лесенке и через красивую дверь пошла в комнаты.

Никогда Мен Хи не видела такой большой кухни. И людей здесь оказалось много. Возле маленьких чугунных котлов, наглухо вделанных в низенький очаг, возилась пожилая женщина. Рядом с ней другая женщина набирала горячую воду

тыквенным ковшиком из большого котла, тоже вделанного в очаг, и наполняла рядом стоящее деревянное ведро.

В углу, у выступающего из пола цементного корыта с дыркой посредине, девушка промывала овощи, лежавшие на дне. Она поливала их из шланга, то нажимая, то отпуская зажим.

Мен Хи с любопытством осматривала кухню. Особенно заинтересовал ее широкий низкий стол рядом с цементным корытом. Весь он был уставлен посудой. Медные, ярко начищенные котелки и деревянные, покрытые черным или красным лаком чаши, мелкие, глубокие, инкрустированные перламутром, на красивых подставках и совсем простые. Затем шли глиняные горшки и горшочки, грубые, шероховатые, а рядом — глянцевые, отшлифованные. Несколько ящичков с палочками для еды: в одном — бамбуковые, в другом — костяные, в третьем — металлические. Тут же ложки: вогнутый в центре медный кружок и от него — тонкий стержень. Целый набор ножей, самых различных по форме и размеру.

Не успела Мен Хи налюбоваться всей этой красотой, как появилась Пок Суль — жена Ли Ду Хана. Она ни о чем не спросила девочку, только велела следовать за собой. Они вышли во двор и приблизились к горке с песком, возле которой стоял большой чугунный котел.

— Надо его хорошенько вычистить,— указала Пок Суль на котел,— да побыстрее, потому что у тебя сегодня и без того много дел.

Мен Хи быстро взялась за работу. После того как котел был вычищен, она молола камнем зерно, потом чистила какую-то посуду.

Незаметно наступил вечер. С поля приехали люди, двор заполнился скотом, арбами, поднялся шум, суматоха. Теперь у нее оказалось несколько хозяев.

Мен Хи не знала, за что раньше хвататься. Она таскала воду в корыто для скота, убирала в хлеву навоз, разгружала арбу с хворостом.

Должно быть, от голода у нее кружилась голова.

Поздно вечером двор затих и люди разошлись. Какая-то женщина дала ей похлебку из чумизы и показала кладовку за кухней, где разрешила лечь спать. Мен Хи быстро поела и свалилась на мешок из рисовой соломы, лежавший на полу.

Так прошел первый день новой жизни Мен Хи. Потом эти дни потянулись нескончаемой чередой.

Порой ей выпадало счастье мыть посуду. Озираясь по сторонам, она выбирала руками остатки пищи из чаш и со сковородок и быстро проглатывала ее. Какой, оказывается, вкус-

ный рис! А вот косточка от фазана, какой-то соус, рыбий хвостик. Она ела все подряд, пугливо поглядывая на все четыре двери кухни, чтобы ее не застали врасплох.

Однажды Мен Хи велели убрать комнату, где спали хозяева. Пок Суль сама отвела ее туда. Девочка увидела на полу шелковые ватные одеяла. Одни из них служили матрацами, другими укрывались. В головах лежали набитые рисовыми отрубями валики. У окна стоял круглый столик, едва достигавший Мен Хи до колен, а возле него пестрели яркими цветами две плоские шелковые подушечки.

Но не это привлекло внимание Мен Хи. Она с восхищением смотрела на высокий узкий сундук, стоявший у стены. Он был покрыт черным лаком, а на углах горели ярко начищенные медные пластинки. Переднюю широкую стенку сундука украшал стоявший на одной ноге огромный аист. Он удивленно смотрел на лягушку, высунувшуюся из камыша. И аист, и лягушка, и камыш были из перламутра, врезанного в дерево. В луче солнца перламутр отливал то розовым, то голубым светом, блестел и искрился.

Крикливый голос хозяйки заставил Мен Хи оторвать взгляд от сундука. Пок Суль объяснила, как надо убрать комнату, и ушла. Мен Хи принялась за дело. Раздвинула дверцы двух стенных шкафов, в один из них уложила валики, в другой — плоские подушечки и туда же поставила набок столик. Позже Мен Хи узнала, что и стол и эти плоские подушки для сидения достают из шкафа только тогда, когда ими пользуются. Миновала в них надобность — и сейчас же все убирают.

Одеяла обычно тоже прячут в большие стенные шкафы, и в комнате ничего не остается, кроме сундука. Иногда на него укладывают одеяла. Так и велела сделать хозяйка перед уходом.

Одеял оказалось шесть штук, и все разного цвета — красное, синее, голубое, салатное, розовое и сиреневое. Сложив каждое вчетверо, Мен Хи соорудила из них на сундуке башню. Получилось очень красиво.

Потом протерла белой тряпочкой рамы, стены, пол и с особенным удовольствием сундук. Она погладила ладошкой аиста, а лягушку ткнула пальцем. А вот что делать с двумя картинами, Мен Хи не знала: надо их вытирать или нет.

Закончив уборку, в нерешительности остановилась перед ними. Картины большие, хотя и узкие,— верх достигает потолка, низ — почти у самого пола. Одна из них изображала дракона в полете, другая — цветущий сад.

«Какое счастье — жить в такой комнате!» — подумала

Мен Хи, разглядывая картины, но тут же услышала, что ее зовут.

Убирать спальню девочке доводилось редко, и каждый раз это было для нее праздником, о котором потом долго вспоминала, копая навоз или ухаживая за скотом.

Первое время Мен Хи никак не могла привыкнуть к окрикам. Услышав, что ее зовут, она вздрагивала и опрометью бросалась на голос. Теперь на нее уже не действовала брань хозяев, она почти совсем перестала плакать и лишь мечтала о той жизни, что ждет ее на небе. Там, наверно, очень хорошо: земля на небе голубая, а комнаты сделаны из перламутра, как аист на сундуке хозяев.

Но однажды ей пришла в голову мысль убежать. Вечером незаметно выйти за ворота — и бегом из этого дома! Она твердо решила бежать, но вот куда, никак не могла придумать.

Домой, на Двуглавую гору, нельзя. Нельзя ослушаться отца, да и помещик сразу же пришлет за ней. А может быть, отец давно ушел с той горы? Все ее мысли теперь были о том, куда скрыться.

Однажды у родника, куда Мен Хи пришла за водой, она увидела человека, стоявшего к ней спиной. Мен Хи сразу узнала отца, хотя он показался ей ниже ростом и более сутулым. Она узнала его по одежде, по халату, который помнила столько, сколько помнила себя. От неожиданности кувшин выпал у нее из рук, она рванулась к отцу, обхватила его колени.

Пак молча привлек к себе дочь. Он смотрел на две заплатки на локтях, которых раньше не было, и понял, что она пошла в мать, потому что заплатки были поставлены очень аккуратно, а кофта оказалась чисто вымытой, хотя изрядно потертой. Но это и не удивительно: ведь с тех пор, как она перешла в дом помещика, прошел целый год.

Потом Пак присел на корточки, а она стояла возле него и рассказывала, как все красиво в этом доме, где она живет, и как вкусно там кормят.

Пак слушал и гладил ее волосы. Он рассказал, что они живут немногим лучше, чем там, в горах, что он и мать батрачат у помещиков, кочуют по чужим полям.

— Семья наша стала совсем маленькой,— горестно говорил Пак.— Вслед за Сен Челем ушел из дому Сен Дин. Он сказал, что лишний рот обременяет нас, и ушел в Пхеньян.

Оказалось, что мать много раз приходила сюда, но во двор ее не пускали, и она часами простаивала на улице в надежде увидеть Мен Хи

Потом Пак заговорил о самом главном. Она уже большая и должна все понимать. Когда ей исполнится тринадцать лет, Тхя, сын помещика, построит дом и заберет Мен Хи к себе. Она сама будет там хозяйкой, и слушаться ей придется только мужа. А пока Мен Хи не должна терять времени даром. Пусть хорошенько присматривается на кухне. Пусть научится готовить, и Тхя будет доволен.

— На твою долю выпало большое счастье,— говорил отец.— Станешь жить отдельно, будешь угождать мужу, кто знает — и нам что-нибудь перепадет.

Мен Хи повеселела. Может, и в самом деле она сумеет помогать родным?

НА БЕРЕГАХ ДАЙДОКО

Хейдзио — очень большой город. Хейдзинские заводы и фабрики работают круглые сутки. Железнодорожные линии подходят к городу со всех сторон. Каждый день сюда прибывают сотни эшелонов с продуктами, промышленными товарами, оружием. Артиллерийский арсенал, расположенный на огромной территории, всегда забит вагонами. Безостановочно идет погрузка и выгрузка. Спокойные воды Дайдоко, разрезающей город на две части, усеяны джонками, баржами, катерами. Они привозят кожу, птицу, рыбу, посуду. Глиняной посудой заставлены причалы на несколько километров. Медленно движутся по реке длинные сплотки леса. Колонны тяжело груженных автомашин бесконечной лентой вьются по шоссейным и грунтовым дорогам, пересекающимся в Хейдзио.

Хейдзио — город изобилия.

Вблизи станции сын Пака-неудачника, Сен Дин, соскочил с подножки нефтяной цистерны, на которой ехал, и спросил у проходившего мимо железнодорожника, действительно ли это город Пхеньян, что стоит на реке Тэдонган.

— Ты шутишь с тигром! — сердито ответил железнодорожник, пугливо озираясь по сторонам.— Или ты деревенщина и не знаешь, что такого города и такой реки не существует? Или ты так темен и не знаешь, что тридцать лет назад японцы переименовали Пхеньян в Хейдзио, а Тэдонган в Дайдоко? Или ты думаешь, что за твои дерзкие слова тебя всего лишь посадят в тюрьму и ты сможешь бесплатно есть два раза в день и никто не будет тебя пытать?

Сен Дин начал поспешно оправдываться:

— Я в самом деле деревенщина из села Змеиный

хвост,— сказал он,— и действительно я неграмотен, как и мой отец Пак Собан по прозвищу Пак-неудачник. И не один я темный человек, а вся наша деревня такая темная, что никак не может запомнить японских слов — Хейдзио и Дайдоко.

Железнодорожник неодобрительно качал головой, а Сен Дин, злясь на себя, что не может толково поговорить с человеком, и боясь, как бы тот не потащил его в полицию, продолжал оправдываться:

— Да, да, мы такие темные люди, что ничего не можем запомнить, и, если пройдет еще тридцать лет, мы все равно, наверно, не сможем выучить японских названий, потому что в деревне старики всегда рассказывают сказки про Пхеньян, который существует несколько тысяч лет, и о реке Тэдонган, которая течет в море с тех пор, как бог создал землю.

Высказав все это, Сен Дин не стал дожидаться ответа, а пошел прочь, подальше от беды.

Еще издали он увидел вокзал. От стены здания через все пути и платформы шел высокий закрытый мост. На каждую платформу с моста спускались лестницы, и по ним вверх и вниз двигались люди с корзинами и тюками на головах, с носилками за плечами.

Сен Дин выбрался в город и побрел по центральной улице, протянувшейся от вокзала до горы Моранбон. Он оглядывал странные, многоэтажные дома с крышами, сделанными из железа. Он шел медленно, уступая дорогу японцам и японкам, хотя и не так проворно, как это делали городские жители.

Он шел медленно, и его обгоняли японские автомобили, трамваи, велосипедисты, рикши и даже повозки, запряженные буйволами. И только двух стариков, тащивших ассенизационную бочку на тяжелых колесах, он обогнал сам, потому что они двигались очень медленно и от бочки распространялось зловоние.

Сен Дин шел и с интересом смотрел на дома этой широкой извилистой улицы. В каждом доме были магазины, а между домами ютились палатки, ларьки, мастерские чугунной и медной посуды. Велосипедные мастерские чередовались с харчевнями, закусочными и ресторанами, а крошечные магазинчики сладостей лепились рядом с лавками, где торговали скобяными изделиями или тонким фарфором.

На этой улице продавалось все, что может придумать человек. И Сен Дин видел, как хорошо здесь можно закусить.

Сен Дин хотел есть. Поэтому он не останавливался возле магазинов электрических моторов или у складов железных мотыг и не смотрел даже на живую рыбу и осьминогов

в витринах. Он любовался большими железными бочками, стоявшими на тротуаре, в которых варился на пару́ сладкий картофель в кожуре. Ему понравились жаровни, где калились каштаны, перекатываясь в горячем зерне. Он подолгу смотрел в открытые двери харчевен и вдыхал острый запах сильно наперченной капусты — кимчи — и аромат круто сваренного риса — паба.

Возле магазинов и ларьков, у палаток и мастерских стояли продавцы и зазывали покупателей, и тащили их за рукав, расхваливая свой товар. Но громче всех кричали мальчишки, и над улицей несся их многоголосый, нескончаемый вопль:

— Кон-фе-ты-ы!

У каждого дощечка на веревке или ремне через плечо, а на ней десяток-два дешевых конфет. Едва ли за весь день им удается продать половину своего товара. И если появляется покупатель, на него налетает целая стая оборванных ребят, и каждый, отталкивая локтями конкурентов, сует ему в руки липкие шарики без обертки.

У входа в переулок, узкого, как дверной проем, седой старик разложил свой товар прямо на земле: бумажный зонтик с разноцветными заплатками, поломанный напильник, несколько тюбиков дешевых румян, толстую, истлевшую от времени книгу, заржавевший механизм будильника, жестяной чайник и другую рухлядь. Старик сидел на земле, поджав под себя ноги, опустив голову, и что-то бормотал. Сен Дин, не понимая, чем старик торгует, удивленно посмотрел на это торговое дело и присел вблизи на корточки отдохнуть.

Люди проходили мимо, не обращая внимания на старика, и сам он не зазывал покупателей. Время от времени возле него задерживался лишь зевака или любопытный мальчуган, но старик не поднимал на них глаз.

Вот остановился прохожий, безразлично осмотрел товар, уже отошел было, но возвратился и спросил:

— А сколько стоит вот эта железка?

Старик поднял голову и задумался. Причмокивая губами, он соображал, какую бы назначить цену, чтобы не отпугнуть покупателя, но и не продешевить.

— Железка? — наконец переспросил он. — О-о-о, это хорошая железка! Двадцать чжен[1], — произнес он, нерешительно глядя на покупателя, готовый тут же уступить.

— Дорого, — протянул покупатель.

— Ну, бери за три чжены...

— А вот этот деревянный обруч от бочки? — снова спро-

[1] Чжена — одна копейка.

сил покупатель и, не дожидаясь ответа, пошел дальше, повторяя: — Дорого, дорого...

— Эй, бери эту железку даром, раз она тебе так нужна! — крикнул старик.

Но прохожий только махнул рукой и зашагал быстрее.

Сен Дину стало жаль старика. В самом деле, кто же захочет покупать эту ржавую железку или вытертый клочок меха!

Старик снова опустил голову.

Он сидит в центре города Хейдзно, между трехэтажными зданиями токийского отделения универмага господина Суга Эйсабуро и оптовой базой текстильного короля Катакура Кинта, и дремлет, покачивая седой головой. Он сидит на солнцепеке целый день, и его сетчатая шапочка из конского волоса не защищает голову от палящих лучей.

Автомобильные сирены, стук подков самурайской кавалерии — весь шум центра города не задевает его слуха, не тревожит, не возбуждает мыслей. Он думает о чем-то своем, далеком, и, может быть, кажется старцу, будто он высоко в горах, где легко, свободно дышится и человека не сжимают со всех сторон каменные глыбы зданий господина Суга Эйсабуро и господина Катакура Кинта. Или видится ему зеркальная гладь рисовых полей, залитых голубой водой, но не на земле, а на небе, на корейской части неба, куда небесный Окхвансанде не допустит ни одного японца. А может быть, чудится ему древний-древний Пхеньян, у стен которого корейцы разбили армию Хидэёси, разгромили маньчжур, не допустили заокеанских пиратов к сокровищам королевских гробниц, и слышится мирный звон колокола, возвещающий вечер, и сигнал страже, чтобы запирала на ночь городские ворота, и сигнал мужчинам, чтобы уходили в свои дома, и сигнал женщинам, что они спокойно могут выходить на прогулку.

Лицо у старика ясное и спокойное, будто исходит от него тихая грусть об утраченном счастье, о закованной в кандалы родине, о чем-то далеком и безвозвратном, о жизни, что проносится мимо.

Но вот это лицо вдруг стало суровым, и уже не шепот, а слова, дерзкие, злые, слетели с его губ. Он сжал сухие ладони в кулаки, поднялся с земли, вышел на тротуар и вызывающе посмотрел по сторонам из-под густых, нависших на глаза бровей.

Торопясь прошел мимо японец, но старик не уступил дороги, не посторонился, не отдал земного поклона. «Пусть стреляют!» — говорили его глаза.

Спустя немного времени он успокоился, сел на старое место и снова погрузился в свои думы.

Сен Дин пошел дальше.

Он никак не мог понять, почему на этой большой и красивой улице собралось так много нищих. На всем пути от вокзала навстречу ему попадались нищие.

Особое внимание Сен Дина привлек человек, уткнувшийся лицом в асфальт. Обеими руками он держался за голову и кричал. Тело едва прикрывали лохмотья, а черные, будто поросшие корой руки были совсем голыми.

Какой-то юноша бросил ему чжену.

Человек на асфальте протянул черную руку, подгреб под себя монету и, не взглянув на того, кто ее бросил, продолжал кричать.

Сен Дин двинулся было дальше, но тут его внимание привлекли беспрерывные гудки, раздававшиеся словно с неба.

— Эй ты, деревня! — услышал он окрик.— Остановись! В полицию захотел?

Сен Дин обернулся. Только сейчас он заметил, что все замерло: остановились трамваи, автомашины, рикши. Остановились пешеходы. Прекратили торговлю лоточники.

— А почему надо остановиться? — робко спросил Сен Дин человека, который только что кричал на него.

— Разве ты не знаешь, что каждый день ровно в двенадцать часов весь народ одну минуту молится о победе над Китаем и чтит память о погибших?

— Ах вон что! — удивленно протянул Сен Дин. Он помолчал, оглядывая замершую улицу.— А почему же никто не молится? — снова обратился он к соседу.

— Видно, ты и впрямь захотел в полицию! — зло сказал тот.— Держи лучше язык за зубами.

Но тут минута молитвы кончилась, и улица оживилась.

На перекрестке, у входа на рынок, не то фокусник, не то сказочник возбужденно говорил, вертя в руках замученную змею, а окружавшая его толпа громко выражала свои восторги.

Сен Дину тоже хотелось посмотреть на это зрелище, но он не остановился. У него не было даже мелкой монеты, чтобы положить в шляпу фокусника, когда тот начнет обходить толпу. А смотреть бесплатно он не решился.

Сен Дин прошел всю центральную улицу. Справа — гора Моранбон с пагодами, гротами, храмами и вьющейся по склону узкой асфальтированной дорогой. Слева на сопке — черное мрачное здание японской жандармерии.

Впереди шоссе круто падает вниз, и не понять, как удерживаются на рельсах трамваи и спускаются медленно, а не летят кувыркаясь, точно в пропасть.

Между шоссе и черным зданием, далеко-далеко внизу, огромное скопление жилищ. Сен Дину видны только бесчисленные черепичные крыши, сросшиеся в одну, будто лежит там бездыханное исполинское тело чешуйчатого животного.

Пхеньян — значит ровная почва. Кто выдумал такое название? Нет, Пхеньян — многоярусный, ступенчатый город. И каждая ступень имеет свою историю, свое назначение.

Красивые одноэтажные домики, утопающие в декоративных растениях карликовых садиков и увитые виноградом, с бумажными фонариками у ворот — это для самураев.

Центральные торговые улицы с многоэтажными европейскими зданиями — тоже для самураев.

Промышленная часть города по левую сторону реки — и корейцам и японцам: японцы владеют там заводами, корейцы работают.

Старый город под черепичными крышами, в самом низу, оторванный от воды, от рынка, от вокзала,— это только корейцам.

Сен Дин не стал спускаться вниз, в черепичный город. Он повернул назад и начал искать работу. Заходил в каждую мастерскую, в каждый магазин и с достоинством предлагал свои услуги. Кое-где ему просто не отвечали, и, немного постояв, он уходил; кое-где отказывали, и он уходил сразу же.

Возле какого-то склада Сен Дин увидел рикшу, взгромоздившего на грузовую тележку целый дом из тяжелых ящиков. Рикша напрягал все силы, толкая тележку в разные стороны, но сдвинуть ее с места не мог. Сен Дин бросился помочь ему, но едва успел навалиться плечом на коляску, как услышал голос рикши:

— Эй, ты, наверно, думаешь получить с меня половину? Так лучше не подходи!

— Сколько дашь, и за то спасибо скажу,— ответил Сен Дин, смекнув, что здесь можно заработать.

— Нет, нет, не надо. Ты только подтолкни, чтобы тронуться с места.

...Вечером, когда в магазинах начали спускаться железные шторы, Сен Дин снова увидел уже знакомого ему старика. Тот разостлал на земле холстинку и укладывал на нее товар. Потом завязал углы крест-накрест, взял узел в руку, на другую надел деревянный обруч от бочки и побрел по улице.

Может быть, где-нибудь на окраине города его ждет семья. Когда зажгут кунжутку и подадут черную чумизу, ему не стыдно будет есть, потому что он честно отработал весь день.

Сен Дин долго смотрел вслед удаляющейся сгорбленной фигуре, потом медленно побрел к вокзалу. Он хотел есть, но

понимал, что сегодня ему уже ничего не удастся заработать, и старался заглушить в себе сосущее чувство голода. Он шел и в тусклом свете уличных фонарей с трудом узнавал дома, куда заходил днем в поисках работы.

Вскоре показалась вокзальная площадь. С грохотом разворачивались на кругу трамваи, нетерпеливо сигналили автомобили, озираясь по сторонам, ловко увертываясь от машин, бежали рикши.

Сквозь ограду из толстых железных прутьев с острыми наконечниками видна была часть перрона. Люди, уже успевшие занять места в вагонах и уложить на полках свои вещи, медленно прохаживались по платформе. Расталкивая их, торопились носильщики с целыми горами корзин и чемоданов на заплечных носилках.

Перед входом в здание вокзала важно расхаживали полицейские в белых пробковых шлемах, и Сен Дин побоялся пройти мимо них. Помедлив немного, он завернул за угол крайнего на главной улице дома и устало опустился на корточки возле глухой темной стены, выходящей на площадь.

Голод одолевал его. Он долго и безнадежно смотрел по сторонам, пока веки сами собой не начали смыкаться. Незаметно для себя Сен Дин задремал, уронив голову на грудь, но тут же вздрогнул от звука промчавшейся мимо машины. Он уселся поудобнее, скрестив руки, и снова стал клевать носом. Над самым ухом раздался резкий сигнал автомобиля, и он мгновенно пробудился.

Так он спал, поминутно вздрагивая от испуга. Когда открывал глаза, перед ним возникала картина вокзальной суголоки, и она казалась ему смутной и далекой.

Под утро Сен Дин лег на землю. То ли оттого, что несколько затих шум, то ли от слабости, охватившей его, но спал крепко, пока не припекло солнце. Тогда он медленно встал и потянулся, чтобы размяться. Перед ним была та же шумная вокзальная площадь, но она уже не казалась ему такой страшной.

Вот парень, по виду ничем не отличающийся от него самого, не обращая внимания на полицейских, несет чемодан, вот другой катит тележку с поклажей. У входа в станционное здание мальчишка торгует кипятком.

Все чем-то заняты, куда-то торопятся. Настанет день, когда и ему повезет. Нельзя же рассчитывать, что счастье привалит сразу, с первых шагов в чужом городе. Как только он соберет немного денег, он подумает и об отце. Он попросит, чтобы ему отмерили мешочек с той рисовой горы, которую он вчера видел в магазине на центральной улице, и от-

везет подарок в деревню. И денег надо будет отвезти. Пусть отец видит, какой у него сын.

Внимание Сен Дина привлекли иероглифы на узких красных полотнищах, которые тянулись от крыши вокзала до самой земли.

— Что здесь написано? — остановил он какого-то паренька, указывая на надпись.

Тот, видимо гордясь, что к нему обратились, охотно прочитал:

— «Япония и Корея — едины. Защищая интересы Кореи, божественный император Страны восходящего солнца ведет святую войну против Китая. Каждый, кто не держит в руках оружия, должен пожертвовать все, что имеет, во имя победы!

Десять тысяч лет жизни божественному императору — сыну богини Аматерасу!»

Сен Дин направился к главному подъезду вокзала. Оттуда гурьбой выходили пассажиры, и несколько человек наперебой предлагали им поднести вещи. Сен Дин не решился подойти близко к толпе, но, по мере того как носильщики подхватывали чемоданы прибывших и освобождалось место у входа, он приближался к двери. Поток пассажиров сильно поредел, а вскоре и совсем прекратился. И сразу же исчезли куда-то носильщики. Сен Дин медленно побрел в сторону. Не успел он сделать и нескольких шагов, как его окликнули. Обернувшись, он увидел старика в богатом халате.

— Поднеси-ка,— указал тот рукой на увесистый тюк, лежавший у стены.

Сен Дин радостно закивал головой и поспешил к ноше. Он уже наклонился над ней, когда сильный толчок едва не сшиб его с ног. В следующее мгновение он увидел какого-то тощего малого, ловко выхватившего тюк из-под самого его носа.

— Эта деревенщина уронит ваши вещи,— услышал Сен Дин слова, обращенные к старику.— Отец моего отца, я донесу вам очень аккуратно, куда надо доставить?

— Он врет! — закричал Сен Дин, бросившись к старику.— Отец моего отца, ведь я первый подошел.

Но тот только махнул рукой и пошел, а за ним двинулся носильщик, оборачиваясь и грозя кулаком.

Сен Дин растерянно смотрел им вслед, пока они не пересекли трамвайную линию и не скрылись в людском потоке. Он готов был заплакать от досады. К тому же невыносимо сосало под ложечкой: второй день в Пхеньяне, а еще ни разу не ел. Но ничего, он дождется следующего поезда.

Долгое время Сен Дин бесцельно слонялся по площади. Ни одного носильщика поблизости,— значит, можно твердо рассчитывать на заработок.

Заняв место у главного входа, он решил терпеливо ждать. Но вот наконец поезд прибыл, стали выходить пассажиры, и тут он увидел себя окруженным толпой носильщиков, неизвестно откуда набежавших. Кто-то толкнул его, кто-то оттеснил плечом, и он оказался в самом хвосте. Так и простоял позади всех, пока не ушел последний пассажир.

Ни на что больше не надеясь, Сен Дин поплелся через площадь на центральную улицу. Шел мимо мастерских и магазинов, где вчера искал работу, понимая, что заходить туда бесполезно. Дойдя до перекрестка, Сен Дин свернул в сторону и оказался в людном переулке.

Вдоль тротуара тянулся длинный ряд лотков со сладостями и земляными орехами. По другую сторону стояли торговцы, у которых вместо лотков были печи и жаровни. Каждый громко расхваливал свой товар.

Сен Дин шел, стараясь смотреть прямо перед собой, чтобы не видеть всех этих вкусно пахнущих лакомств. Он миновал три железные бочки, где на пару́ варился сладкий картофель, и незаметно для самого себя остановился возле торговки пирогами. Время от времени она закладывала в маленькую жестяную печь круглые шары из теста, а те, что были уже готовы, доставала лопаткой с углублением посредине. Готовые пирожки тоже походили на шары из сырого теста, потому что в печи они не пеклись, а обжигались паром.

Чтобы люди, стоявшие возле торговки, не заслоняли товар и чтобы он издали был виден каждому, кто входил в переулок, женщина ловко подбрасывала вверх свои шары, и они мелькали в воздухе, будто ими орудовал фокусник. Вдобавок она громко расхваливала свои изделия. Ее соседи делали то же самое, стараясь перекричать друг друга, и над лотками стоял неумолчный гул.

Сен Дин решил поскорее миновать этот ряд и все время пытался ускорить шаг, но то и дело обнаруживал, что почти не двигается с места. Особенно долго он простоял возле черного, хорошо промасленного противня, лежавшего на двух кирпичах. Между ними тлели древесные угли, и мальчишка следил, чтобы огонь не угасал ни на минуту. Толстый торговец в засаленном халате натирал маслом полированную поверхность противня и поливал его жидким тестом с маленькими кусочками мяса, мелко нарезанной зеленью и красным перцем. Когда тесто поджаривалось, он тут же разрезал его на красивые квадратики тонким длинным ножом и ловко бро-

сал их в кастрюлю, снимая с нее ватную нашлепку. Сен Дин долго не мог оторвать глаз от противня.

Наконец он выбрался из торгового ряда и вышел в тихий асфальтированный переулок.

Как же прожить человеку без пищи? В деревне он хоть корней поел бы, а здесь что? Пусть кто-нибудь даст ему поесть!

Он не может так больше! Надо хоть один раз досыта наесться, а потом он придумает, как жить дальше.

Сен Дин так глубоко задумался, что чуть не попал под грузовик, круто свернувший во двор.

— Эй ты, деревенщина, затвори рот! — смеялся шофер, выглядывая из кабины.

И откуда они все знают, что он из деревни?..

От нечего делать Сен Дин заглянул во двор, где остановилась машина. В этот момент шофер выскочил из кабины и начал опускать борт. Заметив Сен Дина, крикнул:

— Ну, деревня, иди сюда, помоги разгрузить уголь, заработаешь на навоз!

Сен Дин испуганно оглянулся. Может быть, это не его зовут? Выскочит сейчас кто-нибудь из переулка и перехватит работу, которую он нашел.

Шофер дал Сен Дину лопату, показал, куда бросать уголь, и обещал поговорить с хозяином, чтобы тот не жадничал и заплатил за работу сколько положено.

Сен Дин быстро разгрузил машину, и, когда уже подметал кузов, шофер позвал его.

— Хозяин велел тебе перетаскать уголь в котельную,— сказал он.— А пока вот возьми поешь.— И он сунул в руки Сен Дина две сушеные каракатицы.

Сен Дин так растерялся и обрадовался, что не смог сразу произнести слова благодарности. Машина уже тронулась со двора, а он все еще стоял, прижав к груди каракатиц, и кланялся, пока грузовик не скрылся из виду. Тогда Сен Дин по-хозяйски закрыл ворота и, отойдя в угол двора, усевшись на корточки, начал есть. Он не набросился на еду, словно дикий зверь, а ел медленно, откусывая маленькие кусочки, следя, чтобы ни одна крошка не упала на землю.

Он ел и не обращал внимания на людей, ходивших по двору, и не слышал их разговора, и ни о чем не думал. Он ел, хорошо пережевывая, тягучую, как резина, каракатицу, и лицо у него было серьезным и сосредоточенным. Когда последний кусок был съеден, Сен Дин вытер рот и пошел в кочегарку. Здесь ему дали круглую корзину с двумя ручками, и он опять трудился, пока не перетаскал весь уголь.

Чисто подметя то место, где оставался черный след, Сен Дин отнес в кочегарку корзину и лопату и спросил, где искать хозяина.

— В бане, где же ему еще быть? — ответил кочегар.

— Где? — не понял Сен Дин.

— Наверху, в бане, продает билеты.

Сен Дин отправился к владельцу бани. Тот дал ему четыре монеты по десять чжен и велел скорей уходить, чтобы клиенты не подумали, будто он всю грязь и угольную пыль, осевшую на нем, понесет в баню.

Сен Дин крепко сжал в ладони деньги. Он не знал, сколько ему положено за труд, не знал, много ему заплатили или мало, но понимал, что в руке у него не какая-нибудь медная монета, а целых четыре никелевых. Это были его первые заработанные деньги, и, должно быть, деньги немалые. Он стоял и кланялся хозяину.

Потом вернулся к истопнику, и тот дал ему воды умыться. Истопник оказался хорошим парнем. Он сходил к хозяину и объяснил ему, что рабочий, который сгружал уголь, чисто вымылся и что теперь его можно бы пустить в баню. Хозяин тоже, наверно, был добрый человек и согласился на это.

Сен Дин не собирался идти в баню. Но раз это бесплатно, можно и помыться. В первом помещении вдоль стен стояли длинные деревянные скамьи, а над ними шкафчики для одежды. Сен Дин выбрал себе место, снял рубаху, завернул в рукав драгоценные монеты и аккуратно положил одежду на дно шкафчика. Раздевшись, вошел в следующее помещение.

В центре огромной комнаты находился бассейн с кипятком, а по бокам — две каменные четырехугольные ванны с холодной водой. Пар из бассейна поднимался вверх к застекленному потолку.

— Здесь никто больше не сидит? — робко обратился Сен Дин к старику, занявшему почти всю лавку.

— На тебе столько угля, что его хватило бы печь растопить. Ты бы лучше в речке помылся, — недовольно проворчал тот, но подвинулся.

Сен Дин поднял с пола черпак и осторожно, чтобы никого не задеть, пошел к бассейну за водой. Люди намыливали свои полотенца и докрасна натирали тело.

Сен Дин мылся долго, потому что у него не было ни мыла, ни полотенца. Но когда он вышел из бани, то почувствовал себя совсем другим человеком. С уверенным видом горожанина, у которого водятся деньги, направился на угол к уличному торговцу, продававшему фруктовую воду. Многие выходившие из бани останавливались у его лотка. Сен Дину очень

хотелось пить, но, подойдя почти вплотную к торговцу, он заколебался. Если бы здесь продавался кипяток, он выпил бы чашечку-другую. Нет, он не может позволить себе швыряться деньгами! Сначала надо поесть, а после еды ведь все равно захочется пить.

Сен Дин шел по переулку, и теперь у него имелась определенная цель: он будет обедать.

Возле ближайшей харчевни остановился и заглянул внутрь. Да, это ему подходит. Он снял свои соломенные сандалии и переступил порог. Узкая полутемная комната заканчивалась буфетной стойкой, за которой стоял хозяин. Расположившись на циновках вдоль длинной лавки, служившей столом, молча ели несколько человек.

Хозяин вышел навстречу Сен Дину.

— Сколько стоит чумиза? — с достоинством обратился к нему Сен Дин.

— А покажи сначала, сколько у тебя денег,— сказал хозяин.

Пусть этот толстяк не думает, будто он пришел сюда с медной монетой! И Сен Дин разжал ладонь.

— О, этого хватит! — И хозяин схватил монеты так быстро, будто слизнул их с ладони Сен Дина.— Садись! — крикнул он, удаляясь.

«Почему же он взял у меня столько денег?» — думал Сен Дин, несколько ошарашенный таким оборотом дела.

Он выбрал свободное место и сел.

Вскоре снова появился владелец харчевни, неся три чаши.

— На твои деньги тебе полагается две порции куксу[1], а кимчи у нас бесплатно дается,— произнес он, ставя чаши перед Сен Дином.

Толстяк ушел, а он так и не решился спросить его о сдаче.

Конечно, куксу — вкусная вещь, но ведь не может он потратить на одну еду такую огромную сумму. Да и зачем ему две порции? Вполне хватило бы одной. Хозяин уже разговаривал с новым посетителем, и Сен Дин не осмелился его побеспокоить. Он взял со стола надколотую деревянную палочку, расщепил ее надвое и начал жадно есть. Склонившись над столом, ловко перебирая языком и губами, помогая палочками, он шумно втягивал в себя лапшу. Он ел, пока не увидел, вернее, не почувствовал, что рядом кто-то стоит. Еще ниже наклонившись над чашей, словно боясь, что ее отберут, он медленно повернул голову и увидел босые грязные ноги, лохмотья, заросшее лицо и встретился с взглядом, полным мольбы.

---

[1] Куксу — клубок, состоящий из одной сплошной нити лапши.

У Сен Дина дрогнуло сердце: ему показалось, будто перед ним отец... Но в следующее же мгновение понял, что ошибся. А нищий по-своему истолковал замешательство богатого человека, перед которым стояло столько еды. Глаза его засветились надеждой, он трудно глотнул комок в пересохшем горле, переступил с ноги на ногу и протянул руку.

— Проходи, проходи! — раздраженно отмахнулся от него Сен Дин.— Не дадут человеку спокойно поесть.

Из-за стойки выбежал хозяин и вытолкал нищего.

И все же Сен Дину было не по себе. На дне миски оставалось немного кимчи, отдать бы ее этому, в лохмотьях. Но он отогнал эту мысль: пусть работает, а не шляется по харчевням.

Ему жаль было денег — снова ни одной пхуны...[1] Он вытер губы и осмотрелся. К нему поспешил хозяин и вопросительно уставился на него.

— А не могу я получить еще порцию кимчи?

— Можно! Где деньги?

Сен Дин жалобно посмотрел на него.

— Но ведь вы сказали, что кимчи бесплатно...

— Фью-ю,— засвистел толстяк,— за твои несколько чжен я и так слишком много дал тебе! Освобождай место для других.— И он направился к своей стойке.

Сен Дин поднялся и вышел из харчевни. Темнело.

ХИЖИНА БЛИЗ ГРОБНИЦЫ

Почти в конце главной улицы Пхеньяна, Минбонри, у трамвайной остановки ответвляется в сторону узкая асфальтированная дорога. Она поднимается вверх и вьется среди деревьев, кустарников и высокой травы по склону горы Моранбон.

Если стоять у трамвайной остановки, дороги почти не видно. Лишь кое-где мелькнет среди зелени асфальтовая змейка и снова спрячется. И только древние пагоды, арки, храмы, разбросанные на сопках, да гробница короля Кы Дза гордо возвышаются над зеленым массивом.

Асфальтированная дорога поднимается на самую большую вершину горы, огибает ее у древней арки и извилистой лентой падает к песчаному берегу широкой Тэдонган.

Гора Моранбон утопает в зелени. И только с восточной стороны, обращенной к окраине города и омываемой зелены-

---

[1] Пхуна — 1/10 чжены. Самая мелкая монета грош.

ми водами реки, нет растительности. Каменные глыбы громоздятся стеной от водной глади до самых вершин.

Хижина Ван Гуна вблизи гробницы, скрытая выступом скалы и густым кустарником, не раздражает глаз приезжающих на пикники японцев: ее не видно. Да и к самой гробнице они давно утратили интерес. Много веков здесь хранились драгоценности династии Кы Дза, но потом генерал-губернатор Хазегава увез их в Токио и спрятал в надежном месте, чтобы не украли корейцы.

Теперь под темные своды склепов никто не заглядывает. Деревянные балки стали черными и окаменели. Японцы не любят этого мрачного места. Но Ван Гун здесь бывает часто: его хижина рядом. Со своего порога ему видно далеко вокруг. Он и должен видеть все, что делается на горе Моранбон, потому что он сторож. Правда, по профессии Ван Гун наборщик, но вот уже семь лет как он не работает по специальности.

Ван Гун часто вспоминает наборный цех, где прошли его юные годы. Стены высокой комнаты разграфлены тонкими дощечками, как тетрадь в клетку. В них двадцать тысяч ячеек с иероглифами. Много лет обучался Ван Гун наборному делу. И когда он уже с закрытыми глазами мог определить, в какой из двадцати тысяч ячеек лежит нужный знак, его уволили.

— За что вы меня выгоняете? — спросил он хозяина типографии.— Ведь у меня еще крепкие ноги и руки и, составляя фразы, никто так быстро не бегает по лестницам за иероглифами, то взбираясь к самому потолку, то опускаясь к самому полу.

Хозяин очень удивился этим словам.

— Все бедняки такие глупые,— развел он руками.— Ведь ты уже закончил двенадцатилетнее обучение и стал наборщиком. Зачем же мне платить тебе лишнее, если у меня есть сколько угодно учеников, бегающих так же проворно, как ты?

На прощание хозяин дал Ван Гуну добрый совет:

— Иди в другую типографию и скажи, что ты ученик. Тогда тебе легче будет устроиться.

Ван Гун долго искал работу, и наконец его взяли в маленькую типографию, где набор производился не только иероглифами, но и буквами. Здесь было легко работать, потому что в алфавите всего двадцать четыре буквы. Но работы было очень мало: ни газет, ни журналов, ни торговых счетов на корейском языке не печатали. Хозяин пробавлялся случайными заказами, пока не разорился.

Теперь Ван Гун — сторож на горе Моранбон. Конечно, ему

хотелось бы работать в типографии, но он очень дорожит и новым местом. За небольшую плату ему предоставили хижину, и один раз в день его бесплатно кормят на кухне летнего ресторанчика, который он тоже охраняет. Ван Гун аккуратно вносит квартирные деньги, аккуратно выполняет свои обязанности.

Сегодня Ван Гун, как обычно, обходит свой участок. Он идет чуть-чуть сутулясь, с непокрытой головой, подставляя ветру свои густые седеющие волосы. В руках толстая каштановая палка, на которую он почти не опирается. Он привык много ходить, и ноги у него крепкие, мускулистые.

У Ван Гуна зоркий взгляд, и видит он далеко. Но не всматривается в даль, не прикрывает рукой глаза от солнца. Может показаться, будто он ни за чем и не наблюдает, а только бесцельно бродит по сопкам.

Ван Гун медленно идет мимо буддийского храма, мимо арок, пагод и гротов, заглядывает в беседки. Каждое из этих сооружений воздвигнуто в честь исторических событий. Здесь, у подножия Моранбон, несколько тысяч лет назад зародился Пхеньян — столица государства Когурё, одного из трех государств, возникших когда-то на Корейском полуострове. Здесь началась история корейского народа.

На горе Моранбон корейский народ издревле отмечал свои победы над врагами, воздвигая памятники в знак этих побед. И каждый из них хорошо знаком Ван Гуну.

...Неторопливо шагает Ван Гун. Он видит широкую сопку по другую сторону центральной улицы. Там распласталось огромное мрачное здание черного цвета. Это жандармское управление самураев. Из центрального подъезда выходят три человека и садятся в открытую машину. Резко рванувшись с места, она несется вниз, пересекает трамвайную линию и вот уже петляет по извилистой дороге, взбираясь на Моранбон.

Ван Гун останавливается у беседки и смотрит. На заднем сиденье развалились два офицера. Одного из них Ван Гун видел много раз.

«Желторотый карлик» — так прозвали этого коротконогого майора с золотыми зубами. Раньше он был помощником начальника токийской жандармерии генерала Цурутама. Майор прославился своими руками. По нескольку часов в день он тренирует руки: быстро-быстро стучит ребрами ладоней о камень. Если сидит за столом или едет в машине и руки у него свободны, он не забывает об этой привычке. Он много лет тренирует руки, и ребра его ладоней стали твердыми, как подошва. Он без труда может одним ударом перебить человеку ключицу.

Второго офицера, с капитанскими знаками различия, Ван Гун видит впервые. Рядом с шофером сидит огромного роста солдат — ординарец майора.

Не достигнув вершины, автомобиль круто свернул с асфальтовой дороги. Зашуршала, вылетая из-под колес, крупная галька. Машина пролетела мимо арки и резко затормозила у входа в длинный павильон, украшенный бумажными фонариками. Солдат выскочил первым и рванул дверцу перед майором.

На шум подъехавшей машины вышел хозяин павильона и, низко кланяясь, пригласил гостей войти. Они не обратили на него внимания, не ответили на приветствие, но направились к павильону.

— Понимаешь,— говорил майор,— когда в порту Нагасаки я увидел среди грузчиков эту громадину,— кивнул он в сторону солдата,— я обрадовался. Решил сделать из него настоящего самурая. Но этот идиот совсем отупел здесь: ему не нравится Корея. Он просится домой. Он хочет жить в своем вонючем рыбацком поселке вместе с отцом и детьми. Хочешь, я подарю тебе этого болвана?.. Ну, смотри, Ясукэ!

Последние слова относились уже совсем к другому. Офицеры перешагнули порог длинной застекленной веранды, и майор широким жестом указал на раскрытые окна:

— Разве в вашем Пучене есть такой ресторан?

Капитан подошел к окну и инстинктивно отшатнулся: перед ним была пропасть.

Где-то далеко-далеко внизу извивалась блестящая ленточка Тэдонган, по которой двигались крошечные баржи и пароходики. Стальные фермы моста, лежащие на высоких каменных быках, казались игрушкой, сплетенной из нитей расщепленного бамбука.

Капитан смотрел вниз, а майор, шумно усаживаясь за стол, заказывал еду.

Спустя полчаса на кухню ресторана пришел Ван Гун за своей порцией риса.

— Позови ординарца,— сказал повар кухонному рабочему.— Часами сидят здесь, скоты,— обратился он к Ван Гуну, кивнув на зал,— и не было случая, чтобы покормили шофера и солдата. А ребята хорошие. Оба вместе от машины боятся отойти, так я их по очереди кормлю.

Офицеры уже успели достаточно выпить. Это можно было определить по батарее бутылок на столе и по их раскрасневшимся лицам.

Ван Гун уселся на корточках в уголке, откуда через кухонное окошко мог наблюдать за верандой. Несмотря на шум.

доносившийся из зала, здесь ему было слышно, о чем говорят офицеры.

— Живые котлеты! — вбежал на кухню официант.

«Значит напились уже»,— подумал Ван Гун.

Повар вытащил из бака большого сазана и, ловко зажав рыбу в руке, чтобы она не вырвалась, дважды полоснул ее узким ножом, похожим на скальпель, вдоль спинки по обеим сторонам хребта. С необыкновенной ловкостью, не задев костей и внутренностей рыбы, удалил из-под кожи мякоть и бросил ее на шипящую сковородку.

— Пожалуйста, поскорее там! — донесся на кухню раздраженный голос майора.— Ты еще не ел такого блюда, капитан Осанаи Ясукэ,— громко говорил майор.— Это мое изобретение, великолепная вещь! Приезжай к нам почаще, учись жить!

А через несколько минут официант понес на большом подносе тяжело дышащего сазана с впалой спинкой, обложенного со всех сторон дымящимися кусочками зажаренной мякоти.

— Пожалуйста, Ясукэ,— улыбался майор, восхищенно глядя на поднос.— Сейчас господин сазан будет смотреть, как мы его едим. А ты,— обернулся он к официанту,— принеси еще саке! И еще один прибор.

— Для кого? — удивился капитан.

— Для сазана. Мы дадим немножечко выпить и сазану. Видишь, как он тяжело дышит. Пусть выпьет и закусит собственными котлетами.

Офицеры подняли чашки.

— Ты ловко отделался от назначения в Китай,— продолжал совсем охмелевший майор.— Я тебя понимаю, Ясукэ, армия нашего божественного императора быстро идет в глубь Китая, но чем дальше мы продвигаемся, тем больше доблестных самураев навсегда остается на китайской земле. Хотя,— он беззвучно засмеялся, похлопав капитана по плечу,— их родные могут успокоить себя тем, что теперь это наша земля...

— А я предпочитаю умереть на островах,— перебил его капитан.— И знаете, теперь я не спешу. Я уже упустил тот момент, когда не имел семьи и мог не раздумывая идти на смерть. Но у меня нет еще и достаточного потомства, чтобы спокойно умереть.

Оба рассмеялись и снова выпили.

— Сегодня можно бы немножко повеселиться, да некогда,— с досадой развел руками майор.— Мне еще нужно на Садон съездить.

— А зачем? — удивился капитан.— Ведь забастовка сорвана. Вы сами сказали, что уже работают триста человек.

— Да, но надо же проучить бунтовщиков. Работают-то другие, новички, а старые шахтеры сидят в своем поселке.

— И что же вы хотите с ними сделать?

— Ничего! — засмеялся майор.— Они сами взвоют. Я перекрою все дороги и не выпущу из поселка ни одного человека. И к ним никого не пущу. Пусть дохнут с голоду в своих норах. Им не дает покоя русская революция. Там тоже начиналось со стачек. Мы им покажем революцию! Мы не русские, мы самураи! Мы их зажмем так, что они забудут это слово — революция!

Ван Гун слышит все, что говорит Желторотый карлик. Вспоминает события последних дней. Вся японская печать шумела о том, что русские, оказывается, незаконно занимают целый район у озера Хасан, на границе с Кореей, и не хотят добровольно вернуть японцам эту территорию. Пришлось применить оружие. Газеты сообщали, как одним ударом самураи вышибли русских с высот Заозерная и Безымянная. Однако они ничего не писали о том, что территория эта всегда принадлежала русским и понадобилась Японии как выгоднейший плацдарм для нападения на Владивосток. А ведь это понимает каждый грамотный человек, поэтому верили сообщениям, которые приходили из Советского Союза.

Замолчали японцы также и свое поражение. Но все равно народ узнал. Узнал, что на высотах находились только русские пограничники и что их-то и потеснила регулярная японская армия, напав неожиданно. А когда подоспели советские войска, хваленые самураи побежали. Правда, не все. Больше трех тысяч остались лежать на высотах, убитые и раненные.

С границы Кореи, где происходили события, слух об этом разнесся по всей стране. Никто не мог поверить, что эти события сильно подействуют на людей. Все поздравляли друг друга, точно пришел праздник. И действительно, праздник. Люди поняли, что не такие уж непобедимые эти самураи. Они ведь писали, что никто никогда в жизни их не бил. Оказывается, их бьют. Да еще как!

Люди передавали друг другу новость и тихонько смеялись от радости. И им тоже хотелось действовать. Началось с того, что железнодорожники отказались отправлять в Маньчжурию эшелон с вооружением, а потом совсем бросили работу. Их поддержали шахтеры Садона. И вот забастовка на шахте сорвана...

Ван Гун не торопясь направился к гробнице Кы Дза. Обогнув ее, пошел к своей хижине и сел у порога. Отсюда хорошо видна тропка, вьющаяся от реки до самой вершины горы. Он закурил и стал наблюдать за этой тропкой.

ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ

После тяжелого жизненного потрясения Пан Чак попал в партизанский отряд. Это была небольшая группа смелых и сильных людей, которые скрывались в горах на маньчжурской границе.

Командир показал Пан Чаку коробочку из рисовой соломы и сказал:

— Это мина. Она весит пятьдесят граммов. Она не убьет человека, но остановит его. Наступишь на такую коробочку, и она оторвет пальцы на ноге, или пятку, или повредит всю ступню. При взрыве не бывает осколков. Она бьет воздухом. Мы называем ее «лягушкой». Если надо остановить самурайскую пехоту, мы разбрасываем на ее пути такие «лягушки».

Потом командир показал Пан Чаку небольшой металлический цилиндр и сказал:

— Это тоже мина. Прыгающая. Ее зарывают в землю так, что сверху остаются только вот эти три проволочки. Если задеть их, мина выпрыгнет из земли на метр, разорвется в воздухе, и триста стальных шариков со свистом разлетятся в разные стороны, поражая вокруг все живое. Коробочки для «лягушек» нам делают крестьяне, а прыгающие мины — в мастерских по ремонту хозяйственных вещей и велосипедов.

Пан Чак стал учиться минному делу. Он узнал, как обращаться с механическими и управляемыми минами, с магнитными и деревянными, картонными и железными, натяжного действия и нажимного. Ему показали, как ставить их и как снимать.

Когда Пан Чаку разрешили самостоятельно обезвредить мину, он на всякий случай попросил командира отойти в сторону. Но тот не отошел, сказал, что хочет смотреть.

Пан Чак зажал двумя пальцами конец тоненького стержня, выступавшего из корпуса мины, и потянул. Пружина не поддавалась, и Пан Чак потянул сильнее. Показалось маленькое отверстие в стержне. В него надо вставить чеку — и мина обезврежена. Но отверстие оказалось забитым землей. Пан Чак стал прочищать его, все сильнее натягивая стержень. Он знал: если выскользнет из пальцев — взрыв.

Командир смотрел на его руки и на его лицо. Руки не дрожали, лицо было спокойным. Командир сказал:

— Из тебя выйдет хороший минер.

Пан Чак научился обращаться с минами всех систем.

Командир сказал:

— Теперь я расскажу тебе, что такое мина.

— А разве я этого не знаю? — спросил Пан Чак.

— Если ты изучил винтовку, — ответил командир, — значит, ты ее знаешь, но изучить мину — мало. Надо еще уметь разгадать, как ее установил враг. Вот четыре одинаковые мины, но заложены они так, что на одну из них нельзя наступать, но ее можно поднимать, вторую нельзя поднимать, на нее можно наступить. Третью вообще нельзя тронуть с места, а к четвертой нельзя подойти ближе чем на метр. Мина — это тайна. Опытный минер сам придумывает десятки способов установки мин. Опытных минеров тысячи. Надо уметь разгадать тайну каждой мины.

Пан Чак научился разгадывать тайну мины. Он обезвреживал их на дне реки, чтобы партизаны могли перейти ее вброд, минировал мосты и переправы, чтобы задержать самураев.

Командир взвода полюбил Пан Чака. Однажды он сказал:

— Теперь я научу тебя, как стать минером.

— А разве я еще не минер? — удивился Пан Чак.

— У тебя хорошие руки, — ответил командир, — они чувствуют мину и понимают ее. Но ты очень горяч. Ты забываешь об опасности. Значит, ты не минер.

Пан Чак стал действовать осторожнее. И все-таки однажды он потерял бдительность. Как это получилось, Пан Чак не помнит, он не слышал даже взрыва. Что-то щелкнуло, будто захлопнулась шкатулка, — и он увидел свои окровавленные, обожженные руки. На клочья кожи налипли комки земли. Инстинктивно повернулся спиной к командиру взвода. Не надо, чтобы заметил командир. Надо отойти за сопку, перевязать пальцы и продолжать работу.

Пан Чак поднялся с земли и спрятал руки в карманы. Он смотрел на командира, который в десятке метров от него снимал мины. Пан Чак пошел в сторону. Он чувствовал, как горячие струйки бежали по ногам.

Почему так много крови? Как же он теперь посмотрит в глаза командиру? Тот столько возился с ним, столько раз предупреждал! А что командир скажет минерам? И что скажет своему начальнику? Ведь командир всюду хвалил его, говорил, что он — лучший минер, учил его больше, чем всех других, верил в него. А он?

Пан Чак шел медленно, поглядывая назад: не остается ли след? Белье прилипает к ногам. Что же теперь делать?

Он зашел за выступ скалы, обернулся и быстро вытащил руки из карманов. Нет, скрыть не удастся. Попытался разорвать нижнюю рубаху. Надо было перевязать пальцы. А потом? Как он подойдет к командиру? Что скажет?.. Какая крепкая рубаха...

Пан Чак очнулся в подвале большого дома, где разместился походный госпиталь. Это единственное крупное здание, которое не успели взорвать японские солдаты перед отступлением. Лампа горела тускло, но и в полумраке он сразу узнал эту спину, узнал голос.

— Жалко Пан Чака, жалко хороших рук Пан Чака.

Пан Чак мгновенно закрыл глаза. Командир жалеет его! Лучше бы ударил или отдал под суд.

— Суставы не повреждены,— слышит он женский голос,— просто потерял много крови. Все обойдется, можете спокойно идти.

Что же он так трусливо прячется от командира? Он считал, что ничего не боится. Он думал, что мужество — это ползать под носом у врага и снимать мины. Нет, вот когда надо проявить мужество. Надо посмотреть в глаза командиру.

Он наконец решается, но поздно. Тот уже у двери. Пан Чак окликает его и пугается собственного голоса: тихий и дрожащий. Командир не услышал.

На пальцах целые клубки бинтов.

Подходит сестра, спрашивает, как он себя чувствует, не хочет ли пить, не надо ли чего.

Почему с ним так возятся? Он ведь подвел командира и товарищей. Ему ничего не надо. Хорошо, что сестру позвали и она ушла. Он не может выносить их заботы. Он их всех подвел.

Раненый на соседней циновке перестал стонать, и Пан Чак слышит, как тикают часы. Откуда в подвале часы? Он отодвигается от стены, смотрит вверх. Часов нет, и тиканья не слышно. Голова опять склоняется к холодному камню.

Тик-так, тик-так, тик-так...— слышит он отчетливо.

Мина! Мина замедленного действия с часовым механизмом.

Он подзывает сестру, объясняет ей.

— Успокойтесь, Пан Чак,— говорит она ласково,— вы все время бредите минами. Здесь нет мин. Здесь госпиталь.

— А часов нет поблизости?

Она смотрит на свои ручные часы.

— Нет, нет, сестра, стенных часов?

Она улыбается:

— Успокойтесь, прошу вас.

— Хорошо, хорошо,— кивает он головой.— Конечно, здесь нет мин, нет часов.

Он не будет больше отрывать сестру от дела. У нее столько тяжелораненых! И все они спокойно лежат и не дергают ее поминутно. Сосед справа ранен в живот, но еще ни разу

не позвал ее. Он уткнулся в стену и спокойно лежит. Сосед слева спит, и только из-за него, Пан Чака, сестре нет покоя... Но ведь ошибиться он не мог. Он отчетливо слышит, как тикают часы. Да и камень этот вынимали из стены. Сразу видно.

Он зубами разрывает бинт и разматывает его. Потом на втором пальце, на третьем. Бинты еще не успели присохнуть. Только почему их так много, и опять столько крови? Пан Чак вытаскивает камень. Весь камень в крови. Пан Чака мутит. Голова опускается на подушку. Он дремлет. Сколько времени прошло, он не знает. Придя в себя, смотрит в образовавшуюся дыру. Перед ним мина замедленного действия. Он отчетливо видит в полумраке ее механизм, а чуть дальше контуры ящика. Он знает: там взрывчатка.

Тик-так, тик-так, тик-так...— слышит он размеренный, спокойный ход часов. Стрелка на красной черточке,— значит, мина на боевом взводе. Он всматривается в тонкие деления шкалы. Завод сделан на двадцать четыре часа. Японцев вышибли отсюда на рассвете, но ведь уже снова светает... Надо немедленно повернуть кольцо — и часы встанут, взрыва не будет. Надо сделать большое усилие, чтобы повернуть кольцо. Хорошо, что оно не гладкое, а с насечкой. Липкие пальцы не будут скользить.

Три месяца Пан Чак лежал в госпитале. Врачи вылечили ему пальцы и сказали, что скоро он опять сможет ставить и снимать мины. К нему приходил командир взвода, смотрел на его пальцы и улыбался. Потом товарищи рассказывали, что командир опять ставит его в пример. Значит, командир доволен им. Значит, он немного загладил свою вину.

А вот теперь опять на душе тревожно. Его товарищи сражаются, а он приехал в Пхеньян, где не идут бои и нет мин... Надо скорее разыскать сторожа с горы Моранбон, товарища Ван Гуна.

Сторож сидел на пороге своей хижины, лениво посасывая трубку, и вид у него был усталый, безразличный. Пан Чак поклонился, а Ван Гун, что-то пробормотав в ответ, принялся рассматривать свою трубку, будто видел ее впервые.

Пан Чак произнес пароль, заранее представляя себе, как удивится и обрадуется Ван Гун, узнав, что перед ним партизан. Он ожидал, что лицо сторожа мгновенно преобразится, что тот вскочит и засыплет го вопросами. Но Ван Гун да-

же не поднял на него глаз. Он начал раскуривать почти погасшую трубку, и Пан Чак испугался: да тот ли перед ним человек, который ему нужен?

А сторож, раскурив трубку, нехотя ответил на пароль, медленно поднялся и, позевывая, безучастно сказал:

— Пойдем в комнату.

Они уселись на циновке, но и здесь Ван Гун не спросил, как идут дела. Он задал несколько вопросов, по которым Пан Чак понял, что его проверяют, действительно ли он прибыл из партизанского отряда. Затем Ван Гун начал говорить, что положение в городе тревожное, что на ноги поставлена вся полиция и потому надо вести себя очень осторожно.

— А ты не сразу получил ответ на пароль и уже растерялся,— закончил он свои нравоучения.

Пан Чак вскипел, но заставил себя сдержаться.

Значит, это он нарочно медлил с отзывом. Решил партизана испытать. Будто Пан Чак без него не знает, что надо вести себя осторожно.

— Сейчас здесь соберутся члены стачечного комитета,— добавил Ван Гун,— можешь остаться и послушать.

Пока собирались люди, да и потом, когда они сообщали о положении дел на предприятиях и высказывались о дальнейшем ходе забастовки, лицо Ван Гуна оставалось безучастным. Можно было подумать, будто ему безразлично, о чем здесь говорят. Казалось, если рядом рухнет сейчас гробница короля Кы Дза или в хижину вдруг заявится сам генерал-губернатор, Ван Гун и тогда не поднимет головы.

А потом Пан Чак слушал его выступление и понял, с какой заразительной страстью, с какой неотвратимой логикой может говорить этот человек, как преображается его лицо, когда он зовет к борьбе.

После совещания все ушли через скрытую в другой комнате дверь. Пан Чак тоже поднялся, но Ван Гун задержал его. Удобнее уселся на циновке и медленно, точно вспоминая какие-то события, начал говорить:

— Широкая и бурная река отделяла лучезарный берег от страшного ада, в котором мучились и в муках умирали люди. Самые умные и отважные, не желавшие покоряться, пытались найти путь на другой берег, смело бросались в пучину, но гибли на подводных порогах и в мутных водоворотах. И люди уже не верили, что можно выбраться в светлое царство на противоположном берегу. Шли годы, десятилетия, находились новые смельчаки. Их постигала та же участь, потому что в бурные потоки они бросались вслепую.

Но пришел богатырь, который вобрал в себя мудрость всех людей мира, и ему стало видно, почему гибли смелые и мужественные. Он увидел тот единственный путь, по которому можно выйти на лучезарный берег. Он собрал вокруг себя верных друзей и указал им этот путь и назначил день штурма, потому что выступление раньше или позже этого единственного дня было смерти подобно. И он повел их через водовороты и пороги, через бушующую стихию, и миллионы людей ринулись за ним.

Они вышли в новый мир. Они были измучены, голодны и раздеты, но перед ними расстилались бескрайние плодородные нивы, и богатые леса, и горы с бесценными кладами, и, хотя ничего готового для них не было, стали они хозяевами всех несметных богатств.

Это был Ленин. Это были русские коммунисты, которые указали всем людям на земле путь к счастливой жизни.

Пан Чак слушал и сначала принимал рассказ Ван Гуна за чудесную сказку. И только теперь понял ее великий смысл.

А Ван Гун продолжал:

— Голодный, раздетый, безоружный народ России победил и удержал победу. Их пример всколыхнул другие народы. Вскоре вспыхнули революции в Венгрии, Германии и других странах. Захваченный победами России, стихийно поднялся в девятнадцатом году весь корейский народ. Но мы не смогли удержать победу, потому что у нас не было такой партии, как в России, не было Ленина. А потом, когда партия была создана, мы не смогли сохранить ее. Но осталось немало людей, готовых жертвовать собой во имя грядущей свободы. Мы должны изучать опыт русских коммунистов и не прекращать борьбы... Теперь иди,— сказал вдруг Ван Гун и встал. Они прошли в соседнюю комнату.— Подними вот эту циновку,— указал Ван Гун на пол,— и иди, держась все время правой стороны, пока не выберешься в заросли кустарника. Там ждет тебя Сен Чель. Это рабочий паровозного депо. Ты его видел сейчас здесь. Хороший парень. Он будет тебе во всем помогать. У него и переночуешь. Завтра придете ко мне вместе. Запоминай путь, потому что через дверь ходить ко мне нельзя.

Пан Чак попрощался, поднял циновку и спрыгнул в каменный подвал. Отверстие над ним закрылось, и он оказался в полной темноте. Ощупывая острые выступы камней, медленно переставлял ноги, пока глаз не различил впереди серенькое пятнышко света. Пан Чак пошел быстрее и увидел выход, наполовину закрытый ветками.

«Почему же Ван Гун приказал держаться правой сторо-

ны, если тут только один ход и больше просто некуда деться?» — подумал Пан Чак.

Но вскоре обнаружил еще несколько ходов, и один, совсем темный, справа. Теперь уже не задумываясь, Пан Чак направился туда. Снова пришлось долго идти на ощупь, пока он не выбрался на свежий воздух и не оказался в густых зарослях кустарника, где и встретил Сен Челя.

ДИВЕРСИЯ

Если бы не копна сена, которую отец велел Сен Челю отвезти в город для продажи, возможно, он всю жизнь так же трудился бы на клочке чужой земли, как и его отец Пак-неудачник.

В тот памятный день он нагрузил на плечи целую копну, чтобы продать это на топливо в городе и на вырученные деньги купить гаоляна, а если удастся продать хорошо, то и немного кунжутного масла.

Он уплатил за место в торговом ряду за базаром, где продавалось топливо, и свалил свое сено у самого края длинного забора. Здесь копна была хорошо видна со всех сторон. Он разрыхлил ее, чтобы она казалась больше, но покупатели почему-то не задерживались возле него. То ли считали, что он дорого просит, то ли его сено не нравилось, но, как бы то ни было, соседи уже давно распродали свой товар, а он все еще стоял.

Наконец Сен Чель решил запрашивать поменьше, пусть хоть сколько-нибудь дадут, только бы не тащить проклятую копну обратно. Но, видно, такое уж было суждено ему счастье, что даже за полцены никто не хотел покупать его сено.

Незаметно торговый ряд опустел, и только у другого края забора еще возвышалось несколько копен. Сен Челю стало ясно, что сегодня ему не продать это чертово сено, и он размышлял, остаться ли здесь ночевать или идти в деревню, когда из-за поворота внезапно выскочил молодой парень. Вид у него был растерянный.

Он осмотрелся и подбежал к Сен Челю.

— Спаси меня, я честный человек!.. — быстро проговорил он, запыхавшись от бега.

Сен Чель с удивлением посмотрел на этого парня в рабочей одежде, который и в самом деле никак не походил на преступника.

А тот уже бросился на землю и, зарываясь в копну, бормотал:

— Прикрой меня! Прикрой, а то они сейчас выбегут!

Сен Челю не понравилась вся эта история, но все же он швырнул две-три охапки сена на парня, который сразу замер.

Какая-то женщина, проходившая мимо, остановилась было возле Сен Челя, чтобы прицениться к его товару, но тут же двинулась дальше, очевидно заметив, что из-за забора выбежали два полицейских.

— Куда он побежал? — закричал один из них, приближаясь к Сен Челю.

— Кто? — спросил Сен Чель.

— Не прикидывайся, собака! — замахнулся тот.— Куда пробежал парень в грязной одежде?

— А-а, вон туда...— указал он на открытые ворота в дальнем конце площади.

Полицейские рванулись туда.

Едва они скрылись, как Сен Чель ударил ногой по копне.

— Беги скорей! Назад беги!..— быстро посоветовал он вскочившему на ноги парню.— Они в том дворе ищут.

— Спасибо тебе, товарищ! — шепнул тот и, наскоро отряхнув одежду, скрылся за углом.

Сен Чель сгреб свое сено, перехватил его веревкой и уже приладился, чтобы взвалить на плечи, когда услышал топот ног.

— Вот тебе, собака! — полоснул его полицейский палкой по плечу, пробегая мимо.

— Получай! — добавил второй, и Сен Чель свалился на землю, но быстро поднялся и, проводив полицейских взглядом, тихо произнес:

— Все равно не в ту сторону побежали, будьте вы прокляты!

Он уселся на копну, потирая плечо. Темнело. Куда же ему деваться?

— Сколько просишь? — послышался чей-то голос.

Сен Чель обернулся. Возле него стоял высокий человек.

— Сколько заплатишь, за столько бери, лишь бы мне обратно в деревню не нести.

— Ну, пойдем,— махнул тот рукой.— Я недалеко живу...

Сен Чель поднял на плечи сено и последовал за покупателем.

«Вот лодырь! — подумал он.— Что бы ему расплатиться здесь и самому донести!»

Оказалось, что жил этот человек не так близко. Было совсем темно, когда Сен Чель свалил у него во дворе свою ношу.

Хозяин позвал Сен Челя в дом и протянул ему бумажку в десять вон.

— Где же я возьму сдачу? — улыбнулся Сен Чель.— У меня нет таких больших денег.

— Сдачи не надо,— ответил тот.— Ты сегодня спас хорошего человека, и это тебе от него подарок.

Сен Чель оторопел:

— Если он и правда хороший человек, почему же я должен брать с него деньги?

— Он не только хороший человек, но и мой младший брат. А гнались за ним потому, что он ударил надсмотрщика в паровозном депо.

— Нет! — решительно сказал Сен Чель, для которого слова «надсмотрщик» и «депо» остались непонятными.— Заплатите мне одну вону, и я пойду: скоро ночь.

— А ты переночуй у меня, места хватит.

Сен Чель подумал и остался.

За ужином хозяин, оказавшийся помощником паровозного машиниста, рассказывал ему о своей работе. И о Советской России рассказывал. И то, что он говорил, было похоже на сказку. Но, возможно, это была правда. Ведь в самом деле, если все рабочие и все крестьяне возьмутся дружно, они с кем хочешь справятся. Их же в тысячи раз больше, чем помещиков... Но откуда простой помощник машиниста знает, что делается в России?

Хозяин хитро улыбнулся:

— Будешь работать, и ты узнаешь.

Наутро, когда Сен Чель уходил, хозяин сказал:

— Накосишь еще сена — приноси прямо сюда, а то и просто так приходи.

С тех пор Сен Чель стал частым гостем в этом домике, а когда в депо освободилось место истопника паровозной пескосушилки, с помощью своего нового друга Сен Чель поступил туда на работу.

Так он покинул родную деревню.

Сен Чель уже давно работал на пескосушилке, и рабочие относились к нему хорошо. При нем не стесняясь ругали самураев. Сен Чель понимал, что не с каждым об этом говорят, и гордился доверием. А потом он сблизился и с коммунистами.

Утро началось, как и всегда, с клятвы вечной верности японскому императору. Сен Чель стоял рядом с другими рабочими и вслед за японским офицером механически повторял слова клятвы.

Было еще рано, и один рабочий зевал, наверное, потому

что не выспался, а другой, глазея по сторонам, что-то шепнул соседу, и, когда кончилась клятва, офицер увел этих двух с собой. Видно, то были новички.

После клятвы Сен Чель натаскал из карьера полный чан песку, затопил печь. Время от времени перемешивал песок длинным скребком. Потом ведрами перенес сухой песок наверх, в бункер эстакады.

Вскоре появился товарный паровоз и встал под водоразборную колонку. Пока кочегар следил, чтобы вода не пошла через верх, помощник машиниста влез на котел паровоза, открыл крышку песочницы и заглянул внутрь.

— Песок! — крикнул он, обернувшись к сушилке.

Сен Чель быстро вскочил на эстакаду, подал помощнику машиниста конец брезентового рукава от бункера и открыл заслонку.

Помощник машиниста привычно пропускал песок сквозь растопыренные пальцы. Если будет плохая погода и на подъеме паровоз начнет буксовать, надо только дернуть за ручку, и песок посыплется под колеса. Он не застрянет в трубах, не собьется комками, потому что его хорошо просушили.

Сделав свое дело, Сен Чель спустился вниз. Но тут появился еще один паровоз, и он снова полез на эстакаду. Потом паровозы стали приходить один за другим.

Так он проработал весь день. К вечеру Сен Чель снова наполнил доверху бункер, чтобы потом не возиться в темноте. Ночевал он здесь же, в сушилке. Начальник депо объяснил, что это выгодно и рабочему и владельцам дороги: песок может потребоваться паровозам в любое время, поэтому хорошо, если в сушилке круглые сутки находится человек. А Сен Челю это выгодно и удобно, так как с него не берут денег за жилье и не надо каждый день тащиться на работу.

Спал Сен Чель чутко. Когда к эстакаде подходил паровоз, он не вскакивал, а только прислушивался. Если минут через пять не раздавался окрик: «Песок!» — он снова засыпал.

В ту ночь у эстакады побывало двадцать три паровоза, и бо́льшую часть времени Сен Чель не спал, а прислушивался или лазил на эстакаду. Под утро в голове у него все перепуталось. Заслышав стук колес, он бросался к окну посмотреть, подошел ли это новый паровоз или только уходит тот, что набирал воду.

С рассветом у эстакады появился двадцать четвертый паровоз. Песок не потребовали, и Сен Чель дремал в своей сушилке. Но когда тендер уже был полон воды, машинист решил добавить песку.

— Эй, спишь там! — услышал Сен Чель и бросился наверх.

В это время подошел новый товарный паровоз и начал гудеть: дайте, мол, мне дорогу и снабдите меня водой. Он так гудел, что все всполошились.

— Скорей! Скорей! — кричал на Сень Челя помощник машиниста, стоя на котловой лесенке и протягивая руку за брезентовым рукавом.

Сен Чель быстро спустил рукав, но забыл открыть заслонку, и песок не пошел. Он постучал рукой по бункеру, тряхнул брезент, но ничего не помогло. А новый паровоз разрывался от гудков. Видно, он опаздывал к поезду или на паровозе находился большой начальник.

— Почему стоите?! — закричал машинист, наполовину высунувшись из окна.

Сен Чель узнал его. Это был японец, начальник депо. Первую поездку на каждом новом паровозе он совершал сам.

— Песок не идет,— ответили ему снизу.

В одну минуту он взбежал на эстакаду, оттолкнул Сен Челя, рванул заслонку, и песок посыпался.

— Ах ты скотина! — заревел японец и наотмашь ударил Сен Челя по лицу.

Сен Чель даже не схватился за щеку.

«Ну, погоди...» — подумал он, глядя на сбегавшего вниз начальника.

С тех пор Сен Чель постоянно думал, как отомстить за свою обиду.

И вот однажды начальник депо опять привел паровоз к эстакаде. Сен Чель быстро снабдил его песком и спустился вниз. Убедившись, что никто на него не смотрит, незаметно швырнул на подшипники приготовленную заранее горсть песку и ушел в сушилку. Это было поздно ночью. А на следующее утро все депо говорило о том, что с поездом чуть не случилась авария: расплавились подшипники. Паровоз вышел из строя, и движение на всем участке было задержано почти на два часа.

Дней через десять знакомый рабочий шепнул Сен Челю:

— Инженеры определили, что подшипники на новом товарном паровозе расплавились от песка, попавшего на шейку оси. Подозревают тебя. Не вздумай снова так делать, за тобой следят.

За Сен Челем действительно долго следили, но уличить ни в чем не могли. Да и вряд ли начальство верило, что этот деревенский парень мог отважиться на такой поступок только из-за того, что его один раз ударили! Все же Сен Челя на

всякий случай убрали подальше от пескосушилки и поставили на уборку канавы, где чистили паровозные топки. А жить его взял к себе тот самый помощник машиниста, который купил у него когда-то сено.

Однажды друзья пригласили Сен Челя на Тэдонган ловить креветок. Там, на берегу реки, он впервые увидел Ван Гуна и впервые слушал его беседу. За два часа Сен Чель узнал столько нового и интересного, что в конце беседы осмелился спросить:

— А когда вы еще собираетесь ловить креветок? Я хочу опять прийти.

— Что ж, приходи,— сказал Ван Гун.

Когда началась забастовка в честь разгрома самураев на Хасане, Сен Чель одним из первых бросил лопату В те дни он стал связным Ван Гуна. А после приезда Пан Чака Сен Чель почти не расставался с партизаном.

Раньше самым удивительным человеком на земле Сен Чель считал Ван Гуна. Его рассудительность и выдержка восхищали Сен Челя. Казалось, не было такого положения, из которого бы Ван Гун не нашел выхода, вопроса, на который он не мог бы ответить. Будто вся мудрость отцов собралась в этом человеке.

Так казалось Сен Челю. Ему хотелось стать таким же, как Ван Гун, и к любому самому неожиданному сообщению относиться спокойно и трезво. Говорили, что это умение скрывать свое душевное состояние, выработанное годами подпольной работы, не раз спасало старого революционера.

Такими и должны быть коммунисты! Да иначе они просто не могли бы работать. Какой же это коммунист, если в трудную минуту любой человек прочтет по его лицу тревогу в душе!

И вот странное дело: Пан Чак в этом смысле был прямой противоположностью Ван Гуну, а Сен Чель с первых же дней полюбил партизана. У Пан Чака и радость, и гнев, и возмущение, и печаль сразу требовали выхода. Его лицо решительное, энергичное, озорное иногда вдруг становилось нежным, застенчивым, почти детским. И сразу можно было догадаться, думает ли он сейчас о самураях, с которыми завтра предстоит схватка, или о своих боевых товарищах.

Пан Чак резко отличался от тех, кто окружал Сен Челя в деревне, да и здесь, в депо. Многие рабочие еще не задумывались над тем, что будет завтра, и не верили, что могут чего-то добиться организованной борьбой. А в партизане чувствовалась вера не только в свои силы, но и вера в людей. И о будущем он говорил столь убежденно, словно побывал в той Корее, о которой мечтал.

Сен Челю приходилось встречаться с такими людьми, которые уверяли, будто все могут сделать. Да только на поверку обычно получалось одно хвастовство. А вот в Пан Чака верилось, этот добьется своего. И в то, что самураев можно разбить, тоже верилось. Когда партизан так говорил, Сен Челю начинало казаться, что он и сам достойно выполнит любое важное задание.

В этот период Ван Гун и поручил ему срочное дело.

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Мен Хи уже умела многое делать по хозяйству, а главное, научилась хорошо стирать. Стирали на озере, в пол-ли от дома, и место там было очень красивое.

Чтобы не потерять ни одной лишней минуты, она шла туда очень быстро, так быстро, как только позволяла корзина с бельем, которую она несла на голове.

Придя на озеро, Мен Хи прежде всего отмачивала на халатах хозяйки рыбий клей, скреплявший отдельные куски материи вместо ниток, потом становилась на гладкий камень, немного выступавший из воды, и на втором таком же камне маленьким вальком отбивала намоченное белье. Она стирала не разгибая спины, стараясь выгадать время, чтобы потом немного посидеть без дела, просто любуясь озером.

Сидишь на берегу и забываешь обо всем на свете. Вода у ног голубая и чистая, тихая и ласковая. Блестят, переливаются разными цветами камешки на дне. Над ними играют стайки быстрых пугливых рыб. Вдалеке медленно и важно плывут джонки под большими белыми парусами. Вдоль всего берега женщины с детьми, привязанными за спиной, стирают белье.

Озеро окружено горами, скалистыми и покрытыми лесом, полого спускающимися к воде и отвесными, как стены. Искрятся серебряные змейки горных ручьев, красные маки пестрят среди зеленых сопок. Скалы то взбираются одна на другую, то идут ровными рядами, как исполинская ограда. Покрытые облаками вершины чередуются с маленькими холмами.

Вдалеке виднеется скала, похожая на вздыбившегося медведя, а рядом громоздятся горы, напоминающие старинный замок. Ветры и воды выточили здесь гроты, арки, пещеры. На пути к замку, словно страж, возвышается каменистая вершина — голая, отшлифованная, как сахарная голова. На самой макушке — огромное дерево.

Когда-то здесь было много деревьев, но они не выдержали натиска буйных ветров, их смыли тропические ливни. А этот богатырь, расколовший своими корнями камень, пустил их глубоко в грунт, впился в землю, вобрал в себя ее соки, окреп и стоит теперь, возвышаясь над скалами, как одинокий великан. И орел, что опустился на его могучие ветки, кажется Мен Хи маленькой, беспомощной пташкой.

Неподалеку такое же одинокое чертово дерево. Острые длинные иглы выступили из его ствола; они покрывают и ветви — все дерево, от земли до самой макушки. И даже корни, с которых вода смыла грунт, выпустили иглы, и они торчат, словно предупреждая: не подходи. Редкая птица сядет на это дерево — и сразу же улетит.

Особенно любила Мен Хи приходить сюда вечером. Когда заходит солнце и тишина словно накрывает озеро, где-то на другом берегу у обрывистых скал зарождается песня. Печальная мелодия, заглушенная расстоянием, доносится сюда, и женщины, что стирают белье, начинают подпевать. Постепенно песня ширится, захватывает весь берег, поднимается над озером и тает где-то высоко в горах.

Песня плывет над водой, заунывная, бесконечная, усталая, и душа Мен Хи наполняется неизъяснимой грустью. Или вдруг вспыхнет в ней слабая надежда, и видится ей иная жизнь, светлая, чистая, как это тихое озеро.

Песня плывет, и ее звуки, то нарастая, то замирая, заполняют все вокруг, и кажется, нет ничего в мире, кроме этой нескончаемой скорби и вечно живой надежды на лучшую жизнь.

Совсем неслышно, не оставляя следа на воде, медленно движется одинокая запоздалая джонка. Высоко в небе плывут куда-то большие белые птицы. Солнце прячется в горах, где идет своя жизнь, неведомая, полная борьбы.

После долгих раздумий Ли Ду Хан твердо решил: незачем ждать, пока девчонке исполнится тринадцать лет. Женитьбу сына не к чему откладывать. Пора получить наконец свое богатство. И он назначил день свадьбы. На всякий случай, решил он, незадолго до наступления срока стоило бы получше относиться к Мен Хи. Неизвестно еще, как придет богатство. Хорошо, если прямо к нему в руки, а если через нее? Тогда надо, чтобы у Мен Хи не было к нему злобы. Правда, тоин сказал, что разбогатеет тот, кто женит на ней своего сына,— значит, именно он, Ли Ду Хан, должен все получить, но рисковать все же не стоит.

Мен Хи теперь спала в теплой комнате. С вечера она брала большой глиняный, ярко раскрашенный горшок и доверху наполняла его древесным углем. Когда угли раскалялись, она покрывала сосуд тонкой металлической пластинкой, замазывала его глиной и на подставке переносила в комнату. Всю ночь ей было тепло.

Она уже не ходила в обносках. Ей сшили шаровары и пышную белую юбку, купили гомусины — резиновые туфли с острыми, загнутыми вверх носками. На нее не кричали, как раньше.

Ли Ду Хан непоколебимо верил в грядущее богатство. Ведь все, что тогда сказал дракон тоину, полностью сбылось. И ливни были, и девочку он нашел на Двуглавой горе,— значит, и деньги должны прийти. Он уже видел в мечтах огромные фруктовые сады и необозримые плодородные поля рисовые плантации и бесчисленные стада. Крестьяне всех окрестных деревень станут его арендаторами. И озеро и река будут принадлежать ему.

Он перегородит плотинами горные потоки и будет давать воду на поля только тем, кто сможет платить вперед. Шлюзы на плотине запрет, а ключи привяжет к кушаку. За стирку белья на озере пусть платят, и за ловлю рыбы пусть тоже платят. Хотя нет, рыбу он не разрешит ловить, у него будут свои рыбаки, вся добыча чтобы шла ему. Пожалуй, на каждую джонку придется посадить надсмотрщика, а то еще растащат весь улов и скажут, что ничего не поймали.

Он будет платить японским чиновникам и полицейским, чтобы они строго наказывали тех, кто вздумает бунтовать. А тоина заберет к себе и всех его богов тоже заберет. Пусть служат только ему одному. Землю соседнего помещика, Кураме, он откупит, и пусть японец уедет из этих краев. Он один станет владыкой всех здешних долин и гор. Вот когда широкой рекой потечет к нему золото...

Чем ближе подходил день свадьбы Тхя и Мен Хи, тем больше беспокоился Ли Ду Хан. Его раздражал теперь каждый пустяк, он не хотел никого видеть, ни с кем не разговаривал, кроме управляющего, перестал посещать своих жен.

В один из таких дней Пок Суль сказала ему, что Тхя заболел.

Но даже это сообщение не произвело на Ли никакого впечатления.

— Нашел время болеть! — недовольно проворчал он, но к сыну не пошел.

Встревожился Ли только на следующий день. Едва он проснулся, в комнату вошла Пок Суль.

— Тхя без памяти, и тело его сгорает,— сказала она несмело.

Ли велел срочно привезти из города доктора, позвать тоина, а Мен Хи посадить возле больного, чтобы ухаживала за ним.

Первым на вызов помещика явился тоин. Он присел на корточки возле больного, пошептал что-то, прикоснулся к его лицу и, посмотрев на Ли Ду Хана, сказал:

— Великий Окхвансанде зовет твоего сына к себе. Закрой двери и три дня никого не впускай сюда, чтобы никто не потревожил душу уходящего в небесный мир.

Тоин сказал эти слова и удалился, не дожидаясь вознаграждения.

Ли Ду Хан бросился вслед за тоином, протягивая к нему руки, пытаясь что-то сказать, но посреди комнаты остановился. Лицо у него было растерянное и беспомощное. Он постоял немного в нерешительности, злобно посмотрел на сына и вышел из комнаты.

— Где доктор?! — закричал он на жену, стоявшую у двери.— Почему нет доктора?

— Он уже здесь,— успокоила его Пок Суль,— он дожидался внизу, пока уйдет тоин.

Ли Ду Хан проводил врача в комнату больного и остался у его изголовья.

Тхя лежал без движения, повторяя одно слово:

— Воды, воды...

На вопросы врача не отвечал и только бессмысленно водил глазами по сторонам.

— Ваш сын не проживет и одного дня,— сказал доктор после осмотра.

— Нет, нет, доктор! — попятился Ли Ду Хан, отталкивая ладонями воздух, будто стараясь отогнать от себя страшные слова.

Потом, ухватившись за халат врача и привлекая его к себе, зашептал ему в лицо:

— Он не должен умереть до утра, доктор, дайте ему дорогие травы, я заплачу вам много денег... Только до утра... до восхода солнца.

Врач удивленно посмотрел на помещика, на его сына, у изголовья которого они стояли, и отвел Ли Ду Хана в сторону.

— Если дать настой из дорогих трав,— сказал он,— до утра протянет.

Ли Ду Хан облегченно вздохнул.

— Вот вам деньги,— начал он извлекать из-за кушака

кисет,— это для начала, утром я дам вам еще, только никуда не уходите, сидите возле моего дорогого сына...

Последние слова он говорил уже на ходу, кивая и пятясь из комнаты.

Ли Ду Хан сказал управляющему:

— Свадьбу справить богато, как и подобает щедрому помещику. За гостями послать немедленно, но много людей не собирать.

— Хоть на один день отложите! — взмолился управляющий.— Надо достойно подготовить этот радостный час.

— Тебе, наверно, не нужны деньги, - ответил Ли Ду Хан,— или ты мало уважаешь меня, своего хозяина, который доверяет тебе, как родному сыну.

Ли Ду Хан больше ничего не хотел говорить и больше ничего не хотел слушать. Он вызвал писаря и начал диктовать ему список гостей. А через полчаса весь дом был поднят на ноги.

На скотном дворе резали птицу и поросят, в кухне грохотала посуда, и оттуда распространялся чад на весь дом. В комнатах шла уборка. Тринадцать жен арендаторов были посланы в ближайшие поместья с приглашениями от Ли Ду Хана. Сам он сидел в своей спальне, и к нему прибегали с донесениями и вопросами то управляющий, то Пок Суль, то кто-нибудь из челяди.

Ли Ду Хан сидел на подушке, спокойно и внимательно выслушивал приходящих и неизменно отвечал:

— Сами подумайте, как лучше сделать, если вы немного можете думать.

И только один раз он выругал управляющего, который не в состоянии даже прикрикнуть на эту неповоротливую челядь: целый час стаскивали с Тхя одежду, а теперь никак не могут натянуть на него свадебный наряд!

Как только ушел управляющий, явилась Пок Суль.

— Тебя зовет доктор,— нерешительно сказала она.

— Он меня совсем разорит! — злобно закричал Ли Ду Хан.— Дай ему еще денег, у тебя там должны были остаться деньги. Скажи, что...

— Нет, нет,— перебила его Пок Суль,— он хочет, чтобы ты немедленно пришел.

В сильном раздражении помещик направился в комнату больного.

— Ваш сын умер,— склонив голову, встретил Ли Ду Хана врач.

— Неправда! — прошептал Ли, глядя на мертвое тело сына, одетого в свадебный костюм.

Ли Ду Хан схватил врача за руку и, глядя ему в глаза, медленно и твердо произнес:

— Он жив, доктор! Понимаете, он жив!

Врач покачал головой.

— Вы будете богатым человеком, - снова зашептал Ли, крепко сжимая руку доктора.— Я вам дам золото, понимаете, золото! Он умрет утром. Он умрет, как только кончится свадьба...

Врач оттолкнул Ли Ду Хана.

— Свадьба? Что вы говорите, обезумевший человек! Жених должен выполнять свадебный обряд.

Ли Ду Хан обмяк, его горящие глаза помутнели, руки повисли.

— Да, да обряд,— забормотал он,— обряд... Мертвый не может... Пропало богатство...

Доктор вышел, а Ли Ду Хан долго еще стоял неподвижно и что-то шептал.

Он не заметил, как появилась Пок Суль, не слышал ее слов, пока она не коснулась его руки. Он недоуменно поднял на нее глаза и медленно произнес:

— Уходи!

Ли повалился на циновку. Он не мог еще поверить в несчастье. Этот тоин всегда говорил правду. И сегодня он сказал, что сын умрет. Значит, его слова о богатстве тоже правда. Кому же оно теперь достанется?

— Нет, так оставить дело нельзя. Золото не должно уйти после того, как он столько лет терпеливо дожидался. Оно уже коснулось его рук, это несметное богатство, а теперь ускользает. Надо что-то придумать, надо обязательно что-нибудь придумать.

И Ли Ду Хан придумал.

ПОМИНАЛЬНАЯ ДОСКА

С похоронами не торопились. Неприлично же сразу хоронить покойника, словно от него хотят быстрее избавиться. Пусть побудет немного с родными, которые так сильно его любили.

Пок Суль сама помогла Мен Хи достойно провести первые траурные дни. Как и все в доме, кроме Ли Ду Хана, Мен Хи теперь ходила босиком, с распущенными волосами, в одежде из грубой мешковины, подпоясанной толстой соломенной ве-

ревкой, концы которой касались пола. Целыми днями всюду слышались душераздирающие крики и стоны: родственники и знакомые добросовестно выполняли обряд.

В такие минуты Пок Суль внимательно следила за Мен Хи, потому что девчонке полагалось плакать, а слезы не шли у нее из глаз.

Мен Хи слышала, как Ли Ду Хан восхвалял покойного, его светлый ум, его благородство и великодушие, слышала, как поддакивали ему присутствующие, как они неутешно рыдали. Она понимала, что должна рыдать громче других, но никак не могла заставить себя выполнять лживую роль убитой горем невесты.

Пок Суль незаметно дергала ее за одежду, щипала, но от этого девочке становилось только смешно, хотя она и чувствовала, как неуместен здесь смех.

За годы, проведенные в этом доме, она видела много лицемерия и лжи и все же с удивлением смотрела на Пок Суль, которая, рыдая, била себя в грудь и сквозь слезы без конца восхваляла Тхя. Ли Ду Хан был торжественно печален и тоже говорил о неоценимых достоинствах сына.

На третий день покойника положили в гроб, сделанный из кедровых досок. Денег на гроб не пожалели. Он был покрыт черным лаком и внутри устлан черным и зеленым шелком. Белые, словно живые, облака плыли на гробовых досках. Края крышки промазали смолой и тоже покрыли лаком.

Три дня справлялись поминки, и три дня стоял гроб в комнате. Потом его накрыли красной материей, вынесли из дому, водрузили на огромные новые носилки, и тридцать издольщиков подняли их с земли.

Ли Ду Хан не захотел брать носилки, которыми пользуется вся деревня. Они не превышают площади его комнаты и слишком малы для сына помещика. Да и выглядят бедно. Он заказал носилки специально для своего дома. Скоро придет очередь отца, да и вообще в богатом доме должны быть собственные носилки.

Возглавлял траурную процессию родственник Ли Ду Хана с колоколом в руках. Монотонные, заунывные звуки разносились далеко вокруг: дин-дон-н-н-н!.. Дин-дон-н-н-н!.. Дин-дон-н-н-н!..

Позади него двигалось несколько человек с огромными красными полотнищами шелка на длинных шестах. Белыми иероглифами на шелке было написано: «Умер сын помещика Ли Ду Хана — Ли Тхя». За гробом шли Ли Ду Хан и его управляющий, который нес поминальную доску. В трех шагах от них, громко рыдая, шла Пок Суль, и две женщины

поддерживали ее под руки, тщетно пытаясь утешить убитую горем мать. Шествие замыкали Мен Хи, многочисленные родственники, челядь, издольщики.

Мысли Мен Хи были далеко отсюда, далеко от всей этой церемонии. Она думала о том, как будет искать родных, вспоминала свою жизнь на Двуглавой горе, и эта жизнь, тяжелая и голодная, не казалась ей теперь такой невыносимой.

Место для могилы выбрали, как и полагается, на южном склоне живописной горы. Три тонна, отыскавшие это место, сказали Ли Ду Хану, что оно счастливое, а значит, никаких несчастий в доме не будет и не придется откапывать гроб и переносить покойника на другую гору.

Могильный холм сделали высоким и крутым, а вблизи расчистили площадку для святых зверей, которых уже готовили из камня мастера.

На обратном пути Мен Хи шла за Ли Ду Ханом. Управляющий торжественно нес в руках поминальную доску. Ее сделали, как и полагается, из каштанового дерева, срубленного в самой глухой чаще, куда никогда не доносилось пение петуха или лай собаки.

Дома Ли позвал к себе Мен Хи.

Когда она вошла, Ли Ду Хан сидел посреди комнаты, а перед ним на столике лежал красный лист бумаги. Мен Хи не знала, что это письмо, в котором отец дал согласие на ее брак. Аккуратно разграфленный крупными клетками и исписанный иероглифами листок испугал ее.

Медленно, не глядя на девочку, заговорил Ли.

— Великий Окхвансанде,— сказал он,— забрал в свой цветущий сад моего сына и твоего будущего мужа. Законы неба повелевают нам на земле успокоить его душу, переселившуюся в поминальную доску. А душа его ждет радостного дня свадьбы.

Ли говорил нараспев, покачиваясь всем корпусом, и похоже было, что он молится.

— Я не нарушу клятву, данную богу и горам, записанную на красной бумаге. Вот такая же клятва твоего отца.— И он разгладил обеими руками листок, лежавший на столе.— Твой отец также ее не нарушит,— продолжал Ли, накрыв бумагу ладонями,— ибо тогда страшная кара падет на его голову. В счастливый день после четвертого новолуния ты обвенчаешься с поминальной доской и как вдова, верная своему мужу, навсегда войдешь в дом его отца, в мой дом. Я великодушно соглашусь принять тебя, и ты успокоишь душу ушедшего.

Ли Ду Хан умолк и посмотрел на Мен Хи. В ее глазах он увидел ужас.

Она покорно опустила голову и тихо вышла из комнаты.

Ли Ду Хан отказался соблюдать трехлетний траур, хотя умер мужчина и его единственный сын. Правда, всякие увеселения он запретил, но свадьбу решил справить. Он торопился скорее получить богатство, и свадьба состоялась точно в назначенный день.

Мен Хи была в свадебной одежде: ярко-синяя, до щиколоток, широкая юбка, туго перехваченная на груди кушаком, и коротенькая белая блузка с длинными рукавами, сшитыми из лент всех цветов радуги, кроме желтого. Казалось, будто широкие браслеты охватывали ее руки от плеч до кистей. Спереди блузку стягивали две ленты, завязанные бантом. На ногах — чулки из холста и белые гомусины. На макушке был искусно сплетен шар из волос, а щеки густо намазаны красной краской.

Перед приходом гостей Мен Хи долго объясняли, как она должна себя вести, что говорить, где стоять. Она слушала, но слова не проникали в ее сознание, она никак не могла понять, чего от нее хотят.

Но вот собрались гости. Мен Хи заставили выйти к ним, и она почувствовала себя такой одинокой и чужой среди этих сытых людей, такой забитой и загнанной, как никогда раньше.

Спустя некоторое время явился управляющий с поминальной доской и высеченной из дерева дикой уткой — символом супружеской верности — и встал напротив Мен Хи. На доске ярко выделялась вырезанная и покрытая черной тушью надпись: «Ли Тхя». Рядом с управляющим встал Ли Ду Хан и скрестил на груди руки.

Мен Хи не умела читать, но она долго смотрела на черные канавки иероглифов. И вдруг они начали углубляться, расти, шириться, они уже превратились в глубокие черные рвы, в бездонную пропасть. Мен Хи ничего не видит, кроме бездны, которая все увеличивается, движется, достигает ног. Она попятилась, натолкнулась на кого-то, стоявшего сзади, и мираж исчез.

Перед ней снова Ли и доска в иероглифах, от которых она не может оторваться. Но теперь канавки быстро сужаются, становятся похожими на черные нити. Их все больше, они переплетаются, как паутина, они заполняют комнату, движутся на нее огромной массой, обвивают тело.

Мен Хи подали крошечную фарфоровую чашечку с вином. Управляющий наклонил доску — значит, она тоже должна поклониться доске и пригубить вино. Руки ее сильно дрожали, вино расплескалось, и она поднесла к губам пустую чашечку. Мен Хи еще держалась на ногах, будто в тумане видела вокруг себя людей, видела, как из другой чашечки вылили вино на доску и как струйки потекли по канавкам иероглифов.

Капельки желтого вина искрились в тумане. Она смотрела на эти искорки, а чашечка стучала о зубы, пока кто-то не отвел ото рта ее руку. Мен Хи вздрогнула от прикосновения, комната зашаталась, поплыла, мелькнула перевернутая доска, налитое злостью лицо Ли. Чьи-то руки подхватили ее, и все исчезло.

А свадьба продолжалась. Ведь все равно после церемонии поклонов невеста уходит к себе, а жених остается веселиться в кругу друзей.

Мен Хи отнесли в ее комнату, привели в сознание. Она услышала над самым ухом шепот. Ей объяснили, и Мен Хи поняла, что таким поведением можно разгневать небо, что, если она и дальше так будет вести себя, гнев падет на головы ее родных. Ей втолковали, что и как она должна теперь делать, и наконец оставили одну.

Надо отвести гнев богов. И когда она так решила, ей уже легче было подойти к столику, на котором стояли две чаши куксу. Опустилась на плоскую подушку, стараясь не прикоснуться к целой стопке подушек, приготовленных рядом. Потом раздвинулись двери, и на пороге появился управляющий все с той же зловещей поминальной доской. Он молча прислонил ее к подушке рядом с Мен Хи и ушел.

Мен Хи хочет отодвинуться, но ей страшно пошевелиться, страшно взглянуть на эту доску, в которой живет человеческая душа. А мысли уже бегут, бегут не останавливаясь, обгоняя друг друга, тревожные, пугающие мысли. Она отчетливо видит змею с длинным черным жалом над головой матери. Нет, этого она не допустит, надо сделать все, что ей велели!

Мен Хи придвигает к себе куксу и палочками отыскивает конец тонкой лапши. Вся порция состоит из одной сплошной нити из теста. Надо, чтобы супружеская жизнь была такой же длинной, как эта нить. Она только начала есть, как случайно перекусила нить. Наверно, хватит. Не всю же куксу она должна проглотить.

Теперь надо уложить в постель доску и лечь возле нее. Но откуда же взять силы, чтобы перенести все это?

И снова будто чей-то голос напоминает ей, что иначе она погубит родных. Девочка поднимается, берет доску и кладет ее на циновку. Словно подчиняясь какой-то неведомой силе, подкладывает под доску подушечку и ложится рядом. Так она должна спать до утра...

— Сколько времени осталось до рассвета? — громко спрашивает Мен Хи.

Ведь прошла уже целая вечность. Сколько же еще надо лежать? И чудится ей голос матери:

«Далеко-далеко, на краю земли, есть исполинская гранитная скала. Раз в тысячу лет на нее садится маленькая птичка, чтобы поточить свой клюв. Когда птичка источит, сотрет клювом всю скалу, пройдет один день вечности».

— Так вот сколько надо здесь лежать...— шепчет Мен Хи.

Но она выполнила свой долг, и ей теперь совсем не страшно. Она уже не боится доски, лежащей рядом, но ненавидит ее всеми силами своей исстрадавшейся души. Она бьет кулаками, царапает, кусает эту доску и наконец засыпает.

В деревне Змеиный хвост творилось что-то неладное. Вскоре после похорон Тхя неожиданно умер один крестьянин, а еще через день — батрак. Через три дня после похорон умерли сразу шесть человек.

Ничего необычного в этом Ли Ду Хан не видел. Смерть часто приходила в деревню, особенно весной, когда уже совсем нечего было есть. Беспокоило его лишь то, что крестьяне скрывали покойников, хоронили их ночью, тайком от полиции. Так бывало, когда люди умирали не от голода, а от болезней. Потом Ли узнал, что перед смертью люди горят так же, как горел и его Тхя.

Помещик испугался. А назавтра его вызвали в уездный город Пучен к капитану полиции Осанаи Ясукэ. В тот же день Ли Ду Хан вернулся, и в усадьбе поднялась суматоха. В большие арбы грузили сундуки, куда-то угоняли скот, заколачивали пустые комнаты. Всю ночь и еще на следующий день люди упаковывали и увозили вещи. В этой суете как-то забыли о Мен Хи, и рано утром она ушла на озеро, а когда вернулась, в поместье никого не было.

Странно было видеть заколоченный дом. Необычная тишина стояла на скотном дворе. Мен Хи ничего не могла понять. Куда разбежались люди? Что происходит?

Мен Хи побродила по двору и, никого не найдя, верну-

лась на озеро. Она подошла к дереву в иглах и села возле него. Это было ее любимое место, потому что сюда никто не приходил.

Чертова дерева все сторонились. Хорошо бы надеть такую одежду, думала, глядя на него, Мен Хи. А иголки чтоб были из железа и острые-острые, даже Пок Суль боялась бы тогда приблизиться к ней. Она ведь боится сильных.

Внимание Мен Хи привлек огромный баклан. Она всегда с интересом смотрела на эту умную птицу. У нее длинная тонкая шея, быстрые движения. Она издает крик, похожий на гоготанье. Баклан — хороший охотник за рыбой. Уж если нырнет, то обязательно достанет добычу. Он очень осторожен. Заметив вдалеке врага, баклан тяжело бьет крыльями о воду, поднимается и быстро улетает, с силой рассекая воздух.

Мен Хи сидела под деревом, когда прилетел баклан. Он не заметил ее и спокойно нырял, вылавливая рыбешек. Но вот из-за сопки показался человек в пробковом шлеме. Баклан сразу спрятался в воду. Теперь из воды торчала только голова, которой он быстро-быстро вертел во все стороны. Так всегда поступает эта птица, когда враг близко и улетать опасно. Ее тонкую шею и небольшую голову нелегко заметить. Но человек увидел птицу. Снял с плеча ружье, прицелился и выстрелил. Баклан закричал, тяжело забил крыльями, но подняться не смог и уполз в камыши.

Мен Хи вскочила и побежала не оглядываясь подальше от этого места. Она зашла в ущелье и села на гладкий, нагретый солнцем камень. Свадебная ночь казалась ей очень далекой, и она уже не понимала, что произошло в действительности и что ей только почудилось.

Мен Хи неподвижно сидит на камне, обняв колени и упершись в них подбородком. Отовсюду поднимаются горы, высокие скалы. Лишь с одной стороны виднеется зеркальная полоска воды. Тихо вокруг. Изредка прокричит птица, летящая к озеру, или донесется эхо от сильного удара вальком, или зашуршит в кустарнике камешек, сорвавшийся со скалы, и снова все спокойно.

Странное спокойствие и на душе у Мен Хи. Она о чем-то думает, но мысли текут мимо нее, не задевая сознания, не вызывая никаких чувств.

Вот медленно плывет над горами черный аист, размахивая большими крыльями, а сзади, как веревки, тянутся его длинные, тонкие ноги. Интересно, куда он летит? Наверно, за пищей для своих детенышей. А пока аист летает, тибетский медведь может найти его гнездо... Странный какой-то

этот медведь. Целыми днями он выискивает гнезда аистов. К нему совсем не подходит поговорка: неуклюжий как медведь. Найдя гнездо, он быстро вскакивает на дерево и поедает аистят...

Черный медведь с белым пятном на лбу тоже странный. На зиму он укладывается не в берлоге, а в дупле дерева, как можно выше от земли... Скоро ли аист полетит обратно? А то медведь обязательно разорит гнездо и съест детенышей...

Интересно, как плачут птицы? Наверно, только кричат. Покричат — и забудут про детей, которых уже больше не увидят. А мама не забыла о своей бедной Мен Хи и все время плачет. Но ведь это хорошо, когда плачут...

На вершине самой высокой горы Пэктусан есть голубое озеро Чендзи. Чендзи — значит небесное. С каждым днем в озере становится все больше воды. Только это кажется, будто там вода, на самом деле в нем слезы.

Во время дождя над Чендзи поднимается сильный ветер и отгоняет дождевую воду, чтобы она не смешалась со слезами. Зато каждая людская слезинка обязательно попадает туда. Когда озеро до краев наполнится слезами, люди перестанут плакать, потому что некуда будет деваться слезам, и всем станет хорошо жить.

Мен Хи тяжело вздыхает и, свернувшись калачиком, ложится на камень.

А что это за гора такая? Ее, кажется, раньше не было. Наверно, гора-заступница. Но почему же она ни за кого не заступается? Тоже, видно, ждет, пока озеро переполнится слезами. Где же тогда гора, что заботится о бедных? Она, скорее всего, низенькая, и ей из-за высоких гор не видно, как страдают люди. Хорошо бы пробраться к ней и все рассказать. Но только не пропустят высокие горы: они сами тоже богатые, все в цветах. А у подножия их охраняют колючие деревья и вот эти грубые скалы. Такие скалы поднимаются над могилами солдат, а гладкие горы вырастают там, где похоронены юноши. Стройные, красивые утесы — это умершие девушки...

А что вырастет над ее могилой? Скорее всего, ничего. Просто холмик маленький на дороге, бугорочек, и все будут на него наступать, и буйволы будут топтать его копытами.

Интересно, больно покойнику, когда топчут его могилу? Ну конечно, больно. Даже земляному червяку больно, если его топчут.

Хорошо бы ей после смерти стать ручейком, и чтоб не из

воды ручеек, а из слез. Они тоже вольются в озеро на вершине Пэктусан.

Мен Хи не заметила, как село солнце. Камень быстро остыл. Она встала и поднялась на гору. К подножию другой горы прилепилась ее родная деревня Змеиный хвост — десятка три маленьких хижин с большими соломенными крышами. Дворики казались рыжими, так же как и ограды из сухого камыша. Отдельно от других стоял дом Ли Ду Хана.

Мен Хи смотрела на деревушку, на этот ненавистный ей дом и чувствовала, что вернуться туда не может. Но и убежать нельзя. Полиция обязательно найдет ее, и тогда будет плохо.

А что, если все-таки убежать?

Мен Хи пошла в сторону от дороги, села у стога сена и тут же заснула.

Она спала крепко и не слышала, как полицейские и японские солдаты в противогазах и специальных костюмах окружили деревню. Они подняли на ноги всех жителей и загнали их в огромные без окон автобусы. Когда машины тронулись, солдаты подожгли деревню.

Мен Хи проснулась от яркого света: вся деревня и помещичий дом горели.

Мен Хи не знала, что это был обычный старый самурайский способ борьбы с заразными болезнями в Корее.

Деревни быстро не стало. Еще кое-где догорали хижины, когда Мен Хи побежала обратно к озеру и никем не замеченная скрылась в ущелье.

Только здесь она подумала о том, что поминальная доска, наверно, тоже сгорела.

В ХАРЧЕВНЕ

Случайно Сен Дин снова оказался возле бани. На углу лоточник по-прежнему бойко торговал фруктовой водой. После каждого покупателя он полоскал чашку в глиняном горшке.

Сен Дин выждал, пока возле лоточника никого не осталось, и подошел к нему. Он хотел было попросить напиться, но тут появился новый покупатель. У него было потное лицо, и Сен Дин сразу определил, что человек только что из бани.

— Сколько стоит чашка твоей красной воды? — спросил подошедший у лоточника.

Тот ответил и уже взял бутылку, чтобы открыть ее, но покупатель предостерегающе поднял руку.

— Нет, нет, такие деньги я не могу платить! — сказал он, отходя от лотка.

Сен Дин слышал эти слова, и ему вдруг пришла мысль: а что, если он начнет торговать возле бани дешевой горячей водой, как тот мальчишка на вокзале?

Да, но для этого нужна посуда!..

И Сен Дин вспомнил о старике, что торгует между магазинами Суга Эйсабуро и Катакура Кинта. У него, кажется, был чайник.

Он не ошибся. Действительно, среди прочей рухляди у древнего старца нашлись и облезлый чайник и еще вполне пригодная, хоть и выщербленная, чашка. Сен Дин уговорил старика дать ему то и другое в долг.

Как и прошлую ночь, он спал вблизи вокзала. Но только не там, где вчера, а в самом конце площади, у стены какого-то строения, похожего на склад. Здесь уже спали, прижавшись друг к другу, человек пятнадцать таких же бездомных, как он.

Спал Сен Дин чутко, боясь, как бы у него не украли чайник, а с рассветом пробрался на перрон, обошел все пристанционные здания и наконец нашел кипятильник.

Кипяток ему тоже удалось взять в долг.

— Если не принесешь деньги,— сказал истопник,— не показывайся здесь больше.

Обмотав чайник своей рубахой, чтобы он не остыл, Сен Дин отправился в знакомый переулок. Он стал у дверей бани и начал ждать.

Первым вышел хорошо одетый мужчина.

— Есть горячая вода,— робко обратился к нему Сен Дин.— Дешевая горячая вода.

Человек равнодушно посмотрел на Сен Дина и прошел мимо.

Вслед за ним вышел молодой парень, но к нему Сен Дин не решился обратиться. Потом появилось несколько женщин. Им он тоже побоялся предложить свой товар.

«Нет, так ничего не удастся продать»,— подумал он.

И когда из двери показался добродушный старик с целой стайкой ребят, Сен Дин отважился и громко сказал:

— Хотите напиться? У меня горячая вода.

— Хотим, хотим! — закричали дети.

— А сколько стоит твоя вода? — спросил старик.

— Если у вас не найдется мелкой монеты, пейте бесплатно, может, у других будет мелочь и я хоть что-нибудь зара-

ботаю,— сказал он фразу, которую слышал от торговца кипятком на вокзале.

И так же, как тот мальчишка, Сен Дин, не дожидаясь решения покупателя, налил чашку воды.

Старик напился сам и, дав Сен Дину монету, велел напоить ребят. Они еще не успели уйти, как Сен Дин услышал оклик какого-то прохожего:

— Эй, налей-ка водички!

Сен Дин подбежал к нему и получил еще одну монету. Вскоре ему удалось продать еще чашку, и от такой удачи он совсем осмелел. Он уже громко выкрикивал:

— Вот горячая вода!.. Свежая горячая вода!.. Кто желает напиться?

Теперь он обращался к каждому, кто выходил из бани.

Торговля шла бойко. Перед тем как налить чашку покупателю, он хорошо ополаскивал ее, и часа через два его чайник опустел. Он снова побежал на станцию. В руке у него было зажато восемь монет.

Истопнику он сказал, что заработал лишь три чжены и одну из них может внести в счет долга. Тот остался недоволен и сперва заворчал, будто другие платят дороже, что он не может даром разбазаривать воду, но потом все же разрешил взять кипяток.

За день Сен Дин трижды приходил на станцию. К вечеру у него была целая горсть монет.

Сен Дин твердо решил не платить истопнику больше одной чжены за чайник. И хотя старик был недоволен, но, видя, что Сен Дин приходит часто, смирился.

Вечером Сен Дин снова пошел в харчевню. Теперь он был умнее и сперва узнал, что сколько стоит, а потом уже заказал себе ужин. Заработанных денег вполне хватило на порцию кукурузного паба и порцию паба из чумизы, а кимчи ему опять дали даром.

После ужина у Сен Дина не осталось ни одного пхуна, но теперь он знал, что завтра снова заработает

По пути на станцию Сен Дин вдруг увидел Сен Челя. Тот шел по противоположной стороне улицы. Сен Дин бросился к брату, но, как назло, остановился трамвай, перегородив дорогу. Впереди тоже стояло несколько трамваев, и Сен Дин решил обойти только что остановившийся вагон, но тут появился встречный трамвай. Когда Сен Дин наконец выбрался на другую сторону, Сен Челя нигде не было. Он пробежал немного вперед, несколько раз крикнул: «Сен Чель!» но никто не отозвался. Он решил, что просто ему показалось. Но с того дня Сен Дин часто думал о старшем

брате. Он уже давно в Пхеньяне и, может быть, успел обзавестись знакомыми, которые за небольшую взятку могли бы и Сен Дина устроить на хорошую работу.

Для Сен Дина началась новая жизнь. Он ночевал на станции и каждое утро приходил к открытию бани и стоял у двери с чайником. Выручал не так много, но выпадали дни, когда ему удавалось собрать горсть монет.

В харчевню Сен Дин больше не ходил из-за дороговизны и потому, что научился ценить деньги. Он нашел другое место, где можно было поесть гораздо дешевле.

Как-то, проходя по хорошо знакомому шумному переулку, он остановился возле уличного торговца посмотреть, почему здесь собралось так много покупателей. Оказалось, лоточник торгует вареной чумизой. Но другие торговцы всячески расхваливали свой товар, а этот, наоборот, громко заявлял, что товар у него не первосортный. Он выкрикивал:

— Горячая, немного подпорченная чумиза... Почти даром... Покупайте горячую чумизу!

Сен Дин справился о цене. Действительно, запрашивал торговец недорого. Сен Дин велел подать ему миску, уплатил, что полагалось, и, когда стал есть, убедился, что это в самом деле хорошая чумиза. Правда, от нее шел дурной запах, видно, она долго пролежала на складе. Но на это пусть обращают внимание помещичьи дочки. А он не станет разбираться в запахах.

С тех пор Сен Дин приходил сюда по два раза в день. Однако он не мог себе позволить швыряться деньгами. Ведь он еще не расплатился за чайник и чашку Да и пора уже копить деньги для отца.

Сен Дин жил бережливо и старался заработать как можно больше. Теперь, идя с вокзала с кипятком, он всю дорогу предлагал свой товар покупателям: «Горячая вода! А вот горячая вода!» Случалось, что уже в пути он продавал несколько чашек.

Потом его дела пошли еще лучше. Сен Дин сговорился с истопником бани и перестал ходить за кипятком на станцию, а заливал чайник здесь же, в котельной. Платил он всего одну чжену за целый день, сколько бы ни потребовалось чайников.

У него завелись не только медные монеты в одну и пять чжен, но и никелевые по десять чжен. Каждый вечер он аккуратно пересчитывал деньги, не снимая их с проволочного кольца, пока не набралась вона, то есть ровно столько, сколько надо было заплатить за чайник и чашку

Жаль, конечно, отдавать столько денег, но делать нечего.

Завтра он наторгует еще несколько монет и отправится к старику, отдаст ему долг. Вот удивится старик!.. А потом можно будет накопить еще. Не так много потребовалось времени, чтобы собрать эту вону. Зато потом пойдет чистый доход.

На другой день после обеда Сен Дин решил, что отправится к старику, как только продаст еще один чайник воды. Нельзя же оставаться совсем без денег! А заодно надо узнать у истопника, нет ли новостей. Ведь, по его словам, скоро опять должны привезти топливо. Уголь необходимо выгрузить, а потом перетаскать в котельную. Да и дрова кто-то должен напилить и наколоть. Истопник обещал устроить эту работу ему.

Такие мысли владели Сен Дином, когда он подходил к бане, помахивая чайником.

Еще издали он заметил у дверей бани какого-то человека, но сперва не обратил на него внимания. Однако, подойдя ближе и увидев, что́ у него в руках, Сен Дин замер на месте, словно тело его свела судорога.

Сен Дин оторопело уставился на этого человека, а тот, немного наклонившись, исподлобья смотрел на Сен Дина. Так они стояли несколько секунд, глядя друг на друга, а потом человек молча опустил на землю чайник, повесил на носик чашку и шагнул навстречу Сен Дину.

Ему бы сразу на что-нибудь решиться, но Сен Дин только подумал, какой у того большой и ярко начищенный чайник и какая красивая белая чашка.

— Уходи отсюда! — сказал человек угрожающе.

От этих слов Сен Дин словно очнулся.

— Почему я должен уходить?! — тонко закричал он, пятясь от наступавшего на него человека.— Это — мое место, поищи себе другое!

А человек подошел совсем близко и размахнулся. Сен Дин выбросил вперед руку, но не успел прикрыть лицо, и тяжелый удар кулаком пришелся ему по челюсти. Сен Дин застонал, чайник вывалился у него из рук, отлетел в сторону, и разбилась чашка.

Сен Дин теперь защищал голову и лицо обеими руками, держа в одной из них узелок с монетами. А удары так и сыпались на него, и он лишь глухо повторял:

— Не бей, не бей, ну, не бей же...

Но тот продолжал свое, пока не вышиб у Сен Дина из рук деньги. Монеты рассыпались по асфальту. Тут же раздался резкий свисток. Человек отскочил в сторону, и Сен Дин увидел неподалеку полицейского в светло-зеленом кителе и белом пробковом шлеме, с толстой трехцветной дубинкой.

Сен Дин бросился собирать монеты, испуганно поглядывая на грозно приближавшуюся фигуру.

— Марш за мной! — махнул дубинкой полицейский, едва не задев Сен Дина.

— Я не виноват, я не виноват!.. – заторопился Сен Дин, вскочив.

Он начал поспешно объяснять, что всегда торгует здесь водой, а тот захватил его место да еще избил.

— Откуда у тебя столько денег? — прервал его полицейский.— Давай-ка их сюда, пойдем в участок, а заодно разберемся, почему ты не работаешь и не идешь добровольно в армию.

Он выпустил свою трехцветную дубинку, и она, качаясь, повисла на ремешке, а его ладонь собралась в горсть.

Сен Дин высыпал в чужую ладонь деньги.

— Вон еще две монеты валяются,— показал полицейский.

Сен Дин быстро подобрал и эти монеты, а полицейский выхватил их с таким видом, будто это он обронил деньги, а Сен Дин хотел присвоить.

— А где второй бродяга? Надо его догнать.— И полицейский быстро пошел прочь.

Сен Дин поднял с асфальта свой помятый жестяной чайник, тоскливо взглянул на разбитую чашку и поплелся в котельную.

Выслушав его рассказ, истопник сокрушенно покачал головой и, чтобы утешить приятеля, дал ему на время свою кружку. Потом они наполнили чайник кипятком, и тут выяснилось, что он в трех местах прохудился и струйки бьют из него в разные стороны.

Горе Сен Дина было велико. Он опустился на кучу угля, взялся за голову и без конца повторял:

— Ай гу, ай гу!.. Горе мое, боль моя!..

Но в это тяжелое время счастье пришло к Сен Дину: к бане подъехали две машины с дровами и одна с углем.

Хозяин велел нанять людей, чтобы быстро разгрузить машины. Но истопник сумел уговорить его, и всю работу поручили одному Сен Дину: мол, так дешевле обойдется. Правда, шоферам пришлось дать по нескольку монет, чтобы они не очень ворчали. Но все равно это было выгодно.

Сен Дин работал без передышки и с такой яростью, что не успели водители обменяться новостями, как грузовики опустели.

Когда они уехали, Сен Дин перетаскал уголь в котельную и принялся за дрова. Колоть их было трудно, потому что это оказались дешевые дрова, сырые и суковатые. Он ра-

ботал, пока не стемнело, а перед ним еще возвышалась груда ненаколотых чурбаков. Пришлось отложить дело на завтра.

Перекусив вместе с истопником, он потащился на вокзальную площадь и расположился на ночь среди других бродяг. Но едва Сен Дин заснул, как полиция начала охотиться за бездомными. Скрываться от полиции становилось все труднее. Уже несколько дней охотились за теми, кто не работал и не имел торговли. Их отправляли добровольцами в японскую армию или посылали на военное строительство. Сен Дин поднялся и побежал по темному переулку. Потом он понял, что никто за ним не гонится, и уже не смог двигаться дальше и свалился возле какого-то дома.

Спал он крепко, но на рассвете вскочил: нельзя предаваться сну, когда человека ждет работа.

Весь день Сен Дин колол дрова. Истопник приходил помогать ему и поделил с ним свой обед, а к вечеру они уложили поленья под навес и пошли к хозяину. Тот осмотрел двор, зашел в котельную и остался доволен. Он заплатил Сен Дину пять вон.

Сен Дин прижал деньги к груди и, не стесняясь хозяина, засмеялся от счастья.

Было поздно. Баня закрылась, там шла уборка. Но все же истопник предложил помыться. Пока они раздевались, Сен Дин соображал, сколько надо отдать приятелю. После долгих раздумий он протянул ему одну вону. Истопник сказал, что это маловато, потому что он не только помогал колоть дрова, но и кормил Сен Дина, а главное, устроил ему такую выгодную работу и, может быть, скоро еще устроит.

Сен Дин задумался.

Но истопник оказался хорошим малым.

— Если тебе жалко денег, я согласен на одну вону,— сказал он.— Только после бани мы поедим за твой счет.

Сен Дин обрадовался, потому что он и без того хотел повести истопника в харчевню. Правда, придется истратить кое-что, но ссориться с истопником нельзя, ведь он и в другой раз сможет устроить ему работу.

Они мылись, и Сен Дин думал, как распределить деньги. Прежде всего одну вону, целых сто чжен, надо завтра же отнести за чайник и чашку. При этой мысли он вспомнил о человеке, который его побил, о деньгах, отнятых полицейским, о разбитой чашке, о прохудившемся чайнике и тяжело вздохнул.

Но уж сегодня-то он может позволить себе хорошо поужинать, а заодно показать приятелю, какой он щедрый! На это уйдет еще одна вона. Из оставшихся двух вон одну он

оставит на жизнь, а другую зашьет в кушак и не притронется к ней, даже если придется умирать с голоду. Это будут деньги для отца, для Пака-неудачника.

Быстро вымывшись, они пошли в харчевню, в ту самую харчевню, где Сен Дин уже бывал. Здесь стоял шум и было много людей, но толстый хозяин сразу подбежал к ним и показал, где сесть. Эти хозяева всегда чувствуют, с деньгами пришел человек или нет. А потому и соседи отнеслись к ним с уважением и стали смотреть, что они будут заказывать.

Истопник улыбался, глядя на приятеля, и хозяин, смекнув, кто будет расплачиваться, склонился над Сен Дином, ожидая заказа.

Сен Дин почувствовал, что он и в самом деле человек с деньгами, и если уж решено истратить целую вону, пусть им принесут хороший ужин.

Он сказал:

— Дайте нам куксу.

— Два раза по две полпорции куксу,— быстро проговорил хозяин и загнул палец.— Дальше.

— Две порции рисового паба.

— Две порции тугого рисового паба,— так же быстро повторил толстяк, загибая второй палец.— Еще.

— Хватит! — поспешно произнес Сен Дин, испугавшийся больших расходов.— Еще только кимчи.

— Две порции круто наперченной кимчи бесплатно,— загнул хозяин третий палец.

— Да, да, хватит,— вмешался истопник.

— А пить что будете? Соджу, сури, саке?

Сен Дину даже мысль такая не приходила в голову. Он взглянул на истопника, но тот отвел глаза. Сен Дин решил твердо сказать, что он непьющий, но взгляд его упал на столик соседей, которые заинтересованно смотрели в их сторону. Он увидел перед ними небольшие фигурные сосуды, размером в половину его теперь уже разбитой чашки, и заколебался. Ведь он никогда не пил. Что, если попробовать?

— А что дешевле? — спросил вдруг Сен Дин.

— Соджу. И крепче и дешевле.

— Тогда соджу,— проговорил Сен Дин с достоинством, отгоняя пугавшие его мысли.

— Два кувшинчика крепкого соджу.— И хозяин загнул четвертый палец.

— Нет, один! — быстро поправил его Сен Дин.

— Да, да, хватит одного,— подтвердил истопник.

Толстяк убежал, и Сен Дина охватила тревога. Сколько же все это будет стоить?

И вдруг ему в голову пришла мысль: а почему он должен нести торговцу деньги? Чашка разбилась, едва коснувшись мягкого асфальта, да и чайник весь расползся по швам. Если бы он и дальше мог пользоваться этой рухлядью, стоило бы заплатить. Но ведь старик всучил ему хлам и такие большие деньги потребовал. Пятьдесят чжен куда ни шло, да и то много! Десять чжен, больше это не стоит. А вообще даже такую сумму незачем отдавать: все равно этот хлам никто не купил бы, и старику пришлось бы только таскать его каждый день взад и вперед.

От этих мыслей стало весело, он улыбнулся и, усаживаясь поудобней, обратился к истопнику:

— Ну как, хороший ужин я заказал?

— Очень хороший, очень хороший,— заулыбался тот.— Жаль только денег.

— А сколько это будет стоить, как ты думаешь?

— Дорого, не меньше двух вон.

— О, это ничего, это можно.

Как раз израсходуется лишняя вона, которую он зря хотел отнести старику.

Вскоре им подали маленький кувшинчик с узеньким и длинным, как шея цыпленка, горлышком и чашечки объемом в два-три наперстка.

Сен Дин наполнил их доверху, но выпил не всю сразу, а только отхлебнул, как пили другие посетители, чтобы продлить удовольствие.

Оба жадно ели, то и дело подливая соджу, пока Сен Дин не почувствовал опьянения. Ему стало совсем весело, в голове поплыл приятный туман, и он принялся громко объяснять соседям, что человек, у которого водятся деньги, может позволить себе заглянуть вечерком в харчевню и даже угостить приятеля, особенно вот такого славного малого, и он похлопал по спине улыбавшегося истопника.

Тут к ним подлетел хозяин, схватил, словно смахнул, со стола кувшинчик и убежал, а через минуту снова появился, весь сияющий, и торжественно водворил кувшинчик на прежнее место.

— Я ведь знал, что одного мало,— проговорил он, склонив набок голову и, как ребенок, надув губы.

Сен Дин насторожился.

— Это ты еще соджу принес? — подозрительно спросил он.

— Да, одну порцию на двоих,— ласково ответил тот.

— А сколько стоит наш ужин без этого? — указал Сен Дин на только что принесенный сосуд.

— О, для таких состоятельных людей, как вы, ерунда, всего три воны!

— Хватит! — закричал Сен Дин не своим голосом.— Убери его прочь,— махнул он рукой,— скажи, сколько стоит каждое блюдо. Почему так много денег?

Хозяин обиделся, но старался успокоить Сен Дина:

— Зачем кричать? Не хотите — я уберу, другие выпьют, а вы можете расплатиться и идти отдыхать.

— Нет, ты скажи, сколько стоит куксу, сколько паб и сколько соджу — все в отдельности, - упорствовал Сен Дин.

Толстяк стал называть цены, и там, где он ошибался, его поправляли посетители, потому что народу в харчевне осталось немного и все прислушивались к скандалу. Толстяк благодарил тех, кто ему помогал считать, и, улыбаясь, объяснял, что в такой сутолоке вполне допускает, что мог ошибиться.

Оказалось, ужин стоит две воны пятьдесят чжен. Сен Дин медленно и угрюмо отсчитал деньги. Он смотрел на свои деньги, когда их проверял толстяк, и проводил их тоскливым взглядом, пока они не скрылись в полах засаленного халата.

Потом он принялся доедать все, что оставалось на столе. Значит, теперь у него всего полторы воны. Ровно половина той суммы, что должна была остаться. Откуда же взять деньги, которые он собирался зашить в кушак для отца? Конечно, отец может и подождать. Ведь он-то отпустил своего сына, не дав даже одного пхуна. Дома не знают, заработал он деньги или нет. Пожалуй, рано откладывать для отца. Вот когда опять пойдут большие заработки, тогда и отцу можно будет помочь.

Такое решение успокоило Сен Дина.

— Пойдем сегодня ко мне в котельную спать,— обратился к нему истопник.— Проскользнем незаметно, хозяин и не узнает.

— Правильно! — обрадовался Сен Дин.— Проберемся тихонько, а на рассвете я уйду. Мы с тобой сыты и хорошо выпили, значит, можно и отдохнуть.

Они поднялись и вышли на улицу. Откуда-то доносилась веселая музыка. В голове у Сен Дина шумело.

— Раз у нас есть где спать,— сказал он,— и мы хорошо выпили, значит, можно погулять, как делают другие, только смотри по сторонам, чтобы на полицию не наткнуться.

Истопник согласился, и они уже пошли было вдоль по улице, но вдруг их остановил какой-то парень.

— Зачем же вы здесь тратились, господа? — сказал он с сожалением.— Если за углом за те же деньги веселье, как у императора. Слышите? Музыка играет.

Приятели промолчали.

— Пойдемте, посмотрите, как там весело, это здесь, сразу за углом.

— Ну, если только в дверь заглянуть,— сказал Сен Дин. А парень уже тащил за собой истопника.

Через несколько шагов они завернули за угол и увидели разноцветные бумажные фонарики у красивого резного крыльца.

— Вот и пришли,— сказал парень, когда они приблизились к входу.— Слышите, как играет музыка?

Сен Дин нерешительно остановился.

— Пойдемте, пойдемте,— засмеялся парень.— Посмотреть можно и без денег. Я же знаю, вы сыты. Посидите немного, послушаете музыку, и все. Платить не надо.

— Это хорошо,— сказал Сен Дин, ступая на крыльцо.

— Ну что ж, пойдем,— отозвался истопник.

Они вошли и остановились, пораженные роскошью открывшегося перед ними зала. Весь потолок был увешан красными, синими, голубыми и зелеными фонариками из бумаги. У стены возвышался огромный дорогой ящик, откуда неслась музыка, а перед ним танцевала женщина в яркой юбке. Ни одной свободной подушечки не было видно: столько здесь сидело посетителей. Все громко разговаривали, смеялись.

Едва Сен Дин и истопник успели охватить взглядом все это великолепие, как к ним подбежала девушка в цветной одежде. В волосах у нее красовался большой цветок и блестели разноцветные стекляшки. Сен Дин еще отметил, что щеки у нее красные, а уши и подбородок розовые. Она схватила приятелей за руки и, смеясь и приплясывая, потащила их в глубь зала.

— Пойдемте, пойдемте, не стесняйтесь,— говорила она, усаживая их за маленький круглый столик, которого они раньше не заметили.

Не зная, что будет дальше, они сели. Мгновенно к ним подбежала другая девушка и спросила, что они хотят есть и пить.

Сен Дин растерянно искал глазами парня, который затащил их сюда, но его нигде не было.

— Принесите соджу,— сказал вдруг истопник и, глядя на Сен Дина, добавил: — Я заплачу.

— И две полпорции куксу! — выпалил Сен Дин.— Только

покруче поперчите там... А за куксу я буду платить,— сказал он истопнику.

Оба засмеялись и стали осматриваться.

Потом они выпили, а все остальное Сен Дин не помнил.

Он проснулся где-то в незнакомом переулке, весь избитый. В голове всплывали какие-то обрывки вчерашнего: то ему виделась накрашенная девушка, которую он угощал, то пляшущий под музыку истопник. Он вспомнил, как с него требовали плату и выталкивали из помещения под общий смех.

Сен Дин ощупал место на груди, где лежали деньги. Ни одного пхуна там не было.

НА САДОНСКОЙ ШАХТЕ

Сен Дин впал в отчаяние. Он жил на улицах Пхеньяна среди таких же, как сам, голодных и бездомных. Он ненавидел их. Если он находил работу, они отнимали ее. Раздобыв монету, шел в харчевню или к лотку и думал: сейчас его обворуют, перехитрят. Если находил ночлег, его выслеживал «охотник» в белом пробковом шлеме с трехцветной дубинкой в руках.

Он научился обходить более сильных. Избегал показываться на главном вокзале, близ гостиниц или в центре города. Он искал работу на окраинах. Долгими часами просиживал на высоком берегу Тэдонгана, высматривая, куда причаливают баржи, и стремглав бежал к пристани, бежал и оглядывался: не гонятся ли за ним, чтобы отнять работу.

Он научился скрываться от полиции. Он узнал все места, где может перепасть хоть какой-нибудь заработок, все пещеры в ближайших сопках, где можно переночевать.

Однажды рано утром, когда Сен Дин и еще несколько бродяг только проснулись и, сидя на берегу Тэдонгана, обсуждали, куда направиться и как бы поесть, они увидели быстро приближавшегося к ним знакомого грузчика.

— Куда же вы пропали? — закричал он издали.— Скорей собирайтесь, наши со вчерашнего дня работают на Садонских шахтах, и туда требуются еще люди! Меня прислали собрать побольше народа...— говорил он, тяжело дыша от быстрой ходьбы.

Сен Дин вскочил.

— На постоянную работу? — недоверчиво спросил он.

— Да, да! Скорей собирайтесь, там требуется много рабочих, а я побегу дальше, надо разыскать всех.

Что-то непонятное творилось на улицах. Сначала к центру шли колонны железнодорожников в своих синих куртках с блестящими пуговицами. Но их разгоняли полицейские, и Сен Дин едва не попал в облаву. Чтобы скорее выбраться за город, он хотел подъехать на трамвае, но вагоны почему-то стояли пустые, и даже кондукторов в них не было. По улицам метались полицейские, куда-то на автомашинах мчались войска.

Сен Дин старался нигде не задерживаться. Какое ему дело, что на всех углах собираются люди и о чем-то говорят, размахивая руками. Ему надо скорее попасть на Садонские шахты, если там действительно дают работу. А стоять на улице и чесать языки могут только бездельники. У них, наверно, есть деньги, поэтому они ходят тут, ничего не делая... Хотя что-то, наверно, случилось. Повсюду люди, повсюду полиция. Хорошо, что ему не надо идти через центр города. Все устремляются туда.

Через полчаса Сен Дин достиг окраины города и зашагал по дороге к Садонским шахтам. Он все время смотрел по сторонам и удивлялся.

За городской чертой тоже много военных и полицейских. Они останавливают каждого.

— Куда идешь?

Это спрашивают его. Что же сказать?

— Куда? Куда?

В Садонские шахты, на работу.

— Проходи!

«В Садонские шахты» — звучит как пароль. Всех, кто так говорит, пропускают сразу, не задерживая, не задавая других вопросов. Надо торопиться: в Садон идет много народу, можно опоздать.

У ворот шахты столпились люди. Они хотят работать, и всех принимают. Контора не успевает оформлять документы. Поэтому открыли ворота, и людей пропускают во двор. Кого не успели записать в конторе, запишут после работы. Нельзя, чтобы столько людей стояло без дела, если за это время им можно дать заработать. Администрация во всем идет навстречу новым рабочим. Она ставит только одно условие: за пределы шахты и своего барака ходить не разрешается. Просто незачем куда-то ходить, если и столовая и жилье находятся тут же.

Сен Дин согласен. Ему никуда и не надо ходить. Он никогда не видел шахту, особенно такую, как Садонская, где столько механизмов. Огромная территория застроена эстакадами, высокими деревянными корпусами, между которыми

протянулись ленты транспортеров. Раньше в корпусах грохотали углесмесители. Они нагнетали угольную пыль с примесью красной глины и мазута в специальные формы и прессы. После каждого оттиска сотни брикетов выбрасывались на транспортер и поднимались в бункера. Оттуда их одинаковыми порциями ссыпали в грузовики.

Сейчас углесмесители стоят. Нет рабочих, которые бы умели управлять ими.

Здесь собрались одни новички. Японские администраторы мечутся по всей территории шахты и каждому объясняют, что надо делать.

Сен Дин сразу понял свои обязанности. Он и еще один рабочий наполняют мелким углем железное сито с ручками, похожее на носилки, а потом качают его, высевая угольную пыль для брикетов.

Сен Дин качает сито. Вперед — назад, вперед — назад... Прошло всего несколько часов, а он уже не может узнать своего напарника. Руки, лицо одежда покрыты тонким черным слоем. Белыми остаются только зубы Наверно Сен Дин тоже выглядит так. А может быть, у него и зубы черные, потому что уголь все время хрустит на зубах Сен Дин качает сито. Черная пыль поднимается вокруг, а потом медленно оседает. Работа сдельная, надо быстрее качать Вперед — назад, вперед — назад, вперед — назад...

Он уже вволю наглотался угля. Оказывается, уголь имеет вкус соли. Или, может быть, это ручейки пота, стекающего по лицу, попадают на язык? Сен Дин весь мокрый от пота, и только в горле сухо. И губы сухие. Он поминутно облизывает их, но все равно они остаются сухими, шершавыми

Сен Дин никогда не спал днем. Ему никогда не хотелось спать днем. А сейчас почему-то слипаются глаза. Тело обмякло. Он стоит, как в тумане, окутанный угольной пылью Вперед — назад, вперед — назад, вперед — назад...

Шесть часов Сен Дин качал сито. Потом объявили обеденный перерыв. Люди оставили работу и пошли в барак, где выдавали чумизу. Все ели и говорили о том, куда девались старые рабочие, подозревая что-то неладное. У всех было нехорошо на душе, и этим омрачалась радость, которую переживали люди, получившие постоянную работу.

Сен Дин ел молча. Он слушал, о чем говорят рабочие, и все больше злился. Зачем они затевают этот разговор и почему они вмешиваются не в свои дела? Им удалось устроиться на шахту, и пусть теперь зарабатывают свою чашку риса. Пусть скажут спасибо, что им так повезло. И что за народ такой, всегда недоволен! Чего не хватает вот этому, со

шрамом на лбу? Он больше всех хлопочет и ко всем пристает со всякими вопросами.

Сен Дин молчал, пока человек со шрамом не предложил пойти в контору и спросить, куда девались все старые шахтеры. Тут Сен Дин не выдержал.

— Какое тебе дело до людей? — прошипел он сквозь зубы.— Из-за таких любопытных, как ты, все мы можем потерять работу.

Кто-то поддержал Сен Дина, и спор затих.

После перерыва Сен Дин опять качал сито. А возле него тоже качали сита, и целый длинный ряд людей делал то же самое.

Когда под ситом вырастала горка угольной пыли, Сен Дин и его напарник брали широкие лопаты и перебрасывали ее в другое место, специально для них отведенное. Потом наполняли сито из большого штабеля и снова качали. Напарник Сен Дину попался хороший, и они не позволяли себе отвлекаться или без конца разгибать спины, или курить сигареты. К вечеру им удалось насеять большую гору угольной пыли. И хотя было темно, Сен Дин успел заметить, что у них самая большая гора во всем ряду.

Когда рабочие уйдут, явится расценщик. Он обмеряет весь длинный ряд и определит, кто сколько заработал.

...Сен Дин лежал на циновке и думал о том, что с ним произошло. Утром ему не придется идти на вокзал или на пристань искать работу. Работа для него приготовлена и ждет только его прихода. И завтра тоже будет работа, и послезавтра, и каждый день. И работать можно сколько угодно. Чем больше он будет работать, тем больше ему заплатят.

Незаметно Сен Дин заснул. А когда проснулся, не мог сразу сообразить, где он очутился. В Пхеньяне он спал на открытом воздухе или в пещере. Там тоже легко дышать. Он привык спать съежившись, потому что даже летом на рассвете бывает холодно. А здесь он почувствовал спертый и душный воздух от пропотевшей одежды и тяжелого дыхания разметавшихся во сне людей. Он осмотрелся вокруг и, когда его глаза привыкли к полумраку, вспомнил, где находится, и уже не мог больше лежать.

Сен Дин поднялся и в полумраке побрел к двери, сквозь щель которой проникал матовый свет. Он осторожно переступал через спящих, чтобы не потревожить и не разбудить их.

Он пришел на то место, где работал вчера, и увидел, что большие штабели угля по-прежнему лежат и ждут, пока он явится и начнет отсеивать угольную пыль. Он стоял

и смотрел, а потом близко подошел к своему ситу и взял лопату, которая была приготовлена для него и ждала его.

Чтобы не терять лишнего времени, он набросал полное сито угля. Когда начнется рабочий день, все станут насыпать уголь в сита, а тут уже будет все готово, и он с напарником сразу начнет просеивать уголь.

И вдруг Сен Дин бросил лопату и быстро пошел в барак. Он растолкал своего напарника.

— Вставай,— сказал Сен Дин,— спать всякий лентяй может!

Спустя час рабочие вышли на шахтный двор и увидели среди штабелей два силуэта, окутанные угольной пылью,— Сен Дин и его напарник качали сито. И вечером, когда люди расходились по баракам, эти двое все еще оставались на своих местах.

Надсмотрщик тоже видел, как усердно они работают, хвалил их и ставил в пример другим, которые жаловались, будто тяжело качать сито четырнадцать часов подряд.

А Сен Дин продолжал работать так же упрямо. На четвертый день ему уже трудно было подняться раньше других, но он вспомнил, как его хвалила администрация, и все же встал.

Вечером, любуясь плодами своего труда, он снова отметил, что его горка угольной пыли самая высокая. Значит, сегодня заработок опять больше, чем у других. Он обратил внимание и на то, что его соседи работают не по-хозяйски — повсюду была рассыпана угольная пыль. Чтобы ее зря не затоптали ногами и чтобы она без пользы не валялась на земле, он подгреб ее лопатой к своей горке.

В барак Сен Дин пришел последним. Уже все поели и легли на циновки. Было тихо, и только слышалось тяжелое дыхание уставших людей да время от времени чье-нибудь бормотание или выкрик во сне. Сен Дин едва дотащился до своей циновки и свалился. Он хотел немного отдохнуть, а потом поужинать, но сразу же крепко заснул.

На следующее утро Сен Дин проспал начало работы. Его поднял напарник, когда на циновках почти никого не осталось. Тело его ныло, но он выругал напарника за то, что тот так поздно разбудил.

Весь день они работали, и Сен Дин сам не заметил, как начал все чаще разгибать спину, все медленней качать сито.

Потом пришло время кончать работу. Сен Дин сказал своему напарнику:

— Сегодня мы совсем мало насеяли, придется задержаться на часок-другой.

Однако тот не согласился, заявил, будто и так едва держится на ногах, и ушел

Сен Дин горестно думал о том, как мало они сегодня заработали. Но делать было нечего, и он решил так же, как вчера, подгрести нерасчетливо рассыпанный соседями уголь и идти домой. Он чувствовал, что и у него уже нет больше сил работать.

Сгребая уголь соседней горки, он случайно задел ее лопатой, и все, что ссыпалось сверху, он тоже отшвырнул в свою сторону, потому что теперь трудно было разобрать, где его уголь, а где чужой. И когда он так сделал, в голове его мелькнула новая мысль. Если взять немного угля у соседей, всего несколько лопат, у них останется почти столько, сколько было. А у него прибавится порядочно. В конце концов он не виноват, что ему дали такого ленивого напарника, из-за которого приходится страдать. А каких-нибудь две-три лопаты для людей ничего не составят, да никто и не узнает: у него всегда была самая большая горка.

Сен Дин посмотрел по сторонам и швырнул лопату угля с соседней горки на свою, снова обернулся и быстро бросил еще три лопаты. Потом он выпрямился и облокотился на черенок. Где-то возле эстакады да в противоположном конце двора у ворот тускло горели фонари. Нигде ни души. Только бесконечные штабели угля и брикета сливались во мраке в одну черную бесформенную массу.

Сен Дин решительно подошел ко второй горке и начал перебрасывать с нее уголь на свою.

Он бросал, говоря себе, что на этой лопате надо бы закончить, ну ладно, вот на этой, или, хорошо, только еще одну последнюю, теперь совсем уж последнюю...

Словно какая-то сила мешала ему остановиться, и он, забыв усталость, в ярости швырял одну лопату за другой И вдруг ему послышался шорох Он быстро отскочил к своей горке и стал ее заравнивать. Потом боязливо обернулся по сторонам. Нигде никого. Видно, кусок угля покатился с соседнего штабеля.

Сен Дин прошел в барак никем не замеченный, хотя народ еще не спал. Он подходил то к одной, то к другой группе рабочих, собравшихся там, где горели коптилки, вставлял в разговор несколько слов и уходил.

Показавшись людям, Сен Дин лег на свою циновку. Нельзя же было так оставить, оправдывал он себя: каждый день у него самая большая горка, а сегодня меньше, чем у других. Завтра он насеет побольше и подарит соседям эти несколько лопат, что позаимствовал у них.

Проснулся Сен Дин с тревожным чувством и сразу вскочил. Было еще темно, но в щели уже проникали узкие серые полоски. Скоро рассвет. Он вышел из барака. Густой туман тяжело оседал на шахтный двор. Сен Дин направился к своему ситу и вдруг в ужасе остановился. Возле его большой горы угольной пыли, возвышавшейся над всем рядом, виднелась маленькая, едва приметная кучка угля его соседей. Неужели это все, что он оставил им?

Сен Дин схватил было лопату, чтобы перебросить уголь обратно, но подумал, что теперь не успеть: скоро придут обмерять горки, а потом явятся грузчики с тачками. И вдруг его осенила новая мысль. Рядом находился штабель, состоящий из больших кусков антрацита. Не раздумывая больше, он обхватил обеими руками массивный кусок, с трудом поднял его, затем, согнувшись, подбежал к маленькой горке и опустил на нее свою ношу. Оборачиваясь по сторонам, бросился назад, схватил второй кусок, потом третий и, когда ему показалось, что горка достаточно велика, засыпал куски антрацита угольной пылью.

Убедившись, что его никто не видел, вернулся в барак и смешался с рабочими, которые уже поднимались со своих циновок.

Через час подлог обнаружился. Началась суматоха. Прибежали старший надсмотрщик, начальник двора и еще десяток японцев. Два пожилых корейца растерянно оправдывались, уверяя, что не прятали в свою горку крупного угля.

Сен Дин качал сито и со злостью кричал на своего напарника, чтобы тот быстрее поворачивался. Он слышал все, что происходило рядом, и тревожно поглядывал туда, то расправляя плечи, готовый бросить сито и признаться во всем, то содрогаясь и ежась от этой мысли. Когда надсмотрщик окликнул Сен Дина и спросил его, лучшего рабочего, не видел ли он, как вот эти двое прятали антрацит в угольную пыль, он честно сказал, что не видел.

Потом японцы разошлись и увели обоих корейцев, а Сен Дин продолжал работать упрямо, без передышки и не давал передохнуть напарнику. Вечером он не остался, как всегда, подгрести уголь, а ушел вместе с другими. Но он видел, что люди сторонятся его и избегают смотреть ему в глаза. А может быть, ему только так казалось.

БРАТЬЯ

Ван Гун поручил Сен Челю выяснить обстановку на Садонской шахте.

— Точных сведений у нас нет,— сказал он,— но положение там тяжелое. Дороги из рабочего поселка на шахту перекрыты и охраняются полицией. У бастующих остался только один выход — в горы. Шахта возобновила работу — набрали штрейкбрехеров. Чтобы не вызвать подозрений, устраивайся туда на работу. Там еще берут людей.

Ван Гун говорил о том, как следует вести себя на шахте, но Сен Чель почти не слушал. Он и сам понимал, что нельзя горячиться и без нужды рисковать.

До знакомства с революционерами Сен Чель воспринимал жизнь такой, как она выглядела внешне. Он не задумывался над тем, почему земля принадлежит помещикам и Восточно-колониальной компании, так же, как не могла бы возникнуть у него мысль, почему один берег озера отлогий, а у другого высятся большие скалы. Когда мать еще носила его за спиной и он начинал плакать, она стращала его будкой японского полицейского. Да и отец не помнил своей деревни без этой будки. То, что повсюду хозяевами были японцы, казалось Сен Челю естественным. Так боги устроили жизнь.

Два года Сен Чель проработал в паровозном депо. Он не мог бы пересказать все, что слышал от Ван Гуна в беседах на берегу. Он многого не понимал, но всем своим существом воспринял идеи Ван Гуна. Раньше он видел только безысходное прозябание людей, которые притерпелись к горю, потому что вся их жизнь состояла из сплошного горя. Теперь он узнал, что лучшие из них ведут другую жизнь, полную опасностей, но зовущую к свободе. Ему хотелось стать ближе к ним, приобщиться к их делам.

И вот он получил задание. Первое самостоятельное задание! Конечно, с такими делами, какие поручают Пан Чаку, ему не справиться: ни смелости, ни выдержки, наверно, не хватит. Но побывать на шахте, все высмотреть, расспросить и вернуться к Ван Гуну — что тут хитрого? И все же какое-то новое чувство охватило Сен Челя. Он не мог бы объяснить, что именно происходит в его душе, почему он не поехал домой, как обычно, на трамвае, а пошел пешком, почему вдруг остановился возле какого-то тщедушного человека в очках, который колол дрова.

— Дай-ка мне,— сказал Сен Чель, видя, что человек не может справиться с суковатым поленом.

— Попробуй, если охота,— удивился тот.

Сен Чель взялся за топор не потому, что решил помочь тщедушному человеку. У него внезапно возникло необоримое желание приложить к чему-нибудь свою силу. Если бы ему предложили сейчас медленно спуститься с крутой горы или налить водой сосуд с узким горлышком, он, пожалуй, не сумел бы этого сделать. Он ощущал необходимость в резких, решительных действиях, требующих большой затраты энергии.

Сен Чель крепко уперся в землю ногами, высоко занес топор и, шумно крякнув, ударил по полену.

— Ну и силища! — восхитился очкастый, подбирая разлетевшиеся в стороны половинки полена.— А на вид будто тощий.

— Давай следующее! — крикнул Сен Чель, улыбаясь похвале.— Да не это! Что ты мне щепки подсовываешь? Выбирай потолще, посуковатей!

Сен Чель колол дрова с упоением и яростью, будто дрался с врагом.

— Ну хватит! — сказал он, расколов с десяток поленьев, и, вытерев ладонью пот со лба, пошел дальше, забыв ответить на слова благодарности.

Мысли о полученном задании снова завладели им. Мимо него двигались люди, озабоченные своими мелкими личными делами. Им и невдомек было, какую тайну он несет в себе, какой человек дал ему поручение. Вот удивился бы отец, узнав, чем занят его старший сын! Скорей всего, старый Пак стал бы его ругать: без отцовского разрешения пошел на такое дело. А младший брат, Сен Дин, пожалуй, позавидовал бы ему!

И вдруг Сен Челю стало стыдно своей бьющей через край радости, и он попытался вернуть себе утраченное спокойствие. Спохватился, что идет по самой середине тротуара и не уступает дорогу не только японкам, но даже японцам. Он испугался. Ведь этак можно угодить в полицию, не успев добраться до шахты! Ему даже показалось, что прохожие обращают на него внимание, и он инстинктивно осмотрелся и оправил на себе одежду.

Дойдя до перекрестка, Сен Чель остановился. Зачем, собственно, он идет домой? Ведь можно сразу отправиться на шахту. Кстати, и трамвай подошел.

Сен Чель вошел в вагон. Все места были заняты. Взяв билет, он протиснулся вперед и ухватился за гибкий бамбуковый поручень. Он стоял погруженный в свои думы, не обращая внимания на громкий говор людей и грохот трамвая.

И в этом шуме, где трудно было что-либо разобрать, он вдруг отчетливо услышал чей-то вопрос:

— Кондуктор, до Садона идет?

У Сен Челя ёкнуло сердце.

Садон! Будто громко произнесли запретное слово. Будто раскрыли его тайные мысли. Это слово он слышал сотни раз, и никакого впечатления оно не производило. А сейчас сердце вдруг заколотилось и мысли спутались...

Трамвай грохотал уже за городом, останавливаясь близ маленьких поселков. Пассажиры выходили на каждой остановке, и в конце концов в вагоне стало совсем просторно. Сен Чель занял освободившееся место и посмотрел в окно. Кругом горы, горы, да кое-где у подножия жмутся хижины с большими соломенными крышами, словно старые, потемневшие от времени, подгнившие грибы.

Сен Чель чувствовал себя спокойнее, находясь в толпе. Теперь, когда вагон почти опустел, ему казалось, что немногочисленные пассажиры словно присматривались к нему. Сен Челя охватывали все более тревожные мысли. Как он себя назовет? Откуда он прибыл? Что делал до сих пор? У кого живет? Чем занимается его хозяин? Ведь все эти вопросы и, наверно, десяток других ему обязательно зададут. Надо будет отвечать уверенно, не задумываясь, не теряясь.

Только теперь он понял всю сложность этого простого на первый взгляд задания. Самые трудные испытания начнутся с той минуты, как он явится на шахту. Прежде всего разговор с японским конторщиком при оформлении на работу. И если даже в конторе все сойдет гладко, до успешного выполнения задания еще далеко.

На шахте он встретит людей обозленных, думающих только об одном: как заработать на чумизу, как свести концы с концами. Знают ли эти люди, что миску чумизы, которую им здесь дают, они отняли у таких же бедняков? Сможет ли, не вызвав подозрений, разузнать о том, что происходит на шахте, или вернется с теми же сведениями, какие ему сообщил Ван Гун? Все вопросы он должен будет решать, ни с кем не советуясь, из любого положения придется выходить самостоятельно.

В управление шахты Сен Чель попал к окончанию рабочего дня. На все вопросы японского чиновника он давал обстоятельные ответы, и тот убедился, что перед ним добросовестный человек, ушедший из паровозного депо из-за смутьянов, которые сами не хотят трудиться и другим мешают честно заработать свою чашку риса.

Ему отвели циновку в бараке и сказали что утром поставят на работу.

Сен Чель остался один в большом дощатом помещении, похожем на сарай. На циновке, которую ему указали, лежала покрытая угольной пылью куртка. Сен Чель отложил ее в сторону и пошел на шахтный двор.

Темнело. Люди кончали работу и молча направлялись в столовую или к бочкам с водой в надежде смыть въевшийся в поры уголь. Они не обращали на Сен Челя внимания, да и он не хотел сразу лезть с расспросами. Он осмотрел почти всю территорию шахты, заглянул в столовую и вернулся в уже знакомый ему барак.

Теперь все помещение было заполнено шахтерами. Он подошел к своей циновке и сел. Вокруг него несколько человек спало прямо в одежде, кто-то тяжело храпел. Рядом рабочий, со шрамом на лбу, раздевался, собираясь укладываться.

— Тут чья-то одежда лежит,— обратился к нему Сен Чель, указывая на куртку, снова появившуюся на его циновке.— Не знаешь чья?

— Можешь взять ее себе,— недовольно проворчал тот.

— Зачем же мне чужое добро?

— Ты занял место хозяина этого добра,— значит, тебе оно и досталось,— съязвил шахтер со шрамом.

— Все мы чужие места заняли,— неопределенно протянул Сен Чель.

— Ты это про что? — спросил тот, снимая через голову рубаху.

Не успев стащить рукава, он так и остался стоять, словно со связанными руками. Он ожидал ответа, уставившись на новичка и сведя брови, отчего шрам у него на лбу сузился и углубился.

— Да так просто,— как бы нехотя заметил Сен Чель, испугавшись, что сразу задел самое больное место этого человека.

— Просто? — горько усмехнулся шахтер.— Вот и я думаю, как это все просто.

Он в сердцах швырнул рубаху на циновку и стал укладываться.

Сен Чель обвел взглядом притихший барак. Почти все спали. Ему понравился ответ соседа и захотелось подробнее поговорить с ним, но пока Сен Чель не решался. А у того, видно, наболело на душе, и он заговорил сам.

— Вот так и живем, воруя друг у друга! — зло произнес он.

И, не дав Сен Челю вставить слово, рассказал, как вон тот, что спит на четвертой циновке, обворовал двух рабочих да еще подложил в их просеянный уголь куски антрацита.

— Одного из них, что был поупрямее, хозяева выгнали,— закончил он,— и тебе вот досталась его циновка вместе с курткой.

— Хозяева тут ни при чем...— вздохнул Сен Чель.

И сразу отозвалось несколько человек:

— Это еще откуда такой?

— Новый защитник самураев объявился!

Оказывается, люди рядом не спали, а молча слушали их разговор.

— Да нет, я не защитник,— спокойно ответил Сен Чель.— Вы вот все защитники.

Вокруг поднялся возмущенный гул.

— А как же? — продолжал Сен Чель.— Какой-то негодяй обворовал честного человека, вы все об этом знаете и молчите. Честного человека выгнали, а вор остался. И никто не поддержал товарища!

— Да что это за судья такой выискался?! — прервал кто-то Сен Челя сзади, но Сен Чель даже не обернулся.

— Что там говорить! — махнул он безнадежно рукой.— Где уж нам помогать друг другу, когда мы все норовим самураям помочь...

И снова неодобрительный ропот прервал слова Сен Челя.

Он понимал, что далеко зашел, что уже с первых шагов забыл осторожность, но твердо решил высказать свои мысли. А тут помог парень со шрамом на лбу.

— Тише, вы! — цыкнул он на товарищей.— Дайте сказать человеку.

— Что же говорить...— словно нехотя продолжал Сен Чель.— Когда здешние шахтеры забастовали, тут бы их и поддержать надо. Японские надсмотрщики ведь не полезут уголь рубить. Вот и получается, что мы им на помощь поспешили, а люди пусть с голода умирают.

— А ты зачем же пришел? — зло спросил кто-то.

— Старые песни поет! — послышалось с другой стороны.— Не мы, так другие явились бы.

— Нет, верно он говорит,— резко сказал парень со шрамом на лбу.— Бросать надо работу!

После этих слов у людей будто пропал интерес к разговору. Все умолкли.

Сен Чель долго ворочался с боку на бок и наконец забылся тяжелым сном. Проснулся на рассвете от возбужденных голосов и шума, поднявшегося в бараке.

— Надо бросать работу! Все должны уйти с шахты! — доносились до него слова рабочего со шрамом.— А этот, видите, снова пошел воровать уголь...

И он указал рукой на человека, который, сутулясь, пробирался к выходу.

Тот резко обернулся, и Сен Чель в полумраке скорее угадал, чем узнал брата.

— А ты видел, собака? — закричал Сен Дин.— Не долго тебе осталось людей мутить! Надсмотрщик все про тебя узнает.

Сен Челя словно подбросило, и в одно мгновение он очутился перед Сен Дином.

— Ты опозорил наш род! — в ярости закричал он, и голос его гулко разнесся по бараку.

Все обернулись на этот крик.

От неожиданности Сен Дин вдруг съежился и словно проглотил слова, готовые вырваться изо рта.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Отведя наконец глаза, Сен Дин растерянно забормотал:

— Это ты, Сен Чель? Я тебя здесь раньше не видел, Сен Чель...

От этих слов ярость Сен Челя увеличилась. Перед ним стоял родной брат, его младший брат, которого он всегда жалел и, уйдя из дому, не забыл его, думал о нем. И этот брат отнял у него счастье борца за новую жизнь, потому что любой штрейкбрехер теперь сможет ему сказать: «Что ты лезешь со своей агитацией, если твой родной брат предатель и вор!»

Он готов был обрушить на Сен Дина всю свою ярость, но от волнения не мог придумать подходящих слов и снова выпалил:

— Ты опозорил наш род, собака!

И вместо того чтобы безропотно слушать старшего брата, Сен Дин неожиданно сказал:

— А ты что? Тоже будоражить людей пришел? Сколько тебе за это платят?

— Не смеешь так говорить со старшим братом! — закричал Сен Чель и услышал, как по бараку пронесся удивленный шепот:

— Братья!

— Ты захватил место честного человека, проработавшего здесь много лет! — наступал Сен Чель.— Разве не застревает у тебя в горле рис, который ты отнял у его детей?!

Но Сен Дин уже окончательно пришел в себя.

— Много лет, говоришь? — повысил он голос.— А я еще и вовсе не пробовал риса! И напарник мой не пробовал, и

все они,— обвел он рукой барак.— Теперь наш черед! — И, отыскав среди притихших людей своего напарника, властно крикнул ему: — Идем!

Сен Чель ничего не успел ответить, как Сен Дин скрылся за дверью, а за ним двинулись его напарник и еще несколько человек.

— Не пускай их! — закричал кто-то, бросившись вслед. Люди шумно направились к выходу. Сен Чель заметил, как в дверях мелькнула и исчезла фигура японца.

Сен Чель не знал, что делать дальше. Надо что-то сделать. Надо немедленно придумать что-то решительное. Ведь на него надеется Ван Гун! Как он посмотрит в глаза Пан Чаку?

Расталкивая и обгоняя шахтеров, он выбежал во двор и увидел Сен Дина, который наполнял углем сито.

Не помня себя от горя, Сен Чель бросился к брату, опрокинул его сито и в ярости начал разбрасывать по двору отсеянную Сен Дином угольную пыль. Люди, столпившиеся было возле них, расступились.

В ту же минуту раздался громкий крик:

— Ломайте сита! Крошите брикеты!

Сен Чель обернулся и увидел шахтера со шрамом, разбрасывающего ногами уголь. Несколько человек схватились за лопаты. Поднялась суматоха, в которой ничего нельзя было разобрать.

В ту секунду, когда Сен Чель замешкался, Сен Дин оттолкнул его и бросился на кучу угля, обхватив ее руками, прикрыв ее своим телом. И тут же раздался залп. Все замерли. Новый залп — и народ бросился врассыпную, прячась за угольные горки.

Перебегая от штабеля к штабелю, пятясь к забору, Сен Чель видел, как японец, наклонившись над Сен Дином, похлопал его по плечу и указал рукой на сито. Потом увидел, как брат вскочил, благодарно кивая головой, и взялся за лопату.

Притаившись за штабелем у самого забора, он продолжал смотреть, не в силах оторваться от картины своего позора.

Большая группа японских солдат появилась в центре двора. Один из них что-то кричал, и по тому, как из-за ближайших штабелей поднялись несколько человек и взялись за сита, он понял: японец призывает начать работу. Ведь японскому флоту нужен бездымный уголь...

Потом его внимание отвлекла группа шахтеров, которых самураи задержали у ворот и вели теперь в контору.

Сен Чель торопливо осмотрелся вокруг. В заборе у самой

земли виднелась дыра. Он подполз к ней, просунул голову и, убедившись, что снаружи никого нет, выбрался за ограду. Сен Чель оказался на противоположной стороне от главного входа, близ изрезанной оврагами сопки. Пригнувшись, пробежал несколько метров и скрылся за выступом скалы.

...Все дальше и дальше в горы уходил Сен Чель. Ему казалось, что он не может теперь явиться к Ван Гуну. Он долго блуждал в горах. Но постепенно пришел к твердому убеждению, что будет предательством не рассказать Ван Гуну о своей неудаче и скрыться, подобно жалкому трусу.

А к вечеру Сен Челя осенила вдруг новая мысль, от которой учащенно забилось сердце. Надо поскорее вернуться в Пхеньян, пока не ушел Пан Чак.

Совершенно измученный, он лишь на следующий день пробрался к Ван Гуну и рассказал ему все.

— Вот так я и провалил ваше задание,— горестно закончил Сен Чель.— Видно, не по плечу мне эта работа!

Он умолк, виновато посмотрел на Ван Гуна, который за все время не проронил ни слова. И чтобы уж высказать все, что было у него на душе, Сен Чель робко добавил:

— Я прошу отправить меня с Пан Чаком...

Старик крепко обнял юношу.

— Ты большое дело совершил,— сказал Ван Гун,— выпуская его из своих объятий.— Великую правду посеял ты в души людей.

Ван Гун умолк и несколько минут раскуривал трубку.

— А оставаться в городе тебе нельзя,— снова заговорил он, глядя на Сен Челя.— Ты прав. Да и ко мне ты не должен больше являться: могут проследить. Утром Пан Чак уходит в Маньчжурию. Пойдешь и ты.

МЕЧТЫ

В двух километрах от Садонской шахты у подножия маленькой сопки тянется полуразрушенный, почерневший от времени каменный забор. Над воротами во всю ширину огромная вывеска: «Угольные копи Те Иль Йок и К°. Оптовая торговля. Фирма существует с 1849 года».

Каждое утро Те Иль Йок взбирается на сопку и смотрит, что делается у его японских конкурентов — на Садонской шахте. Эта фирма совсем молодая — основана в 1910 году. Принадлежит японскому военно-морскому флоту, и управляет ею адмирал. Там добывается бездымный уголь для флота и делаются брикеты для продажи.

Возвращается к себе Те Иль Йок в подавленном состоянии и клянется самому себе, что больше не полезет на эту проклятую сопку, откуда видны и машины с углем, мчащиеся из Садона, и ленты транспортеров, и могучие углесмесители, и грохочущие прессы, брикетирующие уголь.

Но вот наступает утро, и Те Иль Йок снова взбирается на сопку. Он мечтает увидеть пожар, или взрыв эстакады, или хотя бы аварию на японской шахте, но его взору предстает все та же картина четко работающего мощного предприятия.

Понурив голову, он спускается к себе на шахтный двор.

В центре слепая лошадь идет по кругу, наматывая на ворот колодца толстый потертый канат. Лошадь идет лениво, поминутно норовя остановиться, но мальчишка-коногон покрикивает на нее, и животное движется медленно, тяжело. Лошадь делает восемь с половиной кругов — и на краю сруба показывается тяжелая бадья с серым углем. Коногон останавливает лошадь, помогает рабочим оттащить в сторону и опрокинуть бадью. А затем бадья с грохотом падает в шахту, ударяясь о стенки колодца.

Внизу ее нагружают углем. Сигнальщик дергает тонкую веревку, к верхнему концу которой прикреплен болт. Болт ударяется о рельс, и по этому дребезжащему звуку лошадь трогается в путь, понукаемая коногоном. Она делает восемь с половиной кругов и останавливается. И снова уголь из бадьи вываливают на землю.

В нескольких метрах от колодца сидят на земле двенадцать девочек и лепят брикеты из мелкого влажного угля. Потом готовые угольные шарики величиной с гусиное яйцо сушатся на солнце. Время от времени рабочий отвозит их на тележке под навес, на котором крупными иероглифами обозначено: «Центральный оптовый склад угольных копей Те Иль Йок и К°».

Несколько минут хозяин копей смотрит, как идет работа, и, вконец расстроенный, быстро направляется к навесу, где приютилась будка с вывеской: «Управление угольных копей Те Иль Йок и К°».

— Позови управляющего! — кричит он на ходу повстречавшемуся рабочему.

Шахтовладелец заходит в будку и начинает бегать из угла в угол, поминутно поглядывая в окно. Потом садится на циновку, напуская на себя важный вид. У него будет серьезный разговор с управляющим. Так продолжаться не может.

Он щиплет свою жиденькую бородку, которая растет кустиками. Однажды какой-то шутник сказал, будто Те Иль

Йок повыщипал ее в минуты гнева. С тех пор он решил не прикасаться руками к бородке, но, как только начинает сердиться, забывает о своем решении.

Те Иль Йок очень подвижный человек. Ему трудно усидеть на месте, особенно сейчас, в минуту крайнего раздражения. И как только входит управляющий, он вскакивает.

— Ты хочешь разорить меня, негодяй! — кричит Те Иль Йок.— Это тебе, своему родному племяннику, я доверил такой пост, а ты целыми днями где-то пропадаешь! Смотри, что делается. Ведь никто не работает.

— Люди работают,— оправдывается управляющий.

— Работают?! — вскипает шахтовладелец.— Это называется работают! — Он хватает управляющего за рукав и тащит его к окну.— Ты посмотри, как они сгружают с тележки уголь! Они же спят! А женщины? Они сидят и поют! Разве так надо делать брикеты? — Те Иль Йок в изнеможении опускается на корточки.— Нет, с этим управляющим можно сойти с ума! Наверно, в наказание бог послал мне такого племянника.

Племянник-управляющий молчит, опустив голову. Это еще больше раздражает хозяина.

— Иди сейчас же,— снова вскакивает он,— и заставь их работать! Лопаты должны мелькать так, чтобы их не было видно! Скажи, что я выгоню их всех! — кричит он срывающимся голосом.— Пусть посмотрят, как работают на Садоне!

Племянник уходит, а Те Иль Йок садится к окну и наблюдает за ним.

Что же делается под землей, в шахте, если здесь, на виду у него, такое творится! Надсмотрщиком туда пришлось поставить родственника жены. Но этот еще больший негодяй, чем племянник. Нашел себе прохладное местечко, где не светит в глаза солнце и нет мух, и спит, наверно, вместе с шахтерами. Ни у кого не болит душа за предприятие. Тридцать восемь человек работают на шахте, и все до одного лодыри! И лошадей подобрали таких же. У людей лошади бегут, скачут, а эти тащатся так, что действительно можно сойти с ума.

К окну подходит покупатель. Его вид не радует хозяина. Этот много не купит.

— Сколько тебе угля?

— Две корзины.

— Всего?

— Да.

Те Иль Йок идет к весам конторки, взвешивает пустую корзину, потом рабочий наполняет ее углем.

Весы старые, делений, нанесенных на металлический стержень, почти не видно. Но владелец шахты хорошо изучил их. На каждой корзине угля он выгадывает два килограмма.

Покупатель расплачивается, поднимает на коромысле корзины и идет к воротам.

Печальным взглядом провожает его шахтовладелец. Когда-то он мечтал о крупной фирме. Он развесил солидные вывески, назначил управляющего, главного инженера, штейгера. Он рассчитывал на большие барыши. Он рассчитывал продавать уголь большими партиями.

Но ничего из этого не вышло. Крупная механизированная Садонская шахта, принадлежащая японцам, совсем задушила его. Их уголь почти вдвое дешевле.

Он довел рабочий день на своей шахте до шестнадцати часов, он платит шахтерам меньше, чем японцы, и все же добыча угля ему обходится почти вдвое дороже, чем им. Он не может продавать уголь по садонским ценам. Они продают только крупными партиями, а он вынужден торговать в розницу. Рухнула мечта об оптовой торговле. В лучшем случае к нему приезжают за углем на арбе. Обычно же он продает корзину, две, а в последнее время брикеты стали покупать поштучно.

Те Иль Йок ненавидит японцев. Он мечтает о том, чтобы японская шахта сгорела. Он мечтает механизировать свою шахту. Но это пустые мечты. Шахтовладелец давно перестал вкладывать деньги в свое предприятие. Вместо этого купил большой дом и половину его сдает. Дом приносит больше прибыли. Но ему очень не хочется расставаться с шахтой.

В конце концов он решил продать угольные копи. И вдруг Садонская шахта замерла! Рабочие бастуют. Он по нескольку раз в день бегает на сопку. Никакой жизни на Садоне не видно. Уже два раза приезжали к нему за углем мелкие фабриканты. А теперь он ведет переговоры с владельцем резинового завода о продаже крупной партии угля с поставкой в течение целого года. Это даст огромный доход. О, Те Иль Йок не растерялся! Он взял пять новых рабочих, он нашел ход в стачечный комитет и внес пожертвование в фонд помощи садонским рабочим. Пусть только бастуют!

И вдруг новый удар потряс Те Иль Йока. Забастовка сорвана. Несколько дней на шахтах работали вручную, а сейчас вернулись старые рабочие, и снова загудели транспортеры. Те Иль Йок в отчаянии начал искать покупателя на свои копи, когда пришла радостная весть: Садонские шахты прекратили продажу угля частным предпринимателям. Весь он идет для флота и военных надобностей.

Те Иль Йок понял, что ему привалило счастье. Настал момент по-настоящему поправить свои дела. Пусть бы только подольше затянулась эта война. Да так оно, видно, и будет. Немцев разбили под Москвой, значит, им не удастся так скоро разделаться с Россией.

Теперь уже ясно, что и он прекратит продажу угля корзинами и даже арбами. Хватит! У него будет настоящая оптовая торговля.

Сегодня у него решающий разговор с владельцем резинового завода. Те Иль Йок обставил сделку солидно. Он пригласил заводчика в ресторан, в один из лучших ресторанов Пхеньяна.

С нетерпением ждал он вечера и отправился из дому задолго до назначенного часа. Вблизи набережной Тэдонгана, в одном из тихих переулков, он отыскал хорошо знакомые ему ворота и вошел в узенькую, с очень высоким порогом калитку. Маленький асфальтированный дворик с крошечным фонтанчиком и тремя беседками весь увит вьющимися декоративными растениями.

Те Иль Йок миновал длинную веранду, пересек небольшой зал, где находился буфет, и вышел на другую веранду. Кланяясь и улыбаясь, шел за ним официант, указывая на свободные номера. И хотя их было нетрудно найти, потому что двери в незанятых номерах оставались раскрытыми, но так уж положено встречать почетного человека в хорошем ресторане.

Гость поднялся наверх по крутой извилистой лестнице, придерживаясь за резные перила, имеющие вид хребта дракона. Второй этаж был похож на узкую палубу, идущую вдоль кают. Тут оказалось не так шумно, как внизу, хотя музыка, несущаяся из многих комнат, слышалась и здесь.

Те Иль Йок выбрал небольшой номер с окнами, выходящими на реку, и заказал ужин. Он попросил встретить владельца завода, а также пригласить кисен[1] Сон Нэ.

Вскоре появился заводчик, и они уселись на расшитых подушках у низенького столика. Они не говорили о делах, которые интересовали обоих. Они пили саке, расспрашивали друг друга о здоровье, о семье. Потом явилась кисен в белом шелковом платье. Она пришла со своим длинным узким барабаном, когда уже начался деловой разговор.

— Потанцуй и спой нам,— сказал Те Иль Йок, не отвечая на поклон и улыбку Сон Нэ.

— Вам хочется слушать веселые песни или грустные?

---

[1] Кисен — по-японски гейша, женщина для увеселения гостей.

— Это все равно. Нам надо, чтобы наш разговор не был слышен в соседней комнате. Пой так, чтобы не было слышно наших голосов. Или можешь танцевать и бить в барабан.

Они пили, а Сон Нэ отошла в сторону и начала петь.

Сон Нэ рада. Она уже не рассчитывала сегодня на заработок. Ее не оскорбляет, что ее песни не нужны этим людям. Ведь она не из тех кисен, что славились в старину, кисен, отбираемых из семей высшей знати. Ее не учили утонченным манерам, благородным танцам. Ее не готовили к выступлениям на балах в королевском замке и богатейших домах столицы.

В детстве она только мечтала обо всем этом. Кое-как у бродячих актеров, у старых кисен научилась она своему ремеслу.

Весь день Сон Нэ провела в своей артели на центральной улице Хейдзио. Сидя в грубой поношенной одежде, она штопала тончайшими белыми нитками свое единственное шелковое платье в надежде, что вечером ее, может быть, позовут в дом мелких спекулянтов, пирующих в честь удачной и не очень честной сделки, или ей доведется развлекать веселящихся сынков городских богачей в отдельном кабинете ресторана.

И вот ей посчастливилось. Она поет грустную песню, по привычке стараясь заглушить плоские шутки подвыпивших мужчин, хотя те даже не обращают на нее внимания. Она думает о том, сколько ей удастся сегодня заработать.

Она пела долго, пела свои любимые песни. Потом Те Иль Йок пожелал закурить. Она взяла у него сигарету, прикурила от маленькой жаровни и с улыбкой вернула сигарету ему.

Мужчины о чем-то оживленно разговаривали, а она отошла в уголок и села.

— Танцуй, Сон Нэ! — крикнул Те Иль Йок.— Танцуй и бей в барабан, ведь ты самая веселая из кисен!

Она танцевала и била в барабан, а мужчины о чем-то спорили, совсем не замечая ее.

Потом она опять танцевала, медленно, плавно.

В одиннадцать часов она напомнила, что ей надо уходить, потому что заказ на нее сделан только до одиннадцати. Те Иль Йок щедро расплатился с Сон Нэ и разрешил ей идти. Она поспешно вышла за ворота и стала оглядываться по сторонам. Здесь должен ждать ее муж. И он действительно вырос из темноты, и они пошли вместе, он впереди, она сзади.

Сначала шли молча, а потом он спросил, сколько ей удалось заработать.

— Пять вон! — гордо сказала она.

Он обрадовался, потому что ему самому сегодня не повезло. Он с утра возил по улицам свою тележку с древесным углем и за весь долгий день продал всего три меры.

Они шли торопливо, потому что с зарею он снова повезет по улицам уголь, а она до этого должна будет приготовить ему завтрак. А потом приготовить еду на целый день, и постирать белье, и убрать в доме, и присмотреть за престарелыми родителями, и за сыном, и успеть все это сделать в первой половине дня, чтобы не опоздать в свою артель.

Завтра она снова будет штопать белое платье в том месте, где оно сегодня расползлось, и там, где только едва проредилась материя. Потом набелит и нарумянит лицо и бледно-розовой краской натрет уши и руки, чтобы они казались свежими и молодыми, и при этом будет экономить краску и белила, потому что они в последнее время очень вздорожали, и, может быть, придется все это без пользы смыть, если ее никуда не позовут, и тогда будет один сплошной убыток.

Вскоре после ухода Сон Нэ разошлись и мужчины. Те Иль Йок шел радостный и возбужденный. Такого большого заказа он не ожидал. Настало время расширять производство. Племянника придется выгнать, хватит бездельничать. Надо будет подыскать еще несколько человек, таких, как этот Сен Дин. Видно, толковый парень и трудолюбивый. Работает не разгибаясь. Эти дураки выгнали его с Садона из-за брата. Какой-то неблагонадежный у него брат. Ну, а мне какое дело до этого?

Да, заказов теперь будет все больше и больше. Только бы не прекратилась война!

ГДЕ ЖЕ НАЙТИ ОТЦА?

Горы, горы, горы... Мен Хи идет по горным дорогам Кореи. Где найти ей родных? Где ей остановиться на ночлег?

В каждой деревне она высматривает самую ветхую хижину и осторожно, чтобы не порвать бумагу, стучит в деревянную решетку окошка:

— Не батрачит ли у вашего помещика мой отец? Его зовут Пак Собан.

Крестьяне смотрят на девочку и качают головами:

— Нет, такого не знаем, не было такого в наших краях.

И снова шагает Мен Хи. Она идет по обочине дороги, а мимо нее нескончаемым потоком мчатся машины японской Восточно-колониальной компании. Они везут рис, пшеницу,

яблоки, ячмень. На базы компании движутся арбы с капустой, помидорами, огурцами, красным перцем. Идут вереницы крестьян с носилками за спиной, с корзинами на коромыслах. Они несут ягоды, фрукты, орехи, птицу. На головах у женщин круглые корзины, доверху наполненные яйцами.

На многочисленных складах и приемных пунктах Восточно-колониальной компании не задерживают людей. Там быстро принимают продукты, взвешивают, упаковывают в ящики, рогожные мешки и легкие корзины.

И снова несутся машины по горным дорогам Кореи в порты, на железнодорожные станции, на перевалочные пункты. А дальше — японские острова или японская армия в Китае.

Мчатся машины, тащатся арбы, идут люди, и это движение кажется бесконечным, будто родилось оно вместе с землей, будто нет силы, которая остановит его, будто вечно оно, как движение планет.

Сколько прошла Мен Хи? Где она находится? Кто поможет ей? Кто скажет, как ей жить?

Она избегает богатых домов, обходит хорошо одетых людей. Она боится полиции и боится Ли Ду Хана.

Медленно тащатся три буйвола, запряженные в двухколесные арбы. Рядом с ярмом первой арбы, понукая животных, идет седой старик в черном волосяном колпаке, значит, ему уже больше шестидесяти лет. Двух других возниц не видно за камышовыми бортами.

— Ласковый человек, послушайте, вы не видали моего отца? Пак-неудачник его зовут.

— Неудачников много встречал, а вот твоего отца не знаю.

И вдруг из-за сопки, где дорога круто сворачивает в сторону, прямо на Мен Хи выскакивают два конных полицейских.

— Берегись! С дороги! — резко выкрикивают они, размахивая бамбуковыми палками.

Девочка бросается в кювет, карабкается через земляной вал и, спотыкаясь, бежит по размытой дождями борозде.

Длинная колонна людей, будто сетями, опутанная веревками, в безмолвии спускается с горы. Японские полицейские на маленьких сытых лошадях — один в затылок другому, — с обнаженными кривыми мечами, с карабинами поперек седел, словно движущаяся изгородь, окаймляют колонну.

Несколько всадников, ускакавших далеко вперед, колотят палками крестьян, не успевших вовремя стащить с доро-

ги неповоротливых и медлительных буйволов, бьют тупой стороной меча по головам животных.

Мен Хи спотыкается, падает и, уже не поднимаясь, смотрит назад. Буйвол, вырвавший из арбы оглоблю вместе с ярмом, мчится по полю, и оглобля бьет его по ногам. Обезумевшее от страха животное, не видя, кто его колотит, несется к обрыву. Вслед за ним, волоча перевернувшуюся арбу, проваливаясь в рыхлую землю и тычась в нее мордой, бежит второй буйвол. Медленно крутится на оси колесо. Третье животное опрокинулось на спину и бьет ногами воздух, пытаясь подняться. В разные стороны разбегаются крестьяне.

Колонна медленно движется, и эхо в горах повторяет свистящие удары бичей.

Мен Хи поднимается с земли и не может понять, то ли доносится откуда-то знакомый мотив, то ли в ее душе звучат слова:

Легионы драконов со змеиными жалами
Окружили тебя, Ариран, Ариран...

Горы, скалы, сопки...

Древняя корейская земля. Край, овеянный легендами и преданиями, край волшебных сказок, чудесных песен. Добрый, доверчивый, трудолюбивый народ...

Гигантские черепахи, чудовищные драконы, гордые тигры, высеченные из камня и черного дерева, тысячелетиями стоят на корейской земле как символы долголетия, изобилия, мужества, доброты, как воплощение извечной мечты народа о счастье, как немые свидетели горя и слез.

Свистит, бушует ветер в горах. Гудят провода.

Где найдет Мен Хи своего отца-неудачника?

На берегах Японского и Желтого морей раскинулись большие города — скопления черепичных крыш с узорчатыми гребнями. У подножия сопок приютились древние монастыри, а на сопках — пáгоды, гроты, часовни, где некогда свершались таинства жертвоприношений. Могилы императорских династий, королевские гробницы и склéпы, зáмки, остатки крепостных стен и ворот, что запирались на ночь,— седая, глубокая старина.

Где, у какой часовни молится Пак-неудачник? У какого монастыря стоит с протянутой иссохшей рукой Апанния? По улицам какого города бродят в поисках работы Сен Дин и Сен Чель?

Страна Утренней Прохлады, Страна Алмазных Гор с двенадцатью тысячами вершин, страна трех с половиной тысяч скалистых островов.

Где, на какой горе затерялся, в какой пещере приютился Пак-неудачник? На какой остров, к каким скалам прибило семью хваденмина?

Шагает Мен Хи по корейской земле. Куда идти ей?

Перед ней горы, такие же, как ее родная Двуглавая. Она вспоминает отцовскую хижину, что не могла укрыть от дождя и холода. И все-таки как хорошо там жилось! Можно было прильнуть к матери, согреться и заснуть. А сейчас кругом лишь холодные скалы.

У всех есть защита. Вон деревушка доверчиво прижалась к подножию горы, и та заботливо прикрыла ее от ветра. Только Мен Хи на всей земле одна.

Третьи сутки льет дождь, холодный, бесконечный. Губы посинели и дрожат, слиплись мокрые волосы.

Снова стоит под окошком Мен Хи, снова стучит в деревянную покосившуюся решетку.

— Не видали здесь Пака-неудачника?

— Пака-счастливого трудно найти, а неудачников сколько хочешь. Заходи, погрейся!

Мен Хи оставляет на пороге гомусины, берет в руки тряпку и досуха вытирает ноги. Теперь можно войти. Кажется, она здесь уже ночевала... Хотя нет, там было одно окно, а здесь два. Все они одинаковы, эти хижины: убогие, серые стены, покосившиеся, заклеенные оконца, кунжутный фитиль коптилки...

С нависшего над головой потолка крупные капли падают в тыквенные ковшики, расставленные на полу. Бумага на окнах намокла, расползлась, и мелкие брызги дождя летят внутрь.

В комнате старик, белый, как и его одежда, и девочка лет шести. За спиной у нее ребенок, совсем крошка.

Прокопченное лицо старика настолько изъедено морщинами, что, если он засмеется, морщин не прибавится: так много их и так сильно стянули они лоб и щеки. Шея у старика тоже словно изрублена. Но он, наверно, никогда и не смеется. Он сидит, поджав под себя ноги, и покачивается всем корпусом. Глаза его закрыты, во рту дрожит тонкая трубка, которая достает почти до пола.

Старик такой же древний, как Корея. Много повидал он на своем веку, много знает. Работать ему уже невмоготу, и, пока вся семья в поле, он забавляет внучку сказками.

— Садись с нами,— обращается он к Мен Хи,— расскажи, где потеряла отца.

У него добрый голос. Когда он говорит, становится теплее на душе. Мен Хи рассказывает о своем горе. Старик, покачиваясь, слушает и гладит ее волосы большой ласковой рукой.

— Даже самый пышный цветок, оторванный от ветки, увядает,— говорит он.— Где ж тебе прожить, оторванной от дома, без своего угла? Вот придет сын, поужинаем и подумаем, что с тобой делать. Нам хорошо бы такую, как ты, в дом взять: без хозяйки остались мы, и стряпать некому... Есть очень хочешь?

— Нет, нет, я совсем не хочу.

— Ну тогда потерпи, пока сын придет.

Мен Хи слушает старика, а перед глазами у нее дорога и бесконечная вереница людей, опутанных веревками... Колодники...

— Дедушка, а кто такие колодники?

Старик медленно поднимает голову и смотрит на Мен Хи сквозь длинные седые брови, нависшие над глазами.

— Колодники? — Он опускает веки и ворошит палочкой угольки в жаровне.— Разные бывают, внучка. А ты почему про них спрашиваешь?

Мен Хи сбивчиво рассказывает:

— Когда они скрылись за сопкой, я подошла к крестьянам, которые вытаскивали из канавы арбу, и спрашиваю: «Что это за люди такие?» Они посмотрели на меня, а один говорит: «Колодники, бунтари, не видишь разве?»

— Много их гонят здесь,— вздохнул старик.— И уж назад никто не вернется.

— Куда же они деваются?

— Помирают! — вдруг зло ответил он.— В каменоломнях гибнут. В скалах тоннель пробивают для железной дороги, там и гибнут.

— А чем они провинились, дедушка?

— Одна вина у всех! — Старик выбил пепел из трубки.— Есть хотят. Вот какая вина, понимаешь? — Голос у него стал угрожающим, а руки сильно тряслись.

Мен Хи ничего не поняла, но сказать об этом не решилась.

Вид у старика был теперь хмурый, сердитый. Он снова закурил свою трубку.

— Дедушка,— сказала Мен Хи,— а откуда гонят этих людей?

— Как откуда? — возмутился старик.— Из деревень, с гор, с долин сгоняют.— И, помолчав, добавил: — А только всех не угнать, как не угнать ветру воду из океана.

Он снова умолк, потом, неизвестно к кому обращаясь, сказал:

— Захлебнетесь в океанской волне, и могил у вас не будет!

Старик глубоко затянулся. Мерно падали капли в тыквенные ковшики.

— А у меня мама умерла,— сказала вдруг девочка, укачивая ребенка за спиной.— Пошла на поле, там и умерла,— добавила она печально и тихо.— Я теперь ношу братика ко всем матерям, у которых есть маленькие дети, и чужие мамы кормят его... Он вырастет большой и счастливый, потому что с молоком к нему приходит все лучшее от всех людей.

— Это кто же тебе сказал? — улыбнулась Мен Хи.

— Дедушка Мун сказал. Он добрый видишь какой!

Мен Хи вдруг тоже захотелось сделать что-нибудь доброе. Она огляделась вокруг, посмотрела на старика, на его одежду и обрадованно сказала:

— Дедушка, давайте я вам рубаху постираю. Будет белая-белая.

— Спасибо, внучка, у тебя корейская душа. Постираешь в другой раз. А вот скажи: знаешь ли ты, почему корейцы всегда носят белую одежду? Почему даже зимой не снимают ее, а только подшивают вату?

— Нет, дедушка, не знаю.

— Тогда слушай, я расскажу тебе. Садись и слушай.

Старик достал из-за спины четырехструнный тан бипха, вытащил из-под натянутых на нем рыбьих жил черепаховую пластинку и провел ею по струнам.

— Пять тысяч лет живет Корея, но только тысячу лет корейцы носят белую одежду,— начал он, неторопливо перебирая струны.— Тысячу лет тому назад Кореей правил злой карлик. Он приказал, чтобы его называли «Всесильный». Так и называли его, и он в самом деле был всесильный. Лучшие тоины, первые помощники Будды и Окхвансанде, учили его, как разбогатеть. Богатство у него все умножалось, и стало его так много, что не хватало уже сундуков на земле. Тогда он приказал строить плоты и на них укладывал золото. А каждый слиток — это вырванное сердце корейца. Чем больше слитков, тем больше могил.

Старик умолк, а тан бипха продолжал петь, будто плакал.

— Дедушка Мун, а почему Окхвансанде позволял рвать сердца у людей? — спросила девочка, устраивая поудобнее ребенка за спиной.

Старик накрыл рукой струны:

— Глупая, Окхвансанде не нужно сердце. Ему только человеческая душа нужна.

И снова полились звуки тан бипха.

— Но вот пришло время умирать злому карлику. Он позвал к себе всех тоинов и сказал: «Даю вам три луны сро-

ка. В первый день четвертой луны я умру. Но если вы не откроете тайну, как продлить мою жизнь хотя бы только на сто лет, я в последний день третьей луны замурую вас в скалах, и вы умрете страшной смертью».

Старик взял в рот трубку, потянул, но она уже погасла. Не торопясь выбил в ладонь пепел и высыпал его в деревянное блюдце. Потом достал из-за пояса кисет, чуть-чуть растянул шнурок, сунул в кисет трубку и, там набив ее табаком, вынул. Так же медленно затянул шнурок, достал пальцами крошечный уголек из жаровни, прикурил и, бросив уголек обратно, снова взялся за черепаховую пластинку.

— Испугались тоины,— продолжал он.— Выбрали двух самых старых, самых мудрых и велели им идти за помощью на небо. Три дня ждали радуги. А когда появилась радуга, все тоины подперли ее плечами, чтобы она не шаталась, и два старика полезли по ней на небо. Собрали там драконов, священных осьминогов, змей, черепах и взмолились: «Научите, как продлить жизнь короля хотя бы на сто лет!»

Послушали драконы, ничего не сказали и улетели. Послушали черепахи, покачали головками и уползли. Послушали змеи, свились кольцами и покатились. Послушали осьминоги и уплыли. А тоины по радуге спустились обратно и загоревали.

Ночью в спальню карлика прилетел дракон. Карлик проснулся и услышал его голос: «Если долго идти туда, где всходит солнце, а когда кончится земля, долго плыть, впереди появится большой остров. На нем нет людей, и растет там на самой высокой горе огромный корень. Это отец всех корней женьшеня. Тот, кто съест этот корень, будет жить тысячу лет. Но тогда завянут все корни женьшеня на всей земле. И жизнь кончится, потому что не будет больше корней жизни, и люди и звери умрут».

Сказал это дракон и растаял. Карлик встал и собрал в свой дворец три тысячи человек. Половина из них были самые бедные, половина оставшихся — просто бедные, а остальные — богатые. Эти остальные были кровожадными и безжалостными. Карлик объяснил им, где находится корень, но, боясь, как бы они не съели растение сами, сказал, что оно отравлено. Тому, кто привезет корень, он обещал отдать все золото с королевских плотов. И три тысячи человек отправились в путь.

Старик долго молча перебирал струны, и Мен Хи ясно представила себе, как длинен был этот путь.

— Когда они дошли до края земли,— снова заговорил старик,— и началась вода, богатые сказали самым бедным:

«Давайте мы поплывем на вас, а если вы не доплывете и утонете, мы отдадим вашим семьям по одному плоту золота».

И на самых бедных сели богатые, а рядом поплыли просто бедные. Долго плыли. Уже самые бедные начали тонуть, а острова не видно. Тогда богатые сказали просто бедным: «Давайте мы пересядем на вас, а если вы не доплывете и утонете, мы отдадим вашим семьям по два плота золота». Но бедные сказали: «Нет, давайте лучше мы поплывем на вас, а если не хотите, то добирайтесь сами».

Ни один богатый без бедных не мог выбраться на берег. А бедные легко доплыли до земли и увидели большую гору, на которой рос корень. Они увидели, что это корень жизни, и бережно полили его водой, и вырвали вокруг него сорную траву. Корень начал расти еще лучше, и вот уже пять тысяч лет он питает наш народ.

А в первый день четвертой луны злой карлик умер. Весь народ ликовал и надел белую одежду. С тех пор он всегда ее носит.

Девочки внимательно слушали, и никто не заметил, как тяжелая капля упала на голову спящего ребенка, а вслед за ней сразу несколько капель подряд. Маленький Хен Бо заплакал. Сестренка поднялась и стала его укачивать, быстро сгибая и разгибая спину. С помещичьего двора пришла вся семья: отец девочки Тэн и три ее брата.

Мен Хи вскочила и, смущенно кланяясь, боком стала пробираться к двери. Тэн остановил ее. Она сказала, что ищет отца и зашла погреться, а теперь ей уже тепло, она может идти дальше.

— Ну что же,— сказал Тэн,— пойдешь, но сначала поедим. Ведь наша еда тебе, наверно, знакома.

Через полчаса вся семья сидела на полу за едой. Близко возле круглого стола сидеть было нельзя: не хватило бы места. Поэтому каждый держал свою чашу в руках, а на столе стоял лишь общий горшок.

— Сегодня опять на каменоломню гнали,— сказал вдруг старик.

— Днем? — удивился Тен.

— Значит, за ночь не успевают. Ночью людей к китайской границе гонят. Окопы копать для самураев.

— Ну, спать пора,— неожиданно заключил Тэн.

— А с девочкой как же? — спросил Мун.

— Оставить бы надо, трудно нам без женщины,— ответил Тэн и, обращаясь к Мен Хи, спросил: — А что ты умеешь делать?

— Я все умею,— заторопилась Мен Хи,— и стряпать, и стирать, и за скотом ухаживать...

— За скотом-то не придется,— перебил ее Тэн.— Ладно, поживи пока у нас, посмотрим...

Спать легли на полу все рядом, постелив тонкие циновки.

СКАЗКА

Мен Хи долго скиталась по деревням, и ей всюду давали приют. Но нигде не было ей так хорошо, как здесь. На нее легли все работы по дому, и она охотно выполняла их. И обязанности матери маленького Хен Бо она тоже взяла на себя. Весь день он был у нее за спиной. Стирала ли она, готовила ли пищу, несла ли на голове сосуд с водой, мальчик был с ней. Она уже привыкла к этому, ей приятно было ощущать его живое тепло.

И только в те дни, когда она обертывала в бумагу плоды на дереве, Хен Бо нянчила его сестра. Почти все плоды четырех яблонь, которые арендовал Тэн, обернула она сама.

Мен Хи с большой осторожностью ухаживала за деревьями. Ей хотелось, чтобы больше осталось яблок. Ведь как только появилась завязь, помещик определил будущий урожай, и из каждых десяти штук восемь надо отдать ему. А ведь сколько их опадет, пока созреют, сколько поклюют птицы! Но до этого помещику нет дела. Если будут потери, значит, арендатор плохо ухаживал за деревьями, значит, все убытки он и должен нести.

Поэтому каждый плод надо было обернуть бумагой и привязать ее сухой травой, чтобы бумагу не сдуло, и затянуть узел не очень туго, чтобы плод мог наливаться, но и не слабо, чтобы не пролезла гусеница или червяк. Под бумагой плоды созревают быстрее, и форма остается правильной, и цвет красивым. Бумагу дал помещик и пересчитал каждый листок, чтобы вернуть ему тоже по счету.

Мен Хи, стоя на садовой лестнице, старалась делать все аккуратно, чтобы Тэн был доволен ее работой. И как только Мен Хи слезала с дерева, она снова брала ребенка.

Ей теперь часто вспоминалась давняя детская мечта. Однажды, когда она была еще совсем маленькой, на деревенской улице ей повстречалась Цун За, дочка лавочника. Цун За походила на живую радугу.

Мен Хи с восторгом смотрела на большую куклу в зеленой кофте, привязанную к спине Цун За красным стеганым одеяльцем. Кукла, будто ребенок к матери, прильнула ще-

кой к спине девочки, ножками обхватила ее талию. Цун За шла по деревне медленно и важно. Она уже понимала, что дочь богатого лавочника лучше других детей.

Временами она покачивалась взад и вперед, легонько пошлепывая куклу ладонью, давая всем понять, как трудно заставить спать свое непослушное дитя. Когда Цун За увидела, что на нее все смотрят, она чуть подпрыгнула, подтолкнув вверх куклу и, вобрав в себя живот, туже стянула одеяло. При этом она смотрела на ровесниц, будто жалуясь им: мол, столько хлопот доставляет ей эта непоседа, которая спать не хочет и ерзает без конца вверх и вниз.

Девочки и даже мальчики провожали ее завистливым взглядом, не решаясь подойти к ней или заговорить.

Мен Хи тоже смотрела на богатую девочку. Она любовалась ее нарядом и ее куклой. Она не могла завидовать богатой Цун За, как невозможно завидовать звездам, что они такие красивые. Ей и в голову не могла прийти несбыточная мечта стать обладательницей подобного богатства.

Но в тот день Мен Хи твердо решила, что и у нее за спиной когда-нибудь будет кукла. Конечно, не такая как у Цун За, но ей и не надо такой. Она сама сошьет себе вполне приличную и послушную куклу.

Мечта Мен Хи не походила на обычное детское желание — получить игрушку сразу же, сейчас. Она понимала, какое трудное это дело, и с тех пор начала подбирать всякую случайно брошенную тряпочку, комок пеньки — все, что могло пригодиться.

Потом, забившись куда-нибудь в угол сарая, рассматривала свое достояние и разговаривала сама с собой: «Из этого кусочка выйдет рука, а этого хватит только на шею, зато вот лоскуток, из которого вполне получится туловище».

Труднее было с одеялом. Для него требовался большой кусок материи. Но в конце концов одеяло не обязательно должно быть из одного куска, его тоже можно сделать из лоскутков.

Куклу шила долго. Однажды мать взялась помочь ей, но Мен Хи не согласилась. Она должна все сделать сама. Даже наперсток пришлось самой сшить, потому что наперсток матери был велик и весь уже исколот. Ведь это не помещичий дом, где имеются крепкие кожаные наперстки. И вот наконец кукла готова. Правда, она вышла не очень красивой: одна нога у нее была короче другой, а руки получились разной толщины, но все равно Мен Хи была счастлива, когда в первый раз привязала к спине свое дитя.

Как все это было давно и как отчетливо помнит она те

дни! А теперь у нее за спиной настоящий ребенок — маленький, смешной и беспомощный Хен Бо. Он не привык лежать на циновке. Когда случалось положить его, он начинал кричать и быстро перебирать руками и ногами. В такие минуты он очень напоминал перевернутого на спину жучка.

Мен Хи очень полюбила его, так же как и дедушку Муна и всю эту семью, принявшую ее в свой дом. Ох как не хотелось ей уходить отсюда! Но идти надо, даже не идти, а бежать, скорее бежать из этого дома, ставшего ей таким дорогим и близким.

И как могла она столько времени сидеть на шее у этих добрых, хороших людей, словно саранча, поедать их рис и ничего не давать им взамен! Какая польза в том, что она весь день работает, если от этого ни рису, ни чумизы не прибавляется? И без нее жили эти люди, и все было у них так же, как сейчас, а еды уходило меньше.

Какая же она бессовестная! Пользуется тем, что бедняк никогда не оставит человека в несчастье, всегда накормит голодного, если даже для этого придется отдать последнее зернышко.

Конечно, она поступает нечестно, никто другой не позволил бы себе такой неблагодарности. И это совсем не утешение, что она старалась есть поменьше и даже ни разу не наелась досыта.

Она честно старалась, чтобы на нее уходило как можно меньше еды. Все даже удивлялись, как она мало ест. Еще бы! Не хватало только набивать до отказа желудок чужим рисом!

Нет, больше она не станет есть у этих людей. Она уйдет куда-нибудь, заработает много риса и вернет все, что здесь съела. Она выберет такое время, когда в доме никого не будет, и поставит посреди комнаты вот такую тыкву с рисом или даже целую корзину.

Когда вернется с работы Тэн, он спросит: «Откуда это у нас взялся рис?» Но никто не сможет ему ответить. Только сосед скажет: «Не знаем, откуда взялось так много риса. Тут без вас Мен Хи приходила, должно быть, она принесла». И дедушка тогда подумает: «Да, наверно, это она принесла».

Как много интересного узнала Мен Хи за это время! И все-таки самое интересное было вчера, когда, закончив хлопоты по хозяйству, она присела отдохнуть. На душе у нее было хорошо, может быть, оттого, что так приятно прижался к спине спящий Хен Бо. А дедушка сидел закрыв глаза, и, если бы он не покачивался, можно было подумать, будто он спит.

— Дедушка, а когда японцы пришли к нам в Корею?

Он открывает глаза и грустно смотрит на Мен Хи.

— Давно это было, внучка, давно. Сорок раз с тех пор созревал урожай и каждый раз омывался слезами народа.

— И так всегда будет?

Старик молчит. Он долго молчит, и Мен Хи не тревожит его больше. Но вот он заговорил сам:

— Каждые сто лет корейский народ рождает богатыря. И каждый богатырь сильнее прежнего. Первый богатырь был охотником на тигров. Когда на него бросался зверь, он выставлял вперед копье. Тигр сжимал острый наконечник зубами, и тогда богатырь загонял ему копье через горло прямо в сердце. Он приносил добычу в деревню, и люди, снимая с тигра шкуру, все искали, где же она порвана, в какое место ударило зверя копье. И не находили и восторгались охотником.

Потом появился новый богатырь, еще более сильный и отважный. Звали его Кан Гам Чан. Это было в ту пору, когда нашу страну хотело завоевать сильное и лютое племя кидан. Но богатырь Кан Гам Чан, которому народ передал всю силу тигровых охотников, разбил врага.

Пятьсот лет тому назад, в тринадцатый день четвертой луны, гиены, шакалы и волки в образе людей, самураев, набросились на нашу родину. В тот день богатырь Ли Сун Син взошел на гору Пэктусан и увидел, что со стороны японских островов движется несметное количество разбойничьих кораблей. Богатырь спустился с горы-великана, сел на свой корабль — черепаху, одетую в железный панцирь, и повел ее на врага. Много дней сражался Ли Сун Син и потопил пятьсот японских судов, а сам остался цел.

Старик умолк. Он по-прежнему сидел с закрытыми глазами, слегка покачиваясь, и, казалось, видел великие морские сражения.

Мен Хи молчала. Она смотрела на старика, и ей тоже виделись морские сражения, богатырь Ли Сун Син, огнедышащая черепаха.

— Дедушка, но это же сказка!

— Да, внучка. Но каждое слово в ней — правда. Весь корейский народ помнит богатыря Ли Сун Сина. Много таких людей на нашей земле, и, когда они умирали, вся их сила передавалась горам. Рождались новые богатыри, и горы отдавали им ту силу...

Она могла восстановить в памяти каждый день, проведенный в этом доме. Как трудно было ей уйти отсюда! Но поступить иначе не могла.

Рано утром Мен Хи тихонько встала и вышла из дому.

Горы уже ярко осветило солнце. Возле полицейского участка на сопке мерно шагал часовой. Тень от него падала далеко, и плоский штык, примкнутый к карабину, казался огромным и страшным. Мен Хи посмотрела на полицейского и, не задумываясь, пошла в противоположную сторону.

В ПОЛИЦИИ

Помещик Ли Ду Хан сидит на циновке и думает: как получить побольше в возмещение за причиненные ему убытки? После того как сгорел его дом, прошло много времени, а он все еще не может решить, к кому идти жаловаться.

Ли Ду Хан — человек практичный. Его поместье сожгли, — значит, ему должны заплатить. И заплатить, сколько он потребует, потому что он один знает цену своему добру.

И вот он сидит в собственном доме в уездном городе Пучен и — уже в который раз — думает: как бы все получше устроить? Прежде всего надо выяснить, к кому обратиться. Это главная задача. Пока ясно одно: в местное управление он не пойдет, все равно там ничего не решают. Надо идти к японцам.

Ли Ду Хан мысленно проходит по главной улице Пучена, останавливаясь у каждого японского учреждения. Вот штаб воинской части. Здесь знают о несчастье Ли Ду Хана. Усадьбу сожгли полицейские и солдаты. Но идти в штаб не стоит. Военные только выполняли приказ.

За штабом филиал Ниппон-банка. Банк и вовсе никакого отношения к делу не имеет. Не поможет Ли Ду Хану и отделение Восточно-колониальной компании. Дальше — здание суда. Но суд пока ни при чем, а вот о находящемся рядом полицейском управлении стоит подумать. Полицейские всегда помогали ему, иначе бы и не справиться с этой оголтелой деревенщиной. Правда, он тоже в долгу не оставался: он щедро оплачивал услуги полиции. Зато и расходы всегда окупались сторицей.

Да, но в полицейском управлении много разных отделов, надо еще прикинуть, в какой из них сунуться. Ни экономический отдел, ни отдел поддержания общественного порядка, ни тем более отдел цензуры ему не нужны. А вот отдел здравоохранения, пожалуй, подходит. Ведь именно этот отдел выискивает зараженные деревни и сжигает их. Но, с другой стороны, что может сделать отдел здравоохранения? Сжечь деревню или убить подозрительно заболевшего корейца.

А Ли Ду Хану надо получить деньги. Полиция денег не дает, она только берет деньги.

И вот после долгих раздумий он решает: надо идти к самому начальнику уездной полиции капитану Осанаи Ясукэ. Капитан предупредил Ли Ду Хана о готовящемся поджоге деревни. Ему в уезде принадлежит вся власть. Только он может сделать все нужные распоряжения.

Ли Ду Хан начал разговор с капитаном Осанаи Ясукэ, как и полагалось. Сначала выразил уверенность в победе Японии над Китаем, затем, отметив, что Япония и Корея едины, заверил, что готов идти на любые жертвы во имя божественного императора, который покровительствует Корее и, защищая ее интересы, начал священную войну с Китаем, и только потом перешел к делу.

Капитан Осанаи Ясукэ внимательно выслушал помещика, выразил ему соболезнование и сказал, что дело его безнадежно. Санкция на сожжение деревни Змеиный хвост была получена от губернатора провинции, и винить тут некого.

Ли Ду Хан остался вполне доволен ответом. По тону разговора, по всему поведению капитана, по каким-то едва уловимым признакам он понял: именно этот человек поможет ему получить деньги. А то, что он не дал положительного ответа, так какой же дурак сразу и без вознаграждения станет забивать себе голову чужими делами? Надо поумнее предложить взятку. Ведь не бывает же так, чтобы нельзя было купить полицейского! Вот, казалось бы, разговор окончен, а капитан сидит и выжидающе смотрит на него.

— Как же честному помещику найти правду? — спрашивает Ли Ду Хан.

— О, правду всегда можно найти,— улыбается капитан,— надо только иметь хорошего друга, который помог бы в таком трудном деле.

— Как жаль, как жаль, что у меня нет хорошего друга! — говорит Ли, качая головой.

— Такому уважаемому и богатому помещику легко найти друзей,— улыбается Осанаи.— Я и сам мог бы стать вашим искренним и бескорыстным другом.

— О, как я вам благодарен! — кланяется Ли капитану.— Я и мечтать не смел о таком высоком друге. Но дружбу обязательно надо чем-нибудь скрепить,— продолжает он, хитро сощурив глаза.— В знак нашей дружбы я прошу принять от меня пожертвование для солдат, сражающихся в Китае.— И он протягивает капитану заранее приготовленную стовоновую бумажку.

— Нет, нет! — испуганно отстраняет его руками Оса-

наи.— Извините меня, господин Ли Ду Хан, я немножко суеверен. Я не могу принять от вас эту ассигнацию. Она принесет горе. Я фаталист. Я верю в цифру «пять». У меня пять батраков, я обедаю ровно в пять, я провожу на службе пять часов. Вообще человек так устроен, что он должен уважать цифру «пять»,— смеется Осанаи.— Что главное в человеке? Две руки, две ноги и голова: всего пять. На каждой руке и ноге по пять пальцев. У нас пять органов чувств. Теперь вы понимаете,— снова смеется капитан,— почему я не могу принять для солдат божественной империи одну стовоновую бумажку?

Ли Ду Хан понял, чего хочет от него капитан. Он хочет пятьсот вон. Но это слишком много. Ему жалко отдавать столько денег. Он сидит опустив голову

— Я уверен, что цифра «пять» и другим приносит счастье,— снова заговорил Осанаи.

Эти слова разрешили сомнения Ли Ду Хана Капитан значит, обещает все устроить. Ну что ж! И помещик тяжело вздыхает.

— О, во имя всемогущего императора и победы в святой войне,— говорит он, уже не глядя на капитана,— я готов не считаться с деньгами.

Осанаи Ясукэ и впрямь оказался хорошим другом. Он сразу вспомнил — и как только мог забыть это! — ведь ему уже приходилось сталкиваться с подобными делами. Он все объяснит своему новому другу, он может даже доверить ему текст секретного распоряжения генерал-губернатора Кореи Абэ Нобуюки. Там говорится, что корейцев нельзя обижать. Если кореец может оплатить стоимость дезинфекции своего дома и если этот дом находится в стороне от грязных хижин, то такой дом никто не имеет права сжигать. А Ли Ду Хан вполне мог оплатить расходы по дезинфекции, и усадьба его находилась в стороне от деревни.

Капитан посоветовал Ли Ду Хану поехать к губернатору провинции и рассказать ему об этом. Он не сомневается, что губернатор прикажет оплатить убытки помещика. Только надо заранее составить опись погибшего имущества и представить ее губернатору. А капитан, со своей стороны, немедленно доложит генералу о том, как незаконно поступили с помещиком.

И действительно, как только Ли ушел, Осанаи сел писать донесение губернатору. Он излагал все обстоятельства дела, а также приложил примерную опись с оценкой сгоревшего имущества. Ему нетрудно было это сделать: Чо Ден Ок представил полиции нужные сведения. Этот кореец все зна-

ет. Он, наверно, знает даже, у кого сколько золотых зубов во рту...

Описью был занят и Ли Ду Хан. Надо составить ее так, чтобы она не вызывала сомнений, ну и чтобы остался хоть небольшой излишек за все эти муки, которые он терпит. В канцелярии губернатора опись приняли и велели зайти через неделю.

Ночью Ли Ду Хан не спал. Временами ему казалось, что он не доживет до утра. Очень просто: сердце разорвется — и он умрет. Потом он успокаивался и начинал подсчитывать, сколько ему выплатят. И его снова охватывало волнение. А что, если вся затея рухнет?

Ли Ду Хан пришел к адъютанту губернатора слишком рано, и ему пришлось долго ждать. Но когда его наконец пригласили в кабинет, он вошел туда спокойной и уверенной походкой человека, готового бороться за правое дело. Он пристально посмотрел на адъютанта, пытаясь догадаться, что решил этот низенький, толстый, коротконогий самурай, в чьих руках находится такая большая власть.

— Да, теперь я вижу, какое у вас большое горе,— медленно начал японец.— Я вижу, как повлияло оно на ваше здоровье.

Ли Ду Хан сидел немного повернув голову, чтобы ухо не пропустило ни одного слова. Он все отчетливо слышал, но еще не мог понять, к чему клонит адъютант. А тот продолжал так же медленно и бесстрастно:

— Особенно сильно повлияло горе на вашу память. Вы все забыли. Вы забыли, что наши люди предупредили вас и вы успели вывезти имущество и угнать скот...

Японец вдруг весело рассмеялся:

— Ты совсем состарился, Ли Ду Хан, и память от тебя ушла. Ты вписал даже такие вещи, которых у тебя никогда не было, и ты их только собирался купить. Вот как сильно потрясло тебя горе!

Ли Ду Хан вспотел. Надо сейчас же что-то придумать.

— Что вы, господин адъютант! — взмолился он.— Я вывез только священные вещи, дорогие небесному Окхвансанде и моему сердцу. Я спас поминальную доску моего незабвенного сына и доски предков своих. Я унес от огня Будду и черепаху как символы долголетия. О земных благах я и не помышлял.

Адъютант нахмурился, оперся руками о стол и встал.

Ли Ду Хан испугался. Что же это он, старый дурак, затеял тут спор? Надо как-то задобрить человека, предложить ему деньги, а не спорить с ним.

Ли прижал руки к груди и весь расплылся в улыбке.

— Конечно, господин губернатор (он решил теперь так называть адъютанта), вы правы! — заговорил он взволнованно.— Память моя уже совсем одряхлела, мог и напутать и лишнего записать. Но я человек честный и справедливый. Если что лишнее, можно в пользу казны зачислить, а? — И он наклонил голову, выжидающе глядя на самурая.

Тот опустился в кресло.

— Убытки вам будут оплачены,— поднял он глаза на Ли Ду Хана и уже добродушно добавил: — А за ложные сведения придется уплатить штраф.

Ли Ду Хан облегченно вздохнул: «Наконец-то!»

— О господин губернатор, я готов уплатить штраф. Я немедленно уплачу штраф.— И, немного помолчав, заискивающе глядя в глаза адъютанту, робко осведомился: — Я думаю, господин губернатор, что штраф не превысит половины стоимости ошибочно внесенного в список имущества?

— Да, конечно,— ответил адъютант.— Ошибочно внесено имущества на двадцать тысяч вон. Вам придется внести государству десять тысяч.

Из груди Ли Ду Хана вырвался стон.

Десять тысяч вон отдать просто так, ни за что! Ведь вот какое счастье у людей! Вот как загребают деньги!

Ли Ду Хан готов был заплакать. Но сейчас предаваться горю нельзя. Этот вор еще рассердится и передумает. А кроме того, ведь и Ли Ду Хану остается лишних десять тысяч.

Ли развязал ленты на халате и вытащил из-за пояса бархатный денежный мешок. Дрожащими пальцами отсчитал десять тысяч вон, сто бумажек — можно сойти с ума! — и положил их на стол. Когда адъютант взял деньги и, спрятав их в сейф, захлопнул тяжелую двойную дверцу, Ли Ду Хану показалось, будто этой дверцей ему прищемило сердце.

— А теперь посмотрим список,— весело сказал адъютант.— Вот это лишнее,— вычеркнул он наименование ценных бумаг на три тысячи вон.— Каждый дурак поймет, что если они у вас были, то вы их забрали с собой. Это — тоже лишнее,— вычеркнул он графу, против которой стояла цифра «пятьсот вон».

Он вычеркивал графы одну за другой, не глядя на Ли Ду Хана, на его болезненно скривившееся лицо.

— Так, так, так,— барабанил японец пальцами по столу, выискивая, что́ бы еще вычеркнуть.

Ли Ду Хан уже не смотрел, какие наименования тот вычеркивает. Он видел лишь цифры и механически складывал их, не понимая, что́ будет дальше.

— Сколько же мы сняли? — все так же весело спросил адъютант.

— Восемь тысяч...— простонал Ли Ду Хан.

— О, как вы быстро считаете! Ну что ж, хватит.

— Значит, мне надо было внести в казну не десять тысяч, а только четыре тысячи, господин губернатор.— И он робко посмотрел на сейф.

— Вон отсюда! — вскочил адъютант.— Ты еще недоволен! Грязная свинья, вор, взяточник! Да я сгною тебя в тюрьме! Я из тебя хваденмина сделаю!..

Ли Ду Хан стоял согнувшись и от каждого слова вздрагивал, будто его били по спине тяжелой палкой.

— Вон отсюда! — взревел адъютант, указывая рукой на дверь.

И тогда Ли Ду Хан упал на колени. Он не смотрел больше на самурая и ничего не говорил. Он плакал, громко всхлипывая, как ребенок. Тут сердце адъютанта смягчилось.

— Посиди здесь,— сказал он спокойно и вышел в соседнюю комнату, захватив опись.

Вскоре он вернулся и прочитал Ли Ду Хану резолюцию:

«Возместить убытки невинно пострадавшему помещику Ли Ду Хану Передать помещику Ли Ду Хану землю, принадлежавшую крестьянам деревни Змеиный хвост. Для покрытия убытков обложить крестьян уезда Пучен налогом «на стихийное бедствие». Сумму, которая может остаться после погашения убытков, зачислить в резерв на случай возможных и впредь стихийных бедствий Генерал-губернатор провинции Карагута Кандзаэмок»

Адъютант достал из кармана футлярчик, в котором лежала маленькая, как монета в десять чжен, печать, и приложил ее к описи.

— Ну все,— сказал он миролюбиво.— Поезжай к капитану Осанаи Ясукэ с этой бумагой. А выстроишь новый дом, приглашай в гости.

Японец улыбнулся, и тотчас же заулыбался поднявшийся с колен Ли Ду Хан. Шепча слова благодарности, приложив руки к груди, он попятился к выходу.

Но едва вышел на улицу, проклятия посыпались из его уст:

— Десять тысяч вон ни за что! О бог справедливости! О великий Окхвансанде! Пусть эти деньги, все десять тысяч до последней чжены, уйдут у него на докторов и лекарства! Пусть не хватит этих денег ему на похороны! Пусть дети его и внуки его всю жизнь в муках выплачивают свои долги!

Ли Ду Хан еще долго причитал, пока не перечислил все мыслимые несчастья, прося Будду обрушить их на голову адъютанта.

Немного успокоившись, начал прикидывать в уме, что же выгадал он сам. Правда, Ли не такой дурак, как думает этот солдафон. Он так ловко увеличил количество одеял, сундуков, продовольствия, медной и фарфоровой посуды, что этот подлец ничего не заметил. Да и механический насос вовсе не сгорел, а стоит у реки под навесом. И многое другое тоже осталось целехоньким.

Ли Ду Хан подсчитал, какова же будет чистая выгода, и получилось не так уж мало: около пяти тысяч вон. Да, но тот разбойник получил десять тысяч. Пусть внуков его заест чесотка!

И все же в конце концов настроение у Ли Ду Хана улучшилось. Ведь к пяти тысячам надо прибавить еще кое-что. Много вещей было старых, а оценены они, как новые, да и за дом такую большую сумму, пожалуй, не дали бы. Теперь надо только побыстрей получить деньги.

НА СТАРОМ ПЕПЕЛИЩЕ

Во дворе Хана, по соседству с домом Тэна, где раньше жила Мен Хи, собралась почти вся деревня. Хан даже сам не ожидал стольких гостей. Он решил лишь скромно отпраздновать рождение сына.

Жена Хана хотела устроить праздник сразу же после родов. Но женщины всегда так неразумно рассуждают. Будто она не знает, что дети редко доживают до года, и уж если праздновать, то надо делать это, как у людей,— подождать годок. Даже помещики отмечают день рождения ребенка через сто дней, когда его уже начинают привязывать к спине кормилицы или матери. А вот теперь, спустя год, раз его сын не умер, значит, действительно можно повеселиться.

Хан достал все, что надо для браги, и, хотя самураи строго запрещали варить брагу, он приготовил ее так, что она получилась как вино. Он умел готовить вкусную брагу.

Сначала пришли только соседи, человек десять, и начался праздник. Но потом стали приходить новые гости, и каждый приносил подарки: кто пяток яблок, кто пару яиц или сладкий картофель. А Тэн принес кусочек фабричного ситца, который давно лежал у него в сундуке.

Жена Хана гладила материю рукой, и гладкий ситец цеплялся за ее шершавые ладони.

Хан сказал, пусть перестанет гладить, потому что она порвет материю. Все засмеялись, и с этого началось веселье. Гости выпили брагу и приплясывали вокруг жены Хана, а трое мужчин играли на тонких бамбуковых дудках, и еще один перебирал струны каягыма. Пожилая женщина била в узкий и длинный барабан и сама тоже приплясывала.

А гости все прибывали и приносили новые подарки, и уже в хижине не хватало места, поэтому пришлось перейти во двор. В доме остались только старики, но, когда появился фокусник, и они покинули циновки, чтобы посмотреть на его затеи.

Хану очень повезло. Надо же было фокуснику прийти в их деревню как раз во время такого торжества! Фокусник сказал, что скоро придут сюда еще два акробата и актер, исполняющий роли молодых девушек. Артисты задержались в соседней деревне. Никто не удивился, что Хану так повезло. Если человеку везет, то уж во всем. Значит, такое счастье у Хана.

Фокусник стоял посреди двора, а вокруг него разместились дети и, предвкушая удовольствие, не могли усидеть спокойно. Второй круг образовали старики, присевшие на корточки. И они тоже с нетерпением ожидали представления и пыхтели длинными тонкими трубками. Позади стариков тесным кольцом сгрудились остальные гости. И те, кому плохо было видно, подтаскивали корыто или бревно, чтобы встать повыше. Кто-то подкатил арбу, и туда сразу набилось много народу.

Фокусник в это время был занят приготовлениями. Он разостлал на земле кусок яркой зеленой материи и высыпал все, что было в его корзине: разноцветные шары, коробочки, фонарики, три яйца и много красивых непонятных вещиц. Потом извлек откуда-то пять каштанов и бросил их детям.

— Посмотрите, что это такое, и покажите всем,— сказал он.

— Каштаны! Каштаны! Нежареные каштаны! — раздалось со всех сторон.

Все видели, что это действительно каштаны, но каждому хотелось подержать их в руках.

Потом фокусник собрал каштаны и подбросил их высоко над собой. Они взлетели широким веером, и люди уже готовы были ловить их, но фокусник подставил шляпу и выкрикнул какое-то слово. Он держал свою картонную шляпу на одном месте, но все пять каштанов со стуком попадали в нее. Кругом засмеялись, а он перевернул шляпу, и смех

сразу умолк — каштанов в ней не оказалось. Все стали осматривать шляпу, которую он обносил по кругу, и даже ощупывать ее руками, но ясно было, что она пустая.

Тогда фокусник сказал детям, что хватит шутить и пусть они отдадут каштаны, ведь он купил их своим ребятам. Фокусник даже заплакал, прося, чтобы ему скорей вернули его каштаны, за которые он так дорого заплатил.

И опять все смеялись, а дети совсем развеселились и кричали, что они ничего не брали. Но фокусник им не поверил, а подошел к одному мальчику и достал каштан у него из волос.

Все очень удивились и не знали, что подумать.

Другой каштан оказался в ухе девочки, третий закатился в чей-то кисет с табаком. Все пять каштанов быстро нашлись.

Веселье охватило людей. Каждый усаживался и устраивался поудобнее, готовясь смотреть следующий фокус.

Отец Тэна, дедушка Мун, в это время только собирался на праздник. Куда-то запропастилась внучка и оставила ему Хен Бо, который все время плачет, и неизвестно, как его унять. Не может же он, словно женщина, привязывать ребенка к спине, хотя в этом привычном положении тот сразу успокоится.

Старик вышел на улицу, чтобы посмотреть, куда девалась девчонка, и сразу почувствовал неладное. Он увидел жену Туля, что живет на самом краю деревни. Она спешила к дому Хана и кричала:

— Туль, Туль, скорее!

Вдоль улицы в разных местах стояли три воинские телеги, запряженные лошадьми, но людей возле них не было. Где-то лаяли собаки, мычал скот, а со двора Хана по-прежнему доносились громкие возгласы и веселый смех.

Старик хотел было пойти позвать Тэна (наверно, что-то случилось), но не успел. Откуда-то выскочили два полицейских.

— Плати налог на стихийное бедствие! Живо! Всего тридцать вон,— скороговоркой проговорил один из них.

— Тридцать вон? — Старик невольно улыбнулся: таких больших денег он уже давно не видел.

— Давай и не разговаривай. Сгорела целая деревня Змеиный хвост. Нет денег — можно рисом, три маля[1] риса или шесть маль чумизы. Можно и овощами, только давай быстрей.

[1] Маль — 15 килограммов.

Старик хотел что-то сказать, но полицейские оттолкнули его и через открытые ворота ринулись во двор.

Сердце Муна тревожно забилось. В маленьком камышовом сарайчике тихонько хрюкал поросенок. Это — надежда всей семьи. Вместе с Тэном старик не раз прикидывал, когда можно будет зарезать животное чтобы по кусочку мяса хватило на всю зиму.

Оставив на улице кричащего Хен Бо, старик засеменил во двор. Так и есть! Обрубив мечом веревку, на которой висел красный перец, и растоптав мелко нарезанные огурцы, сушившиеся на циновке полицейские ловили поросенка.

Старик протянул к ним трясущиеся руки:

— Сына подождите, без него нельзя... Что же вы делаете!

Поросенок отчаянно визжал но его затолкали в мешок и потащили со двора.

Вконец растерявшийся Мун ухватился за мешок, но полицейский с силой выдернул его из рук старика.

А к ним уже бежал Тэн, и сзади него из открытых ворот молча и грозно надвигалась толпа

— Отдай! — крикнул Тэн, рванув к себе мешок.

Самурай выхватил маузер, но Тэн ударил японца кулаком по руке и пуля попала в Хана Он упал, выбросив вперед руки, и кровь струйкой потекла по его лицу И в ту же минуту второй самурай ударил Тэна по голове рукояткой револьвера

Разъяренная толпа ринулась на японцев сбила их с ног смяла и обезоружила.

Привлеченные выстрелом, к дому Тэна бежали еще три полицейских с револьверами. Но теперь маузеры были в руках Тэна и другого крестьянина. У самых ворот они уложили двух японцев. Третий, отстреливаясь, побежал назад, вскочил в телегу, ударил бамбуковой палкой лошадей и умчался из деревни.

Толпа, вооруженная уже четырьмя маузерами, мечами и кольями, металась по улице, но полицейских больше не было видно. Тогда все бросились на сопку в конце деревни, где помещался полицейский участок. И здесь никого не оказалось. В ярости люди переломали мебель, изорвали бумагу и подожгли дом.

Когда все вернулись в деревню, кто-то крикнул:

— В горы!

И словно эхо пронеслось по улице:

— В горы! В горы!

Быстро собирали пожитки, кто что успел, и бежали в

ближайшее ущелье. Еще не все скрылись, как из-за полицейской сопки донесся треск мотоциклов. Словно москиты, налетели самураи и в полчаса разгромили деревню.

Они опустошали хижины и часть добра грузили в машины, а часть жгли.

Самураи умчались, и деревня осталась как после боя: изуродованные и сожженные дома, трупы людей.

Сбор налога на стихийное бедствие, постигшее деревню Змеиный хвост, продолжался во всем уезде.

Японская полиция действует быстро и точно.

Со двора во двор по окрестным селениям ходили вооруженные мечами самураи. От стихийного бедствия пострадала целая деревня. Надо помочь людям. Вообще надо помогать друг другу. Государство не в состоянии принять все расходы на свой счет. Империя Ниппон и так слишком много тратит на своих корейских братьев. У кого нет денег, пусть вносят натурой. Можно платить рисом, скотом, птицей. Расценки имеются в Восточно-колониальной компании. Это государственные расценки, и они не так уж низки, как кажется крестьянам.

От налога на стихийное бедствие не освобождается никто. Есть приказ самого губернатора провинции. Каждый должен внести небольшую сумму на такое благородное дело. Даже у самых ленивых, у тех, что едят одни коренья,— даже у таких есть дочери, которые все равно не останутся в доме отца. Их можно продать. Крестьянин от этого только выгадает. Самому кое-что останется, и одним ртом в семье будет меньше. У кого нет дочери, пусть возьмет необходимую сумму в долг у помещика. Потом можно всегда отработать. Долги есть у каждого. Значит, их будет немного больше, и только.

И крестьяне потянулись к базам Восточно-колониальной компании, где скупают все. Понесли зерно, птицу, овощи.

Ли Ду Хан радовался. Он всегда говорил, что издольщикам нельзя верить. Они постоянно твердят, будто им нечего есть. Но это от скупости. Вот ведь нашли и зерно и деньги...

Ли Ду Хан получил уже почти все, что ему причиталось, и начал строить новую усадьбу на том же месте, где стоял старый дом. Место удобное, обжитое, и незачем его менять. Управляющий вызвал из города большую артель плотников. Подсобные работы будут выполнять двенадцать крестьян, которые так и не заплатили налог. Ли согласился дать им заработать, чтобы они могли внести налог государству.

...Ли Ду Хан стоял посреди двора, когда к нему, низко кланяясь, подошел крестьянин. Это был Пак Собан, Пак-неудачник. Помещик удивился, но и обрадовался его приходу. Даже в хлопотах о новом доме он не забывал о Мен Хи, о том, что настоящее богатство еще придет к нему.

Он никак не мог себе простить, что не захватил тогда девчонку с собою, понадеявшись только на поминальную доску. А доску он действительно вывез и надежно спрятал.

Управляющий уверял его, что перед поджогом деревни все батраки разбежались и никто из помещичьей челяди не попал к японцам. Значит, жива и Мен Хи. Ли Ду Хан все собирался разыскать Пака Собана и узнать, куда он ее девал. Как хорошо, что тот сам пришел.

— Где моя дочь? — глухо спросил Пак.

— Твоя дочь? — удивился помещик.— Что же ты меня о ней спрашиваешь? Я у тебя хотел узнать, где твоя дочь. Ведь это же твоя дочь? Ты получил за нее столько, что мог бы и последить за ней. Или, может быть, ты прячешь ее? Так знай, что от меня не укроешь ничего.

Пак тоскливо смотрел на помещика.

— Я пришел отрабатывать налог,— сказал он.— Пришел вместе с женой.

Ли Ду Хан внимательно посмотрел на Пака и понял, что тот действительно не знает, где Мен Хи. Он быстро сообразил, что должен держать Пака возле себя. Если его дочь жива, она обязательно придет к отцу. И Ли Ду Хан стал снова ласковым.

— А у тебя, бедного, уже не осталось ни денег, ни зерна? Ты не можешь оплатить налог? Ну не горюй. Я много раз выручал тебя из беды, выручу и на этот раз. Я люблю тебя, как отец, за твою честность и трудолюбие. Я дам тебе в аренду тенбо земли. Расплатишься, когда снимешь урожай. Зато каждый день до обеда ты вместе с женой будешь работать у меня, а после обеда на своем участке. Между делом и дом себе построишь, глины здесь много. Крышу пока сделаешь из веток, а когда соберешь урожай, у тебя и солома будет.

Пак стоял и думал. Он работал у многих помещиков. Он жил в сараях, спал под сопками, голодал. Нет, уж лучше в родных местах. Правда, нарастут проценты и за старые долги и за новые, но хоть угол свой будет, да и земля здесь урожайная. А от большого урожая, может быть, и ему что-нибудь перепадет.

И Пак решил снова поселиться там, где была деревня Змеиный хвост. В тот же день отправился на свое пепелище у высокой мачты. Они расчищали площадку для хижины, а вокруг никого не было, и мать его детей тихо пела:

Ариран, Ариран, высоки твои горные кряжи,
И счастье — там, на вершинах скал.
Злые духи, ущелья и пропасти черные
Преграждают пути к дорогой Ариран.

ЧО ДЕН ОК ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ

Нет, не зря старался в свое время младший надсмотрщик строительства Супхунской гидростанции Чо Ден Ок. Японская администрация оценила его преданность и сообразительность. Он получил место в Восточно-колониальной компании и уверенно шел вверх по служебной лестнице. Всего через три года после того, как он переступил порог пученского уездного отделения компании, робко кланяясь каждому чиновнику, он получил отдельный кабинет на том же этаже, где вершит делами руководитель отделения Цуминаки.

О, будь он сам японцем, он давно бы подмял под себя этого Цуминаки, который только и держится тем, что приехал из Токио! Но теперь с ним не придется иметь дело. Еще десять дней надо просидеть в этой дыре, а там Тэгу... полицейская форма... настоящие дела.

Полицейский инспектор города Тэгу господин Чо Ден Ок еще покажет себя... Он знает, чего хотят самураи, он научился угадывать их желания даже по едва заметному жесту.

Сегодня Чо впервые мечтает о будущей деятельности в полиции, уже имея туда назначение. Конечно, это только одна ступень той огромной лестницы, по которой он уверенно идет к вершине славы. Но он добьется своего. Он еще будет назначен инспектором в крупный центр вроде Хейдзио. Он еще получит кабинет в самом полицейском управлении Сеула. Он купит себе большой дом, куда привезет молодую жену. А старая пусть остается в деревне, где она живет и сейчас. В Сеуле много красивых девушек. Он подберет себе двух-трех, содержать их он сможет вполне. Его имя станет известно в Токио, и он не будет больше зависеть от таких выскочек, как Цуминаки, который присваивал себе все заслуги Чо.

Но эти последние десять дней надо по-прежнему угождать ему, а то еще напортит под конец.

Чо Ден Ок встает из-за письменного стола и начинает ходить по комнате. Даже важные бумаги не могут заставить его сосредоточиться надолго. Его голова на тонкой и длинной шее все время вертится. То он глянет в окно, то подастся вперед, улавливая едва доносящиеся в кабинет звуки шагов или разговора за дверью, то включит приемник, чтобы послушать сводки с фронтов.

Чо Ден Ок не может иначе. Он привык все замечать, все знать.

После службы он не просто отправляется домой. Он выходит на охоту. Он идет медленно, втянув голову в плечи.

Но вот показался силуэт человека, и длинная шея Чо Ден Ока вытягивается вперед. Он впивается своими маленькими колючими глазками в незнакомую фигуру. Он определяет рост, походку, успевает заметить на лице прохожего каждую морщинку, каждую родинку или бородавку. Он как бы фотографирует человека, запечатлевает в мозгу все до мельчайших деталей. Он старается определить, что выражают глаза, ему хочется проникнуть в душу человека. Временами ему кажется, что отгадывает даже, о чем тот думает.

Все это может пригодиться.

У него редкая память и острый глаз. Достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы узнать его и через десять лет. Он помнит все события, даты, происшествия, разговоры. Помнит во всех деталях, со всеми подробностями. Все, чему он был свидетелем или о чем слышал, как бы откладывается в его мозговом архиве, чтобы в нужную минуту быть использованным.

В школе он никогда не учил уроков, но всегда хорошо отвечал. Его не интересовали науки, он не старался в них разобраться или понять существо дела. Он механически запоминал все, что говорил учитель.

Его ставили в пример другим ученикам, и он объяснял свои успехи большой усидчивостью.

Раньше он не любил возвращаться к тому, что уже сделано, за что уже получены отметки. Теперь у него другие привычки. Он постоянно возвращается к ранее сделанным наблюдениям. Кажется ему, например, что этому прохожему лет тридцать пять, что он содержит мастерскую чугунных котлов для варки пищи или, скажем, торгует осьминогами, и Чо обязательно найдет возможность проверить свои предположения.

Но не только людьми интересуется Чо Ден Ок. Поднимаясь по лестнице, он считает ступеньки. Попадая в незнакомый дом, определяет, из каждой ли комнаты есть выход во двор

или найдется такая, куда можно попасть только из соседней комнаты. Он прикидывает, могут ли здесь быть две комнаты с дымоходами под полом, или, как обычно, только одна.

Вечером, идя по улице и заглядывая в окна, старается угадать, что там сейчас делается, замечает, сколько горит лампочек и примерно во сколько свечей каждая.

В редких случаях, когда уже совершенно не за кем наблюдать и нечего считать, он на глаз определяет количество шагов от одного столба до другого или до крайнего дома, а потом проверяет, не ошибся ли.

Кто знает, может быть, и это пригодится.

И ничего нет удивительного в том, что через год после приезда в Пучен он знал всех его жителей, весь небольшой уездный город.

Он знал, кто чем занимается, когда в каком доме ложатся спать и когда встают, где бывают его обитатели.

Он знал, о чем говорят люди, их настроения и даже мечты. Ни одно событие в городе не было для него неожиданностью. Когда разорялся лавочник, Чо Ден Ок отмечал про себя, что месяц назад предвидел это. Если по улицам шла свадебная процессия, он проверял лишь, не ошибся ли в сроке свадьбы, который мысленно давно назначил.

Все видеть и все знать ему было необходимо как воздух.

Еще будучи младшим надсмотрщиком на строительстве Супхунской гидростанции, Чо Ден Ок пришел к выводу, что ему не сделать карьеры, если он не расположит к себе японцев. А карьеру он должен сделать обязательно. И не такую, чтобы только хватало на рис. Нет, ему нужны большие деньги и видное положение в обществе, его должны уважать и бояться. Ему нужны известность и слава. Его одолевала жажда сладостной власти над людьми.

Так думал, об этом мечтал младший надсмотрщик Чо Ден Ок, ненавидевший тех, над кем он призван в будущем властвовать.

Пусть сейчас его не замечают, не обращают на него внимания, но он знает, что надо делать. Он не станет долгие годы выслуживаться, пока японцы убедятся в его преданности и предложат ему должность чиновника в местном самоуправлении. Ему этот пост не нужен, да и путь к нему долог. Он знает более короткий и более верный путь к власти, к деньгам: надо попасть на службу в полицию.

Но для того чтобы корейца взяли служить в полицию, он должен доказать свою преданность великой империи Ниппон. Требуются не мелкие услуги и не слова. Верность императору и способность унять бунтовщиков надо доказать делом.

Ну что ж, он готов к этому. Он не станет прозябать, как миллионы корейцев, не способных понять всю выгоду службы на самураев. Своим усердием он пробьет себе путь к жизни.

Чо Ден Ок начал осуществлять свой план еще на Супхунской гидростанции. Он усердно защищал интересы японской администрации и старательно информировал полицейского инспектора о подозрительных лицах. Это дало ему должность в пученском отделении Восточно-колониальной компании.

Раньше полиция ему ничего сама не поручала, а только благосклонно принимала его донесения. Теперь ему дают задания. Но делает он больше, чем от него ждут. Он хорошо знает психологию своих соотечественников. Все они ненавидят этих чванливых самураев и всегда готовят против них всякие козни. Значит, надо своевременно узнавать о заговорах и доносить в полицию раньше, чем спохватятся ее собственные агенты.

Он первый разведал, кто начал распространять слухи о том, что русские разбили под Москвой немцев. Правда, слухи эти разнеслись по всему городу, и люди ходили с веселыми лицами, но зачинщиков удалось схватить, и митинг, готовившийся на текстильной фабрике, не состоялся.

Он может многое сделать, но вот только с проклятым страхом ему никак не удается совладать. Он не может избавиться от этого постыдного чувства, которое в нем укоренилось и мешает жить: ему постоянно кажется, что его будут бить. Да, именно — бить.

Это чувство преследует его со школьных лет. Он, как честный ученик, всегда сообщал надзирателю о проделках мальчишек. И каждый раз его за это били. Ему, собственно, не объясняли, за что, но он сам заметил, что бьют его как раз после того, как он поговорит с надзирателем. Он ходил жаловаться, виновных наказывали, но его опять били.

С тех пор и зародилось это неприятное чувство. Он уже и жаловаться перестал, и уже давно никто его не трогал, но страх не проходил. И только после окончания школы он стал постепенно успокаиваться. В период строительства Супхунской гидростанции он совсем уже позабыл о тех неприятных днях.

Но однажды это противное чувство вспыхнуло в нем с новой силой. Это было после того, как он доложил полицейскому инспектору о вредных разговорах в бараке среди строителей.

На следующий день он снова задержался у закрытой двери барака, чтобы не смущать строителей и все же послу-

шать, о чем они спорят. И вдруг огромный кулак, словно каменная глыба, обрушился на его голову; колени подогнулись, и он медленно опустился на землю. Никто не помог ему подняться, но у него хватило сил отползти от двери. Немного передохнув, он встал и, озираясь, тихо поплелся к себе.

Об этом случае никому не рассказал, но чувство страха уже не покидало его.

Если бы он боялся, что его убьют, как убивают многих, кто оказался умен и осознал все выгоды преданной службы японцам, было бы еще понятно. Но об этом он пока не думал. Он боялся именно того, что его будут бить. Ему становилось невыносимо жаль себя. Он начинал ходить по комнате и без конца повторять: «Бедный Чо, бедный Чо!»

Потом его маленькие кулачки сжимались и на висках вздувались жилки. Хорошо же, они собираются его бить, так пусть не ждут пощады и сами. Он будет им мстить безжалостно и жестоко. Завтра же понесет в полицию очередное донесение. Пусть попробуют оправдаться. Поверят ему, а не им. Он сегодня же пойдет к Осанаи Ясукэ.

Японец ждет доносов. Для ареста ему нужен повод. Ну, а поводов Чо Ден Ок найдет сколько хочешь. Сейчас только и говорят о бушующей во всем мире войне. Разве не правильно арестовали по его сообщению старого текстильщика за сочувствие русским? А кто кому сочувствует, Чо видит по глазам. Пусть только заговорят о войне, и Чо сейчас же найдет врагов империи Ниппон.

Надо сегодня же составить список и отнести капитану Осанаи. Пусть действует. Пусть капитан будет надежной защитой для Чо Ден Ока.

Но чем чаще он доносил на подозрительных людей, тем больше боялся, что его будут бить. Он понимал, что поступал правильно,— иначе ему не достичь больших чинов,— но все больше боялся неприятностей. В своей двери он сделал специальное приспособление, чтобы ее можно было запирать на ночь. Он теперь избегал появляться в толпе. Он и так много сделал, многого добился. Он сумел проявить себя не только в полиции, но и в отделении компании, где служил. Ему понадобилось всего три года, чтобы стать первым помощником самого Цуминаки.

А вообще этот Цуминаки — ничтожество. Ведь все дела компании в уезде наладил именно Чо, именно его изворотливость и умение прижать крестьян, его полная осведомленность о состоянии помещичьих хозяйств привели к тому, что Пучен дает Японии больше риса, чем другие уезды.

Правда, всю систему работы объяснил ему Цуминаки, но,

конечно, не он ее придумал, и даже не Сеул, а Токио, где сидят подлинные хозяева компании.

Чо Ден Ок первым узнал о том, что в столице действует «Лига мобилизации корейского народа». Он сразу понял, какое важное значение придают ей японцы. Еще из Сеула не поступило никаких указаний, а он уже организовал в уезде местное отделение. Многочисленные агенты Чо стали членами этой организации. Он расставил их по деревням, и они дают ему самые точные и полные данные о каждом участке земли: как он вспахан, что посеяно, какое использовано удобрение, как орошается участок и, наконец, какой ожидается урожай.

Чо отлично обо всем осведомлен. Достояние крестьян он подсчитывает точнее, чем они сами. Ошибки быть не может. Крестьяне еще только собираются начать уборку, а компания, по данным Чо, уже подсчитала урожай и распределила его весь до зернышка: сколько вывезут в Японию в виде налога, сколько пойдет помещику в счет арендной платы и, наконец, сколько будет добровольно пожертвовано на процветание Японской империи.

Члены лиги умеют собирать добровольные пожертвования. Ни один крестьянин не посмеет отказать, когда к нему явится член лиги.

На очереди у Чо новые планы. Он обязательно их осуществит. Восточно-колониальная компания уже получила в свое распоряжение все лучшие земли, все ирригационные сооружения, все лесные массивы страны. Но она может добиться большего. Чо Ден Ок сыграет в этом не последнюю роль.

В Токио сидят трезвые люди. Они ворочают гигантскими капиталами. Они поймут его. Он втянет в орбиту должников компании миллионы людей. А тех, кого засосет компания, она уже не выпустит.

У него много планов. У него такие планы, которые никому и в голову не придут. И в самом деле, ведь в уезде собралась вся полиция провинции, а кто расклеивал листовки о наступлении русских, так и не могли узнать. Он один раскрыл целый заговор. После этого он и получил назначение в Тэгу...

Стук в дверь прервал размышления Чо Ден Ока.

Это, судя по всему, мелкий служащий. Японцы входят вообще без стука. Помощники Чо стучат увереннней. А это даже не стук, а царапанье. Пусть подождет.

Проходит минута, прежде чем стук повторяется, но такой же тихий и робкий, едва слышный. Чо садится за стол, раскрывает папку с бумагами.

— Войдите.

Он смотрит в папку, не поднимая головы, лишь искоса поглядывая на вошедшего: спина согнута в поклоне, руки на коленях, носки вместе, пятки врозь. Широкая заученная улыбка.

Пусть постоит так. Пусть ниже гнет спину. Чо Ден Ок занят, он не может каждую минуту отрываться от важных дел. Пусть этот кореец улыбается ему так же, как японцам. Улыбаться должны все. Японцы научили людей вежливости.

Кореец идет, шатаясь от голода, но он должен улыбаться встречному японцу. Его бьют, но он должен улыбаться, потому что иначе не перестанут бить. Умер родной или близкий человек, надо просить у японского чиновника разрешение на похороны,— значит, надо ему улыбаться. Это признак уважения и почтительности. Надо широко улыбаться.

Пусть гнутся и перед ним. За спиной они его проклинают. Они ненавидят его больше, чем самураев. Он это хорошо знает. Но он научит их уважать себя. Пусть стоят, согнувшись и улыбаясь, пока не окостенеет позвоночник, пока судорога не сведет челюсти. Пусть знают, кто такой Чо Ден Ок.

Чо медленно отрывает глаза от бумаг, которые не читал, нехотя поднимает голову и рассеянно смотрит на вошедшего. Тот немного разгибает спину, ладони его отрываются от колен и скользят вверх по ногам. На лице застыла улыбка-маска. Вошедший готов что-то сказать, но Чо опускает глаза.

Он очень занят. Нельзя прерывать течение его мысли. Пусть не думают, что если он кореец, то всякий хваденмин может к нему врываться, как в свою хижину.

И снова руки вошедшего ползут вниз и застывают на коленях. Но вот наконец Чо откидывается на спинку стула и вопросительно смотрит на чиновника.

Маска расплывается в улыбке:

— Господин Цуминаки просит господина Чо Ден Ока к себе.

Чо вскакивает. Он мгновенно забывает о своем величии.

— Что же ты молчишь, рыбья голова? — кричит он уже на ходу, выбегая в коридор.

Еще у дверей кабинета начальника, робко стучась в мягкую обивку, Чо начинает улыбаться. Впускают сразу.

Цуминаки и представитель текстильной компании Катакура сидят на полу, в стороне от письменного стола, и пьют зеленый чай из крошечных чашечек.

Они не угостят его под тем предлогом, что корейцы чая не пьют. Ничего, придет время, они будут угощать и его ча-

ем. И хотя непонятно, что хорошего в этом странном напитке, он тоже будет причмокивать языком и восторгаться ароматом и вкусом. Пусть знают, что и он разбирается в этих тонкостях.

— Конничива[1], мои господа.

Ладони на коленях, носки вместе, пятки врозь. Заискивающая, широкая улыбка.

— Я почувствую себя счастливым, если в моих ничтожных силах будет оказать услугу высоким господам.

Да, его не приглашают к чаю.

Пусть будет так,— значит, еще время не пришло. Ничего, это время настанет. Он обгонит тупого и чванливого Цуминаки.

Ему объясняют, что сеульской текстильной фабрике Катакура срочно требуется пятьсот работниц. Чо улыбается, понимающе кивает головой и заверяет: все будет сделано, господа могут спокойно пить чай и отдыхать. Ему все понятно, он не потревожит их больше своими глупыми вопросами.

Он выходит, пятясь и кланяясь.

...Чо Ден Ок — человек дела. Поручение несложное, его надо выполнить в короткий срок, раньше, чем Цуминаки может предположить, тем более что это — последнее задание в Пучене. Три дня с момента его получения не пропали даром. Агенты Чо работают быстро. Они успели оповестить о благодеянии все деревни. И вот уже под окнами компании толпятся женщины и девушки. Он сам поговорит с каждой из них. Он привык работать добросовестно. Не всегда можно полагаться на агентов.

— Следующая...

Он не поднимает глаз на вошедшую.

— Фамилия, имя?

— Пак Мен Хи.

— Кто отец, из какой деревни?

— Пак Собан, Пак-неудачник из Змеиного хвоста.

Чо поднимает голову. Змеиный хвост... сожженная деревня... Что-то с ней связано...

— Почему уходишь от родителей? Сколько тебе лет?

— Родителей я потеряла. Вот уже год как не могу их найти. Мне тринадцать лет.

— Тринадцать? Тебе тринадцать лет?

Чо вскакивает и в волнении начинает ходить по комнате.

— Тринадцать, тринадцать... Ха-ха, ведь тебе не больше одиннадцати. Очень хорошо... Очень хорошо...

---

[1] Конничива (*яп.*) — добрый день.

Почему же эта идея не пришла ему в голову раньше? О, теперь безмозглый Цуминаки еще раз убедится, как хитер Чо Ден Ок. Но на этот раз ему не удастся выдать чужую идею за свою. Чо расскажет о ней в присутствии уполномоченного фирмы. Пусть шире идет о нем молва, теперь-то уж о Чо Ден Оке узнают в Токио. О нем расскажет представитель крупнейшей в Японии и Корее текстильной фирмы.

— Иди, девочка, подожди за дверью, я потом позову тебя... Нет, постой, откуда ты взяла, будто тебе тринадцать лет? Я точно знаю, что тебе одиннадцать. Запомни это хорошенько и не вздумай прибавлять себе годы, иначе на работу не возьму и отправлю обратно домой... Да... Ты не знаешь, где отец?.. Твой отец умер, и мать тоже умерла, и все братья и сестры умерли, все умерли, тебе некуда идти... Ну, что же ты стоишь? Подожди за дверью. Фирма не допустит, чтобы сирота голодала, только не забывай, сколько тебе лет.

Чо выталкивает Мен Хи за дверь и зовет чиновника.

— Порвать списки людей, с которыми я говорил! Я буду составлять новые списки. Тех, кому меньше тринадцати лет, отправлять обратно, они нам не нужны. Присылать ко мне только девушек от тринадцати до семнадцати лет!

Так, так, так... Фирме нужны пятьсот работниц... За одну и ту же работу кореец получает вдвое меньше, чем японец, кореянка — в два раза меньше корейца, а девочка до двенадцати лет — вдвое меньше кореянки.

Так, так... Сколько же это сэкономит фирма, если семнадцатилетним сбросить по пяти лет? Это вполне осуществимо. По виду они совсем дети, тоненькие, как стебли гаоляна, а на фабрике им не растолстеть. Они будут получать ровно в два раза меньше, чем положено. Фирма должна хорошо заплатить за такую мысль. Теперь там уволят всех пожилых работниц и пришлют за девочками. Как хорошо, что у корейцев нет паспортов.

Чо ходит по комнате, потирая руки. Так, так, так... Пусть войдет эта девочка, как ее там зовут...

— Сколько же тебе лет, девочка? А? Что же ты молчишь? Или у тебя еще уши не выросли?

Мен Хи молчит.

Разве сердце, перенесшее столько горя, не может окаменеть? Нет, оно стало еще чувствительнее, оно, как панты молодого оленя. Когда панты только наливаются, когда это еще не рога, а только густая масса, покрытая пленкой, перевитая тончайшими нервными сплетениями, прикосновение к ним вызывает у животного нестерпимую боль. Чтобы ветки и листья не касались пантов, молодые олени выходят на лес-

ные опушки. Но охотники знают, когда выйдет молодой олень. Его уже ждут, для него уже расставлены капканы, на него наведены стволы ружей. Охотники не упустят момента, когда наливаются панты. Это пора легкой добычи.

Мен Хи в руках охотника хитрого, алчного, беспощадного. Такой не упустит добычу. Ей уже некуда скрыться. Чего он от нее хочет, почему медлит? Ей теперь все равно, что бы с ней ни делали: ведь родители ее умерли. А почему она сама еще живет? Да и живет ли она? Где находится? Может быть, на пути в чудесный сад небесного Окхвансанде?

— Скажи — одиннадцать, ну, слышишь, скажи — одиннадцать, или ты совсем онемела?

— Одиннадцать,— выдавливает из себя Мен Хи.

— Ну вот, умница, распишись вот здесь... Ах, ты неграмотна? Очень хорошо. Обмакни палец в мастику, вот сюда. А теперь приложи его к бумаге, вот здесь. Это ты расписалась, что тебе одиннадцать лет, не забывай об этом. И не думай больше никого обманывать... У тебя есть деньги на проезд по железной дороге? Нет? Очень хорошо. Тогда приложи еще сюда палец. Потом у тебя удержат стоимость билета. А еда у тебя есть с собой? Нет? Очень хорошо здесь поставь отпечаток. Тебя всем обеспечат, тебе все дадут в долг: и еду и проездной билет. Теперь можешь идти. Тебе объяснят, что делать дальше.

— Следующая... Сколько лет? Четырнадцать? Чепуха, тебе только десять... Обмакни в мастику палец, приложи в этом месте.

— Следующая... Сколько лет? Семнадцать? Нехорошо обманывать, за это дракон накажет. Ты же знаешь, тебе только двенадцать... Обмакни палец...

ЧЕЛОВЕК № 726

Первую партию завербованных девочек, в которой была и Мен Хи, отправили на вокзал рано утром в сопровождении вербовщика Мацуки.

Мен Хи никогда не видела железной дороги. Она пришла сюда как в забытьи и теперь стояла, ни на что не обращая внимания. Потом ее втолкнули в вагон, поезд тронулся, в окне замелькали станционные постройки, семафоры, и вдруг стало совсем темно.

Мен Хи ничего не могла понять. Страшный грохот и тряска напугали ее. Появился едкий запах угольной гари, затруднявший дыхание, вызывавший резь в глазах.

Так впервые Мен Хи ехала через тоннель, через один из сотен тоннелей, пробитых в горах строителями железных дорог Кореи.

Наконец снова появился свет. Поезд тяжело взбирался на гору, потом стремительно понесся под уклон и, словно в ловушку, опять влетел в тоннель. Вырвавшись на волю, он загромыхал по длинному, узкому, без перил мосту, высоко взметнувшемуся над рекой.

Мен Хи посмотрела в окно, и ей стало страшно. Самого моста она не видела, а где-то далеко-далеко внизу пенились воды широкой быстрой реки. Казалось, будто поезд летит по воздуху.

Броситься бы туда, на эти валуны, в эти бурные воды. Страшно! Но поезд уже миновал мост, и видно, как рельсы поворачивают вправо и бесконечными нитями убегают вдаль.

За окном проходят чередой долины, сплошь в зелени рисовых полей, огородов, фруктовых садов, мелькают тутовые и каштановые рощи, словно выбегают навстречу поезду прижавшиеся друг к другу хижины со старыми соломенными крышами. А вокруг горы, горы, горы. И как только петляет поезд меж этих гор? Он едва успевает выбраться на ровное место, и снова они окружают его со всех сторон.

Поезд пришел в Сеул на рассвете.

Сбившись кучкой, настороженно осматриваясь, словно стадо гусей, попавших в незнакомое место, девочки пошли за Мацуки. Шли долго по узким, кривым улицам и переулкам и достигли фабрики, когда солнце поднялось уже высоко.

Это была совсем старая фабрика: несколько узких и длинных деревянных бараков, покосившихся и закопченных, окруженных высоким забором. Под огромным навесом лежали тюки пеньки.

Рабочие сновали по двору, таскали пеньку в цехи, поминутно открывали ворота, чтобы пропустить подводы или грузовые машины.

Почти у самых ворот стояло небольшое здание из красного кирпича. Сюда и повели девочек.

Началась перекличка. Мацуки выкликал девочек, и они отходили в сторону, а конторский чиновник следил по своему списку и ставил черточку возле очередной фамилии.

Когда проверка была закончена, конторщик вернулся за стеклянную перегородку и вызвал к себе первую, стоявшую в списке. Остальные начали тихо перешептываться.

Мен Хи только теперь хорошо разглядела соседок. Пуг-

ливые, робкие, как она сама, с заплаканными глазами. Потом она услышала свое имя и пошла за перегородку.

Конторщик сидел на высоком стуле, поджав под себя ноги.

— Фамилия? Сколько лет?.. Что? Тринадцать? Тут написано одиннадцать!

— Ой, да, одиннадцать...

— С первого слова начинаешь обманывать! Берегись!

Конторщик принялся заполнять расчетную книжку. Он долго писал, что-то подсчитывал, вычислял и, наконец, велел Мен Хи сделать на последней страничке оттиск пальца. Потом взял книжку и пошел в соседнюю комнату.

Через минуту опять появился в дверях и позвал Мен Хи. В углу комнаты на циновке она увидела корейца. Лицо у него было густо усеяно следами оспы. В руках он держал ее расчетную книжку.

— Тц-тц-тц, какая ты,— укоризненно причмокивал он, качая головой.— Тц-тц-тц, еще совсем не работала, еще никакого заработка нет, а сколько денег на тебя уже потратили. Ой-ой-ой! За проезд в поезде, за питание в дороге, за перевозку вещей от вокзала до фабрики...

— У меня нет вещей! — удивленно сказала Мен Хи.

— Да, да, да,— улыбнулся он,— тут все записано, ты еще ничего не заработала, а вон сколько тебе уже выдано: на общежитие, на столовую, за тебя уже внесли на процветание великой империи Ниппон. Видишь, как о тебе заботятся. Я сам, можно сказать, рабочий, моих капиталов вложено в фабрику очень мало. Поэтому я забочусь о вас больше, чем о благополучии фабрики. Ты будешь всем обеспечена. Цени это. От тебя требуется только одно: работай и ни о чем не думай.

Улыбка исчезла с его лица.

— А теперь иди,— сказал он, помолчав.— Вот твоя расчетная книжка, по ней ты будешь получать боны за работу. На боны можно питаться в нашей столовой и покупать все, что хочешь, в нашем магазине. Видишь, как о вас заботятся! Вот твой номер — семьсот двадцать шесть. Запомни его хорошенько. Тебя теперь будут называть по номеру. И боны выдают по номеру. Тебе покажут машину, на которой ты будешь работать, на ней этот же номер. И на циновке для сна — тоже. Это очень удобно — иметь номер. Ты все поняла? Я вижу, ты девочка смышленая. Ты мне нравишься, я еще вызову тебя... Ну, а теперь ступай. Тебя отведут в общежитие, только хорошенько запомни свой номер: семьсот двадцать шесть. И мое имя запомни: меня зовут Пэ Чер Як, понимаешь,— Пэ Чер Як.

Мен Хи привели в барак, длинный и полутемный, как тоннель. И воздух такой же тяжелый, как в тоннеле. Два бесконечных ряда циновок. Все они заняты, на них спят женщины. Циновки примыкают одна к другой, и получаются две сплошные постели вдоль стен на сотни человек. Одна справа, другая слева, а между ними, по центру барака, узкий проход. Одежда лежит в головах. Тут же в котомках вещи.

— Вот твое место,— сказал провожатый, ткнув пальцем в направлении одной из циновок.

— Да ведь тут спит кто-то! — удивилась Мен Хи.

Провожатый с интересом и недоумением посмотрел на нее.

— Откуда ты взялась такая принцесса? Тебе, что же, прикажешь отдельную циновку подать? А может быть, и комнату предоставить? — Он злорадно рассмеялся, глядя на растерявшуюся Мен Хи, и продолжал: — Ну, вот что, хватит тут прохлаждаться, тебе пора в цех. Фабрика работает круглые сутки. Когда кончится смена, циновка будет свободна. На ней сейчас спит твоя сменщица...

Они пересекли двор и вошли в цех. В лицо пахнуло едким смрадом. Низко свисавшие электрические лампочки светились как в тумане. Свет с трудом пробивался сквозь пыльный воздух, и в его тусклых лучах медленно плыли мельчайшие хлопья пеньки. Хлопья, как мох, облепили провода, стропила, стены. Когда открывалась дверь, свежая струя воздуха взметала хлопья, они начинали кружиться, а потом снова медленно оседали. Маленькие оконца были почти не проницаемы для света. Толстый слой грязи затвердел на рамах и на стеклах.

Вдоль цеха в четыре ряда стояли разрыхлительные и чесальные машины. Возле них возились женщины и дети. Сначала все они показались Мен Хи одинаковыми: сгорбленные, костлявые фигуры, чахоточный блеск в глазах, пересохшие губы. Многие были голыми до пояса. На их мокрые тела тоже оседали мелкие хлопья пеньки и прилипали к коже, а струйки пота пробивали себе сквозь них дорожки.

Длинный ряд машин был специально приспособлен для подростков. Рахитичные девочки с лицами, сморщенными и серьезными, походили на маленьких старушек. Они стояли на высоких деревянных подмостках, вроде ящиков, без которых им не дотянуться до машины.

— Ну, насмотрелась? — произнес кто-то за спиной у Мен Хи.

Это был японец-надсмотрщик.

— Иди за мной,— приказал он и двинулся в глубь цеха. Японец подвел ее к старой женщине, возившейся у машины, и, бросив лишь одно слово: «Новенькая», ушел.

Старуха посмотрела на Мен Хи долгим, внимательным взглядом, в котором можно было уловить жалость.

— Меня зовут Мин Сун Ен,— сказала она.— Сейчас начнет работать твоя смена, и я покажу тебе, что надо делать. Ты повесила номер?

— Нет.

— Иди повесь, а то не засчитают рабочий день.

Перед началом смены двери в цех почти не закрывались. Девочки, женщины, старухи входили поодиночке, парами и целыми группами. Они вешали свои номера на доску и растекались по цеху. Мен Хи стояла у доски, не зная, куда следует повесить номер, пока ей не помогли.

— Перед началом каждой смены работницы произносят клятву на вечную верность японскому императору,— сказала Мин Сун Ен, когда вернулась Мен Хи,— так ты стой ровно и повторяй за надсмотрщиком все слова.

Не успела Мен Хи спросить, что это значит, как раздался дребезжащий звук колокола — и работницы второй смены сгрудились у табельной доски. Мин Сун Ен подтолкнула Мен Хи, и та быстро присоединилась к стоявшим женщинам. Она старательно повторяла слова надсмотрщика, пока не кончилась клятва. И снова раздался звон колокола. Все поспешили к своим машинам. Мен Хи поняла, что это конец одной смены и начало другой. Но работа не останавливалась. Работницы сменялись, на ходу сдавая и принимая машины.

Мин Сун Ен медленно разогнула спину и подозвала Мен Хи поближе:

— Ты будешь работать вот на этой машине. Дело несложное, но сначала будет трудно выстаивать по двенадцать часов подряд. Потом, конечно, привыкнешь... Только ненадолго,— сокрушенно покачала она головой.— Долго дети здесь не выживают. Поэтому, если тебе есть куда уйти, лучше уходи сразу.

— Нет, я буду работать, я могу много работать.

Мен Хи внимательно следила за действиями своей наставницы. Деревянный вращающийся барабан утыкан лезвиями ножей. Перед барабаном — стол. Женщина отделила от большого спрессованного тюка слой пеньки и положила его на стол, а потом стала медленно пододвигать к ножам. Ножи разрыхляли туго спрессованную пеньку, и от нее поднимались густые клубы пыли.

— Вот и все, что тебе надо делать,— сказала старуха.— Когда этот слой разрыхлится, он пойдет на чесальную машину, видишь, вон она стоит. Вместо ножей на ней иглы. А ты возьмешь из тюка новый слой. Двадцать тюков тебе подадут

за смену, и все их надо разрыхлить, иначе будут удерживать из жалованья, а его тебе и без того не хватит... Ну, берись за дело, внучка,— сказала на прощание Мин Сун Ен и ушла, оставив Мен Хи одну у вертящегося барабана.

Вначале Мен Хи поминутно отворачивалась и старалась отогнать пыль рукой. Но это только замедляло работу, а пыль все равно проникала в рот и в нос.

Она проработала несколько часов и начала злиться на себя: все спокойно трудятся, даже дети, а она, словно помещичья дочка, уже задыхается от пыли и жары. Нет, она привыкла к труду, она даже виду не подаст, что болит согнутая спина, что силы покидают ее. Она никакого внимания не будет обращать на эти хлопья и перестанет поминутно вытирать лицо. Не такое уж это нежное лицо, чтобы его оберегать. А то, что пыль в нос набивается,— пусть, другие ведь спокойно к этому относятся.

В самом деле, работала же она у Ли Ду Хана. Там, правда, легче дышалось и обязанности были разные, а тут все одно и то же. Стой, согнувшись, задыхаясь от пыли, и беспрерывно, без конца подсовывай пеньку под этот проклятый барабан. А руки уже немеют, и почему-то кружится, как этот барабан, голова. И в глазах зеленые и красные круги.

Откуда взялись эти круги? Они выскакивают издалека, маленькие, как мячики, и несутся на нее с огромной скоростью, все увеличиваясь, пока не превращаются в сплошное огромное пятно. И тут же новые мячики вылетают из дальнего конца цеха и тоже устремляются к ней. Они летят быстрее первых, их еще больше, они расплываются, заволакивают все вокруг...

Удар по спине был таким неожиданным и сильным, что Мен Хи в первое мгновение даже не поняла, что произошло. Может быть, она попала под барабан?

— Зевать сюда пришла, дармоедка! — услышала она окрик.

Это, оказывается, японец-надсмотрщик. А ведь она действительно стоит и не работает. Но это же не нарочно! Это случайно так вышло, она даже не знает, когда она прекратила работу.

Мен Хи лихорадочно хватает пеньку и сует ее под ножи. И снова все кружится, как этот барабан. Да нет же, барабан спокойно стоит на месте, а она сама вращается вокруг него, и ножи тоже вращаются, только в обратную сторону, и все время норовят ударить ее по рукам.

...Звон колокола не дошел до сознания Мен Хи. Но барабан остановился. И ножи замерли. А она сама продолжает вертеться. Какая странная наступила тишина!

за смену, и все их надо разрыхлить, иначе будут удерживать из жалованья, а его тебе и без того не хватит... Ну, берись за дело, внучка,— сказала на прощание Мин Сун Ен и ушла, оставив Мен Хи одну у вертящегося барабана.

Вначале Мен Хи поминутно отворачивалась и старалась отогнать пыль рукой. Но это только замедляло работу, а пыль все равно проникала в рот и в нос.

Она проработала несколько часов и начала злиться на себя: все спокойно трудятся, даже дети, а она, словно помещичья дочка, уже задыхается от пыли и жары. Нет, она привыкла к труду, она даже виду не подаст, что болит согнутая спина, что силы покидают ее. Она никакого внимания не будет обращать на эти хлопья и перестанет поминутно вытирать лицо. Не такое уж это нежное лицо, чтобы его оберегать. А то, что пыль в нос набивается,— пусть, другие ведь спокойно к этому относятся.

В самом деле, работала же она у Ли Ду Хана. Там, правда, легче дышалось и обязанности были разные, а тут все одно и то же. Стой, согнувшись, задыхаясь от пыли, и беспрерывно, без конца подсовывай пеньку под этот проклятый барабан. А руки уже немеют, и почему-то кружится, как этот барабан, голова. И в глазах зеленые и красные круги.

Откуда взялись эти круги? Они выскакивают издалека, маленькие, как мячики, и несутся на нее с огромной скоростью, все увеличиваясь, пока не превращаются в сплошное огромное пятно. И тут же новые мячики вылетают из дальнего конца цеха и тоже устремляются к ней. Они летят быстрее первых, их еще больше, они расплываются, заволакивают все вокруг...

Удар по спине был таким неожиданным и сильным, что Мен Хи в первое мгновение даже не поняла, что произошло. Может быть, она попала под барабан?

— Зевать сюда пришла, дармоедка! — услышала она окрик.

Это, оказывается, японец-надсмотрщик. А ведь она действительно стоит и не работает. Но это же не нарочно! Это случайно так вышло, она даже не знает, когда она прекратила работу.

Мен Хи лихорадочно хватает пеньку и сует ее под ножи. И снова все кружится, как этот барабан. Да нет же, барабан спокойно стоит на месте, а она сама вращается вокруг него, и ножи тоже вращаются, только в обратную сторону, и все время норовят ударить ее по рукам.

...Звон колокола не дошел до сознания Мен Хи. Но барабан остановился. И ножи замерли. А она сама продолжает вертеться. Какая странная наступила тишина!

— Обед, пойдем,— услышала Мен Хи и, обернувшись, увидела рядом Мин Сун Ен, отряхивавшую с себя пыль.

Мен Хи безучастно посмотрела на ее пергаментное лицо.

— Пойдем, я покажу тебе столовую,— сказала женщина, вытирая тряпочкой лоб.

Мен Хи стала приводить себя в порядок.

— Снимай жетон, по нему чумизу дадут.

— Вы меня не ждите, я знаю, где столовая,— сказала Мен Хи, боясь, что не сразу найдет свой номер и задержит добрую старуху.

Она и в самом деле долго провозилась у табельной доски. У нее рябило в глазах и дрожали ноги. Хватаясь за машины и столбы, подпиравшие потолок, потащилась к двери.

Только бы не выдать себя, только бы не обнаружить свою слабость. Ведь у всех одинаковая работа, а она одна так утомилась. Что подумают соседки? Скажут, притворяется, чтобы пожалели. А ей совсем не хочется вызывать к себе жалость.

Когда мимо проходили работницы, она останавливалась и старалась сделать безразличное лицо, будто ничего не случилось, просто ей захотелось на минутку остановиться. А если проходившие оглядывали ее, она даже улыбалась. Пусть знают, что она совсем не устала и поясница у нее не болит, иначе она не могла бы держаться так прямо.

Выйдя во двор, Мен Хи прислонилась к стене цеха, и хотя ей казалось, что она крепко уперлась ногами, тело ее медленно сползло на землю. Но тут ей сразу стало легче. Должно быть, свежий воздух подействовал.

— Почему обедать не идешь? — услышала она чей-то голос.

Мен Хи обернулась. Перед ней снова стояла Мин Сун Ен.

— Скоро перерыв кончится,— продолжала женщина,— тогда допоздна не получишь своей чашки чумизы. А на боны нигде ничего не купишь, кроме как в столовой.

— Я не хочу есть,— устало ответила Мен Хи.

— Не хочешь? — переспросила Мин Сун Ен.— Это тебе только кажется так.

Она взяла Мен Хи за руку и тихо сказала:

— Идем!

И Мен Хи пошла за ней доверчиво, не раздумывая, не возражая.

По дороге Мин Сун Ен расспрашивала, кто она, откуда приехала, как попала на фабрику. Мен Хи отвечала неохотно, и хотя из ее ответов женщина мало что поняла, не стала больше задавать вопросов.

— А вот и столовая,— сказала Мин, когда они подошли к одному из бараков.— Ты, наверно, ошиблась, будто не хочешь есть, есть надо обязательно.— И она открыла дверь.

Четыре длинных и узких в одну доску стола, как дорожки, уходили в глубь барака. Они были похожи на скамейки, врытые в землю на столбиках, едва достигавших колена. По обеим сторонам расположенных близко друг к другу столов на полу тесно сидели работницы: плечо к плечу, спина к спине.

Вдоль стены — несколько окошек. Здесь выдается пища. Очереди у окошек не было, уже вся смена сидела за едой.

Мин Сун Ен объяснила, как получить обед, и ушла.

Мен Хи взяла со стола пустую миску, из которой кто-то уже ел, оторвала из книжечки бон одну марку и подала в окошко.

Женщина в засаленном, грязном халате со слезящимися глазами и усталым лицом, не сполоснув миску, положила туда большую ложку черной разваренной чумизы и посыпала ее сверху крохотными, пересохшими рыбками.

Мен Хи отыскала свободное место, втиснулась между женщинами, взяла со стола палочки, которыми тоже кто-то уже пользовался, и принялась за еду.

Едва она успела доесть чумизу, как раздался звон колокола — конец обеденного перерыва.

И снова вертелся барабан, мелькали ножи, липли к глазам мелкие хлопья...

Мен Хи стояла, наклонившись над барабаном, и усердно разрыхляла пеньку. Теперь-то уж она выдержит до звонка. Должна же наконец привыкнуть ее изнеженная спина к согнутому положению. Пусть болит поясница — привыкнет, и все пройдет.

И опять она прозевала ту минуту, когда спина сама разогнулась. А надсмотрщик не прозевал. Наверно, он стоял все время позади и только и ждал, чтобы она опустила руки. Хотя нет, удары его бамбуковой палки поминутно раздаются во всех концах цеха. Просто у него такое тигриное чутье: он заранее может определить, кто сейчас сделает передышку, и издали крадется к намеченной жертве, чтобы полоснуть ее своей палкой.

Бьет он сильно, но с разбором. Бьет по спине, по голове, по ногам, а вот рук не трогает: руки нужны для работы.

Наконец наступила смена, и Мен Хи направилась в общежитие. Она еще могла двигаться, хотя не так бодро, как до обеда. По двору пришлось ковылять, держась за стену. Теперь Мен Хи не пряталась: было совсем темно, и, значит, никому не видно, как она идет.

Циновка действительно оказалась свободной, и Мен Хи нашла ее легко, потому что как раз над этим местом горела лампочка.

Мен Хи легла не очень удобно. Но устроиться как следует не успела: заснула.

Когда ее разбудили, она лежала все в той же неудобной позе. Было светло. Ясно, что настало утро. Это Мен Хи поняла сразу. Почему же она не может встать?

Но она встала. Лежать и нежиться ей никто не позволит. Впереди долгий рабочий день, и нельзя обращать внимание на то, что тело болит.

Мен Хи твердо решила не поддаваться усталости. Оно все время болит, это хилое тело, но двигаться все-таки может. А думать о том, где и что болит,— занятие для помещичьих дочек и лентяек.

Она пошла в цех и снова повторяла за надсмотрщиком слова клятвы вечной верности японскому императору, а потом встала к барабану.

И за время до обеда она только один раз разогнула спину, и только один раз ее ударил надсмотрщик. Перед самым перерывом она работала очень усердно, особенно когда увидела, что надсмотрщик идет к ней. Но он ее не ударил, а тихо сказал:

— Семьсот двадцать шесть, тебя вызывают в контору. Сейчас вызывают, бросай работу и иди.

Сначала Мен Хи решила, что ее обманывают: она бросит работу, а он за это начнет бить ее палкой. И она стала еще быстрее подсовывать пеньку в ножи. Но надсмотрщик повторил свое приказание и сказал, что вызывает ее Пэ Чер Як. Тогда она разогнула спину и пошла.

Пэ Чер Як поднялся ей навстречу, широко улыбаясь.

— Ну, как ты устроилась на новом месте? — спросил он ласково.— Не трудно ли тебе работать, не обижает ли тебя кто-нибудь?

Мен Хи обернулась: может быть, это он не ей говорит? Но в комнате никого больше не было.

— Вы, наверно, ошиблись,— несмело сказала она.— Я Пак Мен Хи, я работаю на разрыхлительной машине.

— Да, да, я знаю,— снова широко улыбнулся Пэ Чер Як,— я забочусь о рабочих, и особенно о таких, как ты, поэтому спрашиваю, как ты себя чувствуешь.

«Что это значит «таких, как ты»,— подумала Мен Хи.— Или он считает, что я не могу работать?»

— Мне нетрудно,— начала она оправдываться,— обо мне не надо заботиться больше, чем о других.

— Как не надо? — удивился Пэ Чер Як.— Ведь ты сирота? Ты действительно сирота? Отвечай, что же ты молчишь.

— Да.

— И никаких родственников у тебя в Сеуле нет?

— Нет.

— И знакомых нет?

— Нет.

— Очень хорошо! То есть это очень плохо для тебя. Вот поэтому я должен о тебе позаботиться.

Он молча походил по комнате. Потом близко подошел к Мен Хи.

— Ты дала клятву на вечную верность японской империи?

— Да!

— Запомни слова, которые ты произносила! Если ты нарушишь эту клятву,— он скрестил руки на груди и молитвенно поднял глаза,— великая кара падет на твою голову.

Лицо его стало суровым.

— Работай и повинуйся. Ни с кем пока не заводи дружбы, никому не доверяй, никого не слушай, никуда не ходи. Время теперь напряженное, идет война, и болтунов развелось очень много. Никто из них добром не кончает. Все, что услышишь, рассказывай мне. Я буду о тебе заботиться, ведь ты сирота. Рассказывай мне все, что увидишь, что долетит до твоего уха, даже то, что покажется неинтересным. Сообщай мне все, что делается вокруг. Я сам укажу тебе, с кем дружить. Тебе будет хорошо. Если сможешь точно выполнять все мои распоряжения, я прибавлю тебе жалованья. Только ни о чем не думай, я сам буду говорить, что тебе надо делать. И никому не передавай моих слов.

Мен Хи слушала и никак не могла понять, чего он хочет. Конечно, она будет делать все, что от нее требуют.

Часть вторая

●

ПОТ И СЛЕЗЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЙ ВКУС

В послеобеденный час жизнь центральной сеульской гостиницы «Чосон-отель» замирает. Тихо и пусто в огромном вестибюле. И даже мозаичные драконы, распростершиеся на полу, так лениво раскрыли пасти, будто зевают.

У стены неподвижно стоят шесть одинаковых мальчиков с серьезными лицами. На них все белое: накрахмаленные кителя с ярко начищенными медными пуговицами, белые перчатки, белые жокейские шапочки, и кажется, будто это игрушечные солдатики.

Они смотрят на широкую мраморную лестницу, устланную ярким ковром, по которой спускается человек. Это Чо Ден Ок. Он идет медленно и важно, не вертя головой, что дается ему не без труда.

Он не держится за перила, а идет по центру ковра, подняв голову и расправив узкие плечи. И голова и корпус неподвижны, будто выточены из одного бревна, а ноги он поднимает непомерно высоко. Вся фигура Чо кажется мальчикам смешной, но они не засмеются, даже улыбка не промелькнет на их лицах: за подобный проступок немедленно выгонят с работы, а такое хорошее место получить нелегко.

Ведь не так уж дорого они платят хозяину за это выгодное место.

Каждые десять дней после уплаты в кассу гостиницы установленной суммы им кое-что остается и для себя, потому что тут бывают щедрые клиенты. Редкий месяц чаевых не хватает, чтобы расплатиться с хозяином.

Сойдя вниз, Чо Ден Ок поднимает руку:

— Вещи!

Три мальчика бросаются вверх по лестнице, и в ту же минуту из-за портьеры выскакивают три такие же фигурки и занимают места убежавших.

Швейцар распахивает перед важным клиентом массивную дверь, но Чо Ден Ок вдруг останавливается, морщит лоб, как бы что-то вспоминая.

Даже сейчас, в минуту своего безмерного торжества, когда мечты уже унесли его далеко от этой гостиницы, он не может удержаться, чтобы не показать свою власть над другими: пусть швейцар стоит и держит дверь, пусть склонившись, ждет, пока он не проследует мимо. Этот ничтожный служака должен чувствовать, что перед ним важная персона.

Не всех корейцев пускают в «Чосон-отель». Здесь может остановиться крупный помещик в широких штанах и халате с двумя лентами. Чо Ден Ок больше, чем помещик, это должны видеть все. На нем узкая тужурка цвета хаки, с тугим стоячим воротником. Сейчас идет война, и все государственные люди ходят в полувоенной форме. Он согласился терпеть и неудобства номера в верхней части гостиницы, где в комнате ходят, как по улице, не снимая обуви, а номер загроможден столом, стульями, шкафом и кроватью. Эта мебель все время стоит в комнате, будто на складе, и ее не убирают целый день, даже когда в ней нет надобности, и картины постоянно висят на стенах, собирая пыль. По коридору верхнего этажа надо ходить с опаской, чтобы не ударили внезапно распахнутой дверью.

А ведь он вполне мог взять номер внизу, где так же, как и в его собственном доме, легкий столик достают из стенного шкафа, когда он действительно нужен, и подушки берут из закрытой ниши, когда хочется сесть, а тонкий тюфяк спрятан там до вечера, потому что днем он зря занимал бы место на полу, а длинные картины-свитки вывешиваются на стенах перед приходом гостей, и двери раздвигаются, а не распахиваются.

Он мог бы наслаждаться такой просторной, незагроможденной комнатой и ходить в полотняных носках по нагре-

тому полу и вдыхать запах цветов сакуры — священной японской вишни,— заглядывающей в окно.

Он решил терпеть все неудобства европейского номера, чтобы вызвать к себе особое уважение. Пусть думают, будто он бывал за границей, будто он так долго там жил, что отвык от корейских обычаев. Пусть трепещет перед ним этот швейцар.

Чо Ден Ок видит, что мальчики спустились с лестницы и остановились в ожидании его приказаний. Один из них держит саквояж, другой — зонтик, третий — веер. Пусть и эти ждут.

Он постоял еще немного, повернулся, будто собираясь идти назад, но, услыхав, что дверь закрылась, резко шагнул к выходу. Швейцар схватился за дверь и в последний момент успел снова распахнуть ее перед Чо, но тот зло выругался:

— Спишь, старая свинья! Завтра же вылетишь отсюда!

— Виноват, господин, виноват,— услышал он голос швейцара, но ничего не ответил.

Пусть теперь старик не спит ночь, раздумывая над тем, как найти работу.

Чо вышел из гостиницы, остановился у широкого портала и тихо засмеялся.

Тяжелые мраморные колонны, меж которыми он стоял, и Капитолий с массивным куполом, и восьмиэтажный магазин с рестораном на крыше, и быстро мчащиеся шикарные автомобили, обгоняющие переполненные пассажирские фургоны конки, и бесконечный людской поток — все-все это показалось ему мелким и ничтожным по сравнению с его новым высоким чином и заданием, которое он сегодня получил. Нет, не зря он просидел два года в этом Тэгу.

Он обернулся по сторонам, невидящим взглядом посмотрел на своих юных носильщиков, почти беззвучно, одними губами, сказал: «Рикшу» — и стал медленно спускаться на тротуар.

— Рикша! Рикша! — закричали мальчики.

Из длинного ряда рикш, стоявших у здания, вырвался крайний и подкатил к Чо Ден Оку.

— Назад, не годишься! — недовольно махнул он рукой.

Он не любит велосипедных педалей. Ему не нужен рикша, который сам сидит и только крутит педали, да и педали-то крутит не всю дорогу. Он работает только наполовину. А когда едет с горы, его не отличишь от седока. Он просто сидит и ничего не делает, и ему же еще надо платить деньги.

Нет, на то и рикша, чтобы бежал на собственных ногах чтоб слышно было, как часто хлопают по асфальту босые ноги, чтоб он был там, внизу, и не загораживал улицу своей грязной спиной.

Чо Ден Ок идет вдоль колясок и видит, как следят за ним десятки глаз. Рикши выжидающе смотрят. Они ждут его слова. Каждый надеется, может быть, ему сейчас выпадет счастье везти этого богача.

— А-а, ждете, жадные звери, а он вот не возьмет никого и уйдет!

Сколько здесь рикш?

Чо останавливается и обводит глазами коляски: семь с педалями на трех колесах и девять двухколесных с оглоблями. Шестнадцать. И среди них будет только один счастливый, которого он выберет. Чо стоит и смотрит на них, а шестнадцать пар глаз с надеждой устремились на него.

Они привыкли, что пассажир не ходит по всему ряду, а берет первого от края или второго. Самый разборчивый дальше пятого не пойдет. Они привыкли сидеть и терпеливо ждать своей очереди.

Он отучит их от этой привычки. Он заставит всех сразу подняться и ждать его слова. За свои деньги он может выбирать.

Они уже поняли это, и их глаза устремлены на него. Он видит, как молят эти глаза, по ним можно понять все, что думает рикша.

«Возьмите меня, господин,— говорит взгляд человека со скулами, похожими на камни. Его ноги, словно веревками, переплетены тугими, в узлах, синими жилами.— Возьмите, господин, я бегаю хорошо, видите, какой жилистый, я даже в гору не замедлю бега, возьмите же...»

Чо Ден Ок движется вдоль ровного ряда тонких оглобель. «Садитесь ко мне, я опытный рикша, вы не почувствуете жесткого сиденья моей коляски, я знаю каждую неровность асфальта, вы будете плыть, как по волнам, я не дам другим рикшам обогнать себя...»

А как вот этот смеет просить? Да еще так нагло просит: «Возьмите, возьмите меня, пожалейте моих детей, возьмите, умоляю вас, вы видите, что я уже четыре года в упряжке,— значит, срок мой подошел: ведь рикша больше пяти лет не живет. Я не могу сравняться с товарищами ни силой, ни красотой своей коляски, все уже одряхлело, я просто прошу: сжальтесь, меня никто не берет, хотя знают, что мне можно платить вдвое меньше, чем другим. Ну, сжальтесь же, вот я и коляску уже выдвигаю вперед...»

А этого надо бы арестовать! Как злобно смотрит: «Чего ты тут выбираешь, будто на скотном рынке? Бери первого и езжай, если надо ехать, не мучь людей, собака, а то завезем и сбросим под трамвай, гадина!»

Погоди же, я тебя примечу, ты еще узнаешь, с кем связался, узнаешь, кто такой Чо Ден Ок!

А этот негодяй старается заслонить своим телом покосившуюся, облезшую коляску и выставляет напоказ мускулы: «Что коляска, вы посмотрите, какие у меня мышцы на руках, какие длинные ноги. Я потому и ношу короткие штаны, чтобы вы видели мои упругие угловатые икры и ляжки. Я работаю только первый год, у меня еще много сил, что же вы проходите мимо?..»

Нет, здесь собрались одни жулики. Этот вот норовит сам спрятаться и выставляет вперед свою коляску: «Разве вы не видите, что это лучшая из двухсот колясок, которые сдает в аренду господин Ятара Симосидзу? Разве вы не знаете, что ее посылают только по вызовам высокопоставленных лиц? Мне запрещено ездить по грязным улицам, мои стоянки только у крупнейших гостиниц, возле банков и иностранных компаний».

Чо долго смотрит на коляску. Тонкие, покрытые черным лаком бамбуковые оглобли, блестящие спицы высоких ажурных колес на дутых шинах, упругие рессоры, сафьяновый откидывающийся верх на никелированном каркасе, автомобильный рожок у оглобли, два сверкающих медных фонаря.

Чо Ден Ок проходит мимо. Шестнадцать пар глаз смотрят на него и ждут. Пусть надеются, собаки, а он пойдет пешком, а за ним понесут саквояж, и зонтик, и веер, а рикши будут смотреть вслед и жалеть, что упустили такого выгодного пассажира...

Нет, так он сделает в следующий раз, а сейчас он поедет. Он поднимает палец, и шестнадцать рикш настораживаются. Чо Ден Ок стоит впереди колясок, как командир. Взгляд снова плывет по всему ряду.

И вот, наконец, палец направился на коляску, на самую красивую из ряда. Рикша мгновенно подкатывает к Чо. Остальные угрюмо присаживаются на корточки. Чо становится на ступеньку, поднимается в коляску и разваливается на мягком сиденье. У его ног мальчики складывают вещи и низко кланяются. Сейчас им дадут мелкую монету. Но Чо не намерен платить троим. Все они жулики. Вот если бы один снес его вещи, можно было бы заплатить.

— Центральный вокзал! — приказывает он, и коляска срывается с места.

Рикша бежит по асфальту близ трамвайной линии и сигналит прохожим. Сигнал тонкий, жалобный: ти-ти-ти!

Плавно покачивается коляска. Чо Ден Ок растягивает рукой воротник. И кто придумал этот ошейник? Пытка какая-то! Но надо привыкнуть. Он теперь не может надевать халат, он будет встречаться с высокопоставленными лицами. Уже в Тэгу он начал носить костюм вместо халата. В Пусане, куда он едет с ответственным заданием, он даст понять, будто он столичный чиновник или даже человек, вернувшийся из-за границы.

Пусан. Крупнейший порт страны. Главная военная база Японии на полуострове. Центральные склады Восточно-колониальной компании. Судоверфи, заводы, фабрики, рыбокоптильни... Грузооборот — три миллиона тонн. Через Пусан идет все оружие к русской границе. В Пусане стоят эскадры, громившие Пирл-Харбор и Сингапур.

Ти-ти-ти!

Рикша бежит быстро, но его то и дело обгоняют автомобили. Звуки писклявого рожка тонут в шуме их назойливых сирен.

Ничего, придет время, он еще и в машине поездит. Пусть пока обгоняют. Чо уже сам многих обогнал, а он еще только набирается сил, еще вся карьера впереди. Пусть быстрее бежит рикша. Вернувшись из Пусана, он купит себе такую же коляску, и у него будет собственный выезд, собственный рикша.

Чо Ден Ок слышит звонки трамвая. Ну, этого он не допустит.

— Быстрее! — тычет он зонтиком в спину рикши.— Быстрее, чтобы трамвай не обогнал.

Рикша не может быстрее. Он проскакал не меньше десяти кварталов, ни на минуту не замедлив бега. Он обогнал восемь рикш, а ведь и они были с пассажирами, они тоже бежали изо всех сил.

— Скорей, скотина, скорей, трамвай уже совсем близко! — И снова зонтик сверлит спину.

Рикша хочет бежать быстрее. Ноги еще вполне выдержат, но совсем нечем дышать. Рот открыт, потому что мало воздуха. Он дышит часто, но все равно задыхается. Быстрее, быстрее, до трамвайной остановки не больше ста шагов, надо сделать рывок, пот можно и после вытереть. Рубаха прилипла к телу, от этого стало еще тяжелее. Все тело мокрое, и только во рту сухая корка и сухой, шершавый язык. Быстрее, быстрее, воздух свистит в горле. Нет, он не упадет, это только на мгновение все потемнело, это просто капли по-

та заволакивают свет, режут глаза. Быстрее, осталось всего пятьдесят шагов, надо не дать трамваю обогнать себя, тогда пассажир хорошо заплатит.

Сегодня рикша не собрал еще суммы, которую должен привезти хозяину за коляску. Он твердо решил: если заработает эту сумму и еще пятьдесят чжен, которые отложит для семьи, то из следующих денег первые пять чжен пойдут на батат — сладкую картошку, чтобы подкрепить свои силы. А до этого он не может истратить ни одного пхуна.

Зато теперь ему повезло. Этот богач выбрал его из всего ряда. Он щедро заплатит. Тогда можно будет остановиться у железной печи первого же уличного торговца бататом и выбрать самую большую картофелину. Он остудит ее, перебрасывая из руки в руку и обдувая со всех сторон. Потом очистит теплую кожуру и съест батат, так похожий по вкусу на жареные каштаны, и это даст ему новые силы. Надо только сделать последний рывок, чтобы уйти от этого проклятого трамвая...

Но грохот колес уже совсем близко, уже ступеньки поравнялись с коляской. Всем корпусом подается рикша вперед. Голова и грудь еще впереди трамвая. Он бежит первым...

— Грязная свинья, жулик! — кричит Чо Ден Ок и бьет рикшу, не жалея зонтика, по плечам, по голове.

Вагоновожатый видит озлобленное лицо пассажира и испуганные глаза рикши и резко нажимает тормозную педаль. Он видит, как, оборачиваясь и кивая, удаляется загнанный рикша, как благодарят глаза этого человека в оглоблях.

У вокзала Чо Ден Ок сошел и бросил к ногам рикши монету. Тот поднял ее и посмотрел на пассажира. Произошла ошибка... Одни платят меньше, другие больше, но так мало никто не платит. Ведь надо оправдать аренду красивой коляски. Она всем нравится, поэтому он не задерживается на стоянках. Но за коляску надо много платить. Он целый день бегает почти без отдыха. Он так быстро довез пассажира! Но носильщик уже подхватил вещи и идет к центральному входу.

Рикша, оставив коляску, бежит, кланяясь почти до земли.

— Господин, господин, вы, наверно, ошиблись, посмотрите, какая это монета.

— Жулик! — кричит вдруг Чо Ден Ок, оборачиваясь.— Ты думаешь, я не видел, как затормозил вожатый? Обманом живешь, подлец!

Ничего больше не получит рикша. Он стоит и смотрит на

монету в раскрытой ладони. Он не пойдет к горячей печи продавца бататов.

Он стоит, согнувшись, и растерянно смотрит на ладонь, а капли пота падают на асфальт. И сам он, облизывая губы, не догадывается, что это слезы, потому что и они такие же горько-соленые, как пот.

Но вот раздается окрик:

— Рикша!

И, будто обожженный ударом бича, бросается он к коляске, к лучшей сафьяновой коляске из парка господина Ятара Симосидзу.

— Прошу, господин,— улыбается он,— прошу.

— «Чосон-отель».

ПОЕЗДА В ГОРАХ

Сен Дин доказал свою преданность стране богини Аматерасу. Поэтому его взяли в армию. Не в дорожный или строительный батальон, куда мог попасть любой бродяга, а в одно из подразделений великой Квантунской армии. Он был горд доверием, низко кланяясь, благодарил начальника, но высказал сомнение, достоин ли он такой чести и такого почета. Возможно, другие корейцы и заслужили это счастье умереть за божественного императора и получить на небе бессмертие, а он ничего знаменитого еще не сделал, и уж лучше ему пока остаться на шахте.

Слова Сен Дина еще больше убедили начальника в правильности решения предоставить возможность этому корейцу добровольно пойти в армию. Так он и сказал Сен Дину.

Вместе с группой корейцев, так же как и он доказавших свою преданность японскому императору, Сен Дина привезли ночью в Маньчжурию, на границу с Россией. В столовой, похожей на сарай, скрытый в лощине, их наскоро покормили и куда-то повели. Проводник велел всем двигаться гуськом, плотно друг к другу, и не разговаривать.

Сен Дин озирался по сторонам. Было темно и тихо. Скалистые вершины гор упирались в небо. Со всех сторон высились черные бесформенные громады. Было похоже, что вокруг никого нет, кроме нескольких корейцев, неуверенно шедших за проводником по узкой тропке.

Луна выбралась из-за облаков, и Сен Дин заметил черный силуэт человека, притаившегося за тощим деревцом. Из-за спины выглядывал широкий, тоже черный штык. И горы, и деревца, и плоская, как тень, фигурка со штыком были не

похожи на настоящие. Все это напоминало рисунок, сделанный маленьким мальчиком или девочкой. Потом снова стало темно, фигурка исчезла.

Сен Дин шел, стараясь не потерять идущего впереди. Откуда-то, будто из скалы, вырвалось слово, которого он не разобрал, и в ту же секунду послышался торопливый ответ проводника: «Фудзияма». И опять все стихло.

По ступенькам на ощупь спустились в землянку. Когда закрылась дверь, вспыхнула крошечная электрическая лампочка. Люди еще стояли озираясь, а Сен Дин уже смекнул, что самый удобный топчан — у стены справа, и занял его. По приказанию проводника начали быстро размещаться и укладываться. Вскоре проводник погасил свет и ушел. От сильной усталости все сразу же заснули.

Сен Дин не спал. Он был возбужден и удивлялся этим бесчувственным людям, которым, наверно, все равно как и где спать. Конечно, надо было и ему сразу же заснуть, ведь глаза совсем слипались, но он прозевал этот момент, и, чем больше проходило времени, тем дальше бежал от него сон. Он громко возился на своем топчане, кашлял, стараясь разбудить кого-нибудь, чтобы обмолвиться хоть парой слов. Никто не просыпался и не храпел. Было тихо, точно все вымерли.

Когда снаружи доносился неясный шорох, он настораживался. Уж лучше было бы тихо. Он лежал и прислушивался, ожидая чего-то. Потом повернулся лицом к стене, твердо решив уснуть. Через несколько секунд резко обернулся: сквозь маленькое окошко кто-то направил тусклый луч, осветивший противоположную стену. Осторожно свет начал передвигаться, освещая спящих людей. Значит, снаружи высматривали, что делается в землянке. Возможно, это русские.

Полоса света ширилась, задерживаясь у каждого топчана. Кого-то искали и не могли найти. Уже осмотрели всех спящих, кроме него. Свет подкрадывался ближе, осторожно коснулся ног Сен Дина и пополз по телу. Сен Дин прижался к стене и зажмурил глаза. Он почувствовал, как осветили его лицо. Потом не хватило сил не дышать, вдох получился громким, и, испугавшись наделанного им шума, он открыл глаза. Яркая луна светила в окошко. Она медленно проплывала и вскоре совсем скрылась в тучах. В землянке стало темнее, чем было.

После того как Сен Дин заснул, его разбудили. Начинался день. Он вышел из землянки и осмотрелся вокруг. Рядом оказалось много землянок и много людей... Впереди шла высокая зубчатая гряда, как ласточкиными гнездами, усеянная

амбразурами, направленными в сторону врага. Далеко внизу виднелась дорога, шедшая с вражеской стороны, но пройти по ней незамеченным, а тем более взобраться сюда, наверх, было невозможно.

Сен Дину, как и другим корейцам, выдали обмундирование. Белье ему досталось не очень хорошее, зато штаны и верхняя рубаха оказались чисто вымытыми, почти без заплат и пятен. Ботинки были добротно отремонтированные, прочные, хоть по воде ходи.

После завтрака новичков стали обучать военному делу. Первое занятие провел капитан, уже не молодой человек, приземистый, коренастый, с тщательно выбритой головой. Вернее, только часть ее была брита, а на остальной части волосы не росли совсем. Но он не походил и на облысевшего человека. Голова напоминала раскрашенный глобус. Местами шли сизые полосы, какими на географических картах показывают горы, ближе к макушке — неопределенной формы ярко-малиновое пятно, рядом — коричневое, все в глубоких рубцах.

Смотреть на голову капитана было неловко, но Сен Дин не мог оторвать от нее взгляд. Этот человек внушал страх. Было видно, что он испытал в жизни тяжелые муки и сумеет выдержать пытки.

Сен Дин смотрел на японца, и у него рождались всякие мысли. Казалось, самурай ждет случая, чтобы отомстить за свою изуродованную голову. Он будто выбирал для себя жертву. Он не сказал еще ни одного слова, а только медленно и спокойно ходил по комнате, внимательно осматривая каждого, но Сен Дину казалось, что этот человек вот так же медленно и спокойно может выколоть глаза или отрезать уши.

Капитан ходил по комнате, и было неприятно, что он молчит. Когда корейцев собрали в этой комнате под землей, они чувствовали себя хорошо. Теперь все сидели настороженно, напряженно, и это напряжение увеличивалось.

Наконец японец заговорил. Он расспрашивал, кто откуда прибыл, чем занимался, кто родители. Он говорил вежливо, улыбаясь, одобрительно покачивая головой в ответ на слова корейцев. Когда очередь дошла до Сен Дина, ему стало не по себе. Японец внимательно смотрел на него, и это был взгляд мягкий, вкрадчивый, но Сен Дину казалось, что самурай вовсе не слушает, а высматривает те жилки на шее, которые надо будет прижать, и те суставы, которые легче выламывать. Потом самурай перестал улыбаться, хотя продолжал задавать вопросы и внимательно осматривать Сен Дина. Можно было подумать, будто он оглядывает одежду

корейца. Но Сен Дин видел в этом человеке палача, который считает свое дело обычной работой и сейчас по-деловому готовится к ней, прикидывает, как ему удобнее встать, как взять, с чего начать.

Сен Дин гнал от себя глупые мысли. Он лепетал что-то бессвязное, не мог ответить на простые вопросы, сбивался. Наконец, словно убедившись, что воля этого корейца сломлена, самурай перешел к другому. Опросив всех, капитан заговорил сам.

— Почти сорок лет назад,— сказал он,— мы поставили на колени многочисленную отборную русскую армию. Под ударами самураев пал их неприступный бастион Порт-Артур. Лучшие части, сражавшиеся с русскими, составили в дальнейшем ядро Квантунской армии, которой скоро предстоит сокрушить Россию. Вам оказана высокая честь строить для этой армии различные сооружения и выполнять подсобные работы.

Капитан снова заговорил о величии Квантунской армии, и Сен Дин все больше проникался благоговением перед ней, гордясь доверием, которое ему оказано.

Закончив свою речь, капитан принял от корейцев клятву на вечную и верную преданность японскому императору и японскому оружию. Из клятвы Сен Дин понял: мысли о нарушении ее повлекут за собой кару, жестокую и беспощадную. Глядя на капитана, повторяя за ним страшные слова клятвы, Сен Дин понимал, что так это и будет, и твердо решил даже под страхом смерти не задерживать в голове такие мысли, если они появятся.

В заключение капитан сказал, что на первых порах корейцам оружия не выдадут. И без того у них будет много дел.

Сен Дина радовала и эта забота о корейцах, и это огромное доверие, и в особенности то, что оно не распространяется так далеко, чтобы его добровольно зачислили в боевое подразделение. А строить или выполнять подсобные работы, когда тебя кормят, обувают и одевают, и ни о чем не надо заботиться,— в самом деле большая честь.

После окончания первого занятия корейцев повели к месту их будущей службы. Вслед за проводником они долго спускались по узкой заросшей лощине, потом свернули в сторону и оказались перед входом в пещеру. Пройдя темный короткий тоннель, проводник открыл едва заметную дверь и, крикнув: «Быстрее», пропустил вперед корейцев. Сен Дин переступил порог и, пораженный, замер. Он стоял в широком и бесконечном, как улица, тоннеле, ярко освещенном электрическими фонарями.

— Пошли, пошли,— услышал он команду японца и двинулся за ним.

Навстречу то и дело попадались солдаты или офицеры. Одни торопились, другие шли медленно, точно на прогулке. Люди выходили из маленьких дверей и исчезали за такими же дверями, расположенными по обе стороны тоннеля. Иногда Сен Дину удавалось заглянуть внутрь, и он видел красивые комнаты без окон, но ярко освещенные, с картами и даже картинами на стенах. В каждой комнате было по одному или нескольку столов, за которыми сидели военные.

В одно из помещений ввели и корейцев. Оно было похоже на пещеру, освещенную электрической лампочкой. На земле, справа и слева от входа, лежали маты.

— Здесь вы будете жить,— сказал японец.— Без меня никуда не отлучайтесь. Я вернусь через полчаса.

Вернулся он раньше. Сен Дин успел лишь осмотреться и занять место, как с возгласом «Бегом за мной!» влетел японец.

Бежали минут десять. Сначала по уже знакомому тоннелю, потом свернули в узкое и полутемное ответвление, идущее круто вверх. Совершенно неожиданно блеснул солнечный свет. Группа оказалась на обрывистом склоне густо заросшей лощины, упиравшейся в огромную скалистую гору. Это была та же самая гора, из пасти которой они только что вышли.

Никто не заметил, что́ находится внизу. Это стало ясно, когда, раздвигая кустарники, спустились по крутому склону и японец объяснил задачу. Оказывается, лощина не обрывалась у горы, а втягивалась в нее, переходя в тоннель, откуда поблескивали стальные нити рельсов. Они шли по дну лощины, прикрытые двумя бесконечными лентами серой марли в пятнах такого же цвета, как окружающие кустарники и деревья.

Здесь, у входа в тоннель, группа остановилась. Японец коротко и толково рассказал, что и как придется делать. Спустя несколько минут раздались два резких звонка. По сигналу своего начальника корейцы начали быстро сбрасывать с рельсов марлю. Далеко впереди появившиеся откуда-то вооруженные японские солдаты делали то же самое. Потом из-за поворота вынырнул паровоз. Он тащил за собой десятка три вагонов. Перед входом в тоннель поезд замедлил ход, и корейцы по команде вскочили на тормозные площадки. С последнего вагона, на котором ехал Сен Дин, ему было видно, как солдаты снова прикрывали рельсы марлей.

Пройдя несколько километров в полной темноте, поезд остановился у ярко освещенных подземных складов.

Сен Дину часто приходилось бывать на товарных станциях, он видел много складских помещений, хранилищ, пакгаузов, но такие огромные, как здесь, встретил впервые. В вагонах оказались мешки с рисом. Разгружали их быстро, бегом, под нетерпеливые окрики японского офицера.

За свою жизнь Сен Дин натаскался немало мешков. К работе его руки и спина были привычны. Он знал, как лучше ухватиться за мешок и удобнее взвалить на плечи, как сбросить куль, чтобы он лег в точно назначенное место.

Казалось, чего проще — таскать мешки. Но и это, выходит, надо делать с умом. Огромный детина, здоровяк, работавший рядом с Сен Дином, уже через полчаса дышал тяжело. У Сен Дина все движения были точно отработаны, и он мог без устали таскать груз на своих не очень могучих плечах долгими часами. Он оказался в выгодном положении и обратил на себя внимание начальства.

Так начался первый день жизни Сен Дина в Квантунской армии. Его похвалили и оставили работать на рисовом складе. Это было скрытое в скалистой горе помещение, похожее на ангар. Высокие железобетонные колонны упирались в такие же фермы, густо переплетенные под потолком. Квадратные горы мешков заполняли все пространство между колоннами.

Впоследствии Сен Дину довелось побывать и на соседних складах с бесконечными штабелями ящиков, рогожных кулей, тюков, в которых находились консервы, сигареты, сушеная рыба и другие продукты.

Каждый день прибывали поезда. На разгрузке работало много людей, но все равно Сен Дин выделялся. Он выбирал тюки потяжелее и побольше, бегал быстрее других, неизменно вызывая похвалу начальства. Может быть, поэтому ему и доверили ответственную работу. Когда эшелоны уходили и группу корейцев отправляли на земляные или ремонтные работы в тоннель, Сен Дина оставляли на складе. Он помогал раздавать рис боевым частям и подразделениям, расположенным в трех ярусах над складами. Со временем ему довелось и самому побывать на ярусах. Сначала ему казалось, что он никогда не освоится с этими бесчисленными подземными ходами и коридорами. Он удивлялся, как простые японские солдаты уверенно и легко определяют дорогу и на самый верх, где установлены тяжелые гаубицы, и к пулеметным ячейкам первого яруса, и в штаб, и в мастерские, и во многие другие подразделения.

Сначала он только и знал, что удивлялся. Его поражало, какое большое количество пушек собрано здесь, от самых маленьких и до сложнейших агрегатов с огромными стволами, как все это ловко замуровано в скалах, не понимал, как могли втащить такую технику почти на самый верх, куда от земли не меньше трех четвертей километра.

Собственная электростанция, водопровод, радио, телефонная станция — все это было скрыто в земле, в складах, укрепленных железобетоном и сталью.

С группой корейцев по-прежнему проводил занятия капитан со страшной головой. И не только занятия. В самые неожиданные минуты он будто вырастал из земли. Часто, увлекшись работой, Сен Дин замечал вдруг, что из него смотрит неизвестно откуда появившийся капитан. Он наблюдал за их службой, за их жизнью, за их мыслями. Сен Дин чувствовал его присутствие ночью и там, где его в действительности не было.

Однажды на занятиях японец велел Сен Дину рассказать, что он усвоил о величии Квантунской армии. Сен Дин глубоко верил в ее силу, хорошо знал, что победить ее нельзя. И не робея начал отвечать. Он был убежден, что великан-гора и все скрытое в ней — это и есть Квантунская армия. С этого он и начал свой ответ. Но вдруг произошло необычайное: капитан расхохотался. Никто никогда не видел, как смеется капитан. Все замерли, ожидая чего-то. Сен Дин растерялся. Смех оборвался, и стало совсем страшно.

— Это только одна клеточка в сотах огромной пасеки,— растягивая слова, заговорил капитан.— Только одна вишенка из всего сада сакуры великой империи Ниппон.

Еще больше о Квантунской армии узнал Сен Дин на одном из следующих занятий. Он не был любопытным, но единственный вопрос мучил его с первого дня прихода в армию. То, что он видел в боевых ярусах бастиона, было новым, интересным и страшным. Но самым удивительным и непостижимым казалось другое. До прихода в армию его жизнь сводилась к одному — как обеспечить себя едой. Об одежде он не думал. Его мечты, его фантазия не выходили за пределы единственного стремления: есть каждый день, и есть сытно. И вот он попал на склады с несметным количеством продуктов. Они поражали воображение. Ему приходилось видеть рисовые поля, но он никогда не видел в одном месте столько готового риса. Такое большое количество продуктов не укладывалось в его сознании, было выше его понимания. За месяц работы на складе он невольно узнал, что каждый день рис выдается на три тысячи человек, находящихся в

ярусах. Он знал, что на кухню командующего отпускаются только отборные продукты и без счета. Но он видел, что на все это не расходуется и четверти непрерывно поступающих запасов.

Для чего они? Особенно здесь, у самой русской границы.

И вот на очередном занятии, когда капитан, уже в который раз, предупредил корейцев, что они не имеют права разговаривать о всем увиденном и не имеют права никого и ни о чем расспрашивать, а неясные вопросы должны задавать только ему, Сен Дин вдруг осмелел и отважился высказать свои мысли, на которые не мог найти ответа. Он тут же испугался, как бы капитан не рассердился. Но японец, казалось, даже остался доволен вопросом.

— Сейчас ты все поймешь,— миролюбиво сказал он.— Ты узнаешь, что такое империя Ниппон.

По привычке он начал молча ходить по комнате. Потом заговорил, продолжая начатую фразу:

— Она еще небольшая, наша империя Ниппон, но время ее пришло.

Он остановился и снова умолк. Стало тихо. И все думали и задавали себе вопрос: какое же пришло время?

— Каждый новый император,— услышал Сен Дин торжественные слова капитана,— несет с собой новую эпоху, новое летосчисление. Уже двадцать первый год мы живем в эпоху Сиова, что означает «лучезарная жизнь». На много лет вперед бог определил нам эту жизнь. Теперь ее увидим и мы.

С этими словами капитан достал из шкафа и повесил на стену большую карту.

— Вы видите Дайнихон — великую Японию,— показал он на карту.— В нее войдут, как здесь отмечено, занимаемое пока русскими Приморье и Забайкалье, Монголия, уже взятые нами по праву Маньчжурия и Северный Китай и вот эти острова на Тихом океане, недавно отбитые нами у американцев. Это только первый шаг эпохи Сиова,— продолжал капитан спокойно, но с огромной убежденностью.

Он повесил вторую карту и несколько секунд смотрел на нее с улыбкой, любуясь ею, будто забыв, что находится здесь не один.

— Это Дайдайнихон — величайшая Япония,— наконец заговорил он.— Вот ее границы. Территория нынешней России до Урала. Китай, Индокитай, Индия, Афганистан, Бирма, Индонезия, Австралия...

Сен Дин следил за указкой. Он не разбирался в картах, впервые слышал названия почти всех стран, о которых гово-

рил капитан, не знал, сколько там проживает людей, но твердо знал одно: все будет, как сказал капитан.

— Теперь я могу ответить на твой вопрос,— обратился капитан к Сен Дину.— Тут, где мы находимся, границы не будет. Скоро наша армия стремительно рванется вперед. Тогда и потребуются нам крупные опорные пункты, крупные склады не в тылу, а здесь, у самого старта.

Теперь капитан говорил горячо, страстно, как командир перед войсками, идущими в бой.

— Высшее японское военное командование, тайный совет все предусмотрели. И здесь, и рядом с нами, и вдоль всей границы русские видят только мирные горы, сопки и скалы. Вы знаете, что скрыто в них. Какая же сила устоит против нашего удара, когда раздастся великий клич!

ВСТРЕЧА В ЭКСПРЕССЕ

Чо Ден Ок приехал на вокзал задолго до отхода поезда. Он прошел на перрон и увидел поезд, состоящий из вагонов обтекаемой формы, блестящий, словно лакированный, с широкими окнами, наглухо закрытыми шторами, и ярко начищенными фонарями у дверей вагонов. И под каждым фонарем проводник, вытянувшийся в струнку. Это экспресс Сеул — Пусан.

Чо Ден Ок тихо смеется. Он поедет в этом поезде, в лучшем из этих вагонов с автоматически захлопывающимися подножками, и проводники, низко кланяясь и улыбаясь, будут спрашивать, удобно ли ему ехать.

В международном вагоне этого поезда путешествует только самая высшая японская знать. Билет стоит очень дорого, но он не пожалел денег. Пусть видят, в каком вагоне он едет.

Чо важно подошел к своему вагону, и проводник, склонив голову, учтиво спросил:

— Знает ли господин, где находится приготовленное для него место?

Чо Ден Оку понравилось, что у него не спросили билет. Можно, значит, сесть сюда вообще без билета; никто не подумает, что такой высокопоставленный чин может не заплатить деньги.

— Вот мой билет, разбирайтесь сами, где тут мое место. Только я не переношу неудобств,— сказал он с явным раздражением в голосе.

— О, отличное место! Прошу подняться, я покажу вам...

Стены длинного коридора оклеены голубым шелком. Мягкий ковер на полу, горящие и сверкающие медные поручни, занавески из черного бархата, тонкие бамбуковые шторы, свернутые в трубочку, зеркала, люстры, цветы.

Чо Ден Ок старается придать своему лицу скучающее выражение, скрыть свое восхищение: напротив, он уже давно привык к таким вагонам, он никогда в жизни и не ездил в других.

Он зевает. Пусть видит проводник, что он устал и хочет отдохнуть. А вагон его не интересует. Вот за границей, где он часто бывал, действительно шикарные вагоны.

В купе должны ехать двое, но второго пассажира еще нет. Когда дверь закрывается за проводником и Чо остается один, его лицо преображается. Он ощупывает руками бархат диванов, нежно гладит абажур настольной лампы, улыбаясь, прикасается к блестящей пепельнице.

В таком маленьком помещении и столько лампочек: и на стенах, и на потолке, и на столике. Бесконечное количество выключателей, каких-то ручек и кнопок. Под некоторыми надписи: «Начальник поезда», «Проводник», «Официант», «Повар». Как интересно: нажать — и прибежит человек!

Чо садится. Интересно, для чего эти ручки? А вот кнопки без надписей. Надо проследить, как станет ими пользоваться сосед.

Он теперь будет ездить только в таких вагонах. Это ему нелегко: очень дорого стоит билет. Придется экономить дома на еде, на прислуге, на рикше, на чем угодно, но он будет ездить в таких вагонах. Пусть все знают, как он богат, пусть кланяются ему, пусть боятся его все эти грязные свиньи и трепещут перед ним.

О, он им покажет себя! Они забудут, что такое забастовки, они узнают, что значит задерживать разгрузку судна, когда идет война. Они поймут, что с ним шутить нельзя. Не зря его посылают в Пусан.

Чо открывает дверь. Он хочет видеть, кто едет в этом вагоне. Пусть посмотрят и на него, на его небрежную позу и безразличное лицо и думают, будто он миллионер... Ему все надоело. Он устал. Ему бы надо уехать на воды Алмазных гор, на север страны — отдохнуть от этих бесконечных дел, от банков, заводов и земельных угодий. Но разве управляющий может справиться с движением капиталов фирмы Чо Ден Ока, заменить его в переговорах с иностранными фирмами или вот поехать вместо него в Пусан, чтобы купить остров Чорендо?

От этой мысли Чо развеселился. Может же прийти в голо-

ву такая мысль! Ведь на острове десятки заводов и фабрик!

Он смотрит в раскрытую дверь, и душа его ликует. Да, это высшая знать. По коридору проплывает японка в кимоно, расшитом золотыми ветками сакуры. На голове башня, целое архитектурное сооружение из волос. Оно венчается ажурной аркадой из серебра, кости и бриллиантов. Она идет за своим мужем, тонкая, изящная, а он пыхтит и отдувается, словно несет на себе Фудзияму.

Поодиночке и группами проходят мимо Чо Ден Ока толстые, коротконогие адмиралы и генералы. Их так много, будто здесь не вагон, а военный совет Квантунской армии.

Один из них останавливается у двери и заглядывает в купе. О, генерал-полковник! Чо вскакивает и низко кланяется. Лицо генерала удивленно вытягивается, он фыркает и, повернувшись, быстро идет к выходу.

— Начальник поезда! — слышит Чо раздраженный окрик генерала и испуганно забивается в угол.

Может быть, он не так встал или недостаточно низко кланялся? Чем недоволен генерал? Он готов извиниться, просить прощения.

На весь вагон раздается генеральский крик:

— Уберите грязную свинью, скорее уберите из моего купе эту чесночную падаль! Кто это решил шутить со мной?

Ведь он совсем не ел чеснок, генерал ошибся, здесь не пахнет чесноком, а голову он смазал самым дорогим маслом. Надо объяснить генералу.

Мысли Чо Ден Ока прерывает начальник поезда:

— Может быть, господину будет удобнее пересесть в крайнее купе? Там уже есть один уважаемый кореец.

— Да, да, конечно,— заговорил он так, чтобы слышал генерал, оставшийся в коридоре.— Я бы никогда не осмелился сюда зайти, если бы мог предположить, что здесь едет сам генерал-полковник,— говорит он, кланяясь генералу, который повернулся к нему спиной и смотрит в окно.

Чо пошел за проводником, согнувшись, и его провожали недовольным взглядом пассажиры.

— Надо вообще убрать его из вагона,— услышал он женский голос,— тут совсем нечем будет дышать.

Чо искоса посмотрел в сторону говорившей и увидел, как дама, которая только что проходила мимо него, захлопнула дверь своего купе.

— Сюда прошу,— указал проводник на последнюю дверь.

Чо робко заглядывает внутрь. Там, вытянувшись на диване, с газетой в руках лежит молодой кореец. На руках

перчатки. Наверно, владелец завода: вид самоуверенный, важный. Только зашел в вагон, а уже разлегся.

— Конничива, господин, разрешите к вам?

— Аллёнхасимника[1], заходите, если здесь ваше место,— недовольно отвечал пассажир.

«Какой неосторожный и злой,— думает Чо Ден Ок.— В таком окружении не боится отвечать по-корейски, хотя к нему обращаются на японском языке. И какой наглый, будто он японец!»

Чо Ден Ок ставит в угол саквояж и опускается на диван. Что же это они так обращаются с ним? Ну, пусть кричит японский генерал. По крайней мере, можно будет рассказывать, как довелось беседовать с генерал-полковником. Конечно, детали придется опустить, но о встрече он расскажет. А вот как смеет этот грубо отвечать? Ведь сам всего-навсего кореец. А тоже вид хозяина принимает. Нет, здесь уж Чо не уступит! Пусть не хвастается своими капиталами. Может быть, Чо богаче этого заводчика! Надо сейчас же это доказать.

Он нажимает кнопку и вызывает официанта. Тот появляется так быстро, будто стоял за дверью и только ждал сигнала.

— Что у вас там есть? — говорит Чо, растягивая слова.— Я ужасно устал.

Официант называет десяток блюд и вопросительно смотрит на пассажира. Чо хочет заказать самое дорогое; он решил назвать это блюдо погромче, чтобы сосед знал, какие дорогие блюда он выбирает, но больше половины названий Чо слышит впервые и не знает их цены.

— Что это ты бормочешь? Ничего не поймешь! — брюзжит он, глядя на официанта.— Давай карточку, я сам посмотрю.

Он смотрит на цены. Хорошо бы съесть осьминога в уксусе или трепанга, но они самые дешевые в карточке. Они, правда, вдвое дороже, чем в обычном ресторане, и раз в пять дороже, чем на рынке, но здесь это самые дешевые блюда. Еще подумают, будто у него нет денег.

Чо Ден Ок читает вслух названия дорогих блюд, которых никогда не ел.

— Морская черепаха... плавники акулы... обезьянье мясо в тесте... Как все это надоело! Ни одного настоящего блюда!

Он читает дальше. Глаза останавливаются на незнакомом названии, против которого стоит очень высокая цена. Да, он

---

[1] Аллёнхасимника (*кор.*) — здравствуйте.

закажет это блюдо, надо только правильно произнести длинное слово и, главное, небрежно, будто он ел это блюдо сотни раз и надоело оно очень, да ничего лучшего здесь нет.

Чо наконец делает заказ.

— Может быть, и вы поужинаете? — обращается он к соседу.

— Благодарю вас, я собираюсь спать,— отвечает тот сухо и натягивает на плечи легкое одеяло.

А все же интересно, кто это такой?

— Вы до Пусана? — снова обращается Чо к соседу.

— Е[1].

— Очень хорошо, я тоже в Пусан,— улыбаясь, говорит Чо Ден Ок по-японски.— Страшно не люблю, когда в пути меняются пассажиры. Знаете,— Чо совсем наклонился к соседу и зашептал,— как вы не боитесь говорить здесь по-корейски? Ведь услышат, может быть скандал.

— Скандалов должен бояться тот, кто их устраивает.

— О, какой вы храбрый! Как говорит пословица: «Грудной ребенок не боится тигра».

— Да, но напуганный тигром, боится кошки,— парирует сосед, пренебрежительно взглянув на Чо Ден Ока и снова берясь за отложенную в сторону газету.

«Ну и пусть читает, свинья!» — злится Чо Ден Ок. Сейчас подадут дорогое японское блюдо и саке. Дома он сэкономит. Да и пора наконец, чтобы подчиненные приносили ему подарки, ведь он все время дает взятки своим начальникам. Почему же ему никто не приносит подарков? Ну ничего, на новом месте будут носить, он обучит и сотрудников и просителей.

Надо записать название этого блюда, выучить его и требовать в ресторанах, не заглядывая в карточку. Чо усаживается удобней, подбирает под себя ноги и сладостно мечтает.

Пусан... Ближайший к Японии порт. Рис, хлопок, рыба, ценные руды — все это идет на острова через Пусан. Сюда из Симоносеки приходят оружие и стратегические материалы... Крупнейшая военно-морская база Японии. С тех пор как началась война с Америкой, Пусан приобретает особое значение. Туда посылают людей, которые облечены доверием империи Ниппон. Ему так и сказали, посылая в этот порт. Там больше ста тысяч рабочих, и половина из них — красные. Если он справится с заданием в Пусане, то получит назначение в Сеул.

---

[1] Е *(кор.)* — да, угу.

О, он найдет зачинщиков, он по-настоящему покажет себя! Он изучит все гавани и пристани, излазит все фабрики и верфи, он обшарит Черные скалы — все эти островки вокруг порта, хотя их там несколько сот и они такие скалистые, что и шлюпке не подойти к ним. Он заберется и на остров Кочжедо, до которого всего час езды от Пусана.

У него острый глаз и гибкий ум. Он найдет им применение. Это не уездное отделение Восточно-колониальной компании, где не развернешься. Это даже и не Тэгу. Это город с населением в триста тысяч человек. Надо бы не терять времени и еще здесь, в поезде, расспросить о Пусане подробней. Этот заводчик, видно, оттуда.

— Послушайте,— говорит он, оживляясь,— я хотел бы узнать что-либо о Пусане, я еду туда в первый раз!

Сосед отвечает не сразу, и в голосе его чувствуется раздражение:

— Я тоже.

Отчего это он такой важный? Можно подумать, будто он сам Мицуи или Мицубиси. Ну и пусть злится, он всего лишь кореец. И, будто не замечая недовольного соседа, Чо продолжает:

— А все же давайте познакомимся, может быть, у нас в Пусане окажутся общие интересы. Я представитель Восточно-колониальной компании,— соврал он на всякий случай, называя свою фамилию.

— Нет! — резко оборвал его сосед.— У нас разные интересы! — И, повернувшись спиной к Чо Ден Оку, давая понять, что не намерен больше разговаривать, добавил: — Я рыбопромышленник из Маньчжурии.

Чо Ден Ок удивляется: вечер еще не наступил, а он уже завалился спать.

Но сосед Чо Ден Ока не собирался спать.

Он тоже думал о Пусане. Он родился и вырос на Кочжедо и в течение четырнадцати лет из двадцати одного года, прожитого на острове, почти каждый день приплывал в Пусан. Он продавал рыбу, крабов и трепангов, торговал моллюсками — всем, что удавалось добыть его семье и старику Пек Уну.

Почти шесть лет он не был в городе и сейчас уже не сможет, как бывало, спокойно расхаживать по улицам. Сейчас, во время войны, не так легко попасть в военный порт. Недаром он вырядился в полувоенный костюм, надел перчатки, чтобы скрыть шрамы на пальцах, и едет в этом поезде среди ненавистных ему людей.

Зато здесь редко проверяют документы. Но если даже

проверят, все равно его не задержат. Он едет для закупки крупной партии рыбы. Его документы в полном порядке, его внешний вид не внушает подозрений.

Надо только научиться спокойно разговаривать с этими паразитами. Ведь он не в рукопашной схватке. Надо наконец научиться выдержке. Ведь он дал слово товарищам, что будет вести себя, как подобает в его роли, и уже нарушил слово, не мог спокойно отвечать этой противной морде. Надо разговаривать осторожнее. В Пусане он не позволит себе ничего подобного. Он не поедет в гостиницу «Ямато», не покажется на залитой огнями прямой, как луч, центральной улице. Он и в темноте найдет на глухом берегу, у самых скал, рыбачью хижину старика Пек Уна. Он сбросит свой костюм и наденет просторную рубаху и шаровары. Только тогда вздохнет свободно и пойдет в город.

Правда, там он рискует, что кто-нибудь из старых друзей, увидев его, закричит: «Аллёнхасимника, Пан Чак, где пропадал столько времени?» Но и это не страшно. Ведь он действительно Пан Чак, рыбак с острова Кочжедо. Он вернулся из Унсана с золотых разработок в родные края. Он может подробно рассказать об Унсане, о том, как за два года до начала войны с Соединенными Штатами истек второй двадцатипятилетний срок американской концессии на разработку золота. Ровно полвека вывозили добычу со всего богатейшего золотоносного района, пока рудники не перешли к фирме «Ниппон сейтецу».

Пан Чак может подробно рассказать о каждом руднике Унсана, будто он действительно только что вернулся оттуда.

Перед Пусаном в вагоне появился капитан из японской военной комендатуры. Он осторожно стучал пальцем в дверь купе, козырял генералам и, извиняясь за беспокойство, улыбаясь, пятился в коридор. Тут улыбка исчезала, и он стучался в следующее купе, готовый снова улыбаться.

У Пан Чака он потребовал документы, внимательно просмотрел их и вернул без единого слова. Лицо у него было сухое, строгое, непроницаемое. Проверяя документы Чо Ден Ока, он вежливо поклонился ему, извинился за беспокойство.

На станцию поезд прибыл вечером. В такое время вокзальная площадь всегда была оживленной, но теперь она показалась Пан Чаку особенно шумной. Даже на сеульском вокзале не было так многолюдно.

То и дело подкатывали машины, взад и вперед сновали мотоциклы, гудели громоздкие, неповоротливые автобусы, звенели трамваи.

Особое внимание Пан Чака привлекли военные. Никогда

раньше он не видел здесь столько солдат и офицеров. Они подъезжали на грузовых и легковых машинах, они толпились в вокзальных помещениях, их одежда зеленого цвета мелькала по всей площади. У главного подъезда какой-то капитан делал перекличку, и солдаты, собравшиеся возле него, почти совсем загородили двери.

Пассажиры обходили их молча, боязливо озираясь.

Середина площади тоже была занята военными. Одни спали, положив головы на вещевые мешки, другие ели, третьи громко разговаривали.

Здесь, вдали от всех фронтов, дыхание войны все же было ощутимо. Недаром Пусан — крупнейший стратегический узел Японии.

Пан Чаку ни минуты не хотелось оставаться в этом людном месте. Его могут узнать. В ярко освещенном трамвае или автобусе тоже нельзя показываться.

Он быстро пересек площадь и сел в одиноко стоявшую коляску.

— Прямо! — махнул он рукой подбежавшему рикше.

Он так и не придумал, каким путем ехать. В центре города, на этих сверкающих электрическим светом улицах и площадях, он боялся появиться, да и нечего ему там делать. Не пойдет же он в гостиницу «Ямато» или в меблированные комнаты Миязи-сан. Но сказать рикше, что ему надо в корейские кварталы, не решился, потому что богатые люди не ездят в эти трущобы, особенно так поздно.

Ничего не придумав, велел ехать прямо, только бы подальше от многолюдного вокзала и яркого света, только бы скорее переодеться в привычный костюм.

Улица, по которой бежал рикша, тоже горела огнями, а до первого переулка, где можно свернуть, было еще далеко.

— Свежо очень, как бы не простудиться,— обратился Пан Чак к рикше.— Поднимите-ка тент!

Рикша привык ничему не удивляться.

Он остановился и поднял тент над этим здоровым молодым коммерсантом, который боится простуды в теплый летний вечер.

Так лучше. В углу закрытой почти со всех сторон коляски его никто не узнает даже под фонарем.

Еще в поезде он думал, что можно заехать к старику Пек Уну. Но один ли он в доме, да и жив ли?

Миновав несколько кварталов, Пан Чак остановил рикшу у тускло освещенного переулка и расплатился. Постояв, пока коляска скрылась из виду, свернул в переулок и, не оборачиваясь, быстро зашагал по хорошо знакомой дороге.

На первом перекрестке снова завернул за угол и спустя минут десять нырнул в проходной двор.

Только выйдя через другие ворота на пустырь, почувствовал себя спокойнее, хотя и устал от тугого воротника и штанин, которые не привязаны вокруг ног у щиколоток, а цепляются одна за другую и мешают идти.

Он пересек широкую дорогу, миновал овраг и почти совсем разрушенный вал, которым были отгорожены корейские кварталы от города. Здесь в полной темноте снял тужурку, расстегнул ворот рубахи и закатал штаны выше колен. Вот теперь будет легко идти, и восемь километров до рыбацкой хижины Пек Уна пролетят незаметно. Он уверенно шагнул в темную улицу, в старый рыбацкий поселок, невидимый, затихший, будто вымерший.

Он шел спокойно. Никакая полицейская собака не могла бы проследить его путь по этим катакомбам, по извилистым и узким, как горный ручей, переулкам, захламленным и темным.

Он долго петлял вдоль стен и глиняных заборов, почти невидимых в темноте, пока не вышел на набережную. На самом берегу между скалами отыскал хижину Пек Уна и тихо отодвинул дверь.

Пек Ун сразу проснулся, но не испугался ночного гостя, потому что отыскать его лачугу в такой темноте и найти дверь мог только человек, много раз бывавший здесь.

Пан Чак был рад, что старик в хижине один и не задает ему лишних вопросов. Он так постарел, что, наверно, все забыл.

— А, это ты, Пан Чак, тут на окне кунжутка! — только и сказал хозяин, будто всего несколько часов назад виделся с Пан Чаком.

Старик закашлялся, а когда кашель прошел, добавил:

— Там за порогом, на камнях и на веревке,— рыба, она еще недостаточно высохла, но ты поешь, да, да, поешь рыбки.— И он снова начал кашлять.

«Совсем плох старик»,— подумал Пан Чак и стал быстро раздеваться, не зажигая огня.

С МОРЯ ИДУТ ДЖОНКИ

Пан Чак встал рано. Надел широкие белые штаны старого рыбака и по привычке закатал их выше колен, а рукава просторной рубахи засучил уже на ходу, отодвигая дверь, потому что ему не терпелось поскорее посмотреть на море,

которое вчера из-за темноты так и не увидел. Но он слышал его всю ночь, и ему казалось, будто море разговаривает с ним и тоже радуется их встрече.

Вечером, пока он прятал в скалах свой костюм, пока беседовал со стариком Пек Уном, море терпеливо дожидалось его. Но как только старый рыбак уснул, оно заговорило, и Пан Чак не мог уже спокойно лежать на своей циновке. Он по голосу узнал свое море, и, хотя из маленькой, пропахшей рыбой хижины ничего не было видно, ему живо представился родной берег.

В гуле, что доносился издалека, Пан Чак узнавал каждый звук в отдельности. Для него это не был просто гул моря. Ему казалось, что он различает глухие удары воды о массивные валуны Кадокдо, и свист волн, разрезаемых острыми утесами Понгана, и вой ветра в гигантских деревьях Огильви. Он видел эти островки и десятки таких же маленьких и еще меньших, совсем без названий, островков, лежащих между Пусаном и Кочжедо; он видел их так ясно, как будто плыл мимо них на лодке.

Он лежал и прислушивался к голосу моря, и голос этот звал его на берег.

Под утро Пан Чак заснул. Но как только начало светать, проснулся, словно от толчка. Он вышел из хижины и посмотрел на море, усеянное скалистыми и зелеными островками, на медленно плывущие рыбачьи джонки и остался так стоять, будто все это увидел в первый раз.

И когда он оглядел островки и узнал каждый камень, каждое дерево на берегу, и увидел, что скалы, с которых он в детстве вместе с ребятами прыгал в воду, стоят на месте, душа его наполнилась радостью.

Пан Чак знал, что отсюда невозможно увидеть Кочжедо, но все равно смотрел в ту сторону, и ему показалось, что в утренней туманной дымке вдруг образовался просвет, как от яркого луча, и перед ним появился его родной остров, высокий, угрюмый, с трех сторон окаймленный горным кряжем.

Сначала ему виделись только скалистые берега и все пять гор острова и пик Кохерийо с храмом на вершине, потом словно вырисовалась маленькая бухточка, где обычно стояла их джонка с двумя большими, грубо обтесанными мачтами. Позади виднелась хижина, в которой он родился, и казалось, будто она застряла в трещине скалы, у самого ее подножия. За грядой открывалась бамбуковая роща, а еще дальше — апельсиновые деревца вдоль дороги.

Перед Пан Чаком возникали картины былого. Вот на берегу показалась фигура отца, согнувшегося под тяжестью

рыболовных снастей. Рядом идет он сам — Пан Чак, без рубашки, в коротких штанах, и ему тоже тяжело, потому что, кроме трехконечной остроги, ведерка и корзины, он тащит на плече большой моток веревки из морской травы.

Отец первым входит в джонку и, бросив сети, натягивает тяжелый парус из циновок, а Пан Чак поднимает маленький соломенный парус. Потом приходят еще два рыбака, которые вместе с отцом арендуют джонку, все садятся и отталкиваются от берега.

Они долго плывут, и, хотя берег быстро удаляется, открытого моря не видно. Куда ни глянь, островки, скалистые, неприступные или заросшие вечнозелеными деревьями и высокой густой травой.

Сколько здесь островков, точно никто не знает. Их, как и звезды, трудно сосчитать. Правда, говорят, будто ученые все же пересчитали острова вокруг Кореи и будто набралось их три с половиной тысячи, но Пан Чак знает, что их куда больше. Только на пути от Мокпхо до Пусана около тысячи скалистых островков.

Пан Чак видит себя на носу джонки. Он смотрит вперед, в море, и поет. Его мягкий, сильный голос уносится далеко, и на островах, окруженных джонками, рыбаки слушают плывущую над волнами песню:

Далеко тебе видно вокруг, Ариран дорогая,
Видишь ты — богатырь показался вдали,
Только дунет — и тучи уйдут.
Меч поднимет — ущелья сомкнутся.
Только сделает шаг — злые духи умрут
И драконы-враги расползутся.

Он может громко петь «Ариран», потому что японских катеров не видно. Он может спокойно петь «Ариран»: на островах только рыбаки. Они слушают и тихо подпевают:

Ариран, Ариран, высоки твои горные кряжи...

Отец Пан Чака, Пан Юр Ил, ведет джонку в открытое море. Правда, и здесь, возле островков, много рыбы, но, если другие раньше добрались сюда, значит, нельзя им мешать.

Пан Юр Ил пристает к пустынному, скалистому берегу и вместе с рыбаками вытаскивает сети. Рыбы так много, что ее можно ловить корзиной. Каждый заход приносит большую добычу. Они бросают в лодку все, что попадается: скумбрию, савару, морского леща, горбушу, макрель.

Целый день рыбаки — по пояс в воде. На берег они выходят только для того, чтобы вытащить бредень, и снова — в воду. Камни и песок раскалены, и кое-где видно, как над ними струится воздух

Постепенно джонка заполняется, и, чтобы рыба не прыгала в воду, Пан Чак покрывает ее циновкой. К заходу солнца рыбаки уже едва передвигают ноги. Отец Пан Чака поднимает парус и ведет отяжелевшую джонку на завод рыбьего жира компании «Ниппон Юки».

Весь улов надо везти туда. Куда же еще, если и джонка и снасти принадлежат компании. Рыбаки лишь сердятся, что надо плыть на самый дальний, седьмой затон, минуя по пути шесть других заводов «Ниппон Юки». Если бы можно было сдавать рыбу в первом затоне, они выгадывали бы по два часа в день, а в плохую погоду — даже три. Но управляющий заводами не согласился на это.

Все триста джонок, сдаваемых в аренду, он распределил между заводами, и каждая из них должна везти улов в назначенное место.

Управляющий не может учитывать, кто где живет. Для этого у него нет времени. Если он начнет выслушивать все жалобы да вникать во всякие мелочи, вроде того, что одному посчитали на несколько мер рыбы меньше, чем ему полагается, а с другого будто бы два раза удержали за износ сетей или джонки, — если всем этим заниматься, то рыбаки только и будут знать, что ходить и жаловаться.

Управляющий — человек дела и не может заниматься мелочами. Он разъяснил это рыбакам; они всё поняли и перестали к нему приставать. Но вскоре, после того как управляющий сказал, чтобы к нему не ходили с жалобами, произошел несчастный случай.

Как-то перед вечером он стоял на обрывистом берегу, наблюдая за разгрузкой джонок, и вдруг упал в воду.

На джонках поднялся шум. Все кричали, что надо скорее спасать управляющего. И японские приемщики еще раз убедились, какой эти корейцы бестолковый и неповоротливый народ.

Рыбаки только суетились на своих джонках, мешая друг другу, и получилось так, что большие лодки загородили выход маленьким, и те никак не могли выбраться из затона на помощь управляющему. А когда одна легкая плоскодонка наконец вырвалась вперед, Пан Чак ухватился за нее багром, чтобы раньше поспеть на помощь утопающему, да только кончилось это тем, что легкая плоскодонка пошла обратно, а на его, тяжелой, так и не удалось выбраться.

Потом рыбаки ныряли в воду — и тоже бестолково, мешая друг другу.

Когда наконец управляющего вытащили, откачать его уже не удалось, потому что эти ротозеи слишком долго провозились.

Полицейский инспектор, прибежавший на шум, не поверил, будто человек упал сам. Он начал допытываться, кто столкнул управляющего. Но выяснить это было трудно. В тот момент все сдавали рыбу и никто ничего не видел. Только один старый рыбак сказал, что если действительно их начальник не сам упал, а его столкнули, то преступник, наверно, очень сильный человек. Если бы толкнул слабый, то управляющий упал бы вниз на камни и разбился. А тут был сильный толчок, от которого он не просто свалился, а перелетел через камни в воду.

Пан Чак слышал этот разговор и сказал, что рыбак неправ. Такой дерзости никто не ожидал от мальчишки: младший не может сомневаться в словах старшего. Но все же Пан Чак сказал то, что думал:

— Может быть, и не сильный человек толкнул управляющего, а только очень обозлившийся на него. Когда человек зол, то у него прибавляются силы.

Отец хотел наказать Пан Чака за дерзость, но другие рыбаки заступились за парня, потому что он правильно сказал.

Полиция долго искала преступника, допрашивала всех рыбаков, но безуспешно. Ведь они были заняты своим делом. Если бы рыбаков предупредили, что управляющего будут сталкивать в воду, они смотрели бы внимательно. Некоторые предположили, что, может быть, просто сильный ветер сдул его.

Всех, кто так говорил, полицейские забрали с собой, и даже того старика, что дал совет искать преступника среди сильных людей, тоже забрали, и больше этих рыбаков никто не видел.

Представитель компании разгневался. Он потребовал возместить убытки в связи со смертью управляющего и велел удержать с каждого арендатора по одной джонке рыбы в пользу семьи погибшего.

Из-за этого поднялся целый переполох. Рыбаки и без того считали, что с них берут лишнее. А те, у которых был горячий нрав, решили отказаться от «Ниппон Юки», от аренды джонок и снастей. Они стали ловить рыбу на берегах Кочжедо чем придется, и улов получался хороший. Только им трудно было продавать добычу, хотя на рыбный рынок в Пусан приезжали купцы даже из других стран. Приезжие по-

купали сотни и тысячи тонн рыбы и имели дело с такими уважаемыми рыбопромышленниками, как владельцы «Ниппон Юки», «Чосон Юки» и «Чосон Чиссо». С рыбаками никто не хотел связываться.

Им пришлось везти свой товар подальше от Пусана. Там и платят дороже и продать легче. Но все же выгоды не получилось. Стоимость билета, провоз багажа, пошлины и налоги на торговое дело едва окупались всей выручкой.

Представитель компании был прав. Когда люди стали отказываться от аренды джонок, он сказал, что без него они совсем пропадут. Он объяснял, в каком выгодном положении находятся рыбаки по сравнению с крестьянами: если нет дождя или ливни смывают посевы, весь урожай пропадает. Нет урожая, и ничего не поделаешь. А у рыбаков другое дело. Рыбы очень много, надо только брать ее и везти на заводы «Ниппон Юки». Это все равно что возить готовый урожай. А главное, крестьяне платят еще аренду за землю, а компания разрешает пользоваться морем бесплатно.

Он советовал рыбакам быть трудолюбивее, обещал пойти им навстречу, даже велел выдать в долг рис. За мешок риса полагалось сдать месячный улов. Конечно, каждый согласился бы работать месяц за целый мешок риса. Но тогда улова не хватит на оплату аренды за джонку. А арендная плата взималась каждый день.

Те, кто взял в долг рис, оказались в трудном положении: им никак не удавалось расплатиться...

Пан Чак встряхнул головой, как бы желая уйти от воспоминаний, но они с новой силой нахлынули на него.

...Вот джонка отца подходит к приемному пункту. Это огромная железная баржа, глубоко сидящая в воде у самого берега. Она открыта, как плоскодонка, только по борту проложены мостки, по которым расхаживают японские приемщики.

Пан Юр Ил высматривает, куда бы причалить, чтобы скорее разгрузиться. Джонки со всех сторон облепили баржу, и кажется, что это не джонки, а колышущийся островок.

Наметив место, Пан Юр Ил пришвартовывается к железному борту, берет у приемщика две бамбуковые корзины, и начинается разгрузка.

Приемщик считает корзины и следит, чтобы их нагружали полней. Из общего счета он, как полагается, сбрасывает две корзины на недомер, делает пометку в книжечке и выдает боны. Ими расплачиваются за аренду джонки, на боны покупают нитки для ремонта снастей в магазине «Ниппон Юки».

Теперь можно снова идти в море. Надо только выбраться

отсюда, отчалить от борта, вдоль которого стоят шестнадцать приемщиков, и считают корзины, и сбрасывают за недомер, и кричат, чтобы люди быстрей разгружались, хотя рыба, как вода на перекате, бесконечным потоком льется в баржу.

А с моря идут и идут джонки.

КАРТИНЫ БЫЛОГО

Каждый раз, когда джонка Пан Юр Иля причаливала к седьмому затону и начиналась разгрузка, Пан Чак незаметно отрезал у пяти-шести рыб по плавнику. Вскоре на берегу начинали жужжать насосы: рыбу из баржи засасывали два широких резиновых рукава, перекинутых через борт, и она неслась наверх по чугунным трубам на конвейер, и Пан Чак думал: попадет его рыба в руки матери или нет?

Раньше мать стояла у самой трубы. Там всего шесть женщин — по три с каждой стороны конвейера. Они внимательно следят за потоком, идущим из жерла трубы на широкий желоб конвейерной ленты. Им надо успеть так схватить рыбу, чтобы потом уже не возиться с ней и не перекладывать в руке, а сразу зажать в ладони и полоснуть узким острым ножом вдоль живота, снова бросить ее на конвейер и хватать следующую.

Все это надо делать быстро, иначе часть рыбы пойдет по конвейеру неразрезанной, и те, кто потрошат ее, ничего не смогут с ней сделать, и те, кто посыпают ее солью,— тоже, и дальше, пока в конце ленты такую рыбу не заметит контролер.

После окончания рабочего дня всю неразрезанную рыбу принесут в корзинах на конвейер для обработки да еще удержат штраф за убытки, которые несет завод из-за нерасторопности работниц.

И все же, когда мать стояла у жерла трубы, она всегда замечала рыбок без плавников и знала, что это сын посылает ей привет.

Потом ее перевели на солку. Здесь тоже все делалось быстро, ведь конвейерная лента движется безостановочно, но мать и тут успевала заметить рыбу, посланную ей Пан Чаком. А когда она думала о нем, не так щипало руки, хотя мокрая соль разъедала их одинаково все двенадцать часов.

А вот в последнее время ей было не до Пан Чака. Она уступила свое место слабой и больной женщине, которая стояла у конвейера впереди нее и потрошила рыбу. Это са-

мая трудная работа. И не потому, что надо успеть каждую надрезанную рыбу зажать в руке, поддеть двумя пальцами за жабры и вытащить их вместе с внутренностями. В этом ничего трудного нет. Но ведь и потроха идут на переработку, и приходится каждый раз поворачиваться назад и бросать их на другой конвейер, который движется рядом с главным. А ребенок за спиной этой женщины не мог привыкнуть к тому, что его двенадцать часов мотают из стороны в сторону, и постоянно плакал. И его мать сама обливалась слезами, если плакал ее сын. Никто этому не удивлялся, ведь она принесла мужу первого сына. Больная женщина благодарила Хе Сун — так звали мать Пан Чака за то, что та уступила ей хорошее место. И все женщины хвалили Хе Сун. Почти у каждой ведь за спиной ребенок, привязанный тряпкой или полотенцем, и они сочувствовали матери, родившей первого сына.

У Хе Сун тоже за спиной был новорожденный, и она тоже гордилась своим сыном и была рада, что у Пан Чака появился брат, а не сестра, которую надо растить для чужих людей.

Тайком она поглядывала на него и любовалась, какой он крепкий и красивый, как похож на Пан Чака. Но об этом никому не надо говорить. Пусть увидят, когда вырастет, а сейчас нельзя его хвалить.

Хе Сун теперь постоянно думала о младшем сыне и научилась работать, не тревожа его. Если ребенок начинал плакать, она втягивала в себя живот и быстрым движением рук передвигала сына вместе с полотенцем так, что узел получался на спине, а мальчик на животе, и давала ему грудь.

Он сразу затихал, и она успокаивалась, хотя теперь ей трудно было поспевать за конвейером. Руки приходилось держать на весу и стараться, чтобы вода с рыбы не попала на голову ребенка.

Когда он засыпал, Хе Сун снова передвигала его на спину и потом уже, бросая потроха на второй конвейер, поворачивала не весь корпус, а только голову, лишь бы не побеспокоить сына.

Все удивлялись, как это она может так часто и резко поворачивать голову. Но она могла, потому что тело ее было хорошо натренировано.

До рождения второго сына она, как и все женщины острова Кочжедо, у которых не было грудных детей, добывала водоросли и моллюсков, ныряя за ними в море. На воде она оставляла мешок, привязанный к большой высушенной тыкве, ловко ныряла на дно и кривым ножом срезала морскую

капусту или другие съедобные водоросли, всплывала наверх, укладывала в мешок добычу и снова ныряла.

Она так работала изо дня в день, пока не почувствовала, что скоро у нее будет еще ребенок. Ей очень хотелось, чтобы родился мальчик.

Она ждала сына и уже за неделю до родов перестала нырять за водорослями. Она так тщательно готовилась к родам, потому что ей хотелось принести хорошего и здорового ребенка, и она боялась повредить ему, если случайно ударится о подводный камень или скалу. Но, прекратив добычу водорослей, она не стала сидеть сложа руки, когда муж и сын работают и старшая дочь, привязав к спине сестренку, собирает на берегу съедобные ракушки, и топит печь, и помогает ей по хозяйству. Она не могла все эти дни сидеть и ничего не делать. Поэтому она собирала траву, чтобы был запас топлива на зиму, и вплела два пучка тростника в крышу в том месте, где она прохудилась, и замазала глиной трещины в стенах, и перестирала все белье, а в оставшееся свободное время вместе с дочерью собирала ракушки.

Так она работала, пока не почувствовала, что надо звать соседку. Но той не оказалось дома, и Хе Сун велела дочери уйти на берег и подольше не возвращаться. Ей очень хотелось, чтобы к приходу мужчин все было кончено.

Роды прошли хорошо, и она легла на чистую циновку, и по телу ее разлилась радость: рядом с ней лежал ее второй сын.

Когда вернулся с моря Пан Юр Ил и увидел все, что произошло, а Хе Сун сказала, что родился сын, он тоже испытал счастье. Ему было только обидно, что его отец умер и никогда не узнает, что у него уже четверо внуков и двое из них мальчики.

Утром Пан Юр Ил снова ушел в море с Пан Чаком рыбачить.

Перед уходом Хе Сун приготовила им поесть, и день был хорошим и улов богатым, и так оно и должно было быть, потому что если человеку везет, то счастье окружает его со всех сторон.

Через сто дней, когда ребенка уже можно было привязывать к спине, она отправилась вместе с ним в Пусан искать работу. Она знала, что теперь не скоро сможет опять нырять за водорослями, потому что старшей дочери только восемь лет, и она не управится с двумя детьми, но от этого радость Хе Сун не тускнела. Ей тоже счастье шло навстречу, и она сразу устроилась на завод «Ниппон Юки» в седьмом затоне, хотя другие по году не могли найти себе работу.

Хе Сун работала у конвейера, но не забывала, что она жена и мать, поэтому у мужчин всегда были выстиранные белые штаны, и всюду, где истрепалась материя, ставились новые заплаты, и в хижине было чисто.

Каждый день на рассвете Хе Сун шла на берег и вместе с другими женщинами садилась в большую джонку, принадлежавшую заводу «Ниппон Юки», и ехала в седьмой затон, на завод рыбьего жира.

По дороге Хе Сун думала о младшем сыне, и, когда приходила ее очередь грести, она гребла, и мысли ее были о сыне, который спокойно спал за спиной, и весь день она тоже думала о нем.

Это были несбыточные мечты, и она никому не осмелилась бы их открыть. Неизвестно, откуда только они могли забрести ей в голову.

Она думала о том, что через несколько лет старший сын вырастет и она станет брать в городе белье в стирку и стирать в свободное от работы время, чтобы заработать побольше, и тогда они смогут отдать в школу второго сына.

Если счастье останется в доме, она выберет время, когда у Пан Юр Ила будет хорошо на душе, или даже купит сури, чтобы развеселить мужа, и скажет, что в такой большой и хорошо зарабатывающей семье вполне можно учить одного сына разбирать иероглифы. Может быть, когда он вырастет, ему удастся купить себе должность.

Она так думала и хотя понимала, что мечты ее не осуществятся, но мысли об учении сына были приятны и не выходили из головы.

Другие женщины разговаривали между собой, или ссорились, или ругали «Ниппон Юки» за большие штрафы и дорогой перевоз на джонке, или жаловались на свою судьбу. Были и такие, что предлагали всем сразу бросить работу, если их не перестанут так часто штрафовать.

Хе Сун не принимала участия в этих разговорах: мысли ее были заняты младшим сыном.

Так прошло около полугода, когда она заметила, что ее мальчик стал скучным и начал худеть. Она все чаще заглядывала ему в лицо, совсем побледневшее и острое, как у птички.

И вот однажды, работая на своем месте между двумя конвейерами, стараясь поменьше шевелиться, чтобы не тревожить ребенка, она почувствовала, что тело у него горит и он уже не цепляется руками за ее одежду. Потом ей почудилось, будто ребенок вздрогнул и как-то сразу потяжелел. Она замерла на мгновение, а конвейерная лента перед

ней плыла и плыла, и оторваться от нее было невозможно.

Она работала и вслушивалась, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение сына или его дыхание, и боялась повернуть к себе ребенка. Горячий комочек почти совсем остыл и больше не согревал ей спину. Но, бросая рыбьи потроха на второй конвейер, она все равно не поворачивала корпус, чтобы не тревожить тело сына.

Когда конвейер остановился, она пошла к пристани и вместе с другими женщинами села в джонку компании «Ниппон Юки», и гребла, никому не отдавая весла, пока не почувствовала толчка. Тогда она поняла, что джонка коснулась земли, и вышла на берег.

Женщины, которые шли вместе с ней, заметили, что за спиной у нее мертвый ребенок, и перешептывались, не решаясь окликнуть ее. Но и допустить, чтобы она так пришла к мужу, они не могли и попросили самую пожилую работницу сказать о несчастье Хе Сун.

Когда старуха собралась уже заговорить, а женщины подошли поближе, чтобы тоже сказать слова утешения, Хе Сун передвинула мертвого сына на живот, как делала это, собираясь кормить его грудью, поправила ему холодные руки, снова передвинула его на спину и пошла в гору.

И тогда все увидели, что ей уже ничего не надо говорить и горе ее так велико, что она не может плакать. Они стояли и смотрели, как она медленно поднималась на гору и голова ее ребенка свешивалась набок.

Они смотрели молча и не утешали ее, чтобы не мешать ей обдумать, какие слова сказать мужу и как объяснить, почему она принесла домой мертвого сына.

Хе Сун шла не оборачиваясь.

Страдания совсем затуманили ей голову, и она не подумала о том, как оправдаться перед мужем. Так и вошла она в хижину.

Пан Чак с отцом, дожидаясь ужина, чинили сети. Когда она переступила порог, они взглянули на нее и в глазах ее увидели что-то такое, от чего оба поднялись и не могли произнести ни слова, хотя это были ее муж — ее полновластный хозяин и хозяин дома, и ее старший сын — первый хозяин после отца.

Хе Сун остановилась посредине комнаты, развязала на животе узел полотенца и положила труп на циновку.

И когда отец, увидев, какое горе пришло в дом, спросил:

— Это наш сын? Отчего умер наш сын?

Хе Сун молчала.

— Может быть, ты забыла меняться местами с женщинами

возле конвейера и все время стояла спиной к солнцу и оно убило сына? Или, может быть, зеленые мухи, наевшись рыбы, пили его кровь?

Она покачала головой.

— На нем нет ожогов от солнца,— сказала она тихо,— и нет следов от укусов. Наверно, в сердце его вошел гнилой воздух и отравил его.

После похорон она уже не пошла на завод рыбьего жира «Ниппон Юки», а взяла мешок, привязала его к тыкве и снова стала нырять за водорослями.

Она добывала их почти до конца декабря, пока не выпал ранний снег, и хотя он, как и должно быть, тут же растаял, но стало холодно. Правда, в воде было тепло, но воздух уже не нагревался больше чем на четыре градуса, да и водоросли потеряли цену, потому что они в эту пору уже теряют прежний вкус.

Зима выдалась снежная. Хе Сун насчитала, что за эту зиму снег падал семь дней. Но она не стала дожидаться теплых февральских дней, а уже в конце января начала нырять за молодой морской капустой.

В феврале и Пан Чак перестал ездить с отцом за рыбой. В это время к берегам Кочжедо из глубин моря идут крабы класть икру. Компания «Ниппон Юки» вылавливает их и отвозит на консервные заводы. Полицейские катера охраняют побережье, чтобы корейцы не воровали крабов. Да разве можно уследить за такими ловкими ребятами, как Пан Чак и его товарищи? Не успеет проехать катер охраны, а Пан Чак уже выскакивает из-за камней, бросается в воду и принимается орудовать толстой палкой. Он старается с первого удара оглушить краба и сразу выбросить его на берег.

Часто он помогает матери и, не стесняясь женской работы, тоже ныряет за водорослями.

В марте, когда листья морской капусты вырастают длиною в пятнадцать — двадцать шагов, Пан Чак все время проводит на воде. Она такая прозрачная, что даже на большой глубине можно увидеть дно. Он выбирает пучок капусты побольше, ныряет и быстрым движением острого ножа срезает у самого камня, за который цепляются корни, а глаза быстро бегают по дну: нет ли поблизости перламутровых моллюсков или кораллов?

Ни одна женщина не в состоянии пробыть под водой столько, сколько Пан Чак. Пока мать наберет полмешка, у него уже полный, так плотно набитый, что едва удерживает тыква. Тут можно и отдохнуть. Он лежит на воде, а вокруг — тыквы, тыквы, словно на огороде.

На всем острове не было мальчишки, который бы мог дальше него проплыть под водой. Редко кому удавалось найти Пан Чака, когда затевалась игра в прятки. Да и как найдешь такого, если из воды повсюду торчат скалы, а Пан Чак, бросившись в воду, может всплыть за любой из них.

А он всегда выбирал себе скалу подальше и не вылезал из воды, а, приблизившись к камням, переворачивался на спину, высовывая на поверхность только нос и рот.

К концу лета Пан Чак снова стал ездить с отцом на рыбную ловлю. Хе Сун, как всегда, ныряла за водорослями. И вот однажды выдался очень неудачный для нее день. Моллюски совсем не попадались, и водорослей она нарезала мало. Стало темнеть, и пора было собираться домой.

Она поставила на голову корзину со скудной добычей и, придерживаясь пальцами за выступ скалы, согнула колени, отыскивая свободной рукой свою тыкву. И когда она опустилась, держа голову прямо, чтобы не свалилась корзина, и уже нащупала бечевку на тыкве, вместо того чтобы подняться, она так и осталась на корточках, уставясь глазами в скалу, а рука застыла на бечевке. Потом она быстро сняла корзину, поставила ее на берег и подошла к скале посмотреть внимательнее, хотя знала, что не ошиблась.

Раковина величиной с тыкву, только почти плоская, сливалась со скалой, потому что они были одинакового цвета. Теперь уже сомнений не могло быть: моллюск аваби присосался к скале и прикрылся своей единственной створкой.

Хе Сун с трудом оторвала его от камня, положила тяжелую добычу в корзину и быстро пошла домой.

Не часто бывает такая удача. Это не остров Чечжудо, где аваби находят каждый день. Ей просто повезло. Нежное мясо аваби она высушит, и оно начнет розоветь, потом покраснеет, и, когда станет темно-красным и вкусным, Пан Чак отнесет его на рынок. Она отрежет только два маленьких ломтика; один из них, тот, что побольше, отдаст своему мужу и своему старшему сыну, а другой — дочерям. Наверно, Пан Юр Ил будет ругать ее за это, но такие маленькие кусочки уже нельзя будет продать. И если сын отрежет половину своей порции матери, она спрячет ее и отдаст потом младшей дочери.

За раковину тоже хорошо заплатят. На ней толстый слой самого лучшего перламутра, и точильные мастерские охотно купят ее.

Мужчин еще не было дома, когда Хе Сун вошла в хижину. Девочки бегали где-то на берегу, потому что дома всегда раньше времени хочется есть.

Хе Сун торопливо готовила еду. Ей хотелось скорей заняться моллюском. И когда все было готово, она принялась за аваби. Прежде всего Хе Сун отделила мясо от раковины, очистила его от плевы и отрезала кишечный мешок. Подумав, она все же не стала разрезать мясо, решив, что, может быть, Пан Юр Ил захочет продать его целым куском.

Потом она споласкивала раковину, и перламутр внутри нее блестел и переливался яркими цветами. Она смотрела на искрящийся перламутр, и он играл все новыми красками, и одно и то же место становилось то розовым, то голубым, то синим.

Внезапно на крутом изгибе створки она увидела большую слоистую горошину. Хе Сун смотрела теперь только на горошину, и боялась притронуться к ней, и боялась отвести взгляд, чтобы горошина не исчезла. Наконец она прикоснулась к шарику и убедилась, что он твердый, и уже больше не сомневалась. Жемчужина, большая, матово-блестящая, будто случайно закатившаяся сюда, крепко приросла к перламутру на невидимой шейке.

Хе Сун схватила мясо моллюска, бережно положила его обратно в раковину, прикрыв жемчуг, и отнесла ее в другую комнату. Вернувшись в кухню, начала переставлять посуду с места на место, потом принялась поспешно убирать кухню. Ей показалось, будто здесь недостаточно чисто. Не закончив уборку, Хе Сун вдруг побежала в соседнюю комнату, достала из сундука маленькое зеркальце, к которому не прикасалась уже много лет, посмотрелась в него, поправила волосы. Но тут ее внимание опять привлекла раковина.

Хе Сун осторожно подняла ее и понесла в кухню. Она аккуратно вынула мясо, сполоснула перламутр и опять стала смотреть на горошину. В это время за дверью послышался голос Пан Юр Ила. Она положила раковину посреди комнаты и вышла из хижины. Пусть ее муж, увидев богатство, радуется, не стесняясь своего счастья.

Хе Сун подошла к длинным жердям, на которых вялилась рыба, подвязанная травяными бечевками, и стала переворачивать ее, чтобы завтра утреннее солнце лучше просушило спинки. Но тут выбежал Пан Юр Ил и закричал, чтобы она скорей шла в дом, и уже во дворе стал расспрашивать, как это ей удалось найти жемчужную аваби. Потом они ужинали и больше не говорили о раковине, и каждый о чем-то думал.

В эту ночь Хе Сун не спалось; одна тревожная мысль не давала ей покоя. Ей хотелось скорее узнать, что́ Пан Юр Ил будет делать с жемчужиной. Утром она не выдержала и

спросила, будто между делом, как он хочет распорядиться своим богатством.

— Этого я еще не решил,— ответил Пан Юр Ил.— Наверно, куплю маленькую джонку и сети или, может быть, рис, потому что джонку могут отнять, когда будем ловить рыбу в водах «Ниппон Юки».

— Да, джонку могут отнять,— сказала она,— а рис мы съедим быстро, и его тоже не будет.

Эти слова рассердили Пан Юр Ила.

— Может быть, ты хочешь подарить жемчужину невесте сына? — сказал он, посмотрев на нее с усмешкой.

— Нет, решай как хочешь,— поспешно ответила Хе Сун.

Но Пан Юр Ил видел, что у нее есть какие-то мысли, и, хотя он знал, что ничего разумного она не придумала, все же спросил:

— А как бы ты поступила с жемчужиной?

— Как знаешь, как знаешь,— снова заторопилась она.— Я только подумала об одном деле, но ты сам решай, ты сам лучше понимаешь, как поступить с этим жемчугом.

— О каком же деле ты подумала?

— Я подумала, что, если выучить Пан Чака разбирать иероглифы, он, может быть, стал бы писцом.

Пан Юр Ил рассмеялся. Эти слова показались ему смешными. И в течение всего дня он несколько раз вспоминал о них и улыбался. Где это видано, чтобы сын рыбака учился разбирать иероглифы?

В конце концов Пан Юр Ил стал злиться, потому что все же эти глупые слова засели у него в голове и мешали думать о том, куда в самом деле истратить деньги, которые он выручит за жемчуг.

Вечером Хе Сун была молчалива и, подавая ужин, только робко и покорно смотрела на мужа. И уже совсем поздно, ложась спать и как бы размышляя вслух, заметила:

— Я думаю брать в городе стирку. У меня вполне хватит времени и для этого.— Она помолчала немного и, увидев, что муж тоже молчит, добавила: — Если брать за стирку рыбой, это как раз получится столько, сколько зарабатывает Пан Чак.

Больше она ничего не говорила, и Пан Юр Ил стал совсем мрачным.

Утром он пошел с сыном к джонке. И по дороге он думал про жемчуг. Прошло уже два дня как в его доме богатство, а он из-за своей жены никак не может решить, на что истратить деньги, которые он выручит за такую крупную жемчужину.

И вдруг Пан Чак, шедший сзади, сказал:

— Говорят, Пек Ун, что живет у седьмого затона, совсем состарился и уже не может ходить продавать свою рыбу.

Отец ничего не ответил.

— Говорят, он ищет себе мальчишку,— продолжал Пан Чак,— который продавал бы ему рыбу. За это он согласен пустить его в свою хижину и даже кормить.

— Что ты привязался со своим Пек Уном! — разозлился отец.

— Нет, я только хотел сказать, что, доведись мне учиться, я бы мог жить у старого Пек Уна, и у тебя на один рот уменьшилась бы семья.

— Замолчи ты! — крикнул Пан Юр Ил.— Все об ученье толкуют, будто в доме управляющего. Твой дед работал руками, и отец твой работает руками, а ты вдруг захотел ученым стать!

Пан Чак притих и больше ничего не сказал.

На следующий день Пан Юр Ил встал совсем рано, завернул в тряпку жемчужную раковину и взял ее с собой на рыбную ловлю. Всего полдня прошло, и еще джонка не была полной, а он уже стал поднимать паруса, чтобы идти в затон. Хорошо, что и у других рыбаков нашлись дела в городе. Он сгрузил в баржу рыбу и поплыл не домой, а вдоль берега и причалил невдалеке от хижины старого рыбака Пек Уна. Здесь он велел Пан Чаку дожидаться.

Пан Юр Ил отправился в город, узнал, сколько стоит жемчуг, и, не дав себя обмануть, продал его, получив настоящую цену. Он все еще не знал, что ему делать с деньгами. Если бы не жена со своими глупыми словами и не Пек Ун, у которого в самом деле мог бы жить Пан Чак, он давно решил бы, на что истратить деньги. На всякий случай, просто так, для интереса, он пойдет в школу и узнает, какую надо дать взятку начальнику, чтобы мальчишку приняли туда. Хотя отдавать его в школу все равно ни к чему.

Директор корейской народной школы — вышедший в отставку инспектор полиции из Нагасаки господин Харийоси — встретил его сухо.

Он сказал, что хотя занятия еще не начались, но прием закончен, и если определить мальчишку сейчас, то это вызовет дополнительные расходы, которые вряд ли рыбак сможет оплатить.

Но Пан Юр Ил почтительно осведомился, сколько все же понадобится денег.

Директор школы назвал сумму и, увидев, что кореец не удивился, спросил:

— А сколько твоему сыну лет?

— Пятнадцать,— ответил Пан Юр Ил.

— О, тогда он намного старше, чем следует! Чтобы принять такого переростка, потребуются еще и новые дополнительные расходы.

Тогда Пан Юр Ил, неожиданно осмелев, спросил, во что обойдутся эти дополнительные расходы и все другие расходы, чтобы сын мог поступить в школу.

Когда господин Харийоси подсчитал, Пан Юр Ил поклонился, извинившись, что побеспокоил такого занятого человека, и вышел.

Он прикинул, что, если дать взятку директору народной школы, и оплатить стоимость учения за год, и внести деньги за пользование помещением и за то тепло, которое придется на долю Пан Чака в оба зимних месяца, когда школу будут отапливать, у него даже кое-что останется.

Еще вполне хватит на штаны и рубаху Пан Чаку. Ведь в школе учатся дети богатых родителей, которые имеют свою торговлю, или дети служащих, и все они ходят хорошо одетыми. И кроме этого, останутся деньги, чтобы купить сыну одну палочку черной туши, и одну палочку красной туши, и кисточку, и тонкую рисовую бумагу, на которой он будет рисовать иероглифы.

Он шагал к берегу и злился на свою жену, которая первая придумала отдать сына в школу, будто сам он не сделал бы этого. Да ведь если разобраться, так он давно уже об этом думает, и она только высказала его мысли. Да и вообще он, должно быть, раньше когда-то сам говорил ей о том, что хорошо бы научить сына разбирать иероглифы.

Теперь настроение у Пан Юр Ила стало хорошим. Он решил наконец, куда истратить деньги, и решение это было твердое. Он зашел к Пек Уну, и тот охотно согласился взять к себе его сына.

Пан Чак слушал их разговор и не знал, думает ли отец учить его или хочет определить на фабрику.

Домой они плыли молча, и Пан Юр Ил был горд своим решением и тем, что сын у него будет ученым.

Дома он торжественно объявил свое решение, но Хе Сун, едва выслушав мужа, выбежала из хижины, сказав, что пойдет посмотреть, хорошо ли привязана джонка.

До берега она не дошла. Остановившись у тростниковой калитки, Хе Сун облокотилась на нее и так стояла, не вытирая слез, и они стекали по щекам.

Там и застал ее Пан Чак, когда вышел сказать, что отец

требует ужин. Она побежала в хижину, забыв вытереть слезы, и стала поспешно готовить еду.

Пан Чак был совсем спокоен и сам не мог понять, почему он не может есть. Он так сильно проголодался и еще у Пек Уна думал о еде, а теперь она совсем не шла в рот.

Когда мать посмотрела на него и, будто случайно положив руку ему на голову, спросила, почему он не ест, Пан Чак ответил, что его хорошо угостил старик Пек Ун и что ему очень хочется спать.

Мать приготовила постель; он лег, но и спать не мог. Он закрыл глаза и старался не дышать, чтобы отец не подумал, будто он не спит и не сможет завтра рано подняться. Он лежал и думал о школе.

Утром Пан Юр Ил отвез сына в Пусан.

С тех пор Пан Чак каждое утро ходил в школу. После уроков он возвращался в хижину Пек Уна, брал ведерко с рыбой и шел в японский город.

В первый день он ничего не продал. Он любовался красивыми, как на картинках, домиками, увитыми виноградом. На прямых асфальтированных улицах, чистеньких и аккуратных,— арки с разноцветными фонариками. Он любовался этими улицами и совсем забыл, что надо бить бамбуковой палочкой в медный кружок, привязанный к ведерку, иначе никто не будет знать, что он продает рыбу.

Вспомнив об этом он принялся колотить в пластинку, и вскоре из одного дома вышла японка. Она посмотрела на него, почему-то выругалась и ушла. Он направился дальше, продолжая бить в медяшку, пока его не окликнули. Из ворот показалась японка с корзиной в руках и удивленно спросила:

— А где же твой уголь?

Пан Чак улыбнулся:

— Я торгую рыбой.

— Почему же ты трезвонишь, как угольщик? Если все торговцы будут стучать в одинаковые пластинки, придется целый день бегать на улицу.

Так в тот раз он ничего и не продал. Потом ему объяснили, что его пластинка слишком толста, и он подобрал себе потоньше, чтобы его не путали ни с торговцем углем, ни с продавцом хурмы или игрушек. Он ходил из квартала в квартал и бил бамбуковой палочкой в медный кружок, как заправский торговец рыбой.

Случалось, что из домика выйдет японка, посмотрит на рыбу, скажет, чтобы он показал вот этого леща со всех сторон, потом посмотрит второго, третьего и, наконец, поморщившись, отберет самого большого.

Тогда он достает нож, быстро потрошит отобранную рыбу, счищает чешую и, сполоснув, подает покупательнице.

Чтобы не запачкать руку о Пан Чака, японка бросает на землю мелкую монету, самую мелкую, потому что сколько же можно дать за одного, хотя бы и большого, леща?

Вечером при свете кунжутки, когда старый рыбак уже спал, Пан Чак готовил уроки. И каждый день он узнавал много нового...

Пан Чак хотел только взглянуть на море и идти в город, но воспоминания нахлынули на него, одна картина сменялась другой, и он долго простоял на обрывистом берегу. Справа виднелись завод рыбьего жира компании «Ниппон Юки» и седьмой затон.

Возле старой, хорошо знакомой ему баржи Пан Чак увидел новую, такую большую, что на ней вполне могли бы разместиться все хижины с Кочжедо. Вокруг старой баржи, как и раньше, теснились джонки, и их мачты раскачивались в разные стороны. Возле новой стояло высокое рыболовное судно. Теперь уже не два, а пять резиновых рукавов всасывали и подавали рыбу наверх, на новые конвейеры. Значит, компания «Ниппон Юки» увеличила мощность завода в два с половиной раза.

Иными глазами смотрел теперь Пан Чак на японский завод. Идет война, и уже не двенадцать, а шестнадцать часов в сутки движутся конвейерные ленты. Шестнадцать часов работают насосы, и резиновые рукава, словно щупальца огромного спрута, засасывают рыбу в несметном количестве.

Три японские компании — «Ниппон Юки», «Чосон Юки» и «Чосон Чиссо» — держат в своих руках весь рыбный рынок Кореи. Бесчисленные щупальца японских магнатов присосались к рыболовецким угодьям на корейских островах и на самом полуострове, на протяжении всех двадцати восьми тысяч километров береговой линии.

С утра и до ночи к затонам идут джонки, нагруженные рыбой. Она поймана у тысячи островков, в крошечных скалистых бухточках, куда не войти большому флоту. Бесконечными вереницами тянутся джонки к затонам, чтобы дать пищу железным баржам. Но это только часть добычи. Мощный рыболовный флот круглые сутки выгребает рыбу из открытых корейских вод, чтобы накормить ненасытные баржи. А широкие резиновые рукава все сосут, и тянут, и заглатывают добычу, чтобы выбросить на конвейеры пять тысяч тонн рыбы в день.

Семьдесят шесть видов съедобной рыбы нескончаемым

потоком движутся по конвейерам в цехи, на сортировочные и разделочные площадки, в котлы и чаны. Легионы женщин с детьми за спиной, задыхаясь от зловония, перерабатывают, перемалывают, выжимают, прессуют это богатство, превращают его в удобрение, в рыбий жир, в сырье для мыла, свечей, глицерина, кислот. Десятая часть добычи — только самые высшие сорта — идет в Японию. Остальное в переработанном виде японские монополисты продают другим странам.

Полмиллиона корейцев занято добычей и переработкой рыбы. Они не в силах оторвать от своего тела щупальца трех рыбных магнатов. Как и спрут, японские монополисты отпустят свою жертву, когда высосут из нее всю кровь, когда от нее останется лишь бездыханное тело. Пока в корейских водах есть хоть одна рыба, насосы не остановятся, не прекратят свой бег конвейеры.

Пан Чак с ненавистью смотрит на завод «Ниппон Юки» и медленно спускается со скалы. Он направляется в город, и путь его лежит через нищие корейские поселки.

Нельзя терять времени. До Пусана почти восемь километров. Надо связаться с нужными людьми, действовать решительно и смело, как его приучили в партизанском отряде.

Пан Чаку хочется скорее повидать своего старого учителя Ким Хва Си. Но он не имеет права сейчас идти к учителю.

Прежде всего надо разыскать сцепщика вагонов Сон Чера. Пан Чак легко нашел его хижину на окраине города, но дома сцепщика не оказалось. Он на пристани, где железнодорожные эшелоны подаются на паром, который доставит их в японский порт Симоносеки. Там сменят под вагонами колесные пары, поставят вагоны на узкую колею, принятую на железных дорогах Японии, и состав пойдет дальше, до места назначения. Так, без задержки, следуют срочные грузы из любого пункта Кореи и Маньчжурии прямо до подъездных путей японских заводов на островах.

Чтобы не терять времени, Пан Чак идет на пристань. Он разыщет Сон Чера и вместе с ним вернется назад.

Ему надо пройти через город, растянувшийся вдоль берега на шесть километров. Центр города, с многоэтажными европейскими зданиями, широкими асфальтированными улицами и красивыми скверами в ярких цветах, он обогнет, хотя ему и хочется посмотреть, что там изменилось за это время.

Зато он пройдет по японским кварталам, по улицам, где ему довелось два года продавать рыбу.

В городе та же картина, что и на вокзале: всюду военные. Сначала Пан Чаку пришлось долго ждать на перекре-

стке, пропуская колонну моторизованной пехоты. Потом потянулись танки с открытыми люками, за ними — артиллерия. Колонны двигались из порта по направлению к станции.

Идет пополнение. Идет большая подготовка к сражению. Самураи нервничают. Чем дальше русские войска гонят гитлеровцев, тем больше самураев скапливается у советских границ. Пан Чак видел это в Маньчжурии.

Едва прошла колонна пехотинцев и люди, пропускавшие ее, начали пересекать дорогу, как появился конный обоз. Маленькие сытые кони тащили доверху нагруженные повозки, накрытые брезентом, и походные кухни.

Пан Чак успел перейти на другую сторону и углубился в японские кварталы. Он шел по аккуратным прямым улицам, где дома, увитые виноградом, почти скрыты от глаз. Те же красивые, будто игрушечные, дворики с неизменной сакурой и крошечными гротами, фонтанчиками, арками, те же фонари на симметрично расставленных столбах.

Так же, как и прежде, стучат по асфальту деревянные гэта японок, словно завернутых в кимоно, монотонно бьют в медные пластинки продавцы, толкая перед собой тележки с товаром или неся на голове корзины. То и дело попадаются мальчишки с рыбой.

Все, как было, будто и нет войны, будто рядом, по главной дороге, не движутся бесконечные колонны войск.

Война где-то далеко. Кварталы самурайской знати в Корее незыблемы. Война не может коснуться их, не может нарушить мирную жизнь детей богини Аматерасу, несущих свет Корее и всей Азии. Они под надежной защитой посланца богов на земле — великого императора. Можно спокойно жить, и каждый день вдыхать аромат сакуры, и вкушать сладость нежной хурмы.

Пан Чак идет по бесконечным кварталам японского города, раскинувшегося на корейской земле, мимо домов фабрикантов и заводчиков, коммерсантов и банкиров, мимо маленьких домиков чиновников и коммивояжеров.

Он не решился идти через бывший иностранный сеттльмент. Он сделал большой крюк и вышел прямо к порту, который распростерся внизу и был виден отсюда во всю его двухкилометровую длину.

Вдоль причальной линии стояли пароходы. На рейде и у волнолома тоже стояли пароходы и разгружали в лихтеры военное снаряжение. Тяжелые краны, похожие на железнодорожные мосты, массивные портальные краны, стальные конструкции с длинными подвижными хоботами, казалось, громоздились друг на друга.

На тонких стальных нитях в воздухе носились контейнеры, тюки, ящики, связки корзин и рогожных мешков, необъятные кипы сушеной рыбы. Огромные металлические руки подхватывали и несли в трюмы рис, руду, металл, хлопок, химические продукты. Пароходы, словно большие чудовища, заглатывали добычу.

В конце причальной линии, где виднелись узкие корпуса военных судов, по тяжелым настилам сползали с парохода танки.

Миновав порт, Пан Чак подошел к пристани паромных переправ. Он остановился далеко от причала и сел под одинокой кривоствольной сосной. Мощный катер тянул паром, на котором в три ряда стояли на рельсах железнодорожные вагоны.

Когда паром подогнали к берегу и закрепили в причальных стойках, подошел паровоз и начал вытаскивать вагоны на берег. Здесь, среди сцепщиков, Пан Чак быстро разглядел Сон Чера.

...Пан Чак ушел от Сон Чера поздно ночью.

Жена сцепщика, приготовляя рыбу к ужину, а потом убирая посуду, удивлялась про себя, что шашки стоят на доске в одном положении, а мужчины все говорят о чем-то, и спорят, и умолкают, когда она подходит к столу.

Перед тем как расстаться, они договорились держать связь, а главное, сцепщик обещал срочно сообщить учителю Ким Хва Си о том, что приехал Пан Чак.

Узнав о приезде Пан Чака, Ким Хва Си назначил сбор всей группы в хижине Пек Уна.

Пек Ун сидел на пороге своей затерявшейся в скалах хижины. Когда приходили люди и спрашивали, нет ли у него для продажи рыбы, он интересовался, какую они любят рыбу, и, если отвечали, что любят кур, приглашал в дом.

БИТВА У ФОРТА ГВАНСЕНДИН

Пан Чак сидел у Пек Уна и с волнением ждал Ким Хва Си, человека, которому был многим обязан. В те далекие дни, когда Пан Чак учился в школе, он полюбил своего учителя и не забывал его все годы партизанской жизни.

На первых порах Пан Чаку было трудно учиться, потому что он плохо понимал по-японски. Администрация школы объявила, что, заботясь об отстающих учениках, она почти половину учебного времени отводит на изучение японского языка, который в расписании уроков называется «родным».

Чтобы легче было освоить этот язык, в школе запрещалось разговаривать по-корейски. И между собой на переменах ребята, коверкая слова, тоже говорили на «родном» языке.

Занятия всегда начинались с урока морали, или, как называл этот предмет учитель Ясуда Харама, исправления корейской совести. На его уроках Пан Чак должен был уяснить себе, какой темный народ корейцы и скольким они обязаны великой японской нации, самой благородной и самой сильной из всех наций мира. Пан Чак узнал, что Японская империя благосклонно согласилась взять под свое покровительство дикую Корею и теперь, работая у японских помещиков, корейцы могут учиться культурно выращивать рис и плодовые деревья, вырабатывать рыбий жир и другие продукты.

Для блага корейского народа, говорил учитель Ясуда Харама, японцы построили здесь электростанции, заводы и фабрики, чтобы корейцы могли получить работу.

Но народ в Корее темный, и совесть в нем не развита, поэтому находятся неблагодарные люди, которые не понимают, как много для них делается добра.

Ясуда Харама был опытным преподавателем. Чтобы пояснить свою мысль, он всегда приводил примеры.

— Если у ребенка заболит зуб, — говорил он, — и врач начинает сверлить этот зуб, неразумное дитя сопротивляется, и кричит, и смотрит на доктора, как на врага, хотя доктор желает ему только добра. Родители уговаривают ребенка, чтобы он набрался терпения и был покорным. Но тот упрямится и не хочет терпеть боли. И тогда, во имя доброго дела, его держат за руки и все же зуб вылечивают. То же самое и с корейцами, — улыбается, обнажая большие квадратные зубы, Ясуда. — Япония хочет корейцам только добра, а они, по своему невежеству, не хотят набраться терпения, не хотят быть покорными. Но от этого хуже только им.

Так говорил Ясуда Харама. И, чтобы проверить, как ученики поняли урок, спрашивал:

— Что нужно для счастья корейцев?

И все отвечали, что самое главное для корейцев — набраться терпения и быть покорными, благодарить великую Японскую империю.

Каждый раз на уроке морали Ясуда рассказывал новые истории, и все яснее становилось, что без Японии корейцы давно бы погибли. Империя открыла для корейских детей народные школы, а в средних школах уже сейчас дети благородных родителей могут учиться даже вместе с японцами, и скоро таких школ будет много, надо только набраться тер-

пения. И о чем бы ни рассказывал Ясуда, становилось ясно, что надо набираться терпения и быть вежливыми и покорными, и тогда все будет хорошо.

После урока исправления корейской совести появлялся учитель истории Такасима. И от него Пан Чак узнал, что Япония — самая могущественная страна, узнал, как побеждала она во всех войнах, какие храбрые у нее флотоводцы. Он узнал, что история заранее определила судьбу самураев: они должны стать хозяевами во всем мире, и если кто вздумает сопротивляться им, обязательно погибнет.

На уроках японской религии синто, которую должны были принять корейцы, учитель рассказывал о всесильной богине Аматерасу, родоначальнице японских императоров. Вот почему император — это полубог. Он призван лишь передавать людям на землю волю Аматерасу. Значит, все, что говорит император,— это божья воля.

Один раз в неделю школьники изучали иероглифы и арифметику. Эти уроки давал учитель-кореец Ким Хва Си. Он не был таким образованным, как японские учителя, и платили ему поэтому немного. Конечно, будь он рыбаком, его заработок был бы больше, но для этого у него не хватало сил. Ученики любили его, потому что он разговаривал с ними, как с равными.

Особенно любили его отстающие. Их было пять человек, все уже большие — лет по пятнадцать-шестнадцать. Четверо из них — дети рабочих, и только Пан Чак оказался из семьи рыбака. Все остальные школьники пришли из богатых домов, и, если они отставали, им нанимали учителей. А этими пятью директор школы был недоволен и все грозил, что выгонит их из-за того, что они плохо знают японский язык.

И вот тогда Ким Хва Си вызвался дополнительно заниматься с пятеркой бедняков. Занятия проходили интересно, хотя учитель был очень рассеян. Он то и дело забывал, что надо говорить по-японски, и сбивался на корейскую речь. Сначала Ким Хва Си говорил, что это от старости он все забывает, хотя и не выглядел очень старым. Потом, чтобы не создавать путаницы, учитель и вовсе перешел на корейский язык.

И в первый же день, когда кончились занятия и учитель велел идти по домам, к нему подошел Пан Чак.

— Вы никому не рассказывайте, что говорили по-корейски,— зашептал он,— а то плохо вам будет.

— Спасибо, сын мой,— улыбнулся Ким Хва Си,— я рад, что ты все понимаешь, объясни это и другим ученикам.

Пан Чак попрощался с ним и побежал догонять товарищей

За углом школы, где двое должны были свернуть, он остановил всех и грозно сказал:

— Если кто обмолвится, что учитель говорил по-корейски, пусть тогда прощается с родителями.

Но ребята и сами понимали, что говорить об этом нельзя, и были горды доверием, которое оказал им Ким Хва Си.

На следующий день пятеро отстающих снова задержались после уроков и опять разговаривали по-корейски, и все они были взволнованы, и старый учитель видел, что мальчики сумеют сохранить тайну.

Он попросил разрешения у директора школы и впредь помогать этим отстающим ученикам и с тех пор собирал их каждый день.

Свой урок он начинал с повторения того, о чем японский учитель говорил в классе. Вот, например, на уроке морали Ясуда рассказал, что все изобретения на полуостров завезли самураи и что до их прихода в Корее умели только работать на земле, да и то плохо.

— Как лучше запомнить урок господина Ясуда? — спрашивал Ким Хва Си.— Проще всего пользоваться примерами, как и поступает господин Ясуда. Пример легче вспомнить. Ну вот, скажем, в тысяча четыреста третьем году в Корее появилась книга, написанная не рукой, а отпечатанная в типографии. Металлические буквы, из которых набирали слова, были изобретены и сделаны корейцами, а книга напечатана в Сеуле. И только спустя пятьдесят лет книгопечатание появилось в Европе.

Потом Ким Хва Си объяснил, как устроена астрономическая обсерватория, и добавил, что такая обсерватория создана в Корее раньше, чем в других странах.

Старый учитель рассказал, как японцы научились у корейцев разводить шелковичных червей, как переняли производство фарфора, искусство составлять немеркнущие краски, строить храмы.

Ким Хва Си говорил, а глаза его были закрыты. И когда он умолк, стало совсем тихо, потому что молчали все. Но Пан Чак не выдержал.

— Почему же Ясуда врет? — закричал он.— Почему он говорит, что корейцы ничего не изобрели?

— Успокойся, сын мой,— ласково ответил Ким Хва Си.— И ты так говори ему, если он тебя спросит. А сам знай правду. И если представится случай, расскажи о ней таким же, как ты.

...Каждый раз после вечерних занятий Ким Хва Си напоминал отстающим ученикам, что они должны внимательно

слушать японских учителей и быть вежливыми. А то, что им будет непонятно, пусть спрашивают у него.

Как-то вечером, поясняя утренний урок японского учителя, Ким Хва Си рассказал о походе в Корею американской эскадры в 1871 году.

— Об этом походе,— сказал учитель,— писали все газеты: и наши — тогда еще выходили газеты на корейском языке,— и американские, и японские.

Неожиданно выяснилось, что этот поход близко касается Пан Чака. Он внимательно слушал все, что говорил учитель.

— Семьдесят лет тому назад,— начал Ким Хва Си,— когда Корея еще не была под властью самураев, из нью-йоркского военного порта вышла эскадра и взяла курс к японским островам. На флагманском корабле «Колорадо» был поднят флаг командующего флотом контр-адмирала Джона Роджерса.

Ким Хва Си и ребята сидели на циновках тесным кругом, и учитель так хорошо рассказывал, что вскоре Пан Чак как бы перестал слышать слова, и его воображению представлялись события, будто он видит все, о чем говорит учитель.

Вот эскадра пересекла Тихий океан и бросила якорь на рейде порта Нагасаки. В Японии ждали прихода военных судов Соединенных Штатов и приготовили все необходимое для дальнейшего плавания. И пока снабжались корабли, команду обучали десантным операциям. Матросы практиковались штурмовать скалистые острова, офицеры проверяли карты Желтого моря.

Через две недели эскадра снова тронулась в путь.

Впереди шел флагманский корабль «Колорадо» под командованием капитана первого ранга Купеда, за ним «Аляска» и «Венеция» во главе с капитанами Блэйком и Кемберли. Замыкали колонну «Монокаси» и «Паллос» с опытными морскими офицерами Маккри и Рохуэллом на капитанских мостиках.

И рыбаки с острова Кочжедо и Чечжудо, с Чиндо и Начжю, с Когундо и Анминдо и с сотен других островов видели, как величественно и торжественно плывет эскадра, огибая Корейский полуостров, и как плещутся на реях красивые голубые флаги, все в звездах, будто небо. И все видели длинные стволы орудий, закрытых брезентовыми чехлами, и кожаные донышки чехлов, обращенные к ним.

Эскадра шла мимо островов и заливов, мимо гаваней, бухт и якорных стоянок, вдоль изрезанных берегов Желтого моря, все дальше в глубь внутренних вод Кореи.

Рыбаки, присев на корточки, крестьяне, разгибая спину на рисовых полях, женщины, что стирали на камнях белье, заслоняли руками солнце и смотрели на корабли и голубые флаги, на черные стволы орудий, на которых уже не было чехлов, и смотрели друг на друга.

Они настороженно вглядывались в морскую даль, откуда корабли приближались к ним, и облегченно вздыхали, видя, что эскадра проходит мимо. Они провожали ее взглядом и снова брались за работу. И долго еще потом поглядывали в ту сторону, где виднелся только далекий дымок от кораблей.

Эскадра миновала порт Инчхон и бросила якорь у острова Курадо, близ устья реки Ханган. Здесь и встретила заокеанских гостей делегация из Сеула в составе восьми человек.

Контр-адмирал Роджерс приказал матросам схватить неизвестных и обыскать. Когда выяснилось, что это представители корейского правительства, официально посланные из столицы, чтобы узнать, в чем нуждается эскадра, Роджерс приказал передать им:

Первое. Он не находит их чины достаточно высокими для того, чтобы разговаривать с ним, командующим флотом США.

Второе. На канонерской лодке он пойдет по реке Ханган до Сеула.

Третье. В Сеуле он сообщит условия, на которых американцы готовы принести цивилизацию туземному населению Кореи, о чем Штаты согласились заключить с ней договор.

Корейцы выслушали все, что им сказали.

В ответ делегаты попросили передать контр-адмиралу, что корейское правительство именно так и предполагало, что военные корабли везут с собой цивилизацию. Но народ Кореи еще не готов принять американскую цивилизацию, и потому корейское правительство просит не вести с ним переговоров. Оно может сейчас же снабдить эскадру продовольствием и топливом, и пусть корабли оставят корейские воды и плывут домой или к берегам других стран, где, возможно, нуждаются в цивилизации больше, чем здесь.

Сказав это, корейцы удалились.

В тот же день контр-адмирал Роджерс снарядил «Монокаси» и «Паллос» и поручил лучшему своему командиру Блэйку, по прозвищу Морской волк, отправиться в устье реки Ханган и расчистить ему дорогу до Сеула.

Блэйк тотчас приказал обоим кораблям поднять якоря.

У острова Канхва, прикрывающего путь в устье, береговая охрана дала сигнал кораблям — повернуть назад. Но ученик и помощник Роджерса капитан второго ранга Блэйк не мог подчиниться приказу неизвестных ему людей. Он велел

навести орудия на ясно видимый форт и продолжал свой путь. Тогда береговые батареи дали предупредительный залп.

Блэйк без труда определил калибр стрелявших орудий. Это оказался мелкий калибр, не страшный для военных судов. И он отдал приказ:

— Заставить замолчать орудия напавшего на нас противника.

И тут заговорили стволы тяжелых корабельных орудий. Орудийный грохот не умолкал, пока не был выполнен приказ Блэйка. Корейские пушечки словно градом осыпали корабли снарядами, но пробить броню, как правильно предвидел Блэйк, не смогли. А небольшая трещина на судне появилась потому, что капитан неловко разворачивал его и оно ударилось о скалу.

Блэйк приказал прекратить огонь. Но тут еще одна пушечка начала стрелять с берега, да так часто, будто из пулемета. Все корабельные орудия повернули жерла в ту сторону, откуда шла стрельба. После нескольких залпов огонь с берега стал реже. Пушечка уже стреляла с большими неравными перерывами. Тогда Блэйк приказал высадить десант и сам возглавил его, чтобы живьем взять этот упрямый расчет.

Блэйку и его людям удалось незаметно подползти к орудию сзади, и все увидели возле пушки корейца. Весь мокрый и красный от пота и крови, он ползком подтаскивал снаряд, волоча перебитую ногу, сам заряжал пушку и сам же дергал шнур.

И когда он обернулся на голоса и поднял голову, пришельцы увидели его лицо и глаза, и никто не мог выдержать этого взгляда, и никто не решался приблизиться к нему, чтобы взять его живым. Но когда он потянулся рукой за камнем, Блэйк выстрелил в него, и все начали стрелять, чтобы тот перестал наконец так смотреть и чтобы поскорей покончить с этим делом.

В корейца попали сразу. Из-за перебитой ноги он не прятался в скалах и, должно быть, не видел, куда прятаться, потому что глаза у него были залиты кровью. Он успел только посмотреть еще раз на чужестранцев и выкрикнуть какие-то слова. Но что это были за слова, нельзя было понять: матросы не знали корейского языка. И только Блэйку, видно, что-то почудилось, потому что в ответ он выругался и прошипел:

— Будь ты сам проклят, сумасшедший!..

После того как убили корейца, путь к следующему форту был открыт, и разведчики доложили, что впереди на этом острове еще пять фортов.

Капитан второго ранга Блэйк принял решение не идти дальше. Надо было сдать раненых и получше заделать трещину в корпусе судна. Вместе со своими кораблями он вернулся назад, доложил контр-адмиралу обстановку и сказал, что защищают форты фанатики.

Контр-адмирал остался недоволен рапортом. Он вызвал к себе Кемберли и сообщил, что Блэйк не оправдал его надежд.

— Вам, капитану второго ранга Кемберли,— сказал он,— я поручаю показать этим туземцам, что такое наш флот. Приказываю: войти в устье Ханган и подавить все форты до Сеула. В вашем распоряжении, кроме двух кораблей, будут четыре моторных баркаса, двадцать лодок, шестьсот пятьдесят матросов морской пехоты, три десантные артиллерийские батареи и саперная рота.

Кемберли с благодарностью принял приказ. С такими силами можно шутя уничтожить корейские форты.

И действительно, за два дня он овладел четырьмя фортами.

Опытные артиллеристы действовали точно и уверенно, и, когда морская пехота высаживалась на берег, ей оставалось только добивать раненых. Казалось бы, все шло хорошо, и Кемберли был доволен. Вызывало досаду лишь то, что матросы как будто приуныли. Их, должно быть, удивляло упрямство корейцев, которые не могли понять, что имеют дело с таким мощным флотом. Они не понимали бесполезности сопротивления, поэтому сражались и гибли, вместо того чтобы поднять руки и остаться в живых. А вместе с ними гибли и матросы.

Уже немало их полегло, когда корабли подошли к форту Гвансендин.

Артиллерия форта была без труда подавлена, и десант в пятьсот человек высадился на берег. Грозные пришельцы тогда не знали, что на помощь гарнизону форта подоспели охотники на тигров с бамбуковыми пиками и охотники на птицу, знаменитые лучники, которые на лету попадают в шею чайки. Вместе с гарнизоном это был большой отряд, в двести шестьдесят три человека.

Они залегли в глубине форта, и каждый припас вокруг себя много камней. Как только десант ринулся на штурм, в рядах матросов произошло замешательство, потому что все, кто был впереди, оказались пораженными стрелами.

По приказу Кемберли, десант залег и, продолжая вести непрерывный огонь, начал ползком окружать корейцев. И хотя со всех сторон в моряков летели камни и стрелы, они продвигались вперед, нанося противнику большие потери

После трехчасового боя Кемберли понял, что у корейцев нет больше стрел, потому что они отбивались только камнями.

Капитан второго ранга Кемберли, как опытный командир, сумел использовать новую обстановку и изменил тактику. Он учел, что корейцев осталось немного, и приказал морякам броситься в атаку. Никто ведь не мог предположить, что там засели охотники на тигров, которые привыкли один на один сражаться с хищниками. Корейцы оказались в более выгодном положении. В рукопашной борьбе карабины матросов играли небольшую роль. В этой схватке заокеанские моряки и понесли главные потери.

Но Кемберли понял, какие откроются преимущества у моряков, если им удастся оторваться от корейцев, не имевших огнестрельного оружия. По его приказу моряки бросились назад, и этот маневр удался, потому что корейцы замешкались, расправляясь с теми, кого настигали, а моряки бежали беспрепятственно.

Теперь положение резко изменилось в пользу матросов. Почти в упор они расстреливали противника. Им еще помогла ошибка корейцев, которые, вместо того чтобы снова залечь, в азарте продолжали бежать вперед и, если видели, что им не удается настичь моряка, метали в него копье, оставаясь совсем безоружными.

После того как победа была одержана, Кемберли приказал подобрать и подсчитать своих раненых и убитых. Выяснилось: потери моряков превышают триста человек.

Земляной вал форта Кемберли приказал разрушить и собрать военные трофеи. Но моряки не стали брать трофеев. Пушки были разбиты, а одежда на корейцах плохого качества и в крови. Никто не тронул и трех женщин с целой кучей детей, выскочивших из какого-то подвала, когда, по приказу Кемберли, моряки начали поджигать уцелевшие дома.

Теперь капитан второго ранга мог спокойно возвращаться к командующему флотом. Тот узнает, каковы потери, и поймет, как храбро сражались матросы, поймет, что с оставшимися силами двигаться дальше нельзя.

И действительно, контр-адмирал разобрался в обстановке и обещал представить Кемберли к награде. Он понял, что к Сеулу надо идти с бóльшими силами. Выслушав рапорт, он ушел в свою каюту и через час дал приказ поднять якоря.

Матросы, оставшиеся в живых, были рады: эскадра взяла курс к родным берегам.

Когда моряки покинули форт, три женщины и дети при-

бежали на поле боя. Оказалось, что только девятнадцать корейцев осталось в живых.

Так закончил свой рассказ учитель Ким Хва Си.

— Но и эти умерли от ран! — не сдержав себя, выкрикнул Пан Чак.

Все с удивлением посмотрели на него.

— Верно,— сказал учитель,— но откуда ты знаешь об этом?

Пан Чак опустил глаза и тихо сказал:

— Я не знал, как все это произошло, но в форту Гвансендин погиб мой дед. И отец, которому было тогда пять лет, запомнил похороны. Он и рассказал мне, что ни один человек не остался в живых.

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Два года Пан Чак проучился в школе, но внезапно его жизнь резко изменилась.

Однажды учитель Ясуда проверял, как ученики усвоили задание — историю шестилетней японо-корейской войны. Пан Чак с нетерпением ждал звонка. Он избегал смотреть на учителя, прикидывая в уме, когда же, наконец, начнется перемена.

В это время Ясуда закричал на отвечавшего ученика:

— Садись, двадцать процентов! Ты никогда ничего не учишь! Напрасно я тебе прошлый раз поставил шестьдесят процентов. Ты не заслужил такой высокой отметки.

Класс затих, притаился. И в этой тишине прозвучали слова Ясуда:

— Пан Чак!

Юноша встал.

— Расскажи о походе генерала Хидэёси и о том, как он разгромил корейскую армию.

Когда Пан Чак стал отвечать, у него еще не было определенного плана. Он хорошо знал урок и все же сильно волновался.

— В древней столице империи Ниппон, в городе Киото,— начал он,— и поныне возвышается над домами большой холм. В нем зарыто тридцать тысяч носов и ушей, отрезанных Хидэёси у непокорных корейцев. Холм воздвигнут в тысяча пятьсот девяносто восьмом году в честь победы японского оружия...

— Правильно, Пан Чак,— перебил его Ясуда.— Если хорошо расскажешь, как была одержана эта победа, получишь

восемьдесят процентов, а может быть, и самую лучшую отметку.

— Император высоко ценил генерала Хидэёси,— продолжал Пан Чак.— Его военный талант и его ум были так велики, что он решил объединить под руководством Японии Китай, Корею, Филиппинские острова и Индию и создать могущественную державу. И, приняв такое решение, он отправил корейскому королю послание.

Пан Чак открыл тетрадь и прочитал:

— «Начиная мои завоевания, я решил, что наше войско проследует в Корею и Китай и заставит населяющие их народы принять наши нравы и обычаи и подчиниться нашему божественному повелителю. Тебе, королю Кореи, сим предписывается добровольно присоединиться к нам, во главе твоих воинов, когда мы двинемся через Корею в Китай...»

Пан Чак отложил в сторону тетрадь и продолжал:

— Но корейский народ не послушался доброго совета, и Хидэёси со своей могучей армией и флотом двинулся на Корею.

Ученики смотрели на Пан Чака и видели, что он бледен, и не понимали, что с ним происходит: отвечал он хорошо и урок знал твердо. А Пан Чак выпалил, почти закричал:

— Но простой корейский флотоводец Ли Сун Син вдребезги разбил великий флот вашего великого Хидэёси!..

Пан Чак задыхался и больше ничего не мог сказать. Испуганные взоры всего класса обратились на учителя Ясуда, который медленно приближался к Пан Чаку. Учитель спокойно смотрел на Пан Чака и даже улыбался, но глаза его не были видны, потому что он носил темные очки.

— Ты очень хорошо отвечал,— сказал он наконец,— может быть, ты ответишь также, кто выучил тебя этому?

Пан Чак стоял и не знал, что делать дальше, а Ясуда подошел к нему и, улыбаясь, ударил его толстой линейкой по лицу и выбежал из класса.

Еще не умолк шум, поднявшийся в классе, как в дверях показался полицейский.

В полиции Пан Чака долго допрашивали, били, снова допрашивали, а потом отвезли в тюрьму, где он просидел целый год.

С тех пор прошло почти шесть лет. И вот сейчас он снова увидит своего учителя...

Ким Хва Си вошел в хижину. Пан Чак рванулся навстречу, и старый учитель обнял его и долго не отпускал, гладя рукой по спине и приговаривая:

— Богатырь мой, горячая голова, горячая голова!..

Так они стояли, прижавшись друг к другу,— сильный, широкоплечий Пан Чак и маленький седой учитель. Стояли, обнявшись,— боевой партизан, испытавший свои силы в открытых боях с врагом, и старый коммунист-подпольщик, профессиональный революционер.

— Мы еще вспомним старые времена, учитель,— сказал наконец Пан Чак.

— Да, сейчас не время для воспоминаний, вот и товарищи пришли.

И в самом деле, четыре товарища, которых пригласил Ким Хва Си, уже были в сборе.

Кроме Сон Чера, пришли помощник диспетчера Ли Шин, шлаковщик То Пен с порохового завода Тиссо Каяки и безработный Ри.

Ким Хва Си пригласил собравшихся сесть и сам опустился на циновку. Он сказал, что все, кто должен здесь присутствовать, явились и можно начинать совещание. Первое слово он дал гостю.

Пан Чак рассказал о положении на фронтах.

— Уже в первые месяцы войны,— сказал он,— в начале сорок второго года самураям удалось одержать большие победы.

Япония захватила Гонконг, Британскую Малайю, Голландскую Индию, Филиппинские острова, Сингапур, часть Бирмы. Но после того как гитлеровцев разгромили на Волге, положение начало резко меняться. А теперь свои главные силы самураи накапливают у советских границ.

Пан Чак подробно рассказал о том, что русские одержали ряд побед и гонят гитлеровцев с территории Советского Союза, об освобожденных районах Китая, где ему удалось побывать.

Потом говорил Ким Хва Си.

— Главная задача,— сказал он,— которая сейчас стоит перед нами, заключается в том, чтобы всеми мерами расстраивать средства сообщения самураев. Мы должны задерживать стратегическое сырье, отправляемое из Маньчжурии и от нас в Японию, мы должны задерживать грузы, идущие с японских островов сюда. Для того чтобы хорошо справиться с этой задачей,— продолжал Ким,— у нас много возможностей. К нам приехал опытный минер товарищ Пан Чак, который обучит нас минноподрывному делу.

Ким Хва Си снял очки и оглядел присутствующих. Он хорошо знал каждого и гордился тем, что воспитал из этих простых рабочих стойких революционеров. Как бы продолжая вслух свои мысли, Ким сказал:

— Теперь настало время действовать. Успех дела зависит от нас. Каждый получит важное задание. Вот Ли Шин должен точно узнавать и сообщать нам обо всем, что делается на станции: какие грузы прибывают, какие отправляются, откуда и куда идут, как охраняются стрелки, депо, экипировочные устройства. Тебе, Ри, придется наблюдать за движением грузов в порту. Конечно, сами мы уследить за всем не сможем. Нужно теснее связаться с рабочими союзами.

— Но разве нас поддержат, ведь у них иные задачи! — возразил Ри.— В союзе башмачников главный лозунг — «взаимная дружба», в союзе резинщиков — «пополнение знаний», в союзе металлистов — «развитие самосознания»...

— Ты прав, Ри,— согласился Ким Хва Си.— Наша задача в том и состоит, чтобы объединить все национальные силы. Цель наша ясна — свергнуть японское иго. Под этим лозунгом можно сплотить не только рабочих. Владелец соседней мельницы тоже пойдет за нами, потому что не выдерживает конкуренции японских механизированных мельниц. По той же причине нас поддержат и владелец канатной фабрики и хозяин рыбокоптильни. Интересы у нас, конечно, разные, но, чтобы свергнуть японское иго, надо объединить и использовать все эти силы.

Никто не возразил Ким Хва Си. Было решено шире распространять правду о положении на фронтах, найти способы дезорганизовать японский транспорт.

Каждый вечер, когда город уже отходил ко сну, Ким Хва Си доставал спрятанные в огороде наушники и, сев у очага, нащупывал между кирпичами два металлических стерженька. Он подключал к ним наушники, потом нажимал кнопку выключателя, также тщательно замаскированного в кирпичах, и в наушниках раздавался звук.

Учитель записывал сводки советского радио.

У Ким Хва Си много учеников. И среди них всегда есть отстающие. Если ребята приходят к нему домой, это ни у кого не вызывает подозрений. Все знают, что старик Ким бесплатно учит детей.

У Ким Хва Си четыре отстающих ученика. Каждому он дает листовку, и ребята под его наблюдением переписывают ее по нескольку раз. Потом они уносят с собой листовки или сводки, чтобы передать отцу, брату, соседу, а то и незаметно бросить у заводских ворот.

Пока ученики переписывают сводку, они выучивают ее содержание на память. Каждый должен рассказать соседям

или знакомым то, что он выучил. Люди уже привыкли, что ребята знают все новости, и сами обращаются к ним с расспросами.

С приездом Пан Чака у Ким Хва Си прибавилось дел. Раньше все его усилия были направлены на одну цель — разоблачать лживую пропаганду самураев. Теперь надо сделать следующий шаг — надо помешать движению их транспорта, а в этом деле он не чувствует себя сильным: нет опыта.

Ким Хва Си удалось быстро устроить Пан Чака на работу. У старого безобидного и доброго учителя Ким Хва Си было много друзей. Его знали рыбаки, которые приходили к нему, чтобы он написал им прошение или прочитал очередной приказ и объяснил, где же наконец можно ловить рыбу, если все воды и так уже заняты «Ниппон Юки», а теперь каждый день объявляются новые запретные зоны, военные корабли стреляют по рыбачьим джонкам и неизвестно, куда деваться.

К нему приходили и рабочие поблагодарить за то, что он бесплатно учит их детей, а заодно послушать, что делается в мире, и узнать, когда же станет хоть немного легче жить.

Его уважали за ученость и рассудительность, за умение разобраться во всех событиях и дать нужный совет. И когда понадобилось срочно устроить Пан Чака на работу, учитель, не раздумывая, пошел к владельцу мельницы.

Мельника он знал давно и старался поддерживать с ним хорошие отношения, хотя люди с мельницы не любили своего хозяина. Он заставлял их работать по шестнадцать часов, а некоторые простаивали у жерновов круглые сутки и трудились день и ночь с короткими перерывами для сна и еды.

Здесь, в доме мельника, иной раз собирались такие же мелкие предприниматели, как он сам, приходил сюда и сын крупного капиталиста Тян Ик Юн, недавно окончивший университет в Токио. Посещали дом мельника и местный священнослужитель и зубной врач.

О чем бы ни говорили гости, разговор всегда сводился к японскому засилью. И каждый высказывал недовольство, потому что японцы получают куда бо́льшие барыши, чем они. А после начала войны с Америкой самураи стали вытягивать из корейских промышленников все соки. Налоги увеличились почти втрое. Даже зубному врачу приходится работать чуть ли не в убыток. И Тян Ик Юн был недоволен, хотя занимал пост инженера на военном заводе Тиссо Каяки.

— О, он совсем не похож на корейца! — говорил хозяин

завода о своем инженере.— У него очень развита сообразительность. Он настоящий японец.

Эти похвалы оскорбляли Тян Ик Юна, и хозяин становился все больше ненавистен ему.

Конечно, Тян Ик Юн мог уехать в Сеул и работать на заводе отца, который только этого и ждал, но, после того как они поссорились, Тян Ик Юн ни за что не пойдет к нему на поклон.

Были свои обиды на японцев и у священнослужителя. Словом, разговор сводился всегда к тому, что хорошо бы наконец избавиться от самураев.

Ким Хва Си пришел к мельнику и попросил его принять на работу шофера Пан Чака. Мельник не удивился просьбе Ким Хва Си. Ведь старый учитель постоянно о ком-то печется, кого-то устраивает, пишет для кого-то жалобы, хлопочет о чужих делах. Ким Хва Си сказал, что хорошо знает шофера и обижаться мельник не будет.

Так оно и оказалось в действительности. Мельник только недавно приобрел грузовую машину и радовался, что нашел опытного водителя, который безотказно работает и днем и ночью, хотя положено работать всего четырнадцать часов. Оставалось подобрать ему такого же помощника. Но Пан Чак сам привел откуда-то тихого человека, по имени Ри, способного тоже работать сколько угодно и ни на что не жаловаться. Мельник не возражал: ведь вдвоем они обходились без грузчиков и даже без слесарей, потому что в случае необходимости могли сами произвести нужный ремонт.

— Добросовестные люди,— говорил про них мельник,— понимают, что если и приходится немного лишнего поработать, то ничего уж тут не поделаешь: время военное.

Мельник знал, что с этими молодцами он легко сладит. Ясно ведь, не будет у них работы, живо попадут добровольцами в армию.

Пан Чак тоже был доволен: он получил возможность ездить в порт и на станцию и видеться с нужными людьми. А главное, вместе с ним теперь постоянно находился его помощник — Ри, с которым можно было обо всем посоветоваться. А кроме того, каждый из них мог отлучаться когда угодно.

И все же Пан Чак испытывал чувство неудовлетворенности. Он привык сражаться с врагом врукопашную, взрывать его склады, машины, эшелоны. Поэтому здесь он не чувствовал себя настоящим участником борьбы.

Правда, помощник диспетчера Ли Шин с группой железнодорожников кое-что делает, чтобы опаздывали поезда, а несколько дней назад им удалось даже создать пробку на стан-

ции. Ким Хва Си принимает горячее участие в их работе, немного помогает и Пан Чак. Но разве так выведешь надолго транспорт из строя? А главное, об их действиях никто не знает.

Вот в Маньчжурии после каждого удачного налета партизан отряд пополнялся новыми людьми. И здесь хорошо бы дух людей поднять.

Об этом думал Пан Чак последние дни, да и сегодня, когда их грузовик застрял в пробке возле моста, возведенного между Пусаном и островом Чорендо. По мосту в три колонны шли воинские машины. И тут ему пришла в голову мысль взорвать этот мост, единственный мост, соединяющий город с островом, где находятся десятки заводов.

Он соскочил с машины и стал мысленно прикидывать, куда бы можно было заложить взрывчатку. Все водители, ожидавшие, пока пройдут воинские машины, тоже стояли и бесцельно смотрели по сторонам. Потом путь открылся, и они поехали, и Пан Чак на ходу рассказал свой план Ри. Тому план понравился, но он предложил прежде всего посоветоваться с Ким Хва Си.

Учитель выслушал Пан Чака, покачал головой и сказал:

— Может, и не стоит взрывать мост, но запастись взрывчаткой уже давно пора. Постарайтесь добыть ее, а потом мы еще поговорим.

На следующий день Пан Чак встретился со шлаковщиком То Пеном, который работал на заводе Тиссо Каяки, выпускавшем порох и другие взрывчатые вещества.

Пан Чак сказал:

— Хватит у тебя смелости похитить на заводе взрывчатку?

То Пен долго сидел и думал, а потом ответил:

— Смелости-то у меня хватит, потому что нам всем тяжело готовить оружие против своих братьев, и хорошо, если оно обратится против японцев. Целые толовые шашки достать не удастся, а вот битые можно взять, этого никто не заметит. Но вынести их нельзя. Даже такого кусочка тола, как маленький каштан, с завода не вынести.

— Почему же такой кусочек, как маленький каштан, нельзя пронести? — хмуро спросил Пан Чак.

То Пен видел, что Пан Чак недоволен и, может быть, думает, будто он просто боится браться за такое опасное дело. Поэтому сказал:

— У выхода с завода, близ самых ворот, есть контрольный

пункт. Мы раздеваемся там догола, сдаем рабочую одежду японцу и получаем у него свои халаты. И охрана следит, чтобы к тебе никто не подходил, пока ты не выйдешь на улицу. Поэтому вынести с завода ничего нельзя.

— Жалко,— произнес Пан Чак, глядя в сторону.— Вот было время, когда казалось, уже никак нельзя было удержать осажденный Сталинград, но русские не сдали его...

Больше они в тот вечер не говорили.

Но слова Пан Чака запали в душу То Пена. На следующий день пришла весть, что русские одержали большую победу под Курском. Это была такая грандиозная победа, что о ней говорил весь народ. Несколько человек собралось у Пек Уна, хотя о встрече не договаривались.

Старый рыбак достал из глубины ниши узенький кувшинчик сури, шесть кружков моллюска аваби, щупальце осьминога и предложил гостям закусить.

— Теперь скоро русские добьют фашистов,— говорил он.— Это уже ясно. И в честь такого дела не жалко поставить на стол все, что я припрятал для своих поминок. Я думаю, их придется отложить.— И он засмеялся.

Кто-то сказал:

— Сейчас мы послушаем сообщение, которое Ким Хва Си принял по радио из Москвы.

Старый учитель достал тонкий, мелко исписанный лист бумаги и начал читать:

— «5 июля 1943 года немецкое командование, сосредоточив в районе Курского выступа только на фронте от Орла до Харькова четыреста тридцать тысяч солдат и офицеров, более трех тысяч танков, около семи тысяч орудий, свыше трех тысяч минометов и около двух тысяч самолетов, начало самое крупное наступление, из всех ранее известных. Враг рассчитывал окружить и уничтожить советские войска в излучине Курской дуги, а затем двинуться на Москву. Большие надежды он возлагал на неожиданное применение новых тяжелых танков «тигр» и «пантера» и на самоходное орудие «фердинанд».

Советское командование разгадало замысел врага, хорошо подготовилось к обороне, измотало гитлеровские войска и перешло в решительное наступление...»

— Так-так-так,— радостно закивал Пек Ун.

Но все зашикали на него, и он прикрыл пальцами рот, показывая, что будет молчать. Ким Хва Си читал дальше, перечислял потери гитлеровцев в живой силе и технике, а Пек Ун качал головой и, поражаясь, причмокивал губами, но никто его уже не упрекал, потому что все были поражены.

— «Советские войска,— читал Ким Хва Си,— разгромили на Курской дуге в невиданных по масштабу боях лучшие гитлеровские части, еще раз продемонстрировали перед всем миром мощь Красной Армии. Победоносное наступление советских войск продолжается».

Все слушали, и улыбались, и потирали руки, а когда Ким Хва Си кончил читать, Пек Ун предложил выпить за великую русскую армию рабочих и крестьян. И все выпили сразу по две порции сури, чтобы потом уже не отвлекаться и поговорить о радостных новостях.

И больше всех говорил и суетился Пек Ун. Он попросил, чтобы ему снова прочитали то, что сообщают из Москвы. И когда Ким Хва Си выполнил его просьбу, старик сказал:

— Теперь прочти еще один раз про то, сколько этих собак взяли в плен, только читай медленно.

Все засмеялись и тоже захотели вновь послушать сводку.

Пек Ун не умолкал ни на минуту, дергал всех за рукава, чтоб его слушали, и приглашал каждого есть, не стесняясь.

Он стал рассказывать про свои молодые годы, про те времена, когда и люди были смелее и не жалели жизни, сражаясь с врагом. И он смеялся коротким старческим смехом.

Никто не заметил, как Пан Чак отошел в сторону и загрустил. То Пен уже не слушал, а смотрел себе под ноги. Потом все стихло, и только Пек Ун суетился, удивляясь, почему всем вдруг стало скучно.

— Русские фашистов добивают, подождите, скоро до самураев доберутся,— не унимался старик.

— Вот мы и ждем! — зло отозвался Пан Чак.

Потом улыбнулся и добавил не то в шутку, не то всерьез:

— Видишь, сидим и ждем.

После этих слов То Пен заторопился домой, вслед за ним и другие спохватились, что уже поздно и пора уходить. Пек Ун вышел первым поглядеть на рыбу которая сушилась вокруг хижины, а потом по одному стал выпускать гостей.

На следующий день Пан Чак поздно вернулся домой и удивился, увидев То Пена.

— Что случилось? — быстро спросил Пан Чак, оглядывая хижину.

— Нет, пока ничего, только нигде хорошего клея достать не могу, а рыбий клей слабо держит.

Пан Чак посмотрел на То Пена, ничего не понимая. А тот не стал дожидаться новых вопросов и рассказал, что ему приходится каждый день чистить топки и сваливать шлак в углу заводского двора. Там в большой куче и мелкая зола, и куски шлака величиной с редьку, а есть даже такие, как

тыква. Скоро эту кучу будут вывозить с завода на свалку за город. Когда грузят шлак, возле машин стоит охрана. Но если заранее куски тола хорошо смазать клеем и швырнуть их в золу, зола пристанет к ним, и можно будет подумать, что это просто слипшийся шлак. Никто не обратит на них внимания.

— Вот как ты придумал! — взволнованно заговорил Пан Чак.— Клей найдем, завтра же клей будет здесь!

— Если я попадусь и меня арестуют,—помолчав, продолжал То Пен,— то вы следите, когда будут вывозить шлак, и хорошо поройтесь в нем, потому что, может быть, я все-таки успею набросать туда взрывчатки.

Наутро Пан Чак не мог выехать из гаража. Оказывается, три камеры вышли из строя.

— Гнилая резина,— сокрушался он, объясняя хозяину, почему так получилось. И тут же пообещал быстро заклеить камеры. Он только походит по городу и поищет хороший клей.

Вечером в хижину Пек Уна пришел Ким Хва Си. Он выслушал Пан Чака и остался доволен.

На следующий день То Пен взял с собой на работу не гаолян, как обычно, а рыбную похлебку. Проверяя, что несет рабочий в своей обеденной жестяной банке, контролер в проходной лишь пожал плечами: чего только не едят люди! И действительно, в большой банке с липкой густой массой плавало всего три-четыре крошечные рыбки.

Весь день То Пен выбирал из печей шлак в железную тележку и отвозил его на свалку. В цехах ему удалось подобрать не только куски битого тола, но и несколько целых толовых шашек. Опоражнивая тележку, он успевал между делом опустить тол в рыбную похлебку и бросить его на кучу золы. Потом он аккуратно подгребал золу лопатой и снова направлялся с тележкой в цех.

Несколько дней То Пен брал с собой на обед все ту же густую мутную похлебку, и хотя есть ее было нельзя и ему приходилось голодать, но похлебки не оставалось, а в иные дни ее даже не хватало.

Когда шлак вывезли с завода, старый рыбак Пек Ун и Ри, прихватив корзины, отправились на берег к шлаковой горе и долго возились там. Проходивший мимо полицейский не обратил на них внимания, потому что здесь всегда рылись бедняки в поисках кусочков несгоревшего угля.

Вскоре тол, очищенный от шлака, был надежно спрятан в скалах

КОНЦЕССИЯ ГОСПОДИНА МОРЗА

Пан Чак каждый день собирался съездить домой на остров Кочжедо и никак не мог решиться на это. Ведь остаться там он не сможет, а его появление только расстроит мать.

Но после того как добыли взрывчатку, он твердо решил повидаться с матерью. Кто знает, сможет ли он сделать это потом...

На берегу он нашел рыбака, который как раз собирался плыть на остров и охотно согласился подвезти Пан Чака.

Сидя на корме и ловко орудуя веслом, похожим на лопату, рыбак быстро отчалил от берега. Потом бросил весло в джонку и стал натягивать парус.

Пан Чак помог ему, и рыбак понял, что этому человеку не раз доводилось ставить паруса из морской травы и что в этом деле он не новичок, хотя озирается во все стороны так, будто впервые попал на плоскодонку.

Попутный ветер сильно натянул парус, и лодка шла быстро. Уже через полчаса они обогнули остров Кадокдо. И чем дальше плыли мимо знакомых островков и скал, тем тяжелее становилось на душе у Пан Чака.

Сколько раз он проезжал эти места с отцом! Как не хотелось отцу покидать остров! Но после ареста Пан Чака ему уже было здесь не житье. Компания «Ниппон Юки» отобрала джонку, да и на берегу закидывать сети запретили. А разве удочкой много наловишь!

Целый год, пока Пан Чак сидел в тюрьме, отец возился с этими удочками, но, когда сына выпустили, Пан Юр Ил сказал:

— Теперь я пойду на завод.

Он ни разу не упрекнул сына и ни о чем не расспрашивал, хотя Пан Чак понимал, что отец осуждает его поступок.

Старый рыбак начал искать работу.

Он вставал рано утром и посылал сына на берег с удочками, а сам на попутной джонке или на плоту уезжал в Пусан.

Он обошел все заводы и фабрики в городе, побывал в порту, на железнодорожной станции, в трамвайном депо, но работы не было.

Утром, когда опускали разводной мост между Пусаном и островом Чорендо, он отправлялся туда — может быть, там легче устроиться: ведь заводы и фабрики заняли весь остров.

На судостроительном заводе Мицубиси и Тотаку его уже приняли было на выгодную работу грузчика, но тут выяснилось, что сын Пан Юр Ила сидел в тюрьме, и его прогнали.

Так же поступили с ним и на канатной фабрике и на дизельном заводе Тогу. Но Пан Юр Ил упрямо ходил и искал работу.

На резиновой фабрике Санва Гому Кайша и предприятиях Босэки Пан Юр Илу сказали, что его взяли бы, будь он помоложе. На фабрике искусственного шелка Асахи отца согласились принять, но у него не оказалось двадцати вон залога. Так он обошел около ста заводов Пусана и Чорендо.

Отец искал работу, а Пан Чак сидел на берегу с удочками. Он ловил только крупную рыбу на большие крючки, насаживая на них стебель йоккуя. Рыба жадно хватала это растение, и, пока она, одурманенная им, застывала на месте, Пан Чак успевал вытащить ее на берег.

Поздно вечером отец возвращался домой. И когда он спрашивал сына, сколько тому удалось наловить рыбы, в разговор вмешивалась Хе Сун, хотя последнее время она стала совсем молчаливой.

— Сегодня хороший улов,— торопливо говорила она,— сегодня Пан Чаку повезло.

Она показывала мужу корзину со свежим уловом, и Пан Чак с удивлением смотрел на рыбу: ему казалось, что наловил он меньше. Он переводил взгляд на мать, но она прятала от него глаза. И все же Пан Юр Ил видел, как мало удается сыну наловить за день, как тоскует он по настоящему делу. И когда уже больше некуда было идти искать работу, Пан Юр Ил сказал сыну:

— Сегодня ты поедешь со мной в город.

Пан Чак не знал, что задумал отец, и молча стал собираться.

Они добрались на плоту до хижины старого рыбака Пек Уна, но отец не зашел туда. Он повел сына в центр города к большому серому дому американского консульства, где висел лист бумаги с иероглифами. Не зря же он учил сына в школе и платил за него такие большие деньги!

У двери толпилась группа рыбаков и рабочих. Слухи, которые ходили по городу, оказались правильными. Пан Чак сам прочитал бумагу и рассказал отцу, что там написано. В объявлении сообщалось, что американская концессия господина Морза нанимает рабочих на золотые разработки в Унсане и выдает вперед деньги на проезд до рудников с рассрочкой на полгода.

Дальше было написано, что те, кто будет трудолюбиво работать, легко могут разбогатеть и что почти за пятьдесят лет существования горнорудной концессии Морза сотни его

рабочих действительно разбогатели, и приводились даже их имена.

Два дня отец просидел на берегу хмурый, не ловил рыбу и не ездил в город. Ясно было, что ему не хочется уезжать из родных краев и он не знает, как жить дальше.

Видя это, Пан Чак сказал:

— Давай и мы поедем на золотые разработки господина Морза. Туда уже отправилось много народа.

Отец посмотрел на сына и не удивился, что он так говорит, но ничего не ответил.

Прошло еще несколько дней, и Пан Чак сказал отцу:

— Может быть, я один поеду к этому Морзу?

Пан Юр Ил понял, что сын все равно уже не согласится целыми днями сидеть на берегу с удочками, и решил ехать. Ехать на север, в Унсан, где, по слухам, снег падает и не тает, а остается лежать на земле толстым слоем до самой весны, где люди подшивают под халаты вату, как на одеяла, где так холодно, что некоторые даже голову укрывают от мороза, напяливая на себя меховые шапки.

Пан Юр Ил решил ехать и взять с собой сына. Все равно ему нельзя оставаться в Пусане и нечего делать на Коччедо. Половину денег, что им дадут на дорогу, он оставит дома. На эти деньги можно будет покупать чумизу и есть вместе с сушеной рыбой из старых запасов, которые он оставляет дома, и со свежей рыбой, которую наловят жена и дочери. Как-нибудь протянут, а через год-два он вернется с золотых рудников концессии Морза и привезет с собой все заработанные деньги.

А сын? Сын, наверно, останется на концессии. Как-никак он два года учился разбирать иероглифы и стал образованным человеком. Парень смышленый и ловкий, и даже тюрьма его не сломила — он остался таким же крепким, как был.

Пан Чаку с отцом предстояло пересечь на поезде всю страну. Они ехали в вагоне, похожем на большой трамвай. На стенах были полочки, куда люди клали котомки, и под лавками лежали рогожные мешки и котомки. И только те вещи, что не уместились на полочках и под лавками, лежали в проходе.

Сначала они устроились в уголке вагона у двери, потому что все места оказались занятыми, а в проходе и между лавками люди стояли или сидели на своих рогожных мешках или на связках сушеной рыбы, а то и на полу, если успели занять там место. Но большинство было таких, как Пан Чак с отцом, которым места не досталось.

С вечера под потолком горел электрический свет, а одна лампочка зажигалась очень часто и днем, потому что поезд то и дело нырял в тоннель.

В вагоне ехали простые люди, которые не знали даже, какая впереди будет станция. Поэтому перед каждой остановкой все волновались и расспрашивали друг друга, боясь проехать дальше, чем следовало.

Когда наконец выяснялось название очередной станции, все в проходе вставали и прижимались к лавкам, чтобы пропустить тех, кому надо было сходить. Одни выходили, а на их место являлись другие, и двери почти не закрывались.

Несколько перегонов отец и сын ехали молча, прижавшись к стене, чтобы не загораживать выход. Потом Пан Чак сказал отцу, что лучше бы протиснуться в середину вагона: там меньше толкают и легче будет занять место на лавке, если оно освободится.

Перед следующей остановкой, когда люди подняли на головы вещи, чтобы пропустить тех, кто сходит, Пан Чак начал пробираться к середине вагона, а за ним двигался отец. Но на них стали кричать: все идут в одну сторону, а они навстречу, могли бы хоть подождать, пока народ сойдет.

Пан Юр Ил не сразу понял, на кого кричат. В вагоне все время стоял шум, и трудно было понять, чего хотят люди.

И все же Пан Чак правильно сделал, что пролез в середину. Уже к вечеру у обоих были места. Пусть на разных лавках, но оба они сидели, и даже неподалеку друг от друга. Это было удобно, потому что во время ужина Пан Чак легко передал отцу рыбу и сушеные водоросли. И то, что отец не съел, он вернул Пан Чаку, чтобы сын спрятал до следующего раза.

Так они ехали двое суток. Уже много раз сменились пассажиры. Теперь Пан Чак сидел рядом с отцом на одной лавке, и хотя людей все время было много, но они оба устроились хорошо. Со всеми удобствами они ехали еще сутки и утром прибыли в Унсан.

Контора золотых рудников оказалась в центре города. На большом каменном здании Пан Чак увидел вывеску: «Горнорудные разработки. Джеймс Р. Морз».

Сюда они и вошли. А через час отец и сын уже двигались по дороге в Пухын, где находились рудники.

Пан Юр Ила определили землекопом, а Пан Чака — помощником шофера. Отец радовался, что сыну досталась такая должность. Два года пройдут незаметно, а за это время

он получит хорошую специальность, а возможно, и сам станет водить машину. Пан Чак тоже был рад, и они шли, не замечая усталости.

На руднике их сразу приставили к делу. Пан Юр Ил только опечалился, когда узнал, как мало будет оставаться денег после вычетов за питание и за проезд по железной дороге

В тот же день Пан Чак выехал в первый рейс. Машина, груженная какими-то ящиками, шла в город Цхансиен, на самой границе с Маньчжурией. Шофер, начальник Пан Чака, тоже был кореец, молчаливый и угрюмый. На вопросы о том, как здесь живут люди, отвечал неохотно или вовсе отмалчивался

И все же Пан Чак узнал, что золотые рудники разбросаны в горах по всему уезду, и рудников этих очень много, и что люди там работают не больше года, да еще хорошо, если год, а обычно пять-шесть месяцев Но почему не задерживаются здесь рабочие и куда они деваются, шофер так и не сказал. Он только добавил, что жители уезда давно уже избегают рудников, но зато каждый день сюда приезжают рабочие со всех концов страны.

Почти месяц Пан Чак не видел отца Тот находился где-то в горах и часто переходил с места на место, а Пан Чак не мог его искать, ибо постоянно был в разъездах, и едва оставалось время чтобы немного поспать

Спал он чаще всего тут же, в машине, и ел на ходу, но был доволен Он внимательно присматривался к работе шофера и уже через месяц знал, как выжать сцепление, как завести мотор и переключить скорость. Правда, за руль он садился только на стоянках, а больше всего был занят погрузкой и разгрузкой, но, как бы там ни было, этот месяц не пропал для него даром.

В пограничном городе Цхансиене, где ему приходилось часто бывать, он вскоре прослышал, что где-то совсем близко на маньчжурской территории, действуют партизаны

Однажды они остановились в маленькой деревушке, чтобы поесть В хижине на краю деревни шофер попросил хозяйку накормить их. и, пока та варила чумизу, Пан Чак разговорился с ее сыном. Так он сначала думал, что это ее сын, но потом оказалось, что сидящий в хижине парень — тоже посторонний человек. Разговор у них вскоре зашел о партизанах, и в этом ничего удивительного не было: тут всегда говорили о партизанах, потому что каждый день они давали о себе знать, и самураи, боясь их, ходили большими группами, а ночью совсем не показывались на улице и ставили вокруг своих домов усиленную охрану с пулеметами

Пан Чак слушал рассказы о смелых налетах партизан, о том, как много их стало и как их боятся самураи. Он слушал и восхищенно смотрел на незнакомого парня.

После обеда они попрощались, и тот, весело хлопнув Пан Чака по плечу, сказал:

— Шел бы в партизаны, там берут таких, как ты!

— А где же их искать? — спросил Пан Чак.

— Перейдешь границу, найдешь...

Пан Чак возвращался в Унсан и все время думал об этом парне. Он так замечтался, что не заметил, как они доехали. Было поздно, и шофер ушел домой, а Пан Чак принялся мыть свою машину. Именно тогда к нему в гараж и пришел отец. Его прислали в город за инструментами, и ему удалось разыскать Пан Чака.

На душе у Пан Юр Ила было совсем не весело. Почти весь месячный заработок ушел на еду, хотя каждый скажет, что ест он не так уж много. Вместе с другими рабочими он кочует с одного участка на другой и роет колодцы. Роют они на большую глубину. Сначала идет земля, потом — каменистый грунт. Они рубят камень, пока не достигнут твердого, как железо, золотоносного слоя. Затем пробивают ко дну колодца два наклонных хода и перекочевывают на следующий участок, который им укажут, где снова начинают рыть.

— А как золото добывают? — спросил Пан Чак.

— Трудное, говорят, дело,— пожал плечами отец.— После нас приходят рудокопы — здоровенные парни. Где только такие родятся! Знаю, они жгут там костры и дышат горячим воздухом, а как добывают золото, не знаю. Зарабатывают много, за месяц столько не получишь, сколько рудокоп за один день...

Из гаража они пошли в барак и улеглись вдвоем на циновке Пан Чака.

Сын видел, что отец тоскует по дому, по морю и джонке... Утром, прощаясь, уже на ходу Пан Юр Ил сказал:

— Попробовать надо горячего воздуха. А? — и как-то странно засмеялся.

Пан Чак хотел было подбодрить отца, но тот заторопился уходить. Сын так ничего и не успел ему сказать.

Спустя месяц неожиданно наступили холода. Снег толстым слоем покрыл горы и обледеневал под жгучим ветром. Деревья, потерявшие листья, гнулись и трещали, гулко шумели синие сосны.

Пан Чак выбивался из сил. Почти весь путь до Цхансиена он двигался пешком, расчищая снег перед машиной. А снегу наметало все больше и больше, и никакая человеческая

сила не могла бы убрать эти снеговые горы. Что же мог он сделать своей небольшой лопатой?

Но ему говорили, что на то он и помощник шофера, чтобы прокладывать дорогу, и вон сколько людей ему помогает! Пан Чак яростно разгребал сугробы, а снег все падал, снова заваливал дорогу, и это было все равно что ладонями вычерпывать море.

Он не почувствовал, как отморозил уши. Их пришлось забинтовать; под бинтом лежал толстый слой ваты. Пан Чак не слышал, что говорит ему шофер, и шофер злился на него.

Морозы и ветры казались невыносимыми, и никто не мог сказать, когда все это кончится.

Его все больше поражало, как легко переносят морозы местные жители. Правда, у них и одежда приспособлена к зиме: меховые жилеты, ватные халаты, уши закрыты ватными подушечками. А ребятишки даже валяют друг друга в снегу. Он же ходит сгорбившись, без конца трет нос и руки, пляшет на одном месте, но ничего из этого не получается: все равно он мерзнет, и мальчишки только смеются над ним. Тогда он решил, что не будет больше посмешищем для людей. И чем сильнее были морозы и бураны, тем ожесточенней Пан Чак боролся с ними, стараясь скрыть от товарищей, что ему тяжело. Иной раз он даже снимал рукавицы, чтобы закалить руки.

В те немногие минуты, когда ему удавалось отогреться на теплом кане или на случайной стоянке зайти в хижину, он с тревогой думал об отце. Как старик выдерживает такие холода?

Однажды машину послали в Пухын, где разработка золота была механизирована и велась на большой глубине. В Пухыне находилось управление близлежащими рудниками. Там можно было расспросить про отца.

Как только Пан Чак приехал в Пухын, он пошел в контору. Здесь работали американцы и корейские переводчики. С трудом он узнал, к кому обратиться.

— Пан Юр Ил? — переспросил служащий, порывшись в книге.— Такого рабочего на наших рудниках нет.

Пан Юр Ил не в силах был сопротивляться морозам и вьюге. Он ничего не мог сделать со своими коченеющими руками и не мог вынести этого нескончаемого бедствия.

И зачем он здесь, в этом ледяном краю, когда на Кочжедо у него семья и в эти теплые февральские дни жена ныряет уже за водорослями, а дочки шлепают по воде вдоль бере-

га и собирают ракушки! Он мог бы так же, как они, по-прежнему сидеть на берегу и ловить рыбу, а потом есть в своей хижине то, что ему приготовит жена.

Зарабатывал бы он дома не меньше, чем здесь. Ведь все, что сулила компания, оказалось только обещаниями, потому что сейчас грунт даже на поверхности твердый и заработки стали совсем ничтожными, хватает только на еду.

Пан Юр Ил решил ехать домой. Сын пусть остается здесь. Он станет шофером, а потом, когда забудут о его преступлении, тоже вернется в Пусан, и будет работать в Пусане, и женится там, и пойдут внуки.

Пан Юр Ил твердо решил вернуться на Кочжедо, но для этого надо окончательно расплатиться с администрацией за дорогу и заработать на обратный проезд. Поэтому он попросил перевести его в артель рудокопов-золотодобытчиков. Работа у них тяжелая, туда обычно берут только молодых и сильных, но он хорошенько попросит, и его возьмут.

Когда был вырыт очередной колодец и проделаны наклонные ходы, Пан Юр Ил сказал дежурному десятнику, что хочет добывать золотой камень.

Десятник даже не стал его ни о чем расспрашивать. Он велел еще несколько дней рыть колодец в другом месте, а потом явиться сюда и ждать, пока дадут сигнал для добытчиков. Людей этой профессии все время не хватало.

Вскоре Пан Юр Ил пришел на прежнее место. Он видел, как рабочие уложили на дне колодца бревна и подожгли их, а потом четыре дня поддерживали там огонь. И когда каменное золотоносное дно раскалилось и стало хрупким, к колодцу подвезли бочку с водой и вылили в него, и оттуда вырвались клубы пара, будто там произошел взрыв.

Сразу после этого по наклонным ходам бросились вниз рудокопы с кайлами, и каждый старался обогнать товарища, чтобы успеть побольше нарубить золотого камня. А наверху уже дожидались приемщики и стояла охрана, которая обыскивает потом рудокопов, чтобы у них не осталось золота, принадлежащего Морзу.

Все спешили побольше нарубить хрупкого золотого камня и скорее сдать его и получить бумажку, по которой потом выдадут деньги.

Пан Юр Ил тоже побежал. В лицо ему ударил горячий воздух, и уже на половине пути дышать стало нечем, и ему показалось, что он погрузился в невидимый огонь. Но человек такого жара выдержать не может, и Пан Юр Ил бросился назад.

Когда он выскочил, у него, наверно, был смешной вид,

потому что приемщики показывали на него пальцами и хохотали, что-то говоря на своем языке. Но Пан Юр Илу было не до них. Он думал о том, что один раз надо бы все-таки вытерпеть этот огонь, чтобы ехать потом домой, а иначе ему придется еще долго мучиться здесь. В колодце сейчас тоже люди, и они это терпят,— значит, и он может пробыть там несколько минут.

Пан Юр Ил опять ринулся под землю и уже не обращал внимания на то, что лицо горит и руки жжет даже через рукавицы. Он добежал до самого дна. Там стоял грохот от ударов кайл и было очень тесно. Пан Юр Ил не мог понять, что с ним делается. Грудь сдавило, он втянул в себя воздух, и сразу у него в горле оказался раскаленный железный прут, который прошел дальше и так и остался торчать, и нельзя было закрывать рот. Тогда он рванулся наверх и опять не слышал насмешек, сыпавшихся со всех сторон, и не понимал, чего хотят от него те, кто принялись его обыскивать.

Вечером, когда лег на свою циновку в бараке и стал думать, как вернуться на Кочжедо, он пришел к выводу, что поступил неправильно. Надо было потерпеть в колодце еще хоть полминутки и только несколько раз ударить по камню, чтобы отбить совсем маленький кусочек. Может быть, хватило бы на дорогу. Люди, такие же, как он, ну, может быть, немного посильнее и помоложе, делают так и получают много денег. А ему много не надо, только на дорогу. И он заработает эти деньги завтра же!

На следующий день Пан Юр Ил оказался у другого колодца, который заливали водой, и вместе со всеми устремился вниз. Через несколько минут он выскочил на поверхность без кайла, обеими руками прижимая к груди камень с золотыми прожилками. Рот у него был открыт, и он только вдыхал воздух, но выдохнуть никак не мог.

Пан Юр Ил безумными глазами посмотрел на приемщиков и всех, кто тут стоял, шагнул в сторону и упал лицом в снег. Он упал, но не выпустил камня из рук, а по-прежнему прижимал его к груди. Приемщики сами подошли к нему, перевернули его, взяли камень, и один из них выписал квитанцию. Но второй сказал, что у этого корейца изо рта идет кровь и он в таком состоянии, что квитанция может затеряться, не лучше ли отдать ее после. Это была правильная мысль, и так они и решили сделать.

Пан Юр Ила хотели оттащить немного в сторону, чтобы он не мешал другим. Но подошел еще один охранник и сказал, что сначала надо выяснить, не напихал ли этот хитрый кореец золота в карманы.

Он ощупал со всех сторон куртку и штаны Пан Юр Ила, ничего не нашел и разрешил оттащить его с прохода.

Загребая ногами рыхлый снег, приемщики забросали то место, где была кровь.

Теперь на Пан Юр Ила никто не обращал внимания. Неподалеку в разных местах отдыхали другие рудокопы. Но они быстро поднимались и уходили. И все же некоторые из них заметили, что Пан Юр Ил долго не поднимается. Они подошли к нему и увидели, что он умер.

Пан Чак не поверил чиновнику, будто на рудниках нет землекопа по имени Пан Юр Ил. Он стал подробно объяснять, какую работу выполняет отец и даже в каком месте ему определили рыть колодцы до холодов.

Чиновник, к которому обратился Пан Чак, достал из стола еще один толстый журнал и начал его перелистывать. И пока он водил пальцем по страницам сверху вниз, Пан Чак стоял и смотрел на него. Но вот палец остановился. Не поднимая головы, чиновник еще раз спросил:

— Пан Юр Ил?

— Да, да! — радостно закивал Пан Чак.

Служащий что-то сказал, захлопнул книгу, сунул ее в стол и снова взялся за письмо, от которого его оторвали.

Пан Чак вопросительно посмотрел на переводчика, и тот тихо произнес:

— Умер.

— Кто умер?!

Ему никогда не приходило в голову, что отец вдруг может умереть. Должно быть, они тут что-то перепутали. Они ведь считают, что все корейцы похожи друг на друга и их невозможно различить. Он сейчас пойдет и сам найдет отца.

Пан Чак шел в горы не по вьющейся тропке, а по глубокому снегу, напрямик, туда, откуда поднимался в небо густой белый дым. Рудокопы сидели в шалаше и ждали, пока очередной колодец зальют водой. Пан Чак спросил их об отце.

— Не знаем,— ответил один из рудокопов.— Недавно мы похоронили одного, вон там под сосной у сопки, а кто такой, не знаем.

Пан Чак молча взял возле шалаша заступ и направился к могиле.

Он бережно счистил с нее снег, выпавший за эти дни, и начал раскапывать свежий холм. Копал очень осторожно и, едва сняв верхний слой земли, отбросил заступ в сторону, продолжая выгребать землю руками.

Тело лежало не глубоко. Он сразу узнал халат, которым была прикрыта голова покойника. Ему трудно было приподнять этот халат, но он все же отдернул его и увидел, что это отец.

Пан Чак стоял на коленях, не отрывая глаз от родного лица. Наконец поднялся, снял с себя ватную тужурку, разостлал ее в сторонке и переложил на нее тело. Потом снова взялся за лопату, углубил могилу и, опустив в нее труп отца, засыпал землей.

Стоя на коленях, отвесил низкий долгий поклон на восток, поднялся и быстро зашагал прочь. Он выбрался на дорогу к маньчжурской границе.

...И вот он снова в родных местах, и джонка подъезжает к острову Кочжедо, которого уже никогда не увидит отец.

Они причалили к маленькой скалистой бухточке. Пан Чак поблагодарил рыбака и вышел на берег.

Справа виднелась рыбокоптильня Цой Сен Чана. Чтобы попасть в отцовскую хижину, надо было пройти мимо владений Цоя. Пан Чак подошел к рыбокоптильне. Все здесь было как прежде. Весь берег завален рыбой. Она свалена целыми грудами прямо на землю, она сушится на веревках, протянутых между столбами, вялится на специальном сооружении из жердей, похожем на строительные леса.

Пан Чак не любил Цой Сен Чана. Если человеку уж совсем нечего было есть, он шел к Цою и работал у него по восемнадцать часов в сутки. За рыбу Цой платил вдвое меньше, чем японцы в Пусане. И когда рыбаки возмущенно говорили ему, что ведь это почти даром, Цой отвечал:

— А ты, дорогой, не носи ко мне рыбу, не носи, поезжай в Пусан, там и продашь.— Голос у него был тихий, ласковый.— Поезжай,— говорил он,— заплатишь за перевоз на джонке, да день потеряешь, да получишь боны вместо денег, вот и выгода тебе будет.

Недостатка в сырье он никогда не испытывал. Ему несли рыбу со всего острова. Он был неразборчив, брал и десяток рыбешек и целыми корзинами — сколько принесут.

Пан Чак решил обойти рыбокоптильню, чтобы не встретиться с хозяином. Он взял немного в сторону, в глубь острова, миновал каштановую рощу, небольшой луг с высокой, в рост человека, красивой травой и, пройдя ущелье, снова вышел к берегу.

Перед ним была родная хижина, ничуть не изменившаяся за эти годы.

Пан Чак не мог уже идти медленно, как раньше, а бросился бегом, отодвинул дверь и вошел.

На полу сидела сестренка, которая не узнала его. Она плела корзинку из нитей расщепленного бамбука.

— Где мать? — спросил он нетерпеливо.

— Уехала в город с сестрой продавать корзинки.

Пан Чак опустился на циновку и привлек девочку к себе. А она удивленно смотрела на этого странного человека, не понимая, зачем он к ним пришел и что ему надо.

Пан Чак начал расспрашивать, как они живут. Девочка рассказала, что летом питаются водорослями и рыбой, а зимой плетут бамбуковые корзинки, веера, делают зонтики и продают в городе.

— Когда же вернется мать? — спросил Пан Чак.

— Может быть, завтра, а может, дня через три.

Пан Чак не мог дожидаться возвращения матери и не мог сказать сестре, кто он такой.

— Вот, передай матери,— сказал он, вставая и протягивая девочке сверток с материей на юбку.

Он вышел и через три часа был опять в Пусане.

ДРУЖБА

Сон Чер знал, что вечером в хижине Пек Уна должен решиться вопрос о предстоящем взрыве моста. Но как он ни старался пораньше уйти с пристани, это ему не удалось. Правда, рабочий день кончился, но паром еще не загружали. Значит, надо ждать.

Сон Чер сидит на рельсе и ждет, когда же наконец начнется погрузка. Подходит Сукитоси.

— У тебя опять наступят легкие дни,— говорит он, обращаясь к сцепщику.

— Что ты, Сукитоси, ведь шесть составов стоят наготове!

— И будут стоять, а мы повезем срочный груз через день или два. В общем, как только подойдет. Приказано задержать для него паром, лишь бы не задерживать этот груз.

— Значит, я могу идти домой! — обрадовался Сон Чер.— Спасибо тебе, Сукитоси, а то я сидел бы и ждал.

Сукитоси улыбается. Он всегда рад оказать услугу сцепщику.

Дружба между ними завязалась давно. Перед тем как причалить, младший паромщик Сукитоси запускает моторчик и помогает правильно поставить паром на место. Он уже девять лет ходит из порта Симоносеки в Корею и девять лет знает Сон Чера.

Еще в молодости он понял, что сделать карьеру можно, только обеспечив себе покровительство японцев. Это — главное. На Супхунской гидростанции его карьера зависела от Канадзава, и именно ему он сумел доказать свою преданность. В Восточно-колониальной компании это был подлец и вор Цуминаки, но только с его помощью можно было идти дальше, вверх. В полиции даже мальчишка понял бы, что все зависит от Такагава, и уж он старался для генерала, не щадя сил. Его усердие всегда оценивалось должным образом.

Когда рухнуло величие Японии, стало ясно, что, какая бы ни пришла власть, карьеру сделает тот, кто боролся с японцами. Поэтому, выполнив задание Абэ Нобуюки на севере страны и пробираясь в Сеул, он всюду, где возникали митинги, выступал со страстными речами против самураев и, как только мог, поносил японских милитаристов.

Впервые он утратил уверенность, когда узнал, что созданы Народные комитеты. Он уже готов был сообщить новой власти важные данные, имеющие государственное значение. Правда, о его прошлой деятельности могут узнать. Ну что ж, он сам о ней расскажет. Он горько ошибался. Он видел, что японцы строят в Корее железные дороги и электростанции, и полагал, что некоторые японцы просто злоупотребляют своей властью, а вообще Япония искренне хочет помочь Корее. Потом он понял, что ошибся. Чтобы исправить свою ошибку, он готов посвятить себя разоблачению японцев. Это могут подтвердить коммунисты во многих населенных пунктах, слышавшие его выступления. Вот и сейчас он передает народной власти такие сведения, которые доказывают его преданность новому строю.

Его бы, наверно, простили. Но все же Чо Ден Ок пришел к выводу, что в Народный комитет идти нельзя, и не только потому, что это рискованно. Не может быть, чтобы американцы отдали власть Народным комитетам. Американцы — люди дела. Они и будут на Юге главной силой. Значит, надо добиться их расположения. А сейчас лучше надежно укрыться до их прихода. Ведь если он попадет в лапы Пан Чака или ему подобных, никакие американцы его не спасут.

Он переоделся в национальный костюм и наголо остриг голову. Он не появлялся в центре города. Его пугал каждый шорох. Он нашел себе надежное укрытие в маленьком домике на окраине и решил не выходить из комнаты. По ночам он запирал дом снаружи на засов и влезал в окно. Так спокойнее. Пусть думают, что здесь никого нет.

Но Чо Ден Ок не только предавался страху. Двадцать три дня — с момента освобождения Кореи Советской Армией до прихода американцев — он сидел, запершись, и писал.

Он выписывал наименования предприятий, указывал их примерную мощность, давал краткую характеристику владельцев. Он представит американцам полную картину деятельности Восточно-колониальной компании, методов ее работы. И вдруг Чо Ден Ок вскочил. Блестящая мысль пришла ему в голову. Как всегда в минуты сильного волнения, он забегал по комнате.

К черту список предприятий! Методы! Вот что главное.

Кто ответит, каким образом самураи смогли сорок лет править Кореей? Он даст американцам статистику бунтов — пусть полюбуются, с чем им придется иметь дело.

За пять лет после тридцатого года в стране отмечено четыре тысячи нападений на японцев. Только за один тридцать девятый год партизаны совершили несколько тысяч налетов.

Пусть полюбуются этими цифрами. Пусть узнают, как обнаглели эти безропотные корейцы под влиянием побед, одержанных русскими. Пусть задумаются хотя бы только над бунтом на острове Чечжудо. Достаточно было коммунистам распространить весть о поражении немцев в Сталинграде, как остров словно обезумел. Рабочие и рыбаки внезапно устремились со всех сторон к военно-воздушной базе. Они уничтожили триста сорок японских летчиков, сожгли шестьдесят девять самолетов, все ангары, весь бензин...

Пусть поразмыслят над этим американцы. Пусть спросят у него, как же продержались здесь самураи сорок лет?

Он ответит им на этот вопрос. Он порекомендует им проверенные методы. Они поймут, что только такими методами можно править Кореей. Да, он начнет со статистики. Взять хотя бы февраль и март сорок второго года, когда по стране прокатилась волна бунтов. За эти месяцы сто двадцать пять тысяч человек были брошены за решетку. Ранен один полицейский — расстрелять сто подозрительных! Началась забастовка — на каторжные работы каждого третьего рабочего!

Он им расскажет о здешних тюремных порядках. Прежде всего не следует скрывать от населения систему пыток. Наоборот, о них надо говорить побольше. Пусть боятся. Пусть знают, что за каждым домом ведется наблюдение. Нечего стесняться.

Двадцать три дня он писал свою докладную записку о японских методах управления Кореей, проверенных сорокалетним опытом. И когда в Сеул прибыли американцы, он явился к ним во всеоружии.

Уже на следующий день его поочередно вызывали генералы Арнольд и Ходж. Капитан Стоун проболтался, что оба они в восторге от доклада. Вообще капитан оказался дельным парнем. Они быстро нашли общий язык, и капитан не остался в обиде. Особенно после сделки с Чер Яком.

Генералы благодарили Чо Ден Ока, обещали ему свое покровительство. Они оценили его усердие, поняли, чего стоит такой человек. Теперь остается принять дела у Такагава.

Генерал уже поздравил его с назначением и даже обещал кое-что поведать из своей практики. Надо будет воспользоваться богатым опытом генерала. И вообще хорошо бы все делать, как Такагава. Даже в машине ездить, как он.

Теперь наконец, когда в руках у Чо Ден Ока вся полицейская власть и тысячи подчиненных, он себя покажет! Этой должности начальника департамента полиции Южной Кореи он добился сам. Он сумел правильно оценить обстановку и на деле доказать свою преданность американцам.

Но как вести себя с Ли Сын Маном? По всему видно, что янки делают на него большую ставку, хотя он только кореец. Правда, Ли Сын Ман сорок лет прожил в Америке,— значит, это их человек. Судя по тому, как его встречают, это будет важная персона. Что же, и ему служить? Нет, ему он служить не будет. Для Чо Ден Ока это не та лошадь, на которую следует ставить. Конечно, внимательно присмотреться к нему надо. Но унижаться перед ним нельзя. Интересно, как поклонится ему Ли Сын Ман? Свою голову Чо не опустит ни на миллиметр ниже. Даже пусть получится так, что чуть-чуть ниже поклонится сам Ли Сын Ман. Ведь у него еще нет назначения на должность.

Приняв такое решение, Чо Ден Ок приходит в хорошее расположение духа. Он смотрит на спокойное и невыразительное, заплывшее жиром лицо Ли Ду Хана с маленькими свиными глазками. Помещик то поднимает брови, то опускает их и отдувается, будто идет в гору. Вот с виду совсем болван, а хитер. Сидит, обдумывает какие-то свои делишки...

И действительно, Ли Ду Хан был поглощен думами о своей судьбе. Ему повезло. Ему очень повезло. Он легко перешел в Южную Корею и еще по дороге в Сеул встретил земляка из Пучена — Чо Ден Ока. Очень оборотистый парень! Он-то и помог купить здесь поместье бежавшего японца. О таком имении Ли Ду Хан мечтал всю жизнь: пятьсот тенбо земли, ирригационное сооружение, необозримый фруктовый сад. И все это почти даром.

Ли Ду Хан облизывает широкие мясистые губы. У него хватило золота, чтобы расплатиться. Правда, он подписал бумагу, будто купил не пятьсот, а всего пятьдесят тенбо без орошения и без сада и что заплатил за это какие-то жалкие пхуны. Но надо же заработать и Стоуну и Чо Ден Оку! Важно, что ему-то выдали документ, из которого видно, каково его настоящее владение.

— Тогда о чем же ты разговариваешь с корейцем? Или у тебя нет национальной гордости?

Сукитоси как-то странно, нерешительно попятился, не глядя на Сон Чера, который все понял и поспешно удалился.

Идя домой, Сон Чер думал, что так ведь и должно быть и ничего особенного не произошло, но на душе у него было тяжело. Ложась спать, думал о Сукитоси.

Он ждал приезда паромщика и не знал, как они теперь встретятся. И Сукитоси приехал. Он направился на пристань, а Сон Чер шел навстречу принимать состав и думал, как же ему разговаривать с японцем.

— Аллёнхасимника, Сон Чер!

Сон Чер остановился. Нет, он не ослышался, Сукитоси так и сказал, медленно и неуверенно. Но это оттого, что ему трудно было произнести длинное корейское слово. Какое же доброе и смелое сердце у этого седого японского рабочего, если он не побоялся приветствовать его по-корейски!

— Конничива! — улыбаясь, отвечал Сон Чер.— Конничива, дорогой Сукитоси!

И в первый раз Сон Чер подумал, что не такой уж неприятный язык у японцев и не так плохо звучат у них эти слова — «добрый день». Сон Черу казалось, что с каждым приездом Сукитоси их дружба крепнет.

Сон Чер не мог объяснить, почему он так думает. Может быть, потому, что Сукитоси старается незаметно подтянуть сцепку там, где недосмотрел Сон Чер, или сделать за него какую-нибудь другую работу?

Как и полагается, Сукитоси всегда шел впереди, а Сон Чер сзади, и оба осматривали поезд и обменивались короткими деловыми фразами. И среди этих коротких фраз Сон Чер однажды услышал:

— Послезавтра у тебя будет мало работы, паром не придет!

— Этого не может быть! — возразил Сон Чер.— Посмотри, сколько составов ждут парома.

— Не придет,— повторил Сукитоси.— Двадцать четыре часа будем бастовать. Мы не в состоянии платить новый военный налог.

И действительно, через день впервые паром не пришел по расписанию. Не пришел он и на следующий день, и еще три дня его не было.

А потом Сукитоси приехал и рассказал, что забастовку продлили еще на два дня, но все равно ничего не добились, и многие рабочие не понимают, почему ее прекратили. Он тоже думает, что лучше бы бастовать.

После того дня Сукитоси часто рассказывал, как трудятся и живут японские рабочие. Сон Черу казалось, что он уже знает всех начальников Сукитоси и его товарищей, и надсмотрщиков, и все, что у них там на островах делается. А главное, он узнал, как Сукитоси ненавидит своих хозяев, как сочувствует корейцам.

Сон Чер даже подумал, что Сукитоси, наверно, коммунист, но спросить об этом не решался.

Сон Чер посылал приветы Саюко-сан — жене Сукитоси, которую он никогда не видел и, наверное, не увидит, и старшему сыну, которого скоро заберут в армию, и маленькой Мицико.

Сукитоси тоже знал всех домочадцев Сон Чера, хотя и он никого из них не видел, и каждый раз привозил для детей сцепщика то горсть каштанов, то хурму, то грушу.

Жена Сон Чера всегда старалась отблагодарить Сукитоси. Вот и сегодня она прислала для его Мицико новую корзиночку, еще лучше прежней, украшенную мельчайшими ракушками и золотым песком.

Они не сговаривались, но оба знали: Сон Чер не скажет детям, кто посылает им фрукты, и Сукитоси не скажет Мицико, откуда взялась корзиночка с золотым песком.

Дети могут проболтаться, и тогда Сукитоси не избежать неприятностей.

Они никогда не говорили о политике. Но доверие их друг к другу росло, и беседы становились откровеннее. Сукитоси, не стесняясь, спрашивал о настроениях корейских рабочих, а однажды паромщик сказал:

— Вот если бы мы все действовали сообща, дружно, то давно бы свернули шею чванливым самураям.

И снова они говорили о пароме, о вагонах, и каждый старался сделать другому приятное. И сегодня, как только Сукитоси узнал, что паром будет долго стоять, он разыскал сцепщика и сообщил ему об этом.

«Значит, успею к Пек Уну»,— подумал сцепщик и заторопился домой.

— Не забудь поклониться от меня жене,— сказал на прощание японец, вспомнив о корзиночке из золотого песка.

Отойдя от пристани, сцепщик повернул в сторону хижины Пек Уна. Он подоспел почти вовремя. Товарищи решили, что он уже не придет, и только что начали совещание.

Пан Чак доложил о своем плане взрыва моста, и все вызвались помочь ему.

Только старый учитель молчал и был чем-то недоволен. Наконец он сказал:

— Я думаю, не надо взрывать мост на Чорендо.

Эти слова всех удивили.

— Почему же? — вырвалось у То Пена.

— Ведь это единственная переправа с острова в город! — воскликнул Пан Чак.— Ее надо взорвать!

И каждый подумал, что учитель неправ. Но он всех выслушал и спокойно возразил:

— Не надо, Пан Чак, горячиться. И нельзя одному безоговорочно решать важный вопрос. Давайте сообща во всем разберемся. Это верно, что мост связывает десятки заводов острова Чорендо с городом. Это верно, что вы сможете его взорвать, хотя и с большим риском. Но сырье на заводы Чорендо и готовую продукцию оттуда почти целиком перевозят по воде. Если мост будет взорван, мелкие и срочные грузы пойдут в город на катерах и паромах. А через несколько дней мост восстановят — и всё!

Пан Чак и другие товарищи внимательно слушали Ким Хва Си. А учитель продолжал:

— Но зато на ноги будет поставлена вся полиция. Начнутся аресты, и дальше работать станет гораздо труднее. Так можно рисковать только ради большой цели.

Теперь все посмотрели на Пан Чака. И хоть взрыв моста был его идеей и он свыкся с ней, он понял, что должен отказаться от нее.

— Ким Хва Си остался моим учителем,— медленно произнес Пан Чак.— Он прав.

И тут заговорил Сон Чер:

— Шесть составов ждут паромной переправы, но их не отправляют. Паром задержали, и буксирные катера наготове, говорят, дня два простоят, пока не прибудет какой-то очень срочный груз...

— О, я знаю, что это за груз! — перебил его Ли Шин.— На первый запасной путь поставили девять вагонов алюминия и еще семь вагонов магнезита. И по линии дан приказ пропускать без очереди на правах курьерского поезда какие-то двенадцать вагонов из Хоангхэдо. Военный комендант приказал нам, как только они прибудут, прицепить их к вагонам на первом запасном и сформировать поезд. Он пригрозил, что тот, кто задержит этот поезд хоть на минуту, будет расстрелян. И паровоз уже стоит под парами.

Неожиданно всегда спокойный Ким Хва Си воскликнул:

— Вот этот поезд надо задержать! Из Хоангхэдо идет обычно стратегическое сырье, которого в Японии нет, а без этого сырья не может работать ни один военный завод. И если так обставлена отправка поезда, значит, дело у них плохо.

Было ясно, что вагоны со срочным грузом надо задержать. Никто не сомневался, что паром ждет именно этот состав, но вот как задержать его, никто не знал.

Пан Чак почувствовал, что люди надеются на него. Ведь сам он рассказывал им, как партизаны пускали под откос эшелоны, взрывали мосты. Никто здесь в этом деле опыта не имеет. Значит, решающее слово принадлежит ему.

Там, у партизан, все было легче. Поезда шли с большой скоростью и на дальние расстояния. Всегда можно было выбрать удобное место для взрыва. А здесь от станции до паромной пристани — рукой подать, и весь путь чуть ли не по городу проходит, на виду у всех.

Разошлись поздно, решив, что каждый подумает о новом плане.

Пек Ун уже крепко спал, когда Пан Чак вернулся домой. Он вошел тихо и, не раздеваясь, лег на циновку.

Теперь ему не заснуть. Да и можно ли заснуть, если он, лучший партизанский минер, не может придумать, как пустить под откос хотя бы один-единственный состав?

Он лежал на спине с открытыми глазами, положив руки под голову, и думал. Он вспоминал все крушения поездов, организованные партизанами, все взрывы, которые подготовлял сам, но в создавшихся условиях все прежние способы не подходили.

В хижине царила тишина, и с моря не доносилось ни одного звука, потому что оно было спокойно, как озеро в ясный летний вечер. И только часы на стене мерно отстукивали секунды: тик-так, тик-так, тик-так...

Пан Чак подумал о мине замедленного действия с часовым механизмом. Но эта мысль не обрадовала его. Мину-то он без труда соорудит, да только куда ее ставить? Куда взрывчатку класть? Ведь состав так усиленно охраняется!

Пан Чак лежал и думал. Тишина окружала его со всех сторон, и он злился на себя, что ничего не может придумать, и злился на эти часы, которые так назойливо тикают. Он лежал и, вместо того чтобы сосредоточить свои мысли на большом деле, в такт часам считал: «Раз — два, раз — два, раз — два...»

И вдруг он привстал на циновке. Паром! Как можно было не подумать об этом?!

Он бесшумно отодвинул дверь и выскользнул наружу. Нагнувшись, чтобы не задеть веревки, на которых сушилась рыба, обойдя большие камни, выступавшие из земли вблизи хижины, вышел на дорогу. Ночь была темная, но он шел так

быстро, как только мог, обходя улицы, где рисковал наткнуться на патруль.

Он не останавливался и не замедлял хода, пока не достиг скалистого берега невдалеке от паромной пристани. Здесь он перевел дух.

Пан Чак стал всматриваться в темноту, глядя вдоль берега, и вскоре различил силуэт парома. И как только Пан Чак убедился, что не ошибается, он разделся, спрятал в камнях одежду, тихо вошел в воду и поплыл под водой по направлению к парому.

Он плыл, медленно выпуская воздух, а когда дышать стало нечем, перевернулся на спину и, как в детстве, играя в прятки, высунул на поверхность только нос и рот и глубоко вдохнул. Потом, уйдя под воду, снова поплыл.

Так он добрался до парома, но не со стороны берега, а со стороны открытого моря. Он три раза нырял под паром, ощупывая дно, пока не нашел то, чего искал. В дне парома оказалось несколько люков, а сбоку тянулась какая-то труба. Здесь нетрудно будет заложить тол.

Взрывчатку и часовой механизм придется укрепить проволокой и один конец ее прикрутить к трубе, а второй выпустить из воды к борту, чтобы замотать там за какой-нибудь крюк.

Со всеми необходимыми предосторожностями Пан Чак поплыл назад.

Одевшись, направился не домой, а к Сон Черу. Здесь никто не удивился позднему посетителю, потому что сцепщика, как и других железнодорожников, часто вызывали на работу глубокой ночью.

Они уселись на кухне, и Пан Чак подробно изложил свой план. Он был возбужден и время от времени хватал Сон Чера за руку и так сжимал ее, что сцепщик едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Волнение Пан Чака передалось ему.

— Понимаешь,— говорил Пан Чак,— часовой механизм вместе с толовой шашкой и капсюлем мы покроем резиновым чехлом, а остальной тол просто закрепим под люками, потому что воды он не боится. Я все сделаю сам, тебе придется только намотать на какой-нибудь крюк проволоку, которую я подам из воды.

— Это ты хорошо придумал,— согласился Сон Чер,— вот только не знаю, как с проволокой...

— Нет, нет! — перебил его Пан Чак.— Это тоже нетрудно. Конец проволоки будет у самого борта, на него никто и внимания не обратит. А часовой завод я рассчитаю так, чтобы взрыв произошел как раз на середине пути.

— На середине нельзя,— возразил Сон Чер.— Это будет возле острова Цусима, там быстро окажут помощь. Если можно рассчитать, то пусть взрыв произойдет километрах в пятидесяти от Пусана.

— А с какой скоростью идет паром?

— От нас до Японии двести двадцать километров. Идет паром семь часов. Значит, можно считать тридцать километров в час.

— Очень хорошо. Я заведу механизм на два часа. Значит, через шестьдесят километров произойдет взрыв. Я не пожалею тола. Дыра получится большая, и паром затонет.

— А как же люди? — с тревогой спросил Сон Чер.

— Ведь рядом будет буксирный пароход,— успокоил его Пан Чак.— Взрыв только пробьет дыру в пароме. Тонуть он будет медленно.

Пан Чак ушел перед рассветом. Возвращаться домой было поздно, и он отправился прямо на мельницу

— Машину будем ремонтировать! — хлопнул он по плечу сторожа.

— Сури много пьешь,— проворчал старик, глядя на веселого шофера.

Эти слова насторожили Пан Чака. Значит, заметно, что он возбужден. Надо взять себя в руки.

В сарай, где находилась машина, он вошел спокойно, поднял капот, снял с мотора несколько деталей и разложил их на фанере, валявшейся на полу. Только после этого занялся подготовкой к взрыву. Когда пришел Ри, Пан Чак посвятил его в свой план и послал к часовому мастеру, подробно объяснив, что надо достать.

Не успел уйти Ри, как явился хозяин. Пан Чак рассказал ему, как поломалась важная деталь, и даже показал, какая, но тут же успокоил, пообещав все исправить к обеду без всяких затрат. И, не дожидаясь ухода хозяина, взял кусок толстой стальной проволоки и начал выпиливать ударник для капсюля.

Как и предполагал Пан Чак, хозяин ушел, чтобы не мешать работе.

Ри достал часовой механизм и другие детали, требовавшиеся Пан Чаку, и вместе они долго еще возились у тисков. Когда мина замедленного действия была изготовлена, они уложили ее под сиденье шофера.

Пан Чак поехал за грузом, который требовалось привезти на мельницу, а Ри отправился туда, где была спрятана взрывчатка, чтобы постепенно перетащить ее на новое место.

Никогда еще Пан Чак не гнал машину с такой скоростью.

За четыре часа он успел сделать восемь рейсов, на которые при нормальной езде понадобилось бы вдвое больше времени. Хозяин остался им доволен, и, когда стемнело и Пан Чак, сославшись на усталость, ушел, тот даже не упрекнул шофера.

За это время Ри перетащил тол и мину в прибрежные скалы. Потом повидался с помощником диспетчера Ли Шином и вернулся на берег, где снова встретился с Пан Чаком.

Ри сообщил, что вагоны должны скоро прийти, и Ли Шин велел не терять с ним связь.

— Вот и иди на станцию,— сказал Пан Чак.— Я сам здесь справлюсь. Буду ждать тебя вот в этих скалах,— показал он рукой.

Ри ушел, а Пан Чак разделся, обвязался полотенцем, как поясом, закрепив на нем мешочек с толовыми шашками, и нырнул.

Несколько рейсов совершил под водой к парому, пока не перетащил туда весь тол и проволоку.

Сон Чер в это время дежурил у парома, где ему и полагалось находиться в ожидании срочного груза.

В этот день Сукитоси не раз с удивлением поглядывал на товарища. Ему казалось, что со сцепщиком творится что-то странное. Сон Чер, встречаясь с ним взглядом, отводил глаза или растерянно смотрел на него и торопливо отходил в сторону.

— Ты, может быть, болен, Сон Чер? — не выдержал наконец японец.— Или, может быть, ты хочешь мне сообщить что-нибудь?

— Да, да, я немножко болен,— улыбнулся Сон Чер. Улыбка была тоже не такая, как всегда, а какая-то смущенная.— Я только хотел сказать,— продолжал он, и Сукитоси заметил, что Сон Чер избегает взгляда,— я хотел сказать, что опасная у тебя работа. Случись с паромом что-нибудь, куда деваться? — сказал он, заглядывая в глаза паромщику.

— Спастись нетрудно,— медленно ответил Сукитоси.— Но почему ты об этом спрашиваешь?

Сон Чер промолчал.

Паромщик покачал головой.

— От меня прятаться не надо, Сон Чер. Если хочешь сказать что-нибудь, говори, ведь я...— И он вдруг умолк, то ли спохватившись, что сболтнул лишнее, то ли не найдя нужного слова. Но эта незаконченная фраза придала сцепщику бодрости.

— Да, видишь ли,— замялся он,— тут, возможно, у борта появится проволочка, так я прикручу ее, чтоб не болталась.

Теперь все стало ясно: на пароме готовится взрыв. Сукитоси задумался и услышал торопливые слова корейца:

— Я знаю, ты здесь хозяин: это японский паром. Но ты мне друг!

«Друг»! Сукитоси словно очнулся от дремоты. Первый раз за девять лет было сказано это слово!

Да, он ему друг!

— Хорошо, Сон Чер, я даже сам ее прикручу, можешь доверить это мне. Иди спокойно домой.

— Нет, я еще немного побуду здесь и постерегу, пока ты будешь ее прикручивать.

Сукитоси сразу заметил проволоку. Она высунулась из воды, царапнув борт. На мгновение внизу показалась чья-то голова и сразу же исчезла под водой. Сукитоси наклонился, схватив конец проволоки, и, натянув ее, закрепил за крюк на борту. Потом еще раз взглянул на крюк и бросил на него большой клок грязной пакли.

— Так будет спокойней,— заметил японец и твердым голосом, каким никогда не говорил с Сон Чером, добавил: — Иди! Иди на берег, проверь прибывший состав.

Вскоре поезд со срочным грузом подали на паром. Сукитоси и Сон Чер отправились на осмотр эшелона. Японец, как и положено, шел впереди, а кореец — сзади, и они смотрели, хорошо ли заклинены колеса, чтобы вагоны не двигались, если будет шторм, правильно ли они сцеплены, не оборваны ли пломбы

Сукитоси тщательно и придирчиво принимал состав, проверял все крепления. Так и должно быть, потому что он, старый и исполнительный рабочий, хорошо понимает, что груз сегодня особенно важный и срочный.

Но вот приемка закончилась, и с буксирных катеров забросили на паром концы, чтобы вытянуть на борт стальные тросы. И в этот момент Сон Чер услышал слова Сукитоси

— Будь счастлив, друг! Передай привет жене

Сон Чер хотел ответить, но катер загудел, и Сукитоси поспешил к трапу.

— Пусть будет счастлива и твоя семья! — только и успел сказать сцепщик, покидая паром.

Вагоны со срочным грузом еще только подходили к станции, когда помощник диспетчера Ли Шин вышел в пассажирский зал третьего класса. Он обменялся взглядом с дожидавшимся его Ри, едва заметно кивнул и вернулся к себе Ри побежал на берег, где его поджидал Пан Чак.

— Что, уже? — шагнул ему навстречу Пан Чак.

— Да, пора!

Пан Чак достал из-под камней часовой механизм, обернутый в резиновую оболочку, нащупал барашковый винт и дважды повернул его.

— Теперь все,— сказал он, входя в теплую воду.— Через два часа будет взрыв.

И вот все уже позади. Они смотрят на паром, на пыхтящие катера.

— Иди, Ри, иди, дорогой, и я пойду посплю.

Пан Чак шел, то и дело оборачиваясь на сигнальные огни парома, которые быстро удалялись от берега.

Вот первый удар, который он нанес японцам у себя на родине. О взрыве заговорят все. И это — самое важное.

Пан Чак не заметил, как очутился близ хижины Пек Уна.

Светало. На фоне серого неба уже ясно выделялись островки и скалы, торчащие из воды. Море было тихое, где-то неподалеку пыхтел катерок. Домой идти не хотелось. Пан Чак лег на землю и долго смотрел в сторону острова Кочжедо. Потом взглянул на хижину Пек Уна и веревки, на которых сушилась рыба.

Как нехорошо, что он до сих пор так и не повидал мать! Сегодня же надо будет снова к ней поехать.

Вдруг он услышал шум машины. Большой закрытый автомобиль остановился против хижины Пек Уна. Пан Чак замер. Из хижины вышел Пек Ун, за ним показались трое полицейских и еще кто-то в штатском. Полицейские подталкивали старика, а он шел медленно и, казалось, спокойно завязывал ленты на халате.

Вот старика втолкнули в машину, туда же вскочили полицейские и захлопнули дверцу. Человек в штатском огляделся и сел рядом с шофером.

Какое знакомое лицо! Кто же это такой?

Машина рванулась и через несколько секунд скрылась за сопкой.

Пан Чак сполз со скалы, перескочил через овраг, обошел сопку и, сделав большой крюк, выбрался на дорогу, ведущую в город.

Что же произошло? И что за человек сел в машину рядом с шофером? Он знает этого человека, но не может вспомнить, кто это такой.

Пан Чак добрался до хижины Ким Хва Си и остановился, опасаясь переступить порог. На счастье, учитель сам появился в дверях. Пан Чак рассказал ему все, что видел.

— Паром ушел недавно, и взрыва еще не было,— за-

ключил он,— значит, просто выследили хижину старика Пек Уна.

— Тебе придется немедленно уехать! — решительно сказал Ким Хва Си.— На твой след, видимо, напали.

Они вошли в хижину.

— Это тебе на дорогу,— сказал учитель, передавая Пан Чаку тоненькую пачку денег,— иди не задерживаясь. Пробирайся в рыбацких джонках через острова в Мокпхо, а оттуда в Сеул. Разыщешь там на текстильной фабрике Катакура механика Чан Бона. Он свяжет тебя с Ван Гуном.

— Как, Ван Гун в Сеуле? — удивился Пан Чак.

— Да, теперь в Сеуле. Ему, как и тебе, нельзя долго находиться на одном месте,— улыбнулся Ким Хва Си.

Учитель смотрел из окна на удаляющуюся фигуру Пан Чака, пока тот не скрылся за домами. Потом взял стопку тетрадей и, сутулясь, пошел в школу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНА

За два дня Пак Собан соорудил на своем пепелище новую хижину. Правда, не такую просторную, какая была у него до пожара, но для своей маленькой семьи он и не собирается тут целый дворец строить. Хижина получилась даже лучше, чем была на Двуглавой горе. Апання обмазала стены глиной и сложила печь. На старом пожарище валялись обгоревшие, но вполне пригодные чугунки. Она отобрала пару самых крепких, не потрескавшихся от огня, и вмазала их в очаг.

— Зачем нам столько чугунков? — сердился Пак.— Можно подумать, будто ты каждый день готовишь и рис и фазана. Или ты думаешь, здесь поселится семья помещика?

— Не помешает,— оправдывалась Апання.— Зато в горячей воде не будет недостатка.

Каждый день Пак тащил в новый дом что-нибудь подходящее. То найдет жердь, чтобы еще надежнее подпереть навес, то сноп новой соломы достанет для крыши, то чурбак принесет, из которого потом можно будет сделать корыто.

Постепенно в доме появилась и посуда. Правда, не такая удобная, как прежняя, пока только деревянная, но со временем будут и тыквенные ковшики. Где это видано, чтобы сразу обзавестись всем хозяйством!

Не успел Пак обосноваться на новом месте, как по соседству появилась еще одна хижина — кочующего батрака Кан Сын Ки. Он, конечно, не мог построить такое хорошее жили-

ще, как у Пака, потому что ему никто не помогал: жена больна, а старуха мать и маленькие дети — какие же из них помощники! Но на первых порах и это хорошо, было бы где приклонить голову.

Через неделю на старом пепелище выросла целая деревня. Все-таки место обжитое, вот и потянулись сюда батраки Ли Ду Хана, да и кое-кто из уцелевших погорельцев вернулся.

Как и велел Ли Ду Хан, только первую половину дня Пак с женой работали на помещичьем поле, а ближе к заходу солнца они могли идти на свой участок.

Спустя полгода Ли Ду Хан убедился, что у Пака нет прежнего усердия: он не успевает обрабатывать даже то полтенбо земли, которое арендует. Но помещик не стал отбирать у Пака землю, а дождался, пока тот собрал урожай.

И вот уже год, как семья Пака батрачит у Ли Ду Хана. У Пака стало меньше забот. Он и его жена теперь весь день на помещичьем поле, и им не приходится ломать себе голову над тем, как обработать еще и свой участок.

Однажды, когда семья собралась обедать, Апання выбежала зачем-то на улицу, но тут же с криком бросилась обратно:

— Смотри, смотри, кто идет!

Пак поднялся и вышел на порог. Он стал вглядываться в человека, показавшегося на дороге, и не сразу узнал своего старшего сына Сен Челя, который удивленно оглядывал незнакомую ему деревню.

Паку надо бы стоять на месте и, сохраняя достоинство ожидать, пока Сен Чель, как и должен поступить сын, подбежит к нему и, опустившись на колени, коснется головой земли. Но старик не выдержал, бросился навстречу Сен Челю и повел его в дом, на ходу крича жене:

— Ты видишь, это Сен Чель приехал, посмотри скорей кто приехал!

Апання сначала совсем растерялась, но, спохватившись, быстро вытерла подолом юбки циновку у стола и начала усаживать сына, забыв, что стоит отец.

Сен Челю хотелось обнять стариков, но он постеснялся и только просил их успокоиться. Апання засуетилась у очага и, даже не спросив мужа, положила на стол приготовленные для продажи пять яиц, которые снесла их курица. Увидев это, Сен Чель достал из своей котомки кусок вареной свинины, яблоки и земляные орехи.

Семья уселась за стол, но опять все выходило не так, как надо бы. Вместо того чтобы выслушать сына и узнать, где он жил эти годы и достойно ли вел себя, старик сам принялся поспешно рассказывать обо всем, что произошло с ними в отсутствие Сен Челя. Апання тоже вставляла словцо, если он что-нибудь забывал.

Сен Чель слушал внимательно, подмечал все, что происходило в комнате. С той минуты, как он развязал свою котомку, Апання почти не отрывала глаз от свинины, да и старик то и дело поглядывал на стол, будто впервые в жизни увидел мясо.

Сен Чель стал их угощать, но никто не решался первым приняться за еду. Наконец мать, взяв со стола заостренную полоску тонкого железа, служившую ножом, отрезала четыре крохотных ломтика и, улыбаясь, заметила:

— Вот мы и свининки дождались.

Пак первым взял свой ломтик, а Сен Чель, разрезав мясо, сказал, чтобы они брали не стесняясь.

Сен Чель еще раньше обратил внимание на миску с мутной жижицей. Такой похлебки он дома раньше не видел. Все ж когда-то семья жила лучше. Отец ходит в рубище, да и на матери какое-то тряпье. А старики не жалуются, привыкли, видно, к этому, привыкли к своему шалашу, который отец называет «домом», к столику, сбитому из двух досок разной толщины. Отец рассказывает о своей жизни, о поджоге деревни так, будто речь идет о ком-то другом, о чужих краях.

Сен Чель слушал, не перебивая, и не задавал каждую минуту вопросов, как мальчишка, а дожидался, пока ему сообщат обо всем, что его может интересовать.

Потом отец сообщил, что и младший сын пошел по пути Сен Челя и вот уже два года, как отправился в Пхеньян на заработки. Не видал ли его Сен Чель?

Сен Чель замялся и сам поспешно задал отцу вопрос:

— А где же Мен Хи? Почему ее нет здесь и вы о ней ничего не говорите?

Пак рассказал все, что произошло с девочкой. Сен Чель сокрушенно качал головой, и всем стало неловко, и каждый ощутил свою вину.

Но тут Сен Чель, то и дело поглядывавший в окно, велел матери задвинуть решетку и попросил всех не так громко разговаривать, чтобы никто из посторонних не услышал их и не мог догадаться о его приезде. Пак удивленно посмотрел на Сен Челя и вдруг испуганно отшатнулся. Потом он поднялся, и лицо его стало строгим, и он уже не спускал глаз с сына. Мать заметила это и тоже посмотрела на Сен Челя и увидела,

что шнурок на его рубашке развязался и что грудь его перебинтована.

Тогда она посмотрела на мужа: что скажет он.

Пак, глава семьи, решительно спросил Сен Челя, почему у него перевязана грудь и почему он должен прятаться от людей. Он добавил, что если это его избили за нечестные дела, пусть лучше ничего не рассказывает, а берет свою котомку, которую мать уже перенесла на самое видное место, и пусть уходит. Пак Собан будет знать, что у него больше нет старшего сына, а людям скажет, что старший сын умер в его душе.

Сен Чель улыбнулся и ответил, что сражался за народное дело. А как все произошло, расскажет позже.

И только тогда старики вдруг всполошились: ведь им пора в поле, а то, чего доброго, кто-нибудь придет сюда за ними.

— Я пока отдохну,— сказал Сен Чель,— а вечером мы побеседуем. Можно даже позвать в дом двух-трех крестьян, но только надежных и толковых, чтобы умели язык держать за зубами, а при случае передали бы и другим то, что здесь услышат.

Пак Собан понимающе кивнул и стал торопить жену.

Сен Чель так и не решился сообщить родителям о брате: ведь они очень любят своего младшего сына. Сказать отцу, что его сын стал надсмотрщиком у Те Иль Йока, а потом попал в японскую армию, он не мог.

...Родители вернулись домой, когда уже стемнело. Едва успели поужинать, как пришел батрак Кан Сын Ки, а потом еще трое крестьян. Никого из них Сен Чель не знал, и они видели его впервые. Пак шепнул сыну, что люди эти надежные и при них можно говорить не стесняясь.

Гости сидели на циновках и с нетерпением ждали, что расскажет им сын Пак Собана, вернувшийся из города.

— Я не был в родной деревне несколько лет,— начал Сен Чель,— и половину этого времени я воевал в Китае.

Послышался шепот удивления, но он продолжал говорить, потому что людям предстояло услышать еще немало интересного, и если он будет каждый раз останавливаться, то неизвестно, когда ему удастся закончить рассказ.

— Два года я провел в Китае и не могу описать вам все, что видел за два года, потому что каждый день я видел что-нибудь новое. Я расскажу вам только, как живут люди в освобожденных районах Китая.

Сен Чель говорил долго. И, кроме обещанного, он рассказал еще обо всем, что делается в мире: и о войне самураев

с Америкой, о победах русских, которые уже изгнали немцев почти со всей своей земли.

Крестьяне слушали, изумленно качая головами, изредка задавая вопросы.

Когда все разошлись, Пак наконец тоже задал вопрос, который мучил его с той самой минуты, как Сен Чель появился в доме.

— А что же ты теперь? — спросил он сына.— С нами останешься? Иль как?

— Нет, отец,— твердо сказал Сен Чель.— Рано утром я должен уйти в другую деревню и там тоже рассказать, что делается на свете. Так я буду ходить по деревням до тех пор, пока не заживет рана. А потом я приду к вам попрощаться и снова отправлюсь в Китай.

ПОДПОЛЬЩИКИ

Два года Пэ Чер Яка не было на фабрике. Говорили, что он ездил в Китай. А теперь он снова вернулся и сразу же потребовал, чтобы Мен Хи доносила ему, о чем говорят работницы. Но они ни о чем не говорят. С тех пор как во имя победы империи Ниппон над Америкой рабочий день увеличили до шестнадцати часов, у них не осталось времени на разговоры. Они только клянут самураев. А вот когда кончится самурайская власть, никто не знает. Но не об этом же говорить с Чер Яком. Почему он привязался именно к ней? Она ничего ему не сообщает, но он продолжает настаивать на своем. Он увеличил ей жалованье и хочет снизить рабочий день до двенадцати часов. Лишь бы она выполняла его поручения.

Конечно, хорошо бы работать только двенадцать часов. У нее даже нет сил постирать себе одежду. Недели проходят, как в тумане, она не знает, когда день и когда ночь. Она плохо соображает, что делается вокруг.

Со сна она толкает обеими руками соседку — Мен Хи и во сне продолжает подсовывать пеньку в барабан. Вся ее жизнь теперь — вертящийся барабан и мелькающие ножи. Все здесь так живут, но другим легче: к ним, наверно, не пристает Чер Як. Когда же это кончится?!

Выстоять у барабана еще можно, если бы было чем дышать. А воздух горячий, и хлопья пеньки набиваются в нос, в горло, в уши. Они прилипают к губам, и чем чаще вытираешь рот, тем крепче они пристают. Но и это можно бы вынести, не будь Чер Яка... Нельзя так жить. Лучше совсем

не жить. Или пусть не живет Чер Як. Хорошо бы, он попал в барабан...

Какие страшные мысли приходят в голову! Их прерывает звонок. Это первый обеденный перерыв. Администрация во всем идет навстречу работницам. С тех пор как фабрика перешла на шестнадцатичасовой рабочий день, ввели два обеденных перерыва по полчаса.

Мен Хи выходит из цеха и останавливается у дверей подышать свежим воздухом.

На большой скорости во двор въезжает машина, нагруженная пенькой, и резко тормозит у навеса. Мен Хи видит, как из кабины выскакивает шофер, молодой, широкоплечий, с веселыми глазами.

— Эй, кто тут? — закричал он. — Разгружай машину, мы с ней есть хотим, обоим полная заправка требуется!

И он засмеялся, кивнув рабочим, показавшимся из-под навеса. Хмурые люди, как и все на фабрике, они заулыбались ему в ответ, и видно было, что его приезду рады.

Он что-то говорил окружившим его рабочим, но тихо, то и дело поглядывая по сторонам. Почему он так смотрит на нее? Уже дважды он надолго задержал на ней взгляд. Может быть, это из-за того, что она сама пялит на него глаза. Шофер, должно быть, спросил, кто она такая: все обернулись в ее сторону.

Мен Хи стало очень неловко. Она решила уйти отсюда, тем более что пришел надсмотрщик и начал разгонять людей. Они медленно расходились. Несколько грузчиков направились к машине. Мен Хи пошла было в столовую и вдруг увидела, что шофер идет ей навстречу. Она быстро повернула в другую сторону, но тот окликнул ее. Мен Хи остановилась.

— Что ты делаешь на фабрике? — спросил он, подойдя.

— Работаю у барабана.

— А брат у тебя есть?

— Есть,— в недоумении ответила она.— Два брата.

— А где они, как их зовут?

— Где они, я не знаю. Одного зовут Сен Дин, а другого Сен Чель...

— Сен Чель!!

Он пристально смотрит на Мен Хи. Похожа на Сен Челя, как похожи два зерна риса с одного колоса. И такие же упрямые складки на лбу, как у того. Где-то ты теперь, мой боевой друг?

— А сейчас куда ты идешь?

— В столовую.

— Пойдем вместе,— неожиданно предложил он.

Он сказал это просто и ласково, опять улыбнулся и добавил:

— Меня зовут Пан Чак, а тебя?

— Мен Хи.

Она никогда не видела такой хорошей улыбки.

И как-то само собой получилось, что и Мен Хи улыбнулась в ответ. У нее вдруг стало легко на душе. Как это он сказал: «Пойдем вместе». С тех пор как мать отвела ее в дом помещика Ли Ду Хана, она всегда одна.

По дороге Пан Чак расспрашивал ее, давно ли она работает, сколько ей лет, как попала на фабрику. Он заметил, что с каждым вопросом девушка становится печальнее. Ему захотелось развеселить ее.

— Эй, кто там? — крикнул он, когда они вошли в столовую.— Отпусти-ка нам две порции фазана, осьминога и устриц, да живее поворачивайся, нас сам микадо ждет!

И он положил на окошко заранее приготовленные боны.

Все вокруг засмеялись. В окошке показалось лицо женщины. Увидев Пан Чака, она подмигнула, забрала боны и в тон ему ответила:

— Во что же вам класть фазана, господин микадо? Посуду давай!

— Посуду? Пожалуйста! — Он схватил с ближайшего стола две пустые миски и поставил их на окошко.

На обед была все та же черная разваренная чумиза, посыпанная крохотными пересохшими рыбками.

— Вот это императорский обед! — снова засмеялся Пан Чак и, взяв обе миски, повел Мен Хи к столу. Найдя свободное место, он велел ей садиться и сам примостился рядом. Тут же на столе, среди вороха посуды, отыскал деревянные палочки и принялся за чумизу. Ел он с таким удовольствием и аппетитом, что можно было подумать, будто перед ним и впрямь осьминог или устрицы.

«Что это за человек? — думала Мен Хи.— Шутит, смеется, и, видимо, все его любят. Он говорит то с одним, то с другим, и тем не менее его миска опустела с удивительной быстротой».

Кончив есть, он повернулся к Мен Хи и, глядя ей в глаза, серьезно сказал:

— Если кто обижать будет, мне скажешь...

Пан Чак ушел, и только теперь она спохватилась, что он заплатил за ее обед своими бонами. Надо сейчас же разыскать его и вернуть талоны.

Что он подумает о ней?

Мен Хи быстро пошла к навесу, рассчитывая найти Пан

Чака там, но не нашла. Да и машины уже не было. Значит, уехал.

После звонка она снова стояла у барабана, но какие-то странные мысли не давали ей покоя. Вернее, мыслей не было, просто она видела перед собой лицо Пан Чака. И вдруг сильный удар по спине вернул ее к действительности. Она даже не обернулась, только проворнее стала совать в барабан пеньку. Мен Хи знала: это ее подкараулил надсмотрщик. Она уже отвыкла от его ударов, потому что работает не разгибаясь. А сейчас вот задумалась...

На следующий день перед обедом ее вызвал Чер Як. Он опять улыбался и говорил, словно извиняясь:

— Я узнал, что тебя ударил надсмотрщик. Это очень нехорошо. Я ему сделал выговор. Можешь теперь спокойно работать, можешь даже, если устанешь, отдыхать.

И он ущипнул Мен Хи за подбородок влажными от пота пальцами.

— Только ты никому не говори об этом. А то все захотят поблажек.

Мен Хи не знала, что ответить. Это хорошо, что ее больше не будут бить, но почему он так добр?

— Ну, поблагодари Чер Яка и иди,— сказал он.— Иди, потому что скоро перерыв, а тебя никто не должен здесь видеть. Потом я покажу тебе другое место, чтобы нам не встречаться в конторе. Иди же,— повторил он, подталкивая Мен Хи к двери.

Она уже готова была переступить порог, когда снова услышала его голос:

— Да, я забыл тебе сказать. Ты вчера обедала с шофером Пан Чаком. Это хорошо. Это очень хорошо. Ты становишься умной. С этим человеком стоит дружить. Он так интересно рассказывает! Мне тоже хотелось бы его послушать, но некогда. Запоминай хорошенько все, что он говорит. Я потом тебя спрошу об этом. А сейчас иди скорей, уже прозвонил колокол.

Мен Хи пошла в столовую и по дороге увидела Пан Чака. Она обрадовалась, побежала к нему и остановилась, позабыв, зачем он ей был так нужен.

Но Пан Чак заговорил сам, и лицо у него было строгое:

— Где ты была? Что ты делала в конторе?

Она хотела рассказать, но ведь Чер Як велел ей молчать. Если она проболтается, он все равно узнает. Когда он смотрит, кажется, ему видно тебя насквозь.

А Пан Чак, как нарочно, настаивал:

— Ты была у Чер Яка? Что он тебе сказал?

— Нет, нет, я не была у него, меня вызвали в контору за расчетной книжкой. Вот она.— И Мен Хи показала книжку, которая случайно оказалась при ней.

Пан Чак внимательно посмотрел на Мен Хи, и ему стало жаль ее: с такой мольбой смотрели на него глаза девушки.

— Ну, а работается как? — спросил он.

— О, хорошо и совсем не так тяжело, как раньше. Я уже привыкла... Вот боны за вчерашний обед,— вспомнила она смущенно.

Пан Чак не брал боны, а она настаивала и сердилась, пока они не решили, что сегодня пойдут обедать вместе и на этот раз расплачиваться будет Мен Хи. Пан Чак снова был весел, и вообще все в этот день было радостным.

Пан Чак сказал, что вечером в цехе собираются ремонтировать машины, поэтому работу кончат на четыре часа раньше. Администрация фирмы, как всегда, шла навстречу текстильщицам: кто захочет, сможет отработать эти часы в другие дни, а у тех, кто не пожелает, просто удержат часть жалованья. Но главное, Пан Чак сказал, что, если ей интересно, она может поехать с ним на центральный склад за пенькой.

О, конечно, ей интересно. Она поедет с ним, как только прозвонит колокол.

Мен Хи никогда не ездила на машине, и ей было немного страшно. Но ведь Пан Чак рядом. Ей очень хорошо возле Пан Чака. Она даже не помнит, когда ей было так хорошо. Нет, так хорошо не было никогда!

Машина мчалась куда-то за город, на товарную станцию, петляя по узким улочкам. Мен Хи совсем уже не боялась. Это только в первые минуты замирало сердце.

Пан Чак снова стал расспрашивать Мен Хи о том, как она жила раньше.

Жизнь у помещика Ли Ду Хана приучила ее к скрытности. Там она научилась прятать от людей свои мысли, не рассуждать, не жаловаться, даже когда боль становилась невыносимой. Там ее научили улыбаться, когда тугой комок сжимал горло и слезы невозможно было удержать. Она молча терпела, молча сносила обиды. Она даже не понимала, что можно жаловаться кому-то, что можно делить свое горе с людьми.

Как же получилось, что одиночество вдруг стало ей в тягость и захотелось чаще видеть этого человека, которого она так мало знает? Как вышло, что она, не таясь, рассказывает ему всю свою жизнь?

Она научилась распознавать людей. Конечно, Пан Чак —

хороший человек. Но ведь и Тэн был честный, отзывчивый человек. И дедушка Мун был с ней добр и ласков. Но разве могла бы она пожаловаться им на свою горькую долю? Разве прежде она хоть словом обмолвилась о том, как ей тяжело? Нет, она скрывала от них свою боль, она готова была утешать их самих

Да что Тэн! Она не могла даже перед родными так раскрыть свою душу, а ведь кому же доверишь больше, чем отцу и матери!

Нет, Пан Чак не такой, как Тэн или ее отец. Те беспомощны, как сама Мен Хи, тем нужна чья-то поддержка А в Пан Чаке она почувствовала силу Как хорошо он сказал тогда: «Пойдем вместе!»

В общежитие Мен Хи вернулась поздно. Два раза они ездили на склад, а потом еще долго сидели на тюках пеньки под навесом Странные вещи рассказывал Пан Чак Как же это русским удалось прогнать всех помещиков и фабрикантов? Да, но вот и теперь они уже прогнали немцев со своей земли и почти из всех стран, куда те забрались.

Засыпая, она думала о Пан Чаке Может быть, первый раз в жизни Мен Хи заснула с радостным чувством.

Утром опять было трудно подняться Но едва она проснулась, как ею овладело предчувствие чего-то хорошего доброго, счастливого Что же это такое? О Пан Чак! Вот отчего так радостно на душе

И все утро Пан Чак стоял у нее перед глазами, будто он был рядом, будто он помогал ей подсовывать пеньку под ножи Скорее бы наступил перерыв Не потому, что она устала, нет, ей хотелось скорее увидеть Пан Чака

Она первой вышла из цеха, когда прозвонил колокол Но ни Пан Чака, ни его машины нигде не было Не оказалось его и в столовой Мен Хи внимательно смотрела по сторонам. Не увидеть его она не могла, если бы он был здесь Зачем же он как раз в обеденный перерыв уехал?

Наскоро поев, Мен Хи пошла к навесу и просидела там не спуская глаз с ворот, до тех пор, пока опять не раздались удары колокола Через три минуты он снова зазвонит, и к этому моменту барабан уже будет вращаться Надо идти

На следующий день ей тоже не удалось повидать Пан Чака. Прошла неделя, а его все не было Она постоянно думала о нем. Она не боялась, не стеснялась своих мыслей, не гнала их от себя. Она не понимала, что с ней происходит, да и не хотела в этом разбираться. Просто в мыслях о нем легче и незаметнее проходило время У нее появилась цель увидеть его В последний день недели Мен Хи было особенно

тяжело. Но все же она решила отработать те четыре часа, что пробыла с Пан Чаком, когда ремонтировали машины...

Но вот прошли и эти часы. Барабан остановился, и Мен Хи поняла, что может идти отдыхать. Она шла, не держась за машины. Она даже смогла отряхнуть с себя пыль и вытереть лицо.

Выйдя из цеха, Мен Хи направилась не в общежитие, а к навесу. Может быть, потому, что надеялась увидеть там Пан Чака, но, скорее всего, ей просто захотелось подышать свежим воздухом. Ведь была уже совсем ночь, и Пан Чаку в такое время здесь нечего делать.

Мен Хи села на развалившийся тюк пеньки и долго просидела там ни о чем не думая. Потом ей стало холодно, и она пошла под навес.

Огромные тюки пеньки громоздились до самой крыши. Она ощупью шла вдоль проходов между ними, пока не оказалась на площадке, образовавшейся среди беспорядочно набросанных тюков. Здесь Мен Хи обнаружила небольшое углубление, нечто вроде ниши из пеньки, и, не раздумывая, улеглась в ней.

Сколько проспала она — неизвестно. Она бы спала еще долго, но ее разбудил негромкий говор. Странно, ведь здесь никого не было!

Тусклый свет проникал из-за тюков, но людей Мен Хи не видела. Что они тут делают? Сначала она не различала слов: говорили несколько человек сразу — мужчины и женщины.

Потом все смолкли, и она ясно услыхала знакомый голос:

— Все собрались?

Были произнесены только два слова, а сердце у Мен Хи замерло.

Пан Чак говорил тихо, но ей был слышен каждый звук.

— Нашу родину называют Страной Утренней Тишины,— говорил он.— Это правда. Нет утра красивее нашего, нет более тихого утра, более спокойного утра на земле, чем у нас. Но в этой тишине гибнут люди. Эта тишина заглушает стоны пытаемых в застенках Содаймуна, в этой тишине молча умирают с голоду, и каждого, кто нарушит эту тишину, ждет самурайский меч.

Нашу дорогую родину называют Страной Утренней Свежести. И это правда. Нет чудесней прохлады нашего утреннего горного воздуха. Но этот воздух отняли у нас самураи. Нам нечем дышать! Они превратили для нас прохладу в ледяной холод подвалов, в нестерпимое удушье фабричных бараков!

Каждый месяц на фабрику пригоняют новую партию работниц, а где старые? Старых выбрасывают за ворота вместе с их первым кровавым плевком. А этим «старым» по двенадцать — пятнадцать лет. О, собаки Чер Яка зорко следят за работницами! Они точно знают, кто и когда начинает харкать кровью. Эти собаки вербуют себе помощниц среди девочек, опутывают их липкой паутиной подачек и льгот, из которой не вырваться.

Мен Хи слушала, почти не дыша, но при последних словах чуть не вскрикнула. Так вот почему ее больше не бьют!

А Пан Чак продолжал говорить, и она внимала каждому его слову.

— Мы корейцы! — говорил он.— Наш язык существует пять тысяч лет. Они запретили нам говорить по-корейски. Они переименовали на японский лад наши города и реки, горные хребты и заливы. Наш древний Пхеньян они назвали Хейдзио, столицу Сеул переименовали в Кейдзио, они не оставили в Корее ни одного корейского названия. Теперь издали приказ изменить все корейские фамилии на японские.

Мен Хи слушала, и ей хотелось выйти из своего убежища, но она боялась даже пошевельнуться.

Пан Чак на минуту умолк, потом снова заговорил, но теперь голос его стал спокойным и даже торжественным.

— Друзья! — сказал он.— Сейчас я предоставлю слово товарищу Ван Гуну.

Послышался другой голос — медленный, спокойный, уверенный.

На слух можно было заключить, что это пожилой человек.

— Закончилась величайшая из войн, которые знало человечество. Несметные силы фашизма, страшнее, чем полчища кровавого Хидэёси, ринулись на первое в мире государство рабочих и крестьян, чтобы задушить его и покорить народы России, как поработили нашу родину самураи, залив ее кровью. Но победить народ, которым руководит испытанная революциями Коммунистическая партия, невозможно. Все народы России поднялись против безжалостного врага, залившего кровью Европу, истребившего миллионы невинных людей, и раздавили драконово жало фашизма. Русский народ освободил от ига фашизма свою родину, вызволил из неволи десятки стран, и мы верим, что великий час истории, великий час грядущего освобождения исстрадавшегося корейского народа близок. Уже трепещет перед возмездием самурайская Япония. Уже поднимается повсюду корейский народ. Он видит великий день свободы, который несут нам

русские братья. Но друзья! — повысил голос оратор.— Сидеть и ждать, пока придет свобода, мы не имеем права. Нам будет стыдно перед русскими братьями. Настала пора действовать. Решительно и немедленно. И прежде всего мы должны поднять восстание в Сеуле. О плане восстания вам расскажет сейчас председатель стачечного комитета.

И вот уже голос нового оратора. Мен Хи не слышит, о чем он говорит. Ее отвлекло совсем неожиданное. К нише, куда она забилась, приблизились два человека. Одного она узнала бы даже с закрытыми глазами. Это был Пан Чак. Второго, старика, она видела в первый раз. Но как только он заговорил, она поняла: это тот, кого Пан Чак назвал Ван Гуном. Теперь он говорил шепотом:

— До восстания осталось девять дней. Не забывайте, что вы не рядовые участники. Ваша забастовка будет сигналом всем сеульским заводам и фабрикам. Если этого сигнала не последует...

— Не шевелись! — раздался резкий, как удар ножа, окрик.

И в ту же секунду полоснул яркий свет, словно прожекторы осветили все вокруг.

Мен Хи сжалась, слилась с пенькой в своей нише. Она услышала выстрелы, крики, удары, возню. Потом стало тихо, и в этой тишине отрывисто прозвучала короткая команда:

— Марш!

Мимо нее вереницей прошли люди. Сначала она увидела двух вооруженных самураев. За ними в наручниках шел седой кореец, потом снова самурай с обнаженным мечом, дальше несколько рабочих и работниц, тоже в наручниках, затем опять два японца и, наконец, Пан Чак.

— Быстрее! — крикнул полицейский, шедший последним, и ударил Пан Чака по спине плоской стороной меча.

Мен Хи сразу узнала в нем человека, который отправлял ее из Пучена на фабрику. Только он теперь был в полицейской форме. Но мысль на нем не задержалась. Она смотрела на Пан Чака, который, наверное, даже не почувствовал удара. Он не вскрикнул, не повернул головы, не ускорил шага. Прядь черных густых волос закрывала ему лоб, руки были скручены за спиной, но он шел не сгибаясь.

Когда Пан Чак поравнялся с нишей, Мен Хи подалась вперед, готовая на любой, самый безрассудный поступок. Движение Мен Хи привлекло его внимание, он медленно повернул голову, и они встретились взглядами. Пан Чак вздрогнул. Глаза его на мгновение расширились, и Мен Хи прочла в них столько презрения, такую ненависть, что у нее захватило дыхание.

— Змееныш!..— услышала она шепот Пан Чака.

— Молчать! — крикнул полицейский, не заметивший Мен Хи, и снова ударил Пан Чака.

Когда она пришла в себя, под навесом было тихо и темно.

В ЗАСТЕНКАХ СОДАЙМУНА

Чо Ден Ок ходит из угла в угол по своему новому кабинету.

Нет, это уже не мечты, а действительность. Нельзя сказать, что он просто поднимается по служебной лестнице. Он взвивается вверх так, что кружится голова. Японцы действительно умеют ценить деловых людей. Он блестяще выполнил задание в Пусане, и, кроме того, ему удалось раскрыть там явку революционеров.

Будь у него время, он до конца распутал бы весь клубок. Он нашел бы, конечно, тех, кто пустил ко дну паром в Цусимском проливе. Он узнал бы, почему расплавились подшипники в насосе парома, когда начали откачивать воду. Ведь это произошло не случайно: возле мотора были обнаружены крупинки золотого песка и мельчайшие ракушки.

Но даже то, что он успел сделать, создало ему славу. Так прямо и сказал начальник полицейского управления генерал Такагава и назначил его на такую высокую должность. Даже взятки не пришлось никому давать.

А ведь первые шаги он делал только с помощью взяток. Разве иначе назначили бы его надсмотрщиком на Супхунскую гидростанцию?

Это была первая должность, где проявились его природная находчивость, ум и осторожность. С тех пор он все время совершенствует и развивает в себе эти качества.

Но все же он не мечтал о такой карьере. По возвращении в Сеул с ним разговаривал и поздравлял его сам Такагава.

— За пусанское дело,— сказал он,— вы заслужили повышение.

— О господин генерал,— склонился Чо в поклоне, скрестив на груди руки,— мой слабый мозг и мое ничтожное тело не достойны таких слов! Я навсегда останусь горд тем, что ваш мудрый взгляд задержался на мне, а ваши благородные уста произнесли мое недостойное имя.

И вот его взяли в Кейму киоку[1]. Сердце останавливается,

[1] Кейму киоку — департамент полиции при японском генерал-губернаторе в Корее.

когда он даже мысленно произносит эти слова. В них величие и сила империи Ниппон Эти слова приводят в трепет и дрожь тридцать миллионов корейцев В своих самых дерзких мечтах в самых безудержных взлетах фантазии Чо Ден Ок не доходил до Кейму киоку.

Вот где власть! Здесь работают люди, у которых нет нервов Перед ними открыты все двери и сейфы, все тайники и частная жизнь людей

Они стоят над законами и судом. Им не нужен повод для ареста, при допросах они не уговаривают Они умеют пытать так, что дар слова обретают камни Они все видят и все знают От них никто не укроется У них есть уши и глаза в каждом квартале, в каждом доме

Вот где он покажет себя! Он уже получил значок «Кейму киоку», который открывает доступ всюду, даже на женскую половину любого дома А ведь туда тысячи лет не имел права входить ни один мужчина Он может зайти в любой дом и посмотреть, что лежит в сундуках.

Он может давить, душить, резать, пытать каждого подозрительного А на подозрении у него все. Все они преступники Взять под подозрение значит сделать первый шаг к открытию заговора

Рыбопромышленник из Маньчжурии даже под подозрением не был, а теперь ясно, что это крупный преступник С ним еще надо расплатиться за непочтительный разговор в вагоне экспресса Сеул Пусан Но этого мало Чо Ден Оку он еще разыщет и тех, кто бил его в школе, и того, кто ударил его на Сунхунской гидростанции!

Если эти подлецы уже умерли, он найдет их родственников. За действия мужчины должны отвечать все его родственники до пятого колена. Это старый закон. Если нет родственников, он найдет друзей или, наконец, знакомых этих преступников Он не доставит им радости умереть от первого удара. О нет! Он изучит все методы Кейму киоку. Он готов применять их уже сейчас. У него тоже нет нервов.

Злорадное ощущение еще не изведанного счастья охватывает Чо Ден Ока

Он не успел даже начать работу в Кейму киоку, как ему опять повезло Эта машина с пенькой сразу привлекла его внимание. Правда, она чуть не сшибла его с ног, но зато шофер затормозил, и удалось разглядеть лицо. И одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в шофере рыбопромышленника, с которым он тогда ехал в Пусан. Теперь ясно, что это за птица. Ему нечего делать за рулем грузовой машины с пенькой.

Не такой простак Чо Ден Ок, чтобы упустить добычу. Он записал номер машины и без труда разыскал ее.

Настоящее имя шофера — Пан Чак. Но ведь именно шофер Пан Чак исчез с пусанской мельницы в тот самый день, когда арестовали старого рыбака Пек Уна. Теперь-то этот «рыбопромышленник» расскажет, зачем он ездил в Пусан и чем занимался здесь. Конечно, взрыв парома — это его рук дело.

Но пока нельзя говорить Такагава, какая это крупная добыча. Пусть думает, будто задержанный шофер — просто подозрительный тип.

На горе Инвансан нет ни дерева, ни травинки. Сюда не добраться человеку. Птицы не вьют здесь гнезд. Черные гранитные глыбы вздымаются, будто стена, иссеченная гигантскими мечами.

Когда дует ветер, скалы Инвансана гудят. Страшно стоять под ними, страшно смотреть вверх. Кажется, вот-вот рухнет этот исполин и погребет под собой все живое. А под скалами на большом протяжении вьется крепостная стена из дикого камня. Высокие корпуса образуют внутренний двор. За корпусами еще одна крепостная стена. Она прижимает к скалам шестнадцать железобетонных склепов с маленькими, как бойницы, окнами. На железных засовах тяжелые висячие замки.

Между склепами и корпусами, вдоль стен, ходит стража, вооруженная кривыми самурайскими мечами и короткими винтовками с плоскими штыками. На каждом повороте пулемет.

Жутко под скалами Инвансана. Тишина. Кажется, солдаты охраняют мертвый город. И ветер, что воет и кричит на вершинах скал, только подчеркивает зловещую тишину внизу.

Но склепы живут. Живут гигантские корпуса. В них шесть тысяч замурованных людей. Шесть тысяч заключенных корейцев.

Город под скалами Инвансана — это Содаймун. Это центральная политическая тюрьма Сеула, опора японского наместника в Корее генерал-губернатора Абэ Нобуюки. Отсюда никто не выходит. Даже самые старые охранники не помнят случая, чтобы им пришлось открыть ворота и выпустить заключенного.

В глухую ночь то здесь, то там прогремит засов, тюремщик вытащит из застенка труп, и снова все стихнет. Ночью не заперт только один склеп — самый большой, номер тринадцать. В нем нет окон. Это центральная камера пыток.

Через массивную чугунную дверь сюда вводят людей, а спустя час, два, пять часов через узкое отверстие в прилегающей стене сбрасывают в ущелье изуродованные трупы. И даже эхо не доносит удара тела о скалы.

Перед рассветом в Содаймун привели пять человек, связанных общей веревкой. Когда закрылись ворота, людей развязали, оставив на руках у каждого только кандалы. Троих повели в одну сторону, двоих — в другую. Эти двое — Ван Гун и Пан Чак.

Они шли большим тюремным двором, мимо корпусов с решетками на окнах, потом перед ними открыли ворота второй крепостной стены. Их вели в самый глухой угол Содаймуна.

Это было на четвертый день после ареста. Три дня их продержали в полицейском участке, пока не приехали генерал Такагава и Чо Ден Ок.

Арестованные стояли со связанными руками.

— Ван Гун? Так вот вы какой, господин Ван Гун! — заговорил генерал, и голос у него был мягкий и ласковый.— Я очень рад с вами познакомиться. Нам так и не удалось в прошлый раз побеседовать. Вы ушли, не получив разрешения и не попрощавшись. Это, конечно, невежливо. Но вы думали, мы больше не встретимся. Вам казалось, что вы обманули генерала Такагава...

Генерал прошелся по комнате.

— Вы тогда не знали генерала Такагава,— продолжал он так же мягко,— но вы его теперь узнаете. Вы его хорошо узнаете. Только жаль, что не сможете рассказать о нем своим товарищам.

Обернувшись к начальнику полицейского участка, он спросил:

— Господин Ван Гун уже сообщил вам, где находятся его друзья? Ах, он молчит! О, Ван Гун — серьезный человек, он не станет болтать попусту, как безусый юнец! С ним надо умело разговаривать, а вы, наверно, недостаточно внимательно к нему отнеслись. Но ничего, я исправлю вашу ошибку. Я сам попробую с ним поговорить... Ведь вам тоже хочется со мной побеседовать,— снова обратился он к Ван Гуну.— Не правда ли? Только, я думаю, нам не стоит оставаться здесь, в этом жалком районном участке. У меня имеется загородный особняк, достойный столь уважаемых и долгожданных гостей, как вы. Я поеду туда сейчас же, чтобы подготовить вам встречу. А вы,— повернулся он к начальнику участка,— подайте машину этим господам. Пусть шофер отвезет их в Содаймун.

...И вот Ван Гун и Пан Чак в Содаймуне.

Ван Гун спокойно идет по тюремному двору. Да, отсюда не убежать. Он не думает о смерти, хотя хорошо знает, что ждет его. У Такагава с ним старые счеты. Трижды Ван Гун оставлял в дураках эту полицейскую собаку. Теперь надо подумать о том, как лучше использовать свои силы в последний раз. Да, это последний бой.

И прожитое предстало перед ним, будто он взглянул на картину, где был нарисован весь его жизненный путь.

Тысяча девятьсот седьмой год. Он еще совсем юноша. Ему непонятно, почему распускают корейскую армию. И когда пхеньянские рабочие вышли на улицы с протестом против запрещения национальной армии, он примкнул к демонстрантам.

Потом японские войска разгоняли народ. Выскочивший откуда-то самурай стал бить его толстой бамбуковой палкой. Он прикрывался руками, а японец бил с остервенением. И еще один подбежал с палкой. Тогда Ван Гун увидел, что жалости в них нет и сердца тоже нет, и побежал, хотя бежать было трудно, потому что его качало во все стороны. Он заскочил в какой-то двор, а японцы побоялись туда забежать, потому что их было всего двое.

В маленьком дворике никого не оказалось, и он спрятался за куст сирени. Потом увидел старуху, которая, казалось, его не заметила и заперла калитку. Она подошла к кусту и сказала:

— Вон там стоит бочка с водой, можешь обмыть кровь на руках. И лицо вымой, оно тоже в крови. А с рубашки кровь я сама отстираю, ты сними ее.

Рубашку она сушила не во дворе, а в комнате. Она сказала:

— Если тебе негде спать, я дам тебе циновку. И если боишься идти, оставайся...

...Впервые Ван Гун был арестован после того, как кровавый генерал Терауци разгромил восстание пхеньянцев. Тогда Ван Гун узнал, что такое японская тюрьма, что такое пытки. С тех пор его тело в рубцах и шрамах. Его кости переломаны в пяти местах. И все же он выжил. Выжил и бежал после трех лет заключения.

Теперь он снова на тюремном дворе. В который раз?..

Ван Гун идет по двору Содаймуна. Позади молодой Пан Чак.

Как он будет вести себя? Он вырос и воспитан в партизанском отряде, но... Содаймун... Хватит ли сил и выдержки?

В узком, ярко освещенном коридоре с них сняли кандалы. Загремел засов, дважды щелкнул со звоном замок. Медленно отворилась внутрь камеры тяжелая дверь. Без единого звука тюремщик подтолкнул Ван Гуна. Тот взглянул на Пан Чака.

Пан Чак понял этот взгляд. Он выпрямился, расправил плечи, поднял голову.

Вот так, хорошо, теперь Ван Гун спокоен. Он шагнул через порог.

Дверь закрылась, дважды щелкнул замок: дзинь-дзинь. Ван Гун прильнул щекой к двери, прислушался: не посадят ли Пан Чака рядом.

Пан Чака долго вели по коридорам. Несколько раз сворачивали то вправо, то влево. Он шел мимо бесконечных рядов чугунных дверей с закрытыми глазками. Его сопровождали два тюремщика, и это шествие на всем пути безучастно встречали и провожали глазами коридорные стражи. Наконец тюремщики остановились. На двери большой, четко выведенный номер — триста двадцать шесть. Уже знакомый звон замка: дзинь-дзинь.

Пан Чак вошел.

Пустой каменный ящик. Два шага в длину, два в ширину. На низком потолке маленькая лампочка, опутанная толстой металлической сеткой. Окошко под самым потолком с двумя решетками — снаружи и внутри. Если просунуть всю руку сквозь первую решетку, пальцы не дотянутся до второй.

Пан Чак стоит посреди камеры. Серые каменные стены, такой же пол.

Кто сидел в этой камере? Сколько страданий видели ее стены? Как неожиданно он сам оказался здесь! Нет, он ни в чем не может себя упрекнуть. Все было продумано и подготовлено. Он ждал Ван Гуна в горах, где никто не мог их увидеть. На фабричный двор въехали, ни у кого не вызвав подозрения. Когда разгружали пеньку, уже было темно. Все три грузчика — надежные люди, никто из них не мог выдать. А на совещании были только революционеры.

Пан Чак мысленно останавливается на каждом из них и твердо решает: «Нет, все это верные друзья».

Значит, он не ошибается. Значит, это она, змееныш! Она ходила к собаке Чер Яку. Зачем? Чер Як не упустит случая завербовать еще одного шпика,— значит, он и ей предложил шпионить. А она ничего об этом не сказала. Значит, продалась. Такая молодая и такая подлая!

Пан Чак ходит по камере. Из угла в угол, по диагонали Два шага в одну сторону, два — в другую.

Но откуда она узнала о собрании? Видимо, случайно. Сидела под навесом и дожидалась его, спрятавшись в пеньке. И тут же побежала к Чер Яку. Он велел ей вернуться и наблюдать, а сам вызвал полицию... Но как же она незамеченной вернулась? Да и к Чер Яку она не могла сбегать незаметно. Ведь за час до собрания он велел товарищам следить за навесом. Но как же она попала туда? Ничего нельзя понять... А какие у нее добрые, ласковые глаза! И вся она такая робкая, доверчивая, беззащитная на вид...

Пан Чак ходит по камере вдоль стен. Два шага — поворот, два шага — поворот.

А зачем здесь вторая дверь? В соседнюю камеру, что ли? Только сейчас он заметил эту дверь, узкую, как доска.

Кто-то остановился в коридоре, в глазке мелькнуло лицо. Звук вставляемого в замочную скважину ключа, потом знакомое — дзинь-дзинь. На пороге Чо Ден Ок.

Пан Чак стоит у стены.

— Как чувствует себя господин Пан Чак? Как идет торговля у маньчжурского рыбопромышленника?

Пан Чаку очень захотелось ударить по этому лицу или плюнуть в него.

Он не ударил и не плюнул. Он ничего не ответил и больше не смотрел на Чо Ден Ока. Он не будет замечать ни его, ни других палачей.

Чо Ден Ок перестал улыбаться, хорошее настроение покинуло его. Он прикрыл за собой дверь, поправил на ремне маузер в большой деревянной кобуре.

— Я пришел сообщить тебе,— продолжал он,— что мы не считаем тебя главным преступником, хотя ты занимался антияпонской пропагандой. Мы хорошо знаем: тебя подстрекал к этому Ван Гун, человек неизвестной профессии, который сбил с пути многих честных рабочих.

Пан Чак внимательно осматривал потолок, а Чо Ден Ок говорил так, будто ему безразлично, слушают его или нет.

— Ты должен ответить всего на три вопроса. Если ты будешь благоразумен и ответишь на них, тебя сейчас же освободят. Первый вопрос: из кого состоит организация на фабрике? Второй вопрос: кто руководит коммунистами в Пусане? Третий вопрос: как попал на фабрику Ван Гун?

Пан Чак молчал. Он даже отвернулся.

— Мы так и думали, господин Пан Чак,— весело заговорил Чо Ден Ок.— Мы предвидели, что тебе трудно будет сразу ответить. Но мы можем подождать. Мы можем ждать три дня: на каждый вопрос — день. За это время ты успеешь хорошо подумать. Только, пожалуйста, не забудь, что ты

находишься в Содаймуне. Здесь деловые люди. Нам некогда. Мы не сможем уделять тебе много внимания.

Чо Ден Ок совсем развеселился.

— Извини, пожалуйста,— заулыбался он.— У нас тут нет циновок, придется тебе сидеть на полу; он чистый, каменный, и вообще у тебя удобная комната. Она на два этажа выше уровня земли. А вот во втором этаже ниже уровня земли — там плохо, там немножко сыро. Но мы пока оставим тебя здесь.

Сказав это, Чо Ден Ок открыл дверь и подал знак рукой. В камеру вошли два тюремщика и внесли толстую сырую дубовую доску, по ширине равную плечам человека. В камере стало тесно, и Чо Ден Ок отошел к порогу.

Пан Чак смотрит на доску.

Канга! Он слышал о ней, но никогда не видел. Теперь ее наденут ему на шею. Длинная, почти в человеческий рост, доска состоит из двух половинок, стянутых на концах железными скобами. На верхнем конце, у самого края доски, круглое отверстие для шеи.

— Что же вы стоите? — обращается Чо Ден Ок к тюремщикам недовольным тоном.— Помогите господину Пан Чаку надеть кангу. Он щедро отблагодарит вас.

Пан Чак смотрит на кангу, медленно расправляет плечи, поднимает голову:

— Надевайте!

Тюремщики разводят обе половинки доски, надевают на него кангу так, что ее отверстие приходится на шею, и снова стягивают скобы. Теперь доска обхватила его, словно хомутом. Тюремщик отпускает свободный конец канги, она падает, и жесткое ребро дубового хомута с силой врезается в затылок. Голову, словно паровым прессом, прижало вниз, подбородок уперся в доску, повисшую вдоль тела. Пан Чак невольно наклоняется, и нижний конец канги упирается в пол. Теперь он стоит согнувшись, но так легче. Вся тяжесть канги передается на пол. Надо только не потерять равновесия.

— О, господин Пан Чак кланяется! — слышит он голос над собой.

Пан Чак видит только носки сапог: четыре тупых, широких, чуть загнутых вверх и два узких, плоских, прилегающих к полу. Тупые носки — из толстой, грубой кожи. На краях виднеются металлические пластинки — подковы. Узкие носки — из тонкой, мягкой кожи. Они начищены до блеска.

Оказывается, он в самом деле склонился перед ними.

Пан Чак широко расставляет ноги, упирается руками в бедра.

Он напрягает мускулы на шее и разгибает спину.

Канга сильнее врезается в затылок, но Пан Чак уже совсем выпрямился, расправил плечи. Он чувствует, что лицо его налилось кровью. Но он будет стоять так, он не хочет смотреть на кованые носки самурайских сапог.

— Какой силач! — восторженно восклицает Чо Ден Ок.— Ведь ему очень тяжело, помогите человеку сесть!

Тюремщик подтаскивает гирю, лежавшую у двери, закрепляет груз на свободном конце канги и отпускает ее. Опять голову рвануло вниз, гиря тяжело ударилась об пол. Пан Чак снова стоит согнувшись. Теперь не выпрямиться.

Перед глазами носки сапог: четыре тупых, кованых, загнутых вверх и два плоских, блестящих.

— Саюнара, господин Пан Чак, до свидания! Я еще приду к вам. Вы не забыли моих вопросов?

Застучали сапоги, загремела дверь, дважды щелкнул замок. Снова все тихо.

Пан Чак стоит согнувшись, придерживая руками доску. Долго так не простоишь. Постепенно приподнимая кангу, он медленно сгибает колени и садится на пол. Теперь можно вздохнуть. Он сидит, широко расставив согнутые в коленях ноги и наклонившись вперед. Один конец канги опирается на плечи, другой вместе с гирей лежит на полу...

Часа два он не шевелится. Но больше так сидеть нельзя. Не хватает сил. Кажется, что кости трут напильником. Одной рукой опираясь об пол, а второй придерживая кангу, он валится на бок. Теперь канга лежит ребром на полу. Хорошо бы расправить кости, но вытянуться некуда — слишком мала камера.

Пан Чак лежит на боку согнувшись. Голова на весу, шея зажата в ребристый хомут канги. Если расположить тело по диагонали камеры, тогда можно будет вытянуть ноги. Он поочередно и медленно перемещает то тело, то кангу. И вот она устроена вдоль стены, а тело — по диагонали. Как хорошо! Только голова на весу, и нельзя опереться на руку.

Нет, так лежать невозможно, голова уже не держится. Ребро доски трет шею. Надо подняться. Надо сейчас же подняться, иначе канга задавит!

Сесть труднее, чем лечь. Одной рукой надо упереться в пол, но канга стала невыносимо тяжелой. Вся тяжесть навалилась на шею. Шея уже стерта и кровоточит. Надо поменьше шевелиться! Надо сесть и сидеть, покуда не привыкнешь. Это — самое удобное положение. И лучше не будет. Этого надо было ожидать. Надо помнить, что здесь Содаймун, а не благоуханные Алмазные горы...

Вечером в камеру принесли еду: в маленькой миске черная вываренная масса. В нее воткнуты липкие деревянные палочки. Надо поесть. Надо поддержать в себе силы.

Пан Чак берет палочками комок из миски, но дотянуться до рта не может: мешает канга — она толстая и широкая. Он наклоняет голову вбок. Нет. Ничего не выходит. Пан Чак отталкивает миску.

Как все это выносит Ван Гун?.. Кто же эта гадина, что выдала их?

Три дня просидел Пан Чак в канге. Три дня он не ел и не спал. Порой забывался. Его сразу же хватали за горло и начинали душить. Он открывал глаза. Он понимал: душит канга.

На исходе третьего дня с Пан Чака сняли кангу, и он неуклюже повалился на бок. Ему что-то говорили, его пинали ногами, требовали, чтобы он встал. Ему очень хотелось встать, но он лежал. Ни один мускул больше не слушался его. Руки валялись отдельно, сами по себе, и ноги — тоже. А шеи не было. Он чувствовал только плечи и голову. Ему еще немного подчинялись веки. Он мог ими шевелить. Он поднимал их и видел широкие, тупые, загнутые вверх носки сапог, подбитые железом. Он видел, как носки отрывались от пола и ударяли его тело. Видел, но не чувствовал удара. Тогда он опускал веки... Больше он ничего не помнит.

Он очнулся от острого, щекочущего запаха кимчи. И действительно, на плоской тарелочке перед ним возвышалась горка кимчи, а рядом, в миске,— рис. В камере никого не было. Он съел и рис и кимчи. Потом поднялся, прислонился к стене. Стоять тяжело. Совсем разогнуть спину он не мог: мешали позвонки, нажимавшие друг на друга, но все равно он радовался, что смог встать.

Наверно, за ним наблюдали в глазок. Он простоял не больше минуты: пришел тюремщик и вывел его из камеры.

Ему хотелось шагать спокойно и ровно. Он плелся, согнувшись и покачиваясь. Руки у него не были связаны и висели, как веревки.

Его привели к Чо Ден Оку. Но только настроение на этот раз у того было плохое. Он очень торопился и нервничал.

Пан Чак не успел переступить порога, как услышал окрик:

— Я готов слушать ответы на мои вопросы!

Веки Пан Чака дрогнули.

— Я ничего не скажу, если даже меня будут держать в канге, пока я не умру.

— О-о-о! — протянул Чо Ден Ок.— Я хвалю твою храбрость. Но зачем так долго сидеть в канге? — И он постучал ладонью о стол.

Вошел тюремщик.

— Этот преступник хочет еще подумать. Отведите его обратно. Смотрите, как он согнулся,— показал Чо Ден Ок кивком головы на Пан Чака.— Дайте ему возможность расправить спину.

Пан Чак снова в своей камере.

Тюремщик отпер узкую дверь в задней стене и тихо сказал:

— Заходи...

Но заходить было некуда. Перед ним оказалось лишь небольшое углубление, как поставленный вертикально гроб. А тюремщик толкал его в этот гроб, и Пан Чак понял, что именно сюда он должен втиснуться. Он вполне уместился там и, когда дверь захлопнулась, остался стоять, сжатый со всех сторон стенами и дверью. Волосы упали ему на лоб, лезли в глаза, но поправить их он не мог, потому что из-за тесноты нельзя было поднять руку или тряхнуть головой. Он закрыл глаза. Так лучше: волосы не мешают, а темнее не стало. Было одинаково темно, и это не имело значения: открыты глаза или закрыты...

Дверь отворилась через двадцать четыре часа. Он вывалился из ниши, как куль. Его поставили на ноги и вывели из корпуса. На воздухе было очень хорошо. Он глубоко дышал и оглядывал двор. Но тюремщик не велел ему смотреть по сторонам, и тогда он перестал осматриваться и только глубоко дышал.

Вскоре увидел, как из небольшого кирпичного домика, до крыши заросшего диким виноградником и сакурой, вывели какого-то старика. Его вели навстречу Пан Чаку, и вдруг он сообразил, что это Ван Гун. Его еще можно было узнать по глазам. Они остались такими же, как были. А голова его теперь походила на череп, из которого торчали в разные стороны редкие и длинные седые волосы.

Когда они поравнялись, лицо старика сморщилось, и Пан Чак догадался, что Ван Гун улыбается.

Пан Чак тоже улыбнулся, хотел что-то сказать, но не хватило воздуха, и он только закашлялся.

Что же они сделали с Ван Гуном!

Пан Чака ввели в маленький домик и под охраной оставили в коридоре. Потом из двери высунулась голова, и он услышал: «Триста двадцать шесть». Пан Чак вспомнил: это номер его камеры.

— Живей! — толкнул его тюремщик.

Стены комнаты, куда вошел Пан Чак, были обтянуты шелком. На подушке у низенького столика сидел Чо Ден Ок.

— Садись,— указал он рукой на подушку, лежавшую

в нескольких шагах от столика.— Положение твое очень серьезное. Случайностей в Содаймуне не бывает. Либо ты ответишь на наши вопросы, либо умрешь. Ты должен выбрать, ты...

— Я уже выбрал,— прервал его Пан Чак.

— Что же?

— Я не отвечу ни на один вопрос.

— Ты расскажешь все, что меня интересует! — властно сказал Чо Ден Ок. И, обернувшись к двери, крикнул: — Корпус тринадцать!

Тюремщики вывели Пан Чака. Он снова на тюремном дворе. Он снова шагает вместе с тюремщиками — один спереди, другой сзади.

И вот перед ним корпус номер тринадцать — выступающая из земли железобетонная глыба без окон. А чуть дальше отверстие в стене, через которое сбрасывают трупы. Пан Чака сдают под расписку. Его ведут по ярко освещенным коридорам и вталкивают в камеру. Знакомый звук — дзинь-дзинь.

Пан Чак сидит на полу в новой камере. Можно подумать, что она фанерная. Слышно, как ходят по коридору, слышны разговоры. Потом все стихает. И в этой тишине вдруг раздается заглушенный вой, и эхо несется по коридору и замирает у двери камеры.

Он понял: кричит человек.

Пан Чак ложится на спину. Руки под головой, колени согнуты. Он лежит с открытыми глазами и слушает. Здесь пытают людей. Значит, все, что с ним было,— это еще не пытки. Пытки впереди. Для этого он здесь. А Ван Гун? Его тоже, наверное, приведут сюда.

Пан Чак слышал каждый звук ночи. Каждый звук в отдельности. Он все время твердил себе: «Надо заснуть» — и закрывал глаза. Но глаза были открыты. К утру он научился узнавать: вот это вырвался сдавленный крик — пытка только началась, это уже последний, предсмертный стон.

И весь следующий день Пан Чак слышал то же самое. Мимо камеры ходили и бегали, но он знал, что это еще не за ним. А когда опять наступила ночь, где-то в конце коридора раздались шаги. Тяжелые, будто на пол бросали гири: бух! бух!

По коридору ходило много людей, он слышал звуки многих шагов, но прислушивался только к одним: бух! бух! бух! — все ближе и ближе. Он не удивился, что шаги затихли у его двери. Послышался звук отпираемого замка.

Теперь его уведут.

Пан Чак не стал дожидаться, пока его вытолкнут, а поднялся и пошел сам. Один тюремщик впереди, другой — сзади.

В помещении, куда его привели, сидели Такагава, Чо Ден Ок и еще какой-то самурай.

Пан Чак остановился посреди комнаты и стал смотреть на них, и ему не было страшно. Он знал, что умрет в этой комнате, и те, что сидели за столом, перед кем трепетали сотни людей, показались ему маленькими, ничтожными и слабыми. Они долго готовились к встрече с ним. И вот теперь думают, что он будет молить о пощаде.

— Что решил господин Пан Чак? — обращается к нему Такагава, не глядя на него.

В чем же их могущество, если они спрашивают что решил он?

— Господин Такагава интересуется, готов ли ты отвечать на наши вопросы,— поясняет Чо Ден Ок.

Пан Чак молчит.

— О, господин Пан Чак не стал благоразумней, придется ему помочь.

По сигналу, которого он не заметил, в комнате появились два палача. Они схватили его и поволокли к стене.

— Не тронь! — оттолкнул их Пан Чак.— Сам пойду, ты только петлю затянешь.

Он шагнул к стене.

— Раздевайся! — скомандовал палач.

Пан Чак разделся, аккуратно сложил на пол одежду и сел на указанный ему железный стул у стены.

Его привязали к сиденью, руки прикрепили к стене железными скобами. Одну ногу привязали к ножке стула, а другую положили пяткой на специальную табуретку и тоже привязали.

— Готово! — услышал Пан Чак и подумал: «Сейчас начнется».

И когда эта мысль мелькнула в его голове, раздался другой голос, голос Такагава:

— Начинайте!

Палач достал из кармана плотную шелковую нить, надел кожаные перчатки, обмотал вокруг ладоней концы нити, натянул ее, как бы пробуя прочность, и подошел к Пан Чаку. Присев на корточки, приложил нить к его ноге немного выше колена и начал перетирать мышцы.

Пытка началась. Пан Чак уже не видел, как в комнату вошел капитан и передал Такагава пакет.

Такагава вскрыл его и прочел письмо. В нем была только одна фраза:

«Генерал-губернатор Абэ Набуюки просит Вас выехать в его резиденцию в ту минуту, как Вы получите это письмо».

— Убрать его! — кивнул Такагава в сторону Пан Чака и быстро вышел.

ОНА НЕ БУДЕТ ШПИОНОМ

На следующее утро после ареста Пан Чака фабрика жила своей обычной жизнью. Так мог подумать каждый, кто впервые попал сюда. Но те, кто здесь работал, видели, что произошли важные события. У трех машин стояли люди из других смен: то одну, то другую работницу куда-то вызывали. Они возвращались угрюмые, подавленные. Появились два новых надсмотрщика. Никто вокруг не произносил ни слова. Казалось, работают немые.

Мен Хи стояла, согнувшись у барабана. И вдруг раздался голос:

— Семьсот двадцать шесть! В контору!

Ей не сказали, кто вызывает, но она знала: Чер Як!

Она пошла к нему.

— Твоя циновка всю ночь пустовала,— сказал Чер Як.— Я не знаю, почему твоя циновка пустовала,— повторил он, внимательно глядя на Мен Хи.

Чер Як говорил, и нельзя было понять, что он собирается еще сказать или сделать. Она не знала, спрашивает он ее или просто так говорит.

Он очень внимательно смотрел на нее и даже немного наклонил голову набок. А глаза не моргали и вообще не двигались, будто они неживые.

Мен Хи не знала, что он будет делать: может быть, ударит или скажет ласковое слово. Совершенно ничего нельзя было угадать.

Мен Хи дрожит, глядя на Чер Яка. Она не может спокойно стоять, когда он так смотрит на нее. Он видит все, о чем она думает, а задает вопросы, для того чтобы проверить: правду она скажет или нет. А вообще он все знает наперед. Он видит даже сквозь стены...

— А может быть, ты скажешь, где ты была?

— Я ночевала под навесом.

— Под навесом? Так, так, так... Я знал, что ты там была. Рассказывай дальше, говори скорей, кто тебя привел туда? Что ты там делала? Когда ты ушла?

Мен Хи рассказала, как она попала под навес и что там видела. Ведь он все равно все знает. Только о разговоре Пан

Чака со стариком она умолчала. Она не скажет о нем, если даже ее убьют. Только она одна слышала это.

— О, ты молодец! Для первого раза ты очень много сделала,— говорит Чер Як ласково.— Ты сумела так слушать, что тебя никто не видел. Так поступай всегда. И хорошо запоминай, о чем говорят. Даже если не понимаешь, запоминай слова. Запоминай имена. Это очень злые люди, это бандиты. Они хотят ограбить всех честных людей хотят взорвать заводы и фабрики.

— А Пан Чак тоже бандит? — спрашивает вдруг Мен Хи.

— Да, да, бандит-коммунист. Ты задаешь много вопросов и много думаешь. Тебе не надо думать. Надо только слушать. Слушать и рассказывать мне.

Пусть так: она не будет больше задавать вопросов. Она все равно знает, что коммунисты — хорошие люди, если Пан Чак — коммунист.

Чер Як умолк, и Мен Хи не знает, уходить ей или оставаться на месте. Она тихонько пятится к двери, не отрывая от него глаз. И вдруг лицо Чер Яка расплывается в улыбке. Он пальцем манит Мен Хи к себе. Она нерешительно делает шаг вперед, а он за это же время три раза шагнул ей навстречу.

— У тебя будет счастья — полные рукава,— говорит он, гладя ее волосы,— у тебя будет денег — полные рукава. С завтрашнего дня я устанавливаю тебе жалованье, как взрослому мужчине. А потом прибавлю еще, ты станешь зарабатывать, как японец. Это очень много, это в восемь раз больше, чем ты получаешь сейчас.

Мен Хи в ужасе смотрит на Чер Яка. Ей не надо в восемь раз больше. Ей не нужна помощь Чер Яка. Она пятится к дверям, но он хватает ее за руку.

— От тебя требуется немногое,— шепчет он.— Слушай и рассказывай мне то, что услышишь. Вот и все. Я позабочусь о тебе. Я подберу тебе достойного мужа. Вы поселитесь в отдельном домике, увитом виноградом, а под окном распустятся цветы сакуры. За спиной у тебя будет сын, похожий на отца, и каждый год ты будешь рожать своему мужу сына.

Мужу! Мен Хи инстинктивно выдергивает руку, в которую вцепился Чер Як. У нее уже был муж. Она успела забыть это слово, забыть Тхя. Теперь он снова всплыл в памяти. Нет, ей не нужен муж.

А Чер Як продолжал шептать:

— Завтра ты будешь работать в другом цехе, с Чан Боном. Ты расскажешь мне все, о чем он говорит, каждое его слово. Ты приметишь, кто к нему ходит и к кому он сам ходит. А если он целый день молчит и стоит на месте, следи, кому он

делает знаки головой или глазами. Запоминай все, что увидишь и услышишь. Ко мне не приходи, я сам тебя буду вызывать. И не в контору, тебе покажут куда. Понятно? Ты все поняла?

На следующий день Мен Хи перевели в другой цех.

Ее барабан почти в самом углу, рядом с тисками механика. Это и есть Чан Бон. Волосы седые, лицо молодое. Движения спокойные, уверенные. Работает не торопясь, но и не отвлекаясь, ни на кого не обращая внимания.

Мен Хи смотрит на Чан Бона. У него доброе лицо. Ей приятно на него смотреть. Он, наверное, никогда никого не обижает. Мен Хи подсовывает пеньку под ножи и поглядывает на Чан Бона.

Вот подошла работница, она показывает ему нож, снятый с барабана, и что-то говорит. О чем они могут говорить? Мен Хи напрягает слух, стараясь уловить слова Чан Бона. Шум барабана мешает ей, она останавливает машину, наклоняется, делая вид, будто прочищает ножи.

Поздно остановила машину: Чан Бон дал женщине другой нож, и она ушла. Он улыбается ей вслед. Чер Як велел запоминать каждое движение. Когда механик улыбнулся, Мен Хи вспомнила Пан Чака. Тот тоже так хорошо улыбается.

Во время перерыва Чан Бон не пошел в столовую. Он достал из инструментального ящика овальную жестяную коробку, в каких рабочие носят завтрак, сел на корточки и стал есть. К нему подошли две женщины, потом юноша и еще несколько человек. У всех были коробочки, и все ели принесенную с собой пищу. Мен Хи хотелось подсесть к ним, но ей надо было идти в столовую.

Вскоре она вернулась, но у тисков уже никого не было, и Чан Бон куда-то ушел. Он появился перед самым звонком.

Ее охватило неведомое ей раньше возбуждение. Она вдруг поняла, что впервые в жизни должна решиться сама на очень важный шаг. Мен Хи нисколько не сомневалась в Чан Боне. Прежде всего потому, что о нем с ненавистью говорил Чер Як. Он одинаково говорил о Пан Чаке и о нем. А во-вторых, потому, что хорошего человека сразу видно.

Он стоит у своих тисков и ничего не знает. А до забастовки осталось восемь дней. Но никто здесь не знает об этом,— значит, не будет сигнала для других заводов. Как же ей поступить?

Когда кончался рабочий день, Мен Хи направилась к Чан Бону.

— Вы коммунист? — спросила она так, как спрашивают у товарища, нет ли щепотки табаку для трубки.

Чан Бон, не обративший на Мен Хи внимания, когда она подошла, резко обернулся.

— Ты что там мелешь, пустая голова?!

Мен Хи не смутилась. Она ответила спокойно, отчетливо произнося каждое слово:

— Я прошу вас ответить, мне очень важно знать: коммунист вы или нет?

Чан Бон не на шутку рассердился.

— Да ты в своем ли уме? — зло сказал он.— Кто ты такая? Кто тебя прислал?

— Меня прислал Чер Як,— тихо и спокойно ответила Мен Хи.— Прислал, чтобы я следила за вами.

— Чер Як? Чтобы следила? Постой, постой, что же ты болтаешь? — заговорил Чан Бон, быстро оглядываясь по сторонам.— Уходи отсюда, а то я сейчас сам пойду к нему и все передам.

— Идите, но он тогда меня убьет.

— Что за глупая девка! — снова возмутился Чан Бон.— Иди скорей, принеси мне два ножа с твоего барабана.

Мен Хи быстро выполнила требование механика.

— Слушай меня внимательно,— сказал он, показывая на ножи, которые держал в руках.— И не надо таращить на меня глаза, смотри на ножи. Через пятнадцать минут после звонка выходи за ворота. У конца фабричного забора тебя будет ждать парень. Пойдешь за ним, только не разговаривай и не спрашивай его ни о чем. От того места, где он бросит окурок, отсчитай шесть дворов, в седьмые ворота заходи.

Говоря все это, механик осмотрел ножи, подточил напильником лезвия и вернул их Мен Хи.

— Все поняла?

— Поняла.

— Ну, ставь ножи на место. И больше ни с кем не разговаривай.

Она сделает все, как он сказал. Пусть не беспокоится.

Когда рабочий день закончился, Мен Хи смешалась с толпой работниц и вышла за ворота. У края ограды на земле сидел паренек и насвистывал веселый мотив. Как только Мен Хи приблизилась, он встал и пошел.

Она долго следовала за ним по кривым и грязным улицам, таким узким, что там и двум рикшам не разъехаться. Потом он свернул куда-то, и это была уже не улица, а переулок, похожий на тесный коридор. Тут парень закурил сига-

рету, и Мен Хи поняла, что теперь близко И действительно, вскоре он бросил окурок и зашагал быстрее

Мен Хи отсчитала седьмой дом и толкнула дверцу.

Навстречу ей вышла пожилая женщина Мен Хи чуть не вскрикнула. Мин Сун Ен! Матушка Мин Сун Ен, которая так сердечно отнеслась к ней в первый день работы на фабрике!

— Проходи скорее!

В дверях дома показался Чан Бон. Лицо у него было сердитое, и, когда они вошли в комнату, он произнес только одно слово:

Рассказывай

И Мен Хи рассказала Все, что видела и слышала, все что ей говорил Чер Як А главное, она рассказала о забастовке. Она говорила не задумываясь Перед ней были Мин Сун Ен и Чан Бон, и ей казалось, что это отец и мать

Чан Бон подошел к Мен Хи и обнял ее

Спасибо тебе! Забастовка будет!

В тот миг Мен Хи впервые почувствовала, что нужна людям

ГЕНЕРАЛ ИТАГАКИ

Тихая безмятежная жизнь капитана Осанаи Ясукэ в резиденции генерал-губернатора провинции Пучен окончилась Его неожиданно направили в боевое подразделение Квантунской армии.

Уезжать не хотелось. На новом месте не будет помещиков, вроде Ли Ду Хана, и никто больше не принесет пожертвований на благо японского оружия Не будет там и корейских крестьян, а значит, и сбережений от поборов на стихийные и прочие бедствия. Он лишится удобств и выгод службы в мирном городе. Да и время для перехода в боевую часть не очень подходящее.

Почти три года назад Ясукэ мечтал попасть в Квантунскую армию. Самураи ждали поражения русских на Волге, чтобы ударить в ослабевшие и дезорганизованные тылы России. Предстоял стремительный бросок в богатейшие районы.

В те дни капитан написал письмо командующему японской армии в Корее генералу Итагаки Сейсиро, боевому другу своего отца, тоже генерала, вышедшего в отставку. Капитан просил предоставить ему возможность хоть в малой мере заменить отца в рядах Квантунской армии.

Осанаи рассчитывал на помощь Итагаки Сейсиро и имел для этого основания. Генерал знал его еще мальчишкой и очень любил. Когда пришло время, именно Итагаки предо-

ставил ему завидное место начальника уездной полиции в Пучене, пообещав и дальнейшее покровительство. За спиной генерала Итагаки Сейсиро можно жить спокойно. Это один из крупнейших лидеров движения «молодого офицерства», понявших, что величие империи надо завоевывать на русских просторах. Он был ярым противником политики выжидания и нерешительности. Свою убежденность в том, что дальневосточные земли русских надо забрать силой, убежденность, воспринятую от старых самураев, он сумел передать молодому офицерству. Его доводы были для них логичны и в высшей степени убедительны: разбили русских в Порт-Артуре — и он навсегда стал японским; вышвырнули их с Курильских островов — острова превратились в японскую базу; отобрали часть Сахалина — она стала частью империи.

Генерала Итагаки поддерживали не только молодые. Араки, Тодзио, Умедзо, Миями...— прославленные генералы самурайской касты, ненавидевшие Россию, увидели в нем новую силу. Это привело его на пост начальника штаба Квантунской армии — главной ударной силы империи. Перед ним открылись широкие возможности. Он приступил к разработке планов разгрома России. Тех, кто ему мешал, своих политических противников уничтожал физически. Его решительность и изобретательность в создании пограничных инцидентов, его гибкость и умение вызывать постоянную напряженность вдоль всей линии русских дальневосточных границ принесли ему высший военный пост империи. Он стал военным министром.

Это полностью развязало ему руки. Всего несколько месяцев потребовалось Итагаки на разработку плана первой серьезной пробы сил России. Он доказал необходимость прощупать русских в районе озера Хасан. Правда, операция не принесла успеха, но, как объяснил Итагаки, выявила силы врага. Это дало возможность Итагаки спустя год предложить новый, более обширный план удара в тылы России через слабую Внешнюю Монголию в районе Халхин-Гола.

Даже в такие напряженные периоды своей деятельности Итагаки бывал в доме своего друга Осанаи. Похлопывая по плечу юного Ясукэ, он говорил: «Расти быстрее, назначу тебя губернатором русской провинции...»

Когда потребовались решительные действия в Китае, командовать самурайской армией послали генерала Итагаки.

Китайцев он ненавидел так же, как и русских. Здесь военная удача не оставляла его. Потом его опыт потребовался в Корее, и он был назначен туда командующим японской армией. Вся полнота власти, управление всей страной были переданы ему. К нему-то и обратился капитан Осанаи Ясукэ,

выразив готовность добровольно идти в боевую часть Квантунской армии. Хотя это было почти три года назад, но капитан хорошо помнит ласковый ответ генерала. Он хвалил достойного сына своего друга за патриотические чувства, но советовал оставаться пока там, куда послала его империя. Заканчивалось письмо заверением, что генерал не забудет его просьбы и в подходящий момент выполнит ее.

Как мудро тогда поступил старый генерал. Немцам не удалось взять Сталинград, и сигнал так и не раздался.

А что же сейчас? Разве этот момент настал? Не похоже. Дела у немцев плохи. Справиться с русскими труднее, чем раньше... А возможно, теперь, когда все силы России собраны на западе, империя и готовит удар с востока?.. Тоже едва ли. Скорее всего, генерал не знает о перемещении Осанаи Ясукэ.

Подозрения капитана оправдались. Его назначили на маленькую должность в какую-то дыру у самой русской границы. Он тут же сообщил об этом генералу.

Итагаки не ответил. Спустя недели две капитана срочно вызвали в Сеул, в штаб армии. И когда, не заставив ни минуты ждать, повели к командующему, он понял: письмо его дошло и не осталось без ответа.

Большая стриженая голова генерала в детстве казалась ему похожей на сплюснутую дыню. Это сравнение он вспомнил и теперь, глядя на широкое лицо и узкий срезанный лоб, переходящий в острую макушку. Только щеки стали более мясистыми и рыхлыми, да углубились залысины.

Генерал встретил Ясукэ, как сына. И Ясукэ был горд, что этот старый полководец, участник многих походов и побед, человек, мнением которого дорожит император, запросто и дружески разговаривает с ним. Он еще не знал, какой будет разговор, для чего вызвал его генерал, но был уже благодарен ему, был преисполнен к нему теплыми сыновними чувствами. И что бы ни сказал генерал, он примет это как совет мудрого друга, как повеление отца.

Действительно, генерал не знал о новом назначении капитана, хотя сделано оно было по его же приказу, о возвращении в боевые части всех потомственных самураев.

В беседе, которая радовала сердце Осанаи Ясукэ, потому что генерал говорил очень откровенно, будто с равным, он узнал, как сильно осложнилась обстановка в мире в связи с непрерывными поражениями немцев на русском фронте. По мнению Итагаки, положение стало острее, чем за последние

годы. И в этой запутанной обстановке генералу доверили новый пост. Не освобождая от командования японской армией в Корее, его назначили уполномоченным генерального штаба и тайного совета при Квантунской армии, наделив чрезвычайными правами. В заключение генерал сообщил еще одну радостную весть: он решил оставить капитана при себе для особо важных поручений. Правда, на такую должность положено брать полковника, но он верит в Ясукэ и надеется на него. На эти слова капитан ничего не ответил. Он решил на деле показать, как благодарен генералу. И старый генерал понял его без слов.

Спустя неделю оба выехали к месту новой службы в Чаньчунь, где находился штаб Квантунской армии.

С этого дня Осанаи Ясукэ не знал покоя. То вместе со своим начальником, то с группой офицеров, то один летал в укрепленные районы, в дивизии и штабы, разбросанные на огромной территории Маньчжурии, Северного Китая и Кореи. Днем и ночью работал генерал. Днем и ночью работал Осанаи Ясукэ. Он был находчив, точен, исполнителен. Он предугадывал многие желания генерала и выполнял их до того, как они были высказаны. Он любил генерала и был ему предан. Очень скоро капитан убедился, что генерал ценит его не только как сына своего друга, но и как боевого помощника, на которого можно положиться. Это прибавляло сил, заставляло больше работать, больше думать. За несколько месяцев службы генерал ни разу не похвалил его. Но по тому, какие сложные задания он стал ему давать, с какой верой принимал его доклады, как все более считался с его мнением, капитан без труда мог определить, что генерал доверяет ему безгранично.

Осанаи не ошибался в этом. Итагаки Сейсиро видел, как зарождаются и крепнут в капитане лучшие черты старой самурайской касты. В своих мечтах Итагаки отчетливо видел Дайдайнихон — величайшую империю, властвующую над огромными территориями пока еще чужих стран. Он понимал, что его поколение, богатое воинственными генералами, в чьи руки перешло управление империей, сумеет утвердить Японию на материке. Но это только часть, пусть главная, но все же часть великого плана. Его мечты уходили далеко вперед... Он думал о смене, о достойной смене, которая могла бы сохранить и умножить славу японского оружия. И в капитане Осанаи Ясукэ, потомственном самурае, генерал видел одного из тех, кто возьмет в свои надежные руки и понесет дальше самурайский меч. И еще одно обстоятельство радовало генерала: внешне Осанаи Ясукэ был очень похож на своего отца. Итагаки часто наблюдал за капитаном, и порою ему казалось, что перед ним

старый боевой друг, и ему невольно вспоминались собственные молодые годы.

Чем ближе к себе держал он капитана, тем сильнее привязывался к нему. У Итагаки не было детей, и в его отношениях к Ясукэ порою проявлялось что-то заботливое, отцовское.

Итагаки Сейсиро умел скрывать свое настроение. Долгие годы военной службы и боевых походов, неожиданные препятствия и вдруг возникающие проблемы, которые надо решать немедленно, необходимость в сложных условиях не показать подчиненным внутренней борьбы или нерешительности, выработали в нем умение спокойно и холодно смотреть на все окружающее. Его лицо, движения, жесты оставались неизменно уверенными, ясными при любом положении. Можно было подумать, будто он заранее все знал, все предвидел, подготовился и вовсе не озадачен вскрывшейся, на первый взгляд безвыходной ситуацией. И все же, участвуя вместе с ним в решении многих вопросов, постоянно находясь при нем, зная его вкусы, стремления, идеалы, капитан научился различать за внешним спокойствием подлинное состояние души своего начальника и покровителя. И это состояние внушало капитану все большую тревогу.

Самураи гордились тем, что на Тихоокеанском театре военных действий японский флот одержал ряд побед над флотами Соединенных Штатов Америки и Великобритании, захватив многие острова. Еще раньше были разгромлены крупные силы китайцев и взята значительная часть Китая. Но когда один из штабных офицеров восторженно говорил об этом, как о решающих факторах грядущей победы, Итагаки с раздражением, которого раньше не замечал капитан, прервал его:

— Судьбы империи будут решаться на полях России!

Генерал словно предвидел события, происшедшие в ту же ночь.

. . . .

После тяжелого дня и долгих вечерних часов работы обессиленный капитан лег спать, но был разбужен телефонным звонком. Он получил приказ немедленно явиться в штаб.

Как всегда, спокойно, лишь немного устало, генерал сказал:

— Возьмите карты укрепленных районов русских, полную дислокацию наших войск, данные о составе, вооружении и боевой мощи. Мы должны успеть в Токио к часу ночи,— взглянул он на часы.— Вылетим через двадцать пять минут.

Сопровождаемые большой группой истребителей, с Чаньчуньского аэродрома поднялись в черное небо два скоростных бомбардировщика. На борту одного из них находился главнокомандующий Квантунской армией барон Ямада Отодзо, на втором — Итагаки Сейсиро.

Всю дорогу генерал молча просматривал и сортировал подготовленные для него материалы. Перед посадкой на Токийский военный аэродром он передал капитану папку с картами и сказал только одну фразу:

— Америка, Великобритания и Китай предъявили нам ультиматум о безоговорочной капитуляции.

НА ТАЙНОМ СОВЕТЕ

Осанаи Ясукэ хорошо знал Токио. Особняк, куда их привезли, скрытый в глубине тщательно охраняемого парка, он видел впервые. В большой приемной находилось человек тридцать генералов и адмиралов, среди которых выделялось несколько фигурок в кимоно. Как только появились Итагаки и Ямада, всех пригласили в зал. Видимо, люди собрались раньше срока и ждали только прибытия представителей Квантунской армии.

Капитан остался в приемной. Спустя минут тридцать поспешно вышел Итагаки и велел ему развесить карты на правой стене зала в таком порядке, как они лежат. Быстро, бесшумно Осанаи последовал за своим начальником.

— ...Я согласен, господа,— услышал Осанаи слова человека в кимоно, сидевшего рядом с председателем,— что сражения со странами, приславшими ультиматум, показали наше неизмеримое и полное превосходство. Они не осмелились бы ставить нам позорные условия, не будь у них русских союзников. Нет сомнений, Россия поможет им. Прошу принять это как истину и не утруждать себя в дальнейших выступлениях новыми доказательствами в ее пользу. Я призываю членов высшего военного совета и членов тайного совета, полных понятными патриотическими чувствами и веры в силы нашего оружия, не преуменьшать опасности варварской угрозы, содержащейся в ноте. Отказ принять ультиматум, как вы слышали, по их мнению,— он взглянул на лист бумаги, лежавший перед ним,— «будет означать полное уничтожение японских вооруженных сил и полное опустошение японской территории». Итак, мы должны высказать трезвые, исчерпывающие, мотивированные предложения...

Вдоль большой, без окон, стены, указанной капитану, он увидел специальные лапки-зажимы. Часть из них была занята картами Тихоокеанского театра военных действий. Рядом Осанаи начал развешивать свои карты, невольно прислушиваясь к залу, который теперь ему не был виден.

— Вы готовы? — услышал он незнакомый голос.

Капитан обернулся в тот момент, когда со словами: «Да, готов», поднялся Итагаки Сейсиро. Как всегда, спокойное, непроницаемое, холодное лицо.

— Я не собираюсь уменьшать опасности,— начал он.— Я хорошо знаю русскую армию, усиленную теперь огромным опытом войны, армию, которая в случае отказа принять ультиматум США, Англии и Китая бесспорно выступит как главная сила. Но я не намерен уменьшать и наших возможностей и принимать во внимание угрозы, о которых здесь говорят.

С гордостью и любовью слушал Осанаи Ясукэ своего генерала. Еще как будто ничего не было сказано, но в этой возбужденной и нервозной обстановке особенно отчетливо ощущалась его уверенность, сила воли, железная логика.

Ясукэ и раньше не мог понять, почему самые простые слова генерала получаются такими весомыми, вызывают веру в то, что все будет, как он сказал.

Осанаи Ясукэ скользнул взглядом по залу и убедился, что не он один с такой надеждой смотрит на Итагаки.

— Смогут ли пройти русские на нашу священную землю? — звучал голос генерала.— Опыт линии Мажино, Зигфрида, Маннергейма, лучшее, что было создано в оборонительных и опорных сооружениях современных армий мира, использовано нами. Этот опыт вместе с нашим собственным был применен к условиям, которые ниспослала против наших врагов сама богиня Аматерасу, поставив на их пути непреодолимые природные преграды. Наши бастионы тянутся на сотни километров. Это артиллерийские и пулеметные дивизии в скалах. Не между скал, а в скалах. Это подземные города. Можно ли, например, взять укрепленный район Хайлар? — показал генерал на карту, которую уже успел повесить капитан.— Это, как видите, пять скальных гряд. В них сто одиннадцать двух- и трехъярусных дотов. Их подземный гарнизон во главе с испытанным полководцем генералом Номура составляет шесть с половиной тысяч самураев... На своем пути русские встретят скалы, закованные в бетон и сталь, непроходимую тайгу, недосягаемые вершины Большого Хингана. На этих укреплениях можно обескровить любую армию, в том числе такую мощную, как русская...

Последние слова вызвали одобрительное движение в зале.

— Но сможем ли разгромить ее мы? — как бы призывая к тишине, повысил голос генерал.

— Против русских у нас мощная армия,— уже спокойно продолжал Итагаки,— Квантунская. Почти сорок лет ее воспитывали потомственные самураи, выдающиеся полководцы и стратеги, цвет нации. Ее обучали, пестовали, закаляли Тод-

зио, Араки, Умедзо, Кимура, Миями, сменяя друг друга на постах главнокомандующего или начальника штаба. Их усилия и военная одаренность, поднимавшие Квантунскую армию на все большие вершины, подняли и каждого из них в свое время до военного министра, руководителя всеми вооруженными силами империи. Сейчас они сидят здесь, среди нас...

Осанаи стоял лицом к стене, но по движению в зале понял, что все повернулись в сторону названных генералов.

— Более сорока лет назад молодой подпоручик, самурай Ямада Отодзо, во главе кавалерийского эскадрона, громил русских на линии Дайрен — Ляоян. Уже там проявились его способности. Они развернулись в подлинный военный талант, когда он командовал дивизией, экспедиционной армией, всей обороной империи. Сейчас он стоит во главе Квантунской армии и, очевидно, выступит перед вами. В ней сохранены все кадры, такие, как барон Ямада, сражавшийся с русскими и в девятьсот четвертом, и в восемнадцатом, и в конце тридцатых годов...

Капитан Осанаи Ясукэ подвешивал последнюю карту. Он не видел лица Итагаки, говорившего теперь четко и резко, будто отдавая приказ, но отчетливо представлял это лицо человека убежденного, сильного, волевого.

— Что же представляет собой наша армия? — продолжал генерал.— Может быть, это просто подготовленные и надежные соединения, какие имеются во всех армиях мира? Нет, в ней больше миллиона солдат и офицеров. Полтора миллиона военных поселенцев в Китае — это ее готовые резервы. Новейшее вооружение, отборные люди со священными ножами для харакири у каждого. Они не сдадутся. Воспитание самурайского духа, доведенного до фанатизма, принесет свои плоды. Железная дисциплина, железная воля. Нетронутая, подготовленная, нацеленная для боев, полная ненависти к врагу, справедливо уверенная в своем превосходстве, рвущаяся на русскую землю, стоит в броне Квантунская армия. Что же, в таком виде и сдать ее врагу, предварительно отобрав ножи для харакири?

Генерал умолк, и несколько секунд стояла тишина. И в этой тишине раздались слова Итагаки:

— Подобное действие имеет точное название: предательство. О, они найдут, что делать с нашей обезоруженной армией. Всех, здесь присутствующих,— на виселицу, остальных — в рабство.

Генерал не торопясь перевернул несколько страниц в папке, куда время от времени заглядывал, и продолжал:

— Да, мы готовились к встрече с русскими. Владивосток, Приморье, Северный Сахалин, как острия пик, направлены

на империю. И всю свою жизнь мы готовились обломать их. Наши мощные армейские группировки подтянуты к Хабаровску и находятся в сорока километрах от этого города, а также вблизи Благовещенска и Читы. Отборные гарнизоны, готовые в первые часы войны перерезать вражеские коммуникации, обосновались в четырех километрах от магистрали Москва — Владивосток. Для священной цели взяли мы Маньчжурию. Мы построили там железные и шоссейные дороги, ведущие в Россию, воздвигли в горах аэродромы, танкодромы, опорные пункты, базы, создали стратегические морские и речные порты. И что же, все это без единого выстрела со склоненной головой отдать врагу по описи?

Опять наступила тяжелая пауза. Осанаи с полуоборота взглянул на генерала. Тот, медленно поворачивая голову, смотрел на каждого, точно от каждого в отдельности ожидал ответа. Все молчали.

— К сентябрю сорок второго года,— снова начал Итагаки,— был закончен план «Кан-току-Эн»[1]. Был принят оккупационный режим для русских территорий, разработанный генеральным штабом. Было учтено все, вплоть до запрета жителям Центральной России селиться в Сибири. Мы подготовили мотивы, по которым начнем военные действия. Десятилетия мы собирали силы для выступления. На это мы отдали энергию, волю, талант, молодые годы, а многие и жизнь...

Осанаи стоял теперь у стены, глядя на генерала, боясь уйти и нарушить тишину. Он увидел, как старый генерал выпрямился и, уставившись в одну точку, ни к кому больше не обращаясь, словно репетируя перед выступлением, заговорил, отчетливо произнося каждое слово:

— Четыре года воевала Россия с Германией. Четыре года мы изучали опыт войны. Мы узнали слабые и сильные стороны русских, мы изучили их оружие, их тактику, их стратегию. Мы учли наши ошибки, ошибки наших союзников и наших врагов. Война в Европе служила нам наглядным пособием. Квантунская армия ждала, как боевой застоявшийся конь. Она рвала поводья... Богиня Аматерасу не простит! — поднял он голову вверх.— Она повелевает с негодованием отвергнуть ультиматум, недостойный Страны восходящего солнца, и осуществить извечные чаяния великой империи...

Генерал сел. Бесшумно, как и вошел, капитан покинул зал.

---

[1] «Кан-току-Эн» — «Особые маневры Квантунской армии» — стратегический план захвата территории СССР от дальневосточных границ до Омска.

Часть третья

•

СТРАХ ГЕНЕРАЛА ТАКАГАВА

На душе у Чо Ден Ока тревожно. Такагава едет к генерал-губернатору Абэ Нобуюки и берет его с собой. Это почетно, но надо ехать в одной машине с ним. Чо Ден Ок боится ездить вместе с Такагава. Этот сумасшедший заставляет шофера гнать автомобиль с такой скоростью, что машина каждую минуту может разлететься на части или врезаться во что-нибудь так, что костей не соберешь.

Чем больше нервничает Такагава, тем быстрее гонит он машину. А сегодня этот Пан Чак окончательно вывел его из себя. Таким взбешенным Чо Ден Ок еще не видел генерала.

Ездить с Такагава — для него мука. К машине генерал не идет, а почти бежит. Едва только он сядет, как машина срывается с места, будто снаряд, выпущенный из орудия. Шофер хорошо вымуштрован, он не будет ждать Чо Ден Ока. А забежать вперед и сесть раньше самурая нельзя. Вообще нельзя идти впереди японца, особенно если этот японец — Такагава.

Именно в тот момент, когда начальник возьмется за ручку, надо стремглав обежать вокруг огромной машины и открыть противоположную дверцу. Зато какой почет — ехать

в одной машине с Такагава. Отказаться от этого невозможно.

Генерал уже сел, когда Чо Ден Ок лишь успел просунуть внутрь машины голову и поставить одну ногу. Как раз в эту секунду машина рванулась с места. Чо Ден Ок уцепился руками за мягкий поручень позади сиденья шофера, а дверца так прищемила его, что он едва не закричал.

Можно сойти с ума! Это какой-то цирковой номер или трюк из кинофильма. Он, в конце концов, не мальчишка, а помощник начальника сеульской полиции. Его должны бояться, а все смеются, когда видят, как он садится в машину. Он не намерен больше участвовать в этом представлении. Хватит! Он так и скажет этому Такагава.

— Вы стали очень нерасторопны, господин Чо Ден Ок,— цедит сквозь зубы генерал.— Надо больше заниматься спортом.

Чо Ден Ок виновато улыбается.

— О, пусть не беспокоится господин генерал. Это даже приятно — на ходу вскакивать в машину. Я преклоняюсь перед вашей мудростью, господин генерал. Блестящая мысль — заниматься спортом. Я с сегодняшнего дня начну пользоваться вашим советом.

Такагàва молчит.

Черт бы побрал его! С ним обязательно сломишь голову. Вот уже три месяца, с тех пор как капитулировала Германия, всех их будто начинили перцем. Машины носятся по городу, как на пожар. Телеграфная и телефонная линии между Сеулом и Токио захлебываются. Уже никто не говорит, все кричат. Каждый день десяток совещаний. Одно секретнее другого. На совещания его не пускают, но за дверью держат часами.

Сегодня снова придется сидеть и ждать. Может быть, десять минут, а может быть, четыре часа. Внизу будет ждать шофер. Ему тоже не скажут, сколько времени здесь надо торчать, но шоферу лучше. Он обязательно понадобится, он повезет генерала. А Чо Ден Ока держат так, на всякий случай.

Миновав Южные ворота с двухэтажным строением над аркой и огромной двухъярусной крышей, машина въехала в центр города.

Некогда эти ворота, как и трое других — Восточные, Западные и Северные,— в восемь часов вечера запирали Сеул. Сейчас машина пронеслась под аркой с бешеной скоростью. Она мчится по оси широкой магистрали, и шофер почти не отрывает руки от кнопки сирены.

Вода, скопившаяся в неровностях асфальта после только

что прошедшего дождя, вылетая из-под колес, хлещет о стекла встречных и обгоняемых машин, обдает испуганно жмущихся к тротуару рикш, широким стремительным веером рассыпается по асфальту. Яркие огни в окнах и витринах, бумажные разноцветные фонарики ресторанов и кафе проносятся и исчезают, как трассирующие пули.

Машина несется, ревет сирена, и полицейские в белых пробковых шлемах, с толстыми трехцветными дубинками останавливают на перекрестках движение, пропуская своего грозного начальника.

Такагава сидит молча, откинувшись на сиденье, не меняя позы, не поворачивая головы. Чо Ден Ок не решается облокотиться или сесть глубже. Он примостился на краешке, держась за поручень, и тоже старается не шевелиться. Лучше не смотреть по сторонам. Такагава может расценить это как недостаточное внимание к нему. И все же украдкой он косится в окно.

Промелькнуло тяжело распластавшееся по земле гигантское одноэтажное здание Восточно-колониальной компании, пронеслась белая бесконечная колоннада дворца Дук Су, остались позади вывески концернов Мицуи, Мицубиси, Фурукава, Ниппон Сейтецу, Ясуда, Хироника Секу, Канто Кикай Сейсакусе... Конторы сотен японских концернов, картелей, трестов, компаний.

Машина пересекает город из конца в конец. Навстречу ей несутся древние корейские пагоды и храмы, а дальше — арки, воздвигнутые совсем недавно японцами в знак вечной верности корейского народа японскому императору.

Машина круто сворачивает и влетает в узкую, асфальтированную улицу, где горят мертвенные неоновые огни. Красные, голубые, синие... Высокие каменные или железные ограды, густо оплетенные виноградом и вьющимися растениями. Ветки с оград перекидываются на крыши домов. Здания окутаны зеленью, словно покрывалом. Не видно домов, не видно оград. Сплошной зеленый массив да струящиеся на нем неоновые огни. Из открытых окон долетают звуки японских танго и стремительных фокстротов.

Как хорошо знаком Чо Ден Оку этот квартал! Он знает каждый дом, каждый грот во дворе, каждую беседку.

Это публичные дома, японские, корейские, европейские.

Чо Ден Ок ниже опускает голову: как бы Такагава не подумал, что его интересуют дома с неоновым светом. Генерал тоже почему-то прячет глаза.

Машина миновала неоновый квартал и снова вырвалась на широкую магистраль. Впереди два здания, которые вид

ны всему Сеулу. Они господствуют над арками, пагодами и храмами, они возвышаются над многоэтажными домами, над концернами и банками как символ величия, спокойствия и силы. Здесь размещается Кейму киоку и отделение штаба Квантунской армии.

Такагава медленно поворачивает голову. И голова Чо Ден Ока, будто привязанная к генеральской, так же медленно поворачивается. Они смотрят на окна второго этажа. Там их кабинеты. В окнах яркий свет. Это хорошо. Пусть знают, что Кейму киоку не дремлет. Ни днем, ни ночью...

На полной скорости машина въезжает в большой тенистый парк, и, пропуская ее, полицейские у ворот вытягиваются в струнку, обеими руками держа перед собой винтовки с примкнутыми штыками.

Так много машин сюда давно не съезжалось. Справа от входа автомобили всех тринадцати генерал-губернаторов провинций. Слева машины штаба Квантунской армии и руководителей крупнейших концернов.

Такагава быстро поднимается по широкой лестнице, перескакивая через две ступеньки. Сзади мелкими прыжками поспешает за ним Чо Ден Ок.

У входа в приемную кабинета Абэ Нобуюки кореец отстает. Здесь, в большом коридоре, уже собралось много корейцев, таких же, как и он,— заместителей, помощников, вторых секретарей.

Чо Ден Ока обступают знакомые.

— Вот кто нам скажет!

— Что случилось?

— Зачем вызвали?

Чо Ден Ок с глубокомысленным видом пожимает плечами и молчит. Но его молчание красноречиво. Я все знаю, мне все известно, но, сами понимаете, государственная тайна, и сказать ничего не могу...

Ждать пришлось долго, но зато потом всех пригласили к Абэ.

Чо Ден Ок впервые переступает порог его кабинета. Большой белый зал с высокими окнами, затянутыми тяжелыми портьерами из черного бархата. Огромная стена от пола до потолка задрапирована голубым шелком. Две люстры из хрусталя в виде гроздьев винограда ярко освещают длинный стол, за которым сидят японцы.

Это хозяева Кореи. Это владельцы всех ее горнорудных богатств, гидроэнергии, железных дорог, океанских судов,

банков, заводов. Это представители японского государственного аппарата и высшее командование армии.

В большом кресле, похожем на трон, восседает Абэ Нобуюки, туго упакованный в генеральский мундир. Голова — шар, немного приплюснутый сверху. Густые волосы, подстриженные коротким ежиком, образуют площадку. На глазах черная роговая оправа очков, рот полуоткрыт. Ладони маленьких толстых рук лежат на зеленом сукне, и короткие, словно обрубленные, пальцы нетерпеливо постукивают по столу, выдавая волнение генерал-губернатора.

Справа от Абэ сидят генералы и адмиралы, слева — штатские в дорогих серых кимоно, в черных европейских костюмах. Горят, переливаются огнями, сверкают камни на массивных золотых перстнях. Корейцы входят, низко кланяясь, и бесшумно рассаживаются вдоль стен на корточках. Никто не отвечает на их поклоны, никто не шевелится. Абэ обводит глазами собравшихся и встает.

— Произошли важные события, господа, и вам, как верным своим помощникам, я решил безотлагательно сообщить о случившемся.

Абэ стоит, немного наклонившись, опираясь руками о стол. После первой фразы он выпрямляется, поднимает глаза вверх. Голос его становится торжественным:

— Для Страны восходящего солнца, для великой империи Ниппон и ее младшей сестры Кореи настал день суровых испытаний. Россия объявила нам войну.

Общий вздох, как стон, пронесся вдоль стен.

— Спокойно, господа! — продолжает Абэ.— Ничего неожиданного в этом нет. Еще три месяца назад, когда пала Германия, мы знали, что это случится. Мы еще более уверились в этом, когда потерявшие рассудок Америка, Англия и Китай предъявили нашему божественному императору ультиматум о капитуляции. Они не одумались, когда мы с негодованием отвергли их не достойное величия Японии наглое требование.

Абэ снимает очки и кладет их на стол.

Он делает знак рукой, и по его сигналу молодой щеголеватый полковник, быстро перебирая руками, тянет шелковый шнурок. Медленно раздвигается голубая шелковая портьера. Во всю стену — карта, на которой изображены бассейн Тихого океана, Китай, Монголия, Советский Дальний Восток, Сибирь, Урал.

Абэ берет спрятанную за портьерой длинную бамбуковую указку с острым металлическим наконечником и подходит к карте.

— Вот здесь,— указывает он на Пирл-Харбор,— американцы узнали, что такое флот великой империи Ниппон. Вот отсюда,— указка обвела круг по границам Филиппинских островов,— знаменитый американский генерал Макартур бежал под ударами самураев, бросив стотысячную армию. Ему удалось увезти жену. Два его заместителя бежали, не успев захватить жен... Вот это,— показал Абэ на красный кружок, — самая большая военно-морская база Англии — Сингапур. Она была разгромлена нами.

Генерал-губернатор, все более возбуждаясь, начинает ходить по комнате.

— Уже в первые месяцы войны под ударами наших войск пали города и государства. Мы готовы к новому мощному удару. Англо-американский флот будет разбит и потоплен, не достигнув даже наших минных заграждений и береговых батарей. Китай я в расчет не беру. Это страна, не имеющая своих командиров, не знающая современной стратегии. Остается Россия.

Русская армия почувствует на себе силу и волю самураев. Наши горные аэродромы с подземными взлетными площадками недоступны ни разведчикам, ни бомбардировщикам. Тяжелая артиллерия — мортиры и гаубицы, замурованные в скалах,— обращена жерлами к врагу. Пристрелян и непроходим ни для танка, ни для кошки каждый квадратный сантиметр земли. Воевать в наших условиях могут только специально обученные горные дивизии. Русские их не имеют. Они будут гибнуть в скалах и ущельях, подыхать без пищи и воды. И пусть не просят они богиню милосердия Кван Ин о пощаде! Мы их будем бить и давить на сопках, трупами большевиков мы удобрим землю там, где пройдет наша армия.

Мы двинемся в великий поход на Запад, и осуществится завет, данный на смертном одре императором Мейдзи,— утвердить Японию на материке. Япония до Урала!

Чо Ден Ок сидит на корточках, не смея пошевелиться, не отрывая глаз от губернатора. Ему тоже нужна Япония до Урала. Он поедет туда вслед за танками, нет, вслед за продовольственным отрядом божественных солдат Аматерасу. Он станет начальником полиции города Урала. Пусть скорее начнется великий поход!

— Банзай!..

Слово вырвалось у него само собой. Писклявое, дребезжащее, одинокое, вырвалось и испуганно оборвалось.

Абэ Нобуюки поставил в угол бамбуковую указку и направился к столу.

— Генерала Такагава прошу остаться здесь,— сказал он спокойно.— Остальных генералов и адмиралов прошу подождать в приемной.

Такагава подошел к губернатору.

— Немедленно снарядите группы надежных и опытных людей,— сказал Абэ,— и пошлите их в главнейшие экономические центры севера страны. Я не думаю, что туда может ступить вражеская нога, но рисковать мы не имеем права. Надо переправить промышленность Севера на Юг. А то, что не удастся перевезти,— уничтожить при первой же угрозе.

— Все будет так, как вы приказали, господин генерал-губернатор! — поклонился Такагава.— Возглавит отряд Чо Ден Ок.

— Идите.

Губернатор тяжело опустился в кресло.

Такагава был уже у двери, когда Абэ окликнул его:

— Пусть этот Чо Ден Ок ежедневно посылает лично мне телеграфные доклады о положении дел.

— Слушаюсь, господин генерал-губернатор!

ШТУРМ

Было тревожно во всех ярусах. Когда и как зародилась тревога, Сен Дин не заметил. Он не понимал, что происходит. Ничего не происходило. Все шло по заведенному порядку. Старшие офицеры казались спокойными и солидными. Но, возможно, этим они прикрывали напряженность. Скорее всего, так и было на самом деле, потому что напряженность передавалась подчиненным. Те не понимали, почему у них портится настроение, и от этого нервничали. Сдерживая нервозность, они кричали на солдат не больше, чем обычно, но эту особую нервозность улавливали провинившиеся, и от них она распространялась дальше среди тех, на кого и не кричали. Тревогой был наполнен воздух...

К часу ночи закончили разгрузку очередного эшелона. Порожняк ушел, и Сен Дин вместе с японским солдатом отправился в лощину маскировать рельсы. Ворота в тоннель за ними заперли, приказав возвращаться через верхний ход.

Черные глыбы туч, непроницаемые, как броня, загородили небо. Они были тяжелые и не могли двигаться.

На ощупь Сен Дин начал быстро покрывать марлей рельс. Его напарник маскировал второй. Было тихо.

...Генерал Итагаки Сейсиро говорил верно: японцы хорошо изучили русскую тактику и стратегию. Они знали, как идут на штурм русские. Грохот тысяч орудий, лязг и скрежет гусениц, рев бомбардировщиков, шквал штурмовиков, извержение огня и стали, лавина горного обвала. Это штурм русских. Идя на штурм Берлина, русские ослепили противника непереносимым светом прожекторов, небо закрыли бомбардировщиками. Одновременно били более сорока тысяч орудий и минометов.

Японцы изучили Берлинскую операцию. Они поняли, к чему должны готовиться. Они знали, что русские используют свой опыт, и были готовы к этому. Притаившаяся, схваченная бетоном и сталью, ощерившаяся стволами орудий, таинственная и страшная, лежала во мгле Маньчжурия.

Русские не боялись самураев, но делали все, чтобы не начинать войну. Японские милитаристы расценили это как слабость России. Им говорили, что они заблуждаются. Не верили.

Штурм начался ровно через пятнадцать дней после того, как самураи отвергли ультиматум союзников русских о прекращении войны.

Русских было много, и они были сильные. Они не скрывали этого. Много. Больше, чем самураев. И оружия больше и совершеннее. И куда больше умения. И шли они за правое дело. Советская держава встала на защиту своих интересов, попранных сорок лет назад.

Японцы хорошо изучили тактику русских. Они не уловили только одной детали. Советская военная тактика заключается и в том, чтобы не повторяться. В каждом сражении она разная. Поэтому самураям было трудно. Они считали, что знают, как поступят русские, а в действительности не знали.

Бесшумно поднялись якоря Амурской флотилии. Плавно опустились амфибии на воды Уссури. Без всплеска погрузились подводные лодки в глубины Тихого океана. Не зажигая огней, взяли курс на Порт-Артур эсминцы. Командиры бомбардировщиков дальнего действия и пилоты воздушных кораблей с танковыми десантами держали руку на стартерах, вслушивались в эфир. Как ручейки в половодье, ползли штурмовые группы, просачиваясь к японским бастионам.

Подземную крепость, где служил Сен Дин, окружали в тишине.

...Сен Дин торопился. Черные глыбы на небе не выдержали тяжести воды, и она рухнула. Это был не дождь. На зем-

лю опрокинули океан. Сен Дин понял: хотя русские объявили войну, в такую ночь они не пойдут...

Из-за темноты и потоков воды наступавшие не видели друг друга. Впереди широкой цепью ползли пограничники и тянули за собой длинные тонкие веревки. Держась за веревки, чтобы не сбиться с пути, ползли солдаты. Обыкновенные солдаты из Полтавы, Ташкента, Новосибирска, такие же, как те, что штурмовали Берлин. Возможно, это они и были или, в крайнем случае, те, кто взрывал форт королевы Луизы в Кенигсберге. Не пошлют же на такое дело новичков. Конечно, тут собрались бойцы из многих дивизий, освободивших Польшу, Румынию, Венгрию, Югославию и другие страны.

Пограничники, должно быть, хорошо знали все пути и тропки. Иначе бы им не миновать японских секретов. А возможно, такое уж чутье у пограничников. Едва ли здесь были люди первого или второго года службы. Не исключено даже, что это были офицеры, прожившие много лет на границе. А кто знает, может быть, среди них были местные горные жители, которые и тянули теперь веревки.

Все могло быть, потому что в такую темную ночь, в потоках воды солдаты двигались, хотя и извилистыми путями, но точно ведущими к амбразурам.

Никто не говорил громко. Команды передавались на ухо, по цепочкам. Солдаты были без сапог. Ноги плотно облегали мягкие туфли, сделанные по японскому образцу, удобные для бесшумного лазания по горам и скалам.

Сен Дин несколько раз негромко окликал напарника, тот не отвечал. Значит, отстал или ушел вперед. Мокрая одежда сковывала движения. Мокрая марля свивалась в веревку.

Сен Дину хотелось скорее добраться до путевой стрелки, где кончалась маскировка. Обратно эти три километра можно пробежать быстро.

Не разгибая спины, весь в грязи, он расправлял марлю, и ему казалось, что конца у нее нет. Начало светать. Стал различим второй, незамаскированный рельс. Значит, японец отстал.

У Сен Дина не осталось сил, когда он добрался до стрелки. Он держался на нервах, и это дало ему силы побежать назад. Дождь утих, совсем рассвело. Сен Дин бежал, озираясь по сторонам. Остановился он вдруг и рухнул в кювет — то ли умышленно бросился туда, то ли на мгновение потерял сознание от того, что увидел: по склону к амбразурам подбирались люди землистого цвета, в прилипшей к телу одежде, с трубами за спиной.

Он понял — русские.

По какому-то сигналу они метнули в бойницы гранаты и вскинули свои трубы, из которых с шипением и свистом вырвались огненные струи. Точно смерч ударили они в амбразуры. Глухо и страшно донесся из-под земли взрыв и выбросил наружу облако дымного пламени.

Сен Дин прижался лицом к мокрой земле и зажал голову руками. Никуда не глядя, пополз вверх, прячась в густой траве и кустарниках. В какой-то ложбине замер, прислушиваясь к нарастающему грохоту. Потом понял, что грохот не настигает его, и немного повернул голову. Ему были видны три амбразуры. Возле них суетились огнеметчики и еще с десяток русских солдат, закупоривая амбразуры мешками с землей. Внизу, по дороге и рядом с ней, через сопки, через болота неслись танки и самоходные орудия. Все, что охватывал глаз, было заполнено чудовищами, издававшими страшный грохот.

Из ворот тоннеля и верхнего хода, куда он должен был вернуться, пытались вырваться наружу японцы, но их косили из пулеметов, окружившие крепость полукольцом. Позади первого полукольца Сен Дин увидел второе: откуда-то выбрались и, извиваясь в траве, с быстротой ящериц, ползли самурайские смертники. Одни, на секунду замирая, стреляли из бесшумных винтовок «Арисика» в затылок пулеметчикам, другие подбирались совсем близко, били в спины ножами, и русские без стонов умирали. А танки и бронемашины с пехотой неслись мимо, сбрасывая близ крепости новые пулеметные десанты, с которыми уже не было сил справиться смертникам. Иных перебили, другим удалось уползти в тоннель. И только три самурая в тяжелых желтых поясах выполнили свой долг до конца. Они бросились под танки, и три машины завертелись с перебитыми гусеницами.

В это время ожили две амбразуры. Тяжелые крепостные орудия ударили по танкам, застопорившим перед побитыми машинами. Создалась пробка и отличная цель для японцев. Но слишком поздно удалось им начать поединок, слишком малые силы удалось оживить. Набросившись на легкую добычу, они не заметили, как чуть дальше, с разных сторон, поднялись жерла самоходок. Раздался залп, и над развороченными и умолкшими амбразурами поднялись клубы пыли.

Все выходы из крепости оказались закрытыми огнем. Трехтысячный подземный гарнизон так и остался под землей. Три ее яруса, ее могучая техника безмолвствовали. Гордо высились нетронутые скалы, схваченные бетоном и сталью.

В глубь Маньчжурии мчались танки, артиллерия, мотопехота. Над ними неслись армады бомбардировщиков. В глубоких тылах Маньчжурии, над Порт-Артуром, Курильскими островами, военными базами Японии в Корее падали с неба парашютные войска, плавно опускались танки и пушки.

Шли русские.

За несколько дней до начала военных действий капитан Осанаи Ясукэ получил звание подполковника. Такое небывалое повышение, когда офицер, не носивший майорских погон, удостаивается подполковничьих, никого не удивило в штабе Квантунской армии. Оно еще раз показало, как велики влияние и сила генерала Итагаки. Осанаи Ясукэ твердо решил достойно ответить на любовь генерала.

И вот война с Россией... Со всех укрепленных районов шли в штаб донесения о прорыве русских. Со многими дивизиями связь была потеряна.

Генерал не мог поверить в такое молниеносное поражение. На решающие участки фронта он послал штабных офицеров, чтобы они лично проверили положение дел. Во главе одной из групп вылетел на фронт и подполковник Осанаи Ясукэ.

Спустя шесть часов на Чаньчуньский аэродром вернулась первая группа и привезла печальные вести: русские безостановочно идут вперед, приближаются ко второй оборонительной полосе.

Вскоре появились еще две группы, которые тоже ничего утешительного не смогли доложить генералу. Молча выслушивал он доклады, но никакого решения не принимал.

Едва живой от усталости и нервного напряжения прибыл в штаб и подполковник Осанаи Ясукэ.

Итагаки Сейсиро внимательно слушал доклад, внимательно смотрел на карту, когда к ней обращался подполковник. Лицо генерала оставалось спокойным, сосредоточенным и совершенно не менялось независимо от того, говорил ли Осанаи, что на данном участке враг стремительно движется вперед, или указывал на редкое исключение, где самураи еще сдерживают натиск.

Было трудно понять, о чем думает генерал. Он только слушал, сидя в одной позе, и ни разу не взглянул на подполковника.

— Общее положение кажется мне безнадежным,— заключил подполковник.— Думаю, надо пощадить жизнь наших людей...

И эти слова не произвели на генерала впечатления. Он не задал ни одного вопроса. Возможно, потому, что доклад был ясным и исчерпывающим, но подполковник подумал, будто генерал просто потерял интерес к докладу. Он сидел молча, не шевелясь. Его глаза никуда не смотрели и ничего не выражали.

Шли минуты. В полной тишине, наклонив голову, сидел окаменевший генерал, и рядом с ним стоял, чуть согнувшись, подполковник. Он давно научился определять состояние своего покровителя по незаметным для других, едва уловимым движениям корпуса, лица или глаз. Но в эту минуту ничего нельзя было определить.

Подполковник смотрел на генерала. Веки Осанаи, обессиленного полными напряжения и смертельного риска сутками, начали слипаться. Генерал вдруг очень уменьшился и стал похож на восковую фигурку.

Фигурка казалась рыхлой, бесформенной, будто стояла в теплом месте и начала оплывать, но ее забрали оттуда, и она снова застыла.

Шли минуты. Долгие, мучительные минуты. Ноги Осанаи начали подрагивать, но усилием воли он заставил себя удержать дрожь. Впервые за горячие месяцы работы с генералом он не знал, что делать. Ему казалось, будто генерал находится в состоянии прострации, будто все в этом человеке омертвело. Но подполковник многого не видел и не мог увидеть...

Кожа на руках Итагаки до самых плеч покрылась пупырышками. Потом они исчезли и вновь появились, словно занесенные нахлынувшей волной. Сощуренные веки генерала скрыли глаза и затемнили зрачки, которые медленно расширялись, как от физической боли. На шее образовалась малиновая точка и расплылась, превратившись в яркое, бесформенное пятно.

Осанаи перенес тяжесть тела с одной ноги на другую, и пол при этом скрипнул.

Веки генерала разомкнулись, он взглянул на Ясукэ и, словно сбросив оцепенение, медленно поднялся. Вытянулся в струнку Ясукэ.

— Значит, сдаваться, подполковник? — грустно спросил генерал.

С тяжелым вздохом подполковник опустил голову и тут же инстинктивно вскинул ее. Перед самыми глазами мелькнула широкая пухлая ладонь, растопыренные короткие пальцы, и он качнулся от сильного удара в лицо. Не успел он выпрямиться, как почувствовал вторую пощечину, третью, четвертую... Гене-

рал бил его по лицу безостановочно, яростно, молча, все более тяжело дыша, а он, ошеломленный, захлебываясь от обиды, с трудом сохранял равновесие, стараясь держать руки по швам.

Этот протест покорностью окончательно вывел из себя генерала. Пухлые руки сжались в кулаки, и удары посыпались без разбору, по голове, по лицу, по глазам. Осанаи не защищал голову. Итагаки совсем задыхался, но у него хватило сил и ловкости точным приемом джиу-джитсу сбить подполковника с ног. В ярости он занес над лицом Осанаи ногу, но тот быстро прикрылся рукой и, словно удовлетворенный, генерал прекратил побоище.

— Самураи не сдаются, собака! — прошипел он, отходя в сторону.

Медленно втянув воздух и резко выдохнув, он поправил на себе мундир и вышел из кабинета.

— Передайте на аэродром,— сказал он вскочившему адъютанту,— что я выехал к ним... Вернусь сюда через пять-шесть часов.

УЛЬТИМАТУМ

Еще в начале августа тысяча девятьсот сорок пятого года военно-морские и сухопутные силы японцев, находившиеся в Южной Корее, были переброшены на Север.

Вскоре генерал-губернатор Кореи Абэ Нобуюки получил телеграмму от Чо Ден Ока: «Девять эшелонов машин и оборудования пхеньянских заводов отправлены на юг. Хыннамский комбинат разрушен». А через несколько часов пришло сообщение с фронта: «Русский морской десант высадился в японских военных базах Унгый и Начжин, расположенных на территории Кореи».

Прошло еще два дня, и новое сообщение потрясло Абэ Нобуюки: «Пал сильно укрепленный порт Чхончжин». Вслед за этим последовал рапорт Чо Ден Ока: «Доменные печи Мицуи выведены из строя».

Теперь сообщения с фронта и рапорты Чо Ден Ока шли почти одновременно:

«Русские авиадесантные войска овладели Пхеньяном...»

«Супхунская гидростанция взорвана, сорок паровозов отправлены на Юг. Чо Ден Ок».

«Пали Харбин, Мукден, Гирин, Чаньчунь...»

«...Свинцово-цинковые разработки Локсана, золотые рудники Чангана, Садонские шахты затоплены, плотины ирри-

гационных сооружений снесены... Тоннели и мосты до Кэсона разрушены. Чо Ден Ок...»

«Советские войска овладели Дайреном и Порт-Артуром...»

Позор... Позор...

Бывший начальник жандармского управления Квантунской армии премьер-министр империи Ниппон генерал Тодзио Хидеки вместе со своим советником генералом Араки Садао и начальником генерального штаба императорской армии Умедзо Иосидзиро с нетерпением ожидали прибытия генерала Итагаки. Их нетерпение возросло, когда с аэродрома сообщили, что самолет генерала благополучно приземлился.

И вот наконец Итагаки появился в резиденции Тодзио. Без обычных длинных приветствий четверо сели за стол.

Итагаки предложил свой план, и он был принят единодушно. Совещание продолжалось восемнадцать минут. За это время четыре человека пришли к вероломному и бессмысленному решению, которое стоило жизни десяткам тысяч японцев. Эти четыре человека не могли предвидеть, что пройдет немного времени, и двое из них — Араки и Умедзо отправятся в токийскую тюрьму Сугамо для отбытия пожизненного заключения, а Итагаки и Тодзио будут повешены во дворе этой же тюрьмы...

После совещания Итагаки и Тодзио отправились в генштаб, а спустя еще полчаса Итагаки уже мчался на аэродром. Заранее предупрежденный летчик готовил моторы, чтобы, как только генерал ступит на борт, взвиться в воздух.

Реализация вероломного плана началась. О нем ничего не могли знать в советском посольстве. Странным показался резкий и продолжительный телефонный звонок. Посол и его советники переглянулись. Уже несколько дней, как в посольстве стояла тишина. Ни почты, ни газет, ни радио, ни одного телефонного звонка. За окнами — жандармерия. Ни войти, ни выйти.

Задолго до описанных событий СССР и его союзники пришли к секретному соглашению: если через три месяца после разгрома гитлеровской Германии Япония не откажется от своих агрессивных планов, в войну вступит Советский Союз.

Девятого мая окончилась война в Европе. Девятого августа истекал трехмесячный срок. За день до этого советский посол в Токио получил из Москвы шифрованную телеграмму. Он срочно отправился к министру иностранных дел Японии, господину Того Сигенори, и вручил ему заявление Советского правительства о том, что, начиная с завтрашнего дня, СССР считает себя в состоянии войны с Японией.

Выполнив свою миссию, посол покинул кабинет министра. С этого часа и прекратилась деятельность советского посольства в Токио. Мир бурлил событиями. Советские дипломаты в Токио находились в неведении и готовились к длительному путешествию через нейтральные страны в Швейцарию, где их должны были обменять на работников японского посольства в Москве.

И вот — звонок по телефону. Трубку поднял секретарь. Мягкий голос сообщил, что министр иностранных дел господин Того Сигенори просит советского посла прибыть в министерство иностранных дел так скоро, как это возможно, для получения чрезвычайного сообщения.

Почти в то же самое время или на полчаса позже японский дипломат в Женеве попросил срочного свидания с представителем министерства иностранных дел Швейцарии. Японец вручил ноту, адресованную Америке, Великобритании, Китаю и СССР, и просил незамедлительно передать ее Соединенным Штатам.

Как только Итагаки вернулся в штаб Квантунской армии, он вызвал к себе подполковника Осанаи Ясукэ. Будто ничего между ними не произошло, генерал сердечно ответил на официальное приветствие и, передавая подполковнику тонкую папку, сказал:

— Здесь документ высшей государственной важности. Он должен быть передан по радио штабу русских войск. Пусть передают его сейчас же по всем волнам. Лично убедитесь, что послание принято русскими, и доложите мне.

Только на радиостанции, когда радисты вызывали русский штаб, подполковник прочитал послание. В нем было сказано:

«На основании ноты Японской империи, врученной советскому послу в Токио и правительствам США, Англии, Китая и СССР через правительство Швейцарии, штаб Квантунской армии просит прекратить огонь и начать переговоры.

Ниже следует указанная нота:

1. Его Величество Император издал Императорский рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской Декларации.

2. Его Величество Император готов санкционировать и обеспечить подписание его Правительством и Императорской Генеральной штабквартирой необходимых условий для выполнения положений Потсдамской Декларации. Его Величество также готов дать от себя приказы всем военным, военно-морским и авиационным властям Японии и всем находя-

щимся в их подчинении вооруженным силам, где бы они ни находились, прекратить боевые действия и сдать оружие, а также дать такие другие приказы, которые может потребовать Верховный Командующий Союзных Вооруженных Сил в целях осуществления указанных условий».

Генерал Итагаки Сейсиро собрал совещание высшего командного состава штаба Квантунской армии и сообщил план генерального штаба. План был прост и ясен.

— Русские глубоко вклинились в Маньчжурию,— сказал Итагаки.— Клин надо отрезать. Для этого у нас есть силы. В Квантунской армии один миллион солдат. Но вооруженные силы Японии — это пять миллионов! Нам нужна лишь маленькая передышка, чтобы подтянуть резервы. Надо заставить русских хотя бы на несколько дней прекратить огонь. И мы заставим их это сделать.

Генерал начал по карте объяснять план мощного удара во фланги русских, когда в дверях появился подполковник Осанаи Ясукэ. Итагаки вопросительно посмотрел на него.

— Передано штабам всех трех русских фронтов! — доложил подполковник.

КАПИТАН ГАРДИ СТОУН

Капитан Гарди Стоун денег не жалел. Он любил жить красиво. Он не понимал жадных людей, которые вкладывали все свои капиталы в ценные бумаги или предприятия, порою отказывая себе в самых элементарных удовольствиях.

Еще находясь дома, во Флориде, еще не будучи капитаном, Стоун смотрел на жизнь широко. Захватить в самолет автомобиль последней моды, слетать менее чем за полчаса на Кубу, провести там недельки две-три на пляжах и в игорных домах Барадеро — что может быть проще и приятней!

На десятки километров тянутся американские пляжи вдоль Карибского моря. Они начинаются у Санта-Марии, в семнадцати километрах от Гаваны, и вдоль них идут фешенебельные рестораны и казино, утопающие в тропической зелени, владения Батисты и летние резиденции богатейших людей Америки, построенные в сверхсовременном стиле, соединяющем в себе блеск и комфорт Соединенных Штатов с первозданной природой острова.

Пляжи тянутся до самого замка Дюпонов, сооруженного на скале, единственного здания, где вместо легкости модернизма, тяжелые, монументальные глыбы, и все оно символи-

зирует устойчивость и силу владельцев, их власть на Кубе, вечную, как черное дерево, которым оно облицовано.

И весь многокилометровый берег, почти безлюдный и пустынный днем, оживает к двенадцати часам ночи, чтобы вновь затихнуть к девяти утра.

И когда ты уже всем пресыщен, и все испытал, и испробовал, и вкусил все сладости жизни, и бесцельно бредешь на рассвете по Барадеро, не зная, чего еще тебе хочется, натыкаешься вдруг на сверкающую, как молния, надпись: «Страсть креолки», и тебя манят огненные слова на фасаде этого лучшего уголка Барадеро. И в надежде на еще не изведанные наслаждения ты устремляешься туда.

Все это испытал Гарди.

Нет в мире более сильных страстей, чем здесь. Нигде не умеют так организовать страсть, как здесь. Даже Монте-Карло не сравнится с игорными домами Гаваны. Так разве можно на это жалеть деньги! И не будь одного неприятного обстоятельства, Гарди Стоун проводил бы там по нескольку месяцев в году. Уж во всяком случае не пропускал бы курортный сезон, когда съезжаются в Барадеро миллионеры и миллиардеры Америки. Он, не задумываясь, тратил бы любые деньги, как уже делал это, и не жалел бы их. Но все осложнялось тем, что денег у него не было. Это обстоятельство, это единственное обстоятельство и мешало ему вести тот образ жизни, для которого он был создан. Но слишком хорошо знал он Барадеро и столь фантастически красивые ночи проводил там, чтобы забыть о них или не стремиться к ним.

Гарди Стоун был человеком энергичным и проницательным. Еще в последнем классе колледжа он понял, что для хорошей жизни образование не обязательно. Перед ним были десятки ничем не выдающихся парней, которые учиться не желали, но по наследству становились обладателями больших капиталов. И наоборот, он видел множество ученых чудаков — инженеров, учителей, врачей, не умевших найти себе применение. Значит, дело не в образовании. Дело в том, чтобы иметь деньги. И как только он окончательно утвердился в этой своей мысли, бросил колледж.

Его отец, имевший магазин ошейников и попон для собак, был, очевидно, человеком недалеким, так как не понял и не оценил прозорливого шага единственного сына. Даже напротив, этот шаг Гарди привел его в смятение. В своих тайных помыслах он лелеял надежду, что Гарди станет ветеринарным врачом, и тогда можно будет значительно расширить торговое дело. Посещая больных собак, Гарди сможет дей-

ствовать и как торговый агент, сбывая заодно ошейники, поводки и попоны. Это было бы очень легко делать. Врач всегда имеет возможность сказать, что, например, конституции этой собачки противопоказана попона, которую она носит, и что он любезно готов прислать ту единственную, которая немедленно поставит на ноги бедное животное. С тем же успехом можно забраковать ошейник или поводок. Если учесть, что врачей к собакам вызывают не только тогда, когда они заболевают, а главным образом, когда так кажется хозяину или особенно хозяйке из-за скучных собачьих глаз, то и авторитет врача будет расти.

Большой сбыт товаров даст возможность расширить торговое дело и открыть в магазине отделение сбруи для верховых лошадей, которую так же легко будет сбывать Гарди.

В своих расчетах Стоун не сомневался, и они действительно были основательными, а это давало возможность организовать впоследствии и собственное производство товаров для своего магазина.

Таким образом, перспективы у Стоуна были ясными и радужными. Человек по своей природе тихий и скромный, он был далек от всевозможных рискованных шагов, которые могли бы быстро обогатить его, но с тем же успехом и разорить. С удивительной последовательностью и стойкостью он отклонял десятки предложений различных агентов, коммивояжеров, посредников, уверявших, что вложи он деньги в предлагаемое ими дело, как на него буквально обрушатся астрономические прибыли. Он стойко выдержал все натиски, упрямо отказываясь от любых сделок, твердо рассчитывал на свой собственный план. Правда, его план требовал времени, но зато был надежным, беспроигрышным.

Решение Гарди бросить колледж взрывало все устои фирмы, рушило до основания так тщательно разработанные планы. Это был удар неожиданный, удар в спину. Вынести такой удар от собственного сына, на которого было потрачено столько сил и денег, он не мог. И, придя в ярость, Стоун закричал:

— Ты еще сопляк и будешь делать то, что скажу я.

Гарди покровительственно и снисходительно смотрел на отца, чуть-чуть улыбаясь. Он понимал, как отстало от жизни старшее поколение, видел, что ему уже не перевоспитать этого человека, и ответил спокойно.

— Из-за своей недоразвитости и кретинизма, папа, ты не поймешь стремлений современной молодежи,— объяснил он отцу.— Поэтому на первый раз я прощаю тебе грубые слова...

Пораженный Стоун смотрел на сына широко открытыми глазами, не понимая, тот ли это Гардик, смешной и забавный, которому он покупал игрушки, его ли это единственный сын и гордость.

Возможно поняв состояние отца или желая внести полную ясность в их отношения, Гарди, уже повернувшись к двери, через плечо посоветовал:

— Но если у тебя нет уверенности, что ты сдержишься и в следующий раз не нанесешь мне оскорбление, позаботься о своих похоронах, чтобы мне не возиться с этим делом.

У Гарди был острый взгляд и гибкий ум. Он решил приблизиться к тому миру, который собирает деньги не крохами, а гребет лопатами. Он присмотрится и поймет, как это надо делать.

Скромность и порядочность торговца ошейниками были хорошо известны, и это помогло его сыну устроиться на биржу. Гарди взяли на должность мелкого клерка, но в его обязанности входило считать ценные бумаги, а иногда и деньги.

Банковские служащие и кассиры считают миллионы совершенно равнодушно, стараясь лишь не ошибиться. Они считают и кладут в сейфы доллары, фунты, марки со спокойствием служащего на складе канцелярских бланков. Через руки Гарди проходили миллионы, и они жгли ему руки. Он хотел, чтобы они принадлежали ему.

В силу существующей системы и организации работы он не имел возможности присвоить даже один доллар. Как человек честный, он и не собирался этого делать. Если подобные мысли приходили в голову, он тут же отвергал их, так как не мог позволить себе пойти на такой шаг. И когда эти мысли снова приходили в голову, у него хватало силы воли отбросить их.

Гарди внимательно наблюдал работу биржи и видел, как мгновенно, буквально в несколько минут люди обретают большие капиталы. Правда, в течение такого же короткого времени разорялись другие, теряя целые состояния.

Он следил, куда вкладывают свои капиталы биржевые киты, и, как новичок на тотализаторе, шел за ними. Но биржа требует больших денег. Если даже хорошенько прижать папашу, все равно не хватит на то, чтобы начать настоящую игру.

И тут его осенила идея, которая могла прийти в голову только предпринимательскому гению. Поводом послужил столь мелкий, столь ничтожный факт, на который никто бы

не обратил внимания. В тот же день он взял расчет и потребовал у отца пятьсот долларов. Спокойно и вежливо объяснил, что оказывает ему любезность, так как мог бы сам взять их без его ведома, но в силу своей интеллигентности не делает этого. А во-вторых, дает слово никогда больше не обращаться за деньгами, хотя на законных основаниях, как родной сын, имеет право на куда большую сумму.

— Если же твой моральный и духовный уровень так низок, что ты откажешь,— закончил Гарди,— я помогу тебе подняться до вершин цивилизации.

После памятного разговора с сыном в день его ухода из колледжа Стоун избегал встреч с Гарди. Вся эта история потрясла и надломила его. Он не мог понять, когда, в какую минуту, в какой день произошла эта страшная перемена с его мальчиком. Но теперь он боялся сына. Боялся его угроз и больше всего публичного скандала. Он не вынес бы такого скандала, не говоря уж о том, как пострадали бы его доброе имя, его фирма.

Он молча дал сыну деньги, и тот исчез из города. Спустя три дня в нескольких центральных газетах появилось пространное объявление. Научно-исследовательский центр «Гранд Кемикал корпорейшн» сообщал, что со дня своего основания, то есть четырнадцать лет, он работал над единственной проблемой: как восстановить потерянные волосы? В настоящее время проблема радикально решена. Институт дает гарантию, что его препарат восстанавливает волосы у любого человека, не старше восьмидесяти лет. Препарат состоит из шести доз специального вещества. Первая и решающая доза высылается бесплатно, чтобы каждый мог убедиться в ее достоинствах. Полностью препарат может быть отпущен после получения всей его стоимости.

Объявление вызвало сенсацию. Газеты, поместившие его, были расхватаны. Чтобы не терять подписчиков, сообщение перепечатали тридцать семь центральных и провинциальных газет.

Сенсация распространялась. В официальных учреждениях, в торговых фирмах, в частных особняках только и говорили что о поразительной новости. Сомнения скептиков и маловеров, любителей во всем видеть аферу разбивались о железный довод: первая доза бесплатно. Если она не даст эффекта, никто не сделает заказа. Во всяком случае, попробовать можно — риска нет.

Самые осторожные усомнились, не глупая ли это шутка веселящейся молодежи? Но так или иначе, первые сотни запросов были отправлены в адрес фирмы.

Вскоре заказчики получили крошечные пузыречки с прозрачной жидкостью и, как указывала инструкция, смазали содержимым лысину, покрыли марлей и ватой, забинтовали на три дня.

Когда повязки были сняты, о новом препарате заговорили все. Люди рассматривали головы первых счастливчиков и видели, что лысины покрылись волосками. И хотя они были едва-едва заметны и тоньше обычных волос, но реально существовали, и каждый понимал, что это результат только первой дозы и что для нормального роста волос требуется время.

Началось паломничество. Препарат был дорогим, и на текущий счет центра полетели сотни и сотни телеграфных переводов: лысые хотели иметь волосы.

Спустя десять дней, не забрав последней значительной суммы, институт бесследно исчез. Второй дозы никто не получил.

Холодный рассудок Гарди заставил его остановиться. Лучше недобрать, чем потерять все. Захватив более пятидесяти тысяч долларов, он скрылся.

Надо скрыться подальше. Он отправился на Кубу и провел в Барадеро фантастически сказочных три месяца. Десятки раз слышал он там историю ловкого афериста и искренне смеялся над обманутыми. Оказывается, каждая лысина, ну, абсолютно любая лысина, покрыта незаметным для глаза пушком. Это обстоятельство и использовал аферист. Он раздобыл красящее вещество светло-серого цвета, которое действует в тепле, и разослал его в качестве первой дозы. Вот и окрасился и стал видимым пушок на лысинах.

На эту мысль Гарди натолкнулся совершенно случайно. В один из горячих дней на бирже у его окошка склонился очень возбужденный клиент, и именно на его лысине Гарди заметил испачканный чернилами пушок. Гарди внимательнейшим образом рассмотрел еще с десяток лысин и убедился, что на всех имеется этот чудесный для него пушок.

Только его гибкий ум мог сделать из подобного факта столь далеко идущие выводы.

Барадеро было для Гарди не только местом наслаждений. Он оказался в кругу высшей американской знати, среди крупнейших промышленников, государственных деятелей, банкиров. Пребывание в Барадеро под силу только очень богатым людям. И каждый, кто там был, хорошо знал, что все его окружение — это обладатели немалых капиталов. Значит, к этой категории будет причислен и Гарди.

Он понимал, какие крупные связи может завязать, если

правильно поставит себя, если не бросится сломя голову во все пороки, которые тянули его с магической неотвратимой силой.

У Гарди был холодный ум и сильная воля. На пляжах Барадеро увидели молодого красивого человека, вежливого, почтительного, сдержанного, остроумного. Его изысканные манеры выдавали человека воспитанного, бесспорно принадлежащего к высшему свету. За такого он себя и выдавал.

В нем сочетались, казалось бы, противоречивые качества. Юношески непосредственный, искренний, веселый, он не оставлял сомнений в своей деловитости, опытности, солидности. С ним интересно было и молодежи, и людям, умудренным годами и все испытавшим в этом старом мире. Он был находчив, предупредителен, даже услужлив. Но тем с большей силой ощущалось в нем чувство собственного достоинства.

Гарди не стеснялся в деньгах, всегда успевал первым расплатиться за всю компанию, но никогда не бросался ими безрассудно. Он не избегал игорных домов, наводнявших Барадеро, порою даже увлекал туда своих новых многочисленных друзей, но никогда не проявлял азарта, не терял голову.

Естественно, что при таких качествах он вскоре стал желанным гостем в лучших домах Барадеро. Все видели, как стеснялся он своей популярности и при этом, как бы помимо воли Гарди, подчеркивались его лучшие черты, которые, казалось, он стремился не только не выставлять, но прятать.

Такая жизнь давалась Гарди нелегко. Но над ним властвовал его холодный и жестокий рассудок. Эти подлинные хозяева Америки, собравшиеся в Барадеро, могут иметь решающее значение в его жизни. Значит, надо играть. И он играл перед ними. Но ему страстно хотелось жить. Жить в его понимании этого слова: разгульно, широко, безоглядно. И он жил. Он уезжал в Гавану под одобрительные кивки знакомых, восторгавшихся, что такой молодой человек и на отдыхе не забывает о делах — а он очень красочно об этом говорил,— и отыгрывался за все те вечера, когда пил только легкое вино. Он отыгрывался за те долгие часы, когда невинно развлекал стареющих жен влиятельных лиц, оставляя возможность мужьям для более интересных увлечений. Он узнал все публичные дома Гаваны, все виды наркотиков, все самые злачные и темные уголки города.

Он ничем не брезговал. Подняв и положив в свой карман вывалившуюся из кармана пьяного приятеля солидную пачку долларов, он с поразительной искренностью выражал потом соболезнование пострадавшему и проклинал негодяя, позарившегося на чужие деньги.

Попавшись однажды на мелком жульничестве в почти незнакомой компании и получив пощечину, он молча ушел, хотя мог достойно отомстить: поверили бы ему, а не сомнительным типам, с которыми по ошибке связался. Он не сделал этого. Боялся ставить свое доброе имя рядом с этим сбродом и молча снес оскорбление. Он зло отомстил за оскорбление в следующую же ночь.

Эту ночь он провел у жены крупного латифундиста, занятого на своих плантациях. Уходя, Гарди захватил ее кулон стоимостью в десять тысяч долларов. В пять утра, целуя ей руку, на пороге спальни, ворковал:

— Я случайно захватил твой кулон, милая, и надеюсь, ты не позовешь полицию, пока не прибрана постель.— Он смотрел на ошеломленную женщину и, сладостно улыбаясь, продолжал: — Я надеюсь, милая, ты и мужу ничего не скажешь...

Ему приятно было видеть перекошенное в ужасе лицо. Ему приятно было сознавать, что это он сделал ее бессильной, заставил хранить тайну о пропаже кулона. Ему приятно было представить себе, как эта женщина будет придумывать какую-нибудь нелепую историю, объясняясь с мужем, но даже под пытками не назовет его имя.

Угар Гаваны он чередовал с добродетельной жизнью в Барадеро. Здесь, на берегу океана, он и познакомился с генералом Арнольдом, который нежился на пляжах перед экспедицией в Южную Корею.

В годы войны с Германией Гарди видел, как наживаются многие на военных операциях. Один удачный поход, и человек обогащался на всю жизнь. Он был уверен, что не растеряется, если попадет в любой завоеванный район. Но его холодный рассудок подсказывал другое. Он категорически отрезал для себя этот путь к деньгам: туда, где надо рисковать жизнью, пусть идут другие. Такое дело не для него. Решив так однажды, он уже больше никогда не думал о военных походах, какие бы заманчивые перспективы ему ни рисовали.

Война на западе окончилась, но Япония еще сопротивлялась, хотя дни ее были сочтены. Генерал Арнольд, человек напыщенный и честолюбивый, готовился к своей миссии, которая начнется после разгрома Японии. Он назначен на пост начальника военной администрации Южной Кореи. В его руках окажется промышленность, транспорт, сельское хозяйство, вся экономика, вся политическая власть.

Был сформирован огромный аппарат военной администрации, состоящий из специалистов всех мыслимых отраслей экономики, культуры, медицины, политики. Был подобран и

подготовлен штат инспекторов, ревизоров, советников, экспертов. И только на одну должность он никак не мог подобрать подходящей кандидатуры. Ему предлагали десятки людей, и у каждого он находил какие-то существенные недостатки. И хотя речь шла не об очень важной персоне, но для него она могла играть решающую роль. Речь шла о его личном адъютанте. Ему предлагали кадровых офицеров, исполнительных, дисциплинированных, побывавших на войне. Ему хотелось не этого. Ему хотелось человека, который был бы не столько адъютантом, сколько помощником, его правой рукой, его доверенным лицом.

В Гарди Стоуне Арнольд увидел все, что тому хотелось показать: деловитость, скромность, гибкий ум, находчивость, достоинство. Он боялся, что Гарди, который, как видно, владеет не малыми капиталами, не согласится. Генерал начал издалека. Он еще ничего не предлагал Гарди, а только рассказывал о блестящих перспективах своей экспедиции. Он рисовал сказочные возможности для умных людей, которые попадут с ним в Сеул.

И Гарди понял, чего от него хотят. Он все взвесил. Быть помощником у человека, облеченного неограниченной властью в колониальной стране, где предстоит распределение японских капиталов и трофеев,— да, это та лошадь, на которую надо ставить.

Гарди Стоун получил звание капитана. Перед отъездом из США он развил бурную деятельность и отправился в Сеул во всеоружии.

ПЛАЧЬ, БОГИНЯ АМАТЕРАСУ!

Невыносимо печет солнце. То хлынет ливень, то снова ясное небо. Влажный раскаленный воздух давит грудь, кружит голову. Одежда липнет к телу. Трудно дышать, трудно двигаться. Такого скопления людей в Сеуле еще не видели. Что происходит в столице?

С фабрик и заводов, с окраин и из близлежащих деревень идет народ. Опустели подвалы и чердаки. По узким, как коридоры, переулкам и тупикам люди стекаются на широкие центральные улицы и площади. Они несут знамена и транспаранты.

Что же это делается в Сеуле? Почему не стреляют в демонстрантов? Почему прячется полиция?

Пало величие империи Ниппон! Плачь, богиня Аматерасу! Корея для тебя потеряна!

Люди идут и идут. Тесно стало на широких магистралях. Остановились трамваи и конка, автомобили и рикши. Им негде проехать. Из тайников извлечены национальные флаги. Они взвились на пагодах и дворцах.

Впереди колонны текстильщиц фабрики Катакура рабочий несет знамя. Рядом идут Мин Сун Ен и Мен Хи. Она несет транспарант:

«Вся власть Народным комитетам!»

Мен Хи крепко держит легкий бамбуковый шест. Она проходит мимо здания Чосон-отеля. Новая волна ликующих возгласов:

— Свобода! Свобода!.. Мансэй! Мансэй! Мансэй!

На трибуне среди незнакомых людей Чан Бон. Он приветствует колонны, он улыбается.

Мен Хи кажется, что Чан Бон смотрит на нее и улыбается ей. Одной рукой она прижимает к себе древко транспаранта и, подняв вверх вторую, радостно машет Чан Бону:

— Мансэй! Мансэй!

И вдруг на глаза у Мен Хи навертываются слезы: где же Пан Чак? Почему его нет рядом с Чан Боном?

Над улицами и площадями из всех рупоров несутся радостные слова:

«Конец полицейскому режиму!»

«Сорокалетнее иго пало! Вся власть Народным комитетам!»

«Вступайте в рабочие дружины по поддержанию порядка!»

«Возрождайте демократические организации! Оберегайте народное добро!»

«Мансэй великой Советской Армии — освободительнице! Япония капитулировала! Свобода... Свобода...»

Слезы текут по щекам Мен Хи. Она не прячет слез.

...Тяжелая портьера чуть-чуть отодвинута. Абэ Нобуюки смотрит в щелочку. Железные ворота старого королевского дворца заперты и подперты столбами. Из окон и чердачных люков торчат невидимые с улицы стволы пулеметов.

Когда же придут американцы?

Чан Бон дежурил в Народном комитете, когда туда прибыла группа японских офицеров.

На середину комнаты вышел полковник и, вытянув руки по швам, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Генерал-губернатор Кореи господин Абэ Нобуюки приказал передать, что он не сложил своих полномочий и несет перед ожидаемой армией Соединенных Штатов полную ответственность за порядок на юге страны. Генерал приказал

немедленно распустить Народный комитет. Прекратить бунт!

Чан Бон слушает полковника, поглядывая в окно: отряд вооруженных рабочих человек в двести подошел к Народному комитету.

Чан Бон выходит из-за стола.

— Передайте Абэ Нобуюки,— обращается он к полковнику,— что требование его неразумно. Сообщите генералу, что у нас тоже есть ряд требований. По поручению Народного комитета я прибуду к нему через два часа.

Полковник в нерешительности поглядывает на сопровождающих его офицеров. Дверь отворяется. На пороге командир рабочего отряда.

— Товарищ Чан Бон! — рапортует он.— В ваше распоряжение прибыл отряд вооруженных рабочих численностью...— Командир отряда запнулся, косясь на японцев, и уверенно закончил: — ...Численностью, какую вы требовали. Если надо, можно привести любую численность.

Чан Бон улыбается:

— Спасибо, товарищ, прошу расположить отряд на территории Народного комитета и ждать распоряжений.

Он обращается к японскому офицеру:

— Так и передайте генералу. Через два часа!

В назначенное время группа членов Народного комитета во главе с Чан Боном переступила порог кабинета Абэ Нобуюки. Генерал не поднял глаз на вошедших.

— Вы готовы нас слушать?

— Да, готов,— поднялся он.

— Вам известно,— говорит Чан Бон,— что Квантунской армии больше не существует и Япония капитулировала...

— Если мне известно, значит, незачем повторять это! — прерывает его Абэ.

— Квантунская армия сдалась в плен советским войскам, которые остановились в шестидесяти километрах от Сеула,— спокойно продолжает Чан Бон.— Они не идут дальше, потому что по договоренности с союзниками разоружить японскую армию южнее тридцать восьмой параллели должны американцы. Власть Японии над Кореей кончилась. Хозяином страны стал народ. От имени народа,— голос Чан Бона звучит не громко, но властно,— мы требуем, чтобы вы не вмешивались в дела Народных комитетов. Во избежание кровопролития надо запретить полицейским показываться на улицах. Мы требуем немедленного освобождения политических заключенных, прежде всего узников Содаймуна. Если вы не согласитесь выполнить наши законные требования, мы разоружим полицию.

По лицу Абэ Нобуюки нельзя прочесть его мысли. Осунувшееся, помятое лицо курильщика опиума.

— Мне надо подумать, — наконец произносит он.— Этот вопрос я решу завтра...

— Нет! — прерывает его Чан Бон.— Народный комитет поручил мне вернуться от вас с ясным и четким ответом.

Абэ тяжело опускается в кресло и молчит. Чан Бон ждет мгновение, другое. Потом идет к двери.

Генерал снова поднимается.

— Я принимаю ваши требования,— говорит он,— но вы должны гарантировать безопасность всему японскому административному аппарату и обеспечить сохранность нашего имущества до прихода американцев.

— Хорошо. Мы берем под охрану вас, ваших подчиненных и ваше имущество.

Все знали: звонок, извещающий об окончании работы, прозвучит сегодня раньше на восемь часов. И все ждали и не могли поверить, что так произойдет на самом деле. Куда же девать время, если действительно теперь можно работать только восемь часов?

Но вот раздался звон колокола. И все равно трудно было поверить, что кончился рабочий день: ведь еще вчера все работали шестнадцать часов. Но люди поверили, потому что машины остановились. А на дворе было еще совсем светло.

Мен Хи взглянула в окно и тихо засмеялась. И все стали смотреть друг на друга и смеяться от счастья. Никто не устал, и никому не хотелось идти домой.

Мен Хи не знает, как это вышло.

— Давайте устроим в цехе митинг! — вырвалось у нее.— И не просто так, а чтобы ораторы были, как вчера на фабричном митинге, когда решили установить вентиляцию...

Все работницы согласились, хотя не знали, о чем они будут говорить. Женщинам просто хотелось почувствовать, что они здесь хозяева и могут собираться и свободно говорить.

Чер Як скрылся пять дней назад, а надсмотрщики еще раньше сбежали. И все это было такое счастье, которое невозможно переживать в одиночку и молча.

Работницы достали стол, покрыли его куском материи и посадили за стол пять самых пожилых и уважаемых ткачих. Председателем выбрали Мин Сун Ен. Но вначале дело не ладилось, потому что говорили все сразу.

Мин Сун Ен смотрит на женщин. Всю свою жизнь она работала на текстильных фабриках. И все ткачихи, которых

она знала,— и те, что давно умерли, и те, которых похоронили всего два-три дня назад, и те, что сейчас стоят вот здесь,— всегда были одинаково молчаливы. Каждый день они молча приходили в цех, молча сгибались у ненавистного барабана, молча в темноте плелись в барак, молча умирали. Они улыбались только по необходимости: когда бил надсмотрщик — чтобы перестал бить; когда падали на землю от истощения — чтобы не выгнали с работы; когда получали увечье — чтобы не судили за саботаж в военное время.

Мин Сун Ен привыкла к тому, что у девочек и у старух одинаково согнуты спины, одинаково торчат из-под одежды острые лопатки. Она привыкла видеть их погасшие глаза, их костлявые, повисшие вдоль тела руки, их тяжелый шаг.

Она никогда не думала, что злая Лун умеет добродушно смеяться, что женщины могут говорить без умолку.

Взгляд Мин Сун Ен падает на Мен Хи. Девушка стоит возле своей машины и сосредоточенно вытирает тряпочкой барабан, ласково гладит его рукой.

Мин Сун Ен не может оторвать глаз от Мен Хи и не может сдержать слез...

Надо взять себя в руки: ведь она председатель.

Мин Сун Ен стучит ладонью по столу и, стараясь придать голосу строгость, говорит, что пора перестать без конца шуметь, а кто хочет выступать, пусть просит слова, и пусть все подчиняются ей, если уж ее выбрали председателем.

И хотя только что все говорили сразу и у каждой было что сказать, но выйти к столу и произносить речь перед утихшим цехом никто не решался.

— Я хочу!

Женщины обернулись на голос и заулыбались: слова просит Мен Хи, сейчас она будет говорить речь перед всеми!

Наступившая тишина испугала девушку, и она в нерешительности остановилась. Мен Хи подняла глаза и увидела ткачих, которые в ожидании ее слов будто подались немного вперед, увидела их ободряющие глаза, их добрые улыбки.

Так смотрит мать на своего ребенка, который сам поднялся с пола и стоит, качаясь, готовый сделать свой первый в жизни шаг.

Ну, ну, Мен Хи, смелее! Шагай, шагай, не бойся, ты не одна, к тебе протянуты все руки, с тобою все сердца!

Мен Хи успокоилась и заговорила, глядя на работниц, и боялась оторвать от них взгляд, чтобы не потерять силу, которую черпала в глазах ткачих.

Она показала рукой на окна и стропила, на лампочки и машины и сказала:

— Видите, сколько тут всюду налипло грязи? Разве у нас дома бывает такая грязь? Теперь это наша фабрика, поэтому давайте ее приберем. Вот я вычистила свой барабан, посмотрите, какой он стал красивый.

На этом и кончилась речь Мен Хи. Но эта речь очень понравилась ткачихам, и они радостно зашумели. А Мин Сун Ен призвала всех к порядку и сказала:

— Поступило предложение ткачихи Мен Хи бесплатно и в нерабочее время прибрать цех. Кто еще хочет об этом говорить?

— Правильно, правильно! — зашумели женщины.

— Тогда каждая, кто с этим согласна, пусть поднимет руку.

И ткачихи впервые в жизни проголосовали.

Даже дома так тщательно не убирали женщины, как здесь. Они вытирали машины, сметали пыль во всех уголках, мыли окна и так быстро работали, что, если бы их увидел надсмотрщик, он не поверил бы своим глазам.

Неожиданно пришел человек из конторы.

— Очень хорошо, что ткачихи не разошлись,— сказал он Мин Сун Ен.— Надо выбрать трех человек в рабочий контроль.

Женщины снова собрались у стола. В комиссию рабочего контроля была выбрана и Мен Хи. Девушка так растерялась, услышав свое имя, что ничего не могла сказать. Мин Сун Ен поняла, как волнуется Мен Хи, и стала ее успокаивать.

— Ты видишь,— сказала она,— все, кого выбирают, тоже простые работницы.

Спустя час в конторе состоялось первое заседание комиссии рабочего контроля.

Мен Хи поручили наблюдать за работой столовой, следить за чистотой общежития, за тем, чтобы правильно расходовалась пенька.

До самого вечера она была занята; когда пришло время идти отдыхать, ей снова стало грустно. Что же с Пан Чаком?

Мен Хи идет к навесу и садится на тюк пеньки. В эти дни она часами просиживает здесь, думая о Пан Чаке.

Чан Бон сказал Мен Хи, что она может поехать в Содаймун вместе с делегатами Народного комитета встречать освобожденных узников. Но у Мен Хи не хватило для этого сил. Она и сейчас еще слышит слово «змееныш», которое бросил ей Пан Чак в момент ареста. Пусть лучше Чан Бон сам расскажет Пан Чаку, что она не виновата.

Группу освобожденных, в том числе и Пан Чака, привезут в Народный комитет. Чан Бон сразу же поговорит с ним. Мен Хи может не беспокоиться.

На окраине города, далеко от Народного комитета, за углом дома, мимо которого должны проехать освобожденные, притаилась Мен Хи. Прижавшись к стене, она вглядывалась в каждую проходившую машину. И вот наконец показалась колонна из нескольких грузовиков. Она еще далеко, можно лишь угадать, что в кузовах люди, но Мен Хи знает: это они.

Пронеслась первая машина, вторая, третья, мелькнула последняя... Пан Чака нет. Уже не отдавая себе отчета в том, что делает, Мен Хи выскакивает из своего укрытия и бежит вслед за грузовиками.

Не может быть, чтобы она не увидела Пан Чака. Она узнала бы его в тысячной толпе. Она бежит, спотыкаясь, наталкиваясь на людей. Колонна скрылась за поворотом, но Мен Хи, выбиваясь из сил, продолжает бежать...

Когда, совсем задыхаясь, Мен Хи достигла здания Народного комитета, митинг уже заканчивался. Люди рассаживались по машинам. Один за другим уходили грузовики. И вот уже скрылся за углом последний...

Мен Хи идет, ничего не видя перед собой, и лицом к лицу сталкивается с Чан Боном.

— Жив, жив твой Пан Чак,— смеется Чан Бон.— Он немного нездоров и должен несколько дней пробыть в больнице. Я сейчас еду к нему. Я ему обо всем расскажу, не волнуйся, Мен Хи.

Вместе с другими политическими заключенными Пан Чак был освобожден из Содаймуна. Его поместили в лечебницу господина Исири Суки. Это одна из японских больниц для корейцев, которая не закрылась в эти дни. Она продолжала работать, как и прежде, потому что Исири Суки сказал, что он — врач и не вмешивается в политические дела. Он должен лечить больных, а остальное его не касается.

Пан Чаку невмоготу лежать. Он то и дело поднимается с циновки и, опираясь на костыли, делает шаг-другой. Но боль в ноге становится нестерпимой, и приходится ковылять обратно к своему ложу. Единственное, что скрашивает его жизнь здесь,— это присутствие Мен Хи. Она теперь живет при больнице. Чан Бон поручил ей ухаживать за Пан Чаком.

— Мы освобождаем тебя на эти дни от работы на фабрике,— сказал Чан Бон,— не только для того, чтобы ты гото-

вила Пан Чаку обед. Пан Чак – очень дорогой для партии человек, но горячий, несдержанный. Может сбежать отсюда раньше времени. Не допусти этого.

Мен Хи счастлива. С больным обычно поселяют только жену, или дочь, или близких родственников. Ей очень приятно ухаживать за Пан Чаком. Чан Бон оплатил владельцу больницы доктору Исири Суки стоимость двух циновок — Пан Чака и ее.

Вместе с другими женщинами она готовит обед в большой кухне. Пан Чак еще не ел такого вкусного фазана. И наперчит она его так, что не стыдно будет подать самому императору. Пан Чак увидит, как она вкусно стряпает. Тут много женщин вокруг одного очага, но она старается не мешать им. У всех скорбные лица и за спиной плачут дети. Наверно, потому, что на кухне чад и дым.

Мен Хи отрезает сочный кусок фазана, кладет на тарелку и обливает соусом. Рис – в отдельной чаше. Она ставит все это на дощечку, кладет палочки и идет в палату.

В большой полутемной комнате с низко нависшим потолком много людей. Стоны больных смешиваются с плачем детей. Они ползают от одной циновки к другой. Кто-то мечется в бреду. В углу, окружив умирающего, причитает целая семья. От запахов пищи и лекарства, от угара и пота в палате трудно дышать.

Скоро доктор Исири Суки начнет обход.

Пан Чак сидит на циновке, прислонившись к стене. Как глупо торчать в этой больнице, когда в стране происходят такие великие события.

— О, Мен Хи!..

Пан Чак не успел еще поблагодарить ее, как вошел доктор Исири Суки. Он в накрахмаленном белоснежном халате. С ним медицинская сестра. Доктор направляется к первой циновке у окна. Возле больного — женщина. Она вскакивает.

— Господин доктор! — смотрит она умоляюще.— Сегодня не надо осматривать. Сыну легче.

Еще несколько дней назад за такие слова Исири Суки выгнал бы из своей больницы и эту женщину и ее сына: если нет денег, пусть не лезут сюда. Но теперь он осматривает бедняка бесплатно и лишь потом отходит к другой циновке.

Здесь больной молча протягивает доктору пять вон. Откинув полу халата, Исири Суки прячет деньги в карман узеньких, как трубки, брюк и начинает выслушивать больного.

Наконец очередь Пан Чака. Мен Хи поспешно сует деньги в руку врача, а Пан Чак говорит:

— Доктор, я не могу здесь больше оставаться.

Исири Суки с недоумением смотрит на него.

— Я вижу, что вы хорошо питаетесь и у вас достаточно средств. Куда вы торопитесь?

— Мне надо работать.

— Хорошо, сегодня сделаем перевязку, а там посмотрим. Думаю, что дней через десять сможете ходить.

— Только через десять?

Но доктор уже у другой циновки. Не оборачиваясь, говорит Пан Чаку:

— К вам подойдет сестра, она скажет, сколько с вас за бинты, лекарства и перевязку.

— Хорошо, доктор.

Исири Суки берется за ручку двери.

Больной у окна тяжело стонет...

Две недели лежит Пан Чак в больнице, и все это время возле него Мен Хи.

Он до сих пор не в состоянии избавиться от угрызений совести. Как мог он заподозрить ее? Как мог так плохо думать о ней в Содаймуне? Всеми силами Пан Чак старается загладить свою вину перед Мен Хи. Он учит ее грамоте, долгими часами рассказывает о партизанских отрядах в Китае, о великой России, приславшей сюда своих сынов, чтобы освободить Корею.

Сегодня особенно радостный день. Пан Чак уже совсем хорошо управляется с костылями, и ему разрешили покинуть больницу.

Они садятся в машину и едут через центр города по главным магистралям освобожденной столицы. Близ древнего королевского дворца Пан Чак просит остановиться. Здесь заседает Народный комитет. Они выходят из машины и направляются к дворцовому парку.

Мен Хи смотрит на широко раскрытые железные ворота и видит транспарант, прибитый над аркой:

«Вся власть Народным комитетам!»

Пан Чак и Мен Хи входят в королевский парк.

Во дворце заседают представители народа, взявшего власть в свои руки. А в парке тысячи людей. Они гуляют по отшлифованным плитам голубого мрамора, по песчаным дорожкам. стоят у перил ажурных мостиков. В павильонах и беседках, на берегах искусственных прудов, на балконах пагод — всюду толпы людей.

Древние челны и перламутровые джонки скользят по воде.

Пан Чак и Мен Хи спускаются к озеру. Похожий на веранду плот с высокими перилами, с резной крышей, украшенной фигурками зверей, заполнен людьми.

Исири Суки с недоумением смотрит на него.

— Я вижу, что вы хорошо питаетесь и у вас достаточно средств. Куда вы торопитесь?

— Мне надо работать.

— Хорошо, сегодня сделаем перевязку, а там посмотрим. Думаю, что дней через десять сможете ходить.

— Только через десять?

Но доктор уже у другой циновки. Не оборачиваясь, говорит Пан Чаку:

— К вам подойдет сестра, она скажет, сколько с вас за бинты, лекарства и перевязку.

— Хорошо, доктор.

Исири Суки берется за ручку двери.

Больной у окна тяжело стонет...

Две недели лежит Пан Чак в больнице, и все это время возле него Мен Хи.

Он до сих пор не в состоянии избавиться от угрызений совести. Как мог он заподозрить ее? Как мог так плохо думать о ней в Содаймуне? Всеми силами Пан Чак старается загладить свою вину перед Мен Хи. Он учит ее грамоте, долгими часами рассказывает о партизанских отрядах в Китае, о великой России, приславшей сюда своих сынов, чтобы освободить Корею.

Сегодня особенно радостный день. Пан Чак уже совсем хорошо управляется с костылями, и ему разрешили покинуть больницу.

Они садятся в машину и едут через центр города по главным магистралям освобожденной столицы. Близ древнего королевского дворца Пан Чак просит остановиться. Здесь заседает Народный комитет. Они выходят из машины и направляются к дворцовому парку.

Мен Хи смотрит на широко раскрытые железные ворота и видит транспарант, прибитый над аркой:

«Вся власть Народным комитетам!»

Пан Чак и Мен Хи входят в королевский парк.

Во дворце заседают представители народа, взявшего власть в свои руки. А в парке тысячи людей. Они гуляют по отшлифованным плитам голубого мрамора, по песчаным дорожкам, стоят у перил ажурных мостиков. В павильонах и беседках, на берегах искусственных прудов, на балконах пагод — всюду толпы людей.

Древние челны и перламутровые джонки скользят по воде.

Пан Чак и Мен Хи спускаются к озеру. Похожий на веранду плот с высокими перилами, с резной крышей, украшенной фигурками зверей, заполнен людьми.

— Подождите, и мы сядем! — кричит Пан Чак, и веселый юноша, уже готовый оттолкнуться, цепляется за пристань белым лакированным багром.

— Нет, нет, тебе нельзя! — удерживает его Мен Хи, хотя самой ей очень хочется покататься в этой сказочной джонке.

Они возвращаются к машине. Пан Чаку трудно идти, и он слегка опирается о плечо Мен Хи.

— Можешь сильнее опираться, Пан Чак, мне совсем не тяжело,— говорит она, заглядывая ему в глаза.

За воротами дворцовой ограды они остановились. Стемнело. Окруженный горами, перед ними весь в огнях сверкал Сеул. Древний Сеул, исстрадавшийся, окровавленный, получивший свободу.

Они долго стояли молча, любуясь городом.

Да, у Мен Хи будет счастья — полные рукава, у нее будет радости — полные рукава. И маленький домик с цветущей вишней за окном, и сыновье тепло на спине...

ЛИЦЕМЕРИЕ

По деревне разнесся слух, будто землю Ли Ду Хана будут раздавать крестьянам. Откуда пришла такая весть, никто не знал, да, может, она и не приходила совсем, а просто люди думали о земле, им хотелось получить землю, и, когда кто-то высказал свои думы, каждому могло показаться, будто он уже про это слышал. Слух о земле всполошил всех, и даже с гор спускались хваденмины, до которых, должно быть, тоже дошла молва.

Пак-неудачник не поверил слухам. Но сидеть спокойно в своей хижине все же не мог: ведь японцев-то прогнали — это известно точно. Всей деревней ходили на сопку и смотрели, как русские солдаты вели пленных японцев. Казалось, колоннам пленных не будет конца. И каждый вечер люди собирались возле какого-нибудь дома, чтобы еще раз послушать или рассказать о том, что ни японской полиции, ни сборщика налогов больше не будет, и говорили только об этом и о земле.

Сегодня мужчины решили послать кого-нибудь в город точно все разузнать. И тут кто-то заметил, что с горы к ним спускается всадник в военной одежде. Когда всадник подъехал совсем близко, Пак вдруг бросился ему навстречу и закричал что-то такое, чего никто не мог разобрать. Можно было подумать, будто он сошел с ума. А когда человек спрыгнул с лошади, батрак Кан Сын Ки тоже закричал:

— Что же вы стоите, разве вы не видите, что это Сен Чель, старший сын Пака-неудачника.

И все увидели, что это действительно Сен Чель — старший сын Пака Собана. Соседи шептались о том, что, должно быть, Сен Чель — теперь большой начальник, а ведь он только сын Пака-неудачника и родился в их деревне.

Но Сен Чель почувствовал неловкость оттого, что отец при людях ведет себя, как дитя, и готов расплакаться. А приехал он не в гости к отцу — сейчас не до того! Он приехал сюда с мандатом Коммунистической партии Кореи и Временного Народного комитета по важным государственным делам. Такие мандаты выдали ответственным людям и послали по деревням разъяснять новую обстановку и создавать местные Народные комитеты. А тут не к месту расстроился отец и никак не может успокоиться. Обеими руками гладит одежду сына, смотрит на него и без конца спрашивает:

— Это ты приехал, Сен Чель? Ты приехал совсем, Сен Чель?

— Подожди, отец,— старался образумить старика Сен Чель,— надо сначала заняться делами, а потом, если останется время, мы поговорим.— И, обратившись ко всем, добавил: — Я прибыл по поручению Временного Народного комитета, мне еще надо сегодня в соседнюю деревню поспеть, поэтому быстрее созывайте народ, и будем решать важные дела.

— Все уже собрались, Сен Чель,— сказал Кан Сын Ки,— говори, если у тебя хорошие вести.

— Не может быть, чтобы все собрались,— недоверчиво покачал головой Сен Чель.

— Деревня теперь маленькая,— сразу заговорили несколько человек,— звать больше некого.

— Да, да, Сен Чель,— подтвердил Пак таким тоном, чтобы все почувствовали, что это его сын,— можешь начинать говорить, весь народ собрался.

— А разве в нашей деревне живут только мужчины? — с любопытством спросил Сен Чель.— Или вы думаете, женщинам не интересно послушать, о чем будет говорить представитель Народного комитета? Вон они уже из всех дворов выглядывают,— показал он рукой.

Все удивленно смотрели на старшего сына Пака-неудачника и слушали его странные слова.

— Пока еще женщин здесь нет,— продолжал Сен Чель,— я скажу вам вот что: теперь начинается новая жизнь. Про это я и буду сегодня говорить. Но в новой жизни женщины тоже должны иметь права, потому что они такие

же люди, как мы, и работают даже больше нас. Значит, зовите их сюда, и пусть они слушают. А когда будем принимать решение, мы спросим, что думают женщины. И если они станут смотреть на вас, боясь говорить, скажите им, что теперь каждый может говорить все, что хочет, и для этого не требуется разрешения мужа или старшего сына.

Никто не стал спорить с Сен Челем, хотя такого еще не было, чтобы женщины вмешивались в дела мужчин, да еще говорили, что им вздумается. Все поспешили за женами, потому что хотели поскорее узнать, что же будет с землей.

Пак Собан тоже заторопился в свою хижину. Подумать только, вернулся Сен Чель и так разговаривает! И одежда на нем такая, какую, наверно, носят начальники. Это просто неслыханно, что делается.

Еще за несколько дней до прихода русских помещик Ли Ду Хан начал вдруг продавать свое добро, да по дешевке, только бы скорей продать. В ход пошло все — и инвентарь, и скот, и зерно. Он больше времени проводил в Пучене, чем в своем новом поместье, которое отстроил лучше прежнего. Сюда приезжал только на несколько часов с покупателями и сразу же возвращался в Пучен. Потом все дороги наводнили японские войска, и шли они без конца, так что на улицу и носа нельзя было высунуть. А спустя несколько дней японцев, уже безоружных, гнали обратно советские солдаты.

Вот чем все это кончилось. И Ли Ду Хан перестал ездить в Пучен. Наверно, он тоже прослышал, что его землю будут раздавать крестьянам. Сейчас все будет известно. Сен Чель обо всем расскажет.

Пак доволен. Да, он вырастил такого сына, который стал начальником и сможет все хорошо объяснить. Надо скорее позвать Апанню, пусть она порадуется и тоже послушает. А то потом ей все придется пересказывать.

В хижине Апанни не оказалось. Где это она в такое время бродит? Но искать ее он не пойдет. Пак снова поспешил туда, где собрались люди. Он не может, как мальчишка, бегать за ней!.. Да вот она, оказывается, сама прибежала! Но женщина остается женщиной. Не может хоть при людях сдержать свою радость и вытереть слезы.

Пак Собан едва поспел к началу. Все окружили Сен Челя, и он уже хотел говорить, но старый Дзюн сказал, чтобы Сен Чель поднялся на телегу, тогда все его будут хорошо видеть и слышать. Это был самый старый и самый мудрый в деревне человек, и хотя Сен Чель заявил, что является представителем власти, но не подчиниться Дзюну не мог.

— Земляки! — начал Сен Чель, взобравшись на теле-

гу.— Вы знаете, что немецкие фашисты и самураи хотели уничтожить первое в мире государство рабочих и крестьян. Но русские рабочие и крестьяне, все народы Советского Союза, как один, поднялись на смертельного врага. Они разгромили фашистов на своей земле, освободили от гнета народы многих стран и вот пришли к нам. Они пришли, как старшие братья, чтобы вызволить из неволи наш многострадальный народ...

Все, что говорил Сен Чель, крестьяне уже слышали, но никто точно не знал, правда это или только слух. Теперь все стояли не шевелясь, чтобы не пропустить ни одного слова, и недовольно оборачивались, если кто-нибудь кашлял. И хотя говорил Сен Чель, который всего только сын Пака-неудачника, но ведь он является представителем власти, а время теперь такое, что, может, и в самом деле другая власть будет.

А Сен Чель, ободренный тем, что даже старики, даже Дзюн внимательно слушают его, рассказывал, как все произошло:

— Самураи не хотели уходить отсюда. Но неисчислимые силы русской армии разгромили самурайских собак и дали нам свободу...

— Подожди, Сен Чель,— перебил его старый Дзюн.— Подожди. Скажи нам, кого они назначили генерал-губернатором?

— Да, да, кого? — послышались голоса.

— Кого? — переспросил Сен Чель. И тут же ответил: — Никого. Всю власть они передали народу. Уже создан Временный Народный комитет Северной Кореи, и во всех городах и селах выбираются Народные комитеты. В нашем уезде тоже скоро начнутся выборы. И вам уже довольно сидеть и ждать, будто здесь власть помещиков. Пора браться за дело, как полагается хозяевам. Так сказали наши освободители. Им не легко далась победа. Самураи цеплялись за нашу Корею, как бешеные собаки. Русские братья пролили свою кровь на наших границах, в Начжине, Хыннаме, Вонсане, Чхончжине...

И снова старый Дзюн перебил Сен Челя.

— Кто тебе сказал,— спросил он,— что всю власть, которую завоевали здесь русские собственной кровью, они передадут нашему народу?

— А вот кто,— не задумываясь ответил Сен Чель, доставая из сумки какую-то бумагу.— Слушайте обращение советского командования. Это писали те люди, которые разгромили самураев и помогли освободить нашу страну.

И он начал читать обращение...

— Понимаете, что это значит,— оторвался от чтения Сен Чель.— Это значит, что теперь все будут решать Народные комитеты, избираемые всем трудовым населением. Всю землю Временный Народный комитет передает крестьянам. Каждый получит два или три тенбо земли бесплатно, чтобы хватило прокормить всю семью...

И тут началось такое, что даже Сен Чель не смог успокоить людей. Но старый Дзюн поднял вверх обе руки и пошел к телеге. Ему помогли взобраться на нее, и крестьяне смолкли. И хотя он был очень старый, в наступившей тишине голос его слышали все.

— Много раз наш народ поднимался на борьбу за свободу,— начал Дзюн.— Много корейской крови пролито на нашей земле. Гибли лучшие сыны народа, а свободы добиться не смогли. Я помню великое восстание в девятнадцатом году, в нем участвовало больше двух миллионов человек. Вы знаете, я честно боролся в те дни вместе с народом. Но кровью залили самураи наши мирные демонстрации, подавили стачки. Двадцать пять тысяч человек убитых и раненых остались на улицах и площадях. Тысячи и тысячи корейцев были арестованы и замучены в тюремных застенках.

Дзюн обвел взглядом всех собравшихся, будто спрашивал, помнят ли они все это. Люди скорбно кивали, подтверждая сказанное.

Старый Дзюн продолжал:

— Сейчас во имя нашей свободы на нашей земле пролилась кровь русских братьев. Скажи им,— обернулся старый Дзюн к Сен Челю,— передай им, что мы не забудем их подвига. Пожми их благородные, сильные руки и скажи: если когда-нибудь им трудно станет, пусть рассчитывают и на нас, вечно благодарных им людей Кореи.

И снова загудела толпа. И в общем шуме все отчетливее раздавались крики о том, что надо собрать и послать русским богатырям и освободителям подарки. И так было велико это желание, что люди готовы были немедленно бежать домой и начать сбор, но Сен Чель остановил их.

— Это хорошее предложение,— сказал он.— И не вы одни так хорошо придумали. Весь наш народ стремится хоть как-то выразить свои горячие чувства. Но сначала надо выбрать комитет по распределению земли.

Пак Собан уже ничего не слышал. Люди что-то кричат, называют его имя, его выбирают в крестьянский комитет по распределению земли. Все это происходит будто не на самом деле, а в сказке. У него будет земля...

...На следующий день опять все собрались у колодца, уже без Сен Челя, который уехал в другую деревню, а еще через несколько дней помещик Ли Ду Хан позвал к себе Пак Собана.

С тяжелым чувством пошел Пак к своему бывшему хозяину. Чего ему надо? Потребует старый долг? Но ведь народная власть не признает этих долгов. Так говорилось на сходках, так написано в бумаге, вывешенной на дереве возле колодца.

Пак Собан шел, и все больше нарастало в нем возмущение. Ему хотелось крикнуть этому Ли, что тот не смеет больше вызывать людей к себе. Разум подсказывал ему, что Ли не властен больше над ним, но вернуться он не мог. Пак шел, твердо решив дать Ли Ду Хану достойный отпор. Пусть теперь сам трудится на своем участке. По новому закону помещику дадут столько земли, сколько он сможет обработать сам, без помощи батраков.

Помещик встретил Пака возле усадьбы и повел его к себе не через западные ворота, где обычно проходят батраки и издольщики, и даже не через восточные, куда вход разрешался лишь родственникам и приятелям Ли Ду Хана. Он провел его через главные, центральные ворота, что раскрываются только для самого помещика и особо почетных гостей.

Пак Собан ожидал упреков, требований, наконец, угроз и решил защищаться. Сегодня он выскажет Ли Ду Хану все, что накопилось на душе за долгие годы.

Многое собирался сказать Пак. Но первым начать он не мог. Ведь его встретили ласковый прием, и обильная еда, и сури за помещичьим столом.

Пак Собан присел на корточки, не решаясь опуститься на богато расшитую подушку, любезно пододвинутую ему хозяином.

Ли Ду Хан не торопился. Медленно достал большой, шитый шелком кисет, висевший у пояса на тугом шнурке, медленно набил табаком длинную трубку, предложил трубку и Паку. Из кувшинчика с высоким, узеньким горлышком он торжественно налил сури в маленькие фарфоровые чашечки. И странно, как только белая чашечка наполнилась сури, на донышке проступило и явственно обозначилось изображение смеющейся гейши. Сначала Пак даже испугался, но тут же вспомнил, что ему рассказывали о таких волшебных сосудах, имевшихся в каждом богатом доме.

Ли Ду Хан поднял чашечку и пригласил гостя выпить.

Огрубевшей, узловатой рукой Пак взял хрупкий крошеч-

ный сосуд. Пальцы едва удерживали тонкий фарфор, а гейша смотрела ему прямо в глаза и смеялась над ним.

Ли Ду Хан повел свою речь издалека. Он спросил, как здоровье жены Пака, нет ли вестей от Мен Хи, ходил ли Пак поклониться праху своих родителей в первый день весны.

— Хорошие люди! — вздыхает Ли.— Мой отец говорил, что это были самые трудолюбивые и честные крестьяне в деревне. И сына они вырастили достойного, ничего не скажешь.

Долго говорил Ли Ду Хан. Он еще и еще раз напомнил Паку, что никогда ни в чем не отказывал ему, давал в долг и семена и чумизу для детей и не раз спасал всю семью от голодной смерти. Вот и сейчас он позвал Пака, чтобы выручить из беды, что нависла над ним, из беды, которую Пак не видит.

Ли Ду Хан снова наполнил чашечки крепким сури и снова предложил выпить. Потом долго закусывал, ловко орудуя палочками, и улыбался каким-то одному ему известным мыслям. А Пак все явственнее чувствовал беду, хотя не мог понять, откуда она придет.

Отодвинув подушку, он сел на пол, потом снова устроился на корточках. Он пытался есть, но не мог. Ли хорошо видел, с каким нетерпением Пак ждет его слов, но, казалось, не замечал этого. Он предлагал гостю попробовать то одно, то другое блюдо, часто подливая сури, восторгался ароматом хурмы, так хорошо сохранившейся, словно ее только что сняли с дерева. И хотя никогда в жизни не приходилось Паку сидеть за таким богатым столом, еда не шла ему в рот.

— Что же за беда, господин Ли Ду Хан, ждет меня? — глухо спросил он, не совладав со своим нетерпением.

Лицо помещика стало серьезным. Он достал из-за пояса маленькое полотенце, тщательно обтер губы, подбородок и руки, аккуратно заправил полотенце на место и, опустив веки, заговорил:

— Пять тысяч лет прошло с тех пор, как боги создали Корею. Стара наша земля, и мудры ее законы. Пять тысяч лет урожай собирал тот, кто был хозяином земли.

Ли Ду Хан посмотрел на Пака, придвинулся к нему вплотную и, наклонившись к самому уху, зашептал:

— Верные люди сказали: когда в четвертый раз после разлива рек народится луна и весь рис будет собран, за ним придут. Кто дает землю, тот и забирает урожай.

Пак Собан отодвинулся от помещика. Что это он говорит? А тот продолжал:

— Подумай, Пак, слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы землю давали даром? Вот на Юге крестьяне тоже получат землю, но выкуп за нее они будут платить несколько лет. Это —

верное дело. Но как же можно, чтобы совсем бесплатно? Как мог поверить ты в это? Да найдись такой хозяин земли, кто согласился бы в убыток себе сдавать ее даже за треть урожая, с какой радостью каждый крестьянин пошел бы на это! А ты, легковерный, подумал, что так вот, ни за что дали тебе землю. Нет, брат мой, все свезут у тебя со двора, когда урожай соберешь. А не захочешь отдать — силой отберут. И уже не сможет старый Ли Ду Хан, как раньше, в трудную минуту прийти к тебе на помощь и накормить твою семью.

Словно паутиной обволакивалось сердце Пака. А почему, в самом деле, не берут выкуп за землю? Тяжелое сомнение начало закрадываться в его душу. Пусть назначили бы цену, и он постепенно откупил бы свой участок. Да что же это такое? Почему он не подумал об этом раньше? Что же теперь делать? Ли Ду Хан предлагает не брать землю. А как же без земли? Но и сеять боязно. Ведь помещик прав: только в раю все дают даром.

Хмельной от сури и горя, внезапно обрушившегося на него, брел Пак Собан домой. Тревожное чувство все сильнее охватывало его. Он шел и думал о земле. Но почему Ли стал таким добрым? Почему он позвал его, Пака, к богатому столу? Он ведь ничего не требовал, не заставлял работать на него, не напоминал про долг.

Возле своего дома Пак увидел Кан Сын Ки.

— Я к тебе, Пак.

— Идем,— сказал Пак, стараясь отогнать дурные мысли.

— Нет, я просто хотел сказать...— Кан замялся и, пряча глаза, закончил: — Я пока не буду брать землю, пусть меня не записывают.

Пак оторопел.

— Почему?! — закричал он.— Почему не записывать тебя на землю?

Пак никогда не повышал голоса. Что с ним случилось?

— Понимаешь,— нерешительно заговорил Кан,— понимаешь... Мать моих детей больна, мне трудно будет одному управиться.

— Врешь! — снова вспылил Пак.— На своей земле ты за троих сработаешь!

— Так то на своей...— неопределенно протянул Кан.

Больше Пак Собан ничего не говорил. Его решение созрело. Он не может засесть в своей хижине и предаваться раздумьям. Он член крестьянского комитета и обязан обо всем сообщить властям. Не может быть, чтобы Сен Чель, его старший сын Сен Чель, который привез весть о земле, обманул людей.

Пак Собан отправился в Народный комитет. Добрался до Пхеньяна только на рассвете.

Пак думал, что ему придется сидеть у порога и долго ждать, пока начнут собираться чиновники, а потом еще ждать, пока появится начальник. Но, оказывается, это огромное серое здание уже с утра гудит, как улей. Народ снует взад и вперед, и двери не закрываются. То и дело с шумом подкатывают автомобили. Люди из них не выходят, а выскакивают и, перепрыгивая через две ступеньки, устремляются наверх. Все торопятся, все возбужденно разговаривают. Куда они спешат?

А почему он сам остановился и стоит здесь, как праздный зевака, когда у него тоже такое срочное дело?

Пак прошел в широко открытую дверь и вслед за другими двинулся по длинному коридору. Он не знал, к кому обратиться. Здесь так много людей: и вооруженные рабочие, и железнодорожники, и крестьяне. Даже женщины зачем-то пришли сюда. Вот с важным видом идет старуха. Но сразу можно понять, что человек это простой.

— Послушайте,— останавливает ее Пак Собан,— к кому тут обратиться по важному делу?

Не успела она ответить, как прогромыхал голос какого-то рабочего:

— Послушайте, где здесь самый главный, товарищ Ким Ир Сен?

Пак насторожился. Ему тоже нужен самый главный.

Женщина улыбается:

— Вы к председателю Временного Народного комитета хотите?

— Да, да! — радостно кивает рабочий.

— Может быть, вы к члену Народного комитета пройдете? Все хотят только к председателю, а ведь товарищ Ким Ир Сен уже много ночей не спал, у него очень много дел.

— К члену Народного комитета?

Рабочий мнется в нерешительности. А Пак Собан согласен. Ему показали кабинет члена Народного комитета Ван Гуна. На все вопросы секретаря Пак отвечал, что дело у него важное и секретное и скажет о нем только члену комитета.

Секретарь так и доложил Ван Гуну.

Да, это был Ван Гун, который, едва оправившись после содаймунской тюрьмы, приехал в родной Пхеньян.

Ван Гун выслушал секретаря.

— Хорошо, пусть подождет,— сказал он,— а сейчас пригласите ко мне владельца шахты Те Иль Йока.

На несколько секунд Ван Гун остается один. Дел столько, что голова идет кругом. И все дела срочные, неотложные.

Едва закрылась дверь за секретарем, как на пороге появился Те Иль Йок.

Ван Гун встает.

— Проходите, садитесь, пожалуйста.

— Зачем? Чтобы услышать, что вы отобрали у меня шахту?! Вы не имеете права этого делать! Я боролся против японцев, я помогал бастующим шахтерам Садона!

— Мы все это знаем, господин Те Иль Йок, садитесь, пожалуйста, мы обо всем поговорим.

— Я могу и постоять. Я не намерен здесь долго оставаться! Мне нечего у вас делать.

Ван Гун серьезно слушает.

— Вы напрасно горячитесь,— говорит он.— Мы ничего не собираемся отбирать у вас. Вы являетесь владельцем шахты, и мы хотим, чтобы вы своим опытом, продукцией своей шахты помогли новому, народному строю.

Те Иль Йок настораживается. Он щиплет свою бородку. Он шел сюда в твердой уверенности, что у него отберут его копи. Он приготовился услышать самое худшее. Неожиданные слова члена Народного комитета сбивают его с толку. Он не может еще поверить им и механически продолжает разговор резким тоном:

— Я не понимаю вас! Что вы от меня хотите?

— Я вам уже сказал,— так же спокойно повторяет Ван Гун.— Мы хотим, чтобы вы помогли своей родине. Садитесь, пожалуйста,— указывает он на кресло и садится сам.— Видите ли,— продолжает он,— Садонские шахты затоплены. И пока они вступят в строй, пройдет не меньше двух недель. А уголь нам нужен немедленно. Надо прежде всего обеспечить топливом паровозы и население. Мы рассчитывали, что вы увеличите добычу угля, а вместо этого вы закрыли свои копи.

Те Иль Йок нервно ерзал в кресле.

— Но как же я могу добывать уголь, если разбежались рабочие?

— А разве не вы им объявили, что шахта закрывается?

Шахтовладелец молчит.

— Давайте вместе подумаем, как быстрее наладить добычу. И прежде всего я попрошу вас ознакомиться вот с этим законом.— Ван Гун протягивает Те Иль Йоку отпечатанный типографским способом лист бумаги.

— Можете взять с собой,— добавляет Ван Гун,— это закон, предусматривающий охрану частной собственности и поощрение частной инициативы в промышленности и торгов-

ле. По новому закону национализируются только предприятия, принадлежавшие японцам и предателям корейского народа. Вы же смело можете рассчитывать на помощь Народного комитета. Вам предоставят налоговые льготы и выделят необходимое оборудование.

Те Иль Йок растерянно смотрит на Ван Гуна. Он щиплет бородку. Он все еще боится подвоха.

— Как же это так? А мне сказали... Я не знаю...

— Пройдите в промышленный отдел,— вежливо предлагает Ван Гун.— Там вы обо всем договоритесь.

Те Иль Йок нерешительно поднимается. Он кланяется, благодарит. Ван Гун тоже встает.

— А что касается рабочих,— говорит он,— то здесь все зависит только от вас. На старых условиях они, конечно, не согласятся работать, да и Народный комитет не позволит. Установите, как всюду теперь положено, восьмичасовой рабочий день, обеспечьте необходимую безопасность труда, помогите рабочему контролю, который будет наблюдать за выполнением на вашей шахте народных законов, и рабочие не уйдут от вас.

Пак Собан сидел в приемной и терпеливо ждал, хотя не мог понять, почему так долго задерживается у члена Народного комитета каждый посетитель.

И вот наконец пришла его очередь. Он робко переступил порог большого кабинета и, стоя у двери, низко поклонился. Пока этот седой человек, поднявшись со своего места, шел к нему навстречу, он смотрел, не понимая, что происходит. Он не понял, почему член Народного комитета, в свою очередь, низко поклонился ему, почему обнял его за плечи и увлек к столу, почему велел называть себя не господином, а товарищем.

Пак боялся задержать этого занятого человека даже лишнюю минуту и уже на ходу начал, торопясь, рассказывать о своем деле. Ван Гун усадил его в кресло и сел напротив.

— Спасибо вам, товарищ Пак,— сказал Ван Гун, внимательно выслушав крестьянина.— Вы правильно сделали, что пришли сюда. Мы заставим помещика прекратить вражескую агитацию. Землею отныне будет владеть тот, кто ее обрабатывает.

Ван Гун вызвал секретаря.

— Срочно пригласите сюда Пак Сен Челя! — приказал он.— Снарядите пять человек из рабочего вооруженного отряда и предоставьте в их распоряжение грузовую машину.

Секретарь вышел.

У Пака пересохло во рту. Он поднялся, откашлялся, расправил плечи и, подтянув штаны, важно сказал:

— Пак Сен Чель — это мой сын, товарищ член Народного комитета. Я сам дам ему все распоряжения.

— Ваш сын?!

— Да, это мой сын. Мой старший сын,— как бы между прочим заметил Пак. Пусть член Народного комитета знает, кто перед ним.

Ван Гун встал из-за стола.

— Вы давно не видели своего сына, товарищ Пак?

Пак Собан улыбается и снова усаживается поглубже в большом мягком кресле.

— Уже дня три,— подумав, говорит он.— Сейчас такое время, что нам некогда встречаться. То вот к вам в Народный комитет надо, то другие важные дела, которые не всякому доверишь. Да и сын у меня тоже не сидит сложа руки...

— Три дня?! — перебивает его Ван Гун.— О, значит, вы еще не знаете новость, которую ему вчера сообщили. Ваша дочь Мен Хи в Сеуле.

— Мен Хи?.. Моя дочь Мен Хи? В Сеуле...

Голос Пака дрожал и обрывался.

— У кого моя дочь? Как ее выкупить?

Ван Гун кладет руки на плечи Пака:

— Вашу дочь не надо выкупать, она свободна. Ею гордятся сеульские ткачихи так же, как мы гордимся вашим сыном. Сен Чель сейчас придет и сам все расскажет о Мен Хи.

— Да, мой сын придет сюда... Пойду за ним...— бормочет Пак и трет лоб, прикрывая рукой глаза.

Он нерешительно направляется к двери, потом оборачивается и вдруг поспешно выходит из кабинета.

Ван Гун стоит задумавшись: «Да, Сен Чель прав. Нельзя сейчас говорить старику о Сен Дине. Если бы удалось задержать парня даже после того, как он помог затопить Садонские шахты, и то легче было бы. А что с ним будет теперь? Кто надоумил его бежать на Юг? В чьи руки он попадет?»

Спустя несколько часов комиссия из пяти человек во главе с Сен Челем подходила к поместью Ли Ду Хана. Сен Чель шагал размашисто, уверенно, и Пак Собан старался не семенить за ним и не отставать, чтобы люди видели, как он вместе с сыном ведет представителей народной власти в дом Ли Ду ана, у которого надо отобрать землю.

Раньше ему бы и в голову не пришло идти через центральные ворота усадьбы. Но теперь он, не задумываясь, по-

вел людей по уже знакомой ему дороге. Странно, что ворота не заперты. Дом пуст. В комнатах валяются опрокинутые сундуки, ниши повсюду раскрыты. Нигде ни души.

— Взять под охрану народное добро! — приказал Сен Чель.

Двое вооруженных рабочих встали у ворот поместья.

ТУЧИ НА РАССВЕТЕ

Как мало потребовалось времени, чтобы сделать общежитие уютным! Но это и не удивительно, ведь теперь люди работают всего восемь часов. Можно убрать свой дом, отдохнуть, сходить в город.

Мен Хи сидит на своей циновке. Она вернулась с занятий кружка по ликвидации неграмотности и сейчас будет делать уроки. Только пять минут она просто посидит и подумает о Пан Чаке.

Она почти совсем не видит его. Он работает в Сеульском Народном комитете и приезжает так редко и всего на несколько минут. Ведь за день ему надо объездить на своем мотоцикле шестнадцать фабрик и проверить, как рабочие дружины несут охрану. Они следят, чтобы самураи не взорвали цехи или не повредили машины.

На Севере повсюду директорами стали рабочие. И здесь, в Народном комитете, все для этого подготовлено.

На пост директора фабрики назначили Мин Сун Ен. Даже не верится. Жаль, что Пан Чак редко приезжает. Если бы она работала в типографии, то встречала бы его часто. Он там проводит целые дни. В типографии надо особенно внимательно следить, чтобы самураи не испортили машины. Хотя японцев нигде не видно, но Пан Чак говорит, что они попрятались. И Чер Як тоже спрятался. Он боится суда и, наверно, уехал в деревню, как и другие богатые корейцы. Не такой он дурак, чтобы сейчас показаться здесь.

Чер Як не узнал бы теперь фабрику. Всю пыль из-под барабанов засасывают вытяжные трубы. Воздух чистый, как на улице. Исчезли наконец эти проклятые хлопья.

Но что же будет теперь? Мен Хи вспоминает тот день, когда появились первые американские самолеты. Моторы ревели, будто вот-вот разорвутся. Когда самолеты скрылись, еще нельзя было понять, что они сбросили. Казалось, падали странные хлопья снега. А потом стало ясно, что это листки бумаги. Все старались поймать их, и возле тех, кто умел читать, собирался народ.

В тот день Пан Чака просто нельзя было узнать. Когда она спросила, что с ним, он удивленно посмотрел на нее: «Как что? Разве ты не знаешь?» Из мотоциклетной сумки он достал листок и прочитал:

— «В силу власти, данной мне, как главнокомандующему вооруженными силами на Тихом океане, настоящим устанавливаю военный контроль над Кореей к югу от тридцать восьмой параллели... В дальнейшем приказы, директивы и законы будут издаваться мною или по моему полномочию и будут определять ваши обязанности». Вот что пишет генерал Макартур,— мрачно сказал Пан Чак.— Во время боев с самураями его тут не было, а теперь... Кто дал ему право определять наши обязанности?! Ведь на Севере, благодаря советским войскам, всю власть осуществляют корейцы.

Пан Чак уже собрался уезжать, когда опять налетели самолеты и начали сбрасывать листки. Он поймал один из них, прочитал и изорвал в клочки.

— Что там написано?..— испугалась Мен Хи.

Пан Чак был так расстроен, что не слышал вопроса и стоял молча, уставившись глазами в землю.

— Пан Чак, дорогой, что там написано?

— Приказ номер два генерала Макартура,— зло усмехнулся Пан Чак.— За один час два приказа. Вот что он пишет: «Все корейцы должны быстро выполнять мои приказы и приказы, изданные по моему уполномочию». А дальше предупреждает нас, что военный трибунал будет судить каждого корейца, который плохо встретит заокеанских гостей.

Пан Чак умолк. Мен Хи подошла к нему совсем близко. Он обнял ее за плечи.

— Надвигаются тучи,— грустно сказал он.

Мен Хи сидит на циновке, и тревожные мысли все больше овладевают ею. Она смотрит на девушек, которые, как и она, пойдут работать вечером, во вторую смену. А сейчас каждая чем-то занята: одна шьет, другая соорудила себе крошечный столик у циновки и укладывает на него какие-то безделушки, дежурная вытирает окна. Но у всех грустные лица, и уже не громко, как несколько дней назад, а тихо-тихо они поют:

Ариран, Ариран, высоки твои горные кряжи,
Видно, мне не добраться до них...

И вдруг распахиваются двери, и с криком вбегает женщина:

— Скорей на фабрику, скорей, девушки!

Она исчезла так быстро, что никто даже не успел спросить, в чем дело.

Мен Хи бросилась вон из барака и в минуту добежала до фабрики. Что здесь делается? Двор забит маленькими зелеными машинами пентагоновцев. Солдаты разоружили рабочих, охранявших фабрику.

Мен Хи хочет незаметно проскользнуть в свой цех, но шум у ворот заставляет ее обернуться. Во двор быстрым, четким шагом входит группа полицейских. Они в той же форме, в какой были и раньше. Среди них японец. Он подбегает к американскому офицеру, вытянувшись, козыряет и что-то докладывает. Офицер кивает, затем, повернувшись, резко подает команду. Солдаты прыгают в автомобиль. Машины с шумом вылетают из открытых ворот.

Полицейские с карабинами и примкнутыми к ним короткими штыками растекаются по цехам, становятся у складов. Посреди двора остаются офицер, два его солдата и японец.

Работниц сгоняют на заводской двор. Две складки на лице офицера, точно стрелки, впились в уголки губ.

— Прекратите шум! — кричит японец.— Будет говорить капитан оккупационной армии господин Гарди Стоун.

Работницы стоят, тесно прижавшись друг к другу, хмуро глядя на офицера. Он говорит, и каждую его фразу переводит японец.

Мен Хи не все поняла. Но главное ясно. Начальник военной администрации генерал Арнольд доводит до сведения населения, что все японские служащие, в том числе и полицейские, остаются на своих местах, потому что корейцы еще не умеют управлять государством. Американцы тоже пока не освоили Корею, а у генерал-губернатора Абэ Нобуюки имеется большой опыт работы на полуострове. Народный комитет распущен, потому что он мешает военной администрации предоставить Корее независимость.

Толпа загудела.

Капитан поднял руку в белой перчатке, и полицейские, держа перед собой карабины, молча начали оттеснять людей.

Когда шум немного стих; капитан снова заговорил:

— Вы сейчас доказали, что еще не способны к самоуправлению. Вы не можете даже выслушать представителя военной администрации. Я прошу всех успокоиться. Деятельность японских служащих и полиции будет строго контролироваться нами. Мы не допустим никаких инцидентов. Все будет под нашим контролем. Вы в этом сейчас убедитесь, прослушав приказ начальника военной администрации генерала Арнольда.

Он кивнул переводчику, и тот начал читать:

— «Штаб американских войск в Корее. Канцелярия начальника военной администрации. Сеул. Корея. Приказ номер тридцать три.

Параграф первый. Право владения всем золотом, серебром, платиной, валютой, ценными бумагами и другой собственностью, а также любого вида и рода выручкой от нее, принадлежавшей правительству Японии или контролировавшейся прямо или косвенно, в целом или частично любым его органом или подданными, настоящим принадлежит американской военной администрации...»

Офицер прерывает чтение.

— Эти детали их не интересуют,— говорит он, морщась,— объясните просто, что все имущество, заводы и фабрики, принадлежавшие японцам, взяты нами в качестве военных трофеев. Объявите также, что мы не собираемся вывозить предприятия в Соединенные Штаты. Верные принципам подлинной демократии, мы продадим трофеи на льготных условиях корейцам или гражданам других стран. Каждому корейцу, без различия его классовой принадлежности, политических, религиозных взглядов и возраста, предоставляется право купить любое предприятие.

Капитан дал знак японцу, и тот начал переводить его слова.

— Скажите им, что эту фабрику откупил их соотечественник господин Чер Як на паях с американским предпринимателем,— бросил на прощание капитан и вскочил в стоявшую рядом открытую машину.

За ним быстро последовали оба солдата, и машина с шумом выкатилась со двора.

Чер Як!

Мен Хи не верит своим глазам. Она не заметила его раньше. Откуда он взялся? Он стоит на том месте, где только что был капитан. Он стоит и широко улыбается. Все та же улыбка. Он медленно идет к цеху. Он хочет поглядеть, что там делается. Он идет, улыбаясь, а работницы пятятся от него, шарахаются в разные стороны. У входа в цех осталась только одна Мен Хи. Она не может тронуться с места.

Хозяин идет в цех. Нет, он не идет, он крадется мелкими, осторожными шажками, и улыбка не сходит с его лица.

Это для него они ремонтировали машины! Это для него они старались! Барабаны снова будут вертеться по шестнадцать часов. Он опять приведет в цех надсмотрщиков с бамбуковыми палками. Он засыплет вытяжные подвалы, и хлопья пеньки снова заполнят цех. Они будут оседать на окнах, на

стропилах, на мокрых телах. Они залепят глаза и рот. Хозяин идет, улыбаясь, и, глядя на нее, качает головой.

«Да, да, так и будет, Мен Хи, ты все правильно поняла, ты еще расскажешь мне, о чем говорит Пан Чак. Мне тоже это интересно знать».

Чер Як приближается, и ей уже не видно его крадущейся походки. Перед ней только лицо. Страшное улыбающееся лицо, изъеденное оспой. Он что-то говорит. Он благодарит ее. Она умница, что встречает его у входа. Он давно понял, что она ему преданна.

О, пусть не беспокоится Мен Хи! Он сумеет отблагодарить ее за усердие.

Нет, это не голос Мен Хи, это вся ее исстрадавшаяся душа, вся ее ненависть к Чер Яку вырвалась в крике:

— Не пущу!

Широко раскинув руки, она встала у двери, загораживая вход.

Но он даже не сердится. Он улыбается. Он протягивает руку, чтобы ласково отстранить ее от двери. Перед глазами тянущаяся к ней рука и кривой оскал рта, и она в ужасе бьет по этому ненавистному лицу. В первое мгновение Мен Хи чувствует только, как горит ладонь, но в ту же секунду — удар по голове. Все плывет перед глазами, и она падает. Будто из-за гор доносятся крики, выстрелы, кто-то подхватывает ее, тащит... Потом ноги ее касаются земли. Да, она попробует идти сама...

Мен Хи пришла в себя далеко за воротами фабрики. Она среди работниц, возбужденных, взволнованных. Они идут к Народному комитету. И чем ближе к центру, тем больше людей. Весь народ на улицах. Идут колонны рабочих со знаменами, транспарантами, лозунгами: «Долой японских колонизаторов!», «Отмените кровавые приказы Макартура!», «Американцы, одумайтесь!»

На всех улицах и площадях полиция: американская, японская, корейская. Пешая и конная, на американских автомобилях и японских мотоциклах, на велосипедах и рикшах. Полицейские с автоматами и дубинками, с пулеметами и походными рациями. Маленькие открытые машины носятся с бешеной скоростью вдоль колонн по мостовой и по тротуарам.

На полном ходу машины разрезают колонны. Люди бросаются в стороны, давя друг друга. Сытые кони, высоко поднимая ноги, теснят толпу. Полицейские кричат, размахивая саблями. Они разгоняют народ. Но разогнать невозможно. Идти некуда. Люди на всех площадях, в переулках, на крышах домов, на деревьях.

«Долой японских колонизаторов!», «Под суд Абэ Нобуюки и других военных преступников!»

Все новые и новые колонны демонстрантов заполняют городские магистрали.

И вдруг мощный голос репродукторов заглушает крики людей, сирены машин:

— Внимание! Внимание! Слушайте заявление представителя оккупационных войск в Корее.

Толпа стихла. Замерли автомобили и мотоциклы. Лица обращены к широким жерлам репродукторов, установленных на столбах и крышах.

Первую фразу произносит американец, потом его сменяет переводчик:

— Командование нашло возможным сместить с должности генерал-губернатора Абэ Нобуюки и его ближайших помощников. Военная администрация предупреждает, что всякая попытка сорвать мероприятия военного командования повлечет за собой самые суровые меры. Все участники неорганизованных, не разрешенных полицией шествий впредь будут рассматриваться как нарушители приказа номер два генерала Макартура.

Несмотря на угрозы, люди поняли, что одержали первую победу: заставили убрать главаря японской колониальной администрации. И волна негодования, бушевавшая десять минут назад, стихла. Постепенно народ начал расходиться.

Текстильщики угрюмо возвращаются на фабрику. А куда же теперь идти Мен Хи? Работницы подхватывают ее под руки.

— Идем, не бойся!

Мен Хи идет, окруженная женщинами. Из репродукторов несется веселая музыка. Потом снова слышится голос. Мен Хи вздрагивает. Какой знакомый голос!..

— ...Коммунистический режим на Севере невозможно перенести...

Кто это говорит?

— ...Коммунисты издеваются над нашей древней культурой. Под видом равноправия они требуют, чтобы женщины отказались от вековых традиций вежливости...

Мен Хи даже не старается уловить смысл этих слов, она вслушивается в голос, и чудится ей: «Ты обвенчаешься с поминальной доской и, как вдова, верная своему мужу, навсегда войдешь в дом его отца, в мой дом».

Это он! Это помещик Ли Ду Хан!

Мен Хи невольно ускоряет шаг, увлекая за собой работниц, но голос догоняет ее:

— ...Любой юнец может назвать там старого человека то-

варищем... Женщина может не подчиниться решению мужа... Я счастлив, что мне удалось бежать в свободный Сеул.

— Мен Хи, не бойся Чер Яка,— утешает ее одна из работниц, по-своему поняв волнение девушки.— Мы не дадим тебя в обиду.

И в самом деле, почему она так испугалась? Ведь теперь она не одна. Она идет, окруженная тесным кольцом женщин. Мен Хи замедляет шаг, вслушиваясь в голос из репродуктора.

— ...У микрофона выступал землевладелец Ли Ду Хан, не вынесший режима Северной Кореи и бежавший на Юг.

Значит, Ли Ду Хан в Сеуле. Мен Хи осматривается. Улица почти опустела. Где они находятся? Что ей делать? Как найти Пан Чака? Остановиться у здания Народного комитета, которое уже виднеется в конце улицы, и ждать его там. Должен же он туда прийти...

Здание Народного комитета оказалось оцепленным полицией. На двери большая надпись:

«Народный комитет, как незаконный орган власти, закрыт. Помещение сдается в аренду».

Что же делать теперь? Скоро начнет темнеть. На одной из улиц толпится народ. Все смотрят вверх. На крутом и высоком куполе, венчающем шестиэтажное здание, красуется транспарант:

«Всю власть — Народным комитетам!»

Транспарант укреплен на высоком металлическом стержне. Несколько полицейских, помогая друг другу, пытаются взобраться на купол, но это им не удается. Наконец один из них ухватился за стержень и в ту же секунду с криком отдернул руку, едва удержавшись от падения.

— Ток, ток! — кричит он.— Стержень под током.

...Где же искать Пан Чака?

ПРЕДАТЕЛЬ НАШЕЛ ХОЗЯИНА

Чо Ден Ок едет на сеульский аэродром Кымпо встречать Ли Сын Мана. Рядом в машине Ли Ду Хан и Чер Як. Возле шофера — капитан Гарди Стоун, личный помощник начальника военной администрации генерала Арнольда. Едут молча, каждый погружен в свои мысли.

Впервые Чо Ден Ок не знает, как себя вести. Этот вопрос всегда был для него самым простым. Он, не задумываясь, определял, кому и как надо улыбаться, насколько низко кланяться.

Еще в молодости он понял, что сделать карьеру можно, только обеспечив себе покровительство японцев. Это — главное. На Супхунской гидростанции его карьера зависела от Канадзава, и именно ему он сумел доказать свою преданность. В Восточно-колониальной компании это был подлец и вор Цуминаки, но только с его помощью можно было идти дальше, вверх. В полиции даже мальчишка понял бы, что все зависит от Такагава, и уж он старался для генерала, не щадя сил. Его усердие всегда оценивалось должным образом.

Когда рухнуло величие Японии, стало ясно, что, какая бы ни пришла власть, карьеру сделает тот, кто боролся с японцами. Поэтому, выполнив задание Абэ Нобуюки на севере страны и пробираясь в Сеул, он всюду, где возникали митинги, выступал со страстными речами против самураев и, как только мог, поносил японских милитаристов.

Впервые он утратил уверенность, когда узнал, что созданы Народные комитеты. Он уже готов был сообщить новой власти важные данные, имеющие государственное значение. Правда, о его прошлой деятельности могут узнать. Ну что ж, он сам о ней расскажет. Он горько ошибался. Он видел, что японцы строят в Корее железные дороги и электростанции, и полагал, что некоторые японцы просто злоупотребляют своей властью, а вообще Япония искренне хочет помочь Корее. Потом он понял, что ошибся. Чтобы исправить свою ошибку, он готов посвятить себя разоблачению японцев. Это могут подтвердить коммунисты во многих населенных пунктах, слышавшие его выступления. Вот и сейчас он передает народной власти такие сведения, которые доказывают его преданность новому строю.

Его бы, наверно, простили. Но все же Чо Ден Ок пришел к выводу, что в Народный комитет идти нельзя, и не только потому, что это рискованно. Не может быть, чтобы американцы отдали власть Народным комитетам. Американцы — люди дела. Они и будут на Юге главной силой. Значит, надо добиться их расположения. А сейчас лучше надежно укрыться до их прихода. Ведь если он попадет в лапы Пан Чака или ему подобных, никакие американцы его не спасут.

Он переоделся в национальный костюм и наголо остриг голову. Он не появлялся в центре города. Его пугал каждый шорох. Он нашел себе надежное укрытие в маленьком домике на окраине и решил не выходить из комнаты. По ночам он запирал дом снаружи на засов и влезал в окно. Так спокойнее. Пусть думают, что здесь никого нет.

Но Чо Ден Ок не только предавался страху. Двадцать три дня — с момента освобождения Кореи Советской Армией до прихода американцев — он сидел, запершись, и писал.

Он выписывал наименования предприятий, указывал их примерную мощность, давал краткую характеристику владельцев. Он представит американцам полную картину деятельности Восточно-колониальной компании, методов ее работы. И вдруг Чо Ден Ок вскочил. Блестящая мысль пришла ему в голову. Как всегда в минуты сильного волнения, он забегал по комнате.

К черту список предприятий! Методы! Вот что главное.

Кто ответит, каким образом самураи смогли сорок лет править Кореей? Он даст американцам статистику бунтов — пусть полюбуются, с чем им придется иметь дело.

За пять лет после тридцатого года в стране отмечено четыре тысячи нападений на японцев. Только за один тридцать девятый год партизаны совершили несколько тысяч налетов.

Пусть полюбуются этими цифрами. Пусть узнают, как обнаглели эти безропотные корейцы под влиянием побед, одержанных русскими. Пусть задумаются хотя бы только над бунтом на острове Чечжудо. Достаточно было коммунистам распространить весть о поражении немцев в Сталинграде, как остров словно обезумел. Рабочие и рыбаки внезапно устремились со всех сторон к военно-воздушной базе. Они уничтожили триста сорок японских летчиков, сожгли шестьдесят девять самолетов, все ангары, весь бензин...

Пусть поразмыслят над этим американцы. Пусть спросят у него, как же продержались здесь самураи сорок лет?

Он ответит им на этот вопрос. Он порекомендует им проверенные методы. Они поймут, что только такими методами можно править Кореей. Да, он начнет со статистики. Взять хотя бы февраль и март сорок второго года, когда по стране прокатилась волна бунтов. За эти месяцы сто двадцать пять тысяч человек были брошены за решетку. Ранен один полицейский — расстрелять сто подозрительных! Началась забастовка — на каторжные работы каждого третьего рабочего!

Он им расскажет о здешних тюремных порядках. Прежде всего не следует скрывать от населения систему пыток. Наоборот, о них надо говорить побольше. Пусть боятся. Пусть знают, что за каждым домом ведется наблюдение. Нечего стесняться.

Двадцать три дня он писал свою докладную записку о японских методах управления Кореей, проверенных сорокалетним опытом. И когда в Сеул прибыли американцы, он явился к ним во всеоружии.

Уже на следующий день его поочередно вызывали генералы Арнольд и Ходж. Капитан Стоун проболтался, что оба они в восторге от доклада. Вообще капитан оказался дельным парнем. Они быстро нашли общий язык, и капитан не остался в обиде. Особенно после сделки с Чер Яком.

Генералы благодарили Чо Ден Ока, обещали ему свое покровительство. Они оценили его усердие, поняли, чего стоит такой человек. Теперь остается принять дела у Такагава.

Генерал уже поздравил его с назначением и даже обещал кое-что поведать из своей практики. Надо будет воспользоваться богатым опытом генерала. И вообще хорошо бы все делать, как Такагава. Даже в машине ездить, как он.

Теперь наконец, когда в руках у Чо Ден Ока вся полицейская власть и тысячи подчиненных, он себя покажет! Этой должности начальника департамента полиции Южной Кореи он добился сам. Он сумел правильно оценить обстановку и на деле доказать свою преданность американцам.

Но как вести себя с Ли Сын Маном? По всему видно, что янки делают на него большую ставку, хотя он только кореец. Правда, Ли Сын Ман сорок лет прожил в Америке,— значит, это их человек. Судя по тому, как его встречают, это будет важная персона. Что же, и ему служить? Нет, ему он служить не будет. Для Чо Ден Ока это не та лошадь, на которую следует ставить. Конечно, внимательно присмотреться к нему надо. Но унижаться перед ним нельзя. Интересно, как поклонится ему Ли Сын Ман? Свою голову Чо не опустит ни на миллиметр ниже. Даже пусть получится так, что чуть-чуть ниже поклонится сам Ли Сын Ман. Ведь у него еще нет назначения на должность.

Приняв такое решение, Чо Ден Ок приходит в хорошее расположение духа. Он смотрит на спокойное и невыразительное, заплывшее жиром лицо Ли Ду Хана с маленькими свиными глазками. Помещик то поднимает брови, то опускает их и отдувается, будто идет в гору. Вот с виду совсем болван, а хитер. Сидит, обдумывает какие-то свои делишки...

И действительно, Ли Ду Хан был поглощен думами о своей судьбе. Ему повезло. Ему очень повезло. Он легко перешел в Южную Корею и еще по дороге в Сеул встретил земляка из Пучена — Чо Ден Ока. Очень оборотистый парень! Он-то и помог купить здесь поместье бежавшего японца. О таком имении Ли Ду Хан мечтал всю жизнь: пятьсот тенбо земли, ирригационное сооружение, необозримый фруктовый сад. И все это почти даром.

Ли Ду Хан облизывает широкие мясистые губы. У него хватило золота, чтобы расплатиться. Правда, он подписал бумагу, будто купил не пятьсот, а всего пятьдесят тенбо без орошения и без сада и что заплатил за это какие-то жалкие пхуны. Но надо же заработать и Стоуну и Чо Ден Оку! Важно, что ему-то выдали документ, из которого видно, каково его настоящее владение.

И вот богатство уже действует. Приезжает какая-то важная персона, и, пожалуйста, садитесь в машину как представитель земледельческого сословия.

Вот что значит богатство! Плохо только, что не видно, как богат человек. Идешь по улице, а прохожие не знают, кто он такой.

Ли Ду Хан хорошо понимает, откуда к нему привалило это сказочное богатство: не зря он обвенчал Мен Хи с поминальной доской Тхя. Все, что сказал тоин, сбылось. Хорошо бы вызвать сюда этого тоина. Может еще пригодиться. И Чо Ден Ока нельзя упускать из виду.

Он косится на Чо, и их взгляды встречаются.

— Теперь, наверно, скоро приедем,— тихо шепчет Ли Ду Хан, чтобы не потревожить американца.

— Да, скоро,— уверенно отвечает Чо Ден Ок.

Их разговор выводит из задумчивости и Чер Яка. Он тоже размышлял о богатстве и тоже мысленно благодарил Чо Ден Ока. Фактическим хозяином текстильной фабрики Катакура стал теперь капитан Стоун. Но все дела будет вершить он, Чер Як. И перепадет ему больше, чем при японцах...

Когда машина остановилась на аэродроме, самолет уже шел на посадку.

— Учитесь точности,— обернулся к корейцам Стоун, показывая на ручные часы.

— Какая пунктуальность!

— Как вы этого достигли?

— Поистине американский расчет! — заговорили, заулыбались все трое.

Стоун лихо выскочил из машины и направился к группе ранее прибывших офицеров. Корейцы присоединились к своим соотечественникам, стоявшим позади.

Самолет подрулил к встречающим. Из кабины вышел сутулый седой кореец в европейской одежде. Сойдя на землю, он неуверенно осмотрелся и, увидев приближавшуюся к нему группу американских офицеров, двинулся им навстречу. Быстрым и неровным, семенящим шагом спешил он к офицерам, а они двигались медленно и важно, словно стараясь подчеркнуть дистанцию между ними и этим корейцем.

Когда прибывший подошел, майор протянул ему руку. Тот пожал ее с нестарческой поспешностью. При этом его изъеденное морщинами лицо расплылось в угодливой улыбке, а хитрые глазки-щелочки совершенно закрылись.

— Как летели, господин Ли Сы Ман? — спросил майор.

— О, великолепно! — ответил старик.— Правда, от Сан-Франциско до Токио немного болтало,— добавил он, как бы

извиняясь,— но ведь американская машина очень устойчива.

И снова лицо его собралось в морщины от сладенькой улыбки. Старик говорил по-английски с явно американским произношением.

Ли Сын Мана посадили в машину и повезли в Сеул, в Капитолий, где генерал Ходж назначил собрание представителей партий и общественных организаций.

АППАРАТ ГЕНЕРАЛА АРНОЛЬДА

В силу старой, укоренившейся привычки, которая помогла Чо Ден Оку так высоко подняться, он машинально изучал всякого встречного. Он незаметно для других сверлил глазами американцев, изучая их повадки, вкусы, характеры. Надо было исчерпывающе знать людей, в чьих руках находится его судьба. Надо было знать их слабости. Одни любят деньги, другие — женщин, третьи — и деньги и женщин. Одни любят власть, другие — славу, третьи — и то и другое. Надо все знать.

С первых же дней после прихода американцев Чо Ден Ока преследовала мысль: как упрочить свое положение, как получить уверенность, что его не выгонят. В момент такого крупного переворота в стране всякое может случиться. Понаехали сюда эти лисынманы, за которых держатся американцы, выдвинулись такие жулики, как Ким Сонг Су, которые наверняка потащат за собой свою свору, а хороших мест не так уж много.

Правда, Чо Ден Оку удалось показать американцам, на что он способен, и завоевать их расположение, но кто знает, как обернется дело дальше. Он ведь не сможет каждый день писать такой доклад, какой представил в день их прихода и который сыграл решающую роль в его судьбе. Значит, вполне могут о нем забыть. Конечно, найдется еще немало поводов доказать свою преданность, но сидеть и ждать нельзя. В такой острый момент нельзя теряться и сидеть сложа руки. И он присматривался к американцам, угождая, на всякий случай, каждому и еще не зная, на ком остановиться и что еще придумать.

Едва ли и сам Чо Ден Ок мог бы объяснить, почему особую заинтересованность вызвал у него капитан Гарди Стоун. Но опытный глаз этого старого и битого волка увидел в лощеном молодом капитане что-то такое, мимо чего пройти нельзя. Будто невидимые флюиды излучал этот молодой подлец, которые на той же волне отражались в мозгу матерого предателя.

Чо Ден Ок еще не знал, как использует капитана, но был уверен, что этот человек пригодится.

Гарди Стоуну была отвратительна эта всегда угодливо

улыбающаяся рожа. Человек дела и широких масштабов, он презирал мелких льстецов. А если к тому еще это желтокожий, то вообще хочется плюнуть ему в морду.

Но что-то удерживало от такого шага. Один вид Чо Ден Ока приводил его в крайнюю степень раздражения, и тем не менее что-то мешало ему выгнать всегда вертящегося под ногами корейца. Этот Чо Ден Ок, черт бы его побрал, очень сведущ во всех делах своей проклятой азиатской дыры. Кажется, нет такого вопроса, на который бы он не ответил. И он оказывается под рукой именно в тот момент, когда в нем есть нужда.

Нет, не зря эта старая лиса так угодлива. Его хитрые щелочки издевательски улыбаются, когда он говорит, будто все делает во имя борьбы против коммунизма. Чепуха это все. Какие у него могут быть идеи, кроме собственных делишек. Но не такой уж он болван, что собирается обмануть американца. Нет, и у него за душой что-то есть. А может быть, это та лошадь, на которую можно ставить?

Аппарат генерала Арнольда в Южной Корее состоял из людей высокой квалификации. Советники и эксперты делали здесь все, как в настоящем государстве. Учредили органы власти, департаменты, полицию, создали армию. И все эти органы существовали не только на бумаге, но и работали, как всамделишные. Начальники, руководители департаментов ходили в свои учреждения с большими портфелями, восседали в красивых кабинетах, решали дела государственной важности.

Добиться такого положения американцам было нелегко. Как только начали формировать органы управления страны, выявился огромный избыток руководящих политических и хозяйственных деятелей. Все хотели быть министрами и начальниками. Предлагавшие свои услуги уверяли, будто всю жизнь боролись против японцев, считая, что этот решающий фактор поможет обрести доходное место. Однако командующий американскими войсками в Корее генерал-лейтенант Ходж заявил по радио, что, поскольку США еще не успели воспитать кадры новых государственных деятелей, а представители Америки еще недостаточно изучили страну, временное управление должно находиться в руках лиц, имеющих административный опыт в Южной Корее, и хотя они работали на японцев, с этим придется смириться.

И тут началось. Те же самые лица, что клялись, будто являются идейными борцами против японцев, с документами в руках стали доказывать, какие высокие посты занимали до

последнего времени. За период сорокалетнего господства в Корее японцы сменили не один десяток министров и других марионеток. И вот все они теперь пришли за портфелями.

Генерал Арнольд решил одним ударом убить двух зайцев. Продемонстрировать американский демократизм и отобрать наиболее угодливых. Он объявил, что будет консультироваться с лидерами политических партий и после этого определится состав руководящих деятелей страны.

На следующий день было зарегистрировано двести сорок шесть партий. Среди них выделялась политическая партия «Блеск луны», состоящая из семи человек, партия «Вольных холостяков» и многие подобные им. И двести сорок три лидера явились на консультацию к генералу и потребовали портфели для своих партий.

Генералу Арнольду все это надоело. Его аппарат давно уже наметил тех, кто будет беспрекословно выполнять волю своих американских благодетелей. Каждому, кто получил портфель, довольно ясно дали понять, что его выделили из десятка кандидатов, столь же достойных, как и он сам, и что эти кандидаты готовы будут в любую минуту заменить его. И каждый, кто получил пост, понял, что значит подобное предупреждение.

Так был сформирован государственный аппарат Южной Кореи. Как в каждой порядочной стране, был создан и департамент торговли, а при нем — закупочная комиссия. Поскольку предстояло закупить много оружия, основной состав ее взяли из полиции, которая должна была стать ядром армии.

В создании закупочной комиссии большую помощь корейцам оказал капитан Гарди Стоун. Ему противно было иметь дело с этой сворой липких пройдох, которые в угоду своей личной карьере и собственным выгодам готовы предать кого угодно, в том числе и своих хозяев. Но обойтись без них было нельзя. И было нельзя забывать, зачем он приехал в эту желтокожую страну. Надо было прежде всего решить вопрос с паровозами и найти подходящего человека, чтобы самому этим не заниматься.

В 1912 году в Соединенных Штатах вышла новая серия грузовых паровозов «Консоли». В эксплуатации машины себя не оправдали. При огромных затратах топлива и воды они развивали малую скорость. Мощность их была большой, но давление на оси оказалось недостаточным, на подъемах они буксовали и останавливались. Поэтому могли тянуть только легкие составы. Но главный конструктивный дефект был в том,

что, если паровозная бригада допускала уровень воды в котле ниже нормального, котлы отрывались от рамы.

Первая катастрофа по этой причине произошла близ Чикаго. Благодаря счастливой случайности жертвами оказались только два человека: машинист и его помощник. Вскоре на перегоне Сиэтл — Такома вырвало из рамы котел и отбросило вперед и в сторону на сто девять метров. Котел угодил на территорию кожевенного завода и взорвался. Сорок шесть человек погибло, и сто тридцать девять получили тяжелое ранение.

«Консоли» были сняты с производства и запрещены к эксплуатации. На ранее выпущенных машинах усилили крепление котла к раме и постепенно продали их другим странам. Нереализованными остались двадцать четыре паровоза. В хорошо законсервированном виде они простояли около тридцати лет.

Во время войны США предложили эти паровозы своим союзникам, но те отказались. Было решено отправить локомотивы на переплавку. Металлургические заводы соглашались принять их как металлический лом первой категории при условии, если фирма отделит детали цветного металла от деталей черного и доставит их к месту производства. Предстояло снять латунные инжекторы, медную топку, которая укреплена полутора тысячами болтов и тяг, разобрать тормозную систему и выполнить уйму других работ, стоимость которых вместе с транспортировкой едва покрывалась оплатой за металл.

Так и остались стоять эти паровозы нетронутыми до конца войны. Как узнал о них Гарди Стоун, трудно сказать. Но он купил их, купил в таком виде, как они были по цене черного металлолома третьей категории. Генерал Арнольд помог ему включить эти паровозы в список товаров и оборудования, которые США собирались предложить южнокорейскому правительству в порядке помощи.

Теперь дело заключалось в том, чтобы не продешевить. Надо было подобрать из корейцев надежного человека, который мог заняться этим делом.

Выбор пал на Чо Ден Ока. Капитан сообщил ему, что хочет предложить его кандидатуру на пост заместителя председателя закупочной комиссии.

Пока Чо Ден Ок низко кланялся и выражал слова бесконечной благодарности, его мозг лихорадочно работал. Ему было ясно, что за такое назначение потребуется немалая оплата, но он не мог понять, что именно надо. Не взятку же давать! Взяткой тут не отделаешься. А капитан уже объяснял функции комиссии.

— Вам придется,— говорил он,— рассмотреть список товаров, предложенных фирмами Соединенных Штатов. Вместе с

нашими экспертами вам предстоит прийти к соглашению о ценах, порядке платежей и форме оплаты, поскольку валюты у вас пока нет.

Чо Ден Ок согласно качал головой, стараясь уловить, что же потребуется от него. Не поддержки же списка и цен, предложенных американцами. Всякий дурак поймет, что их надо принять как благодеяние.

Поднявшись и давая понять, что беседа закончена, капитан, как бы между прочим, заметил:

— Советую внимательно отнестись к товарам, в которых особенно нуждается страна, таких, например, как паровозы. И...— Капитан немного замялся, затем добавил: — Хорошо бы свои соображения в этом плане проконсультировать со мной.

Чо Ден Ок понял. Он прежде всего понял, что в сделке с паровозами капитан заинтересован лично. Понял, почему капитан назначает его в закупочную комиссию и чего от него хочет. Понял наконец, что в лице капитана обретает могучую опору, если тот останется им доволен. Ну что ж, капитан не ошибся в своем выборе.

Чо Ден Ок больше не улыбался и не кланялся. Почтительно, но весомо и твердо сказал:

— Можете положиться на меня, господин капитан. И сейчас и в будущем.

«Кореец, а какой сообразительный»,— хмыкнул про себя Гарди.

Они думают, Чо Ден Ок это просто агент. Они думают, Чо Ден Ок это так себе, один из своры, что вьется вокруг них. Они еще узнают Чо Ден Ока. И оценят. Никто не умеет так ценить деловых людей, как американцы.

На душе у Чо Ден Ока было радостно. Он получил возможность еще раз показать себя во всем блеске перед теми, кто решает судьбы. Ему верят. Надо еще больше укрепить свое положение. Правда, он имеет дело не с генералом, а только с его помощником, но этот капитан оборотистее и умнее своего генерала. Так бывает. Так очень часто бывает. Надо сделать для этого Стоуна такое, чтобы у него дух захватило, чтобы ушам своим не верил. Чо Ден Ок это может. Пусть посмотрят, что может Чо Ден Ок. Он уже кое-что узнал про эти паровозы «Консоли». Не такая уж они находка. Капитан велел прийти к нему со своими планами. Ну что ж, он пойдет. Он предложит цену, какая и не снилась капитану.

Чо Ден Ок изложил свой план Гарди Стоуну.

— Возможно, вас устроит,— сказал он в заключение,— если стоимость паровозов будет определена по ценам мирового рынка на современные локомотивы.

Такого бизнеса капитан не ожидал. Это ему и в голову не приходило. Он еще не знал, что ответить, а Чо Ден Ок уже понял, какие мысли витают в голове капитана. Чо Ден Ок радовался. Тем же спокойным тоном продолжал:

— Для этого придется предварительно кое с кем встретиться, поговорить с некоторыми членами правительства и закупочной комиссии. Это никакого труда не составит.

Пока говорил Чо Ден Ок, Гарди уже вышел из замешательства. Нельзя показать этому желтокожему, что сам он рассчитывал на меньшее. Конечно, цена должна соответствовать ценам мирового рынка на современные локомотивы. Он взглянул на корейца, который умолк, ожидая, что скажет капитан. И он сказал, постукивая пальцем по столу:

— Ну-с, дальше.

«Хорошо играет»,— подумал Чо Ден Ок и снова заговорил:

— Никто, конечно, не станет возражать против цены, которую выставят эксперты Соединенных Штатов, но надо, чтобы не было неожиданностей и обид,— улыбнулся он.— Поэтому мне и придется заранее кое с кем поговорить.

— Каких обид? — не понял капитан. Он уже прикидывал, кому из экспертов будет поручено это дело.

— Ну, как бы это сказать,— подбирал слова Чо Ден Ок, сладко улыбаясь.— Надо, чтобы, как и положено в порядочном доме... Государственные деятели должны обсудить, взвесить.

— Это верно,— согласился капитан,— надо обсудить, поговорить. Важно, чтобы осталось довольно общественное мнение. Понимаете? — И, не ожидая ответа, Гарди продолжал: — Самое главное, не дать повода коммунистам и другим бунтовщикам поднять шум... Помните, этот глупый инцидент с консервами. Даже в печать проникли всякие нелепые слухи. Запахи, видите ли, им не понравились. Будто японцы кормили их русской икрой. Можно подумать, будто они всю жизнь только и питались свежими продуктами.

Капитан заходил по комнате, явно нервничая.

— Они поднимают шум по всякому поводу,— говорил он, уже не замечая Чо Ден Ока.— Пользуются любой возможностью, чтобы порочить американскую армию, принесшую им свободу.— Гарди Стоун возмущался искренне, хотя все знали, что войска Пентагона пришли в Корею, спустя двадцать три дня после ее освобождения. Не сделав ни одного выстрела, американцы, не стесняясь, называли себя освободителями.— То им не нравится, что солдат разместили в этом старом и никому не нужном храме,— негодовал Гарди,— то чуть не бунт подняли из-за штаба корпуса. «Заняли дворцы, гостиницы,

лучшие здания». А что же, освободители должны себе землянки рыть?

Капитан теперь молча ходил по комнате, и Чо Ден Ок не решался нарушить тишину. Потом Гарди уселся на свое место и снова заговорил. Теперь его речь была спокойна и убедительна.

— Паровозы — это поставки, на которых можно отыграться. Ясно? Паровозы это не консервы. Паровозы — это политика. Надо, чтобы корейцы наконец поняли, кто им враг и кто друг. Вы говорите...— улыбнулся Гарди,— «настоящую цену». Конечно, это важно. Это совсем не десятистепенный вопрос. Но политику в таком деле забывать нельзя.— И он высказал все, что думал по этому поводу, о чем говорил ему генерал Арнольд.

В тот же день Чо Ден Ок начал действовать. Действовать по тщательно разработанному плану, рассчитав множество ходов вперед, как он это всегда делал, приступая к новой операции.

Прежде всего он посетил редакцию газеты «Кенхян синмун». Затем встретился кое с кем из старых друзей, занимавших теперь солидные посты в различных ведомствах, побывал вместе с ними в редакциях других газет, еще раз обращался за консультацией к Гарди Стоуну.

Вскоре «Кенхян синмун» опубликовала обширную статью об экономическом положении в стране. Ее автор, некий доктор наук Кан Ку, признавал, что экономика находится на низком уровне. Автор анализировал причины отставания и с какой бы стороны ни подходил к вопросу, получалось, что виноват железнодорожный транспорт. Но, собственно говоря, и транспорт винить нельзя, так как все упирается в отсутствие паровозов.

Доктор Кан Ку блестяще доказал, что для подъема экономики надо получить хотя бы двадцать паровозов и что иначе все хозяйство Юга Кореи будет находиться на грани катастрофы.

Статья вызвала горячий отклик. «Тетонг синмун» и «Сеул таймс» изложили ее со своими комментариями, и вопрос о приобретении паровозов подняли чуть ли не до уровня национальной задачи.

И казалось вполне естественным, что в «Тон а ильбо» появилось обращение большой группы политических и общественных деятелей к военной администрации Соединенных Штатов в Южной Корее с просьбой учесть угрожающее положение, создавшееся на железнодорожном транспорте и предоставить хотя бы двадцать паровозов. В письме указывалось, что общественность понимает сложность задачи, ибо, как известно,

США в настоящее время не производят паровозов, а купить у другой страны южнокорейское правительство пока не имеет возможности из-за отсутствия валюты.

Спустя два дня сеульское радио сообщило о только что состоявшейся беседе между представителями закупочной комиссии и начальником военной администрации генералом Арнольдом.

Особо подчеркивались следующие слова генерала, высказанные в беседе: «Учитывая жизненную необходимость, военная администрация Соединенных Штатов поддержит просьбу корейского народа о предоставлении Южной Корее необходимого количества паровозов».

О предстоявшей поставке локомотивов заговорила вся печать.

«Америка изучает нужды народа Южной Кореи», «Генерал Арнольд: «Мы пришли в Сеул, чтобы помочь корейцам», «Американские локомотивы на корейские рельсы» — подобными заголовками и шапками пестрели газеты.

Теперь Чо Ден Оку уже не стоило труда договориться предварительно с членами закупочной комиссии о главной просьбе капитана: не только исчислять стоимость паровозов по ценам мирового рынка на современные локомотивы, но и оплатить их урановой рудой.

И вот наконец появилось сообщение, что фирмы Соединенных Штатов, учитывая нужды Южной Кореи, согласились поставить ей двадцать четыре паровоза.

И снова в восторге захлебывалась сеульская печать. «Кенхян синмун» писала:

«Коммунисты сбивают с пути честных людей всякой клеветой, будто Америка посылает в Южную Корею порченые консервы и залежалые товары. Что они скажут сейчас, когда Соединенные Штаты отгружают нам самое жизненно необходимое, свои мощные машины, в виде паровозов, построенных по последнему слову американской техники?

Что они скажут сейчас?

Корейский народ благодарен военной администрации в Сеуле, которая для того и прибыла к нам, чтобы изучить наши нужды и помочь ликвидировать последствия японского колониального господства».

Почти целую неделю самые видные места в газетах отводились статьям и информациям, посвященным этому вопросу. Крупным планом печатались фотографии паровозов, которые уже отгружены из США. Снимки выглядели весьма внушительно: видно было, что эти огромные паровозы обладают большой мощностью. О предстоящих поставках так много

писали и говорили по радио, что каждому стало ясно: США действительно помогают экономике Южной Кореи подняться на ноги.

В соответствии с торговым соглашением, Сеульский национальный банк начислил капитану Гарди Стоуну один миллион двести тысяч долларов: по пятьдесят тысяч долларов за каждый паровоз. Ему было предоставлено право на всю сумму сделки получить урановую руду тремя партиями на протяжении трех месяцев.

Нет более ходкого товара, чем урановая руда. Гарди это хорошо знал и продешевить не собирался. Конечно, он предложит руду, прежде всего, своей родине. Но пусть тоже не скупятся. Если не дадут подходящей цены, ее охотно купят другие страны.

Гарди Стоун хорошо понимал, кто помог ему стать богатым человеком. Правда, кое-какие затраты пришлось понести и ему самому, но ведь и эксперты — люди. Он пригласил Чо Ден Ока в свой загородный особняк близ Инчхона и провел с ним весь вечер.

Оказывается, этот желтокожий не так уж противен. Просто молодчага, черт возьми. А уж хитер, такого не сыщешь. Ну и он получил немало: пост в очень доходной закупочной комиссии с солидным окладом, кроме оклада в полиции. А сидеть в этой закупочной комиссии сложа руки он не будет. Он всегда найдет, на чем сделать бизнес... Оттяпать бы здесь пару заводиков и сделать его управляющим!..

Гарди рассмеялся своим мыслям. Нет, пусть сгорит эта земля, прежде чем он вложит сюда свои капиталы. Забастовки, бунты, восстания — ну их ко всем чертям! Да и в эту драку с соотечественниками не полезет. Сколько их добиваются концессий на горнорудные разработки, сколько фирм хотят вести реконструкцию для военных целей портов Пусан, Инчхон, Тэгу, прокладывать стратегические шоссейные дороги. Пусть дерутся. Он сюда не полезет, своих капиталов не вложит. Напротив, он вывезет из этой дыры все, что можно, и пусть она горит. У него на этот счет немалые планы. Он нашел, кажется, еще одну лошадь, на которую надо ставить.

Хорошо, что под рукой этот Чо Ден Ок. Симпатяга парень. И Гарди, наливая одну рюмку за другой, радостно хлопал по плечу своего нового друга.

Прибытие теплохода «Глориус Джейн», что означает «Славная Джейн», на борту которого находились американские паровозы, ожидали в порту Инчхон к пяти вечера.

Готовилась торжественная встреча. Порт был украшен государственными флагами США и Кореи. На портовой площади соорудили трибуну. Усиленные наряды полиции патрулировали улицы.

Сеул и его порт Инчхон соединяет отличная асфальтированная дорога длиною в восемнадцать километров. И днем и ночью сплошным потоком идут по ней тяжелые грузовики в обоих направлениях. В этот день движение здесь усилилось. Задолго до прихода «Глориус Джейн» из столицы в порт направились десятки автобусов. Это везли на митинг фашиствующих молодчиков из организации под громким названием «Национальное движение корейской молодежи», из «Организации молодых людей», представителей «демократической» и других лисынмановских партий.

Когда командующий американскими войсками в Южной Корее генерал-лейтенант Ходж узнал о готовящемся митинге и всей этой кутерьме, он пришел в ярость. Маленький, сморщенный и злой Ходж, самый дальновидный из многочисленной свиты американских генералов в Сеуле, в ярости был страшен. В такие минуты для него переставали существовать выдержка и такт, он мог нанести любое незаслуженное оскорбление подчиненным, как угодно унизить их.

Вся история с паровозами ему не нравилась. Не нравилась еще и потому, что сам он в какой-то мере дал повод для шумихи, которую считал неуместной.

Американцы широко оповещали население, будто Ходж не занимается ни политикой, ни торговлей, ни вообще какими бы то ни было гражданскими вопросами. Главная задача, возложенная на него правительством США и главнокомандующим экспедиционными войсками на Дальнем Востоке Макартуром, сводилась только к военным делам. Создание и оснащение оружием южнокорейской армии, строительство военных баз, стратегических дорог, аэродромов, портов — вот сфера его деятельности. Превратить Южную Корею в мощный бастион обороны США на Дальнем Востоке, бастион, который мог бы обороняться наступательными действиями,— вот главная задача, поставленная перед ним.

Однако генералу Ходжу была подчинена и военная администрация США, призванная руководить политической и экономической деятельностью страны. И будь на посту начальника военной администрации человек дела, Ходж не так часто вмешивался бы в его область. Но на генерала Арнольда положиться он не мог. Тот всегда что-нибудь напутает, да и видит недалеко.

Когда появилась статья доктора Кан Ку, Ходж позвонил

генералу Арнольду и похвалил его: именно так надо готовить общественное мнение.

В тот день у Ходжа было отличное настроение, и он даже пошутил: «Как женщина со вкусом умеет подобрать одежду, чтобы скрыть недостатки своей фигуры и подчеркнуть ее достоинства,— сказал он,— так и мы должны действовать в политике».

Генерал Арнольд очень громко смеялся в телефон, чтобы командующий слышал, как ему смешно. Однако следующие шаги Арнольда вызвали недовольство Ходжа. Нельзя перебарщивать. Опубликовали одну статью, и хватит.

Дальше было еще хуже. В крайнюю степень раздражения его привели слова из «Кенхян синмун»: «Паровозы, построенные по последнему слову американской техники». И в раздражении он позвонил Арнольду.

— Генерал будет через несколько минут,— отрапортовал капитан Гарди Стоун и услышал в трубке совершенно спокойный голос Ходжа:

— Когда придет, спросите, не кажется ли ему, что он болван? И вне зависимости от его выводов по этому поводу пусть немедленно прекратит в печати идиотскую комедию с паровозами.

Гарди опешил. Он еще держал трубку, когда вошел Арнольд. Передать слова командующего у него не хватило духу. Он сказал, что тот очень недоволен и просит не печатать больше статей о паровозах.

Но раз заведенная машина работала на полную мощность. Исходя из самых лучших побуждений, стремясь доказать свою преданность военной администрации США, каждая газета изощрялась, чтобы не только не отстать от других, но и превзойти их в восхвалении американских благодеяний. «Кенхян синмун», гордая тем, что кампанию начала она, не желала уступать первенства. И действительно, ей первой удалось раздобыть и опубликовать снимок паровоза «Консоли». Правда, это была перепечатка из какой-то старой японской газеты, но никого в редакции это не интересовало.

Генерал Арнольд, ранее поощренный Ходжем, благосклонно относился к выступлениям газет, давая понять редакторам, что именно так и надо вести кампанию. Поэтому выразить им теперь недовольство не мог, как и в голову не пришло бы ему ослушаться Ходжа. Пригласив начальника департамента культуры, Арнольд в мягких тонах дал ему понять, что хорошо бы больше о паровозах ничего не печатать. Тот принял это как благородный жест, как скромность американской военной администрации. И еще в более мягкой форме передал полученное

указание редакциям. Естественно, те не торопились его выполнять. Что-что, а фотографии паровозов надо дать.

Едва стихла газетная шумиха, как Ходжу доложили о готовящемся митинге в Инчхоне. Он приказал отменить какие бы то ни было митинги и встречи. Но было поздно. Массы людей уже находились на пути в Инчхон, на подходах к порту была и «Глориус Джейн».

Генерал Арнольд, на которого бесцеремонно орал Ходж, сказал, что нашел выход из создавшегося положения: задержать судно в море, и, сообщив людям о непредвиденной задержке, митинг отменить.

Ходж с любопытством посмотрел на Арнольда.

— Слушайте, генерал,— заинтересованно спросил он,— мне очень любопытно знать: вы в самом деле такой или только прикидываетесь, чтобы поскорее уехать из этой дыры?

Насупившись, ничего не понимая, молча стоял Арнольд. И с той же заинтересованностью командующий продолжал:

— Неужели вы не понимаете, что это на руку коммунистам? Вы собрали толпу, а сказать вам нечего. Но этому скоту только дай собраться. Им в такой момент подавай что угодно. Вот и вылезут коммунисты на трибуну, которую поставили вы.

— Мы послали туда достойных людей, а не коммунистов, господин генерал,— осмелел наконец Арнольд.

Ходж с сожалением взглянул на него. Ходжу все это надоело. Ну как объяснить такому, что явятся на митинг не только приглашенные? Сколько раз приказывал он не собирать толпу. Толпа и всякие сборища — это стихия бунтовщиков. Немало трудов стоит отменять и запрещать митинги и собрания. И вот, пожалуйста: сам начальник военной администрации затеял митинг.

Ходж давно заметил, что генерал Арнольд — фигура не подходящая для такого поста, какой занимает. История с паровозами, особенно этот митинг, окончательно решили судьбу Арнольда. И хотя Ходж был в ярости, он потерял интерес к этому человеку. Он только приказал:

— Послать в Инчхон всех сеульских мотоциклистов-полицейских. На их место поставить эмпи. Митинг закончить в полчаса.

В ПОДПОЛЬЕ

Демократические силы Южной Кореи ушли в подполье. Типография компартии была теперь оборудована в скалах, в пещере, куда только хваденмины знали тропку. Но у добровольных наборщиков хватало сил, отработав днем в городе,

прийти сюда на ночь да еще принести с собой очередную порцию типографских знаков.

Сегодня, как и каждый день, здесь кипит работа.

Пан Чак выбирает себе уголок, где бы можно было присесть и никому не мешать. Это не так легко. Пещера небольшая, а в ней находятся и наборные кассы и печатная машина — повернуться негде. Юноша с фотоаппаратом через плечо показывает редактору снимки, которые ему вчера удалось сделать: пьяный американский солдат гонится за женщиной, она убегает, оборачиваясь, и не видит, как наперерез ей бежит другой солдат. На втором снимке два офицера, взгромоздившись в коляску рикши, размахивают руками, погоняя возницу. Следующий снимок сделан у четырехэтажного здания магазина «Пиэкс». На двери видна четкая надпись: «Вход только для американцев». Несколько человек обступили редактора и рассматривают снимки. Одни предлагают напечатать их под общим заголовком «Американцы в Корее», другие считают фотографии такими выразительными, что они не требуют подтекстовки.

Редактор хвалит юношу, принесшего снимки.

— Только ты не рискуй без нужды,— предупреждает он.— Если бы полиция заметила — не сносить тебе головы.

Пан Чак хочет взглянуть на снимки. Он смотрит через плечи людей, но ему ничего не видно. А тут еще кто-то отстранил его и протиснулся вперед:

— Товарищ редактор, отчет о собрании в Капитолии готов.

— Давай, давай,— протягивает руку редактор.— А вы что стоите? — обращается он к собравшимся, будто только что заметил их.— У каждого столько дел, а они картинки рассматривают!

Все быстро расходятся. Пан Чак снова идет в свой уголок. Душа у него томится. У всех много дел, все чем-то заняты. Люди, рискуя жизнью, достают ценную информацию. Фоторепортеры делают запретные снимки, наборщики добывают шрифт. И только у него работа, которую мог бы выполнять старик. Когда приходит очередь Пан Чака крутить колесо печатной машины, он это делает с такой яростью, будто хочет дать выход скопившимся в нем силам. Он недавно приехал с завода, где проверял, как люди несут охрану. Он только и делает, что проверяет или смотрит на работу других. А сам...

Мысли Пан Чака прерывает чей-то голос:

— Товарищ редактор, заметка о Ли Сын Мане готова.

— Я давно ее жду,— отвечает тот,— давай скорей! Только, знаешь, читай вслух. А то я весь день затрачу на то, чтобы

разбирать твой почерк. Заодно вот и Пан Чак послушает, пока он свободен.

Пан Чак грустно усмехается. Да, одному ему делать нечего. Он внимательно слушает статью.

— «Вчера генерал Ходж сообщил, что к нам прибыл «отец» корейского народа Ли Сын Ман. В дополнение к этому мы получили сведения, что из США в Сеул выехала и «мать» корейского народа, дочь американского банкира — жена Ли Сын Мана.

Кто же такой Ли Сын Ман?

В Америке его называют корейцем, но мы считаем, что он американец. И для того и для другого мнения есть свои основания. По национальности он кореец, но американский подданный. Родился в Корее, но сорок лет прожил в США. Там он женился на американке, но завел себе любовницу-кореянку, с которой и прибыл вчера в Сеул. Когда-то ее звали Им Ен Син. В Америке ее переименовали в Луизу. Теперь ее опять зовут по-старому, но все равно она Луиза.

В Соединенных Штатах из Ли Сын Мана готовили предателя. Он оказался способным учеником. Его учили безропотно выполнять приказания, и он называл наш народ стадом.

Он клеветал на нас много лет, но у него были и другие занятия. Он спекулировал валютой, и дела у него шли хорошо, потому что это ловкий старик.

После нескольких удачных сделок он купил поместье в Гонолулу, где цветут пальмы и бананы. Потом он расширил свое дело: брал взятки и давал взятки, продавал и предавал, покупал и подкупал. Он торговал национальным достоинством и национальным достоянием, как акциями на бирже.

И вот теперь его привезли к нам, и он сказал, что готов руководить корейским народом. На эти слова у нас есть только один ответ: «Мы обойдемся без такого «отца».

— Молодец! — улыбаясь говорит редактор.— Только давай без этой Луизы. Больше останется места для сообщения о партизанских действиях. И еще: последняя фраза просто не твоя, вялая очень... «Обойдемся без «отца»... А что, если просто: Ли Сын Мана вон из Кореи!

— Очень хорошо,— соглашается автор статьи.

— Ну, тогда исправляй — и быстрее в набор. Газета должна выйти вовремя.

И снова Пан Чаку не по себе. Все торопятся, и только он сидит без дела. Наконец пришла его очередь крутить колесо печатной машины.

Он крутит колесо и смотрит, как вылетают из-под барабана газетные листы.

«Умная машина! — думает он. Вертятся упругие валики, сначала касаясь краски, а потом обкатывая шрифт.— А здорово редактор сказал: «Вон из Кореи!»... И американцев бы также вон из Кореи!»

Пан Чака сменяют у колеса, и он идет к своему мотоциклу. На песке четкий след от колес. И вдруг в голове мелькнула мысль, которая заставила остановиться. Он точно окаменел, уставившись на песчаный след. Сбросив наконец оцепенение, сел на мотоцикл и помчался на Хон Мач. Там купил банку белой эмалевой краски и флакон быстро схватывающего клея и вернулся в типографию. Здесь уже все затихло, люди отдыхали.

Пан Чак вошел в пещеру, взял возле машины запасной валик и снова вышел наружу. Он снял с мотоцикла заднее колесо, счистил ножом все выпуклости на покрышке и стал вырезать на ней буквы. Потом поставил колесо на место и еще долго возился с листом жести.

И вот наконец готова прямоугольная коробка с вырезом на дне для валика, который хорошо укреплен в ней на оси и легко вращается. Закрепив коробку с валиком на месте багажника, Пан Чак за седло приподнял мотоцикл и покрутил заднее колесо.

Валик плотно прикасался к колесу и быстро вращался вокруг собственной оси. Пан Чак налил в коробку краску, предварительно заткнув войлоком зазоры между валиком и жестью, положил на землю потемневшую от времени доску и провел по ней мотоцикл. На доске осталась четкая надпись: «Американцы, вон из Кореи!»

Дальше все делалось как в лихорадке. Он выбрал из коробки краску, промыл валик керосином, насухо вытер его и поставил мотоцикл на место.

Ночевал Пан Чак у знакомого наборщика на окраине города. На рассвете вывел мотоцикл со двора, завел и поехал.

Достигнув центральной магистрали, остановился у тротуара и огляделся. Нигде ни души.

Пан Чак открывает банку с краской, смешанной с клеем, и выливает ее содержимое в коробку на багажнике.

Светает...

Медленно трогается с места мотоцикл, и Пан Чак, касаясь ногами асфальта, оборачивается назад. На асфальте одна за другой отпечатываются надписи: «Американцы, вон из Кореи!»

И вот уже мотоцикл несется с бешеной скоростью, оставляя за собой длинный белый след: «Американцы, вон из Кореи!»

Где-то позади мечутся полицейские, резко свистит патруль.

На шесть километров тянется магистраль. Надо успеть про-

скочить ее, а там горы. Там его не найдут. Но где-то уже звонят телефоны, с шумом вылетают из гаражей полицейские автомашины и мотоциклы.

Вот последние строения. Надо взлететь на эту гору и сбросить мотоцикл вниз. Пан Чак оборачивается: не оборвался ли след? Уже совсем светло, и надписи остаются за ним четкие, как на афишах. Через несколько секунд он будет вне опасности.

И вдруг шальная мысль: повернуть направо, промчаться еще по этой короткой улице, там тоже можно укрыться. Зато еще сотня надписей останется на асфальте.

Назад, Пан Чак! Нельзя! Что ты делаешь? Уже подняты все полицейские ищейки, уже преследует тебя погоня. Назад! Но руки не слушаются голоса разума.

Словно не отдавая себе отчета, он проносится по улицам Сеула. Уже погоня вот-вот настигнет его. Уже со всех сторон мчатся к нему американцы на «виллисах», «харлеях», «доджах».

И вдруг словно взрыв бомбы раздается сзади. Автоматная очередь угодила в камеру.

После падения Пан Чак лишь на минуту теряет сознание. На руках уже стальные кольца, а вокруг десятки тупоносых башмаков, покрытых белыми гамашами.

— Быстрей, быстрей! — кричит офицер.— Нельзя собирать толпу!

Едва его втолкнули в «виллис», как стальные кольца оказались и на ногах. Впереди и сзади мотоциклы и машины — целый моторизованный батальон.

Но что творится в городе! Неужели это он успел так исколесить все дороги? Улицы и переулки в надписях: «Американцы, вон из Кореи!» На площадях полиция. Она не пускает людей на «зараженные» участки. Но повсюду словно врезана в асфальт его печать. Люди просачиваются из ворот и переулков. Они забрались на крыши, высыпали на балконы, они смотрят из окон и с чердаков. И из края в край несется через весь Сеул:

— Вон из Кореи!

Вся полицейская колонна неистово гудит, воют сирены, но машины движутся медленно: проехать трудно.

Пан Чак видит на крыше огромное полотнище:

«Американцы, вон из Кореи!»

Успели ведь написать и вывесить!

Чувство великого счастья заполняет его душу: ему машут руками, его приветствуют.

Родные люди! Исстрадавшиеся, измученные... Но вот полоснул по передним машинам пулемет с какого-то чердака, поле-

тели булыжники, брошенные невидимыми руками. Пан Чак вскакивает в «виллисе».

— Защищайте родину!

Удар по голове валит Пан Чака с ног. Промелькнуло лицо Мен Хи... В ужасе раскрытые глаза, тянущиеся к нему руки. Больше он ничего не видит и не слышит...

Уже брошен в тюрьму на каменный пол Пан Чак, а город бурлит:

— Американцы, вон из Кореи!

Утро было хмурым. Густые тучи плыли над Сеулом. Народ тревожно смотрел в небо, на черную стену, закрывшую горизонт. Надвигался тропический ливень.

Грозы ждали еще с вечера. Население уходило с берегов Хангана, уходило в горы, таща за собой свой скарб. Даже в домах, стоявших на возвышенности, люди наглухо забивали досками окна, замазывали цементом щели, укрепляли заборы.

К полудню в городе стало темно, и с неба упали первые крупные капли. А вслед за ними ринулись на землю стремительные потоки.

Ливень все усиливался, все чаще раздавались удары грома. Потом его раскаты слились в сплошной нескончаемый грохот; молнии, прорезая черное небо, освещали чудовищные глыбы туч.

Понеслись на Сеул горные потоки. Вода устремлялась к реке, смывала все, что люди не успели укрепить.

Ханган вышел из берегов, залил тысячи хижин на окраинах Сеула, поглотил огороды, поднялся до второго этажа каменных зданий. Густая, глинисто-желтая вода шла к морю, неся на себе горестные трофеи: вырванные с корнем деревья, смятые крыши домов, поломанные сундуки, столы, арбы.

Три дня бушевал ливень.

А теперь небо чистое, светлое, радостное. Ярко и щедро светит солнце.

Тоненький луч пробился сквозь узкую щель решеток Содаймуна и заиграл на черной каменной стене.

Пан Чак не видит луча. Он не может поднять голову. Он сидит, широко расставив согнутые в коленях ноги. Один конец канги опирается о пол, другой давит на плечи.

То ли забыли о нем, то ли ливень помешал, но четвертый день его не трогают. Он теперь хорошо знает, как обращаться с тяжелой доской. Самое главное — не поворачивать голову, не вертеть шеей. Хотя какое это имеет значение? Те-

перь уже не выбраться отсюда! Что о нем скажут Ван Гун и Ким Хва Си? Разве они поступили бы так безрассудно? Сколько раз предупреждали его, сколько учили выдержке!.. А он снова сорвался, не оправдал доверия.

Знакомый звук отпираемой двери. На пороге две пары ног: белые офицерские гамаши, а сзади узкие носки башмаков.

— Готовы ли вы отвечать на мои вопросы? — спрашивает Чо Ден Ок.

Пан Чак поднимает голову.

— Я уже ответил на асфальте сеульских улиц.

Белые гамаши скрываются за дверью. Чо Ден Ок оживляется.

— Вот мы и опять встретились, господин Пан Чак,— говорит он, потирая руки.— Но это не в последний раз. У нас будет еще одна встреча, господин Пан Чак, последняя, в корпусе номер тринадцать.

— Последняя будет возле твоей виселицы, предатель!

Длинная шея Чо Ден Ока краснеет.

— Теперь я с тобой рассчитаюсь! — говорит он.— Ты еще не видел, каким стал Содаймун, я тебе покажу его! Ты теперь не узнаешь корпус номер тринадцать! Я тебе уже сейчас кое-что покажу.

Он вынимает из кармана пустотелый стеклянный шарик величиной с грецкий орех.

— Вот это для тебя, для таких, как ты. Одумайся, пока не поздно.

Чо Ден Ок выходит из камеры. Пан Чак слышит, как щелкает в замке ключ. Потом открылся глазок. В воздухе мелькнул стеклянный шарик, ударился о каменный пол и разбился на мелкие кусочки. Желтое облачко взлетело к потолку, потом, рассеиваясь по камере, начало медленно оседать.

Пан Чак чувствует, как что-то острое щекочет в носу, он вдруг чихает, второй раз, третий... Он старается не шевелить шеей, но это невозможно. Газ проникает в нос, и Пан Чак чихает, сотрясаясь всем телом. Кожа на шее уже содрана и кровоточит.

Через полчаса два американских солдата и корейский тюремщик снимают кангу.

— Поднимайся!

Пан Чак напрягает все силы и встает. Его выводят из камеры. Едва передвигая ноги, он тащится за солдатом. Вдоль коридора, на поворотах американские часовые.

Его выводят на тюремный двор. Вода здесь достигает верхней площадки высокого каменного крыльца. После ливня двор превратился в озеро. Через всю территорию вдоль корпусов

проложены деревянные мостки на резиновых понтонных лодках. Это тоже американская техника.

Пан Чака ведут по мосткам в корпус номер тринадцать. Один часовой — спереди, другой — сзади.

Пан Чаку трудно идти. Он не поспевает за первым часовым, и второй подталкивает его сзади автоматом. Вот знакомый корпус номер тринадцать. За ним ущелье. Сейчас там бурлит поток. Сквозь отверстие, куда после пыток сбрасывают трупы, доносится шум воды.

И вдруг Пан Чак почувствовал, как напряглись мышцы. Мысль бежать отсюда, казалось, пришла позже, чем он прыгнул.

Воды родные! Родина! Выручи!

Как стальная стрела, рассекло воду тело Пан Чака. Даже брызги не поднялись. Вода поглотила его, и только широкие круги, все увеличиваясь, плавно расходились в стороны. Стража схватилась за автоматы. И в ту же минуту пузырьками от пуль покрылась поверхность воды, как от капель крупного дождя.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Мен Хи идет по узким кривым переулкам, по трущобам Сеула. На голове у нее круглая корзина с бельем.

Пан Чак, Пан Чак, где же ты? Что они с тобой сделали?

Нет, она не плачет, она не будет больше плакать. Она помнит его последние слова: «Защищайте родину!» В этом теперь смысл ее жизни.

В ее маленьком теле много сил. Она не боится больше улыбки Чер Яка, ей не страшна поминальная доска Ли Ду Хана.

Чан Бон посылает ее туда, где не пройдет мужчина. Она может долгое время не есть и не спать. Она появляется в фабричных и заводских бараках и рассказывает, что сегодня написано в подпольной газете, она знает, что происходит на Севере: промышленные предприятия, принадлежавшие японцам и предателям родины, будут переданы народу. Все должны знать об этом.

Ее фигурка мелькает в трамвайных депо: американцы разгромили конфедерацию профсоюзов... Рабочие ответили на это забастовкой.

Она появляется в торговом районе на Хон Маче: из Советского Союза в Северную Корею пришли первые тракторы... На Юге крестьяне присоединились к восставшим рабочим го-

рода Тэгу... Они требуют земельной реформы, как на Севере... Партизанские отряды в горах недоступны для американских войск...

Худенькая фигурка движется вдоль университетских коридоров: сегодня американцы вывозят ценности исторического музея... Торопитесь туда, остановите их тяжелые грузовики!..

Мен Хи не дает себе отдыха. Она должна работать за двоих. За себя и за Пан Чака.

Попав в центральный район города, Мен Хи внимательно осматривает стены домов и заборов. Вот приказ Ходжа о запрещении забастовок. Она ставит на землю корзину с бельем. В мгновение извлекает листовку и заклеивает ею приказ.

«Рабочие! Присоединяйтесь к бастующим! Уже прекратили работу железнодорожники и текстильщики, печатники и горняки. Конфедерация труда призывает к всеобщей забастовке. Американцы, вон из Кореи!»

Она идет дальше. Идет не торопясь, не оборачиваясь. Впереди — длинное здание районной полиции. Часовой ходит взад и вперед, от угла к углу.

На стене приказ Ходжа,— значит, надо заклеить его.

Она идет вдоль стены.

— Стой, что несешь?

Она улыбается доверчиво и просто. На щеках ямочки, глаза наивные, бесхитростные. Спокойно снимает с головы корзину.

— Это белье госпожи Гю Сик, четвертой жены господина Чо Ден Ока. Вы, наверно, знаете госпожу Гю Сик, ее знают все. Она носит голубые японские кимоно. Она всегда мною довольна. Ни одна прачка не может угодить ей так, как я. У меня очень хороший рыбий клей, я вам сейчас покажу. Вы не найдете на материи шва, такой это хороший клей...

— Перестань болтать, вываливай все из корзины!

Она расстилает на панели кусок батиста, выкладывает на него белье и говорит, говорит, ни на секунду не умолкая.

— Вот это любимый халат госпожи Гю Сик. Она сказала, что этот халат очень нравится господину Чо Ден Оку. Посмотрите на швы, я склеиваю пóлы вот этим клеем... Попробуйте пальцем, он держит лучше ниток. Госпожа Гю Сик не любит ниток. Может быть, у вашей госпожи нет хорошей прачки, господин полицейский? Я беру совсем дешево. Первую партию белья, как и полагается, стираю бесплатно, для пробы.

Она спокойно выкладывает из корзины халаты, юбки, кофты. Уже видны края грубой простыни Под ней листовки. Но Мен Хи спокойна Она знает: только в этом спасение.

— Ну, проваливай! – говорит часовой, пнув сапогом корзину глупой прачки.

— А у вашей госпожи есть прачка? Вам не нужна хорошая прачка?

Но часовой уже шагает дальше. Сейчас он повернется и пойдет обратно до другого угла. Она укладывает белье и успевает смазать листовку клеем. Часовой проходит мимо, и только одно мгновение требуется, чтобы заклеить приказ Ходжа листовкой. У нее очень хороший клей, сорвать листовку можно будет только вместе с приказом Ходжа.

Она скрывается за углом.

Вечером ходить по улицам нельзя. В Сеуле объявлено чрезвычайное положение. Если ее застают сумерки далеко от дома Чан Бона, где Мен Хи теперь живет, она заходит в первую попавшуюся хижину. Так вышло и в этот раз. А рано утром она побежала домой: надо запастись свежими листовками.

И снова мысли о Пан Чаке. Уже месяц, как он арестован, и ничего о нем не известно.

— Он жив... жив...— шепчут ее губы, и крупные слезы катятся по щекам.

Мен Хи не знала, как попала к Чан Бону тусклая фотография потрепанной странички из старого японского журнала. Но это ее и не интересовало. Она понимала, что такого ответственного задания еще не получала. Надо хорошо запомнить эту страничку, на которой изображен паровоз «Консоли», найти в публичной библиотеке журнал и вырвать из него такую же страничку.

Мен Хи снабдили красивой одеждой, дали документы, подтверждающие, что она студентка Сеульского университета. Она долго изучала фотографии здания, план расположения читальных залов, внимательно рассматривала тусклый снимок «Консоли», чтобы он запечатлелся в памяти. Запомнила она и название журнала, изданного больше тридцати лет назад.

Чан Бон верил в нее и рассмеялся, когда она прорепетировала перед ним свою роль.

В публичную библиотеку Мен Хи пришла так, словно бывала там десятки раз. Ее пропустили, не спросив даже документов. Мен Хи поразила тишина, царившая во всех помещениях. Безлюдно и тихо было и в зале, где ей предстояло выполнить задание. Какой-то старичок, примостившись на самой верхушке стремянки, перекладывал книги на стеллаже. Кроме него, здесь находилось всего три человека, сидевших в разных концах зала, поглощенных книгами. Увидев вошедшую, старичок спустился и довольно нелюбезно спросил, что ей угодно.

Совершенно спокойно, даже немного капризно она объяс-

нила, что является студенткой университета и хотя занятий там сейчас нет, но она не намерена терять время и занимается сама. Ей нужна подшивка журнала «Тюо корон» за 1915 год, в которой опубликовано несколько статей об искусственном выращивании женьшеня, и именно это ее интересует.

— Не могу,— развел руками библиотекарь.— Старые японские журналы выдавать запрещено.

Такого ответа Мен Хи не ожидала. Чан Бон объяснял ей, как вести себя, если в читальне окажется много людей, как выбрать место, чтобы никого не было сзади, как внимательно и незаметно осмотреть верх, потому что там могут оказаться балконы, как вырезать и спрятать нужную страницу. Он дал ей множество полезных советов, но ничего не сказал, как поступить, если просто не дадут журналов. Что же, возвращаться ни с чем? Идти второй раз будет куда сложней, а то и просто невозможно.

Она убедилась, что ни робость, ни униженные просьбы не могут произвести такого воздействия, как уверенность, непринужденность, свобода действий.

Всю жизнь из Мен Хи пытались сделать безмолвное забитое существо. Всю жизнь она боялась. Боялась Ли Ду Хана, надсмотрщика, полиции. Боялась одиночества, голода, истязаний. Она выросла робкой, пугливой, податливой. И все, что годами воспитывали в ней, разлетелось в прах, когда она стала подпольщицей. Этот процесс произошел так быстро потому, что состояние, в которое ее хотели привести, состояние существа не думающего, лишенного собственного достоинства и каких бы то ни было интересов в жизни, противоестественно для человека и рано или поздно должно было рухнуть. На то она и человек, чтобы жить, и никакая сила не в состоянии сделать из нее безмолвного робота. И когда Мен Хи узнала людей, раскрывших ей глаза, в ней проснулся человек, борец, и ей стали под силу такие дела, о каких она не могла бы думать раньше. Она научилась разбираться в людях. Этот старик наверняка ничем, кроме книг, не интересуется. Он, конечно, боится потерять место, боится сильных. Его немного жалко, но она обязана выполнить задание.

Уверенно и решительно Мен Хи потребовала журналы, недвусмысленно намекая на какое-то свое особое положение и родство с вершителями судеб, называя фамилии министров и американских генералов. И старый библиотекарь растерялся. Тот, кто хочет совершить что-то незаконное или обмануть, не станет шуметь. Именно об этом и подумала Мен Хи, когда приняла тон, не терпящий возражений.

Старик засуетился, забормотал, и Мен Хи поняла: он до-

волен, что не вся молодежь посходила с ума на этой политике, а есть еще умницы, которые в такое смутное время не бросают учения. Он ушел в архив, велев ей подождать.

Мен Хи незаметно осмотрела зал. Обратила внимание на окошко где-то под самым потолком, выбрала место, за которое сядет. Очень удобное место, в самом уголке. Ей будет виден весь зал, а этим троим, чтобы посмотреть на нее, надо оборачиваться назад.

Прошло минут пятнадцать, а старик не возвращался. Мен Хи нервничала. Ей стало страшно. Она знала, что вокруг читальни ее ждут подпольщики, что ее будут охранять. Они следят за всем происходящим на улице. Если покажется полиция, ее обязательно предупредят. И все-таки ей было страшно. Она заподозрила, что старик пошел вовсе не в архив, значит, за ней явятся. Но не этого она боялась. Если ее заподозрили, значит, проваливается весь план. Это был бы удар для нее. Она не знала, что ей делать.

В минуту наибольшего напряжения появился старик с подшивкой журналов. От волнения она ничего не могла сказать. Не поблагодарив его, взяла журналы и пошла в облюбованное место. Она начала листать страницы, исподлобья посматривая на сидящих в зале и на старика. Старик снова взгромоздился на стремянку и, к счастью, уселся спиной к ней.

Убедившись, что им нет до нее никакого дела, немного успокоилась.

Она листала страницы медленно, рассматривая картинки, боясь, что не найдет нужного снимка. И когда увидела его, зажмурила глаза. В таком положении оставалась несколько секунд. Потом снова очень внимательно посмотрела на фотографию. У нее не было никаких сомнений, что это тот же самый снимок, который ей показывал Чан Бон, но не верилось в такое счастье. Она решила все же прочитать и заметку. Прочитать до конца не хватило сил: да, тот же самый текст, и надо скорее уходить отсюда.

Мен Хи достала из сумочки крошечный скальпель и, убедившись, что никто на нее не смотрит, провела им по подшивке у корешка, будто расправляя страницы. Незаметно спрятав на груди листок, продолжала смотреть журнал и вдруг улыбнулась: как странно, действительно статья об искусственном разведении женьшеня. Ну что ж, все равно сразу уходить нельзя, и она уставилась в подшивку, делая вид, будто читает.

Она думала о Пан Чаке.

Раньше все ее мысли, связанные с ним, сводились к одному: жив он или нет. Потом она перестала мучить себя этим. Жив. Пусть даже не так, но она будет думать о нем как о

живом. Ей мучительно хотелось его увидеть. Раньше Мен Хи пугалась подобных мыслей. Ей было стыдно. Она пыталась обмануть себя, убедить, будто Пан Чак нравится ей, как очень смелый и сильный человек, справедливый и честный. Но эта игра продолжалась недолго. Она перестала бороться с собой и не отвергала больше мысли: любит. Но, пугаясь этой мысли, Мен Хи дала себе клятву, что, если встретится с Пан Чаком, если вдруг окажется он жив, найдет в себе силы не выдать своих чувств.

Мен Хи тряхнула головой и быстро поднялась. Сказав старику, будто внезапно разболелась голова, она торопливо покинула зал.

В подпольной типографии ее с нетерпением ждали. Все было подготовлено для того, чтобы в короткий срок размножить страничку, рассказывающую правду об американских паровозах.

ПОД ВОДОЙ

Пан Чак бросился в воду, еще не представляя себе, что будет дальше. Но вода — его стихия, и он ринулся в нее, будь что будет.

В детстве, играя в прятки и прыгая со скал, Пан Чак не всплывал, а лежа на спине, далеко назад откидывал голову, высовывал на поверхность только рот и нос, чтобы, набрав очередную порцию воздуха, снова прятаться под водой. Этим же приемом пользовался, когда плыл к парому в Пусане, чтобы заложить мину. Так поступил он и на этот раз в Содаймуне.

В тюремной ограде имелось отверстие, откуда стекала вода. Это была единственная лазейка для выхода. Сюда и следовало бы направиться Пан Чаку. Но, должно быть, в горячке он не сообразил этого. Бросившись в направлении к дыре, он метнулся под водой в противоположную сторону, к мосткам, в самое опасное место, куда устремились тюремщики и вся охрана, поднятые по тревоге.

Но, возможно, он поступил так вполне сознательно, а не по оплошности, потому что в первый момент никому не пришло в голову искать его под мостками, а наоборот, все устремились к отверстию в ограде. Они понимали: если беглец сразу же не утонет в глинистой воде, значит, поплывет именно к этому месту. Они закрыли отверстие щитом, и двое в резиновых лодках остались там, а другие, тоже на лодках, вооруженные баграми, принялись прощупывать двор.

То ли вода придала Пан Чаку сил, то ли единственная и последняя надежда на спасение, но он обрел ту непостижимую энергию и ясность мышления, какие казались немыслимыми в его положении.

Наткнувшись под мостками на понтон, Пан Чак глубоко вдохнул и снова ушел под воду. Она была мутная, и ничего нельзя было разглядеть. Наугад нырял от одного понтона, держащего мостки, к другому, пробираясь под ними, время от времени высовывая нос и рот, чтобы набрать побольше воздуха. Он плыл ко второму внутреннему двору, к корпусу номер тринадцать, все дальше от спасительной дыры в ограде. И это было похоже на безрассудство. Но именно так он и хотел действовать, чтобы хоть немного оттянуть время. Ну кто подумает, что беглец направится к корпусу пыток, в самое пекло Содаймуна, откуда никакого выхода уже не будет.

Возможно, поэтому здесь и оставили только одного часового у входа, а остальных послали на поиски в главный тюремный двор.

Широким фронтом резиновых лодок они двигались от ворот в глубь тюремной территории, прощупывая баграми каждый сантиметр.

Пан Чак достиг стены корпуса пыток и, прижавшись к ней, высунул из воды голову. Темнело. Сильные прожекторы освещали главный двор, и он увидел в воротах отблески света и услышал шум голосов. Плывя вдоль здания, достиг того места, где оно упиралось в ограду из неотесанных камней.

Посиневший от холода, загнанный в этот уголок между стеной корпуса пыток и каменной оградой, он смотрел, как все ярче сверкают отблески прожекторов у ворот внутреннего двора и слушал все нарастающий шум голосов. Он подумал было ринуться в обратный путь, но понял, что не прорвется.

Тюремщики обшарили весь главный двор и появились в воротах второго двора, где находился Пан Чак. Они появились на мостках и на лодках с большими фонарями. Включили прожекторы на здании и на ограде, залив ярким светом всю территорию. Они увидели мокрого затравленного человека, который, цепляясь руками и ногами за неровности ограды и стены корпуса, карабкался наверх. Все прожекторы сошлись на нем.

Удивительными качествами обладает человеческий организм. Будто сама природа помогает ему, когда наступает предельное напряжение всех его духовных и физических сил, напряжение, которого, кажется, вынести немыслимо. Тогда пробуждаются в нем какие-то могучие источники, совершенно неизвестные человеку, и стихийно становятся на его защиту.

Так, умирающий от голода, вконец обессиленный, бредущий в кольце окружения солдат обретает вдруг удивительную энергию и обрушивает неотразимые удары на неожиданно появившегося врага. Может быть, великое правое дело, за которое он идет на смерть, рождает эту необоримую, скрытую от него самого силу.

Что-то подобное произошло и с Пан Чаком. Как и самый прыжок в воду, совершенный почти безотчетно, так и многое, что затем последовало, он сделал скорее по какому-то внутреннему наитию, чем по здравому рассудку. Так было и сейчас. Окруженный врагами, он карабкался на стену, хотя гибель его была неизбежной. Он карабкался, и у него, совершенно измученного, хватало для этого сил.

Тюремщики устремились к нему на лодках, защелкали затворы.

— Не стрелять! — раздалась команда.— Живьем!

Пан Чак узнал этот голос. Ненавистный проклятый голос Чо Ден Ока. И с упорством обреченного еще настойчивее стал взбираться на стену.

Пока к нему подплыли лодки, он успел влезть на ограду. И только тут понял, почему в него не стреляют. За оградой была пропасть. Черная и бездонная. Пропасть, куда из люков корпуса номер тринадцать сбрасывали трупы замученных. Он услышал хохот. Хорошо знакомый, отвратительный и страшный хохот Чо Ден Ока. Он увидел еще лодку. Один тюремщик быстро греб, а два других, стоявших в ней, расправляли веревки. Он понял: на него набросят петли.

Выхода никакого не было, и он не думал больше о спасении. Будь в лодке Чо Ден Ок, можно бы прыгнуть на него, вместе с ним уйти под воду, и уж хватило бы сил не выпустить. Но Пан Чак, ослепленный прожекторами, не видел Чо Ден Ока. По голосу и смеху можно было только догадываться, что он стоит на мостках. Если все же прыгнуть в воду, ныряя, можно достигнуть мостков раньше, чем его схватят с лодок. Но все это бесполезно. На мостках в него вцепятся десятки рук и не дадут даже плюнуть в лицо предателя. Не в силах уже ничего сделать, Пан Чак выпрямился и закричал:

— Живьем? Ты хочешь живьем, собака...

Должно быть, он хотел еще что-то сказать, возможно, крикнуть, чтоб смотрели, как умирает коммунист, но в воздухе мелькнули веревки, и он ринулся в пропасть.

Когда тюремщики подтащили лестницы и, уцепившись за край ограды, заглянули вниз, там было темно и тихо. Они не услышали удара тела и не стали светить фонарями, потому что до дна пропасти было полтора километра.

...Пан Чак пролетел метров сто и зацепился рубахой за острый сук пересохшего дерева. Крепкая тюремная рубаха не выдержала и разорвалась по всей длине. Он упал на выступ и потерял сознание.

Очнулся в горах, в хижине хваденмина, в девяти километрах от тюрьмы. Ему объяснили, что нашли его близ хижины окровавленного, истерзанного, в изодранной одежде, а как он попал сюда, неизвестно.

Пан Чак ничего толком не мог вспомнить. День за днем всплывали только отдельные эпизоды, какие-то обрывки. Он спускается почти по отвесной скале, цепляясь за выступы, за колючие ветки. И больше ничего вспомнить не может. Потом еще картинка. Он просыпается, а может быть, просто приходит в сознание в какой-то крошечной нише, а под ним все та же пропасть. Опять ползет, его догоняют мелкие, как дождь, камни, но они бьют по голове, как свинцовые. И снова провал в памяти, и снова цепляется уже не только руками и ногами, но и грудью, животом, всем телом.

Он видит себя, как бы со стороны, видит человека, в каком-то кошмарном полусне лунатика, каждой клеткой присосавшегося к скале или запутавшегося в сухом кустарнике и недвижно повисшего над пропастью.

По этим обрывочным воспоминаниям Пан Чак представил себе, как спускался вниз, но за сколько времени и сколько бродил в горах, пока добрался сюда, не знал.

Его раны начали гноиться, и, хотя по-прежнему не было сил, он решил спуститься с гор. Старый хваденмин не дал ему уйти. Отправился сам и вскоре вернулся с группой партизан. И когда те узнали его имя и узнали, что это он промчался на мотоцикле по улицам Сеула, оставляя страшный для американцев след, один из партизан немедленно помчался докладывать командиру.

Пан Чака увезли на подводе в район Тэгу, где безраздельно господствовали партизаны. Здесь, в непроходимых для американцев горах, обосновался штаб, а поблизости от него госпиталь, куда и положили Пан Чака. На исходе второго месяца, когда раны зарубцевались, он вопреки настояниям товарищей пошел на первую операцию. С дороги его заставили вернуться, и он не сопротивлялся: сил не было.

Пан Чак злился. Ему приказано было лежать, и он, захватив пачку свежих газет, лег. Он перелистывал газеты, все более раздражаясь. Подняли шум с этими американскими паровозами, как ширмой прикрывая ими гниль, которой заваливают страну. Этими паровозами пытаются заслонить грабеж, произвол, репрессии, политический бандитизм.

Его взгляд машинально остановился на заголовке: «Погрузка «Консоли» для Южной Кореи закончена». Он смотрел на фотографию паровоза. «Консоли»... Где-то слышал он это слово раньше. Или, может быть, фотографию видел? Или это так американцы задурили голову своей пропагандой?

Он мучительно думал, стараясь припомнить, откуда он знает это слово. И вдруг, вскочив с постели, помчался в госпиталь, где недавно лежал. Этот госпиталь располагался в доме сбежавшего помещика. У ворот была небольшая деревянная сторожка. Сюда и ворвался он, удивив своим возбужденным и странным видом часового.

Изнутри стены сторожки были оклеены старыми газетами.

Пан Чак начал рассматривать их, потом взобрался на стул и уставился на фотографию, сопровождавшую маленькую заметку. Сомнений больше не оставалось. На страничке очень старого японского журнала «Тюо корон» был точно такой снимок паровоза «Консоли», какими заполняли в последние дни свои страницы сеульские газеты.

Прочитать заметку было трудно. Часть ее оказалась заклеенной, буквы от времени выгорели, потускнели. И все-таки можно было разобрать, что конструкция локомотива угрожает безопасности движения поездов, и, несмотря на бешеное сопротивление владельца завода, эти паровозы запретили эксплуатировать на американских дорогах.

С большим трудом Пан Чак установил, в каком году издан журнал, но ни месяца выхода, ни номера не нашел. Снять со стены драгоценный листок не представлялось возможным. В волнении он решил было вырезать его вместе с доскою, но дежурный по госпиталю остановил его:

— Зачем? Сейчас отдам распоряжение, и через несколько минут будет фотография.

Пять снимков разного формата оказались тусклыми: слишком плох оригинал.

Пан Чак едва дождался командира, чтобы изложить свой план. И командир отряда с радостью принял этот план, горячо поздравил Пан Чака.

Партизанский центр был хорошо связан с подпольщиками Сеула. Их соединяла большая сеть надежных агентов, проживающих в различных населенных пунктах между столицей и Тэгу. В рабочих поездах, на попутных машинах передвигались они от одного города к другому, передавая по цепочке нужные сведения. Так по цепочке и полетели в Сеул снимки «Консоли». Они попали к Чан Бону, который полностью принял партизанский план и решил сделать их поводом для массового выступления против американского насилия.

...Американские военные власти высоко оценили все лучшее, что веками создавал корейский народ. Они поняли, как велика ценность короны периода Силла, хранившейся в специальном зале дворца Дук Су, и отвезли ее в Соединенные Штаты. Они вывезли коллекции золотого набора из дворца Кёнбоккун, фарфоровые галереи периода Корё, очистили от лишних сокровищ древние гробницы королей. От имени корейского народа военная администрация преподнесла Макартуру уникального золотого Будду.

Американское военное командование оценило также, но оставило нетронутым и то лучшее, на его взгляд, что принесли в Корею японцы. Остались неоновые огни публичных домов: европейских, корейских, японских. Остались гудящие стены Содаймуна, специально оборудованные тюрьмы для политических заключенных в тринадцати провинциях, многокилометровые, с оградами под током лагеря.

Но цивилизация американских войск оказалась выше культуры японской армии, и военная администрация США открыла в Сеуле три новых публичных дома: для солдат, для сержантов, для офицеров. В Южную Корею было перенесено из Вашингтона одно из достижений американской демократии: тюрьмы для женщин.

Сеул — город роскоши. Неоновые огни, сверкающие универмаги, приморские виллы близ города...

Официально зарегистрированные шестнадцать тысяч нищих Сеула не любят этих районов. Там не подают.

День, на который назначили митинг в Инчхоне, ничем не отличался от других дней. С утра двинулись по улицам Сеула нищие. Они обходили стороной богатые кварталы, устремляясь в районы бедноты, к причалам, на железнодорожные станции.

Из дома в дом ходили нищие, и привыкшие к их виду полицейские не обращали на них внимания. Может быть, кое у кого и мелькала мысль, что уж очень много сегодня нищих, но значения этому не придавали. Никто не обратил внимания и на то, что уже с раннего утра сумки, котомки, мешочки попрошаек были туго набитыми и чем больше они ходили по городу, тем тоньше становилась их тара.

Шли нищие. Грязные, оборванные. Они стучали в двери рабочих домов, озираясь, доставали из сумок листовки, на которых была и фотография паровоза, просовывали их в щелочки, а если дверь открывалась, передавали из рук в руки: прочтите!

В то время как из Сеула в Инчхон мчались машины со специально выделенными на митинг людьми, туда направлялось и немало пеших. Они шли по горным тропкам, обрывающимся у самого порта, по проезжим и проселочным дорогам. Шли группами по пять-шесть человек, и по два-три, и даже по одному. Когда полицейский патруль останавливал их, они говорили, что идут на митинг в Инчхон, как подлинные патриоты, которых газеты призвали принять участие в митинге.

Полицейские недоверчиво качали головами, но приказа не пускать людей у них не было, а действовать по собственному усмотрению боялись. И хотя по дорогам курсировали и солидные полицейские чины, они тоже были людьми дисциплинированными и понимали: раз нет приказа эмпи, значит, незачем проявлять инициативу. Время горячее, того и гляди, потеряешь место.

Но люди, которых они проверяли, говорили правду. Они в самом деле шли на митинг, о котором узнали из газет, и действительно были патриотами.

Среди грузовиков, мчавшихся по шоссе Сеул — Инчхон, была и машина, наполненная круглыми открытыми корзинами с картошкой. В кузове сидели два грузчика и Мен Хи.

Она смотрела по сторонам, то и дело бросая взгляд на одну и ту же корзину. Такую же, как и все другие...

Такую же?

Она поглядывала на корзину, точно боялась перепутать ее с другими, наполненными только картошкой, в которых нет ни одной листовки. Она смотрела на свою драгоценную корзину и, встречаясь взглядом с грузчиками, улыбалась им, потому что и они поглядывали на эту единственную, дорогую для них поклажу.

Машина приближалась к портовой площади. Все трое приняли усталый безразличный вид. Здесь собралось много народу, и люди все прибывали. Площадь была оцеплена полицией. Полицейские сновали и по прилегающим улицам.

Объехав площадь, машина с картошкой проследовала в порт. И здесь было больше людей, чем обычно. Не то зеваки, не то безработные докеры бродили по причалам, засунув руки в карманы далеко не первой свежести штанов. Они смотрели, как грузятся десятки судов, останавливались под кранами, высоко задрав головы, следили, как носятся по воздуху тюки, ящики, ковши.

Близ причала номер шесть, где остановилась машина

с картошкой, проходила такая же группа бродяг. Мен Хи уже вылезла из кузова, когда услышала голос одного из своих спутников:

— Эй ты, помоги разгрузить!

К машине ринулись двое, и Мен Хи вскрикнула. Она покачнулась и, ухватившись за крюк, вдруг зарыдала.

Мен Хи давно научилась скрывать свое состояние. Она умела улыбаться и беззаботно болтать с полицейским, вытряхивая по его приказу белье из корзины, на дне которой лежали прокламации. Она не теряла самообладания, когда ей угрожал арест. Она бесстрашно выполняла десятки опаснейших заданий, умело скрывая все, что творилось в душе. Но в эту минуту не хватило воли.

Может быть, не выдержали груз подпольной работы ее юные плечи, может быть, слишком долго накапливалось в ее чистой душе все, что пережила в страшном, как кошмар, детстве, а возможно, то, что вынесла она за свою короткую жизнь — и нестерпимые муки, и унижение рабыни, и безмерное счастье борца,— вылилось в этом рыдании, когда увидела живого, неубитого Пан Чака.

Один из подбежавших к машине и был Пан Чак, и находился он здесь, чтобы встретить эту машину и принять листовки с фотографией паровоза «Консоли».

Пан Чак рванулся к ней и, будто почувствовав, что происходит в душе Мен Хи, привлек к себе. А она, ни о чем больше не думая, не таясь от него и от людей, прильнула к его груди, как ребенок, продолжая всхлипывать.

Порыв Мен Хи захватил его. Затуманилось в голове Пан Чака.

Он гладил ее плечи, повторяя пустые, незначащие слова:

— Не надо, Мен Хи, не надо...

Обступившие было их товарищи отошли в сторону, но тут же кто-то сказал:

— Пора!

Мен Хи вытерла слезы.

Двое молча полезли в кузов машины и стали подавать корзины.

— Пятая,— сказал один из них, ни к кому не обращаясь.

Пан Чак принял эту пятую по счету корзину, внимательно глядя на нее, чтобы хорошо приметить, думая о том, как странно и неожиданно все получилось. Будто ничего и не произошло. Они готовятся к серьезной операции: надо распространить листовки в порту и на площади. Будет вооруженное столкновение. Будут жертвы. И вот в такой момент произошло большое событие в жизни. В жизни Мен Хи и его.

Мысли Мен Хи словно переплетались с мыслями Пан Чака. Они должны немедленно расстаться. Ей надо сейчас же, на этой самой машине, взятой внаем у частного владельца, вернуться в Сеул и доложить Чан Бону, сдан ли по назначению груз. А потом она уйдет к Пан Чаку, уйдет к партизанам, если даже будет возражать Чан Бон.

ГИБЕЛЬ

Впервые Гарди Стоун обратил внимание на своего тезку сержанта Гарди с громкой фамилией Стефенсон, по прозвищу Лэддер[1], только благодаря его росту. Он выделялся неправдоподобной длиной, хотя был достаточно упитан, казался худым. Он немного сутулился, и его непомерно длинные руки болтались, будто искали для себя место. Почти по всей левой щеке, захватывая половину уха, расплывалось красное бугристое родимое пятно. На запястьях позвякивали серебряные браслеты из цепочек, в двух задних карманах торчали запасные магазины пистолета-автомата.

Это был ловкий и легкомысленный парень, который приносил немало хлопот. Его давно бы выгнали из хозяйственной роты военной администрации, где он служил, не обладай он одним совершенно поразительным качеством. Лэддер мог раздобыть все, что приходило в голову начальству. Он доставал где-то корни дикорастущего женьшеня, дорогие сувениры из сеульских дворцов и музеев, красивых девочек...

В центре Сеула для американцев был открыт пятиэтажный магазин «Пиэкс», где товары продавались по ценам в пять-шесть раз ниже рыночных. Через «Пиэкс» Лэддер вел чуть ли не оптовую торговлю с местными коммерсантами. Он продавал все: купальные трусы, мебель, противозачаточные средства... Таким размахом торговли, какого достиг Лэддер, не мог похвастаться ни один американский солдат или офицер.

Лэддер не был жадным, денег не копил, щедро угощая и одаривая товарищей и начальников. За это его терпели, мирились со многими его проделками, порою вызывавшими чуть ли не публичные скандалы.

Гарди Стоун быстро оценил достоинства Лэддера и забрал его к себе в качестве рассыльного. Такая должность давала возможность использовать Лэддера по своему усмотрению.

Капитан не собирался вести в Сеуле жизнь аскета. А для

[1] Лэддер (*англ.*) — лестница.

организации веселья Лэддер был наиболее подходящей кандидатурой. Капитан так же быстро учуял, какую ценность представляют уникальные произведения корейского искусства из драгоценного металла. И в этой области капитан возлагал немалые надежды на своего тезку.

Лэддер понял, чего ждет от него новый начальник, и не проходило дня, чтобы не приносил какую-нибудь, как он выражался, «штуковину» для капитана. Он знал все злачные места, где и проводили они с капитаном веселые ночи. Изредка Лэддер брал с собою своего земляка и собутыльника сержанта Дика, служившего начальником личного гаража генерала Арнольда.

В день прихода «Глориус Джейн» Лэддер и Дик пришли к капитану Стоуну с невинными индифферентными лицами и положили перед ним акт на списание за негодностью недавно полученного «виллиса». Понимающе улыбнувшись, капитан подписал акт, и друзья укатили на этом «виллисе» на окраину города, где их с нетерпением ждал покупатель.

Получив деньги, прежде всего зашли выпить. Потом брели куда-то, распевая песни. Люди обходили их, ускоряя шаги, а Лэддер, размахивая своими огромными руками, делая вид, будто готов погнаться за ними, хохотал, глядя, как те пускаются наутек.

Заметив рикшу, остановили его, взгромоздились на тележку.

— Бегом! — крикнул Дик.

— Куда? — поднял голову рикша.

— В рай,— расхохотался Лэддер.— Понимаешь, в рай! Вези все время прямо.

Им было весело. Они подгоняли рикшу, продолжая орать песни.

Здесь мы в Корее, мистер Джон,
Здесь мы вдали от наших жен.
Завтрак в постели и в кухне газ —
Эти блага теперь не для нас...

Вскоре они оказались на шоссе Сеул — Инчхон. Бросив рикше монету, соскочили у придорожного кабачка. Пропустив по рюмочке, пошли дальше, продолжая горланить:

Здесь мы в Корее, мистер Джин,
Здесь нет подушек и перин...

И вдруг Лэддеру пришла в голову новая идея: проверять документы у шоферов грузовых машин, идущих в Сеул. Авось перепадет что-нибудь интересное.

Они повязали на рукава носовые платки и начали останавливать машины. Люди покорно предъявляли документы и, услышав презрительное: «Проезжай», торопливо включали моторы.

Когда машина неожиданно остановилась, Мен Хи не придала этому значения. Счастливыми глазами смотрела на все окружающее, ничего не видя. На душе было хорошо. Листовки доставлены по назначению, но главное — Пан Чак. Всю дорогу он стоял перед ней.

С трудом поняла, чего от нее хотят, и предъявила паспорт. Она услышала:

— Это не твой паспорт, вылезай!

Чего ей тревожиться! Паспорт настоящий, никаких листовок с ней нет. Она спустилась, соображая, как бы побыстрее отделаться от этого контролера. Она видела, что и длинный отвратительный верзила, и его напарник изрядно выпили, и решила уговорить их по-хорошему. Но ее не стали слушать.

— В участок! — грозно сказал верзила.

Ее повели в сторону от шоссе. Она мучительно думала, как избавиться от них, не замечая, что дорога ведет куда-то к оврагам и пригоркам. Она думала, как вести себя в участке, и нервничала, представляя волнения Чан Бона. Поняла серьезность создавшегося положения, когда ушли уже далеко от дороги. Они завернули за какую-то полуразрушенную гробницу на кургане, скрывшем от них шоссе, идущее слева, а справа были овраги и поле.

Поймав на себе их взгляды, Мен Хи в ужасе поняла, что они задумали. Она сумела сдержать готовый вырваться крик: зажмут рот, и никто не услышит. И не убежать: они шли рядом, по обе стороны от нее.

Будто по сигналу, американцы замедлили шаг, озираясь по сторонам. Машинально обвела взглядом вокруг и Мен Хи. Нигде ни души.

— Подожди здесь! — приказал Лэддер Дику и подтолкнул Мен Хи в сторону оврага.

— Нет, ты подожди! — запальчиво крикнул Дик.

— Ну, тогда жребий.

Господи, да что же это? Мен Хи видела, как взлетела монета: слышала радостный крик одного и ругань второго. Что они задумали? Что же делать?

— Иди! — подтолкнул ее Дик.

Она пошла.

— Побыстрее там,— бросил вдогонку Лэддер.

Спустились в овраг. Пригнувшись, крался за ними Лэддер. Она остановилась первой. Осмотрелась, зло сказала:

— Отвернись!

— Что еще за капризы,— схватил ее Дик.

Она вырвалась, закричала:

— Отвернись, гадина!

Ругаясь и что-то бормоча, он немного повернул голову. Этого было достаточно. Мен Хи быстро схватила примеченный раньше камень и, ударив американца по голове, бросилась вдоль оврага.

Лэддер, лежа на краю оврага, все видел. В несколько прыжков он настиг Мен Хи, сбил ее с ног.

— Помоги! — стонал Дик.

— Потерпи, старина, моя очередь! — радостно кричал Лэддер.

Мен Хи отбивалась и как безумная кусала его руки, а он бил ее по лицу, рвал блузку. Мен Хи не защищалась от ударов, только вырывалась, пока он не схватил ее за горло. Уже поплыли перед глазами черные круги, уже никакого спасения не было, но из последних сил она старалась оторвать эти страшные руки, клещами вцепившиеся в горло. И, понимая, что Мен Хи уже не может сопротивляться, он разжал свои клешни и хотел стряхнуть с них почти безжизненные руки Мен Хи, но именно в эту долю секунды она успела схватить его палец, точно судорогой сжался кулак, и она рванула этот палец вверх. Раздался хруст, и, завизжав от боли, он вскочил, выхватил пистолет-автомат и выпустил в нее все четырнадцать зарядов. Пули вонзились в грудь и в голову.

Зажав руку, бежал к шоссе Лэддер.

В овраге лежало бездыханное, окровавленное тело Мен Хи.

НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Крестьяне Змеиного хвоста делили землю Ли Ду Хана. Член крестьянского комитета Пак Собан ходил по участкам и еще раз все обмерял, чтобы не было ошибки. Представители Народного комитета часто к нему обращались, потому что он хорошо знал все помещичьи угодья. Он помогал не только в своей деревне, но и в двух соседних, и тоже мерил землю: отдельно поливную и отдельно суходольную.

А потом каждого крестьянина вызывали в бывший помещичий дом. Здесь теперь школа, и днем учатся дети, а вечером — смешно сказать! — вечером учатся взрослые, старики

и даже женщины. Сначала думали, никто не придет на вечерние уроки, но настало такое время, что многим захотелось научиться читать.

Каждый день в деревню приносили газеты. Крестьяне шли в соседнее селение, где был грамотный человек, и он читал им вслух. Но к нему приходили и из других деревень; вокруг его дома всегда толпился народ, хоть и неудобно заставлять человека с утра до вечера читать.

В тот день, когда крестьян стали вызывать в дом Ли Ду Хана, занятий в школе не было. Представитель Народного комитета вручал каждому бумагу, в которой значилось, какой участок земли передается этому крестьянину. И у кого было больше детей, тем давали больше земли. И все говорили, что это справедливо.

Пак Собан сидел рядом с представителем Народного комитета и видел, что земля и инвентарь распределяются правильно. Очередь на рабочий скот так установлена, что каждый успеет вовремя обработать свой участок.

А вечером, когда все уже было закончено, Пак Собану тоже вручили бумагу, где было написано, что ему принадлежит. Он поклонился представителю Народного комитета и, держа в руках бумагу, вышел из дома Ли Ду Хана. Он пришел в свою хижину и плотно задвинул за собой дверь.

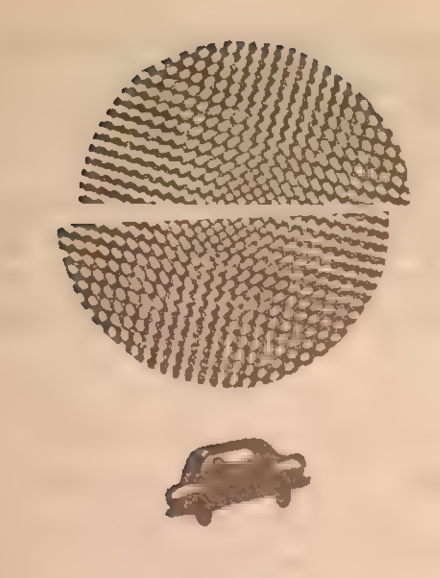
Новые чувства и мысли охватили Пака. Молча сел он на циновку, поджав под себя ноги, и сидел в оцепенении, не в силах двинуться, не в силах осознать, что произошло. Потом поднялся, снял с себя рубище, достал из ниши в стене новую одежду, подаренную сыном, накинул на плечи халат и начал молиться.

Долго клал земные поклоны Пак Собан. Всю свою жизнь — горе и мечты о счастье, смятение души и великие надежды вложил он в молитву.

Впервые в жизни он ничего не просил у богов. Пусть все будет так, как сегодня...

На рассвете Пак пошел посмотреть на поле, которое теперь принадлежит ему. Сладостен был запах земли. Пак лег на землю, обнял ее руками, прижался к ней грудью, и обильные слезы потекли по его сухому, изрезанному морщинами лицу

1954 г.



ТОЛПА ОДИНОКИХ

Советское посольство в Западной Германии находится километрах в пятнадцати от Бонна. Поэтому я решил остановиться не в Бонне, а где-нибудь поближе к своим. В течение десяти минут пересек столицу и где-то в районе Мелема присмотрел себе маленький отель.

В глубине парка, где гигантские платаны перемежались кустарником, на самом берегу Рейна стоял этот трехэтажный дом с мансардой и сильно вытянутой вверх крышей. Фасадом он был обращен к шоссе, а облепленная башенками, похожими на крепостные, тыльная сторона выходила к реке. Резко выделялись узкие и длинные окна лестничных проемов с фигурными медными переплетами и толстыми цветными стеклами. Не будь на нем огненных надписей: «Отель», «Кафе-ресторан», «Свободные номера есть», можно было принять его за старинный замок. А может, и в самом деле это замок, превращенный в отель?

В парке, вдоль низенькой каменной ограды, повторяющей изгиб Рейна,— открытое кафе. Где-то в глубине, почти совсем затянутый зеленью,— флигель с опущенными деревянными жалюзи. Парк ухоженный, подстриженный, чистенький, и, ка-

жется, подумаешь, прежде чем стряхнуть на землю пепел с сигареты.

Все красиво и, как сказал шофер, цены умеренные, вот и решил остановиться здесь.

Мы въехали в парк. Навстречу бросился седой человек лет пятидесяти. С ловкостью и изяществом он распахнул дверцы и, широко улыбаясь, величественным жестом пригласил в дом. Он и проводил к своей хозяйке, владелице отеля, Хильде Марии Шредер.

Сухонькая, сутулящаяся, немолодая женщина встретила так же приветливо. Спрашивала, какая именно нужна комната, хочется ли приезжему наблюдать из окна бурную жизнь шоссе, где можно увидеть машины с номерами многих стран мира, или предпочтительнее величественный вид Рейна и гор, покрытых лесом, на его противоположном берегу.

В ресторане отеля, не заставив себя ждать, ко мне подошла хорошенькая девушка лет двадцати в беленьком, с кружевами фартучке, похожая на гимназистку. Она улыбалась, будто старому знакомому, и, казалось, готова захлопать в ладоши от радости, что я появился. Это официантка Эрика. Впоследствии убедился: так встречают и принимают здесь каждого.

Попрощалась со мной Эрика тоже с улыбкой, пожелав хорошо провести вечер. А вечер был и в самом деле хороший. Неслись по шоссе «мерседесы», «оппели», «фольксвагены», пульсировали цветные неоновые трубки реклам; по другую сторону Рейна, высоко в горах, зажглись огни фешенебельного ресторана. Откуда-то доносилась тихая музыка.

Спокойно и безмятежно было в отеле Хильды Марии Шредер. И вокруг было хорошо. И стало немножечко грустно... Не умеем мы так принимать людей. Правы, подумалось мне тогда, многие наши туристы, рассказывающие не только об отличном обслуживании на Западе, но и о более существенном: повсюду много шикарных магазинов, вещей уйма на любой размер и вкус. Есть дорогие товары, но много дешевых, и каждый может купить то, что ему хочется.

Туристы видят не все. Им показывают красивые места, музеи, выставки. В короткие свободные часы они гуляют по главным улицам, любуются сверкающими витринами, многоцветными огненными рекламами и, возвращаясь домой, рассказывают об этом великолепии.

Я ездил не как турист. Я собирал недостающие мне материалы для книги, над которой работаю. И времени у меня было достаточно, чтобы увидеть не только витрины. Но могу подтвердить: да, обслуживание отличное, магазинов много, выбор большой.

Все было хорошо в отеле Хильды Марии Шредер, хотя эти через край улыбки и радость обслуживающего персонала казались не очень искренними. Исключением, пожалуй, был портье, первый, кого здесь встретил. Звали его Генрих Борб. Высокий лоб, красивая седина, добрые и умные глаза излучали теплоту и обаяние. На нем был темный костюм не очень хорошего качества, далеко не новый, с явно короткими для него рукавами. Видимо, они уже подшивались, и он втягивал в них руки, точно ему холодно.

Каждый раз, когда я выходил из отеля или возвращался в свой номер, неизменно встречался с ним в саду. Даже занятый приезжающими, он успевал пожелать мне добра. А иногда мы обменивались несколькими фразами. Он не упускал случая высказать свои симпатии советским людям, которых близко узнал, когда был у нас в плену и работал на строительстве.

И тут выяснилось поразительное обстоятельство. В одном из боев дивизия, где он служил, отражала атаки моей дивизии. И чуть ли не в один и тот же день он был взят в плен, а я — тяжело ранен.

— Ведь мы могли тогда убить друг друга,— сказал он и рассмеялся.

Это обстоятельство почему-то привело его в восторг. Откровенно говоря, и мне оно не было безразлично, хотя и не могу пока разобраться в своих ощущениях, возникших в разговоре. Только разговор этот сблизил нас.

Было в портье что-то симпатичное, и его улыбкам верилось. Должно быть, существуют какие-то флюиды или импульсы, еще не разгаданные учеными, которые человек помимо воли посылает собеседнику в зависимости от своего отношения к нему.

Вот, например, говорят: «Интуитивно почувствовал — верить ему нельзя». Или, напротив: «По глазам вижу — он меня не обманет».

А что это за ощущения такие? И почему по глазам видно? Меняются они в цвете, что ли? Да нет же, они излучают какие-то сигналы, а мы воспринимаем их, видимо, тоже глазами и автоматически расшифровываем как добро, зло, любовь и еще бог знает какие чувства и их тончайшие оттенки. Правда, разум не так уж редко пытается перешибить их, послать ложные сигналы, скажем, вместо неприязни любовь. Но флюиды сердца сильнее. Они все-таки пробиваются и выдают подлинные чувства.

В общем, не знаю почему, но интуитивно почувствовал, что импульсы, посылаемые мне Генрихом Борбом, идут от чистого сердца, хотя и не на все мои вопросы он отвечал.

Однажды, например, я вернулся в отель очень поздно. Щурясь на фары, бросился навстречу все тот же Борб.

— Когда же вы отдыхаете? — удивился я.

Он улыбнулся:

— Завтра. Завтра у меня выходной. Уеду к своим в Дюссельдорф. Это совсем близко.

В Дюссельдорф на следующий день собирался и я. Сказал, если у него нет транспорта, охотно подвезу. Условились ехать вместе.

Пока мы разговаривали, во флигеле, затянутом зеленью, стоявшем далеко от главного здания, зажглись два окна. Свет пробивался сквозь деревянные жалюзи.

Я еще раньше собирался спросить, что это за дом и почему там даже днем опущены жалюзи.

— ...Тоже сдаются комнаты,— неуверенно и не сразу сказал Борб.

Ответить на вопрос он явно не захотел. Впрочем, и не обязан же он отвечать на все мои вопросы.

* * *

Больше месяца, с короткими перерывами, я прожил в отеле Хильды Марии Шредер. Близко наблюдал жизнь этого дома. В Дюссельдорфе мне предстояло побывать несколько раз, и я старался приурочить свои поездки к выходным дням Борба, выпадавшим чаще всего на вторник, как на менее загруженный день. Мы ездили вместе. Он рассказывал о своей жизни, о жизни отеля. Ему очень хотелось побывать у нас, посмотреть на дома, которые он строил на Украине.

Когда я уже собирался в Москву, он попросил прислать хотя бы фотографии этих домов. На прощанье подарил мне небольшой фонарь. Не сразу угадаешь, что внутри не просто стекло, а квадратная бутылка с вином. Где-то спрятан механизм. Когда наливаешь из бутылки, раздается музыка. Тихая, умиротворяющая, приятная.

Я тоже сделал ему подарок и тоже обратился с просьбой. Вернее, спросил, не будет ли он возражать, если, изменив имена постоянных обитателей отеля, все же опубликую то, что он мне рассказал. Ведь вдоль всего Рейна идут десятки и десятки точно таких же отелей.

Борб не согласился:

— Как ни маскируйте, если дойдет до Брегберга, он все поймет. Представляете, что со мной будет? Но...— как-то странно улыбнулся он,— возможно, я напишу вам, что согласен. Возможно, это будет скоро.

В первый раз я увидел, что с его флюидами что-то происходит. Что-то прячет он от меня.

Спустя два года я снова побывал в Западной Германии. После всего, что узнал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк. Все было там, как и в первый приезд. Но не было Борба. Вместо него к машинам бросался какой-то здоровый парень.

— Не знаю,— грубо ответил он на мой вопрос о Борбе.— Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Как-то странно он говорил. Видимо, случилось что-то серьезное. Идти к фрау Шредер не решился. Побоялся. Прошу понять меня правильно. Дело не лично во мне. Но я гражданин СССР, а Борб, по мнению некоторых влиятельных лиц, человек ненадежный. Почему интересуюсь им и почему специально заехал, чтобы повидать его? Просто дружба? Но дружба портье и литератора в условиях ФРГ — уже улика против обоих. Своим посещением я мог принести Борбу большие неприятности. На такой риск пойти не мог. Было обидно.

* * *

Отель действительно принадлежал Хильде Марии Шредер. Фактическим хозяином являлся Брегберг, бывший гитлеровский офицер. На фронте он не был, в боях не участвовал. Он командовал в тылу подразделением, которое приводило в исполнение приговоры фашистского суда. На эту выгодную должность он попал не сразу. Сначала был тюремным надзирателем, потом начальником одного из тюремных корпусов и лишь после этого, хорошо проявив себя, стал командиром особого подразделения, где при фантастически высоком окладе не требовалось ни умственного, ни физического напряжения.

Генрих Борб, техник-строитель высокой квалификации, работал в ту пору на военном объекте. Однажды вместе с бригадой из трех человек его послали на тюремный двор, где сооружалась пристройка к корпусу. Что за пристройка, никто не знал. Я не очень понял, как это возможно технически, но каждую стену или узел, что ли, с какими-то нишами, навесами, выступами клали разные люди, от которых уже построенное закрывалось брезентом. Начальником основного корпуса был тогда Брегберг. В его распоряжение и поступил Борб.

К концу первого дня работы Борб случайно зацепил крючком от куртки край брезента. Тут же отцепил его, но именно в это время появился Брегберг. Он не знал, что произошло

Увидел только, как техник выпустил из руки край брезента. Значит, заглядывал. Совершенно спокойно сказал:

— Пока я вас арестую, а потом расстреляем.

Спустя несколько дней он объяснил Борбу, что только благодаря его, Брегберга, стараниям, расстрел заменен посылкой на фронт. Так Борб стал солдатом.

Все это происходило в Мюнхене, где жил Брегберг, где и сейчас находятся его жена и взрослые дети. Но сам он не решился остаться там. О его жестокости знали многие. Он ведь расправлялся не с русскими или поляками — с немцами.

В те времена дочь эсэсовца Хильда Мария, без ума влюбленная в Брегберга, была его сожительницей. Ее мать умерла, а отец не вернулся с фронта. Она осталась единственной наследницей капитала, полученного от продажи произведений искусства, награбленных отцом в странах Европы.

Брегберг, еще раньше изменив фамилию и своевременно убравшись из Мюнхена, склонил к бегству и Хильду Марию. Он и помог ей купить отель на берегу Рейна.

Держа Шредер в страхе перед разоблачением, Брегберг постепенно прибирал к рукам все дела отеля. Помогала ему в этом экономка Сильвия

Еще совсем девчонкой она мечтала о личном счастье. Может быть, потому, что была некрасива. Ее отец, мелкий почтовый клерк в Гамбурге, не мог дать ей ни должного образования, ни приличного платья.

Она решила купить счастье. Тысячи девушек идут в публичные дома, года три-четыре копят деньги, а потом уезжают подальше от постылых мест, где гибла их молодость, и, тщательно скрывая прошлое, выходят замуж. Говорят, они становятся любящими женами и матерями, умело сводящими концы с концами в семейном бюджете.

Сильвию такая перспектива не устраивала. Она мечтала о больших деньгах, о сказочных путешествиях с любимым. Он тоже будет ее любить. Деньги заставят.

Оставалось решить, где взять деньги. И она решила. Решила идти тем путем, что и тысячи таких же бедных, как она. Только она умнее. Она будет жестоко и беспощадно отнимать у своих клиентов все, что они имеют. Будет действовать бесшумно и ловко, как японка. Она видела это в кино. Научится изощренной любви, станет выполнять любые садистские требования. Но мгновенно действующее снотворное будет всегда своевременно опущено в бокал.

У Сильвии не было комнаты, не было нарядов. Начинать с улицы не хотелось. И ей повезло. Ее взяли в переулок Гербертштрассе.

Я был в этом гамбургском переулке. Если свернуть со сверкающего, огненного Реппер-бана, где сосредоточены сотни ночных ресторанов, баров, публичных домов, если свернуть на малоосвещенную улицу и идти по правой стороне, минут через пять увидишь переулок, загороженный стеной. Оставлен только узенький проход — одновременно не протиснуться и двоим. С противоположной стороны — такая же стена. Ни одного фонаря, ни одной лампочки на домах. Тускло светятся огромные витрины. А за стеклом — живой товар.

Раздевшись, впервые вышла на витрину Сильвия, когда ей исполнилось семнадцать лет. Пришла сюда, полная надежд, сил и злобы. А главного, что здесь требовалось,— красоты — не было. Не было и спроса. Зря занимать место на витрине нельзя. Место стоит денег. На нее снижали цену, пока не определилось, чего она стоит...

Четыре года в переулке Гербертштрассе не принесли ей накоплений. И вырваться оттуда она уже не могла. Неожиданно появилась надежда.

По совету неких влиятельных лиц гамбургские проститутки подали петицию городским властям с требованием улучшить условия их жизни. Требование признали справедливым. На муниципальные деньги, то есть на средства налогоплательщиков, был построен эротический центр. Так он официально и называется. Огромными огненными буквами бьется на Реппер-бане это слово «Eroszentrum». Вход с фотоаппаратами запрещен. Женщинам вход запрещен. Полутемный и кривой проход под аркой ведет в огромный двор, образованный домами с однокомнатными квартирами. А во дворе лабиринты из множества хаотично расставленных тонких железобетонных ширм. Здесь идут предварительные переговоры, ведется торговля. А потом вспыхивают и тут же гаснут одинокие огни в окнах.

Строительство эротического центра было хорошо продумано. Не всякий потребитель захочет вести переговоры где-то во дворе, за открытыми ширмами. Да и женщину нельзя заставлять целыми сутками бродить в этих катакомбах. Ведь неизвестно когда именно она потребуется,— на рассвете, среди дня или глубокой ночью. Заботясь о всеобщем удобстве, устроители «центра» создали принципиально новую и оригинальную систему, которой, как они компетентно утверждают, не имеет ни одна страна мира.

На каждом подъезде написаны имена проживающих в нем женщин, а рядом маленькая фотография. Стоит нажать кнопку звонка, как раздвинется занавес находящейся рядом витрины и появится та, которую вызывали. Если не понравилась,

можно нажать следующую кнопку, потом третью, четвертую, и будут бегать на эту витрину женщины со всех этажей, сменяя друг друга, будет снова и снова раздвигаться занавес, пока не остановится на ком-либо привередливый покупатель. А если все обитательницы подъезда не придутся ему по душе, он пойдет к следующему, а когда кончатся подъезды,— к соседнему дому. Все здесь продумано до деталей для удобства потребителей.

Сильвия имела право получить квартиру в эротическом центре. Это и была ее надежда. Сотни и сотни таких, как она, получили. А Сильвии отказали. Опасались, что не сумеет оправдать ее. Эти квартиры дороже обычных. В самом деле, ведь и за витрины надо платить, и за двор с ширмами, и за фигурку Эроса во дворе, да и сами квартиры, естественно, здесь намного дороже обычных. Должны же организаторы «центра» хоть как-то возместить свои затраты. Нет, не зря старались некие влиятельные лица. Эротический центр приносит им бешеные доходы.

Пока он строился, Сильвия жила надеждами. И вот рухнуло все. Именно тогда и подобрал ее Брегберг. Как это произошло, выяснить не удалось. Можно только предположить, что был он ее клиентом. И твердо можно сказать, что погибающая женщина, готовая на все, чтобы отомстить людям за свою страшную жизнь, и спасенная Брегбергом, будет преданно выполнять его волю. Уж у нее не разгуляются смазливые официантки и эта ведьма Хильда.

Сильвия превзошла ожидания Брегберга. По ее предложению началась иная жизнь в дальнем флигеле, затянутом зеленью. Там всего пять комнат. В одной жила Сильвия, а четыре бесплатно предоставлялись проституткам. Но каждый клиент оплачивал суточную стоимость номера. В среднем за сутки номером пользовались четыре клиента. Четырехкратную оплату и получала Сильвия для фрау Хильды Марии Шредер.

На номера флигеля был огромный спрос. Это и понятно. Где видано, чтобы женщина имела ключ от благоустроенного номера и решительно ничего за это не платила. И Сильвия отдавала ключ самым красивым.

Сильвия работала много. Она рассчитывалась с посетителями ресторана, вне зависимости от того, кто их обслуживал, собирала дань с женщин из флигеля, следила за сменой белья в номерах главного здания, за чистотой, наблюдала за всем, что делается в отеле. Честно ведя себя по отношению к фрау Шредер, Сильвия все до пфеннига отдавала ей. Благодарная Брегбергу за то, что он вытащил ее из грязи, точную сумму выручки сообщала ему.

Чтобы помочь фрау Шредер, Брегберг по утрам садился за серьезную работу. По копиям счетов определял сумму, полученную с постояльцев главного здания, подсчитывал общее поступление за сутки, определял сумму платежей на предстоящий день. Итоги подсчетов сообщал фрау Шредер. А она уже хорошо знала, что оставшуюся сумму надо отдать ему для передачи в кассу партии, которая ведет борьбу за то, чтобы возродились в стране иные порядки. Тогда не придется дрожать за свой отель.

Фрау Шредер догадывалась: не все он отдает в партийную кассу, а возможно, и вовсе ничего туда не дает, но она как-то упустила тот момент, когда можно было решительно воспротивиться Брегбергу, те первые дни, когда он только начал забирать все доходы, а теперь уже было поздно. И, покорно отдавая деньги, она все надеялась на что-то лучшее, на какие-то перемены в ее жизни, хотя не видела, откуда они могут прийти.

В первый день пребывания в отеле мне казалось, что все там очень хорошо. Правда, промелькнули некоторые странные детали, но я отмахивался от них, понимая, что они мелки и случайны. А потом все представилось в ином свете.

Даже в момент знакомства со мной фрау Шредер, очень вежливо и учтиво разговаривая, не могла скрыть какой-то озабоченности, даже испуга. Будто забыла сделать что-то важное. И разговаривает с вами, и улыбается, а взгляд рассеян, и она словно думает, как избежать беды.

Основания для этого были. Она не могла смириться с тем, что у нее отбирают все деньги. И ей удавалось все-таки кое-что утаивать и от Сильвии, и от Брегберга. Из ее конторки, например, часто звонили по телефону жильцы отеля. А телефон платный. Это у нас стоит, скажем, телефон в номере гостиницы — и звони сколько хочешь. На Западе иначе. Позвонил — плати. Из конторки администрации, из собственного ли номера — все равно плати. Деньги за телефонные переговоры да и еще кое-что по мелочам она и утаивала.

Когда Сильвия заметила эти нечестные поступки фрау Шредер, стала сама, не считаясь со временем, хотя и без того у нее хватало дел, следить, сколько же раз в день пользуются телефоном. А такса известная — двадцать пфеннигов за каждый разговор. Своими наблюдениями, естественно, поделилась с Брегбергом.

В общем-то, суммы получались небольшими. Но Брегберг благодарил Сильвию. Ему важно было уличить Хильду в нечестности.

В отчаянии после очередного скандала фрау Шредер поделилась своими мыслями с Борбом, который ей очень сочувство-

вал. Сказала, что боится, как бы эти двое не сделали с ней чего-нибудь.

Борб ответил, пусть не беспокоится, ничего не случится. Он и в самом деле так думал. Дело в том, что Брегберг не верил, будто у Хильды нет больше капиталов. И пока он до них не доберется, ей ничто не угрожало.

Да, так вот, в тот день, когда я впервые поднимался в свой номер по круговой лестнице, образующей как бы воздушный колодец, где-то в проеме наверху увидел неподвижно стоявшего человека в жилете, без пиджака и с висевшей на губе сигарой. Он стоял, засунув руки в карманы, и, не глядя в мою сторону, все-таки наблюдал за мной. Он не шевелился, глаза его не двигались, но не выпускали меня. Он следил за мной, точно человек с фотографии на стене, застывшие глаза которого устремлены на вас, с какой бы стороны вы ни смотрели на портрет.

Так впервые я увидел Брегберга.

И еще один человек в тот же первый день не мог не обратить на себя внимания. Я обедал, когда в зале возникла фигура высокой худой женщины с торчащими лопатками и рыжими волосами. У нее было злое лицо. Видимо, из-за губ. Вернее, губ у нее не было. Просто длинная тонкая полоска поперек лица.

Это и была экономка Сильвия. Она вошла, и голова ее рывками повернулась из стороны в сторону, как у куклы из мультипликационного фильма. Но за эту секунду Эрика и вторая официантка Герта успели, как по команде, поправить фартучки и шире улыбнуться посетителям. Словно дернули за незримые ниточки, идущие от головы куклы. Они улыбались, а в глазах промелькнул испуг.

Ну хорошо, подумал я тогда, этот испуг можно объяснить. Видимо, очень строга экономка, и они ее боятся. Но ведь скрытый испуг я видел и в глазах фрау Хильды Марии Шредер. А она владелица отеля. Самый главный здесь человек, ни от кого не зависимый. Почему-то казалось, это имеет отношение к человеку с сигарой на губе и злой кукле. Их странное поведение, и сами они, и улыбки сквозь страх, и еще что-то тревожное, неуловимое каким-то немыслимым образом переплеталось в сознании.

Но вот исчезла кукла, приветственно загудели друг другу два белых теплохода на Рейне, которые мне были видны из окна, подбежала сияющая Эрика: «Не надо ли еще чего-нибудь?» — и я разозлился на себя за свои мысли. Вздор! Очень хорошо здесь.

А потом... Потом я слушал Генриха Борба. Слушал и наблюдал.

* * *

Рабочий день в отеле фрау Шредер — семь часов. И три перерыва. По часу на завтрак и ужин и четыре часа на обед. Начинается рабочий день в семь утра, заканчивается в восемь вечера. Это официально.

В течение месяца, что я находился в отеле, мне порою приходилось оставаться на весь день в номере. Ни разу я не видел, чтобы этот порядок соблюдался. По словам Борба, перерывы делаются на те короткие минуты, в которые физически можно успеть наскоро поесть. И не тогда, когда хочется есть, а когда нет посетителей. В зависимости от обстановки перерыв на обед бывает и в двенадцать дня, и в три часа, и в шесть вечера. Порою допоздна даже на ходу нет возможности перекусить.

Фактически никогда рабочий день не кончается в восемь. Официантки раньше часу ночи не уходят, а Борб на своем посту круглые сутки.

— Ничего не поделаешь,— говорил он мне.— Наш отель находится на магистрали, связывающей многие города. Сотни километров она идет вдоль Рейна. И по всему побережью — вот такие же маленькие отели. Надо выдержать конкуренцию. Надо поразить услужливостью. Чтобы об удобствах и обслуживании шла молва. Чтобы человек заехал еще раз. На десятки километров в обе стороны от отеля развешана реклама. Посетитель понимает: плохонький отель не в состоянии дать такую рекламу. И надо, чтобы его ожидания оправдались.

Поэтому я встречаю машины только бегом и широко улыбаясь: богатые туристы любят, чтобы их вот так встречали. Я тащу тяжелые чемоданы по крутым лестницам, но никто не даст и пфеннига: немцы знают порядок — за обслуживание фрау Шредер впишет в счет десять процентов. Я протираю все машины, и это тоже входит в десять процентов. Это мои десять процентов, но у нас такое условие с Брегбергом: обслуживание — моя обязанность. За это я получаю жалованье. Если иностранец, не знающий наших порядков, даст мне марку, я, конечно, отдаю ее фрау Шредер. Но все равно Брегберг думает, будто я ворую деньги, то есть оставляю их себе. Но я вас уверяю — раз такая договоренность, я ее выдерживаю, и напрасно он подозревает меня.

Борб говорил, точно оправдываясь:

— Я работаю очень добросовестно. Поднимаясь с вещами, смотрю в окна лестничных проемов — не подходят ли машины? И несусь обратно, как циркач, только бы успеть встретить и широко улыбнуться. И ничего не поделаешь,— вздохнул он.— Для приезжих ведь нет определенных часов. Они являются и

глубокой ночью, и на рассвете. И никто в этом не виноват. Обида у меня на Брегберга за другое, а тут уж ничего не поделаешь. Приходится ночью не раздеваться. Хотя в доме у меня есть место и постель, но я дремлю на диванчике у входа. Вы видели этот диванчик. Маленький, конечно, но спать можно. И опять Брегберг прав — подушку приносить не стоит. Если вдруг прозеваю посетителя и он увидит подушку, останется неприятный осадок. Впрочем, он зря беспокоится. Я сплю чутко. Я вздрагиваю при любом шорохе: не пропустить бы машины, не прозевать бы момент, когда в воротах блеснут фары. Я вскакиваю ночью от проходящих мимо машин и начинаю улыбаться. И знаете,— неожиданно рассмеялся он,— это я сам такой ненормальный. Мог бы спокойно спать. Я научился сквозь сон точно определять: к нам идет машина или мимо. Так нет же, вскакиваю. Сколько раз я себе говорил: «Лежи, Генрих, это, слава богу, не к нам», и всегда получалось, что я прав, а улежать на месте, когда поблизости раздастся сигнал, не могу.

Меня удивляли рассуждения Борба. Чудовищные условия труда он объяснял то конкуренцией между отелями, то ночными приездами людей, то прямо принимал вину на себя. Неужели не видит, кто заставляет его так много работать? И я спросил, за что же он в обиде на Брегберга?

— Трудно объяснить,— замялся Борб.— Понимаете, никогда не известно, что он скажет и как поступит в следующую минуту. Пока ездит по своим делам, на душе спокойно. Но вот появляется его машина, и не знаешь, как вести себя. Вчера, например, встретил его с улыбкой, а он посмотрел так, будто я его ударил.

«Ты еще улыбаешься! Тебе весело, да? Лучшего и постоянного клиента не мог проводить в номер».

Он сказал это и ушел. А я, даю вам слово, даже не понял, о ком он говорил.

Сегодня утром я уже побоялся улыбнуться ему. Просто поздоровался. Так знаете, что он сказал? Уставился на меня злыми глазами, а потом говорит: «Послушай, Борб, если тебе не нравится твой хозяин, можешь искать себе другое место... А я не привык, чтобы меня встречали, как шофера».

Понимаете, само его присутствие приводит всех в трепет. В нервном напряжении находится весь дом. И знаете,— понизил он голос до шепота,— я думаю, все дело в том, что сам он чего-то боится. И его напряжение передается другим.

Конечно, если бы на мне лежали только обязанности встречать людей, было бы не так уж трудно. Но в шесть утра я начинаю подметать дорожки парка, протирать стекла фонарей и всю светящуюся рекламу. И урны не станешь выносить при людях.

Цветы и траву полить тоже надо рано. И всегда скапливаются дела, которые дает садовник. Кажется, какие там дела? Он приходит всего один раз в месяц на два часа, но столько оставляет пометок на ветках, которые надо отпилить, столько помечает кустарников, которые надо подстричь, что я удивляюсь, как он успевает за два часа все это увидеть. Опытный глаз — ничего не скажешь.

И все-таки самое главное — машины,— Борб обращался ко мне, но смотрел в землю и рассуждал, будто для самого себя анализировал свои дела.— Самое главное — машины. Хорошо, если они появляются, когда подстригаю траву, разгружаю пиво или белье, привезенное из прачечной. Ну, а если на дереве пилю ветку? Или нахожусь на третьем этаже? Приходится бежать сломя голову. И ничего не поделаешь.

Борб не преувеличивал. Я все видел сам. Меня только поражала покорность, с какой он говорил и работал. Тогда я еще не знал, как он попал сюда, и не знал, что другого выхода у него не было.

Не меньше Борба работали и официантки. Если нет посетителей, они начищают медные ручки дверей, настольные лампы, протирают окна и стены, чтобы меньше осталось работы на ночь. Если в течение дня им удается все сделать, после закрытия ресторана они только пылесосят ковровые дорожки и один раз проходят по паркету электрощеткой. Об их работе тоже рассказывал Борб.

— У нас очень много посуды,— объяснял он мне.— И подают все время чистую, а грязную складывают в специальные коробы. За нее берутся официантки, когда им некого обслуживать. Моют и посматривают на лестницу — не идет ли кто. И бросаются вслед, едва успев скинуть халат. Бегут на второй этаж в ресторан, уже на лестнице готовя радость и улыбку. Это муштровка Брегберга и Сильвии.

О своей работе Борб рассказывал беззлобно, обреченно. А девочек ему было жаль, и говорил он яростно.

— От кухни до зала всего двадцать три ступеньки, но вы знаете, какие они крутые. А теперь посчитайте. За день они поднимаются раз сто. Значит, две тысячи триста ступенек и, учтите,— с тяжелыми подносами. Они ведь совсем дети. А когда туристский сезон начинается, когда в парке разворачиваются автобусы на семьдесят пять мест? Стоит им только показаться в воротах, во всем отеле будто включили маховики. Только бегом. По лестнице бегом, по коридору бегом. На подходах к залу надо успеть перестроиться. Надо войти быстро, но плавно и с сияющей улыбкой. А обратно, едва закроется дверь, снова бежать. Они бегут вверх, заранее улыбаясь, а вниз — расслаб-

ляя мышцы лица. Если, конечно, навстречу не идет посетитель. Но мышцы рук, ног, всего тела расслабить не могут. И так целый день, и каждый день. До глубокой ночи, до кровавых шариков в глазах...

— Но ведь так не может быть постоянно,— перебил я Борба.— Бывает же, что и вовсе нет посетителей и ничего они не делают. Я это сам видел.

— Бывает,— согласился он.— Но если все уже перемыто, перечищено, пропылесосено, заготовлено впрок, если уже совсем-совсем нечего делать, что случается исключительно редко, в отеле всегда найдется работа, но, повторяю, если уже совсем нечего делать, девочки отдыхают, не имея права отлучиться. И эти часы отдыха с точностью до минут учитывает Сильвия. Они идут в счет тех часов, когда девочки ложатся в три или четыре ночи. Ведь ресторан не закроют, пока не уйдет последняя подвыпившая компания.

Наш разговор происходил в один из выходных дней Борба у ворот отеля, где мы ждали машину. На этот раз я ехал к нему в Дюссельдорф. Точнее, к его брату Вольфгангу. Борб давно хотел познакомить нас, ибо не мог ответить на многие мои вопросы. И каждый раз говорил: «О, это вам отлично объяснит Вольф. Он знает больше энциклопедии».

Вольфганг инженер, получивший серьезную травму на заводе и вышедший на пенсию по инвалидности. Судя по рассказам Борба, он не мог смириться с тем, что ему нечего делать. Он читает все газеты, журналы, справочники, рекламные издания. Ходит на митинги, судебные процессы, посещает любые бесплатные зрелища. По словам Борба, он может рассказать, что произошло в доме чемпиона бокса после его поражения, какова тенденция на рыбном рынке Японии, каких успехов добилась глазная хирургия, что побудило Жаклин Кеннеди выйти замуж,— ну буквально все, о чем вы его ни спросите.

Я встречался с подобными людьми и заметил: их собственная точка зрения на события может быть даже абсурдной, но фактические данные у них обычно верные.

Мне хотелось поехать к Вольфгангу. Главным образом потому, что весь день проведу с Борбом и удастся наконец поговорить не урывками, как это было до сих пор. И если еще Вольфганг окажется интересным человеком, значит, и вовсе день пройдет отлично.

Машина опаздывала. Борб забыл что-то взять с собой и пошел в свою комнату, но тут же вернулся.

— Пойдемте со мной,— предложил он.— Посмотрите, как я живу.

Я тогда не подумал, что он очень рискует, но сам-то Борб

хорошо это понимал. Как потом объяснил, на этот раз риска не было. Брегберг уехал на весь день в какой-то город, а Сильвия — в парикмахерскую.

К моему удивлению, Борб повел в главное здание. Впервые я поднялся выше второго этажа, где находилась моя комната. Из коридора мансарды внутренняя лестница, крутая, почти отвесная, но с перилами, вела на чердак. Это был обычный чердак, только чистый, не захламленный. Свет шел из двух круглых окошек, похожих на иллюминаторы. Между высокими деревянными опорами стояли кирпичные трубы водяного отопления. Они были холодными, и не от них стояла здесь ужасная духота. Как объяснил Борб, в этот ранний час здесь рай. Днем чердак нагревается до такой степени, что войти невозможно.

Между трубами натянута длинная занавеска. А по обе стороны ее — постели. Справа — Эрики и Герты, слева — кухонного рабочего и Борба.

— Вот так мы живем,— сказал он.— Даже у девочек нет коек. Только матрацы и одна тумбочка на двоих... Нет, постельное белье и легкие одеяла есть, вы не смотрите на газеты, они от пыли. С этой проклятой крыши все время что-то сыплется... А теперь, смотрите сюда...

Но я никуда больше не мог смотреть. Никак не думал, что он приведет туда, где живут официантки. Что-то пробормотав, я заспешил к выходу. Он, видимо, поняв, что поступил не очень тактично, шел сзади, на ходу продолжая:

— Можно, конечно, и не смотреть, ничего интересного. Там кошки. Их очень любит Сильвия. Иногда она берет двух-трех к себе, но живут они здесь.

Уже в машине Борб сказал:

— За жилье мы платим по сорок марок в месяц. Вы скажете — дешево, я согласен. Вы за одни сутки платите здесь такую же сумму. Но для девочек — очень много. За питание с них берут сто двадцать марок в месяц, чуть больше четырех марок в день. Вы опять скажете — дешево, я вас понимаю. Если вы едите скромно в нашем скромном отеле, за один обед, естественно без вина, вы платите двенадцать — пятнадцать марок. Но вы посчитайте их бюджет. В месяц они получают по двести шестьдесят марок. Двадцать и две десятых процента составляют налоги и социальное страхование. Это значит — пятьдесят две марки и пятьдесят два пфеннига. Так? Теперь прибавьте сорок — жилье и сто двадцать — питание. Сколько получается? Двести двенадцать с половиной марок. Сколько остается у них? Подсчитали? Сорок семь с половиной марок. А у Герты нет отца и большая семья, которой надо помогать. Да и одеться же им надо.

Конечно,— вздохнул он,— живи они дома, в Бад-Годесберге, ни за квартиру, ни за питание платить не пришлось бы. Но работы для них там нет. И еще я вам скажу. Они могли бы покупать продукты и не питаться на нашей кухне. Тоже вышло бы дешевле. Но фрау Шредер не разрешила. Боится, что будут доедать остатки с тарелок и все равно питание получится за ее счет... Возможно, она и права. Уж что-что, а хлеб, конечно, они не покупали бы. На тарелках всегда остается.

Я возразил Борбу. Еще раньше в каком-то справочнике вычитал, что официант получает от пятисот марок и выше. Почему же двести шестьдесят?

— Так это официант! — развел он руками.— А женщина, как известно, получает значительно меньше мужчины. Не говоря уже о том, что в большинстве ресторанов женщину вообще не возьмут в качестве официантки. Это во-первых. Во-вторых, Эрика числится не официанткой, а ученицей. Правда, она уже три года была ученицей точно в таком отеле, и, как только кончился ученический срок и надо было повышать жалованье, ее уволили. К нам ее взяли опять как ученицу. Она выбивается из сил, надеясь через три года стать официанткой. Но ее уволят. И если дадут хорошие рекомендации, она, возможно, устроится где-нибудь, но только ученицей. Вы не найдете ни одной официантки вдоль всего Рейна, которая проработала бы ученицей меньше десяти лет. Таким образом, на вычитанные вами официальные данные сделайте еще поправку.

У меня не было фактов, чтобы возразить ему. Единственное, в чем усомнился, это в сумме налогов. Почему так много? И что это за налоги?

— О, сложная система,— улыбнулся Борб.— В ней трудно разобраться. Но что она означает практически, это как раз я могу вам объяснить.

Ну, скажем, так: заболел человек. Или проще: роды. Они стоят тысячу триста марок. Аппендицит — тысяча марок. Грипп можно уложить в пятьсот, а не дай бог, инфаркт,— клади на стол шесть тысяч. А теперь считайте. Слесарь или токарь на строительстве получает от семисот до тысячи марок в месяц. Думаю, что и в других областях примерно столько же. Разве они могут болеть? А те, кто зарабатывает шестьсот марок или триста? Они даже насморк не имеют права получить. Не правда ли? Как же быть? — спросил Борб, точно я должен дать на это ответ.— Очень просто. С первого дня работы и до конца жизни с человека удерживают на социальное страхование. И, если он заболеет, платит лишь от двадцати до тридцати процентов стоимости лечения. Остальное берет на себя больничная касса.

Вот вам первый налог. Его удерживают и с того, кто за всю

жизнь ни разу не болел. Эрика, например, платит шесть процентов больничных, я — восемь. Причем, заметьте, эта система заставляет человека скрывать болезнь, переносить ее на ногах, пересиливать себя до последней возможности, ибо и двадцать процентов (это при пользовании больницей и поликлиникой третьего разряда), да еще одна марка за каждый рецепт — деньги немалые.

Столь же подробно, как о больничном налоге, Борб рассказал о пенсионном. Всю жизнь с работающего удерживают на пенсию. Государство же не может из своих средств оплачивать пенсии. Ежемесячно идут удержания на страховку от безработицы, от несчастных случаев, на помощь жертвам войны, на социальное попечительство, на церковь и многие другие нужды.

— И Эрика платит эти налоги,— закончил Борб,— и Герта, и я. Ну я все-таки прилично зарабатываю, около восьмисот марок, и у меня нет семьи. А девочкам все это не под силу.

— Так почему же они торчат здесь? — не выдержал я.— Шли бы на производство, где нормальный рабочий день, где нет этой системы бесконечного ученичества и нет затхлой обстановки вашего отеля.

— Успокойтесь, успокойтесь,— похлопал он меня по руке.— Вам легко рассуждать, вы на все смотрите со стороны. Почему не идут на производство, я вам покажу на своем примере. Это длинная история, но вам станет ясно, почему и я торчу здесь, как вы выразились.

До Дюссельдорфа оставалось километров двадцать, а мне хотелось до конца выслушать Борба. Я предложил остановиться у ближайшего кафе и выпить по чашечке кофе. Борб хорошо понял меня. Но я видел — и ему хотелось излить душу. Должно быть, не часто он встречает собеседника, с которым может говорить откровенно.

В придорожном кафе, куда мы вошли, не было ни одного посетителя.

— Рады вас видеть,— сказал официант, любезно улыбаясь.

Когда он принял заказ и ушел, Борб сказал:

— Вот видите, везде одно и то же. Кстати, не обратили ли вы внимания на вот такие кафе? Они на каждом шагу. И почти всегда пустые. Как же не прогорают владельцы?

Как и во всем разговоре, Борб задавал вопросы и тут же на них отвечал.

— В том-то и дело,— сказал он,— что рабочая сила в таких заведениях дешевая, а разница между оптовыми ценами и розничными огромна. Мы платим за маленькую бутылочку пива марку, а хозяин — тридцать пфеннигов. И не думайте, что,

пока здесь никого нет, официант сидит сложа руки. Работы везде хватает. Та же картина в гостиницах. Свободных номеров больше, чем занятых, но хозяевам все равно выгодно. Уж где-где, а в отелях каждый работает за двоих, при наплыве туристов — сутками. И конечно же, ни пфеннига дополнительной оплаты.

Мы пили кофе, и Борб рассказывал.

По возвращении из плена он довольно быстро нашел себе приличную работу в Дюссельдорфе. Хотя по образованию он техник, но богатый опыт и усердие помогли ему занять инженерную должность.

Товарищи по работе, естественно, интересовались его пребыванием в Советском Союзе, и он охотно делился впечатлениями. Видимо, говорил не совсем так, как надо было. Его уволили, не предъявив никаких претензий.

Полтора года не мог найти работу. Вот уже как будто и берут, и все вроде решено, и вдруг — нет вакансии. С большим трудом удалось поступить на завод железобетонных конструкций, на должность младшего техника. Через три месяца уволили. После того как случайно встретил на заводе представителя строительной фирмы, где работал раньше и которой завод поставлял железобетонные арки.

— С тех пор,— с горечью говорил Борб,— точно чумной штамп на лбу поставили.

Никто не хотел с ним разговаривать. Шесть лет пробавлялся случайными заработками. Летом уходил на сельскохозяйственную работу, год плавал на рудовозе, имел только временную работу, пока не наткнулся на объявление о массовом наборе на строительство завода. Это была все та же строительная фирма, где он работал после войны, фирма, как спрут, распластавшаяся по всей стране.

Вопреки ожиданиям, его взяли. В качестве каменщика. Борб был рад. Во-первых, строительство рассчитано на три года. Во-вторых, каменщиков мало: в основном сооружения делались сборными. Если усердно работать, а главное, молча — увидят. Мо́гут и повышение дать.

Условия работы хорошие. Пятьдесят минут работать, десять минут — перекур. Каждому рабочему в конце недели на его рабочее место приносят в конверте зарплату.

В первую получку едва ли не половина рабочих, кроме денег, нашла в своих конвертах письмо: «Фирма благодарит вас, фирма в ваших услугах больше не нуждается». Никаких объяснений. Рабочие сами разобрались, в чем дело. Уволили тех, кто курил в неположенное время, кто перебросился с товарищем хоть словом. Вместо уволенных пришли новые. С трепетом жда-

ли конца недели. И снова благодарность. И снова: «Фирма в ваших услугах не нуждается».

Но почему? Ни один человек не закурил, ни одного слова, не связанного с работой.

«Я-то знаю, почему меня,— сказал один из уволенных.— Температурил, медленно очень работал, голова кружилась».

«Видимо, и меня за это же,— сказал второй,— хотя я не болен. Дома большие неприятности, думал об этом, видимо, отвлекался».

Борб рассказывал:

— Самый радостный день у рабочего человека — получка. Третью получку ждали, как приговора. Дрожащими руками вскрывали конверты. И опять то здесь, то там повисшие руки, опущенные головы: «Фирма в ваших услугах не нуждается».

На этот раз пришел представитель фирмы.

«Здесь не курорт,— проинформировал он рабочих спокойным тоном,— на все ваши дела вам дается десять минут ежечасно. А пятьдесят минут надо работать. Интенсивность вашего труда фирму не устраивает. Ваша работа и впредь будет контролироваться телевизионными камерами. Есть ли вопросы?»

Люди молчали. Он уже собрался уходить, когда раздался голос:

«Может быть, на сдельную перейти? Сколько заработаешь, столько получишь. Все будут стараться».

«Фирма считает целесообразным тот порядок, который она установила. Еще рекомендации фирме есть?»

Борб умолк. Допил кофе и снова заговорил:

— Вы не представляете, как мы после этого работали. Вы видели фильмы Чаплина? Так вот, там был отдых по сравнению с тем, что делалось у нас. Пятьдесят минут выматывали так, что уже и курить не хотелось. По сигналу на перерыв люди падали. Но стоило снова раздаться сигналу, вскакивали, будто отпущенная пружина. И все равно над нами висело: «Фирма в ваших услугах не нуждается». Время от времени все же появлялись кое у кого эти страшные вкладки в конвертах. Чтобы мы не забывали: за нами следят.

Все время под наблюдением. Ты знаешь, что на тебя смотрят. Каждую секунду смотрят. Контролируют каждое движение, каждый шаг. Боишься достать носовой платок. Ты подопытное животное. Ты заведенный механизм. Только бы хватило завода на пятьдесят минут, чтобы потом расслабить мышцы. Никаких мыслей. Они отвлекают. Только одна. Как пожарная сирена, как сигнал бедствия: «Фирма в ваших услугах не нуждается».

До этой истории Борб говорил о себе очень спокойно. Как человек, не только смирившийся со своей судьбой, но без ропота, будто так все и должно быть. Даже о своей нелегкой работе в отеле говорил без эмоций, как о постороннем. Напряжение и некоторую нервозность я замечал лишь, когда речь шла о Брегберге. И хотя многое он доверил мне, но решительно обходил вопрос: как попал к Брегбергу. Прямо спросить было неловко, а от косвенных вопросов он уходил. Однажды мы близко подошли к этой явно неприятной для него теме. Не помню уже в какой связи, но он тогда зло сказал:

— Конечно, Сильвия измывается над девочками, не упустит случая вежливо уколоть фрау Шредер, но всех в руках держит Брегберг. Сильвия боится, что он выдаст ее прошлое, фрау Шредер боится, как бы он не отобрал у нее отель, все его боятся.

— А вы? — спросил я.

— А я в особенности.— И умолк. И больше ни слова.

Значит, были у него основания бояться Брегберга. Но и тогда в тоне не слышалось протеста. А вот в придорожном кафе, рассказывая о своей работе на стройке, он буквально кипел. И неожиданно сник. Будто выдохся. Обреченно сказал:

— Случилось то, что должно было случиться. И в моем конверте с деньгами оказалась эта бумага. Отличного качества бумага, глянцевая, атласная, с гербом фирмы. Можно было не разворачивать ее, но я развернул. Я увидел каллиграфически выведенные слова, отпечатанные типографским способом, как на визитных карточках: «Фирма благодарит вас за работу. Фирма больше в ваших услугах не нуждается». И чтобы никаких сомнений не осталось, кому это адресовано, сверху от руки было написано: «Уважаемый господин Борб».

Он потянул из чашечки гущу. Я хотел заказать еще кофе, но Борб решительно отказался. Молча жевал кофейные крупинки. Видно, думал все о том же. После долгого молчания заговорил:

— Я ждал этого, ждал каждый раз, когда брал в руки конверт. Каждый раз останавливалось сердце перед тем, как вскрыть его. Так продолжалось полтора года. Все-таки восемнадцать месяцев они меня держали. И, когда получил наконец эту благодарность, подумал: «Да, они правы, я уже не могу работать так, как в первые месяцы».

Полтора года, пока я ждал увольнения, понемногу копил на черный день. Да, кое-что у меня оставалось, ведь к тому времени жена ушла от меня, а детей бог не дал. Я не обижаюсь на жену, она меня любила и всегда была верна мне. Знаю, что у нее самой разрывалось сердце. Но что ей оставалось делать.

если я столько лет был безработным. Правда, мне потом говорили, что всю жизнь она меня обманывала, но я в это не верю... Поедемте,— неожиданно поднялся он.

Чем кончилась его история, я узнал лишь на обратном пути. Чтобы не прерывать рассказ, приведу его здесь.

Ненадолго хватило Борбу его сбережений. Потеряв надежду найти работу, он стал бродяжничать. И однажды на улице в Дюссельдорфе лицом к лицу столкнулся с Брегбергом.

«Как? Тебя не убили на фронте?» — поразился тот.

Узнав о бедственном положении Борба, сказал:

«Я могу предложить тебе постоянную работу, но не прежде, чем сам узнаю, за что тебя уволили. Приезжай дней через пять». И он оставил адрес отеля фрау Шредер.

— Брегберг взял его на работу, предупредив:

«Твоя инженерная карьера, как ты понимаешь, рухнула из-за твоей коммунистической пропаганды. В свое время я спас тебе жизнь. Но если я увижу, что совершил ошибку, я сумею ее исправить».

Борб понял, о чем идет речь. И угроза не показалась ему страшной, потому что это явное недоразумение. Он вовсе не собирается заниматься пропагандой. Он будет работать день и ночь молча. Только бы спокойно жить и не ждать каждую неделю этих конвертов.

Так Борб стал служащим отеля фрау Хильды Марии Шредер. Вскоре, однако, понял, что угроза над ним висит. У Брегберга время от времени собираются какие-то штатские с военной выправкой. Не желая ни во что вмешиваться, он старался их не замечать. Однажды Брегберг сказал:

«Послушай, Борб, сегодня у меня будут друзья. Если кто-нибудь узнает об этом, я исправлю свою ошибку. Ты меня понимаешь, надеюсь?»

Борб понял. Взволнованно сказал:

«Само собой разумеется, господин Брегберг, я никому ничего не говорю, это не мое дело, и я ничего не знаю. Но, господин Брегберг, узнать ведь могут и помимо меня».

«Вот-вот, об этом я и думаю. Будь начеку. Следи, чтобы никакая сволочь не совала сюда рыла».

С тех пор Борб потерял покой. Он стал соучастником какого-то дела, о котором не имел понятия. А Брегберг все прибавлял ему работы.

Велел внимательно следить, как бы не появился у отеля какой-то однорукий. Каждый раз, выходя из дома, спрашивал: «Ну что, не появился однорукий?» Он явно боялся этого человека. Видимо, опасался, как бы тот не узнал, что Брегберг находится здесь.

И вообще Борбу было трудно. Он жалел фрау Шредер, над которой все более садистски издевался Брегберг. Недавно поздно вечером, когда жизнь в доме затихла, к ней подошла Сильвия и, растягивая слова, скромно потупив глаза, сказала:

«Фрау Шредер, господин Брегберг просил передать, чтобы вы не запирали двери, он вернется часа через два. У него некоторые дела ко мне, он будет у меня».

— Я стоял у входа,— рассказывал Борб,— и не слышал этого разговора. Я только услышал, когда ушла Сильвия, что фрау Шредер плачет, и бросился к ней. Она уже меня не стеснялась.

«Зачем он посылает ее? — всхлипывала фрау Шредер.— Я ведь и так знаю, что он ходит к ней. Это она настаивает, рыжая. Это чтобы угодить ей».

Борб, однако, был на этот счет другого мнения, которого, конечно, ей не высказал. Брегберг не станет угождать Сильвии, она сама его боится. Значит, измываясь над фрау Шредер, он преследовал другие цели.

Все это остро переживал Борб, как и издевательства Сильвии над девочками, особенно над Эрикой. Сильвия не могла простить ей, что она хорошенькая. И тяжко приходилось девчонке, если при Сильвии ей делали комплимент. Уж в такой день Сильвия отыгрывалась на ней. Брезгливо кивая на какую-нибудь тарелку, говорила: «Наверное, все такие грязные, перемой»,— и показывала на гору только что вымытой посуды. Сама не спала, но Эрику заставляла работать всю ночь.

Эрика не могла противиться Сильвии. Знала, что на ее место найдутся десятки других. А положение было почти безвыходное. Ее отец — плотник. Все знали: на плотника Керна можно положиться. У него маленькая мастерская, и он прилично зарабатывал. Не настолько хорошо, чтобы накопить солидную сумму, но кое-что оставалось. И вот, года три назад он строил свинарник. Ему помогал сын заказчика. Этот растяпа не удержал бревно, и оно ударило Керна в грудь. С тех пор ему трудно работать. И чем дальше, тем хуже. Последние полгода уже ничего не может делать.

В социальном отношении Керн находится в одной группе с владельцами заводов, фабрик, банков, универсальных магазинов. По закону пенсия им не положена, как лицам, ведущим самостоятельный род деятельности. Керн тоже вел самостоятельный род деятельности, поэтому пенсия не положена и ему. Правда, из восьми миллионов человек, входящих в эту группу и не имеющих права на пенсию, подавляющее большинство таких, как Керн, мастеровых, лоточников, торгующих сосисками или другой мелочью. Но Керну от этого не легче.

Среди его заказчиков были и довольно влиятельные лица. Они всегда оставались довольны его работой. Они-то и пообещали устроить ему пенсию. Правда, пенсия по старости ему будет положена ровно через двадцать лет, когда стукнет шестьдесят пять. А пока он надеется на пенсию по инвалидности. Это сто двенадцать марок. Все-таки подспорье. Ведь только за квартиру надо платить четыреста шестьдесят. Конечно, он бы не стал такие деньги платить, но при этой квартире длинный коридор, где он работает. А зачем ему теперь мастерская? В конце концов послушал жену, и они переехали. Две маленькие комнатки, как коробочки, зато - двести восемьдесят. Для них даже это дорого, но что поделаешь? С тех пор как в шестьдесят четвертом году были отменены ограничения на квартирную плату, домовладельцы совсем посходили с ума.

И вот при таком положении в семье может ли капризничать Эрика? Борб понимает, надо смириться, но ему жаль Эрику.

Все это он рассказывал на обратном пути из Дюссельдорфа. А почти весь день мы провели у Вольфганга. Он на три года старше Генриха, тучнее, солиднее и тем не менее похожи они друг на друга, как близнецы. Похожи не только лица. Манера говорить, голос, жесты — все одинаково. Только Вольфганг немного увереннее держится. Может быть, потому что не так изломан жизнью.

Их отец был врач. Судя по всему, один из тех бескорыстных и честных людей, которые трезво оценивали обстановку в стране, но были не способны к борьбе. И он просто сам, в силу своих возможностей, помогал людям жить. Сыновьям сумел дать образование и не сумел оставить наследства. Это был человек, интересовавшийся далеко не только своей профессией. Гордился, как он выразился, «техническим гением» немцев и поражался «исторической тупостью и авантюризмом» их политиков. Видимо, многое от отца перешло к Вольфгангу.

После первых же вежливых фраз вроде: «Генрих мне много говорил о вас, рад познакомиться»,— он выложил свое кредо. Во-первых, не будь Гитлера, проклятой войны и поражения, еще неизвестно, кто первым оказался бы в космосе. И во-вторых, он отнюдь не является сторонником коммунистического режима. Однако под многими его суждениями, думаю, подписался бы любой коммунист. Видимо, этим словом так запугивают население, что порою, не понимая смысла, люди страшатся его. И кое-кто думает, уж если появится советский человек, тут же с ходу приступит к коммунистической пропаганде.

К слову, мне хочется здесь отметить одно обстоятельство. Мне кажется, и у нас не все правильно оценивают западных

немцев. Мы часто пишем о реваншистских настроениях Западной Германии, имея в виду определенные круги. В массе же западные немцы удивительно тепло и дружелюбно относятся к советским людям. В подтверждение я не могу привести каких-либо глобальных примеров. У меня их просто нет. У меня есть мелкие факты, но их много. Ну вот, например, такие.

В вагоне-ресторане я обедал в обществе трех незнакомых мне и друг другу немцев. Разговор шел в пределах: «Будьте любезны, соль». К концу обеда один из них закурил. Я сказал, если ему это безразлично, хотел бы поменяться с ним спичками, объяснив, что мой товарищ коллекционирует спичечные этикетки, которые, оказывается, о многом говорят не меньше, чем почтовые марки. В его альбомах уже, наверное, весь мир. А вот таких, по-моему, нет.

Предварительно я посмотрел на свои спички, нет ли в них пропаганды. Пропаганда была. Этикетка призывала нас бороться. Бороться с сельскохозяйственными вредителями. Правда, было неисчерпывающе ясно, изображен ли вредитель или агрегат для его истребления. Но это, я подумал, выясню дома, как только приступлю к борьбе.

Немец охотно согласился и спросил, действительно ли я из Советского Союза. Ответ обрадовал всех троих. Второй сосед, улыбаясь, протянул мне свою коробочку. В подарок товарищу. Третий извинился, показав зажигалку. И тут же, спохватившись, потребовал спички у своего приятеля, сидевшего через стол, объяснив, в чем дело.

И тут произошло то, чего предусмотреть я никак не мог. Мне понесли спички. Слова «да что вы, не надо, ну зачем же» не помогали. Я увидел, что даже из-за дальних столиков поднимаются люди со спичками. Надо было немедленно остановить это массовое движение. И я сказал:

— Извините, у меня есть еще один приятель, так тот коллекционирует золотые часы...

Шутка дошла. Меня пощадили. Но у нашего столика сгрудились люди. То, что происходило дальше, было похоже на обычную пресс-конференцию с той лишь разницей, что мне не задали ни одного злобного или каверзного вопроса.

Есть такие читатели, которые скажут: «Ну и что?» Я отвечу: ничего, конечно, особенного. Но я видел их лица и их глаза. Это были не улыбки, за которые получают зарплату или чаевые. Улыбки друзей.

Еще пример. Тоже связанный с поездом. Во Франкфурт-на-Майне я приехал в двенадцать ночи. Шел дождь. Я знал, что меня встретят трое моих товарищей, которые уже несколько дней находились там. Никто не встретил. Мысленно сказав в

их адрес подобающие для такого случая слова, решил переночевать в ближайшем отеле, а утром искать их. И тут же отказался от этой мысли. Я сошел на главном вокзале, а встречают, видимо, на другом. Они точно знают, что я выехал, и увидели, что не приехал. Едва ли мои друзья пойдут спать.

Что делать ночью, в дождь, в огромном чужом городе, куда прибыл впервые, придумать не мог. Наугад подошел к группе немцев, стоявших в людном зале, похожем на ангар, и спросил, не посоветуют ли они, как поступить. Горячего отклика не последовало. Напротив, на их лицах было: «Ну и чудак! Как же найти, если ничего не известно». К сожалению, мое произношение выдавало во мне иностранца. Кто-то спросил, из какой я страны. Услышав ответ, люди преобразились. Каждый начал предлагать свой план поисков. Одного из них настойчиво звала жена, сидевшая на скамье, и он отмахивался, пока она не подошла. «Это русский, понимаешь,— шептал он,— надо ему помочь...» Дальше я не слышал. Видел, как, одобрительно кивая, она удалилась.

Я так и не понял, какой план был принят. Они просили оставаться на месте и исчезли. Вскоре вернулись сияющие. Говорили все сразу. Действительно, мои друзья оказались на другом вокзале. Увидев, что в поезде меня нет, решили: одному вернуться в отель для связи, второму оставаться на месте, третьему — ехать на центральный вокзал. Вот-вот явится. Все это сказал им по телефону тот, кто вернулся в отель. По фамилиям моих друзей немцам удалось узнать, в каком отеле они остановились, и тут же позвонить. Радовались немцы больше меня. Это была радость людей, с большой симпатией отнесшихся к советскому человеку и с готовностью пришедших ему на помощь.

Факт, конечно, не масштабный. Может быть, случайный. Вполне возможно, наткнись я на других людей, не встретил бы дружеской помощи. Но все дело в том, что лично мне вот эти «другие» не попадались. Вернее, с такими у меня были только официальные встречи, и там улыбки другого характера. В них еще надо разбираться. А искреннее дружелюбие видел на каждом шагу.

Но я отвлекся от Борба, а мне хочется закончить его историю. Уже в первые полчаса у Вольфганга стало ясно, что он исчерпывающе информирован о жизни в отеле фрау Хильды Марии Шредер и моих беседах с Генрихом. А тот как бы немножечко гордился тем, что привез гостя из Москвы. Вел себя подчеркнуто непринужденно, всячески демонстрируя наши с ним хорошие отношения.

— Вольф, ты представляешь,— говорил Генрих,— он удив-

ляется, почему Эрика не идет на производство. Объясни этому человеку, почему. Объясни так, чтобы он понял. Я вижу, мои объяснения ему недостаточны.

— Недостаточны,— согласился я.— Понимаете, меня ведь частности не интересуют. Да, в отеле Шредер работать тяжко. Брегберг, Сильвия, да и Шредер тоже, со своими сложными отношениями и темным прошлым создали невыносимую обстановку и каторжный режим. Но такой отель — явное исключение. И никаких выводов о жизни в стране по этому примеру делать нельзя. Картина, которую нарисовал Генрих на стройке, ужасна. Но из этого следует лишь, что данная фирма безжалостно относится к своим рабочим, и вовсе не следует, что это характеризует жизнь всех рабочих.

— Так, так, так,— нетерпеливо поддакивал Вольфганг

Я умолк.

— Говорите, говорите, я вам на все сразу отвечу.

— Пожалуйста. Я видел в Руре не только законсервированные шахты и старые закопченные заводы. Видел и новые, сверкающие алюминием и стеклом, а поблизости поселки с красивыми, как игрушки, коттеджами, а возле них машины, и поселки эти явно для рабочих и служащих. Я знаю, что ежегодно вступают в эксплуатацию тысячи домов. И нетрудно догадаться, что не все они для банкиров. Уровень производства очень высок. Каждый пятый человек в стране имеет машину. Я видел перед выходными днями вереницы машин, часто с домиками на прицепе, идущие на юг, к берегам рек.

— В общем, рай,— рассмеялся Вольфганг. И, немного помолчав, очень серьезно добавил: — Да, у немцев есть чему учиться. Я не знаю, на какой высоте мы были бы, не будь проклятого Гитлера. Все говорят: «Экономическое чудо». Но мы знаем, чудес не бывает. Я вам сейчас объясню, как создается чудо. Посмотрите,— подошел он к столу, заваленному журналами, газетами, книгами,— вот «Шпигель». В любом киоске он стоит полторы марки. Вы думаете, я плачу за него такие деньги? Чепуха! Тридцать пять пфеннигов. А издатель или уж не знаю точно, кто именно, возможно, только наше почтовое агентство кладет в карман три марки за каждый номер... Не улыбайтесь, сейчас все объясню.

Газету надо читать в день выхода, не так ли? Назавтра она уже не интересна. А журнал и через месяц не устареет. На этом все и построено. С подписчика наша почта берет не полторы марки, а марку двадцать. Но ровно через неделю приходит мальчик в картонной шапочке, забирает журнал и передает второму подписчику, который платит восемьдесят пфеннигов. Следующий — шестьдесят. Я получаю журнал к концу третьей

недели за сорок пфеннигов. Но к концу месяца приходит мальчик, на картонной шапочке которого герб бумажной фабрики, и возвращает мне пять пфеннигов. А мой журнал, как сырье, идет на переработку.

Вы скажете — немецкая мелочная расчетливость? Ведь так же? А я скажу — блестящая организация. Умение считать и делать деньги. Не такое плохое качество, должен заметить. В данном случае всем выгодно. Но подобных примеров не так уж много. Только на них чуда не создашь. Я вам еще объясню, откуда оно берется, а сейчас давайте вернемся к вашим вопросам.

Вольфганг был похож на преподавателя, читающего лекцию. Он не рассказывал, а объяснял. Неторопливо, солидно, то прохаживаясь по комнате, то останавливаясь.

— Вы правы,— продолжал он,— на каждые пять человек приходится машина. Но это мне напомнило анекдот, не сердитесь, пожалуйста, который Генрих привез из России. Вы, наверное, знаете. Человек продавал котлеты, сделанные из рябчиков и конины. На вопрос, в какой пропорции смесь, он ответил: «Как раз пополам. На одну лошадь один рябчик».— И Вольфганг рассмеялся, будто сам только что услышал анекдот.— А теперь давайте разберемся,— сказал он, роясь в журналах.— Вот последние статистические данные, по которым мы легко определим, кто имеет машины. В стране, вот смотрите цифры, один миллион бездомных и двести тысяч нищих и бродяг. Надеюсь, вы понимаете, что машин они не имеют.

Теперь смотрите эту графу — три с половиной миллиона семей получают до трехсот марок в месяц. Этим тоже не до машин. Следующая графа: около семи миллионов зарабатывают от трехсот до шестисот марок. Чтобы яснее было, как велики эти суммы, я прошу вас,— он снова начал перекладывать журналы,— вот, последний номер...— Быстро найдя нужное место, ткнул пальцем.— Прочтите, пожалуйста! Вслух прочтите.

Это был журнал «Штерн» № 8 за 23 июня 1969 года.

— «Незадолго до полуночи начались схватки. В соседней комнате спали ее дети. На диване она произвела пятого ребенка. Однако в 3 часа 45 минут новорожденный был мертв. Отец задушил его, а мать не защитила... Им было предъявлено обвинение в совместном убийстве. Мотив преступления — бедность».

Дальше рассказывалось, что обвиняемый Герд Браун, получавший в месяц шестьсот марок, заявил суду: «290 марок уходило за квартиру, а у нас к тому же было уже четверо детей. Мы просто не могли позволить себе платить пять марок за каждую противозачаточную пилюлю».

Пробежав несколько абзацев, я заметил Вольфгангу, что на основании такого судебного процесса трудно делать выводы, выходящие за пределы данного конкретного случая.

— Да не об этом же я,— с досадой сказал Вольфганг.— К процессу мы еще вернемся. А пока я хочу лишь, чтобы вы поняли, что значит шестьсот марок и что от них остается после удержаний, обязательных платежей и платы за квартиру.

Ну пусть у Герда большая семья. Но на эти деньги, если учесть огромные налоги и квартирную плату, не прожить и маленькой семье. О машинах они и думать не смеют. Не так ли?

Вольфганг часто повторял эти слова: «Не так ли?» Но звучали они не как вопрос, а решительным подтверждением его выводов.

Перечисленные категории людей составляют около сорока пяти процентов работающих. Следующие тридцать процентов зарабатывают от шестисот до восьмисот марок в месяц. Вольфганг допускал, что часть из них, те, кто не имеет семей, могут купить машину. Но эксплуатировать ее не в состоянии.

— У меня тоже есть машина,— вмешался в разговор Генрих.— Старые машины недороги. И все стремятся иметь свой автомобиль. Это показывает людям, как ты хорошо живешь, к тебе относятся с бóльшим уважением. Но вот к Вольфу я езжу на поезде. Вам это трудно понять, у вас, как мне говорили, бензин не дороже минеральной воды. Кстати, так ли это?

— Так! — ответил я.

— Ты слышишь, Вольф. А у нас,— обернулся он ко мне,— за литр бензина надо платить пятьдесят пфеннигов. Одна заправка — тридцать марок. А хватит ее на десять дней, и то если не ездить за город. Значит, в месяц — девяносто. К этому прибавьте стоимость масла, обслуживания, ремонта. Получится не меньше ста пятидесяти. Слесарь или токарь зарабатывают, как я уже вам говорил, от семисот до тысячи марок. А теперь считайте сами, может ли он, оплатив налоги и квартиру, выложить еще сто пятьдесят.

— Вот вам и каждый пятый на машине! — как бы подвел итог Вольфганг.— Вот и судите, сколько простых людей смогут выехать за город в собственной машине с домиком на прицепе.

— Выходит, одни банкиры ездят,— сказал я.

— Почему банкиры?! — обиделся Борб.— Банкиры с домиками не ездят. У них есть где отдыхать. Ездят целые армии крупных торговцев, высокооплачиваемых инженеров, врачей, адвокатов и даже рабочих. Есть ведь и рабочие, получающие полторы тысячи. Но это уже касты.

— Вам трудно понять,— подхватил Борб.— Вы привыкли к другому. Я ведь провел у вас три года. Три военных года.

Видел, как жили ваши строительные рабочие, как они проводили праздники и выходные дни. Всегда вместе. Целыми семьями, компаниями. Одни зарабатывали больше, другие — меньше, но никто не старался выделиться именно этим. А посмотрите внимательно на тех, кто ездит у нас на выходной за город. Едут, гордо поглядывая на прохожих, чтобы видели, как они зажиточны. Возможно, они даже остановятся рядом на одном берегу, но не заговорят друг с другом. Будут есть, прячась от соседей, опасаясь, как бы у тех не оказался кусок пожирнее. Каждый сам по себе, только со своими послушными детьми, воспитанными собаками, старательными женами.

Вы говорите — коттеджи, как игрушки,— направил он на меня палец, словно обвиняя.— Но пройдите по такому поселку вечером. Жалюзи опущены, окна зашторены, двери заперты. Ниоткуда не пробьется лучик света. Как в ячейке сот. Как в скорлупе. Как замурованные. Никто ни к кому не зайдет в гости, не пригласит к себе. Если раздастся крик о помощи, никто не выйдет. И все к этому привыкли, считают нормальным. А мне это бросается в глаза только потому, что видел, как живут у вас.

Да что говорить! — махнул он рукой.— А в больших городах! Конечно, ночной Гамбург примет всякого. Но попытайтесь пробить броню и войти в частный дом! Ни ваши радость, ни горе никому не нужны. Каждый, кто как сумеет, борется за свое существование. Ни вам никто не поможет в беде, ни вы не поможете. Каждый одинок. Сверните с главных улиц большого города. Та же картина, что и в заводском поселке. Ни одного огонька в окнах, ни одной светящейся щелочки. Мертвые дома, мертвые кварталы. А внутри маленькие лампочки, как у нас в отеле: зажжешь настольную, погаснет верхняя, зажжешь у постели, погаснет настольная. Чтобы не забыть экономить на электричестве. Экономить на еде, на одежде, на игрушке для ребенка. Экономить про черный день, потому что он обязательно придет. Не сейчас, так в сорок пять, когда до пенсии останется двадцать. Не зря же три четверти безработных — люди старше сорока пяти. Их никто не возьмет на работу. Вместо них вербуют иностранных рабочих. Молодых, здоровых, безропотных. Уже полтора миллиона завезли.

— Подожди,— отстранил его рукой Вольфганг.— Это ты уже о другом. Дай закончить одно... Вас привели в восторг красивые коттеджи,— обернулся он ко мне,— вы говорите: строительство, откуда выгнали Генриха,— исключение; жизнь в его отеле — исключение... Чепуха! Какая разница? Не Брегберг, так Гохберг, не Шредер, так Шрайбер — дело вовсе не в каждом из них и не в их отношениях между собой. Хозяином

отеля может быть и не подлец, как Брегберг, а очень порядочный человек. Но система работы повсюду одинакова. В отелях, кафе, небольших магазинах, в бытовых мастерских — во всей огромной сфере обслуживания люди работают до полного изнеможения. Дико! Центр Европы, но, уверяю вас, в этой области самый настоящий колониальный труд. Никем не контролируемый, едва оплачиваемый, при неограниченном рабочем дне.

Поживите здесь год — и вы увидите: «Фирма в ваших услугах не нуждается» висит над каждым человеком, над всей страной, как неотвратимый рок. И при всем этом увольняют не так много. Люди работают на одном месте годами, нередко десятилетиями, но каждый день в тревоге за место. Это же пытка!

— К сожалению,— сказал я,— не могу прожить здесь год, чтобы убедиться в этом.

— Вы улыбаетесь, вы не верите? Хорошо. Вы не верите мне, но, может быть, президенту нашему поверите,— говорил он, нахмурившись и извлекая какую-то газету из большой пачки.— Вот читайте. Это речь на церемонии принесения присяги новым президентом доктором Густавом Хейнеманом, произнесенная им несколько дней назад. Вот что он говорил: «...В связи с моим избранием на этот пост я получил множество писем от представителей всех слоев населения и всех профессий... Речь идет о просьбах о помощи, вызванных трудностями и тяготами повседневной жизни, нуждою и болезнями, жилищными проблемами или наложением уголовного наказания, одиночеством и пережитой несправедливостью... Авторы многих писем говорят о страхе перед будущим или перед старостью, о страхе потерять работу».

— Вот! — торжествующе сказал Генрих.— Я же говорил, что Вольф — энциклопедия.

— Ну что ты с глупостями лезешь,— раздраженно прервал его Вольфганг.— Обратите внимание — не озабоченность, даже не тревога. Страх. Страх перед будущим! Страх перед старостью! Страх потерять работу! Кто это говорит? Недруг Германии? Нет! Президент! На основании чего говорит? На основании множества писем. И не от безработных или бездомных. «От всех слоев населения»,— поднял он вверх палец.— «От представителей всех профессий». Уверяю вас,— подошел он близко ко мне.— Если бы это не было угрожающим явлением, не стал бы так говорить президент. Это ведь не предвыборная речь, не расчет на то, чтобы завоевать голоса. Это явление, о котором уже не может умолчать даже президент. Это вынужденное признание... Пожалуйста, я могу подарить

вам эту газету. Видите, от первого июля шестьдесят девятого года.

Вольфганг прошелся по комнате и снова остановился возле меня.

— Те, кто получает до восьмидесяти тысяч марок в месяц,— продолжал он,— создали немыслимое напряжение. Оно не ослабевает. Под страхом увольнения живет и тот, кто имеет коттедж и машину. Ведь за них надо годы и годы выплачивать. А если уволят? Это катастрофа. Боясь ее, люди работают как автоматы. С той лишь разницей, что от перегрузки автоматы отключаются. А рабочий отключиться не может. Он отключается, когда в голове туман. Когда его калечат станки. Семь тысяч увечий на заводах каждый день. Пятнадцать ежедневно умирают от ран. Как на войне. Я сам вышел из строя, спасая падающего на станок рабочего.

Лицо и шея Вольфганга стали красными. От его спокойного тона, каким он начал, не осталось и следа.

Генрих смотрел на брата с тревогой и вдруг резко оборвал его:

— Перестань! Успокойся или я не дам тебе говорить! У него ведь, кроме прочего, гипертония,— пояснил он мне.

— Хорошо, хорошо,— спохватился и сам Вольфганг.— Не буду.

Чтобы отвлечь от явно больной для Вольфганга темы увечий на производстве, я спросил, кто же получает такую огромную зарплату — восемьдесят тысяч марок в месяц.

— Я могу вам показать. Все те же официальные данные,— снова подошел к столу Вольфганг.— Директора и управляющие банков, заводов, концернов получают от пяти до восьмидесяти тысяч. А потом соответствующую пенсию. Кстати, на сколько у вас директор получает больше рабочего?

Я задумался.

А он нетерпеливо продолжал:

— Ну, в три, пусть даже в пять раз. Во всяком случае, не в пятьдесят. А у нас именно так. Директор крупного завода получает сорок тысяч марок в месяц. Хозяину это выгодно. Он знает: за эти сорок тысяч директор вытянет душу у сорока тысяч рабочих. Это один из главных рычагов экономического чуда: невиданно высокая интенсивность труда. Выше, чем в Америке. Бешеный ритм, бешеный темп. До одурения, до полного износа. Да вы это сами можете увидеть. Посмотрите, как разгружают грузовики, вагоны, пароходы. Разве пожарники работают быстрее? Это что? От усердия? Это страх перед угрозой потерять место. И каждый смотрит на соседа. Кажется, будто сосед работает быстрее. Значит, будь проклят этот сосед.

и самому надо усилить темп. Ведь где-то стоит хозяин или телевизионная камера. Интенсивность труда, доведенная до пределов человеческих возможностей,— это первый и главный кит, на котором держится экономическое чудо.

Второй кит — высокоразвитая техника. Немецкая инженерная мысль всегда была передовой. В конструкторских бюро, в лабораториях, проектных организациях сидят только одаренные инженеры и ученые, талантливые организаторы. Они тоже боятся потерять место. Они умеют использовать опыт самых передовых стран, умеют внести и свое, чтобы превзойти эти страны. Передовая техника в сочетании с высокой интенсивностью дает производительность, до которой еще долго тянуться иным странам.

И третий кит — экономия. Тут Генрих с иронией рассказывал, как зажигаются лампочки. А я скажу, что это отлично придумано. Если ты садишься к письменному столу, тебе не нужен верхний свет. Если прилег на диван почитать, тебе не нужна настольная лампа. И ни одну секунду не должна расходоваться лишняя электроэнергия. И каждая прочитанная газета должна идти на переработку. И ни одну консервную банку, ни один пузырек немец не бросит в мусорный ящик. А если бросите вы, найдется кому подобрать. Вот такой принцип величайшей экономии заложен во все процессы производства. Он во всей нашей жизни.

Я сказал, что такому принципу можно лишь завидовать. Мы тоже стремимся...

— Нет,— уверенно прервал меня Вольфганг.— У вас не получится. Любой декрет об экономии не стоит и пфеннига. Бережливость должна быть в крови. У нас она воспитывалась не годами. Веками. А вы гордитесь широтой русского характера...

— Но позвольте, это же совсем другое...

— Да-да,— снова не дал он мне договорить.— Понимаю, понимаю, широта характера, конечно, завидное качество, но и вы поймите, не во всем...

— Подожди, Вольф, подожди,— поднялся Генрих.— Я ему сейчас докажу. Вот я строил у вас дома. Ты не поверишь, Вольф! К застекленным рамам они выписывали еще столько же стекла в расчете на то, что, пока рамы довезут и поставят, все стекла разобьются.

— Вот-вот,— обрадовался Вольф.— Это вы считаете широтой? Нет, конечно. Значит, и не надо за русской широтой, которой завидует мир, прятать расточительство. Впрочем, любые крайности плохи. Мне и самому неприятно, когда вижу носовой платок со штопкой или заплатой.

Вольфганг подошел к шкафу, накапал в ложку какого-то лекарства, а потом принял еще пилюлю.

— Вы не думайте, это не от волнения,— сказал он.— Генрих знает, просто пришло время принимать лекарство.

Но я видел, что он взволнован, и предложил ехать смотреть город.

— Сейчас поедем, еще несколько минут,— сказал Вольфганг.— Я не забыл ваше замечание о том, что один судебный процесс не дает оснований для обобщений. Ну, а если не один? Если аналогичных сотни? Это уже, извините, тенденция. Вот посмотрите. Тот же «Штерн»... Вот здесь, через два абзаца после прочитанного вами.

И я посмотрел на указанное им место:

«И случилось то, что в Федеративной Республике карается примерно в 300 случаях, а по приблизительным данным экспертов, почти 100 тысяч случаев остается безнаказанным...

Ежегодно родители убивают около 100 детей. Они убивают с помощью снотворного, как Хедвиг Куглер, которая хотела избавить себя и свою дочь Ангелу от жизни, полной отчаяния и позора; Ангела умерла, а Хедвиг Куглер осталась в живых. Они открывают газ, как, например, Инге Маас, которая хотела умереть вместе со своими пятью детьми из-за страха перед приютом для бедняков.

...Они порют розгами, бьют ногами, убивают, как Йозефа Штубнер, которая после продолжавшихся в течение трех лет пыток бросила труп своей дочери Аннелизы в Дунай; за жестокое обращение и за убийство Йозефа Штубнер приговорена к пожизненному заключению в каторжной тюрьме; четверо детей остались сиротами...»

Я читал эти страшные строчки, а Вольфганг стоял рядом, держа наготове еще два журнала.

— Это только последние три номера «Штерна»,— говорил он,— за восьмое, пятнадцатое и двадцать второе июня. Пробегите теперь вот эти абзацы.

«Дети ютятся в полуразрушенных хибарах. Матери живут в грязи, зловонии и пьянстве. Семейная жизнь среди жести и бетона. Гетто отверженных. Две колонки во дворе на 196 человек. Так обстоит дело в марбургских бараках...

55—58 процентов бездомных семей — многодетные. Причем живут они в совершенно непригодных помещениях. Это мир тонких стен. Семейная жизнь становится своего рода спектаклем для публики...

Герд Ибен, который исследовал участь «детей, отвергнутых обществом», в ночлежках для бездомных и приютах для бедняков, заявил: «По мнению общества, бездомный сам несет

вину за то, что оказался в таком положении». Ибен считает, что общество должно «взять на себя ответственность за то, что бедных становится все больше и что это приведет к серьезным последствиям для общества».

«Сегодня в Германии[1] дети,— читал я дальше,— в том числе в школах, дрессируются с помощью побоев. 85 процентов всех родителей считают порку вполне пригодным методом воспитания (не бьют детей лишь два процента родителей)... Ежегодно в результате несчастных случаев на дорогах 1600 детей погибают, а 63 тысячи получают увечья...»

— Может быть, хватит читать? — спросил я Вольфганга, готового дать мне очередной номер журнала.

— Все,— ответил он, улыбаясь.— Вот только один абзац, вот этот. Прямой ответ на ваше замечание о вводе в эксплуатацию тысяч новых домов.

Я прочитал:

«У нас строят жилые дома для семейных, в которых ни один человек не может жить нормально. По словам психолога профессора Александра Митчерлиха, «строят, не думая о том, что строят жилье. Когда женщина стоит у плиты, дверь упирается ей в спину. Через балконную дверь не пролезет ни одна детская коляска. Стиральные машины в таких квартирах устанавливать запрещается. В спальнях разместиться могут только карлики».

— Вы говорите, дома строятся не только для банкиров,— сказал Вольфганг, принимая у меня журнал.— Это, конечно, верно, но многие делаются именно такими, как здесь написано. А сколько новых отличных домов во всех городах пустуют? Люди не в состоянии оплатить хоть сколько-нибудь приличную квартиру. С ненавистью смотрят на эти пустые и красивые дома миллион двести бездомных и нищих и миллионы, живущих в нечеловеческих условиях. Созданы многочисленные бюро, агенты которых ищут жильцов и за каждую сданную квартиру получают от домовладельца комиссионные в сумме месячной ее стоимости. Но миллионы нуждающихся в квартирах не в состоянии их оплачивать.

Осматривать Дюссельдорф мы отправились пешком. Братья с гордостью показывали мне грандиозное здание Академии художеств, великолепные новые павильоны Дюссельдорфской ярмарки, знаменитый концертный зал — Райнгалле. Они явно гордились своим городом.

Неожиданно Вольфганг остановился у витрины огромного универсального магазина. Не сомневаюсь, что оформлял ее

---

[1] Имеется в виду ФРГ.

незаурядный художник. Это была сверкающая витрина изумительно красивых мужских вещей. Едва ли найдется хоть один предмет мужского обихода, которого здесь бы не оказалось. Сочетание множества цветов и форм выставленного, красота и изящество каждого предмета, мягкий свет от скрытых источников создавали удивительную картину, которая могла доставить эстетическое удовольствие. Я не понял, как это сделано, но в зависимости от того, смотришь на витрину прямо или с боков, все резко меняется. Каждый раз кажется, будто перед тобой что-то новое.

— Нравится? — спросил Вольфганг.

По его тону можно было угадать какой-то подвох в вопросе. Однако я сказал искренне:

— Очень.

Он удовлетворенно кивнул, как бы подтверждая, что никакого другого ответа не ждал.

— А теперь посмотрите вот на это и вдумайтесь.

Он показал на две совершенно одинаковые нежно-голубые рубашки с тройной полоской на воротничках и лежавшие рядом две одинаковые кисточки для бритья. На одной рубашке стояла цена — шестнадцать марок, на второй — семьдесят. Одна кисточка стоила пять марок, вторая — шестьдесят.

— Найти разницу в этих рубашках, как и в кисточках, невозможно,— сказал он,— не так ли? Но одна превратится в бесцветную тряпку после первой стирки, а вторая останется такой же, как была. Одна кисточка сделана из синтетического волоса, который через две недели придет в негодность, а вторая из натурального барсукового. А видимость одинаковая. И с полным правом можно сказать, будто богатые и бедные одеваются одинаково, пользуются одними и теми же предметами обихода. И можно сказать, что любой человек найдет у нас товары по своему карману. Да, это все можно сказать, но сами понимаете...

* * *

За несколько дней до отъезда в Москву я отправился в Висбаден, где в то время гастролировал Ленинградский театр оперы и балета.

Мрамор, ковры, хрустальные люстры, зеркала — все сверкало в переполненных фойе и вестибюлях. Переливались искрами ожерелья, колье, браслеты, кулоны, блестки на платьях. Величественно двигались толстые немки, и выдавленные корсетами излишки наплывали на спинах, как тесто в переполненных формах. А рядом грации, изящные и легкие, тоже увитые

драгоценностями, опираясь на руки мужчин, парили, едва касаясь паркета.

Смокинги, монокли, тяжелые перстни. Меха, шлейфы, суперминн, точно собрались здесь манекенщицы из трех последних веков.

Жонглируя подносами, метались официанты. Звенели бокалы, вспыхивали газовые огоньки золотых зажигалок, дымились толстые сигары.

Во всем блеске демонстрировала себя западногерманская знать, собравшаяся сюда из Бонна и других городов.

От Висбадена до отеля фрау Хильды Марии Шредер километров двести. Дороги отличные, ночью не загруженные, машины скоростные, и уже в половине второго ночи я был у дома. Как всегда, приветливо встретил Генрих. Мне не хотелось отрывать у него столь драгоценное время отдыха, и я сразу же пошел в свой номер. На лестнице увидел Эрику и Герту с полными подносами посуды, спускавшихся из ресторана в кухню. Уступая мне дорогу, они улыбнулись. Должно быть, девушки не понимали, что похожи сейчас на старушек, не понимали, как страшны их улыбки. Но удивило не это. Странной показалась Эрика.

Я не раз видел ее уставшей. Случалось наблюдать, как после тяжелого дня, поздним вечером, приняв заказ у посетителя, она отходила от столика. Улыбка ее тут же гасла, глаза тускнели, и вся она словно уменьшалась. В такие минуты со стороны было видно, что она чуть-чуть сутулится. Но стоило ей заметить на себе взгляд, как лицо озарялось улыбкой.

У нее была удивительная улыбка. То ли ямочки на щеках, то ли светящиеся глаза и, точно лакированные, красивые зубы, а вернее, все вместе преображало ее, и никак не хотелось верить, что улыбка Эрики лишь служебная обязанность.

Я привык видеть ее вот такой, улыбающейся, реже усталой и осунувшейся или, наконец, с испугом в глазах, если поблизости находилась Сильвия.

На этот раз в ней появилось что-то новое, чего раньше я не замечал. Какая-то отрешенность. Она улыбнулась так же, как и обычно, так же появились ямочки, но глаза отсутствовали, словно витали где-то вслед за мыслями. Была в ней какая-то покорная успокоенность, даже, скорее, смирение.

На следующий день спустился завтракать поздно. В зале за столиком сидели трое, с которыми рассчитывалась Сильвия. Из-за портьеры вышла ко мне Эрика.

Молодость брала свое: девушка не казалась усталой. Как всегда, аккуратно и красиво причесанные волосы, свеженакрахмаленный фартучек и все та же обаятельная улыбка.

И все-таки это была совсем другая Эрика. Та, которую впервые увидел прошедшей ночью на лестнице. Она подошла, сказала. «Доброе утро», приготовилась записать заказ, но мысли ее были где-то, и сама она отсутствовала, и еще резче, чем ночью, обозначилась на лице печать отрешенности.

Эрика не успела принять заказ, как подошла Сильвия.

— Извините, — поздоровавшись, сказала она. — Бедняжка вчера поздно легла. — Она ласково потрепала по щеке Эрику и добавила: — Отдохни, девочка, я сама обслужу. Ты уже и сегодня набегалась немало.

Я не мог верить своим глазам и ушам. Невольно вспомнил картину, которую видел недели две назад. Все происходило в этом же зале, почти на этом же месте. Только сидел я за другим столиком, у стены. Ни Сильвия, ни Эрика меня не видели или думали, что я не вижу их. Вытянувшись, как по команде «смирно» и чуть приподняв голову, Сильвия уставилась на Эрику, точно пригвоздив ее. А та, часто моргая, смотрела на свою мучительницу, казалось, не в силах пошевелиться или отвести глаза, полные страха. В них была мольба, готовность к любому безотчетному действию, которого потребует Сильвия, и она ждала приказания, и ее руки то опускались, то чуть приподнимались, будто хотела прижать их к груди и сказать: «Я виновата, я знаю, как страшно виновата, я готова искупить вину любой ценой, только скажите же, что надо сделать, я не вынесу больше этого взгляда».

Не меньше минуты продолжалась немая сцена, пока наконец Сильвия отвела глаза. Но не просто отвела. Точно лучом провела полукруг и остановила свой луч на краю ковровой дорожки. Эрика неотрывно следила за глазами Сильвии и увидела, где остановился ее взгляд. На ковровой дорожке лежал обрывок толстой белой нитки. И она бросилась, схватила эту нитку, скомкала в пальцах, глядя, как величественно покинула зал Сильвия.

В тот день я впервые поверил рассказам Борба о том, что Сильвия бьет Эрику. Я не раз потом видел, как изощренно измывается она над девушкой.

И вдруг: «Бедняжка... отдохни, девочка...» Поразило не только это. Поразило, что и слова, и ласковый жест Сильвии Эрика приняла как должное. Вернее, никак не приняла. На ее лице ничего не отразилось, и она покорно ушла.

Вечером я уехал. Это была последняя поездка в Мюнхен на три дня. И еще день перед возвращением домой мне предстояло прожить в отеле фрау Хильды Марии Шредер. Я не мог тогда предположить, какие события развернутся в мое отсутствие.

Чтобы не платить лишнее за гостиницу, сдал на хранение вещи Борбу (камерой хранения тоже он ведал) и попросил, если можно, к моему приезду забронировать мне ту же комнату, где я жил.

В Мюнхене, в гостинице средней категории, попросил номер не дороже тридцати пяти марок. Наученный горьким опытом, добавил, что собственно суточная стоимость номера меня не интересует. Я имею в виду сумму, которую фактически придется платить за сутки.

А разница в этих на первый взгляд одинаковых понятиях немалая. В первые дни пребывания в Западной Германии я вот так же попросил в маленьком городке Оберсдорфе недорогой номер. Подобная просьба, конечно, вынужденная. Скажем, у нас с незапамятных времен было установлено: за гостиницу по командировке тебе заплатят рубль сорок шесть копеек. Если же номер стоит, например, два пятьдесят, добавишь из собственной зарплаты. А за границей добавлять не из чего. Об этом тщательно заботится наша бухгалтерия, чтобы не из чего было добавлять.

Так вот, в Оберсдорфе мне предложили номер за тридцать четыре марки. Правда, номер без телефона, без умывальника, без каких-либо удобств. Но я подумал, что сутки можно прожить в любом номере, только бы не выйти за пределы отпущенных на командировку денег.

При отъезде мне дали счет на 44 марки 18 пфеннигов.

— Это ошибка,— сказал я администратору,— номер стоит тридцать четыре.

— Вы правы,— любезно ответил он, протягивая руку к счету.— Видите, здесь так и написано, стоимость номера — тридцать четыре марки. И дальше все написано. Мервертштоер — одиннадцать процентов, это три семьдесят восемь. Надо платить?

Я молчал.

— Вы же знаете,— уверенно сказал он.— Это государственный налог на все виды платежей. Вы платите его даже в общественной уборной. Правильно?

— Правильно,— вспомнил я.

— Идем дальше по счету. Обслуживание десять процентов — три сорок. Надо платить?

— Надо.

— Ортстаксе — пять процентов, одна марка семьдесят. Правильно?

— А что это?

— Налог за место. За пейзаж. Вы ведь видите, в каком красивом, живописном месте находится отель.

— В красивом,— согласился я.

— Идем дальше по счету. За то, что отказались от завтрака,— одна марка тридцать. Правильно?

Я растерялся. Это уж было слишком. Дело в том, что в гостиницах ФРГ такие завтраки, к которым мы не привыкли. Крошечная булочка — треть нашей семикопеечной, соответствующий кусочек масла, джем и чашка кофе. Стоит такой завтрак три марки. За эти же деньги внизу в кафе можно позавтракать вполне прилично, получив еще вкусные сосиски, или котлету, или пару яиц. Учитывая к тому же, что завтрака в гостинице мне явно недостаточно, я заранее и отказался от него. Почему же должен платить?

Как объяснил мне администратор, отказ от завтрака наносит убыток отелю в одну марку и официанту — тридцать пфеннигов за обслуживание, поскольку он меня не обслуживал. Только эту сумму убытков, одну марку тридцать, мне и вписали в счет.

— Итого, сорок четыре марки восемнадцать пфеннигов,— подвел он итог.— И не думайте,— добавил он убежденно,— нам от этой суммы идет только тридцать четыре. Ровно столько, сколько мы вам и сказали.

В других городах приходилось платить налоги и на благоустройство города, и отдельно за ванну при номере, и даже за отопление. Поэтому, останавливаясь в гостиницах, я каждый раз спрашивал, сколько мне придется платить всего, учитывая и стоимость номера, и все налоги, и сборы. Так брал номер и в Мюнхене. И тем не менее пришлось платить больше, чем мне сказали. За день успели ввести еще какой-то побор — пять процентов.

. . . .

В отель фрау Шредер вернулся к середине дня. Как-то странно, непривычно сухо встретил меня Борб. Ну что ж, всякое случается. Видимо, плохое у человека настроение.

Был последний день моего пребывания в Западной Германии. Решил сразу же пообедать, потом зайти в посольство выполнить необходимые формальности и попрощаться с товарищами. Когда спустился в ресторан, там была Герта. Но ко мне подошла незнакомая официантка. На мой вопрос об Эрике девушка ответила:

— Она больше здесь не работает... Вы не беспокойтесь, я постараюсь угодить вам.

Расспрашивать было неловко. Наскоро поев, спустился вниз. У входа в отель Борба не оказалось. Решил подождать его, меня беспокоила Эрика. Он появился очень скоро. Я сказал:

— Что с Эрикой, Генрих?

— Откуда я знаю! — резко и недовольно ответил он.—

И еще более резко добавил: — Почему вы об этом спрашиваете?! Почему это вас интересует?

Нет, это уже была не резкость, а грубость. Грубости я не заслужил. Ведь мы были почти друзьями.

Ничего не сказав, в полном недоумении пошел к выходу из парка. И по пути в посольство, и на протяжении двух часов, что находился там, эта сцена не выходила из головы. И на обратном пути в отель тщетно искал хоть какое-нибудь объяснение происшедшему.

В запасе у меня оставалось часа полтора. Вещи собраны, счета оплачены, билет в кармане. Зачем иду в отель? И как вести себя с Борбом? Ведь глупо же просто вот так уехать, пройдя мимо него, не пожав ему руки. Но и спрашивать, что случилось, не могу. Не имею права.

Решил на прощание побродить по набережной Рейна и вернуться в номер к приходу машины. Пожалел, что не сообразил сразу же взять машину. Лучше уж погулял бы по Кёльну, где мне предстояло сесть в поезд. Хоть еще раз взглянул бы на Кёльнский собор, на знаменитые кёльнские мосты. Остановился, раздумывая, не вернуться ли в посольство, чтобы тут же уехать.

И в эту минуту увидел Борба.

— Извините меня, ради бога, извините меня,— еще на ходу говорил он, прижимая руки к груди.— Я не мог иначе поступить, ради бога, ради бога...

На него было жалко смотреть. А он все повторял одни и те же слова, пока я не спросил, что же случилось?

— Понимаете, Брегберг совсем взбесился. Его все же выследил этот однорукий. Оказывается, руку он потерял не без помощи Брегберга. Этот однорукий не так прост. Он докопался, что и сейчас Брегберг в новой нацистской партии ведет какие-то подлые дела. Он сообщил властям. А за свою руку собирается отомстить сам. Но, я думаю, прежде чем он соберется, дружки Брегберга успеют разделаться с ним. И все-таки Брегберг боится. Он стал всего бояться. Сказал, если заметит меня вместе с вами, у вас останется возможность увидеть меня еще только один раз. На моих похоронах.

Я машинально посмотрел по сторонам.

— Не беспокойтесь,— перехватил мой взгляд Борб.— Он только что уехал. Вернется через три дня. А когда вы подошли ко мне, он стоял у окна на лестничном проеме. Он не смотрел в нашу сторону, но я знал, что он видит нас. Боюсь, что даже разговор наш он мог слышать. Поэтому я так говорил. Ради бога, не сердитесь... Я специально вышел встретить вас...

— Ну что вы, Генрих, я вас хорошо понимаю.

Он благодарно посмотрел на меня и продолжал:

— У нас бог знает что творится. Бедная Эрика, отцу стало совсем плохо. Врач определил опухоль. Предложил немедленно удалить, иначе он ни за что не ручается. Накоплений Керна как раз хватило бы на операцию и пребывание в больнице. Ему ведь платить сто процентов. Керн наотрез отказался от операции. Сказал, что лучше он один умрет, чем вместе с женой от голода после операции. О приюте для бедных и слышать не хотел.

Все это рассказала убитая горем Эрика, вернувшись из дома после выходного. Несчастье произошло как раз в те дни, когда издевательства над ней рыжей клячи превзошли все пределы. Дело в том, что с некоторых пор Брегберг стал посматривать на Эрику. И простить этого Эрике она не могла.

Мы шли очень медленно, и говорил он медленно, тяжело, то и дело пальцем вытирая глаза.

Борб рассказал, что еще одно горе обрушилось на плечи Эрики. У них остановился какой-то тип из Швейцарии, который не просыхал от виски и швырял деньги направо и налево. Увидев Эрику, подошедшую взять заказ, он ахнул и велел ей после ужина явиться в его номер. Ее лицо залилось краской и, боясь, что брызнут слезы, она убежала. Молча и спокойно наблюдала эту сцену Сильвия. Послав к посетителю Герту, она пошла вслед за Эрикой.

Герта понимала, что внизу разыграется трагедия. Трагедии не произошло. Приласкав и попытавшись успокоить Эрику, Сильвия отправила ее отдыхать. Эрику охватил ужас. Она не могла понять, что это значит. Ей было страшно.

На следующий день Сильвия опять была ласкова с Эрикой, сказала, что сочувствует ее горю и готова помочь ей. Объяснила, что жизнь отца находится в ее руках. Просто сам бог послал этого богатого и хорошего человека, чтобы спасти семью от катастрофы. Он не пожалеет никаких денег.

— Стремясь тебе помочь,— закончила Сильвия,— я обо всем договорилась с ним.

— Как вы можете! — отшатнулась Эрика.

Сильвия не смутилась. Сказала, если Эрика бесчувственная и жестокая дочь, может продолжать упорствовать. Только пусть подумает, как сможет жить дальше после скорой смерти отца. Только одна она будет виновницей его смерти.

Весь день Эрика ходила, теряя рассудок, а Сильвия ласково подобивала ее. Потом настроение Эрики улучшилось. Она подумала, как легко все это кончится, если сама она умрет. Сильвия радовалась, что у Эрики улучшилось настроение, и хвалила ее. На следующий день поручила ей рассчитываться с посетителя-

ми, пока справится со своими делами в городе, куда уедет на несколько часов. Перед вечером, когда люди уже пообедали, а ужинать еще было рано и в ресторане находилось всего два-три человека, она вернулась и позвала Эрику к себе.

Оказывается, она ездила к ее родителям, вручила им необходимую для операции сумму, объяснив, что деньги прислала хозяйка отеля в благодарность за беспримерную старательность их дочери. Родители плакали от радости, просили благодарить хозяйку, с гордостью говорили о своей дорогой девочке, их единственной надежде, опоре и радости. Их счастье всегда было только в ней.

— А теперь ты можешь поехать и убить их,— закончила Сильвия.— На операцию отец ложится завтра. Сегодня еще не поздно отобрать у него деньги.

Только от первой фразы Эрика вздрогнула, и лицо стало белым. Руки повисли, голова поникла, и она прислонилась к стене. Сильвия сама сняла с нее свеженакрахмаленный фартучек, сама поправила ей прическу.

— Это «Шанель», моя девочка,— ласково говорила она, извлекая из шкафа флакончик.— Сейчас я тебя надушу. Лучшие духи Франции. Теперь и у тебя будет «Шанель».— Осматривая Эрику со всех сторон, отряхивая юбчонку и получше заправляя блузку, ворковала: — Ты умница, моя хорошая, ты благородный и честный человек, ты спасла от смерти отца, моя красивая. Он скоро поправится, начнет работать, и всем будет хорошо... Ну вот, теперь пойдем.— Она поцеловала Эрику и сама повела ее.

Возможно, Эрика ничего не слышала. Она молчала, пока Сильвия приводила ее в порядок, молча шла из флигеля через двор, молча поднималась по лестнице.

— Вот и пришли,— замедлила шаг Сильвия, легонько подталкивая ее к двери.

При этих словах голова Эрики дернулась назад, будто кольнули в спину, глаза ожили и, полные ненависти, уставились на Сильвию. Но это уже было как предсмертная судорога. Она тут же обмякла, беспомощно повисла голова.

— Что ты, детка моя! — испуганно протянула к ней руки Сильвия.

Эрика резко отстранила ее. Выпрямилась, шумно выдохнула и без стука толкнула дверь в номер.

Сильвия постояла несколько секунд, поправила прическу, едва заметная улыбка скользнула по лицу. Уверенным шагом, не обернувшись, направилась вниз.

О случившемся Брегберг узнал на следующий день. Узнал от фрау Шредер, которая видела, как Сильвия отвела Эрику

в номер. От других узнал, какой ласковой она была с Эрикой в последние дни, и все понял. Понял, что дорого продала ее.

Поздно вечером, когда дом утих и Сильвия пошла к себе во флигель, Брегберг последовал за ней. Она обрадовалась.

— Вот видишь,— сказала торжествующе,— ты заглядываешься на Эрику, веришь, когда эта паскуда стеснительно опускает глаза, а она не зевает. Уже обработала этого из Швейцарии, у него ночует.

Брегберг наотмашь ударил ее по лицу. Это не был удар, вызванный порывом. Это было его решением. Он бил Сильвию, а она боялась кричать. Боялась, если закричит, будет бить сильнее.

Потóм сказал:

— Я не стану отнимать у тебя деньги, которые ты заработала на этом деле. Я даже рад твоей находчивости. А проучил тебя за то, что изменила своему слову быть мне преданной. Обязана была, прежде чем отправлять ее в номер, привести ко мне.

Расчеты Сильвии не оправдались. Она думала, что после происшедшего Брегберг потеряет к Эрике всякий интерес. А он, взяв ее с собой, укатил куда-то на три дня. Велел Сильвии срочно взять на работу другую официантку и к его возвращению подобрать поблизости жилье для Эрики...

Мы подходили к отелю фрау Хильды Марии Шредер. Борб умолк. И уже у ворот парка сказал:

— Теперь Сильвия будет бесплатно давать Эрике ключ от комнаты во флигеле. А фрау Шредер найдет возможность посочувствовать Сильвии, брошенной Брегбергом. Если же однорукому удастся разделаться с ним, фрау Шредер выгонит Сильвию и не даст ей рекомендации. Тогда на работу устроиться она не сможет.

Я не знал, что сказать Борбу. Но тут блеснули фары завернувшей в парк машины. В ней были мои друзья из посольства — Саша и Боря. Они приехали проводить меня.

В номер я не поднялся. Борб вынес мои вещи, и мы грустно распрощались.

За рулем сидел Боря. Как-то, отправляясь в Гамбург, он брал меня с собой. Ездит он быстро. Но сейчас я попросил его, если можно, ехать побыстрее.

— Что это ты? — удивился Саша.— У нас уйма времени.

Я сказал:

— Посидим полчасика где-нибудь в Кёльне.

Мелем... Бад-Годесберг... Бонн. Мелькали, чередуясь, яркие огни и темные, будто вымершие, кварталы, с задраенными, зашторенными окнами. Через сорок минут мы въехали в Кёльн.

Билась в судорогах огненная реклама на стенах, крышах, вышках. Как из бездонной бутылки, лилось и лилось шампанское в огромный бокал и выплескивалось, пенясь неоновыми искрами. На многоэтажном доме в диком танце дергалась световая фигура женщины, обещая все наслаждения мира. Шикарные, сверкающие витрины магазинов кричали о всеобщем благоденствии. Откуда-то вырвался и нарастал, как у падающей бомбы, вой сирены. Пронеслась машина с мигающими огнями на крыше, а за нею цистерна с полицейскими, держащими наготове брандспойты. Неторопливо и деловито рылся в мусорном ящике человек в черной шляпе. Рядом, присев на задние лапы и задрав голову, терпеливо смотрела на него собака. Ощупывая палкой землю, пересекал улицу слепой.

А над городом, упираясь в небо, величественно и неколебимо высились исполинские громады Кёльнского собора, словно утверждая вечность и незыблемость этого мира.

Будь проклят этот мир!

* * *

P. S. Так закончилась моя первая поездка в Западную Германию. Недавно я снова побывал там. После всего, что знал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк, и дом с мансардой, и флигель, затянутый зеленью, с опущенными шторами. Все было, как и прежде. Только не было Борба. Вместо него к машинам бросался какой-то здоровый парень.

— Не знаю,— грубо ответил он на мой вопрос о Борбе.— Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Что стало с Эрикой, с остальными обитателями отеля? Так ничего и не узнав, вернулся в Москву.

В Союзе писателей меня ждало письмо, пришедшее на мое имя. Это было письмо от Борба. Радостное, восторженное письмо. Ему наконец удалось осуществить свой давний план — уйти в ГДР. Как и надеялся, получил работу по специальности. «Что касается вашей просьбы,— пишет он,— то теперь возражений у меня нет. Надеюсь, вы не обижаетесь, что не сказал вам тогда о своих планах. Я человек суеверный и всего боялся».

Он разрешил мне опубликовать все, что найду нужным, но все-таки просил фамилии изменить. И еще одно условие поставил: не сообщать, откуда ему стали известны некоторые факты.

Я точно выполнил все пожелания Борба.

1970 г.

ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ

Из не очень солидных органов западной печати я узнал в 1964 году о том, что некий молодой человек Виктор Иванович Шешелев сбежал в Японию для того, чтобы бороться против советского строя.

Второй раз его имя всплыло года три назад в связи с шумным судебным процессом во Франкфурте-на-Майне по какому-то уголовно-любовному делу, где он выступал в качестве главного героя. А потом он сам рассказал мне в Бонне свою историю.

Говорил, на мой взгляд, откровенно, касаясь порой глубоко интимных вопросов, поэтому я спросил, не будет ли он возражать против опубликования нашей беседы. Он ответил: «Это можно, это пожалуйста», но только чтобы я не растолковывал его слов по-своему, а писал точно как он говорил.

* * *

Я родился в тридцать шестом году в селе Каменка, Тюменской области, Тюменского района. Меня часто били. Может, за то, что неохота было учиться, а скорее потому, что отец не просыхал. Правда, и в трезвом виде бил. Не везло мне в жизни с малолетства, потому что невезучим родился. Все-таки за шесть лет учебы до четвертого класса дотянул. Что же, думаю, так себя мучить. Бросил к черту школу и без малого два года жил свободно, без нагрузок. Но и на шее отца не сидел. В нашем колхозе бесхозяйственность тогда была полная, что хочешь, то и бери. Я и приносил каждый день... Ну, не так, как некоторые,— целыми мешками, а чтобы вполне пропитание обеспечить. После времени в нашем колхозе дела пошли на поправку, стало мне труднее. Ну, сам себе думаю, пора профессию понадежнее искать. Подался в Тюменское железнодорожное училище. А медицинская комиссия не пропустила, так как я не был развит ни физически, ни умом. А я так и думал, что опять не повезет. И тут стало внутри у меня все больше разгораться: зачем я родился? У каждого человека есть такое распределение заранее. Что ему положено, оно само выбьется наружу. И каждый сам в себе понимает, кем он должен стать и какие внутри у него силы. Учись не учись, а если ты, к примеру, не родился художником, нипочем рисовать не будешь. А самые знаменитые художники без образования выходят. К примеру, Рубенс — это я уже потом, за границей узнал — был совсем неграмотный. На своих картинах

он вместо подписи белую лошадь ставил. Что ни нарисует, обязательно лошадку присобачит.

Вот так и я. Большую в себе силу чувствовал, только не художника или там музыканта. Меня путешествия с приключениями стали заманывать, как у разведчиков. Ездил бы из одной страны во вторую, в города с небоскребами и другой шикарностью, летал бы из края в край по всей земле и по морям-океанам, чтобы посмотреть все державы и государства. Вот в этом и была моя внутренняя тяга и сила, чтобы оторваться от невезения. Эх, будь я разведчиком, такое бы сделал... Ну, ясное дело, подучиться надо, машины заграничные водить, фотографировать, шифры разные по радио передавать...

На то и школы такие есть, где обучают всяким приемам. Обучат как следует, дадут заграничный адресок и пароль, которые в голове надо без записей помнить, и будьте любезны — на аэродром без провожатых. Задание, скажут, на месте получите. А там и начнется инкогнито. Едешь, вроде тебе ничего не интересно, а сам примечаешь, где какой завод, фабрика, аэродром и другие дела, которые по тайному заданию на месте дадут. Чтобы подозрения не вызвать, на ночевку в самые дорогие гостиницы заезжать, питание принимать в шикарных ресторанах и тоже не зевать, незаметно приглядывать — что к чему.

Ну, стал я расспрашивать, где находятся школы разведчиков, а сам время не терял, начал готовиться. Я и раньше любил кино про разведчиков смотреть, а теперь по второму кругу пошел. Не просто по любопытству, а примечать, где какие они ошибки делают, когда проваливаются. И все думал: как же здорово там, за границей, машины ка́кие, а квартиры, когда цветные фильмы,— хоть стой хоть падай.

Расспрашивал людей про школы разведчиков, а они только улыбаются, никто не знает. А один говорит: «Чудак ты, парень, зря стараешься. В такие школы заявления не подают, надо, чтобы они сами тебя заметили и сами определили».

А как же они меня заметят? Может, их и нет здесь, может, они в Москве сидят... Безнадежное получается дело.

Вот так и произошло мое главное разочарование в жизни.

Не стал я больше спорить с отцом и устроился в Тюмени в ФЗО № 8, как он хотел. А какая может быть учеба, если по насилию пошел, да еще не в ту группу, куда сам хотел. Все-таки выучили меня на судоплотника и послали в Тюменский судостроительный завод.

Послали, а у меня раз оно внутри сидит, наружу все сильнее пробивается. Столько я про заграницу передумал, что отказываться от нее, вижу, нет расчета. Махну, думаю, туда, а смотришь, какой-нибудь случай и выведет в разведчики.

и про эту мечту думал и днем и ночью, и не давала она мне покоя и разворачивала душу. Мечту свою от всех прятал, только один раз за столом сказал про нее, а мать ударила меня ложкой по лбу и сказала: «От тебя, дурака, ничего умного не дождешься». Ни мать, ни другие не понимали мою душу, и я стал молчком пробивать дальше свою жизнь.

Из Тюмени уехал во Владивосток и пристроился плотником на Дальзаводе. Поработал немного и перебазировался в Дальневосточное пароходство. Нет, думаю, не такой уж я дурак, если тайком сумел так быстро к цели приблизиться. Взяли меня матросом, значит, в плавание пойду за границу. Еще раз пожалел, что не стал разведчиком, - вот ведь как я сумел тайно действовать.

Отправился в рейс, а судно оказалось каботажным, дальше своих портов не ходит. Ну, сам себе думаю, не такой я дурак, чтобы сразу в загранку проситься. Стал терпеть, пока сами пошлют. А тут беда, про которую я и не подумал. Пришла осень — и забрали меня как миленького в армию.

Пережил я тогда немало, вспоминать не буду. Всякие бродили мысли. И додумался до того, что, может, и хорошо это, что в армию. Отслужу, думаю, в Ракетных войсках гвардейских, приеду домой весь блестящий, в знаках различия, выберу себе девушку из тех, что полюбят меня, женюсь и заглушу любовью свою мечту о загранице.

В армии я попал в караульный взвод и охранял склад со старыми автоматами ППШ, и за плечами у меня был такой же старый ППШ. Старшине я почему-то не понравился, и все чаще посылал он меня на кухню посуду мыть. А там повар придирался: и то ему не так, и это не так, и вроде не все ему равно, в какие кастрюли наливать щи. Одним словом, сплавили меня в рабочий взвод, а там определили в кочегарку. Здесь уже особой чистоты не требовалось. Что они там про меня думали, не знаю, только комиссовали раньше времени, а чтобы вернее сказать, сократили из армии за год до срока.

После армии уехал в Таганрог, поработал месяца два и направился в Тюмень. Ни в Таганроге, ни в Тюмени никто меня не полюбил, а также я никого не полюбил. Хотя не знаю и утверждать не берусь, но, как мне показалось, счастья я не нашел, потому что невезение как клещами в меня вцепилось, и, чтобы оторваться от него раз и навсегда, один выход остался, какой я раньше наметил,— уехать за границу. Для этой цели прибыл во Владивосток и поступил матросом в Дальневосточное пароходство.

Приняли меня без рассуждений, как-никак уже работал у них, от них в армию ушел, про то, как служил, им неизвестно,

и полное мне доверие. Сразу на судно дальнего плавания назначили.

А дальше все как в сказке. Жизнь ко мне все задом стояла, а тут лицом обернулась. Выясняется, что в Японию идем. Ну, сам себе думаю, держись, Витя. Прибыли в Токио, и в первый же день стоянки отпустили в город на четыре часа. Правда, не одного, а пять человек, и старшего назначили. Так все кучкой и ходили.

И вот тут-то я окончательно удостоверился, что мечта моя была правильной. Бог ты мой, что в этом городе Токио! Глаза разбегаются, и не знаешь, куда смотреть. Машины — как волны в море. Колышутся по всей ширине и длине, магазины такие, что дух захватывает, хотя и день был, а огней разноцветных столько, будто радуги поразвесили. И девушки молоденькие, красивенькие, так ласково смотрят и знаки делают, зовут, улыбаются. И закружилось у меня в голове от этой шикарности, и иду я как контуженый, а сам себе думаю: только бы не выдать себя, чтобы старший ничего не учуял.

Заходили мы в разные магазины, но все кучкой, и затеряться от них не получалось. А я все сам себя успокаиваю, потому что хотя не трус я, а в дрожь меня все-таки бросало и очень потел. Для виду и я что-то стал покупать, а время уходило, и старший сказал — пора возвращаться. Ну, думаю, завтра я уж по-другому буду действовать. А завтра не получилось. Под утро снялись в свой порт. И еще два рейса неудачных было, пока не перевели меня на «М. Урицкого» В Находке взяли иностранных туристов на Олимпиаду в Токио. Туда шло пять наших судов с пассажирами, которые останутся жить на судах, пока идет Олимпиада. Тоже и наш «Урицкий». Значит, стоять будем долго и момент высмотрю, спешить не буду.

В Токио на первую прогулку отправились четверо. Старшим назначили пятого помощника капитана. Это помощник по пожарной части. Он из новеньких, в Японии не был. И две девушки с нами были из судового ресторана, тоже новенькие. Я им говорю: «Город я хорошо знаю, сто раз бывал тут. Я вам самые красивые места и самые дешевые магазины покажу».

Это я не просто говорил, а с полным сознанием Как только посадили мы туристов им планы Токио выдали. Где какие улицы, площади, стадионы — все помечено. А самой сильной краской все посольства всех стран выделили. И на каждом флажок нарисован. Вот такую карту я и раздобыл и все свободное от вахты время изучал ее в гальюне. У нас на судне плакат такой висел — флаги всех стран мира. Вот посижу, поизучаю флажки, потом с плакатом сверяю. Так я раскрыл, что самое близкое к порту это посольство Америки. Сто раз прошел

по карте все улицы и переулки до него, где направо повернуть, где налево — все зарубил себе.

Вот в тот район я и решил, как Сусанин, завести группу. Ну, они пошли за мной, а все получалось не по карте. Там было ясно, а тут перекрестки какие-то, но все-таки где-то поблизости оно должно уже было появиться. И тут я говорю: «Давайте зайдем в этот маленький ресторанчик, тут посидим, перекусим, музыку послушаем». Дальше получилось, как я задумал. «Что ты, говорят, психованный, что ли? Что тебе, на судне мало еды или музыки, чтобы на это валюту тратить». На такой ответ я весь расчет и тактику строил. Ну, говорю, как хотите, а у меня желудок больной, мне надо по часам питание принимать, как раз сейчас время.

Договорились, что они пройдутся по улице и через полчаса встретимся у этого ресторанчика. Вот так я их и обвел вокруг пальца. Зашел, выпил стакан молока, выглянул, а они уже далеко были. Я и метнулся в другую сторону, свернул в переулок. Побегал с полчаса, совсем заблудился, и только сердце стучит. Что делать, не знаю, а тут смотрю — такси. Остановил его, сел, достал карту туристскую — я ее с собой брал — и ткнул пальцем в американское посольство. Сам молчу, чтобы не понял он, что я русский.

Шофер был старый, надел очки, стал смотреть, я еще раз ему пальцем показал. Он понял, тоже молча вернул мне карту и поехал. Оказалось, посольство совсем рядом, метров пятьсот. Я ему все-таки сто иен заплатил и вышел. Надежная ограда, два японских полицейских у ворот, а во дворе сада на здании громадный флаг — звезды и полосы, как на плакате судовом, только большой очень, больше наших знамен раза в четыре.

И тут что-то со мной стряслось. Нашел же, что искал, радоваться надо, а мне страшно стало. Ну, не так страшно, как если судно гибнет или там бандиты напали, этого я бы не испугался. А тут дух стало забивать, вроде дышать нечем. Будто не думал про это все время, не готовился, а только что такая мысль в голову ударила. И сил нету сразу идти туда. Быстро так в сторону направился, виду не подаю. Точно не скажу, не помню, но вроде вертелось в мозгах: «Что я, сдурел, что ли?» А вернее сказать, не было мыслей окончательных. Перешибали они одна другую, и ни одна до конца не доходила.

Помню, когда первый раз попал в Токио, спустился по трапу, вышел на пирс — вот тебе и заграница. Судно мое, советское, трап мой, а пирс уже по другим законам живет. Спустился на этот пирс и разницы никакой не почувствовал. А тут перед воротами — уже на чужой земле, а все-таки еще дома я, а один шаг за ворота сделаешь по той же самой зем-

ле — и уже на всю жизнь другая судьба-дорога. И судно на веки вечные чужое, и к трапу не подпустят.

Пошел, значит, в сторону, а далеко не ухожу, круги возле посольства делаю. Сколько ходил — не знаю, может, пять минут, может, полчаса, о чем думал, тоже не знаю, только спохватился, что со спиной у меня что-то не так. Повел плечами и понял: она не то чтобы вспотела, а вся рубаха насквозь мокрая и прилипла к спине.

Тут и в голове прояснилось. Все-таки, думаю, невезение стало меня немного отпускать. Ребята на судне хорошие, дружные, меня уважают, девчата тоже, веселые, шумливые, их у нас много было — и в ресторане и в других службах. Самодеятельность хорошая, я в хоре пел, и тоже не на последнем месте. Друзьями обзавелся, в своем порту во Владивостоке в «Золотой рог» ходили вместе посидеть, потанцевать. Ну ее, думаю, к черту, эту Америку.

Думаю, а самого скребет. Зачем тогда мучился тайно, готовился? Почему отказываться от путешествий и приключений, если уже с таким трудом своего добился — вот они, все дороги, открылись. И опять про ребят подумал и в последний раз махнул — не пойду, вернусь на судно. Пошел было, но стал, как в стену уперся: а что мне теперь первый помощник капитана скажет, который пропуск в город выдавал? Это японские пропуска, их на всю команду дали. Может, не поверит, что я заблудился? Может, подумает, нарочно от группы отстал, чтобы сбежать с судна... И я повернул к воротам.

Полицейские остановили у входа, что-то спрашивают. Я им пропуск показал, они повертели его, посмотрели на меня и показали на дом: мол, можешь идти. Прошел по дорожке, поднялся на ступеньки, открыл дверь. Помещение большое, в коврах и люстрах, напротив широкая белая лестница. Справа солдат, слева за столиком девушка. Направился к лестнице, а девушка задержала, вопросы какие-то задает. Я ей тоже пропуск предъявил. Она смотрит и вдруг вся заулыбалась: «Русский, русский» — и побежала к шкафчику. Она немного русский знала. Достает карту Токио и ноготком своим длинным в одно место тычет и объяснения дает наполовину по-русски, наполовину по-своему: ошиблись, говорит, вам вот куда надо, вот русское посольство, а вы вот куда попали — и все ноготком, ноготком красненьким тычет. А потом ведет свой ноготок по карте зигзагами, путь мне в наше посольство прокладывает.

Смотрю я, рот облизываю, а он сухой и шершавый, будто пленкой клеевой покрыт, и она вся чисто потрескалась. Хочу глотнуть, а глотать нечего. Последняя, думаю, распоследняя надежда домой вернуться. Может, это моя судьба ноготком

водит. Может, это не в посольство, а в жизнь мою дорога прокладывается. Может, и правда пойти туда и сказать: так, мол, и так, заблудился, помогите поскорее на «Урицкого» попасть, а то скоро на вахту заступать... А вдруг видел кто, как сюда заходил? На явку, подумают, являлся...

Пока стоял я как тупой, она переводчика вызвала, что-то пролепетала ему, а я так и выпалил: «Не ошибся я, сюда шел».

Повели меня куда-то, а я все стараюсь по бровке ковра без нажима ступать, чтобы не затоптать его. Посадили к столу, напротив — посол или консул, в точности сказать не могу. Переводчик рядом. И спрашивают меня, кто такой, откуда и зачем пришел. Я все объяснил как есть на самом деле: матрос, мол, но хочу жить и работать за границей, лучше всего в Западной Германии, но согласен во Франции или Италии.

Улыбнулись они и спрашивают, кем бы я хотел работать. Плотником, отвечаю, маляром или матросом. Они опять заулыбались: «А что, у вас такой работы нету или вы плохо жили?» Почему же нету, говорю, работы сколько хочешь, и жил в последнее время хорошо. «Тогда, мистер Шешелев,— говорит этот посол или консул,— вам здесь делать нечего, и мы доставим вас на ваш пароход или вызовем сюда вашего капитана, объясним, зачем вы сюда являлись, и пусть сам забирает вас».

Сказал он эти слова, и теперь не спина, а все лицо, чувствую, потом покрылось. Вижу, будто поднимаемся мы с капитаном по трапу на «Урицкого», а весь экипаж, и коридорные, и буфетчицы — все высыпали на палубу и смотрят, как мы поднимаемся. А капитан говорит: «Вот он, полюбуйтесь, предатель и изменник Родины». А они не любуются, каждый будто в лицо хочет плюнуть или в морду дать.

Увидел этот посол или консул мое внутреннее сотрясение и говорит: «Чтобы остаться за границей, надо политическое убежище просить. Нужны объяснения серьезные и обоснованные. Например, притеснения со стороны властей, гонение на вас или родителей, родственников, аресты, тюрьма, а главное, что вы не согласны с советским режимом и с коммунизмом».

Вот, выходит, как дело оборачивается. Ни назад хода нету, ни вперед. В дрейф ложиться надо, куда волна вынесет.

Все-таки собрался с силами и говорю: «Если иначе никак нельзя, делайте как надо, а мне уже все равно».

Потом за мной приехали японцы из министерства иностранных дел и других органов. Они увезли меня в отель и поставили в комнате штатскую охрану, чтобы меня не украли советские агенты или кто-нибудь другой.

Утром пришли другие люди и дали подписывать какие-то

бумаги. Стоп, сам себе думаю, какие это такие еще бумаги, а сам иду, подписываю. Да стоп же, сам на себя кричу, куда ж меня водоворот закручивает? А они только подсовывают, а я все подписываю не глядя, как в кинохронике на международных договорах. После заполнял формуляр и отвечал на вопросы. Мне показывали разные графы и говорили: «Вот тут пиши «да», а тут пиши «нет». Я так и делал. А дальше я мало что помню. Каждый день меня куда-то возили и расспрашивали про заводы, фабрики, про Владивосток и Находку и особенно про службу в армии. Ну что я им мог сказать, когда я ничего не знал. Про старые ППШ сказал — не верят, про то, что ничего не знаю,— тоже не верят.

На второй или третий день кто-то постучал в дверь не по-условному. Меня быстро затолкали в ванну, и со мной остался один из охраны. Выяснилось, что меня ищут журналисты, чтобы я подробнее рассказал про коммунистический ад, о чем было с моих как будто слов сообщено в печати. Часов в пять утра меня подняли, вывели черным ходом и увезли в другой отель.

Здесь за чашкой кофе текла у нас непринужденная беседа. Меня спросили, могу ли я перечислить фамилии всех членов экипажа и сказать, кто чем занимается. Я не мог, так как было много новеньких. Тогда мне дали судовую роль всех членов команды, и я отметил ребят, которых знал. Потом принесли целую гору фотографий. Здесь были карточки всех членов команд всех пяти советских судов, стоящих в Токио, а также спортсменов и туристов, живших на судах. Также были сфотографированы все японцы, посещавшие советские суда,— и гости, и чиновники, и все, кто ступал на борт этих судов. Мне велели отложить снимки тех, кого я знал. Я так и сделал. Они стали расспрашивать о каждом из них.

Потом мне сказали, что представители экипажа «Урицкого» хотят со мной поговорить, и велели подписать бумагу, что я отказываюсь. Хорошо, что велели отказаться. А вдруг заставили бы встретиться! Что говорить им? Куда глаза прятать? Может, первая та была бумага, какую я охотно подписал. Еще несколько дней допрашивали, им не верилось, думали, просто под дурака играю. Когда убедились, что толку от меня мало, передали западногерманским немцам. Перед этим переводчик по-дружески сказал мне: «Американцам ты не нужен, в Японии тебя тоже не оставят, поэтому постарайся понравиться немцам. А они очень подозрительно к тебе отнесутся».

В посольстве ФРГ меня посадили за круглый стол, было много людей, и я думал, как мне отвечать на их вопросы. В это время быстро вошел их главный, все расступились, и он

строго сверлил меня своими глазами и так быстро задавал вопросы, что я не успевал отвечать. Потом так близко наклонился ко мне и сказал резко, как приказ: «Тебе надо вернуться назад».

Я не ждал такого, но быстро сообразил, что это игра, которая входит в их политическую логику. Им выгодно на весь мир шуметь, что советские моряки бегут в ФРГ. Не такой я дурак, чтобы не понять, чего они хотят. Поэтому вскочил и закричал: «Нет, не вернусь!» Они заулыбались, стали успокаивать, говорить, чтоб не боялся, никто меня коммунистам не отдаст. Что же я делаю, думаю... А, черт с ними! Они пятьдесят лет так шумят. А в моем-то положении еще думать о чем-то...

Тогда и наступил главный вопрос: почему хочу именно в ФРГ и что я о ней знаю. А что я знал о ней? Ничего хорошего, только плохое. И вдруг стоп, сам себе думаю. Вспомнил последнюю политинформацию на судне. По ней прямо и пошел. Правительство Эрхарда, говорю, ведет борьбу с коммунизмом не на словах, а на деле. Вот запретили компартию и другие их органы, многих коммунистов посадили в тюрьму. Это, говорю, хороший пример от Гитлера, он тоже так начинал, и его поддерживал весь германский народ. Гитлер, говорю, каждому человеку дал хорошую работу, не стало безработицы, а проиграл войну только случайно... И тут один недоделок перебивает меня и спрашивает: «А ты нормальный? Ты один такой в Советском Союзе или еще есть?» Эти слова показались мне обидными, но я помнил предупреждение переводчика, обиды не показываю, говорю: «Вполне нормальный, и не я один такой».

Больше в тот день меня не трогали, зато за несколько дней потом всю душу выворотили своими вопросами. Снова отвезли к японцам и там сказали: «Сейчас у тебя будет встреча с советским консулом. Отказаться никак нельзя. Но ты не бойся, будут наши представители и охрана. Разговор будет ровно десять минут. Главная твоя задача — вопросов не задавать и молчать. Десять минут как-нибудь потерпишь». Нарисовали план комнаты, вот с этой стороны стола, говорят, консул будет сидеть, вот здесь ты, а тут и тут охрана и другие представители. Потом долго объясняли, что, если поддамся на пропаганду консула, дома меня без суда расстреляют, вроде такой закон есть.

Когда вошли мы в ту комнату, человек десять, консул уже в назначенном стуле сидел. Совсем молодой, лет тридцать с чем-то. Вот, думаю, везет людям. А он поздоровался со мной, развел руками и, улыбнувшись, говорит: «Что же так много народу, не подеремся же мы с ним, как думаете, Виктор Иванович?» Нет, говорю, не подеремся.

Ему объяснили, что все это официальные представители. Консул справился о моем здоровье и самочувствии, а также сказал, что вся команда за меня очень переживает и что они все меня ждут на судно.

Я чувствовал и понимал, что консул говорил правду. Я знал, вся команда относилась ко мне хорошо, а может быть, даже с уважением. Я еще не успел ответить, как заговорили разные представители, они вроде упрекали консула за пропаганду. Так в суматохе прошли десять минут, консул успел сказать мне еще одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь и на каждый день. Я сейчас ее повторю, но, когда прошло десять минут, все вскочили и со всех сторон оттеснили меня от консула и почти что вытолкали побыстрее за дверь.

На другой день — про это я не скоро узнал — всякие газеты и радио кричали, что бежавший от советского режима матрос оказался стойким борцом против коммунизма и дал решительный отпор советскому консулу.

Потом приезжали по очереди американский и немецкий консулы, чтобы попрощаться со мной и сказать напутствие. Американец объяснил, какая сильная, богатая и надежная страна Америка и как хорошо там живут люди. На прощание сказал: «Помни и знай: Америка всегда за твоей спиной и, что бы с тобой ни случилось, ты найдешь помощь, поддержку и спокойствие». На память он сфотографировался со мной. Потом приехал немецкий консул доктор Шмидт и говорил то же самое про ФРГ и тоже пожелал иметь на память нашу с ним фотографию.

Я понял, что моя жизнь будет обеспечена.

Перед отъездом в ФРГ получаю инструктаж. Сказали, что меня будут провожать торжественно, даже фотографы придут. Должен быть бодрым, глубокомысленно-деловым, в меру веселым. На аэродроме к самолету должен идти быстро, но не бежать, ни с кем не вступать в разговоры, не отвечать на вопросы. Когда поднимусь на верхнюю площадку трапа, спокойно и величественно повернуться лицом к публике, снять шляпу — мне уже выдали ее, хотя на мою голову она не лезла,— помахать ею красиво над головой, потом решительно повернуться и исчезнуть в самолете.

Мне это здорово на душу легло. Так же только в кинохронике провожают важных лиц. Ну, думаю, с этим-то я справлюсь, важности напустить на себя сумею. Инструктаж давали американцы, хотя отправлялся в ФРГ. Эта мысль промелькнула и не задержалась в голове: какая мне разница. Когда мы спустились, меня затолкали в машину в полном смысле, потому что я ослеп от вспышек фотографов. Со мной

сели двое, а остальные разбежались по другим полицейским машинам, и на большой скорости, с воем сирен мы понеслись на аэродром. Там я увидел множество полицейских, а также толпу людей. Когда я вылез, меня снова ослепили вспышки, и я пошел не туда. Меня поймали за руку, повернули, подтолкнули в спину. Я торопился, спотыкался, как слепой, натыкался на полицейских, которые направляли мое движение. А я держал на голове шляпу рукой, чтобы ее не сдуло с макушки. Возле трапа опять ослепили, и я побежал наверх, чуть не упал, но, как мне было велено, на площадке сделал разворот, размахнулся в воздухе шляпой и, не надевая ее, вошел в самолет. У входа стоял человек, который показал, где мне сесть.

Тогда я не понимал, почему такие проводы, почему столько машин, бешеная скорость, сирены, вспышки фотографов. Спустя много времени узнал, что это им надо было для печати, для выгоды своего политического акцента как важного борца против коммунизма.

С посадками на Аляске и в Амстердаме, с разными приключениями я прибыл во Франкфурт-на-Майне и был поселен в однокомнатной квартире необитаемого дома на Мендельсонштрассе. Это был конспиративный дом американской разведки. Среди встречавших меня был американец Линдон, говоривший по-русски. Он познакомил меня с американским разведчиком Вагнером, который будет обо мне заботиться. Кто такой Вагнер и что это за дом, я узнал позже, а пока мне запретили выходить из дома, не велели приближаться к окнам, так как русские агенты могут меня застрелить. Объяснили, на какие звонки и стуки отвечать, пожелали спокойной ночи и ушли.

За столько времени я остался один, и хотя не верил тому, что они говорят, но стало страшновато. Весь трехэтажный дом стоял как пустой. Так я определил в первые три минуты и так заключил через три месяца, что это только кажется. На самом деле во всех углах тихо сидели люди — или такие, как я, которых прятали, или которые сами прятались, следя за нами. Долгие дни, и ночи, и недели, и месяцы я никого не встретил в этом большом доме и не услышал шороха. Но в тот первый вечер мне показалось, что кто-то сидит за стенами, может, в этих стенах и на потолке устроены глазки, и они поворачиваются за мной, куда бы я ни пошел.

Может, все это чушь, но я рассказываю про это, чтобы вы поняли мое внутреннее содержание. Я подумал: возможно, я сойду с ума или уже стал сумасшедший,— и нарочно стал громко ходить, пошел в ванну, на кухню, открыл холодильник и даже ахнул. Весь он был огромный и полный самыми любыми продуктами питания и бутылками.

И тут я отвлекся от своих мыслей и подумал: вот бы ребята увидели, как я живу, как барин, с креслами, коврами, ванной и таким холодильником, что на весь экипаж хватило бы. А потом опять мне глазки́ чудились, я резко поворачивался, но ничего заметить не мог. Спал я, как осенний дождик: то идет, то перестает. То дремлется, то спохватываюсь, а то вижу, что лежу и давно не сплю. Когда на следующий день позвонил Линдон и справился о самочувствии, я обрадовался, как родному голосу. Он сказал, что, наверно, я скучаю, потому сейчас ко мне приедет Вагнер. Он и приехал, вежливый, обходительный, веселый, и мне стало совсем хорошо. Он тоже говорил по-русски, мы сделали кофе, и потекла у нас задушевная беседа. Говорили мы на равных, я тоже старался и, как он, клал нога на ногу или разваливался в кресле с чашечкой кофе в руках. На столе было много закусок, и опять я подумал про ребят.

Основательно говорил только Вагнер, а я больше прислушивался и имел на его слова свое соображение. Получалось, что русские агенты стоят чуть ли не у дома и вообще повсюду расставлены и охотятся за такими, как я. А уж если человек сам вздумает вернуться в Россию, его обязательно признают шпионом и без всяких разговоров расстреляют.

Это я вам рассказываю сокращенно, а он про все это во всех мелочах часа три беседовал. Зря только он говорил, потому что я и сам кое-что понимал, а также выходить из квартиры намерения не имел и возвращаться не собирался. Я уже для себя решил без изменений: жилье хорошее, ешь, пей, сколько хочешь, а там видно будет.

На другой день начались допросы. Нет, неверно, допросов не было. Допрос — это когда так строго, официально, с протоколами... А тут просто беседы. Про политику, экономику, литературу, комментарии на различные советские газеты, журналы, книги и членов Советского правительства. Сюда также входят различного рода рассказы, анекдоты, женщины, все это последовательно закрепляется пивом, виски, кофе — кто что любит. А потом завершается общим обедом за общим столом. Такие беседы растягиваются на много месяцев. Но тогда я еще этого не знал. Тогда я только в первый раз пожалел, что нет у меня образования. И когда заходил разговор о музыке или литературе, говорил, что больше всего люблю Чайковского и Пушкина. Когда же начинали разбираться досконально по отдельным стихам или по мелочам музыки, я выражался общими словами, но думаю, они подозревали, что в этих делах я компетентный неокончательно. Я старался все больше по части анекдотов, и они всегда смеялись. В промежутках мне задавали много вопросов.

Иногда два-три человека сразу задавали один и тот же вопрос, только в разных вариантах, или один и тот же вопрос, но разные люди. Беседы были на квартире, но чаще всего в другом особняке, куда меня привозили на машине, и там нас обслуживала фрау Габбе.

Меня спрашивали про то же, что и в Токио,— о питании на судне, о тревогах на судне, о комсоставе на судне. Потом о Владивостоке и Находке. Какая глубина бухты Золотой Рог, заходят туда или нет подводные лодки, какие ворота бухты, как они охраняются, есть ли там ракетные корабли — и сто раз про одно и то же. Потом велели нарисовать по памяти бухту Золотой Рог. А я даже не знал, как приступиться. Зря наболтал им, что у меня десятилетка и морское училище окончил. Они ушли, а я стал думать, как рисовать. Думал, думал и здраво и логически сделал полное заключение, что они меня испытывают. Бухта Золотой Рог на всех морских картах есть и, наверно, в разных атласах и учебниках, и они лучше меня знают про эту бухту. А вопросы задают, чтобы проверить, правду я говорю или обманываю. Поэтому на другой день виду не подаю, показываю, что я там нарисовал, и очень стараюсь хорошо отвечать на вопросы.

Они поняли, что я не ловчу и человек честный, и сразу перешли на вопросы, которые им были нужны, а именно про Тюмень. Спрашивали про места нахождения газа, нефти, о научных институтах, лабораториях, о которых я не имел понятия. Потом про заводы, фабрики Тюмени, какую продукцию какие фабрики выпускают, какие настроения, о чем говорят рабочие, о воинских частях, ракетах, училищах, радиостанциях. Не брезговали ничем, даже кинотеатрами, клубами, больницами. Даже глазная больница им зачем-то понадобилась. И где, на какой улице что находится, и какого цвета эти здания, и сколько этажей. Тюменью они интересовались так досконально и упорно, что каждый дурак уже мог понять, какую агентуру они собираются туда забрасывать. Про Тюмень они мучили меня не одну неделю, а я, как ни старался, толком ничего не мог сказать, потому что был совсем давно. Они заставили чертить улицы, расположения улиц и площадей, реку Туру.

Под конец третьего месяца я уже не мог спокойно разговаривать, потому что они вымотали из меня всю душу и выжали, как сильная прачка выкручивает белье, а потом вытряхнули, намочили и опять стали выжимать.

Исходя из принципа своего возмущения, я пожаловался Вагнеру.

Сказал, что скоро сойду с ума, а точно не знаю, может быть, я уже сумасшедший, и у меня не осталось ни внутрен-

них, ни наружных сил. Сижу, как в тюрьме, дома, или увозят на закрытой машине, как арестованного, на допрос и опять сюда. Я выдавал не стесняясь, потому что долго терпел и знал, что Вагнер за меня заступится, поскольку с самого начала он обрисовал мне хорошую жизнь, про что я ему без утайки напомнил.

Вагнер слушал внимательно, сам молчал и только качал головой, также выражая сочувствие. Когда я ему все выдал как следует, он сказал, чтобы я перестал разыгрывать из себя дурачка и дурачить их. Они меня кормят, поят, одели, обули, им дорого обходится моя квартира с ванной, а взамен я ничего не даю. Таким сердитым я его не видел, тем более когда он говорил, что я их очень подвел. Они объявляли несколько раз в печати и по радио, что вот такие честные и умные люди, как я, не могут жить в советском режиме и бегут за границу, чтобы бороться против этого режима, и на весь мир напечатали мои заявления по этому поводу, которые я сам написал, а больше ничего не делаю и не борюсь, и тогда неизвестно, зачем я сюда приехал и почему они должны меня поить и кормить.

Я весь закипел, и внутри у меня до самого горла все закипело, но я понял, что переборщил, а выдержка у меня большая, поэтому виду не подал и молча притих.

Он заинтересованно, долго смотрел на меня, а я смотрел в землю, чтобы не повредить стратегию своего молчания. Стратегию я выбрал правильную, и хотя для слов он сказал, чтобы я не становился овсяной кашей, которую можно по тарелке размазывать, а для дела проявил полную капитуляцию. Сказал, что познакомит меня с двумя русскими парнями, такими, как я сам, разрешит ходить к ним в гости и предоставит самостоятельную работу.

Да, я забыл сказать, что у меня с первого дня все было завалено любого выбора антисоветской литературой — «Русская мысль», «Грани», «Посев» и всякие книги. Были вырезки и из советских газет, но только отрицательные. Один раз другой американец, Андерсон, который велел мне все читать, спрашивает, как мне понравился «Посев». Я честно сказал, что нет, не понравился, потому что они не умеют работать. Конечно, кое-что пишут похожее, а остальное придумывают нескладно или совсем глупо. Андерсону это было обидно слушать, потому что они вкладывают большие доллары. Все-таки, чтобы он не переживал, я добавил, что одно направление мне очень нравится как чистая правда. И на самом деле, я его в каждом номере газеты искал и полностью перечитывал, потому что в советских газетах такого ни за что не напечатают. Я себе даже кое-что на память вырезал. Вот почитайте, вот видите,

сбор денег объявили. А кто объявил, посмотрите: «Союз Ревнителей Памяти Императора Николая II и состоящий под Августейшим Покровительством Его Императорского Величества Главы Императорского Дома Комитет по сооружению Лампады у Креста-Памятника Государю Императору Николаю II в Православном соборе в Ницце». А самое интересное, когда они про свои собрания сообщают. Там таких собраний и всяких организаций тьма-тьмущая. Видите: «Объединение Императорской Конницы и Конной Артиллерии», «Объединение бывших чинов Собственного Его Величества Сводного Пехотного полка»... много таких. А то совсем чудные. Еще живы, оказывается, и тоже собираются, смотрите: «Фрейлины Их Императорских Величеств Государынь Императриц». Смех один, а интересно про это читать.

Про тот разговор с Андерсоном теперь вспомнил Вагнер. Сказал, как я тогда верно подметил, что главные статьи у них получаются придуманными. Они пишут по отрицательным вырезкам советских газет, а из России уехали давно и свои добавки и перекройки выражают таким стилем, какой был в России десятки лет тому назад. Получается мешанина и чепуха. А то, что из головы придумывают сами, забывают, какая теперь Россия развитая, и выходит очень глупо. Потом хотят выкрутиться — и уже совсем ни на что не похоже.

Вагнер говорил, что, хотя я не журналист, у меня должно хорошо получиться, потому что я только приехал. Направление надо держать, как у них, но из собственной жизни, с участием вырезок, и получится как правда. Если я с этим делом справлюсь, он устроит меня работать на их радиостанцию «Свобода» в Мюнхене. А там очень много платят и дают дешевую квартплату.

Я прикинул, что, если он так идет мне навстречу, постараюсь вовсю. Так ему и сказал. На другой день повел меня в одну квартиру, метрах в ста от моего дома, и познакомил с Женей и Иваном, которые там жили с одним американцем. Это были хорошие, грамотные ребята, после техникума и опытные механики. Они работали не то приемщиками, не то на какой-то стройке или заводе в ГДР, чего-то не поладили со своим же начальником, а оба гордые, и сбежали сюда.

Ну, вместе с Вагнером мы закатили ужин на славу. Потом стали часто встречаться у меня или у них. Днем я читал антисоветскую литературу, а после двенадцати ночи ходили в ночной бар или на стриптиз. С нами еще был американец, который жил с ребятами, парень хороший, никогда нам не мешал, старался уйти в сторону, чтобы мы не стесняясь разговаривали. А только каждый себе на уме, и разговаривали

мы осторожно. Кто чем занимается, не интересовались. И фамилии не спрашивали. Если один скажет про американцев или немцев положительный пример, обязательно остальные поддержат. Каждый думал: может быть, другой выдает себя не за того, кто он есть, а приставлен для выяснения настроения. Я даже не один раз произносил посевские антисоветские фразы. Так-то оно верней.

Дешевый стриптиз придавал мне отвращение, а на дорогой не было денег. Ночные бары тоже не завлекали, и я не принимал больше туда приглашений. Всего раза три или четыре ходил. Вечером мы просто гуляли уже без охраны американца.

А потом у меня появилось много новых знакомых, потому что Вагнер или кто-то еще посоветовал сходить в русскую церковь. Маленькая такая деревянная церквушка в районе Индустрихоф. Там собираются эмигранты антисоветской организации энтээсов. Вообще-то они не организация в смысле там партии, профсоюза или объединения, про которые я вам в газете показывал. Я потом с ними со всеми перезнакомился. Они просто состоят на службе по выпуску антисоветской литературы и других провокаций. Правда, получают за это много.

За границей такой способ часто применяется. К примеру, числится хозяином фирмы или магазина какой-нибудь чудак, а на самом деле он подставное лицо и только на службе состоит. Настоящий хозяин совсем другой, и по какой-то своей выгоде ему невыгодно раскрываться. Само собой, подставному не зарплату платят, а порядочные деньги.

Так вот и энтээс. Американцам выгодно, чтобы вроде не они хозяева, а энтээсы будто сами по себе существуют. А на какие шиши, спрашивается, им существовать. Всякая их литература, как «Посев» или другие, хотя цена на них проставлена, для торговли не подходит. Никто не купит. Они свою продукцию бесплатно раздают, а тем, кто раздает, комиссионные насчитывают. Одни по-честному советским туристам норовят всучить, или людям в почтовые ящики втискивают, или по почте отправляют. А другие с ходу на далекие свалки тащат, а говорят — раздали, чтобы комиссионные получить...

Ну, пошел я в первое воскресенье в церковь, смотрю, молебен служат. Он заключался в том, что вспоминали различных князей, поминали царя, «многострадальную Россию», перечислялись фамилии больных. Молебен служил священник граф Игнатьев, он же отец Леонид.

Потом подошла ко мне одна старая бабушка и говорит: «Вы Виктор?» Да, отвечаю, Виктор, а сам думаю: откуда она меня знает? «Ну, пойдемте,— говорит,— я о вас слышала». Это была бабушка Горачек, называли ее Петровной. Служба

уже кончилась, она меня познакомила со своим сыном Владимиром Еромировичем. Он в «Посеве» самый главный или около этого. С его женой Ниной Викторовной — очень хорошая женщина. Потом, когда меня крестили — я расскажу про это,— она мне сама белую рубаху шила. С Артемовым познакомила, тоже шишка у них большая, а потом эта бабушка подводит к графу Игнатьеву и говорит: «Это новенький, батюшка». И его жена, графиня Анна Владимировна, тут же была, ручку мне подает. Она тоже начальница в Толстовском фонде, так он называется.

И думаю я: как времена меняются. Раньше бы графы и князья близко к себе не подпустили, а не то что ручку, а тут заслужил такой почет. Все-таки интересно мне за границей становилось.

В то воскресенье произошло самое главное. В церкви я молодежи не видел, а во дворе были и ребята и девушки — дети энтээсов. Меня со многими тогда познакомили. И вижу вдруг — стоит одна такая красивая, каких я еще не видел. И не то чтобы намазанная, а от природы такая. И фигурка такая же невозможная. И с ней меня познакомили. И так она на меня ласково смотрит своими глазами, что просто сердце заходится. Я думал, она русская, оказывается, немка. Родители в деревне, она студентка, все время жила в Мюнхене в семье Мозговых — это тоже энтээсы — и подрабатывала на пропитание в «Посеве». Русский язык знает, как мы. Теперь живет отдельно, имеет квартиру.

Вижу, и ей со мной интересно. Мы стали гулять возле церкви, она мне свой телефон дала, просила звонить.

Я стал встречаться с Карин. Так звали ту девушку. Фамилия ее Локштедт. После третьей встречи я уже видел, что она в меня влюбилась окончательно. Пригласила к себе на квартиру А там так уютненько, так тепло, как она сама. Приготовила ужин, виски поставила, хотя я не любитель пить, но и сам на всякий случай бутылочку прихватил. А она все хлопочет, все красиво расставляет, и свет в комнате голубой и тихий, верхний она выключила.

Эх, не знал я, какую она судьбу в моей жизни сыграет.

Тогда я первый раз остался у нее ночевать. А утром поспешил домой, потому что мог прийти мистер Вагнер. Он опять был недоволен, что долго пишу. Я честно старался, а никак не получалось. Тогда хитро придумал одну штуковину. На обратной стороне, где были две заметки и фотографии, оказалась статья Юрия Жукова про НАТО. Я ее переписал и там, где было НАТО, ставил «Варшавский блок». Не подряд, само собой, а чтобы смысл выдержать. По-моему, хорошо получи-

лось, что из-за этого блока весь мир будоражится. Сам бы я, конечно, не дошел до такого, но от посевцев научился. Они всегда с больной головы на здоровую перекраивали. Ну, а чем я хуже, думаю.

Вагнер забрал мое произведение, а дня через три вернул, говорит, написано складно, а лучше бы я про себя писал и про то, что сам видел — с помощью вырезок.

Прошло еще время, а у меня опять не получалось и некогда было. Меня очень приголубила семья Горачеков, они рядом жили, на Котенхофштрассе. Я приходил туда почти каждый день или с Карин обедали там. Ее все хорошо знали. К Горачекам приходили часто его кореши по службе. Отец Леонид бывал, здоровый такой старик с белой бородой, а пил лихо, как офицер, и матерился здорово. Светланин приходил — редактор «Посева». Фамилия ему Лихачев, а Светланин — это по какой-то его бабе, Светлана ее звали. Живот огромный, руки на живот положит и пальцами крутит то в одну сторону, то в другую. И хихикает. Он никогда не смеялся, только хихикал. Председателя энтээсов Поремского не раз видел у Горачеков. Этот все больше молчал. Поломает пополам сигаретку, одну половинку обратно в портсигарчик, а вторую в мундштучок. До самого конца докуривал. А потом булавочку вытащит — она у него всегда на уголочке воротника между шовчиком в пиджак заколота — и выковыривает окурок. Теперь его на задние роли Артемов переборол. У них там все время потасовки за главные места. Мне Карин подробно рассказывала. Один раз до того подрались, что два энтээса получилось. И вместо того чтобы антисоветскую деятельность пропагандировать, они друг против дружки пошли. А и без того там тьма эмигрантских разновидностей между собой схватывается. Американцы все-таки нашли выход. Той половине, что поменьше была, чтобы дешевле обошлось, отступного дали и условие поставили: пусть совсем уезжают и больше не вмешиваются. Ну, те не дураки, согласились. Должно быть, немалые доллары отхватили. К примеру, невелик был начальник Андрей Тенсон. Я его тоже у Горачеков видел, а ему — десять тысяч как на тарелочке. Хитрый мужик, денежки протютюкал и опять приполз. Правда, не то чтобы пропил или там на баб, он себе в Мюнхене бензиновую колонку купил, а сам к делу не приспособлен. Вот и прогорел. В начальники его, само собой, не пустили, а взять взяли. У них на американской радиостанции «Свобода» свой энтээс сидит — Гаранин, к нему в русский отдел и сунули. Теперь он там работает, а к энтээсам сюда за материалами и для связи ездит.

Ну, это я уже в сторону от своей жизни пошел. Скажу

только, что немало я в том котле поварился. Они ведь меня сразу за своего признали. Должно быть, на мой счет им протекцию Вагнер сделал. Для отвода глаз он мне не советовал с ними связываться, а сам же и направил туда. Они мне особых вопросов не задавали, но я видел, они без вопросов все про меня знали. А может, Карин какое ручательство дала, я ей все про себя рассказал. А про нее я все больше задумывался. Думал, ей меньше лет, а получилось, она уже десять лет студенткой числится. Учебников или тетрадей у нее не видел, а целый день с утра до ночи все какие-то дела, все торопится и дома не сидит. А если дома, так телефон звонит, хоть провод оторви.

Один раз обедал я с ней у Горачеков, и отзывают меня в другую комнату Артемов и Околович. Тертый мужик этот Околович. На все разведки мира работал и ни разу не попался. Перед войной, говорят, перешел границу в СССР, полстраны объездил и спокойно вернулся. А в войну в смоленском гестапо служил, и тоже не поймали. А приметный он здорово. Росточка совсем маленького, а лицо длинное, нос длинный, с горбиком, и сам сутулый. А вот выкрутился из всех оказий и прочно в энтээсе засел. Ему уже лет семьдесят, а он все шебаршится.

Так вот он и Артемов предложили мне поработать в «Посеве». Нам, говорят, позарез молодежь нужна. Какую работу делать, не намекают, все больше на деньги ударение делают. Помогать, говорят, вам будет Трушнович, человек опытный, не одного уже в люди вывел. На другой день ко мне сам Трушнович пришел. Будем, говорит, с вами книгу вашего жизнеописания делать. С самого рождения простого русского парня, который сам перенес муштровку в советской школе, колхозные ужасы, рабский труд на пароходе, недовольство в армии и сам нашел выход — уехать за границу и бороться.

Вот, значит, куда хватили. Сами-то энтээсы как подставная фирма у американцев работают, а меня хотят еще под себя подстелить. А я уже этих жизнеописаний посевских начитался. Такое пишут, что только плюнуть и растереть. И чтобы под таким моя фамилия стояла?

И не для того я приехал, чтобы бороться против своих. Я хотел мир посмотреть, попутешествовать, узнать, где лучше всего живут люди. Правда, наговорил уже с самого Токио немало, только одно дело говорить таким, как они, пусть уши развешивают, а другое — книгу враждебную выдумать. А вдруг она к ребятам на «Урицкого» попадет? Судно ведь по всему миру ходит и сюда очень просто может заявиться. Они ж меня живого или мертвого найдут и пришибут за любую ответственность. Трушновичу, конечно, про это молчу,

а он видит, что я злюсь, и быстренько так прощается. А назавтра опять заявился.

Веселый такой. «Ну что,— говорит,— сегодня начинать будем»; вроде на мой отказ ему наплевать. Я молчу, слова подбираю. А он меня весело по плечу похлопал и говорит: «Давай, давай, Витя, хватит тебе от американцев подачки принимать да с их рук высматривать каждый пфенниг. Книгу напишем — вот тебе и машина, и квартира, и на девочек останется». Говорит, а сам смеется, вроде смешно ему. А у меня, верите, будто залпом из дробовика по всему телу дали. Ах ты гад ползучий, думаю. Ладно бы Вагнер или Линдон попрекали, а то эта...

«А ты,— говорю,— сам на чьи подачки кормишься? Из чьих рук все энтээсы высматривают?» — «Мы,— отвечает он,— боремся за идею».— «За идею? — спрашиваю.— А когда посты не поделили и неустойку от американцев взяли, тоже за идею? Сколько отступного Байдалакову дали за его пост председателя энтээсов и чтоб потом он не путался под ногами? Куда же,— говорю,— его идея подевалась, если он за нее денежки принял и молчит, как закопанный, до самой смерти?»

Трушнович все перебить меня норовил, но я не дал, все ему высказал. А он выпустил свой главный козырной туз. Зачем, дескать, тогда сюда приехал, если ты такой коммунист, зачем бежал, если никто тебя не звал сюда, и прочее такое. Припер он меня так и ушел.

Я по комнате из угла в угол, не знаю, что делать. У меня и раньше закрадывалось в груди: может, я промахнулся на большую ошибку? Тогда плакала моя дальнейшая будущность. Но при встречах с американцами, с Иваном, Женей, да и с энтээсами держал себя таким антисоветским героем. Надеялся, обопрусь на какой-нибудь случай, что судьбу мою выправит.

Бегаю по комнате, и, на радость, Карин звонит, сейчас, говорит, приду. Она всегда за меня переживала, заботилась и понимала меня даже в том, что я от всех скрывал. Ей я все рассказывал — и хорошее, и плохое, и даже мечты, о чем думал и никому бы не доверил.

Приезжает она, только стал рассказывать, а она в слезы. Плачет, а сама лаской просит. Карин умела с кем угодно разговаривать и своими улыбками и глазами любого уговорить или сделать так, чтобы он ей в любви объяснялся. А тут слезами и лаской. «Какая,— говорит,— тебе разница, заработаешь хорошо, другая жизнь у нас пойдет».

Что, думаю, делать? Потом вспоминаю: я же не успел ей про все рассказать. Похоже, она без меня знает, что тут произошло. Мне бы тогда спохватиться, что она свою роль со

мной играет. Свою или чужую, не знаю, только жизненно играла. И ни о чем я не догадывался. Я ей верил еще долго. И когда в Москву уехала в гостиницу «Украина» звонил и переписывался с ней, и потом, пока до тюрьмы меня не довела. А в тот вечер как вожжа под хвост попала: не буду, говорю, никакой книги делать, и все тут. Обиделась она — первый раз ее не послушал — и рванула из комнаты.

И опять я из угла в угол. Думаю, думаю, и докатились мои думы до Владивостока. Вспомнил музыкальный салон на «Урицком», песни, танцы, человеческие отношения, вспомнил наш матросский хор, в котором и я пел, веселых матросов и девчат, друзей и родителей вспомнил, и покатились у меня слезы. Первые мои слезы в западном свободном мире. Сколько их еще потом пролилось... А ведь я упорный, никогда пощады не просил и слез не выдавливал. Отец бил, тоже не плакал. А тут нервы не сработали.

Еще день прошел, и вызывают меня в тот особняк, где беседы велись. И опять встречает фрау Габбе. Мистер Андерсон навстречу выходит, приглашает садиться. «Жаль,— говорит,— что нам надо расстаться, но, к сожалению, мы не можем вас дольше оставлять у себя. Все, что было обещано, уже сделано, вас ждет хорошая работа. Мы передаем вас в другую организацию, тоже нашу, но ведающую устройством на работу. Вот вам телефон туда к мистеру Райли».

Что?.. Устал, конечно, но не знаю, смогу или нет еще с вами встретиться. Давайте уж сегодня кончим, я дальше сокращенно буду.

Одним словом, послали меня на завод в местечко Нойс под Дюссельдорфом. Перед отъездом у меня ночевала Карин, которая обиду забыла. Она со мной до самого Нойса поехала. Завод американский, там делают всякие детали для тракторов и автомобилей. Рабочие были там со всего света: немцы, португальцы, югославы, испанцы, финны и другие. Поселили меня в общежитие вроде барака. Комнатка маленькая, там все такие, и в каждой немец и три иностранных рабочих. На этом заводе и Женя работал.

Да, забыл я вам сказать: когда еще он во Франкфурте был, позвонил он мне один раз ночью и говорит, что Иван убил себя. Сначала плакал, обзывал себя дураком и сволочью, кричал, что его обманули и больше он не может, и ударил себя ножом в грудь три раза, весь изрезался, нож у него выбили, а его отвезли куда-то.

Не сват мне Иван, не брат, а извещение это... как будто не Иван, а сам я себя ножом переполосовал. Вот она, подумал, и моя дальнейшая судьба-дорожка по этой жизни. Ходил опять

от окна к двери туда-сюда, туда-сюда и не про Ивана думал, про себя думал. Часа два километры вышагивал, пока силы не кончились. Лег обратно в кровать, где там — не только спать, улежать не могу. Скорее бы утра дождаться. Поднялся и заметался опять, как в зверинце. Все быстрее и быстрее хожу, вроде убежать куда можно. И такое в голове творилось — как бы в горячке и на себя руки не наложить.

Разбужу, думаю, Женю, вдвоем полегче будет. Звоню ему, а он с полгудка трубку поднял, тоже, выходит, не спал. «Слушаю,— говорит,— слушаю, кто это?» Тревожно так говорит, а мне все равно полегче стало, голос его услышал. «Приходи,— говорю,— Женя, ко мне, или я приду». А он не своим голосом закричал: «Никуда не пойду, и ты не приходи!» — и трубку бросил, как будто я виноват за Ивана.

Испугался я, и опять в голове — как насосом ее накачали и дальше подкачивают, вот-вот лопнет.

А ведь и верно, чего ходить? Он предатель, я предатель, и вокруг нас отстой подонков из энтээсов, и мы туда потихоньку оседаем, скоро до самого дна спустимся. И дорога нам только туда, ко дну, и груз уже такой сами на себя наложили, что не выплыть больше. И как назло, откуда взялось — про первомайскую демонстрацию во Владивостоке вспомнил. И знамена красные, и пляски на ходу с оркестрами, и «Золотой рог», и забился я, как баба, в голос. Как до утра дотянул, один бог только знает. С тех пор про Ивана я ничего не слышал. Выжил он, нет ли, не знаю. А Женя через два дня уехал на завод работать. Здесь мы с ним теперь и встретились.

Работа у меня была простая. Большим крюком зацеплял огромную деталь трактора и волочил юзом по бетонному полу к стану. А там уже полная механизация. Нажимаю кнопку подъемника — деталь идет вверх, потом накрепко садится в гнездо. Поверну рычажок — и сверло пошло в тело. Тут уже делать больше нечего, сверло свое дело сделает, а я с крюком за второй деталью. К концу сверловки надо ее успеть подтащить, потому что рядом станок для дальнейшей обработки ждет.

Вроде все просто, а была это в полной мере каторга. На механизацию пять — десять секунд уходило, а все остальное время тащил крюком непосильные детали. Вставали в четыре, не позже полпятого утра, потому что в шесть уже надо браться за крюк. Обеденный перерыв в двенадцать тридцать, а кончали в пять. И целый проклятый день тащишь эти тяжелые, как наковальни, детали и под конец уже так изгибаешься, чуть мордой не тычешься в землю. Остановиться нельзя, никак нельзя, там целый большой ряд станков, и если на одном задержка, все враз встанет.

Домой приходили без рук, без ног. А свалиться на койку нельзя, ужина в столовке дожидаемся. Перед ужином — молитва. Надо руки сложить ладонями вместе и повторять за комендантом слова. Так, верите, руки не держались, падали.

Я терпел, думал: с непривычки, обойдется, привыкну, человек ко всему привыкает. А только скажу вам: к каторге привыкнуть нет сил. Там на таких работах одни иностранцы, а немцы по всем цехам и участкам рассеяны, как и в комнатах общежития. Работа у них без крюков, только на кнопках, а за наблюдение за нами им еще одна зарплата идет. И за длинный рабочий день еще одна. Каждый немец втрое больше нашего получал. Хотя они старались, а все равно иностранцы не выдерживали и убегали. Но простоя не было, новых пригоняли.

Работал, света белого не видел. Какое там кино или еще чего-нибудь. Только в воскресенье полегче было, хоть отсыпались вволю. А встанешь, постираться надо, под душ надо, и так на весь день всякие мелочи набегали.

В одно воскресенье стал я жаловаться Жене — мы уже тогда не прятались друг от друга, откровенно разговаривали,— а он только рукой махнул. «Я,— говорит,— механик, а тоже крюк дали в руки. Надо бежать отсюда к чертовой матери, пока не поздно».— «Куда же бежать,— спрашиваю,— Женя?» — «Как куда, совсем бежать, домой».— «А там тебе сразу: предатель и изменник Родины, получай тюрьму».— «Ну и черт с ней, отсидишь, хоть жить по-человечески станешь».

Тут я его и спросил, о чем давно хотел вопрос задать. «Женя,— говорю,— ну, ладно, я дурак неученый, а ты механик первой руки, сам хвастался, что тебе почет и уважение отдавали. Ты-то почему бежал?» — «А потому и бежал,— отвечает,— что тоже дурак, хотя техник. По дурости вообразил, что весь пуп земли — это мы с Иваном. На мне с Иваном целый участок держался, а отпуск за свой счет на десять дней начальник отказался дать. Почему же, говорю, другим можно, а нам нет, если мы лучше других работаем? Ну, и завязался спор. Я ему прямо сказал: «Любимчиков своих по два раза пускаете, а на нас выезжаете». А ему хоть бы что. Нет, и все тут. Ну, думаю, и мы тебе тем же ответим. И не стали выкладываться, как раньше. А он придираться начал и все равно верх брал как начальник. За каждую мелочь цеплялся. Ну просто никакого житья не стало. Издевался, как хотел, должно быть, решил выжить нас. Что ж, думаем, так и уехать домой оплеванными? А он еще и характеристику вслед пошлет такую, что перед людьми стыдно будет. Думали, думали, как отомстить, и пришла в голову эта мальчишеская идиотская идея. Он ведь за нас всю полноту ответственности несет. Вот уж повертится,

если сбежать. Он же с ума от такого ЧП сойдет. А кроме того, интересно поездить, мир посмотреть. Вот и смотрю. Получилось, как в поговорке: назло отцу я себе уши отморожу... Ивана жалко, на этот безумный шаг я его подбил. Парню всего девятнадцать было, ветер в голове. Я как-то сказал ему про это, когда он очень терзался, молодость, говорю, виновата, а он еще больше обозлился: «Молодость, молодость... Гайдар в семнадцать полком командовал и рубил всякую сволочь. А мы в свои девятнадцать к его недобиткам в услужение приехали». Вскоре после этого он и схватился за нож.

Это был мой последний разговор с Женей. Ничего не сказал он мне, уехал во Франкфурт, а потом сбежал в Советский Союз. Узнал про это через полгода от Горачека.

А я продолжал работать на заводе, пока одни кости да кожа от меня не остались.

Поднимаюсь, чтобы к проклятым наковальням идти, а подняться не могу. Все-таки поднялся и потащился. Только не на завод, а на вокзал. Вернулся во Франкфурт. Ни денег, ни квартиры, ни работы. Явился к Карин. Приняла она меня хорошо. А я и тогда еще не догадывался и не скоро понял, что и эту каторгу, и те, что были потом, они специально устраивали, чтобы некуда мне было податься, кроме энтээсов. И опять туда подталкивает. А я не пошел, стал правду искать.

Где я только не был, чего не перепробовал. Вагнер сразу от меня откачнулся, Райли тоже. Направился в американский консулат, напомнил про богатую и надежную Америку, которая всегда будет за моей спиной, как разъяснил мне ихний консул в Токио. С неделю по его требованию ходил к нему, пока не отправил меня на любые четыре стороны. Я в Бонн кинулся, в американское посольство. «Вам кого?» — спрашивают. Не знаю кого, отвечаю. Я советский матрос, про дальнейшую судьбу хочу выяснить. Они заулыбались, усаживают меня, думали, я новенький, только сбежавший. А выяснилось когда, сразу кислые морды стали. Прямо так выгнать неловко, велели подождать, провели к какому-то типу вроде переводчика. И ноги на столе. Я думал, так говорят только — «ноги на стол», а он натурально на столе их держит. Выслушал меня, сколько американцы наобещали, позвонил куда-то, потом говорит: «Пойдем». Вывел на лестницу, показал направление: «Прямо на вокзал попадешь. Езжай во Франкфурт. Тебе работу дали, а ты сбежал. Теперь возвращайся»

Пошел я прямо в министерство иностранных дел. Думаю, самое главное, чтоб важный чиновник выслушал, а не сошка какая. Пришел советский матрос, говорю, и так далее. А раскрываться до конца не спешу, пусть, думаю, поважнее кто

явится. Стратегия моя удалась, большой чин меня принял, а только кончилось пустотой. Отправился я в Организацию Объединенных Наций в Бонне, к комиссару по делам беженцев. Тут со мной целую неделю возились. И тоже во Франкфурт-на-Майне направили, там, говорят, вас устроят. Правда, на дорогу пятьдесят марок дали. А у меня уже сто раз такие направления были. И сто раз я туда возвращался, а получался один и тот же толк. Я вам все подряд перечисляю, а ходил-ездил-то не подряд. На это пошли месяцы, а то и не один год. Чего только не натерпелся, не намучился. Какие и от кого унижения на себя принял, перед кем ни улыбался. Посылали на разные работы, а покажешь свой беспаспортный документ — и морды воротят. Берут только там, где каторга или аврал какой. Тогда на временную, до отбоя. Потом опять на улице. Самым натуральным образом на улице. Спал на вокзалах, в скверах, даже в забытой солдатской душевой. И в дождь и в холод не раз по асфальту шлепал, сам себя сжавшись, согревал. Вот тогда и вспоминал каждый день эти слова советского консула в Токио. Что?.. Не сказал разве? Простые слова: «Все у вас будет, сказал, что тут вам обещали. И квартира, и полный холодильник, и кофе с коньяком. А только выжмут из вас все, что можно, и выбросят на помойку. Тогда и запроситесь домой». Вот какие слова сказал. Будто на несколько лет вперед меня по моей жизни прошелся. И не выходят эти слова из головы. Только как проситься? Может, и через край берут энтээсы, может, не расстреляют, а только большой срок дадут. Кому я потом, старый и больной калека, нужен буду?.. А почему Женя не побоялся тюрьмы? А Иван побоялся, но и жить тут не мог.

Вот в таких мыслях и тянется моя беспощадная жизнь. Наголодаешься вволю и идешь на первую каторгу, что по дороге попадается. Самое большее на месяц хватало сил. На заработанные деньги хожу-езжу жаловаться. Посылают во Франкфурт, а я уже знаю, куда пошлют, и еду. Все надеюсь на что-то, да и Карин притягивала туда. И опять энтээсы вокруг меня. Но я уже знал их расчет: не выдержит человек, все равно к ним явится. Все-таки ездил туда охотно. Кроме Карин, много знакомых ребят — Володя Курдюков, Леня Артемов, Витя Гуменюк, Миша Горачек, Таня Гаранина со своим парнем и еще другие. Все они дети энтээсов, но у них особые мнения. Что делают родители, они насмотрелись, им хочется посмотреть свою родину, которую никогда не видели, а те их смертной казнью пугают, и у них продолжается инцидент.

Хорошо, конечно, с ними встречаться, на вечеринки ходить, если есть работа. А работы не было. Один раз все-таки повезло.

Устроился маляром в жилой городок американской военной базы «Вольфганг» возле Ханау. Работа сдельная, с квадратного метра. Зарабатывал еле-еле, потому что пока мебель отодвинешь, пол бумагой застелешь да все закутки закрасишь, еще ничего не набегало. Но все-таки лучше, чем с крюками.

Через несколько месяцев узнал, что у них свой филиал есть под Франкфуртом, и стал проситься туда. Сначала подозрительно на это смотрели, а после моих объяснений о друзьях и Карин поверили и перевели. Обосновался в казарме на Эмерсхаймерландштрассе. Работать маляром мне пока доверия не было. В столярной мастерской я склеивал стулья, табуретки, которые расшатались или развалились. Встречался с молодежью и с Карин. От нее и узнал, что во Франкфурте есть общество «Дружба». Там советские люди, которых забросила сюда война, и каждый по своей причине вернуться не мог, но и против Родины не идет. Они смотрят советские фильмы, собирают библиотеки, отмечают Октябрьские и другие праздники. Одним словом, поперек горла энтээсам стоят.

Меня заинтересовало, и я пошел туда. Потом Карин рассказывала про них. И опять завились вокруг энтээсы. Как только в голову им такое пришло. Предложили в последний раз, говорят, одним махом разбогатеть. Посещать «Дружбу» и написать потом, что она связана с советской военной миссией во Франкфурте и передает туда разведывательные данные. Я им, конечно, приготовил отпор, какого они еще не видели. И весь расстроенный ушел, ищу Карин. Никто, кроме нее, не мог им сказать, что я в «Дружбе» был. Только стал ей претензии, а она как из пулемета: «Никогда,— говорит,— я тебя не любила, хотела человека из тебя сделать, а ты просто русская свинья и вон навсегда отсюда». И пока говорила, по щекам меня — раз, раз, раз... Ну, и я нервами сдал, сам пощечину ей отвесил. Не за то, что по щекам,— слова ее больней били. И сейчас вот здесь ноет, как вспомню, как я не мог раскусить раньше.

На другой вечер заходят ко мне трое в штатском. Одного я узнал сразу. Он из американской разведки, охранял Ивана и Женю. Поэтому я не сопротивлялся, когда они без всяких разговоров обыскали мои вещи и повели в машину, отвезли в полицей-президиум. Здесь дежурный потребовал у меня пистолет и бандитский механизированный нож. Я ответил: пистолета у меня нет,— а нож достал. Он был с кнопкой, выскакивал сам, но пользовался им для хлеба и пищи.

Дежурный взял нож, посмотрел в какую-то папку и сказал: «Приметы совпадают». Меня обыскали и отвели в камеру. Утром взяли на допрос, дали мне на подпись бумаги. Теперь я уже так легко не подписывал, потребовал переводчика.

Делать им нечего, вызвали. Обвинили меня в том, что являюсь советским шпионом, езжу по немецким городам, а потом во Франкфурт-на-Майне, где что видел, передаю советской военной миссии. При этом пытался изнасиловать немецкую девушку Карин Локштедт, угрожал ей пистолетом и ножом, шантажировал, на что прилагается ее личное заявление, а также медицинская экспертиза о побоях и вещественное доказательство — нож, приметы которого обозначены в ее личном заявлении.

Кончил читать переводчик, о чем-то меня спрашивают, трясут за плечо, а я молчу, чисто языка лишился. Потом потихоньку кровь по своим местам пошла, и мне полегче стало. Про миссию, говорю, никакого понятия не имею и все начисто неправда, а Карин знаю хорошо, и вызывайте ее на очную ставку, и сами послушаете, что произойдет, потому что я с ней уже который год живу и еще неизвестно, кто над кем насилие совершил.

«Мы и сами хотели,— отвечают,— но она отказалась, боится вас видеть». На этом допрос закончился. Целый месяц полицейские или следователи меня не вызывали. Зато энтээсы весь месяц давали о себе знать. Первым пришел в камеру батюшка — отец Леонид в церковном обряде. Ахал, охал, сказал, что надо подобрать хорошего адвоката и тогда все будет хорошо. Смеется он надо мной, что ли? Где же на это деньги взять? «Заблудшего сына,— говорит,— церковь и русские люди никогда не оставят». И на самом деле пришел адвокат. Многие энтээсы меня посещали, Карин присылала посылки, в письмах просила прощения. Когда пришел Горачек, сказал, что видел ее в прокуратуре, она просила свидания, но ей не разрешили.

Да что же это за человек такой? На кого она работает? И что со мной хочет сделать? Не просто же это?

Пока сидел в одиночной камере, много о ней думал. Вспомнил, как в Москву уезжала, и некоторые вещи теперь по-другому проявились. Отправлялась она с немецкой выставкой как переводчица химической фирмы «Гест». Узнал про это во время моих поисков работы и правды, когда в который уже раз приехал во Франкфурт. Остановился у нее, как раз сборы шли. У нее штук двадцать писем было с адресами на русском языке и с готовыми советскими марками. Только в тюрьме подумал: значит, подпольные письма в Москве опускать будет, чтоб не знали, что из ФРГ. И денег много было в пачках. Тогда не пришло в голову, а в камере не сомневался: не для себя, кому-то везла. Или чтоб подкупить можно было.

И еще одно соображение выплыло: ехала от немецкой фирмы, а паспорт привезли и провожали американцы. Мне

она не разрешила на аэродром ехать, а кто за ней прибыл, я видел. Я у нее случайно целую кучу адресов московских нашел. Инженеров разных, учителей, таксистов, и на каждом профессия. Я из ревности ей недовольство высказал, а она как крикнет: «Не смей к моим вещам прикасаться!» И только в камере подумал: нет, не шуры-амуры это, а посерьезней.

Чтобы с этим закончить, скажу: был суд, про шпионаж и военную миссию разговоров не было, замяли они это все, а за насилие с побоями судили. Карин не пришла. Адвокат их на лопатки разложил, доказал все как было. Много журналистов и корреспондентов наехало, вся печать про это писала, и все-таки месяц тюрьмы дали. Правда, месяц я уже отсидел, сразу выпустили, а радости нет никакой. Что я теперь и кто я? Куда деваться?

Поехал к Горачекам, они хорошо ко мне относились и провокаций моих не добивались.

Вы как хотите, а я не признаю энтээсов антисоветчиками. Они только так числятся, ну, работа у них такая. К примеру, возьмите Жору Чикарлеева. Ему под шестьдесят, а может, уже и перевалило, а его по отчеству назвать ни у кого язык не повернется. Жора и Жора. Он у них на самой грязной работе. Один раз на советский корабль явился, когда эскадра с визитом приходила, туда всю публику без разбора пускали. Люди ходят толпами, им интересно, а Жора по закоулкам рыщет. Увидел одинокого матроса, обернулся по сторонам — никого нет — и сует моряку листовку. Матрос смотрит и говорит: «Да мне ж двадцать суток строгого дадут или судить будут изза тебя, гада»,— тоже осматривается матрос по сторонам и тоже видит: никого нет, и бах Жору во всей одежде за борт.

Он потом подробно рассказывал, требуя возмещения за ущерб в здоровье и в одежде как потерпевший в борьбе против коммунизма. Заплатили ему хорошо: действуй, мол, и дальше смело. Он и действовал. К советским не то туристам, не то спортсменам на улице пристал, про свой «Посев» толкует, подарить, говорит, могу. Его гонят, последними словами обзывают, а он идет и идет, свое толкует. А они в какой-то тихий сквер свернули, может, и надо было им, а может, заманывали, только набили морду так, что долго в синяках ходил. Правда, за это заплатили ему хорошо, потому что вещественное доказательство побоев представил. Хотя многие сомневались: может, все выдумал, может, по пьянке где досталось,— но все-таки окончательно признали как героизм против советского режима и членом редакции «Посева» назначили.

Был случай, когда он в Париж попал и к советским аспирантам заявился, у них комната там была. Заявился и начал

ту же пластинку крутить. А они выход ему загородили, говорят — сейчас полицию позовем. Он в слезы, боится — бить будут. После этого случая в сквере его еще раз били, с тех пор он всю жизнь стал бояться, что будут бить. Поднимет кто-нибудь руку просто так, без назначения, а Жора рывком лицо прикрывает. Свои же над ним и потешаются. Чуть что — махнут рукой, он и шарахается.

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпустили. Примчался он домой, рассказывает: «Слезами,— говорит,— я их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, а они, дураки, и поверили».

Вот вам Жора! Другой бы про такую стыдобу со всех сил зубы зажал, а он хвастается. Думаете, по дурости? Нет, он на такой стыд с полным сознанием идет, ну, как женщина на стриптизе или в бардаке. Ей уже не стыдно, это ее такой заработок. Так и Жора не стыдится, поскольку за это платят.

Он своего нигде не упустит. Вот трудно поверить, а ему за журнал «Молодой коммунист» гонорар выплатили. Он его всегда с собой носит, всем показывает. А там, и верно, его фамилия есть, написано, что он последний подонок. Когда показали Жоре этот журнал первый раз, он три дня от радости пил. «Вот,— говорит,— как против меня силы мирового коммунизма поднялись». Ну, понятно, вознаграждения потребовал и на законном основании получил. А за что получать, ему без разницы. Но и его понять надо, а не только судить. Лет ему порядочно, профессии или ремесла не имеет, куда ни тыркался, везде неудачи. Сколько лет назад во Вьетнам подался, думал, подвезет, а видит — там и убить могут. Тоже правильно рассудил, и понять человека можно, когда сбежал оттуда. Ну, а что ему теперь делать? В энтээсах хоть платят исправно, вот и старается. Да что Жора! Для всех энтээсов нет больше радости, если их советская печать пропечатает. Они тогда поздравляют друг дружку, в своих журналах про это сообщения делают, столько шуму поднимают, героями ходят. Один раз на свое письмо из Москвы ответ получили. Так ни конца ни края радости не было. Переписку затеяли, стали говорить, что центр свой и агентуру в Москве организовали, а оказалось, их журнал «Крокодил» разыгрывал, потешался и про все напечатал с фотографиями и письмами. В таких дураках они остались, им бы только вывеску менять, а они опять в хвастовство не хуже Жоры. Кто-то из их детей сказал, у Горачеков разговор происходил: «Что же вы радуетесь? Над вами же смеются. Это еще у Чехова описано, как один с газеткой бегал, всем свою фамилию показывал, а напечатано было, как его в пьяном виде извозчик сбил».

На его слова только рукой махнули: ничего, мол, ты не понимаешь. А он и верно не понимал, что даже за такое, как «Крокодил» поиздевался, им деньги платят.

Ну, а с другой стороны, что им делать, скажите, если все они по рукам и ногам Гитлером связаны? Влез по пояс, полезай по горло. Начать хоть с Романова, он у них почти самый главный, а тридцать лет назад в Днепропетровске при немцах редактором газеты уже состоял и Гитлера возвеличивал, пока тот живой был. А сейчас что? Поезжайте во Франкфурт в район главного вокзала ночью, там место есть, где теплые собираются... Обязательно там Романова встретите. Его за это три раза брались судить, особенно один раз, когда мальчика к столу хотел привязать, а тот такой крик поднял, что люди сбежались. А чем кончилось? Американцы выручили. После Гитлера они ж его подобрали, по их речке и плывет, их воду и пьет. И про такого вдруг напишут, что он антисоветчик, вот и радуются. Да любой генерал из Пентагона антисоветчик, и получается, будто они на равных. Чего ж ему не радоваться.

Такой же Гитлером мазанный Артемов еще в войну в фашистском лагере служил, кадры провокаторов готовил, гестаповец. Околович сколько жизней погубил, и все у них такие. Не знаю только про Тарасову, она редактором «Граней» состоит, такой журнал у них есть. Не иначе тоже из гитлеровцев, но точно заверять не берусь, не знаю. Знаю только, что славу она большую имела. Ее отец во время войны много богатства из Украины повывез, говорят, на целый музей хватило бы. А после его смерти она и начала пировать. Такие гулянки закатывала, с выездами, со слугами, как в кино. Она мужчин любила и сама их себе подбирала, даже из тех, с кем знакома не была. И про эту ее славу все знали, она самой высокой квалификации в этом деле числилась. Может, книг начиталась и досконально изучила — есть такие особые магазины с вывесками «Секс»,— а может, от природы у нее такие способности, только гремела она своей квалификацией и тем, что денег на мужиков не жалела. А пришло время, денежки-то кончились. И годы уже не те, и мужчинам платить стало нечем. Вот вся она и есть. Антисоветчик — это если идеи у него, а ее главная идея теперь безвозвратно не вернется, она всю свою идею уже поизрасходовала.

Ваше дело, я не против, только не советую вам про энтээсов писать. Если напечатаете, вы им такой праздник устроите, лучше рождества Христова. Целый год напоминать про это будут. И по всем регистрациям такую статью проведут, и сами печатать про нее сто раз будут, и американцам докладывать как положительный пример.

Ну, опять я в сторону от своей жизни свернул. Чтоб кончить когда-нибудь мою историю, скажу — выпустили меня из полиции, энтээсы встречают, зовут к Горачекам. К ним было и направился, деться пока некуда. Только пошли, а тут Карин На шею бросилась, плачет, целует, умоляет прощения. К ней и поехал, и тошно от самого себя стало. Думаю все-таки лучше, чем к энтээсам, ничем не хотел больше ихней зависимости. Даже адвоката отработал им. Отработал крещением. Тут на одну руку взялись Карин и батюшка. И Горачек им помогал, тоже агитировал за крещение. Все горе оттого, что ты некрещеный, говорят. И Карин поддерживает: все плохое, что между нами было, все очистится. Зачем им надо было, так и не понял, но обязанным быть не хотел. Черт с вами, думаю, крестите.

И устроили надо мной комедию. Собрались в воскресенье утром в церкви, сунули мне сверток. «Иди,— говорят,— вон туда, переодевайся, это рубаха. Только все сними и даже носки». А трусы, спрашиваю, тоже снимать? «Нет, трусы можно оставить». Снял я все, надел рубаху, а она до самого пола. Рукава широкие, только пальцы выглядывают. Вышел, сунули мне в руки горящую свечу, и началась моя срамота. Поднял шею вверх, иду, как Иисус Христос, за батюшкой, обеими руками божественно свечку несу, слова за ним повторяю. Походили несколько раз вокруг, потом поставили меня в оцинкованный бак с водой, и батюшка сверху стал опрыскивать.

Потом обед был богатый. А ночь тревожная получилась. Лежит рядом Карин, посапывает. А ведь задумали они что-то надо мной сделать. Она же собственными руками меня в тюрьму загнала, а я лежу как дурак с нею.

Ни разу не заснул, пока дождался утра. Похлопотала она вокруг завтрака, поцеловала и выпорхнула. А я никому ничего не сказал, к вокзалу направился. И пошел по второму кругу каторги свободного мира на два года. Не буду про него рассказывать, он как и первый. А конец вам известный: советский консулат выдал мне визу в Советский Союз.

Полагаю так, что судить меня не будут, я же столько мук принял, любое законное наказание перевыполнил. А если будут, так любую кару за спасение приму.

1973 г.

«НАДО ВЕДЬ КАК-ТО ЖИТЬ...»

Вскоре после войны мне попались два уникальных документа. Первый — ученическая тетрадка в косую линейку, куда в 1921 году совсем еще мальчишка, сельский счетовод заносил необходимые ему данные. Записывал фамилии организаторов Советской власти, видимо, для того, чтобы потом не забыли о них. Против каждой фамилии имелись различные пометки: «секретарь сельсовета», «коммунист», «горлопан», «сначала пороть, потом повесить»...

Последнее заключение автора и еще несколько подобных особенно настораживали и поражали. Не только садизмом, с каким он намеревался лишать жизни людей. Была в них приказная категоричность, не свойственная скромному положению юного счетовода. Будто привык уже отдавать приказы и самолично решать судьбы, чинить расправы.

Должно быть, просто безрассудное мальчишеское ухарство, не имевшее под собой почвы.

Второй документ начисто опровергал подобное предположение. Это толстая, большого формата бухгалтерская книга, содержавшая сотни фамилий ответственных работников, включая секретарей обкома партии. Ее вел тот же автор. Когда он начал, можно определить лишь приблизительно — где-то в начале двадцатых годов. Закончил в августе 1941 года, будучи главным бухгалтером «Укркоопспилки» в Херсоне.

Судя по всему, человек терпеливый, настойчивый, аккуратный и, возможно, на первой книге не остановился бы, но помешали гитлеровцы, захватившие город. Плоды своих трудов он преподнес им. В марте 1944 года, когда Херсон освободили, в гитлеровской комендатуре среди других документов обнаружили и эту книгу, а в ней ученическую тетрадку в косую линейку. Пленный немецкий комендант назвал автора — Владимир Муштаков. Сказал, что в знак благодарности ему было без дополнительной проверки присвоено какое-то небольшое звание, выданы немецкая форма и оружие. А где он находится, пленный офицер не знал. Возможно, не хотел выдавать. Найти Муштакова не удалось.

Полистав его труды, я кое-что на всякий случай выписал в свой блокнот. Недавно, работая над архивными материалами периода войны, я вновь наткнулся на эту фамилию. Удалось выяснить, что Муштаков был карателем, сейчас живет во Франкфурте-на-Майне и является завсегдатаем ночного бара «Флорида» в районе главного вокзала.

Мне предстояла поездка в Западную Германию, и я решил

попытаться заодно найти Муштакова. Карателей я видел не раз и не стал бы его искать. Но мне хотелось понять психологию человека, который чуть ли не четверть века, тихонечко сидя в бухгалтерии и терпеливо дожидаясь гибели Советской власти, старательно, каллиграфическим почерком выводил буковки, складывая их в фамилии, помечая, кого надо повесить, а кого сначала пороть, а потом уже повесить. Он представлялся мне исполнительным счетным работником, этот сельский счетовод, дослужившийся до главного бухгалтера крупного учреждения в областном центре. Исполнительным и жестоким. Тогда я еще не знал всей меры его жестокости, не предполагал, что за оружие брался далеко не в первый раз, когда получал его из рук гитлеровцев. У него и свое оружие было.

Оказалось, Муштаков жил в тридцати километрах от Франкфурта-на-Майне в маленьком городке Бад-Хомбурге, где раньше была диверсионная школа. Успешно закончивших ее засылали в Советский Союз или сначала направляли для дальнейшего совершенствования и повышения квалификации в американскую диверсионную школу, находившуюся под Мюнхеном в местечке Висзее. Здесь учебный процесс был поставлен лучше и вся подготовка велась на более высоком уровне. Особое внимание уделялось практическим занятиям, поскольку основы теории учащиеся получали в Бад-Хомбургской школе, где и преподавал Муштаков. Он вел дисциплину под названием «Конспирация».

Бывшие учащиеся диверсионной школы, по крайней мере те из них, с кем я разговаривал, и у нас, и в других странах, характеризуя его по-разному, в главном были единодушны: ни один из педагогов не вкладывал в свое дело столько сил и энергии, не обладал таким опытом, как Муштаков, и так не переживал за то, чтобы они успешно справились с заданиями, которые получат по окончании школы.

Если все преподаватели рассматривали работу лишь как возможность получать приличные заработки, то для Муштакова она составляла сущность жизни, ибо не было человека столь патологически ненавидевшего Советскую власть и русский народ, которого иначе, как чернью, не называл.

Особенно строго Муштаков проверял, насколько органически, творчески люди усваивали разработанное им пособие, содержавшее шестьдесят законов конспиратора. Один экземпляр показал мне, а потом отдал «насовсем» Владимир Трусов. После окончания школы он проходил практику в Италии, специализируясь на антисоветских провокациях во время международных спортивных соревнований и других встреч представителей различных стран. О нем тоже придется рассказать,

ибо в конце концов именно он помог мне найти Муштакова и присутствовал почти на всех наших беседах.

Из всего, что мне рассказали о Муштакове до встречи с ним, озадачивало одно. Известно, что ненависть к Советской власти и народу питают его идейные, классовые враги. В частности, те из эмигрантов, кто потерял во время революции свои богатства и власть. Известны и просто предатели, по умственной ли ограниченности, стремлению к легкой наживе, славе или созданному для них безвыходному положению продавшиеся за валюту. Наконец, неудачники или легковерные, обманутые и не нашедшие в себе мужества вернуться к честной жизни. Те, кто не терял ни богатств, ни власти, отнюдь не идейные борцы. Заплати им побольше — перейдут в любой другой лагерь. Но сельский счетовод, выросший до солидного главбуха, значит, не обиженный жизнью, десятилетиями наблюдавший рост страны хотя бы по своим бухгалтерским отчетам,— откуда у него такая устойчивая, звериная ненависть с самых ранних лет?

Эта мысль усиливала желание разыскать его. Однако ни в одном справочнике Франкфурта-на-Майне фамилии Муштакова не значилось. Оставалась последняя, довольно сомнительная надежда — «Флорида». Было досадно. А я вдобавок допустил непростительную ошибку. В любом автомате висит или лежит прикованная цепочкой телефонная книга. Минутное дело найти по ней «Флориду». Я же стал искать этот бар в привокзальном районе. Единственное объяснение, которое могу дать столь странному просчету,— подсознательное желание побродить по незнакомому городу, побольше увидеть.

И в самом деле, увидел я здесь немало. Огромное здание главного вокзала и другие сооружения, расположенные справа и слева от него, образуют как бы сплошную стену, в которую упираются проспект Кайзерштрассе и множество улиц и улочек. Хаотически, вкривь и вкось они стекаются к вокзальной площади. Днем этот район едва ли чем отличается от других, не центральных районов города. Но его подлинное лицо раскрывается ночью.

Именно здесь сосредоточено множество ночных баров, кабаков, притонов. Район широко разветвленной сети обслуживания платной любви. Специально приспособленные для этого отели — от дорогих, фешенебельных, до скромных «штунденотелей», что означает «отель на час», до меблированных комнат в старых домах, пахнущих плесенью. Толпы профессиональных женщин заполняют тротуары, подъезды, входы в увеселительные заведения. Они заранее абонируют места в гостиницах, сидят за рулем подчас шикарных автомобилей, медленно

движущихся близ тротуаров, где дефилируют их менее состоятельные конкурентки, но, как и те, опытным глазом столь же точно определяют, кто именно может откликнуться на их молчаливый и выразительный зов. Обменяются взглядом или едва уловимым жестом сидящая за рулем и человек на тротуаре, тут же замигает сигнал поворота вправо, машина прижмется к тротуару. Человек садится рядом с водительницей, разговаривают минуты две-три, и машина срывается с места.

Они поедут ужинать в другой район, остановятся у солидного ресторана, где никому и в голову не придет усомниться в их принадлежности к приличному обществу. Они будут пить дорогое вино, танцевать, не замечая, как смотрят посетители на эту милую и скромную молоденькую женщину, должно быть влюбленную в своего спутника. Впрочем, не глядя по сторонам, она все же уловит казалось бы спокойный взгляд опытного прожигателя жизни, с толстым бумажником в кармане, поймет значение взгляда и найдет миг незаметно для своего спутника ответить. Потом, похлопав ладошкой по его руке, улыбнувшись, уже действительно ни на кого не глядя, выйде в холл — мало ли зачем женщине надо выйти,— зная, что пусть не сразу, но обязательно появится тот, кто звал ее глазами. Она будет стоять у зеркала, поправляя прическу или ресницы, а он медленно пройдет мимо, почти не задерживаясь у зеркала, где увидит ее лицо, но успеет спросить: «Где и когда?» — и почти одновременно она ответит что-то вроде: «Здесь, завтра, в десять». Теперь о следующей ночи можно не думать, и она вернется в зал еще более милой и застенчивой, чтобы сегодня увезти спутника к себе домой.

Бывает и по-другому. Поговорят в машине у тротуара в том веселом привокзальном районе, и через те же две-три минуты человек выйдет. То ли водительница не подошла, то ли цена, хотя садятся в машину только люди с большими деньгами. А женщина за рулем в знак презрения стукнет ногой по педали, не включив скорость, с грохотом вырвется струя из выхлопной трубы, обдав газом ушедшего, и снова, замигав световым сигналом, теперь уже влево, медленно тронется с места, вглядываясь в прохожих.

Этот веселый район, где реклама сверкает не только цветами радуги, но, кажется, всеми мыслимыми ее оттенками и сочетаниями, не так уж безобиден. Среди уличного шума, смеха, говора раздастся вдруг отчаянный крик женщины и оборвется, будто зажали рот. Со свистом и гиканьем, едва не сшибая людей, пронесется ватага пьяных буршей, догоняя тех, с кем хотят расправиться. В хорошо освещенном месте верзила-сутенер неторопливо бьет кого-то, разъясняя таким методом,

что тот недоплатил его подопечной. И что бы ни происходило, никто из любующихся зрелищем не вмешается, если не считать восторженно-одобрительных возгласов или советов, в какое именно место бить.

Полицейского здесь не увидишь, хотя время от времени пронзительно завоет сирена машины с цветной мигалкой на крыше, спешащая туда, где ночные схватки масштабнее.

В этом районе в полной мере учтены и изучены потребности любителей ночной жизни, в зависимости от их материального благосостояния. Здесь заботятся о каждом. Много денег — к твоим услугам самое фешенебельное и красивое. Но не забывают и о тех, у кого стучат в кармане лишь металлические монеты. Их тоже можно вытрясти.

В лабиринтах этого района, на углу сверкающей Таунусштрассе — печально известном его центре и тускло освещенной Эльбештрассе в доме № 34 я и нашел «Флориду». Ночные бары как и другие питейные заведения, разделены на ранги. «Флорида» — из самых низкопробных. По-русски говоря, просто кабак. Скромная зеленая вывеска, хотя и большая, висит над дверью, будто срезавшей угол дома. У самой двери — стойка бармена, бывшего одессита Сашки Беллера, как зовут его завсегдатаи, застрявшего в этих краях после войны. Ему под шестьдесят, он грузен, но орудует за своей стойкой довольно ловко. Владелец бара — Борис Расков. Этот из Кишинева. Значительно моложе Сашки, поумнее, похитрее и более опытен в методологии добычи денег. Расков тоже здесь с послевоенных лет, сумел получить десять тысяч марок, как пострадавший от гитлеризма, десять тысяч получила его жена, тоже как пострадавшая, и тридцать тысяч ему выдал банк в долгосрочный кредит для основания собственного дела.

Я не раз беседовал с Расковым, и он все объяснял мне, как они страдали. Я не понял. Некоторую ясность внес в это дело Сашка Беллер, когда я познакомился с ним поближе. Не в то, как они страдали, а как под это получают деньги.

Став обладателем пятидесяти тысяч, Расков все рассудил правильно: начать мелкую торговлю с такими деньгами, конечно, можно. Но потом жди десятилетия, пока разбогатеешь. Это при хороших делах А могут и задушить фирмы покрупнее, тогда конец всему. Новых десять тысяч не получишь, а без них и за кредитом не сунешься. Из множества вариантов он выбрал самый надежный: снять в аренду помещение и открыть дешевый ночной бар без всяких музыкантов и финтифлюшек.

Дешевый — понятие относительное. В солидных ночных заведениях, в зависимости от рангов, спиртное стоит в пять — десять раз дороже, чем в дневных Расков не хотел в пять — де-

сять. Ему достаточно втрое. А это означало, что всю ночь до шести утра в его двух залах свободных мест не будет. В своих расчетах он оказался даже тоньше, чем его друг Юрек Помеканев, который тоже далеко не простак. Помеканев открыл ночной бар «Калинка», увесил его тяжелыми бархатными портьерами, обставил в русском стиле, нанял оркестр, состоявший вместе с солистами из трех человек, исполнявший русские романсы и песни. Был убежден, что сюда на русскую кухню и экзотику пойдут многие, но уж кто-кто, а все русские, живущие в этом городе, будут его клиентами. Но экзотика оказалась сомнительной, нафталинной, и немцы ее не признали. И русские не признали. Там хотелось плакать; а главное — дороговато. Нет денег. И потянулись в кабак под этим иностранным словом «Флорида», который и стал их постоянным местом сборищ.

Особых заработков они Раскову не приносили, да он и не рассчитывал на них. В основном — голытьба. Главным в его расчетах были два фактора. Во-первых, большинство питейных заведений закрывалось после трех-четырех ночи, и все, кто недопил, шли к нему, где можно пить или подбирать себе спутницу до шести утра. И во-вторых, дешевизна. На дешевизне он выгадывал немало. Скажем, пиво закупал на заводе по оптовой цене, составлявшей менее тридцати процентов дневной розничной стоимости. А продавал втрое дороже. Вкруговую получал шесть-семь марок на каждую, вложенную в дело. А с учетом пивной пены и многого прочего — все десять. Но даже при таких выгодных условиях собственный дом сумел построить только через пять лет. Дом не для себя, конечно. Его квартира в другом месте. А собственный — для сдачи людям.

Со стройкой этого дома Расков тоже все хорошо продумал. Цены на квартиры в Западной Германии очень высокие, особенно в таком городе, как Франкфурт-на-Майне. Это огромный, красивый город, расположенный на обоих берегах Майна, близ впадения его в Рейн. Крупнейший узел железнодорожных, автомобильных, авиационных сообщений с мощным речным портом. Важнейший промышленный, торгово-финансовый, культурный и научный центр. Когда решался вопрос о столице Западной Германии, казалось, иного выбора не могло быть: только Франкфурт-на-Майне с его широкими проспектами, множеством отелей, вместительными залами для многолюдных собраний и съездов.

Однако Аденауэр предложил избрать столицей Бонн. Спятил, что ли, человек? Крошечный городок, скорее местечко, которое на машине пересечешь из края в край за десять минут. Единственная железнодорожная станция, скорее полустанок, где не разъехаться и трем поездам. С трудом можно найти

одно-два здания для иностранных посольств. Даже приличного помещения, где могло бы разместиться правительство, и то не сыщешь.

Нет, не спятил. Ему важно было продемонстрировать, что он не признает послевоенных границ, что существующее положение — лишь на короткий срок, и не собирается правительство устраиваться капитально Оно сидит на чемоданах на первом попавшемся разъезде, и как только будет взят реванш, займет подобающее ему место. Даже в то время, когда в правительственных кругах верх брали реакционные силы, предложение Аденауэра многим из них казалось несуразным Тем не менее, оно прошло.

Сегодня Бонн не узнать, есть и у правительства новое здание. Но Франкфурт-на-Майне своего значения одного из крупнейших центров не утратил И квартиры здесь очень дороги. Строят добротно, на десятилетия. Значит, сразу после стройки — большие доходы Конечно, без кредита он не смог бы построить дом, но что такое кредит? Он ведь довольно быстро погашается. При открытии бара Расков получил из банка тридцать тысяч. А вот, что они для него означали.

Я видел его дом. По объему примерно такой же, как мой кооперативный дом в Москве. Те же девять этажей, такой же приблизительно длины и ширины. В моем доме сто четыре квартиры. У Раскова, думаю, не меньше. Для ровного счета, скажем,— сто. В среднем за каждую он получает четыреста марок, а всего, значит, сорок тысяч в месяц. Это — если считать один дом. А он вскоре построил точно такой же в курортном городке Висбадене. Правда, задолго до этого, даже до первой стройки, открыл в Висбадене еще один дешевый ночной бар. Практически два бара и помогли ему строиться. И, конечно же,— кредиты. Но тут тоже заслуга самого Раскова Сашка Беллер кредитов не получит. Под зарплату кредитов не дают.

К утру Сашка бывает совсем хорош и тогда жалуется на судьбу и на Раскова. Он имел больше прав на десять тысяч, чем этот Расков, но не сообразил, что можно расписаться за десять, а получить меньше. И жену мог бы подобрать такую, чтобы тоже получила, какая разница, на ком ты официально женат. Можно подумать, будто Раскову это не все равно. А если уж есть немного денег, то и кредит дадут. Конечно, не полную сумму, а по-умному надо, чтобы и кредитор в банке обижен не был. Тогда и срок побольше можно выпросить.

Двусмысленно, чего-то не договаривая, будто сам с собой, рассуждал Сашка и об умении Раскова платить налоги.

Сашка не любит Раскова. Не любит за крохоборство. Платит мало, а все, что перепадает от людей, берет себе.

Как же «себе», если за пену сам Сашка получает?

Сашка, подмигнув, улыбнулся и вдруг задумался. Ничего больше не стал говорить об этом. Мне потом другие рассказали. Владельцы многих питейных заведений кое-что получают с барменов. Накидывают какой-то процент на сумму фактической стоимости проданного. Хозяева знают – бармены люди квалифицированные, и пусть как угодно вертится покупатель, свои десять пфеннигов с бокала пива они получат. А торгуют не только пивом. Секреты бармена — целая наука. Наука о том, как получить лишнее. Все секреты знает и Расков. И, видимо, берет такой процент, который Сашке кажется несправедливым. Должен же он хоть немного накопить на старость. А вот не получается.

Тем не менее, Сашка всегда весел. Таким я и увидел его часов в шесть вечера, когда впервые пришел во «Флориду». Вход с улицы прямо в зал, даже второй двери нет. Ни зазывал, ни портьер, ничего, что в других ночных барах несет функции таинственного, манящего. Зал метров двадцати. Слева — стойка Сашки, справа у стены — четыре столика и еще четыре по обе стороны двери во второй зал. Позади Сашки в нише на электрическом противне жарились сосиски, похожие на охотничьи, только потолще. Рядом кастрюля, в которой сосиски варились. А остальное как в обычных барах — бутылки, сигареты, два пивных крана, но перед стойкой не было высоких традиционных сидений. Они закрыли бы проход. Во втором зале — метров двадцать пять — тридцать. И так же тесно наставлены столики. Стены расписаны комбинированно, что ли: местами изображения барельефные. Описывать их не стану: неприлично.

В разных местах зала сидели шесть посетителей. Возле бармена никого не было. Я взял бокал пива, спросил, не говорит ли здесь кто-нибудь по-русски.

— А я вас не устраиваю? — спросил в свою очередь Сашка.— Вам ведь нужен Расков, я же вижу, так и скажите. Вы привезли ему привет из Кишинева от родственников его жены. Можно подумать, будто она там давно была. Раньше ездила к ним раз в год, а в этом году уже два раза успела.

Не потребовалось и нескольких минут, чтобы понять: Сашка из тех людей, которым помолчать немного просто невыносимо. Если бы и хотел, я не смог бы пробиться ни с одним вопросом. Видимо, он намучился от молчания, пока поблизости никого не было. А теперь его словно прорвало. Рассказывал окончания каких-то историй, не заботясь о том, знаю ли я их начала, указывал на ошибки президентов, сам себя перебивал, перескакивая с одной темы на другую. Ему не мешали редкие посетители,

которым он автоматически, не прерывая речи, наливал пиво или бросал на картонную тарелочку сосиску, шлепнув сверху ложку горчицы. В его речи негде было поставить точку. Слова и фразы сливались в один непрерывный поток, и я не мог уловить, когда он вдыхает воздух.

Больше всего говорил о своем заведении, и значительную часть сведений, приведенных выше о «Флориде», ее владельце, завсегдатаях, я узнал в тот первый приход. Он называл уйму имен и фамилий так, будто по меньшей мере это мои старые знакомые. Я с нетерпением ждал только одной. Но о Муштакове он ничего не сказал. Задавать же такому болтливому бармену хотя бы наводящие вопросы об интересующем меня человеке не решился.

Ну что ж, Расков так Расков. Где Расков? «После часа или двух ночи приходите. Будет Расков, будут и другие. Говорите себе на здоровье по-русски».

Я пришел в половине второго. Стойка Сашки ярко освещалась. И у столиков было светло. За ними тесно сидели посетители. Заходя и выходя, толпились люди. Второй зал тихо и монотонно гудел от говора. Гул не мешал тоже тихой, расслабляющей музыке, идущей, казалось, сверху. И без того тусклые, затемненные еще разноцветной пленкой лампочки, направленные на стенную роспись, не освещали людей. Их силуэты только угадывались. Огоньки сигарет, будто большие светлячки, вспыхнут, метнутся в сторону и исчезнут.

Когда глаза привыкли к полумраку, отчетливее стали клубы дыма. Дым никуда не уходил. Он только двигался. Облачка его вытягивались и длинными, извивающимися полосами и нитями растекались, меняя цвет, в зависимости от того, в зоне каких лампочек оказывались. Дым двигался, шевелился, словно нащупывая что-то, временами повисая на месте или рванувшись вдруг в сторону.

Не меньше половины посетителей составляли женщины. То одна, то другая поднимались, напоминая о себе, не торопясь, выходили и снова возвращались.

Я пошел к Сашке, спросил Раскова.

— Он в своем кабинете,— и кивнул на дверь за стойкой.

Принять меня в своем кабинете Расков не мог. Кабинета не было. Его маленький столик едва умещался в каком-то закутке, похожем на кладовку, рядом с крохотной кухонькой. Впрочем, кухня здесь и не нужна. Сюда не приходят есть. Здесь пьют и торгуются, совершают сделки не самой стерильной чистоты, приходят, чтобы подобрать подходящего для грязных дел исполнителя из числа эмигрантских отходов. Сейчас здесь собираются главным образом те, кто исчерпал возможности про-

давать родину и выброшенные различными разведками. Это самое дно.

Борис Расков вышел ко мне. Коренастый, мускулистый, среднего или чуть ниже среднего роста, с густой в редкую проседь шевелюрой. Круглое, обмякшее, невыразительное лицо и живые, сверлящие глаза. Кажется, такого сочетания не может быть, ибо выразительность лица, пожалуй, прежде всего определяется глазами. Но вот Расков, значит, исключение.

Сказал ему — хочу поговорить. Он молча ждал. Я тоже молчал. Тогда он пригласил все же в свою кладовку. Предложил единственный стул, сам сел на краешек стола.

Я представился. Показал свою книгу, на обложке которой была моя фотография. Он сверил ее глазами со мной, как это делает дежурный на проходной. Только так и выдал свое удивление. Лицо и глаза не изменились. Я рассказал, что недавно познакомился с весьма уважаемой русской женщиной лет семидесяти — заведующей кафедрой русского языка и литературы Гамбургского университета, о своем знакомстве с видным инженером Лавровым, вывезенным во Францию еще мальчиком до революции. Назвал другие имена русских людей за границей, которые с гордостью говорят о своей Родине. Объяснил, что знакомился с ними, готовя материалы для книги. Однако в тех же целях мне надо знать эмигрантов самых различных слоев. И не познакомит ли он меня с постоянными посетителями его бара.

Я не мог прямо сказать, что хочу найти Муштакова, и показать какую-то особую заинтересованность во встрече с ним, ибо даже отдаленно не представлял, как сложится разговор, и вообще получится ли он, если просто нас познакомят. Да и откровенно говоря, коль скоро уже пришел сюда, хотелось посмотреть и на других, ему подобных.

Расков молча изучал меня. Потом, задумавшись, полистал книгу, еще раз посмотрел на фотографию, прищурившись, спросил:

— А вы не боитесь какого-нибудь скандала, неприятностей?

— Поэтому и обратился к вам.

— При чем же здесь я?

— Вы — коммерсант, скандал вам ни к чему. Скандал с политическим оттенком и вовсе не нужен. Если он произойдет и коснется людей, с которыми меня познакомите вы, значит, попади это в печать, вас могут рассматривать, как их единомышленника и сторонника, то есть как человека антисоветского. Надеюсь, это не так. Да и становиться с ними на один уровень вам невыгодно, это может помешать коммерции. Невыгоден вам скандал и с другой стороны. Ваша жена, как сказал

мне Беллер, регулярно навещает своих родственников в Советском Союзе. Будто и вы собираетесь погостить у них, как только позволят дела. И вроде неловко получится, если до этого здесь что-нибудь произойдет.

— Все это так, но вы говорите обо мне, а знакомиться хотите с ними.

— Потому и прошу взвесить, не ошибается ли Беллер. Из его разговоров я понял, что вы на них не только не зарабатываете, но иногда даже теряете. Если они перестанут сюда ходить, никакого убытка вы не понесете. А от вас они зависят в полной мере. Здесь у них вроде биржи труда. Если кому-либо понадобятся, за ними придут сюда. Кроме того, вы сами даете им заработать. То пошлете за товарами, то другие поручения дадите и пусть на небольшую сумму, но разрешаете и выпить в кредит. А погашать трудно, и едва ли не каждый из них вам должен...

Расков прервал меня. Как-то доверительно, чуть ли не дружески, сказал:

— Знаете, у Сашки золотые руки, он честный человек. И если бы ему еще отрезать язык, цены бы ему не было. Представляю, что он вам наговорил.

— Так вот, тем более, если это человек честный, то из того, что он «наговорил», следует вывод. Никто из них не посмеет ослушаться, если вы обратитесь к ним с просьбой, подчеркнув ее категоричность.

Расков задумался, снова полистал книгу, не глядя в нее. Я предложил сигарету.

— Спасибо, не курю... Вот что. Я вам все устрою, только при одном условии: если вы не будете их дразнить.

— Не понял.

— Ну не будете упрекать, сводить счеты, заводить разговоры о политике. Никто из них никакой не политик. Они оказались неспособными в коммерции и в других делах, выхода у них не было, людям надо ведь как-то жить. А в энтээсе им сразу много платили, они вам расскажут. Только даром денег никто не платит. Чтобы там работать, надо тоже быть коммерсантом. Все время должна болеть голова, все время надо что-то придумывать. Ну, раз придумали, два, а что еще, если уже и без них давно все придумано.

А Сашка вам не наврал, я могу их в любую минуту выгнать. Мне — что! Все время приходят новые. И еще придут, даже те, кому там пока неплохо. Ведь каждый из тех, кто сюда ходит, когда-то думал, что он уже бог. Поэтому и прошу не дразнить, им и так не сладко.

Я твердо обещал «не дразнить». Мы вышли. Расков посадил

меня за крошечный столик в уголке второго зала и просил минут пятнадцать подождать. По пути крикнул Сашке:

— Пошли кого-нибудь за Володькой, он у Юрека, пусть немедленно явится.

А мне объяснил: человек, который всех знает, и его все знают. Смело можете на него положиться.

— Спасибо, но, как условились, надеюсь только на вас.

— Слово коммерсанта... А случится вам заехать в Кишинев, мои родственники примут вас, как положено у нас в России, я вам дам адрес.

...Я сидел, окутанный дымом. Стойкий запах пивного перегара, маргусалина, на котором жарились сосиски, и дешевой парфюмерии. Все здесь было как и полчаса назад, только более шумно. То и дело доносились русские слова. Раздавались то выкрики, то явно искусственный женский смех. С удивительно точным интервалом, примерно в минуту, пьяный старик, обращаясь к женской фигуре на стене, просил:

— Уходи, сейчас жена придет. Ну уходи же!

Скажет и клюнет носом. А потом снова поднимет голову, и опять те же слова.

Расков предусмотрительно унес второй стул от моего столика. Но кто-то подсел ко мне со своим стулом, спросив разрешения после того, как грузно плюхнулся на него. С тяжелым от пивных бокалов подносом появилась девочка лет четырнадцати. К моему соседу подошла молоденькая женщина, тоже похожая на девочку, он уступил ей место. Потеснившись к стене, она усадила его рядом. Донеслась русская фраза, заглушенная дружным смехом. Отчетливо услышал лишь: «Но это же свинство, господа». Муштаков? Может быть, он среди них?

Расков хорошо их знает. Не выходили из головы его слова: «Все время приходят новые. И еще придут, даже те, кому там пока неплохо... Каждый думал, что он уже бог».

Да, они мечтали о красивой и легкой жизни. Эти мечты кажутся реальностью и тем, кто еще сегодня получает за предательство валюту. Верили в эти мечты тарсисы, анатоли, калики, но их будущее здесь, у стойки Сашки, на побегушках у Раскова.

Что-то пробормотав, мой сосед ушел. Усевшись поудобней, его спутница, достав сигарету, попросила прикурить. К счастью, появился Расков в сопровождении высокого стройного человека лет сорока. На нем был тщательно отутюженный, сильно выношенный серый костюм с коротковатыми рукавами Узел галстука маслянисто поблескивал.

— Владимир Трусов,— представил его Расков.— Я ему все объяснил...

— Как я рад, как я рад,— говорил Трусов, прижимая руку к сердцу, очевидно не рискуя протянуть ее мне.

Исчезла, будто растаяла, моя соседка.

— Что будем пить? Аперитивчик, вино, водку? — весь сияя, говорил Трусов, присаживаясь к столику.

Он перечислял множество людей, с которыми готов меня познакомить. Можно и сейчас подойти к столику, где они сидят, можно любого подозвать к нам. Они увидели Трусова, то и дело оборачивались, пытаясь разглядеть в полумраке, с каким это новичком сидит суетящийся, неумолкающий Володька. Он называл их фамилии, характеризуя каждого, приводя любопытные, на его взгляд, детали биографий.

— Особенно интересно вам будет познакомиться с Муштаковым... Что-то пока не видно его,— говорил он, озираясь.— Смотрите, смотрите,— неожиданно зашептал,— видите, девушка... Которая вошла... Видите, с сигаретой, в ажурных брюках? Это Таня Баранова...[1] Страшная трагедия...

В тот момент мне неинтересна была история какой-то Тани. Я понял, что встреча с Муштаковым стала реальной, и хотел побольше услышать о нем. Но Трусов, перейдя на шепот, стал рассказывать о Тане.

Впоследствии я беседовал с ней, с ее отцом и некоторыми его друзьями. Трагедия в самом деле страшная.

Однажды она попросила у отца денег для поездки с туристской группой в Советский Союз, на свою родину, о которой слышала столько противоречивого. Хотела увидеть улицы, кафе, кино, где все говорят только по-русски.

Баранов мог всего ожидать от своей взбалмошной дочери, но только не этого. «Дочь Баранова, бывшего прокурора армии Власова, одного из руководителей радиостанции «Свобода» — в СССР?» Да ему не простят этого. Он кричал на нее, и его оскорбления вызывали все большее озлобление Тани. Чем сильнее поносил дочь, тем упрямее она стояла на своем. Не находя доводов, кроме десятки раз повторенных, будто ее там растерзают, Баранов в бессилии сказал: «Если бы ты пошла на панель, это было бы для меня меньшим ударом, чем безумие, на которое решилась». С тем же упрямством она повторяла — все равно поедет, если и не даст денег, если даже придется для этого идти на панель.

Слова, сказанные сгоряча и в озлоблении, были слишком далеки от мыслей и тем более поступков Тани. Но Баранов не выдержал. Наотмашь ударил ее по лицу, еще раз, еще, пока

---

[1] По понятным соображениям фамилии Тани и некоторых других изменены. Фамилия Муштакова, все адреса и места действия подлинные.

она, как звереныш, не бросилась на него, царапаясь и кусаясь Он оторвал от себя дочь, и она грохнулась на пол.

В больницу отвез ее сам, объяснив, как избили девушку хулиганы. Она была в сознании, слышала его слова.

Спустя месяц, в день выписки из больницы, он приехал за ней в назначенное время. Дежурная сестра сказала, что девушка давно ушла, дожидается его на скамейке в парке.

Таня не дожидалась отца. И домой не вернулась. Уехала во Франкфурт-на-Майне, где они раньше жили, в кредит сняла комнату близ Таунусштрассе, взяла напрокат у хозяйки, тоже в кредит, приличное платье, почти совсем новое, и зарегистрировалась, где положено, как научила опытная хозяйка.

Нельзя сказать, что Таня не понимала, на какой шаг идет. Тем не менее не ощущала его реальности. Должно же что-то произойти. Придут какие-то люди,— она ведь зарегистрировалась в полиции нравов,— значит, отец узнает об этом немедленно, все всполошатся, и найдется выход из положения. Скорее всего, неосознанно, где-то подспудно, но именно такую форму мести отцу она избрала.

Комнату Таня сняла вместе с трехразовым питанием. Завтракала поздно и уходила на дальние окраины, прячась от людей. Обедать возвращалась часов в шесть. Хозяйка по-своему воспринимала заплаканное лицо девушки — не может найти клиентов. Покормив ее, снова отправляла на улицу. Ни на кого не глядя, Таня уходила подальше от этого проклятого района Таунусштрассе, бродила до глубокой ночи и, обессилев, возвращалась домой.

Начались упреки хозяйки. Она не в состоянии без конца содержать глупую девчонку. Впрочем, готова помочь ей. Уже подобрала подходящего сутенера, чтобы никто не обидел. Ведь хочешь не хочешь, должна девушка ее профессии иметь покровителя, ибо иначе дружная каста сутенеров все равно не даст житья, пока кто-нибудь из них не добьется своего Он и поможет твердо встать на ноги.

После выхода из больницы, уже сняв комнату, уже пройдя постыдную регистрацию, а еще до этого специальное и не менее постыдное медицинское освидетельствование, без которого не зарегистрируют, она все еще надеялась на приход отца. Больше двадцати дней пряталась от всех. Той страшной сцене с отцом, его поступку искала оправдание: дикая, нервная вспышка, повод для которой дала сама, наконец, просто состояние аффекта. Но сейчас? Он же все знает, ведь полиции нравов известно, что он совсем не рядовой человек на радиостанции «Свобода», и она сообщила туда. Таня начинала реально осознавать, на какой путь становится, но все еще не могла соотнести это к себе,

не представляла себя в новой роли. Как в свое время, не задумываясь, повторила отцу его фразу о панели, не придавая ей никакого значения, так, уже приблизившись к самой грани панели, все еще не могла полностью воспринять случившееся.

Таня ждала, что кончится, наконец, это наваждение, этот кошмар. Отец не появлялся, не давал о себе знать, а опытные руки подталкивали ее, сначала осторожно, ласково, а, опутав долгами, мертвой хваткой сдавили горло. Только тогда она ощутила весь ужас своего положения. По пятам ходит сутенер, и прятаться по окраинам уже нет возможности. Всем сердцем прокляв отца, она пошла по единственно оставшейся ей дорожке.

Таня прилично зарабатывала. Вполне хватало на оплату комнаты и питания, на ежемесячный налог полиции нравов и участковому полицейскому, на погашение кредита за уже солидный гардероб модной одежды, за медицинское наблюдение и контроль и содержание сутенера, который и в самом деле в обиду ее не давал, хотя сам подсчитывал, сколько необходимо на обязательные платежи, а остальное, все до пфеннига, отбирал.

Однажды в переулке лицом к лицу она встретилась с отцом. Баранов давно знал, где его дочь и чем она занимается. Гордость не позволила ему идти к ней. Девчонка может еще подумать, будто он чувствует за собой какую-то вину, будто пришел извиняться или звать домой. Правда, гордость появилась позже, когда опасность миновала. А в первую минуту после случившегося, вернее, как только узнал о регистрации в полиции нравов, думать о дочери было некогда. Тогда во всей опасности встал вопрос о собственной судьбе. Чем это может кончиться для него?

Вся история, несомненно, уже известна начальству. И, вероятнее всего, не только шефу — американскому полковнику Джеймсу Брауну. А в обстановке подсиживания, склок, зависти, царящих на «Свободе», кое-кто уцепится, конечно, за этот случай.

Баранову в тот момент было не до Тани. Зато он хорошо продумал сложившуюся ситуацию и подготовил весьма крупные козыри перед тем, как вступить в игру. А опыт игрока у него был большой.

До войны Баранов заведовал сельской школой в нынешней Кокчетавской области и учился на заочном отделении юридического института. На фронте ему стало ясно — Советский Союз будет разгромлен, а потому есть прямой смысл сдаться в плен и идти на службу к немцам. Он сказал, что имеет юридическое образование, поэтому Власов назначил его прокурором

своей армии. Любой оплошности солдата было достаточно, чтобы Баранов настаивал на смертном приговоре. Его боялись даже приближенные Власова, и требования прокурора всегда выполнялись. Ему боялись возражать, ибо знали, что его месть будет изощренно жестокой.

Готовясь к объяснению с начальством относительно инцидента с дочерью, Баранов продумал много вариантов. Если от всего отказаться: «Можете ли вы поверить, чтобы родной отец грохнул об пол дочь? Да это чудовищная выдумка»,— начальство поймет, где подлинная правда, ибо достаточно осведомлено о его жестокости. Не подходили и другие варианты.

После войны Баранов пошел в энтээс. Бьющая через край инициатива в создании антисоветских фальшивок привела Баранова в число главарей энтээсов. Хваля его за очередную провокацию, кто-то из американских хозяев сказал: «Сразу видно, чей это почерк».

В ЦРУ понимали: нет смысла держать его в энтээсе, копошащемся в мелких делах. Куда больше он принесет пользы на радиостанции «Свобода», оснащенной современной американской аппаратурой. К тому же и связь этих двух организаций будет более органической. Его перевели на «Свободу», однако почерк остался прежним. И почерк этот в новых фальшивках, запускаемых через микрофоны, хорошо известен начальству. Значит, любую придуманную им версию относительно дочери могут разгадать.

Свой поступок он объяснил так: «Поездка моей дочери в сегодняшнюю Россию, дочери бывшего прокурора освободительной армии Власова, одного из руководителей энтээс и русской редакции «Свобода», для меня равносильна смерти. Во имя моей дочери я бы пошел на это. Но во имя дела — нет. Во имя нашего святого дела я готов на любые крайние меры».

Его похвалили. Сказали лишь, что легко обойтись и без крайних мер, просто он сгоряча не подумал, просто можно не дать ей визы.

Когда все неприятности остались позади, он смог спокойно подумать о дочери. Но необходимость искать встречи, чтобы как-то улаживать конфликт, отпала...

И вот дочь перед ним. Случайная эта встреча произошла ночью, в таком месте, где ее пребывание было вполне естественным, а о причинах его появления там было нетрудно догадаться.

Они столкнулись лицом к лицу и просто пройти мимо друг друга, как незнакомые люди, не могли. Растерянно он сказал:

— Ну, что же ты, Таня?

Она стояла молча, опустив голову, не в силах поднять гла-

за. А он, не находя других слов и понимая, как глупо вот так стоять молча, снова сказал:

— Ну зачем же ты так, Таня?

Она ответила тихим, прерывающимся голосом:

— Пойдем ко мне, поговорим. Я живу совсем рядом.

Встреча с дочерью расстраивала его планы. Не так уж часто он мог выбраться в этот район. Слишком много времени и сил отнимала работа.

Всю послевоенную жизнь он создавал документы, призывающие к свержению Советской власти. Холодная война согревала его сердце. И в этой войне он не был сторонним наблюдателем. Работал без устали, действовал умно. На основе критических выступлений в советской печати настолько умело разрабатывал «волнения» в СССР, что непосвященных они поражали своей правдоподобностью. Его воображение рисовало все более страшные картины жизни в СССР, и плод его мечтаний, размноженный на полиграфических базах США и ФРГ, разносимый их мощными радиостанциями и телевизионными центрами, органически вплетающийся в общий поток антисоветской пропаганды, казалось ему, неизбежно приведет к свержению строя. Еще немного, и цель будет достигнута.

Огромные усилия разбивались как о стену, не находили отклика, и это все больше раздражало его. Нарастала ненависть к народу, который, сколько ни толкуй, не может понять, что за пределами родины немало настоящих людей, таких, как он, давно готовых принять на себя историческую миссию и возглавить руководство страной. Ему хотелось пожать плоды своих трудов, хотелось наяву увидеть мифические заговоры и восстания в СССР, которые так красочно изображал он на бумаге. Хотелось чего-то грандиозного, масштабного, глобального. И «глобальное» появилось.

Из-под его пера вышла «Программа демократического движения Советского Союза», якобы присланная на Запад из СССР и подписанная: «Демократы России, Украины, Прибалтики».

Я читал эту книгу, изданную на отличной бумаге. Читал и ряд его творений, предшествовавших ей. Какие бы небылицы он ни придумывал, никогда раньше они не содержали открытых оскорблений народа. А тут нервы не выдержали. Вся злость, скапливавшаяся годами, вылилась в чудовищных оскорблениях русского народа, не желающего свергать свой строй.

Баранов разбил «Программу» на главы для серии передач по каналам «Свободы». Но передачи не состоялись. Должно быть, поняли, сколько следов на фальшивке, как легко ее разоблачить.

Это был крупный провал, который Баранов тяжело переживал. Он нервничал. Никого, кроме самого себя, не обвинял. Не понимал, как при его опыте и выдержке мог так непростительно грубо ошибиться. Ошибка бесспорная и, что хуже всего, необъяснимая.

Приехав из Мюнхена во Франкфурт-на-Майне по делам энтээса, отправился на Таунусштрассе, чтобы хоть немного развеяться. И тут, как назло, встреча с дочерью. Отказаться идти с ней? Но она уже пошла. Повернуть тихонько в другую сторону, постыдно бежать? Гордость и чувство собственного достоинства не позволили ему так поступить. И он зашагал вслед, поравнялся с ней.

Шли молча. Пересекли Таунусштрассе и свернули в полутемный переулок. Он сказал:

— Эти муниципальные власти просто возмущают меня. Такие налоги берут с населения, а осветить улицу не могут.

Таня ответила:

— Здесь специально мало света.

— Ну хорошо, пусть здесь, а другие улицы? Чуть из центра свернешь, сразу темнота, хоть глаз выколи. И никому до этого нет дела, просто смешно. Конечно, там, где они сами живут, фонари понавешены, как прожектора, а о людях не думают, пусть мучаются. И вообще я тебе должен сказать, что в муниципалитетах засели просто дельцы. Дельцы, думающие только о собственной выгоде.

Таня ничего не ответила. Еще немного шли молча. Потом он сказал:

— А я ведь тебя послушал, Танюша. Помнишь, ты все говорила — пора купить новый рабочий костюм. Этот вот на мне новый, ты обратила внимание?

— Мы пришли,— остановилась она у входа в одноэтажный старый дом, затянутый вьющимся диким виноградом. Отперла дверь, зажгла свет в прихожей, через холл провела к себе мимо трех закрытых дверей. В комнате было чисто, уютно, стоял едва уловимый запах духов. Вытянутая вверх и немного в сторону рука бронзовой девушки держала цветок, из которого струился слабый голубой свет.

— Садись,— показала Таня на кресло.— Я что-нибудь приготовлю.

— Нет-нет, ничего не надо,— заторопился он,— я ведь ненадолго.

— Ну тогда виски.— Открыла бар, он осветился изнутри, как освещается автомашина, когда открывают дверь. Достала начатую бутылку, тонкостенные пузатые бокалы и содовую воду из маленького холодильника, стоявшего тут же.

— Ну зачем все это? — недовольно сказал он.— Что ты, ей-богу?

Таня налила виски ему и себе, села на круглый стул без спинки напротив него.

— Содовую наливай сам по вкусу.

Не добавив воды, он залпом выпил, сказал:

— Извини, Таня, я тороплюсь...

— Торопишься? — удивленно переспросила она.— Ну, пожалуйста...

Поднялась, быстрым, привычным движением дернула длинную молнию сзади на платье, тряхнула плечами, и оно упало к ногам.

— Что ты делаешь?! — вскочил Баранов.

— Так ведь ты торопишься,— с упреком ответила она, перешагивая через платье.— Извини,— расстегивала она лифчик,— я забыла предупредить, со стариков я беру втрое дороже.

— Сумасшедшая! — взревел он и, оттолкнув ее, бросился к двери.

Она захохотала и прыгнула вслед, крича:

— Держите, держите, он не заплатил.

В холле появился детина, преградивший путь Баранову.

— Что вам надо?! — заревел Баранов.

— Денежки,— лениво ответил детина.— За постельку с Танечкой надо ведь платить.

Неожиданно он ударил Баранова своим огромным кулаком в живот.

Баранов не вскрикнул. Только, согнувшись, схватился за живот обеими руками. Потом немного выпрямился, извлек купюру в сто марок, положил на круглый столик и направился к двери.

— Маловато,— безразличным тоном сказал детина,— за такую девочку маловато.— И ударил кулаком в челюсть.

Баранов упал.

— Бей его, бей его, ногами бей,— визжала Таня, суча кулачками, пока не зашлась в истерике.

* * *

Графиня Елена Бардес живет прошлым. Она рассказывала о своей молодости, а мне казалось, будто все это давно знакомо. Я не знал, говорит ли она о своей жизни или повторяет что-то кисейно-голубое, где-то давно ею прочитанное. Впрочем, оснований для того, чтобы сказать это с уверенностью, у меня не было. Возможно, и в самом деле она вращалась в высшем свете Петербурга и теперь вспоминала самое для нее броское

из той жизни. Но так или иначе, мне надо представить графиню и привести именно ее рассказ, а не свои сомнения.

Великолепие балов, маскарадов, пикников Елена ощущала, видя, как готовятся к ним взрослые, а она, еще совсем девочка, только трепетно мечтала о чудесном, сказочном мгновении, когда сама появится в этом манящем, прекрасном мире и обязательно будет в центре его, и, наконец, первый ее бал, изумительный, захватывающий, неповторимый, как у Наташи Ростовой.

Игра хрустальных люстр на мраморных колоннах, сверкающие узоры паркета, оркестр где-то под потолком, шикарное общество и сама она, юная, неотразимая, то окруженная поклонниками — мальчиками из кадетского корпуса, то скользящая в плавном танце или несущаяся в головокружительном вальсе. Вот, собственно, и все ее воспоминания, если отбросить бесконечные повторения одного и того же, обогащенные всякий раз новыми деталями.

Графиню Бардес я увидел за столиком под грибком на пляже в Пицунде напротив четвертого корпуса, где мы отдыхали вместе с писателем Юрием Корольковым. Она продавала бюстгалтеры. Озираясь, доставала из саквояжа по одному, чтобы не привлекать внимания. Тем не менее вокруг нее стали собираться девушки. Она решительно защелкнула саквояж и жестом показала — все, нет больше.

Я никак не ожидал встретить ее в Пицунде, тем более на нашем пляже. Уж если приехала, то куда удобнее ей находиться на своем пляже, близ корпуса, где живут иностранные туристы. Откровенно говоря, он и благоустроен лучше нашего, там менее людно. Видимо, здесь больший спрос на западногерманские лифчики.

Я подошел к ней. Она тоже удивилась встрече и обрадовалась — хоть одна знакомая душа. Несколько минут восторгалась морем, сервисом, не очень складно объяснила свое присутствие на нашем пляже и незаметно перешла к воспоминаниям, очевидно запамятовав о разговоре во время первой встречи у нее дома во Франкфурте-на-Майне. Правда, здесь в Пицунде кое-что добавила к тому, что я уже слышал.

В то страшное для нее время семнадцатого года семья разлетелась куда-то, она осталась одна, беспомощная, ничего не умеющая делать. А дальше ей и вовсе ничего не хотелось вспоминать. Потянулись тяжелые годы. Вышла замуж за Дмитрия Трусова, о котором тоже ничего не сказала, но, судя по отрывочным фразам, семейная жизнь шла нелегко и длилась недолго. Она снова осталась одна, но теперь уже с маленьким Володей на руках.

Мысли ее скачут, связного рассказа не получается. Она уже в Западной Германии, работает машинисткой в издательстве «Посев». Сводить концы с концами трудно. И вот — ирония судьбы! Сторож и истопник «Посева», грубый, неотесанный и здоровенный мужик Петр Попов, чуть ли не делая одолжение, соглашается на ней жениться. «А то рубаху простирнуть приходится самому».

Так с ее тонким, изысканным вкусом и манерами, с ее воспитанием в высшем кругу общества, пришлось пойти на этот брак, выслушивать рассказы о мужицком житье, вплоть до его побега за границу в тридцатом году.

При встрече во Франкфурте-на-Майне она о муже не говорила, да и не могла говорить, ибо он находился рядом. А попал я к ним при следующих обстоятельствах.

В ту первую ночь во «Флориде», когда я только познакомился с Владимиром Трусовым, мы так и не дождались Муштакова. Трусов был убежден: не сегодня, так завтра явится обязательно. Расков оказался прав — Трусов старался помочь мне, как только мог. Думаю, известную роль в этом играл и тот факт, что он собирался с матерью в туристскую поездку к нам, рассчитывая, очевидно, и на мое содействие.

Мне не раз приходилось замечать, думаю, и другим товарищам, что за рубежами нашей родины каждый советский человек, кем бы он ни был, воспринимается чуть ли не как полномочный представитель государства. Будто может он принимать официальные решения, и уж на худой конец, любая высказанная ему мысль или просьба будут немедленно переданы лично руководителям страны.

Трусов побаивался, как бы советские органы не начали его преследования. Я объяснил ему наши законы, по которым преследованию подлежат только те лица, чьи руки запятнаны кровью. Он и сам слышал об этом, и хотя был период, когда приходилось во имя куска хлеба выполнять пропагандистские задания против родины, в остальном совесть его чиста. Мне верилось в правду этих слов, тем более что о своих деяниях против родины рассказал он подробно.

Мы решили на следующий день снова прийти во «Флориду», и я согласился заехать за ним домой, чтобы заодно познакомиться с матерью и отчимом. Так я попал в дом этой семьи.

Здесь — небольшое отступление. Одно из бедствий, принесенных войной,— это трагедия сотен и сотен тысяч советских людей, насильно угнанных в гитлеровскую Германию или попавших в плен, и не сумевших вернуться на родину. Причины к тому были разные. Малодушие одних, под угрозой оружия

или в силу каких-то неотвратимых обстоятельств вынужденных в свое время работать на гитлеровцев, легковерие других, поддавшихся тонкой и лживой пропаганде, шантажу или провокациям, низкий уровень третьих, польстившихся на яркую мишуру Запада, и многое другое.

Прозрение пришло слишком поздно. Тем, кому во время войны было двадцать, теперь -- пятьдесят. Сегодня эти сотни и сотни тысяч,— за редчайшим исключением,— тянут лямку, горько вздыхая о родине. Они никого не винят, только самих себя, и нет у них другой жизни, кроме той, на которую оказались обреченными. Но вот уже и тридцать лет прошло, а забыть родину не могут. Они создают библиотеки современной советской литературы, выписывают из Москвы газеты и журналы, смотрят советские кинофильмы и телевизионные передачи. Этим людям активно помогает Советский комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом, вплоть до выпуска для них газет, журналов и непериодических изданий.

И все-таки слишком много прошло времени, и оно не могло не наложить на них отпечатка того строя и общества, в котором они живут. Нет среди них ни чувства глубокого коллективизма, свойственного нашим людям, ни подлинной взаимовыручки и дружбы. Посмотрят, скажем, кинофильм в арендуемом ими небольшом помещении, повздыхают или даже посмеются, если фильм смешной, а потом грустно и молча разбредутся по своим углам.

Подлинный праздник для них — встречи с соотечественниками, приезжающими в тот мир. Но слишком редки такие праздники. И наши туристы, и командированные заранее рассчитывают свое время чуть ли не по минутам, да и кому охота связываться за рубежом с людьми, неизвестно по каким причинам оказавшимися за пределами родины.

Но сейчас речь не о них. Речь о той кучке, ничтожной и по количеству, и по существу своему, которая пошла на службу в различные антисоветские центры. Как ни парадоксально, даже они рады встретиться и поговорить с советским человеком. Объяснение тому простое и ясное. Эти продавшиеся действуют отнюдь не по идейным соображениям. Из числа подобных, с кем встречался на протяжении ряда лет, лишь однажды наткнулся на идейного врага, да и то доживающего свой век. Остальные ведут свою бесчестную службу, по образному определению одного из эмигрантов, не по убеждению, а наподобие определенной категории женщин. Не от легкой жизни, а под ударами судьбы самые слабовольные из них, махнув на честь и совесть, идут торговать своим телом. Они достойны презрения

и жалости. Так же и в среде эмигрантов. Лишь единицы, поправшие честь и совесть, пошли продавать свои души. И так же вызывают они не только презрение, но порой и жалость. Среди них встречаются и такие, как Владимир Трусов, у которого хватило духу отказаться работать на врагов родины. Поэтому и порадовался, узнав, что ему без задержки дали визу на въезд к нам. К сожалению, повидаться в Пицунде не удалось. В тот день, когда я встретился с его матерью, он уехал в длительную морскую прогулку, а нам с Корольковым оставалось два часа до отъезда в Москву.

С Трусовым я через год снова встречался в Западной Германии, и он восторженно говорил о своей поездке в Советский Союз. Правда, немного обиделся. Хотя и раньше не верил в репрессии, которыми его пугали некоторые «друзья» во Франкфурте, когда виза уже была получена, но в том, что куда-то вызовут и допросят, не сомневался. Оказывается, никто даже внимания на него не обратил. Относительно поездок различных лиц из страны в страну у него свои твердые убеждения. Какую бы индифферентную мину ни делали чиновники любой страны, они точно знают, заранее проверят, кого впускают к себе и кого выпускают. Значит, все знали и о его прошлой деятельности. Так неужели никому не интересны детали даже его нашумевшего скандала в Риме?

К пятидесятому году тридцатилетний Трусов не имел ни профессии, ни денег. А погулять любил. Мать в «Посеве» зарабатывала гроши. Зато много знала о делах хозяев этого органа. Знала и об организации какой-то специальной школы в Лимбурге. Правда, ей не приходило в голову, что школа эта диверсионная и готовит людей для заброски в Россию. Возможно, знай она это, и не согласилась бы послать туда сына. Она, конечно, понимала — школа особая, антисоветская, учатся там на всем готовом, да еще жалованье получают, живут по режиму, и всё это очень хорошо. А то, кто знает, что будет дальше с сыном. Работы нет, денег нет, а выпивши приходит часто.

Владимир пошел в школу с большой охотой. Все интересно, романтично, таинственно. Вскоре ее перевели в Бад-Хомбург. Здесь учились люди самого разного возраста и в разное время попавшие за границу. Среди них был и Муштаков, после окончания школы назначенный преподавателем конспирации. Трусова увлекал этот предмет, и у него установились отличные отношения с Муштаковым. Еще ему нравились дисциплины, изучающие методы подделки печатей, бланков, различных документов. Охотно слушал лекции по структуре органов безопасности. А вот историю ВКП(б), историю СССР не любил.

Получалось, что живут в России темные и тупые люди, ненавидящие свой строй и друг друга, ничего не умеющие делать. Как же тогда они выиграли войну? И почему до сих пор не гибнет этот строй, если он начал разваливаться уже с семнадцатого года, а во время войны вовсе ни на чем не держался? В это никак не верилось.

Трусов никому ничего не говорил о своих сомнениях. А все-таки, видимо, пронюхали, чем он дышит. После выпуска часть слушателей взяли в американскую диверсионную школу под Мюнхеном, где платили куда больше, а два дня в неделю вообще райскую жизнь устраивали — пей, гуляй сколько хочешь. Других взяли на высокооплачиваемые должности в различные издательства, а Трусову поручили самое мелкое и неинтересное. Сначала распространял «Солдатскую правду» и листовки среди советских солдат, находившихся в Восточной Германии. Эту газету и листовки редактировал и больше половины заметок и обращений писал Муштаков. Правда, был и американский редактор, но он сам ничего не делал, только направление давал.

А как распространяли? В войска же не пустят. Смех один. Все-таки считалось, что разработана хорошая система распространения, которым занималось несколько групп.

В группе некоего Лахно, кроме Трусова, было три человека, и в их распоряжении имелась специально оборудованная грузовая автомашина. В типографии «Посева» во Франкфурте-на-Майне ее загружали листовками и «Солдатской правдой», тоже считавшейся листовкой, на складе брали ненадутые резиновые шары, изготовленные в Ахене, и отправлялись в поездку, рассчитанную на десять дней. Прежде всего заезжали в городки Швайнфурт или Фулда, где брали несколько баллонов водорода, и отправлялись на зональную границу. В трех-четырех километрах от границы выбирали в лесопарке подходящее местечко, укрытое от посторонних глаз. Работу начинали ночью. В распоряжении группы были два типа шаров — диаметром тридцать девять сантиметров и сто семьдесят пять сантиметров. Первые могли поднять триста тридцать граммов, вторые — два с половиной килограмма. Соответственно отвешивали и стягивали специальными шнурами пачки листовок. Затем по одному надували шары, привязывали к ним пачки так, что оставался болтаться конец шнура.

Рассказывал это Трусов, смеясь.

Дождавшись погоды — а бывало, несколько дней ждали,— Лахно определял направление и скорость ветра, и в зависимости от этого — длину болтавшегося шнура. Поджигал его и выпускал шар. Шнур тлел, и считалось, что огонек достигнет узла, скрепляющего пачку, как раз, когда она будет над рас-

положением воинской части, и листовки разлетятся. А потом потеха — то ветер вдруг не в ту сторону подует, то фитилек разболтается, коснется шара и он раньше времени лопается, то унесется куда-то далеко в небо.

За ночь успевали выпустить сорок маленьких или семь больших шаров. Ну, первый раз интересно было. Даже во второй и третий раз охотно в эти игрушки играл, вспоминалось, как в детстве воздушного змея запускали. А потом надоело. И писать отчеты надоело. Ведь по тому, сколько листовок заброшено в советские войска, и деньги платили. Расположение воинских частей было размечено по номерам. Вот и писали — такому-то номеру столько-то штук сбросили, такому-то — столько, как бог на душу положит. Часто бывали конфузы. Числится по отчетам, будто весь тираж над противником сброшен, а находят вдруг целые пачки чуть ли не во Франкфурте.

Занимался этим делом Трусов недолго. Назначили диктором на радиостанцию, и тоже ненадолго. Поручили дело, где нужна смелость и выдержка. Не зря же учили его в Бад-Хомбургской школе методам слежки, шантажа, конспирации.

Почему на задание послали в Италию, он не знал. Командировка обрадовала. Красивая страна, приличная гостиница, денег не то чтобы сколько хочешь, но вполне достаточно. На второй день после приезда в Рим какой-то человек поинтересовался, не из Саратова ли он приехал. Трусов ответил: «В Саратове живет мой брат».

Этот пароль дал ему Околович. Один из главарей энтээсов, старый эмигрант, работавший то поочередно, то одновременно на английскую, американскую и западногерманскую разведки. Под любую антисоветскую акцию умудрялся получать от своих хозяев крупные суммы, выдавая ее за одну из многочисленных, еще готовящихся, которые составляют стройную систему подрывной деятельности, требующей крупных расходов.

Вместе с новым знакомым, в распоряжение которого поступил, Трусов готовился четыре дня. И вот настала минута.

Он вошел под навес у кафе, где на открытом воздухе стояло около десяти столиков. Еще издали увидел нужного человека. Этого советского инженера, приехавшего в командировку, успел достаточно изучить за дни подготовки. Знал, что он постоянно обедает именно в этом кафе в одно и то же время.

Весьма учтиво спросил, можно ли сесть рядом. «Пожалуйста»,— ответил инженер, бросив взгляд в сторону, словно удивляясь, почему он хочет за этот столик, когда вокруг так много свободных мест. Стол находился у стены, а вокруг него — три стула, на одном из которых, близко придвинутом к обедающему, лежал портфель. Трусов сел напротив и, дотянувшись до

стула с портфелем, положил туда и свою тонкую кожаную папку.

Инженер ел, просматривая газету. Трусов дважды пытался завести разговор, задавая какие-то вопросы, но ответы получал односложные, и беседы не получалось. Закончив с обедом, инженер рассчитался. Высвобождая портфель, приподнял папку.

— Извините,— мгновенно наклонился за ней Трусов, и инженер протянул ему папку. С двух сторон щелкнули фотоаппараты. Трусов, едва прикоснувшись к ней, отдернул руку, с улыбкой и спокойно сказал:

— Это не моя.

— Как же? — удивился инженер.— Вы ведь только сейчас ее положили.

Трусов ответил резко и громко. К их столику обернулись соседи. Кто-то поддержал инженера. Тут же вмешался слишком эмоциональный итальянец и стал что-то доказывать, сильно жестикулируя.

Возможно случайно, на тротуаре у самого входа оказались два полицейских. Едва ли мог заинтересовать их мелкий спор. Весь Рим с утра до вечера спорит. Но тут случай особый. Один резко и категорически, второй спокойно и настойчиво отказываются от папки, приписывая ее принадлежность друг другу. Услужливый фотограф положил перед полицейскими еще влажный цветной снимок: оба спорщика улыбаются, оба держат папку, и трудно понять, кто кому ее передает. Полицейским ничего не оставалось, как проверить ее содержимое. В ней оказалась калька с подробным планом одного из крупнейших итальянских портов. Под итальянским текстом условных обозначений — перевод на русский. В уголке справа надпись «секретно» и фамилия инженера.

Более чем наивные для действий разведчика переводы на русский и эта демонстративная надпись выдавали грубую фальшивку. Но устанавливать истину — дело не полицейских. У них достаточно оснований, чтобы забрать в участок обоих. Так они и поступили под шум собравшихся любопытных и крики о русском шпионе. На следующий день три газеты под сенсационными заголовками дали сообщение о задержании советского разведчика.

Трусов был спокоен. Кальку он снял с карты, купленной в магазине учебных пособий. Перевод на русский сделан не его рукой. Однако то, что ни военной, ни государственной тайны калька не представляла, выяснилось лишь через два дня. И хотя советского инженера сразу же выпустили под расписку, за эти два дня еще четыре газеты успели дать крикливые заметки о скандальной истории.

Трусова тоже выпустили. Кто делал перевод на русский, да и весь инцидент никого больше не интересовал, коль нет в нем состава преступления. Газеты свободны, что хотят, то и печатают, а если кто-то кого-то обидел или оскорбил, можно подать в суд, в том числе и на газеты, которые отказались напечатать сообщения, чем все кончилось.

После этого случая Трусову поручили более серьезное дело, связанное с диверсией и возможным применением оружия. Естественно, и заработок предстоял неизмеримо больший. Он решительно отказался. Так начался разлад с энтээсами и их хозяевами, кончившийся полным разрывом, ибо, обозлившись, он не желал больше браться и за менее рискованные дела. А круг знакомых остался старый, все та же эмигрантская среда.

Теперь он работает в бюро по сдаче квартир. Огромное количество франкфуртцев не имеют жилплощади. Одновременно много квартир пустует, в любых районах города стоят незаселенными корпуса, недавно построенные, современные. В Западной Германии насчитывается две сотни тысяч пустующих квартир и пятьсот тысяч бездомных. Пять миллионов живут в квартирах, признанных аварийными. А переехать в хорошие трудно, слишком высока квартирная плата. Вот и возникла сеть посреднических контор и бюро по сдаче жилой площади. За каждую сданную квартиру они получают от владельца комиссионные в сумме ее месячной арендной платы.

В таком бюро и работает Трусов. Заработок не ахти какой, а главное, не стабильный, зависит от множества обстоятельств, порой просто от случайной удачи. Пока ничего лучшего нет. Впрочем, его работа имеет много положительных сторон. Не надо ходить на службу к определенному часу и сидеть там целый день. После удачной сделки можно вообще не появляться хоть неделю. Это дает возможность подрабатывать у Раскова и вообще распоряжаться своим временем. Потому охотно может уделить время мне. Не так уж часто выпадает случай оказать услугу советскому человеку.

Я приехал к Трусову, как условились. По многим деталям понял — гостя ждали. Маленькая двухкомнатная квартира обставлена более чем скромно. В углу — икона, лампадка. Встретили приветливо, особенно глава семьи, высокий, жилистый и энергичный горбоносый старик. Говорит резко, уверенно, сильно жестикулируя, почти не сгибая локтей. Может быть, потому руки казались особенно длинными. Взмахами резал воздух, точно подводя черту. А начал так:

— Не знаю, как у вас, а мы уж по старому русскому обычаю гостя встречаем,— и достал из шкафа бутылку водки. Еще

не поставив на стол, пристально, испытующе посмотрел на меня — как отреагирую?

— Боже мой! — всплеснула руками графиня, страдальчески сморщившись.— Стол еще не накрыт, а ты как в трактире... Сразу водку.

— Так накрывай, коль не накрыт,— оборвал он.— Где там твои салфетки-амулетки.— И со стуком поставил в центр стола бутылку.

Когда-то в России он ненавидел помещиков-дармоедов, которые ничего не делали, а только жрали и кутили. Презирал безземельных и безлошадных, этих ленивых голоштанников. Он же — человек трудолюбивый, смекалистый. Потому и землицы имел в достатке, и скота. Сам жил и людям давал жить. Полдесятка батраков, работавших у него, никогда не обижались. Правда, и он к ним претензий не имел, люди работящие, старательные. Да лентяй у него и не зацепился бы — все на глазах, сам вместе с ними от зари до зари. Хочешь работать, как положено, работай, а нет — на все четыре стороны. И несправедливо его раскулачила Советская власть. И признать ее можно полностью, а вот крепкого мужика зазря обидели. Выгоды своей от крепкого мужика не поняла Советская власть.

Попов был уверен, что с его руками и головой где угодно выбьется. Хлебнув за границей батрацкой жизни, возненавидел всю иностранщину. А жить надо. Скитался по разным странам, пока не осел во Франкфурте-на-Майне. Работал сторожем и истопником, уже ни на что не надеялся и роптать перестал, пока не случилась история, о которой говорил со злобой.

Энтээсы вместе с «Посевом» находились в помещении барачного типа. Попов запирал ворота, выпускал из будки двух собак, обходил территорию. Зимой всю ночь поддерживал огонь в печах.

Однажды ему принесли мешок макулатуры и велели сжечь. Ночью этим делом и занялся. Затолкает в печку стопу и ждет, пока прогорит. Случайно взглянул на какую-то бумагу. Расписка Околовича в получении трех тысяч марок.

— Аж в пот бросило,— рассказывал Попов.— За что же такие деньги? Смотрю дальше — расписка Романова на пять тысяч. Да что же это такое! Захлопнул дверцу топки, вывалил на стол все бумаги, начал рассматривать. Вижу — ведомость, и все начальство, как один в ней переписано, и суммы такие, что дух захватывает. Вот гады, думаю, каждый божий день, как святые, твердят: «Все энтээсы равны между собой, все по триста марок в месяц получают, за идею работают, как борцы и герои, и воздадут им все сполна, когда Россия восстанет. Уже недолго ждать». Ах, сволочи, думаю, христопродавцы

окаянные. Аккурат, кто так твердит, выходит, тысячами огребает. Вот, выходит, где ихняя идея.

Подобрал все эти расписки-ведомости, стал утра дожидаться. Первым на работу Околович явился. Его дверь рядом со входом в бухгалтерию. Недалеко, думаю, тебе, чертов горбун, за денежками ходить. Я молча здороваюсь, ничего не говорю, и он тоже важно так отвечает, и морда такая занятая, будто восстание в России обдумывает. Отпер он дверь, я следом. Грохнул по столу целой пачкой.

«Значит, по триста марок, говорю, чертов карлик, конопатый. А это что?» Так хотелось по роже садануть, да побоялся, дух выпустит. Рука у меня тяжелая, а он мелкий такой, согнутый, как крючочек. Правда, плюнул, чуть в лицо не попал, и ушел. Сволочи они все до единого... В тот же день мне и расчет выписали, никто и разговаривать не стал.

* * *

В семье Владимира Трусова я пробыл недолго. Вместе с ним отправились во «Флориду». Но и на этот раз неудачно. Муштаков так и не появился. Не было его и в следующую ночь. А на четвертую и вовсе не повезло. Накануне в частях американской армии, расположенных во Франкфурте-на-Майне, была получка. Я не знал этого, да если бы и знал, едва ли сему факту мог придать какое-либо значение.

В военной форме посещать заведения, подобные «Флориде», американцам запрещается. Но их и в гражданской одежде легко отличить даже на расстоянии — обувь остается воинская: высокие ботинки со шнуровкой на крючках, с выпуклыми и твердыми, как у футбольных бутсов, носками. Впрочем, американцы и не пытались ничего скрывать.

Часа в три ночи большая ватага в высоких бутсах ввалилась во «Флориду». Вели себя так, будто никого, кроме них, здесь не было. Не спросив разрешения, начали составлять столики. Бесцеремонно предложили каким-то посетителям пересесть на другие места. Те возмутились. Начался спор, перешедший в драку. Дрались честно. Никто не бил бутылками или стульями. Только кулаками.

Пожалуй, самая ответственная и высокооплачиваемая должность в ночном баре — вышибала. Этот пост у Раскова занимал бывший польский профессиональный боксер. Очень высокий и сильный, он стоял посередине бара, расставив ноги, и расшвыривал дерущихся. Попавшегося ему под руку маленького, на первый взгляд щуплого, но цепкого американца рванул из кучи, как щенка, и тот с грохотом полетел в сторону,

сшибая стулья. Поднялся не торопясь, медленно подошел сзади к поляку и, как-то странно подпрыгнув, изо всех сил ударил его своей бутсой между ног. Вышибала вскрикнул, резко присев на корточки, повалился на бок и завыл, все сильнее подтягивая ноги к подбородку. Несколько раз блеснул магний и щелкнули фотоаппараты.

Я стоял спиной к стене и думал, как отсюда выбраться. Что произойдет дальше, было ясно. Кто-то уже, конечно, позвонил в полицию, и она прибудет незамедлительно. На следующий день в каком-либо не очень солидном органе появится соответствующая информация с фотоснимками. Весьма вероятно, что в кадре окажусь и я. И совсем не исключена примерно такая подтекстовка: «Вот как развлекается советский писатель». Перспектива, сами понимаете, не самая лучшая.

Я твердо решил во «Флориду» больше не ходить, о чем на следующий день сообщил Трусову. Оставалось принять его предложение — поехать к Муштакову домой в Бад-Хомбург.

Как и предполагал Трусов, нашли мы Муштакова в маленькой пивной близ его дома. Трусов вошел туда один и вскоре вернулся с крупным рыхлым стариком. Измятая, далеко не первой чистоты одежда, одутловатое, широкое лицо, мутный взгляд и еще какие-то детали не оставляли сомнений в том, что человек этот пьет не первый день. Впрочем, Трусов заранее предупредил: Муштаков целыми днями сидит в пивной, «водки уже не приемлет, а пиво дует чуть ли не бочками».

— Какой еще сюрприз? — лениво и безнадежно бормотал он, и его глаза не то щурились, не то слипались.— Какой может быть для меня сюрприз?

— А вот,— кивнул в мою сторону Трусов.— Ты все хотел встретиться с человеком сегодняшней России, знакомься, только что из Москвы приехал.

Муштаков тряхнул головой, глаза раскрылись. Он тупо уставился на меня, словно не веря. Потом ожил, улыбнулся:

— Не может быть! Правда? — и шагнул ко мне, расставив руки.

Я машинально отстранился.

— Да, да, понимаю...— снова сник Муштаков.— Но знаете,— в голосе появилась твердость, даже уверенность.— Вы, конечно, знаете, к кому пришли, хотите разговаривать, раз пришли. Значит, выслушаете мою исповедь. Вас прислал ко мне бог.

Исповедь... Может быть, больше всего мне хотелось исповеди. Почему сельский счетовод так люто ненавидел Советскую власть? Что думал, ведя свои записи, на что надеялся?

Что чувствовал, медленно умерщвляя людей, о чем кое-какие детали я уже знал?

Да, исповедь. Но если бы она пришла сама собой, неожиданно вылилась из общего разговора, да и то едва ли закономерна в данных обстоятельствах. Исповедь, это — перед другом. Что-то глубоко интимное, доверительное, тайное. А мне ведь для печати.

Я не мог скрыть своих сомнений.

— И хорошо! — резко сказал Муштаков.— Пишите! — Это слово прозвучало как приказ.— Пусть все знают! Пусть знает Россия! Пусть знают смолоду, чего я не знал.

Видимо, в мыслях старик далеко оторвался от своего жалкого положения. Куда-то вознесся и, должно быть, всерьез думал, как трудно жить России, пока не узнает его истории.

Шесть вечеров я слушал рассказы Муштакова. Они походили не на воспоминания о давно или недавно прошедшем. Он снова жил каждым эпизодом, будто действие происходит в данную минуту. Рассказывал, как под гипнозом, осушая батареи пива, перевоплощаясь в зависимости от событий, встававших в памяти, то стуча кулаком о стол, то хохоча или плача, скрежеща зубами.

* * *

Поместье генерала Муштакова возвышалось над полями и лесами, принадлежащими ему. Хозяйство вел управляющий почти бесконтрольно. Генерал не любил ни землю, ни леса. Его страстью были конюшни скаковых лошадей. Эта страсть передалась сыну — Владимиру. Казалось, верховой езде он научился раньше, чем начал ходить.

Генерала знали как человека незлобивого, даже добродушного. Управляющий надежно оградил его от общения с крестьянами, но если случалось кому-либо пробиться к генералу, он сочувственно выслушивал просьбу и отказывал редко. А вот эти качества сыну не передались. С юных лет он носился по полям и просекам, выискивая добычу. Увидев далеко в степи крестьянина или крестьянку, сорвавших, скажем, стручок гороха, он припадал к шее лошади и мчался вдогонку не по дороге, а напрямик по гороховому полю, чтобы на полном ходу полоснуть нагайкой. А если успевал человек броситься на землю и нагайка просвистит по воздуху, вздыбливая коня, возвращался и, перегнувшись в седле, хлестал лежащего.

Крестьяне окрестных деревень легко вздохнули, когда Владимир уехал в кадетский корпус. Не проучился и двух лет — свершилась революция.

Может быть, случайность, но скорее эмблема смерти — череп и перекрещенные кости на знамени и воинской форме, привели его в армию Дроздовского, где было немало таких юнцов, как он, прозванных ласкательно «баклажками». Едва ли хоть в одном соединении белых армий или бесчисленных бандах различных атаманов, отличавшихся жестокостью, так садистски истязали пленных красноармейцев, как дроздовцы.

Владимир Муштаков, бесшабашно отчаянный, на великолепном своем скакуне, потрясенный тем, что эти хамы, не умеющие даже держать оружие, посмели подняться против воли божьей, умилял дроздовцев изобретательностью и изощренностью в пытках.

Сама идея революции — как ему казалось, нелепая, сумасбродная, безоговорочно обреченная - вызывала ярость до бешенства. Он в полной мере чувствовал себя хозяином, единственным наследником отцовского поместья и никому не собирался отдавать своего. Поначалу его часть, которой командовал генерал-лейтенант Туркул, заменивший вскоре умершего Дроздовского, одерживала только победы. Вместе с группой боевых офицеров он выезжал в Ростов-на-Дону на похороны командующего, где дал клятву жестоко мстить за эту смерть. А мстить стало труднее. Все чаще приходилось укрываться в лесах, а то и спасаться бегством врассыпную.

Однажды Муштаков с группой дроздовцев попал в плен. У здания штаба красных к ним вышел комиссар, человек лет сорока, огромного роста. Обвел всех взглядом.

— А это что? — показал, улыбаясь, на Муштакова. — Ишь ты, вояка.— И уже серьезно добавил: — С молокососами Красная Армия не воюет. Марш домой!

С него сорвали погоны и дали под зад коленкой. Несколько дней он бродил по лесам, пока не наткнулся на отряд банды Шкуро. Там и закрепился. Это была большая группа, отбившаяся от основных сил, и в их числе человек десять из сан-роты. Они тоже блуждали по лесам, выходя на дорогу только ночью. В одну из таких вылазок подошли к разгромленной, всеми брошенной деревне. Только в одном доме, охраняемом двумя красноармейцами, тускло светился огонек.

Муштаков вызвался снять их.

— Я это умею,— сказал он командиру,— дайте в помощь только одного смелого человека.

Охрану сняли бесшумно. Дом окружили и ворвались неожиданно, бросив в окна гранаты. Восемь красноармейцев были убиты, трое ранены. Один из них совсем легко, в кисть правой руки.

В тяжелораненых никто не позволил себе стрелять. Все отталкивали друг друга, потому что каждый сам хотел совершить это дело и облегчить душу. В конце концов общими усилиями их затоптали. Одновременно шла возня вокруг раненного в кисть. С ног его кто-то сшиб кулаком, а уже потом стали добивать ногами. Но тут изловчился Муштаков и бросился на лежавшего, прикрыв его своим телом.

— Стойте, остановитесь! — кричал он, расставляя руки, грудью прикрывая его голову.

Остановиться в одно мгновение людям было трудно, и несколько ударов пришлись Муштакову. И все-таки, ничего не понимая, разгоряченные, замерли: «В чем дело?!»

— Послушайте, только послушайте,— весь дрожащий, хрипел Муштаков, поднимаясь.— Не убивайте! Не убивайте его! Он должен жить. Это комиссар. Еще недели две, и ни одного комиссара не останется в живых. И никто не будет знать, как выглядят коммунисты, чем они отличаются от людей.

А коммунист всегда улыбается. Он улыбался, обзывая меня, дворянина, молокососом. Видите, он и сейчас улыбается. Надо сохранить его улыбку. Отрезать губы. Пусть всю жизнь улыбается. С каждой губы снять половиночку. И залечить. С нами же опытный хирург. Коммунист должен хорошо слышать. Но слуховой аппарат внутри, а наружная часть только мешает, надо тоже отрезать. И голова у коммуниста особая, думающая. Революцию придумали. Надо скальпировать голову квадратиками, под шахматную доску. Как символ мысли. А глаза оставить. Коммунист должен хорошо видеть. Пусть смотрится в зеркало, пусть видит, как на него будут смотреть люди, как будут плевать ему в лицо. Он должен это видеть.

Муштаков говорил, задыхаясь, и его слушали такие же, как он, а перед ними лежал израненный и избитый человек, пытающийся подняться, и действительно улыбался. По мере того как говорил Муштаков, люди успокаивались, будто утолялась их жажда мести. Она на самом деле утолялась, ибо все сказанное было им по душе и наполняло их радостью, и они все более расплывались в улыбке, потому что знали теперь, что им делать с этим человеком.

Мы сидели в отдельной квартире Муштакова на окраине Бад-Хомбурга, и он рассказывал, поглаживая двух кошек, сидевших у него на коленях, отрываясь от них для того, чтобы налить и выпить очередной бокал пива, и никак не мог понять глупость врачей, запретивших мне употреблять этот чудодейственный напиток. Говорил спокойно, временами монотонно или вдруг возбуждаясь. Едва уловимо слышались нотки хвастовства своей изобретательностью.

Думаю, мне удавалось не выдать закипавшего в груди Старался, чтобы окаменели, не проявились естественные человеческие чувства. Он продолжал рассказывать. Я продолжал слушать.

О том, что стало с комиссаром, Муштаков не знал. Помнил лишь, как самого его подкосил тиф в деревне Кисловка под Херсоном. Его бросили где-то по дороге на маленьком хуторе. Ухаживала за ним совсем молоденькая сестра милосердия. Помнил неотчетливо — то она дает ему попить, то просто сидит рядом. Потом снова картины прошедшего обрели ясность, видимо после кризиса. Сестры уже не было. Он лежал в сарае на сене рядом с парнем, у которого на голове и на груди были грязные и ржавые от крови бинты. Звали его Коля. Хотя с трудом, но передвигаться он мог. Когда Муштаков пришел в себя, Коля стал кормить его, приговаривая:

— Держись, хлопец, я ж тебе говорил, вот и полегшало. Теперь на поправку пойдешь. Еще и беляков проклятых будем душить. Всех до одного передушим.

Владимир Муштаков не перенес ни одной детской болезни. Родился крепышом, рос богатырем, с мальчишеских лет легко клал на лопатки не только сверстников, но и многих кадетов постарше себя. Ширококостый, широкий в плечах, большого роста, он всегда был здоров, как бычок. И теперь силы возвращались к нему быстро. А Коле становилось хуже. Он рассказал, что находятся они возле одинокого домика лесника, где осталась только одна дряхлая старуха.

— То приходила часто, приносила воду и кое-что из жратвы, а вот уже третий день не показывается, видать померла.. Вон там, в тряпке, на полочке остался кусок сала, дотянись сам, Володя, мне уже невмоготу.

Муштаков поднялся, поел с аппетитом, хотя и без хлеба. На следующий день выбрался из сарая в своем грязном белье, потому что другой одежды не было. Дотащился до хаты лесника, только никакой старухи там не оказалось. Стая крыс метнулась в стороны.

Без труда нашел запасы сухарей и гороха. Поел, напился из бочки, стоявшей рядом с колодцем, отдохнул. В доме, конечно, лучше, чем в сарае, но из-за крыс решил не оставаться. Разыскал подходящие штаны, рубаху, какой-то лапсердак. Набил карманы едой, захватил чайник с водой и отправился в сарай.

Коля смотрел на него, пока он выкладывал принесенное на ту же полку, где лежало сало. Потом сказал:

— Мне уже не подняться, Володя... Там в кармане документы и адресок, напиши матери... А мне водички...

— А беляков проклятых как же, Коля? Душить?

— Души, Володя, и за меня души.

— А как душить? Вот так? — и протянул руки к Колиной шее.

Можно бы, конечно, и не душить, сам помрет, да кто знает — вдруг выживет. И душить-то... Чуть прижать — и все.

Закончив с этим делом, Муштаков вытащил из Колиного кармана документы и лег спать. Утром, захватив все запасы еды, направился к большаку.

* * *

Он шел по деревням, видел, что война окончилась, видел, кто захватил власть, и не мог верить ни глазам своим, ни ушам. Понимал — долго так продолжаться не может. Потому и взял направление на родные места. Путь не близкий, добираться недели две, а к тому времени кончится эта темная власть. Кое-где на него смотрели подозрительно, требовали документы, и он предъявлял Колины справки и говорил правду: воевал, перенес тяжелый тиф, помогла выжить старушка крестьянка, а теперь пробирается домой. Людям не верилось, но возиться с ним некогда, да и как выяснять личность, если он бог знает с каких краев на Смоленщине, а задерживать просто так оснований не было. Махнув рукой, его отпускали.

Однажды близ деревни Музыковка, километрах в ста от Херсона, шагая по проселочной дороге, встретил тащившуюся двуколку. Она проехала мимо, и тут же он услышал:

— Володя! Вы ли это?

Медленно, опасливо обернулся и увидел врача их поместья. Криво ухмыльнувшись, сказал:

— Я не Володя, я крестьянский парень Николай Устюгов.

Врач грустно покачал головой:

— Какой вы крестьянский парень! Послушайте свою речь, посмотрите на свои руки. Разве так говорят эти неучи? А в поле пошлют? Вы же не знаете, как хомут на лошадь надеть... Садитесь,— и он подвинулся, освобождая место рядом.

Врач тоже не верил в силу Советской власти. Не надолго это. Но, пока она держится, надо удержаться самим. Надо смириться.

— Они знают, кто я,— сказал врач,— поверили, будто в белую армию попал по мобилизации. Сейчас у меня два района, я честно лечу людей, и они это видят, еще больше верят мне. Я засвидетельствую, что вы работали счетоводом. На такую должность охотно возьмут. У них ведь совсем нет грамотных людей. Обоснуетесь на одном месте, а там видно будет.

Так Владимир Муштаков стал счетоводом в сельской кооперации. И с первого же дня завел тетрадку, которую носил под рубахой за поясом. Повинуясь наставлениям врача, работал старательно, держался скромно, ни в какие споры не лез, а если его о чем спрашивали, отвечал дельно, советы давал разумные, на своей точке зрения не настаивал. Спустя несколько месяцев его послали на финансовые курсы, а по окончании их назначили младшим бухгалтером в кооперации крупного районного центра.

Шли дни, месяцы, годы. Он получал грамоты и премии, его повышали в должности, еще дважды посылали на краткосрочные курсы, пока не назначили главным бухгалтером херсонской «Укркоопспилки».

За все годы Муштаков ни разу не усомнился в скорой гибели Советской власти. Во время нэпа показалось, что гибель уже пришла, но вел себя по-прежнему, ничем не выдавая радости. Подобные же ощущения пережил в начале коллективизации, когда кулацкие вылазки воспринял, как начало всенародного восстания. Потом его радовали государственные решения о крупных стройках и колхозном строительстве, радовали первые пятилетки. Эти планы, их масштабы, конечно же несуразные, нелепые, безоговорочно обреченные, неизбежно приведут к катастрофе экономической, а значит, и политической.

Каким бы ни было внутреннее состояние, он ничем не выдавал его. Со всеми был вежлив, с начальством предупредителен, но не угодлив. Бывшие сослуживцы Муштакова, с которыми я разговаривал, особо отмечали его спокойный, уравновешенный характер. Не было случая, чтобы он вспылил, разгорячился или повысил голос.

Он сам убирал свою холостяцкую комнату и стирал, сам готовил завтрак, обед и ужин. Утром жарил большой кусок свинины и картошку с салом или что-либо в этом роде, ел плотно, до отвала. С собой брал два тоненьких аккуратных бутербродика на второй завтрак, съедал их во время обеденного перерыва, запивая чаем, который тоже сам кипятил и заваривал. После работы разогревал дома на электроплитке приготовленный с вечера обед, сытный и обильный.

Он сам занимался хозяйством не из экономии. Жадным Муштаков никогда не был, денег не жалел, да и хватало их с избытком. Ему отвратительно было идти в общую столовую, он не мог обращаться с просьбами к этим поломойкам, разговаривавшим с ним, будто с равным. А их еще и уламывать надо, слушать, как они кочевряжатся, и он боялся не выдержать, когда так хочется дать пощечину.

Служебные дела проходили, как за туманной дымкой. Подлинная жизнь начиналась поздно вечером. Полнокровная, интересная, приносящая огромное удовлетворение. Вернувшись с работы, Муштаков брался за хозяйственные дела, плотно обедал, чтобы потом уже ничто не мешало главному. Перед тем как заняться этим главным, запирал дверь на два оборота ключа, проверял, хорошо ли затянуты тяжелые шторы на окнах, подтыкал их с боков. Затем открывал заднюю панель радиоприемника, откуда давно удалил механизм, извлекал свою бухгалтерскую книгу и начинал священнодействовать.

Прежде всего надо занести последние данные. Новые назначения на ответственные посты, новые люди на выборных должностях, новые сведения о тех, кто уже значится в книге. Теперь не одна строчка отводилась для каждого, как в тетрадке, а две большие страницы. Особенно интенсивно приходилось работать в дни выборов в местные и Верховные Советы, в суды. Он выписывал из листовок с портретами именно те места, которые и там особо подчеркивались: «Верен делу Ленина», «За героизм, проявленный в гражданской войне, награжден орденом боевого Красного Знамени», «Активно пропагандирует идеи партии»...

Подобные обвинения он нумеровал и, когда их собиралось достаточное количество, учинял суд. Официальным тоном задавал вопросы обвиняемому, сам отвечал на них униженно, жалобно, как и положено преступнику, сам оглашал решение присяжных и приговор. Приговоры были разные — от розог до повешения, от шпицрутенов до расстрела.

Покончив с судебными делами, переходил к самому сладостному. Закрывал книгу, ласково поглаживал ее, сжимал в руках, и сами по себе в истоме смежались веки. Нет, это не списки людей, не перечень их преступлений, это они сами, живые, тепленькие, поверженные, его пленные, согнутые им в дугу. Они в его власти, и он может с ними делать все, что хочет.

Каждый день кто-либо из руководителей высказывал мысли, которые он воспринимал как личное оскорбление, хотя непосредственно ему они не адресовались.

Подобные же мысли и преступные планы находил в местных газетах. Пусть ответят теперь за это.

Он открывал книгу на соответствующей букве алфавита, находил нужную фамилию и, тыча в нее пальцем, презрительно цедил:

«Ну, повтори, милейший, что ты сказал, повтори... Да не дрожи так, падаль!.. А-а, трепещешь, на колени становишься, башмаки целуешь, сволочь... Стой прямо, гадина! Нет, не вставай, на коленях стой прямо... И не реви, гнида, а то сейчас же

задушу собственными руками... А ты что ухмыляешься,— щелкнет по другой фамилии, бросившейся в глаза.— Сейчас и до тебя очередь дойдет, ничтожество!»

Он наслаждался своей властью над людьми, заключенными в книге, все больше распаляя себя, а вдоволь наизмывавшись, одних сшибал ударом ноги, у других, как ему казалось, более наглых, выкалывал глаза, тыча иголкой в буковки фамилий.

На следующий день, встречая свои жертвы, слушая их почтительно, продолжал мысленно торжествовать: «Говори, говори, давай свои указания. Ты же еще не знаешь, ты ведь только труп, висящий на дереве... А ты можешь не смотреть, у тебя остались одни глазницы. Ты это очень скоро поймешь...»

Только месть, беспощадная, жестокая, ежедневная, давала Муштакову силы жить в ненавистном ему мире и за долгие годы ни разу не сорваться, не выдать себя.

Это не моя точка зрения. Так сказал мне Муштаков. Но почему он это говорил? Почему такой оголенный цинизм саморазоблачения? Что заставило его?

Муштаков глубоко и искренне верил в бога. Все, что делал в юности,— веление бога. Всевышний обрек его долгие годы сидеть согнувшись за бухгалтерскими отчетами, когда хотелось стрелять, строчить из пулемета, пока не накалится ствол, рубить, крушить, резать. И господь вознаградил за долготерпение, послав в Белоруссию, где он отвел душу. И все, что делал потом, обучая и засылая в Россию диверсантов, устраивая провокации,— освящено небом.

Два года назад что-то с ним стряслось. Продолжая глубоко верить в бога, стал бояться всевышнего. Так ли понимал волю господню? Не много ли взял лишнего на душу в молодые годы и когда усмирял партизанских жен и детей?

Отошли куда-то его идеалы, за которые боролся, не жалея и своей крови. Он устал, и ему уже ничего не надо на этой земле, ввергавшей его в такие грехи. Он думал теперь о другой жизни, в ином мире, куда призовет всевышний. И явиться туда должен покаявшимся и очищенным. Ни одного пятнышка не должно остаться. Значит, надо исповедаться. Исповедаться, ничего не утаивая, ибо все, о чем не скажет на земле, тяжким грузом уйдет вместе с ним в тот иной мир, как страшная улика в обмане бога.

Он никогда не жалел денег, но и не был расточителен. Профессия бухгалтера и скупая жена приучили считать и экономить деньги. Он накопил десять тысяч марок и с гордостью говорил мне о том, что они лежат в банке и приносят проценты. С какой радостью отдал бы их, отдал все до последнего пфен-

нига, чтобы умереть на родине. Но увы... Он все хорошо понимает. Значит, надо исповедаться здесь, на чужбине. Но перед кем? Русский священник во Франкфурте-на-Майне отец Леонид? Но у него грехов больше, чем у самого Муштакова. Блудливый батюшка Леонид, пьяница и отъявленный матерщинник, погубивший не одну доверчивую душу, — примет ли от него господь чистое покаяние!

Нет, открыться надо перед человеком Новой России — гордостью каждого русского, превзошедшей немчуру, англичан и всех, кто обирал ее когда-то, свысока смотрел на нее. А теперь увидели, что значит наша Россия. Пресмыкаться стали перед нами, подлецы.

Все это объяснял мне Муштаков в первой беседе. Вроде преамбулы сделал, чтобы я понял, почему выворачивает душу.

Пять из шести встреч с Муштаковым проходили у него в доме. Живет он вдвоем с женой, маленькой, забитой немкой. Она работает не то медсестрой, не то няней в вечернюю смену, и видел я ее только один раз. Квартира у них оригинальная, я не встречал таких. Прямо против входа — большой квадратный проем, примерно два на два метра, а высота от пола до потолка чуть побольше. Это кухня. В ней — двухконфорочная электроплитка, столик, две круглые табуреточки и ниша вместо буфета или шкафа для посуды. На полу у стены — очень тонкое стеганое одеяльце размером сантиметров семьдесят по длине и ширине. На нем — кошки. Целый клубок кошек и котят. Возле них — консервные банки с водой и пищей. От этого идет нехороший запах по всей квартире.

Из крошечной прихожей дверь ведет в комнату — метров девять-десять. Этой площади им вполне хватает, поскольку их всего двое. Правда, еще кошки, и жена злится, ворчит, но тут уж ничего не поделаешь, пусть ухаживает, это его последняя радость в жизни.

Кошек он действительно любит. И они его тоже. Рассказывая, он поочередно гладил не только тех, что сидели у него на коленях, но и мостившихся вокруг него на узеньком новом диване, служившем, очевидно, постелью — среди остального набора ветхой мебели кровати не было.

Я верю, что Муштаков говорил, ничего не скрывая, ибо возлагал на свой рассказ большие практические надежды, связанные с его будущим в ином мире, куда он теперь собирается. И все нынешние его заботы сводятся к тому, чтобы обеспечить себе в том мире приличную жизнь.

Рассказывая о себе, Муштаков не щадил меня. Но обвинять его в этом не могу. Видимо, не понимал, какие удары наносит в сердце, как невыносимо слушать его спокойно. Когда

во всех деталях рассказывал, как душил раненого, умирающего красноармейца, а привести эти детали у меня нет сил, я смотрел на его руки. Большие, жилистые, натруженные руки.

Да, он не щадил меня, особенно в рассказах о своих расправах над семьями белорусских партизан. И я подумал, что имею полное моральное право не щадить и его. Я спросил:

— Как вы чувствуете себя среди людей? Не трудно ли вам жить?

Дрогнули скулы, видимо, от крепко стиснутых зубов, и он метнул на меня взгляд, описать который трудно. Должно быть, так смотрел он на тех, кого полосовал нагайкой, кому выкалывал глаза...

Я так и знал. Знал, что он не выдержит.

Но это был лишь миг. Лицо снова обмякло, стало рыхлым, веки опустились. Он молчал.

— Еще один вопрос.

Поднял тусклые глаза, не отвечая, дожидаясь вопроса.

— Как вы спите?

— То есть, в каком смысле? Принимаю ли снотворное?

— Нет, в смысле, не стонете ли во сне, не мучают ли вас кошмары, не вскакиваете ли в ужасе, чтобы разбить о стену голову?

Говоря это, я внутренне подготовился к любому его ответу или действию. Но то, что произошло, потрясло меня. Схватившись обеими руками за горло, он закричал. Это был не короткий крик и даже не крик. Он завыл. Широко раскрыв огромный рот, он выл громко, протяжно и страшно.

Из кухни вбежала его жена и, открывая дверцу тумбочки, быстро заговорила:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас сделаю укол, все пройдет. Это теперь с ним часто случается.

Я молча покинул логово.

1974 г.

ГОРЬКАЯ ПЕСНЯ ЮРИКО

В префектуре Фукуока на берегу Симоносекского пролива распластался порт крупного промышленного центра Кокура. Здесь я познакомился с группой японок, среди которых была и Юрико. Едва ли доведется когда-нибудь ее увидеть, но, возможно, эти строки дойдут до нее и выразят то, чего я не мог, не имел права ей сказать.

Наш турбоход «Физик Вавилов» пришел сюда из Сингапура, где мы разгрузили цемент с новороссийского завода.

Подходы к Кокура красивые. Множество островов и островков, то утопающих в зелени, то неприступно скалистых. Они — со всех сторон, и кажется, что плывешь по озеру. Японский лоцман, улыбаясь и кланяясь, будто о личном одолжении просит старшего рулевого Виктора Ануфриева:

— Позалюста, помалю лево.

Он может и должен говорить по-английски, как и положено в мировой практике судовождения, но то и дело вставляет русские фразы, чтобы сделать нам приятное. Кстати, так поступают не только японские лоцманы. Команды на ходовом мостике укладываются в два-три десятка русских слов, и их усвоили многие моряки мира. Я слышал команды турецких лоцманов по-русски на Босфоре, немецких в Суэцком канале, кубинских в Карибском море, арабских у Касабланки, индусских в Бенгальском заливе и Аравийском море. Это в знак особого уважения к нашей стране.

Раннее утро. Мы идем среди сопок и гор, покрытых вечнозелеными растениями, и на мостик доносится тихая, будто заглушенная горами мелодия. То ли наш радист Саша Чуин включил японскую станцию, то ли плывет эта мелодия над водой, нежная и грустная, и слышится в ней жалобное, далекое, несбыточное. И чудятся рисовые поля, и голые согнутые спины, и тяжелые сети рыбаков, и что-то горькое, безысходное в этой песне, и трогает она душу.

Мы приближаемся к порту. На подходах все те же острова, но, точно корабельные мачты, торчат из них заводские трубы. Застилает горизонт оранжевый дым химических предприятий. Черный туман плывет над всей территорией А на воде великое множество судов. Это уже не рыбацкие джонки. Это сухогрузы, танкеры, рудовозы, буксиры, плашкоуты, леера, плавучие краны. Будто перекресток огромной транспортной магистрали. Это и в самом деле транспортная магистраль десятков, сотен заводов. К одному из них, к причалам концерна Сумитомо, идет и наш турбоход.

Первым на борт поднимается инспектор морской полиции. Он поздравляет нас с благополучным прибытием из далекого и трудного плавания, и на лице инспектора такая радость, будто осуществилась наконец мечта его жизни — увидеть нас в этом порту. И трудно объяснить почему, но ждешь от инспектора еще чего-то. Он говорит, как бы извиняясь:

— Мы постараемся сделать ваше пребывание здесь приятным, но не все зависит от нас. Прошу ознакомить с этим экипаж.— И он вручает обращение полиции, отпечатанное на великолепной атласной бумаге.

Обращение начинается с фразы, набранной крупным шрифтом: «Добро пожаловать в наш порт и город!» Дальше идут вежливые слова, которые инспектор нам уже сказал раньше, и несколько пунктов:

«1. Когда уходите с судна, запирайте на замки все шкафы и двери.

2. В случае воровства или в других, требующих вмешательства полиции, оставьте место преступления неприкосновенным и немедленно сообщите в морскую полицию по тел. № 3—4232.

3. Остерегайтесь подозрительных личностей и особенно женщин легкого поведения. В большинстве случаев они связаны со злоумышленниками».

В этом документе говорится далее, как поступить, если вас обсчитает шофер такси или произойдет иная неприятность. И создается впечатление, будто эти неприятности, малые и большие, ждут тебя на каждом шагу, как только ступишь на берег. И начинаешь сомневаться, действительно ли здесь повсюду только воры, бандиты и проститутки, и приходит мысль: так ли уж рада нашему приезду полиция?

Группа моряков окружила второго механика Виктора Книжко, который переводит с английского обращение полиции.

— Вот тебе и «добро пожаловать»,— под общий смех резюмирует первый помощник капитана.

В наших трюмах чугун. Двенадцать тысяч шестьсот тонн. Это больше четырех тысяч грузовых машин. Их разгрузят за три дня. Так сказал представитель концерна Сумитомо.

Я видел, как грузили чугун в Туапсе. Краны-пауки опускали свои широко растопыренные стальные щупальца, загребали под себя и захватывали в утробу до пятидесяти чушек и высыпали их в сварной лоток, стоящий рядом. Другие краны взвивали их в воздух и опрокидывали на дно трюмов. У причалов Сумитомо стояли такие же краны-пауки.

У самого борта толпилось человек сто пятьдесят, в большинстве женщины в довольно странной одежде. На головах

желтые каски, на ногах специальная обувь, похожая на носки с одним пальцем.

Вскоре они поднялись на борт. Маленькими быстрыми шажками, словно пританцовывая, женщины торопились в трюмы. Разгрузка началась.

На причале концерна Сумитомо безжизненно лежали могучие стальные щупальца пауков. Маленькие японские женщины лотки нагружали вручную.

Расчет представителя концерна оказался точным. Разгрузка шла ровно трое суток. Трое суток с грохотом падали чугунные чушки в стальные лотки.

Судно не должно стоять ни одной лишней минуты. За каждую сэкономленную минуту концерн Сумитомо получит диспатч — премию от грузоотправителя. Премии хватит, чтобы покрыть расходы по разгрузке.

Бесконечно, безостановочно сто шестьдесят пар рук бросали в лотки чугун. Сто двадцать три тысячи чушек в сутки. Точно били автоматические тяжелые пушки: бух-бух-бух-бух-бух... Пять тысяч ударов в час. Не разгибались спины. Нельзя задерживать судно. Стоянка — это лишние деньги. Сумитомо не платит лишнего. Сумитомо не платит даже того, что положено. Пусть будут благодарны за эту выгодную работу, что им досталась. За воротами много желающих. Теперь их будет еще больше. Империя Ниппон проводит «улучшение структуры сельского хозяйства». Это разорит и сгонит с рогожных участков двадцать три миллиона крестьян. Часть останется батрачить у кулаков, которые собирают их земли, а остальные пойдут к воротам Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. Они ринулись в город. Пусть радуются те, кому досталась сегодня эта выгодная работа по разгрузке чугуна. За это дорого платят.

Рабочий день не должен превышать восьми часов. Но нельзя трижды в сутки ждать, пока будут меняться смены, пока будут вылезать из глубоких трюмов одни и спускаться другие. Да еще каждой смене устраивать обеденный перерыв. Нельзя сбивать темп. Надо работать по двенадцать часов. Сумитомо за это заплатит. Заплатит за полтора рабочих дня. Каждая женщина получит тысячу иен за смену. А мужчина — еще больше. Такие деньги не валяются. Тысяча иен — это полтора килограмма мяса. Самого лучшего, упитанного мяса.

Я видел, как едят японские грузчики. Все было очень хорошо организовано. За десять минут до начала перерыва на наше судно привезли обед для грузчиков: сто шестьдесят красивых жестяных коробочек. Мужчинам квадратные, женщинам овальные. По свистку из шести глубоких трюмов полезли люди. Они уселись на палубе в кружочки и открыли коро-

бочки. В квадратных рис и тушеное мясо. Тридцать граммов мяса. Оно отрезано красивым ломтиком без единой косточки. Резали не просто как попало, а очень разумно, поперек волокон. Толщина ломтика получилась даже больше, чем длина рисового зерна. Поэтому очень удобно есть. Нож не нужен. Грузчики берут сразу по нескольку волокон и заедают рисом. Они так умело это делают, что мяса вполне хватает на весь рис.

В овальных коробочках для женщин — рис и рыба. Пять рыб, размером каждая с кильку. В поджаренном виде они совсем крошечные, но обмана здесь нет: всем известно, что в процессе приготовления рыба много теряет и в весе, и в объеме.

Мы шли по палубе со старшим механиком Сергеем Викторовичем Гуртихом и судовым врачом Мишей Федорчуком, когда нас окликнула японка.

— Сигалета,— попросила она, смущенно улыбаясь и жестом показывая, что хочет закурить. На вид ей было лет двадцать пять. Как она грузила чугун, трудно понять. Худенькая, маленькая, издали похожая на подростка. Ее звали Юрико.

Среди грузчиков оказался один, который вполне прилично знал русский язык. Это был сосед Юрико, и он помог многое узнать о ней. Она говорила о себе рассеянно, будто о другом человеке. Будто ей совершенно безразлична трагедия ее жизни.

Юрико вспоминала счастливые детские годы, когда они всей семьей работали на своем участке земли на далекой окраине Токио, где кончается город и начинается овощной пояс.

Токио надо очень много овощей. Это очень выгодное дело — производить овощи. И вся семья во главе с отцом, и мать, и ее старшая сестра Кимико выращивали помидоры.

Весной начиналась обработка грядок, и вся семья рыхлила вскопанную отцом землю. Рыхлили, меняя грабельки на все более маленькие, а последние комочки растирали пальцами, чтобы земля была мягкая и пышная и чтобы хорошо взялось удобрение. Отец рассыпал по грядкам высушенный и истолченный в пыль птичий помет, и опять вся семья рыхлила и перемешивала землю, чтобы каждой ее клеточке досталась пылинка удобрения.

И потом, когда высаживали рассаду и когда появлялись цветочки, и завязь, и плоды, отец не давал себе отдыха, а уж женщинам сам бог велел работать, если трудится глава семьи. Они выхаживали не каждый куст в отдельности, а каждый цвет и стебель. Они опрыскивали растения из малень-

кого пульверизатора и покрывали каждый цветок целлофаном и обвязывали ниткой, чтобы он был в прозрачной коробочке, которая бы не касалась лепестков, но предохраняла их от всяких букашек и ветра. Они заключали в целлофановые коробочки завязь, а потом и плод, и, перетягивая нитками целлофан, следили, чтобы не примять зеленый пушок на стеблях и оставить доступ воздуху, но не дать лазейку для вредителей.

Так они работали, выращивая помидоры, и собирали богатый урожай, и когда кончились ранние сорта, поспевали более поздние и, наконец, осенние. И ни у кого не было таких изумительных помидоров, таких мясистых и больших, с такой нежной окраской и наверняка очень вкусных, потому что не могли они быть иными, эти сказочно красивые плоды, которые шли в лучшие рестораны на Гинзе и не разрезались на дольки, а подавались к столу целыми, как произведение искусства.

Каждое утро приезжал поставщик овощей в рестораны господин Томонага, осматривал приготовленные плоды, пересчитывал их и говорил, в какой из ресторанов везти. Конечно, отец мог бы и сам продавать их куда дороже, но один опрометчивый шаг — и теперь надо расплачиваться. Только один раз, три года назад, он не смог погасить полученный у Томонага аванс, и этот долг теперь растет из года в год, и уже никому, кроме Томонага, нельзя продавать плоды. Да и цены теперь он диктует сам.

И все-таки Юрико вспоминает о том времени как о лучших своих годах. Кто мог подумать, что все это так внезапно кончится. Оказалось, что их дом вместе с огородом лежит как раз на той трассе, где началась прокладка шоссе на американский аэродром. Нельзя сказать, будто их просто бесцеремонно согнали с насиженного места.

Им сполна заплатили наличными за участок и дом, и это получились немалые деньги. Вполне хватило отдать весь долг Томонага, и еще кое-что осталось.

Они стали переезжать с места на место, перебиваясь случайными заработками. В конце концов отцу удалось устроиться на постоянную работу истопником в прачечной. Заработка могло бы хватить на жизнь, но больше половины съедала комната. Немыслимо дорого в Японии жилье.

Они недоедали каждый день. Они обносились так, что стыдно было выйти на улицу. Однажды, когда в доме уже не осталось ни одного зерна риса, а получки ждать еще десять дней, и продать было нечего, и негде взять ни одной иены, отец сказал Кимико, что и она могла бы, наконец, подыскать себе работу. Кимико молчала. Но слушать это ей было обидно. И без того уже готова идти на любую работу.

Вечером Кимико ушла. Вернулась домой рано утром. Она была какая-то странная. Очень спокойная и серьезная, будто вдруг стала старше. Молча столкнула с ног гэта, молча положила на маленький круглый столик деньги.

Все смотрели на нее и тоже молчали. Потом отец поднялся с циновки, медленно подошел к столику, взял деньги и уставился на них, будто впервые увидел стоиеновую бумажку. Он стоял и смотрел на деньги, и никто не мог понять, как он хочет распорядиться своими деньгами.

Отец задумчиво снял с очага чайник и аккуратно положил деньги в огонь. Маленькой кочергой, сделанной из проволоки, затолкал их поглубже, чтобы они сразу сгорели. Покончив с этим делом, повернулся к Кимико и грустно сказал: «За что ты меня так?»

В тот день они ели только отвар из кореньев, а на следующее утро Кимико пришла и принесла рис и рыбу. И отец уже не мог бросить это в огонь.

Теперь жить стало легче. Правда, Кимико не каждое утро приносила продукты, бывало, по целым неделям она возвращалась без единой иены, но все же голодать они перестали. Конечно, будь у Кимико красивое платье, и дорогие белила для лица, и розовая краска для ушей и рук, она могла бы зарабатывать куда больше. Она могла бы, как другие девушки, приезжать на такси в порт, когда приходят американские корабли, и к ней садился бы военный моряк, который хорошо платит; и хотя к приходу кораблей выстраиваются целые вереницы такси с девушками, все равно всех разбирают, потому что моряков много, и вообще военных американцев полным-полно, и все они щедро платят.

Но думать об этом ни к чему, потому что денег на наряды и краски у нее не было. И чем дальше, тем меньше можно было мечтать о деньгах. В последние месяцы Кимико приносила их совсем редко. Поэтому, когда Юрико исполнилось четырнадцать лет, она пошла на эту улицу, полутемную улицу, где сдаются комнаты на час или на два. Она прохаживалась по тротуару, и перед ней неожиданно появилась Кимико и спросила: «Что ты здесь делаешь?»

Юрико не успела ответить, как старшая сестра ударила ее по лицу и, схватив за волосы, потащила домой. И всю дорогу, не стесняясь прохожих, она то и дело поворачивалась к Юрико и била ее, заливаясь слезами.

Так безжалостно поступила ее старшая сестра, которая больше всего на свете любила свою маленькую Юрико и никогда раньше даже пальцем ее не трогала.

Мы стояли возле четвертого трюма, в том месте, где у нас

находится настольный теннис, и слушали Юрико. Она говорила, глядя на море, словно думала не о том, что рассказывает, и казалось — ей безразлично, слушают ее или нет, потому что ни от кого она уже ничего не ждет, и сейчас можно жить, а можно и не жить; и ничто от этого не изменится ни для нее, ни для других.

С ракетками в руках к столу подошли наш чемпион настольного тенниса электрик Гриша Антоненко и котельный машинист Толя Панкратов.

— Пинг-понг,— щелкнула Юрико пальцами и побежала к трюму.

Снова поговорить с ней удалось в последний день выгрузки. Тем же безразличным тоном, как и прежде, она сказала, что спустя три дня после той злополучной встречи с сестрой Кимико умерла. Денег на врача она не оставила, и никто так и не узнал, отчего она умерла. Как раз в это время отцу предложили новую работу. Они уехали с этого проклятого места и теперь живут хорошо. Отец работает в рыболовной компании.

Заработка отца вполне хватает, чтобы оплатить аренду джонки, снастей и участка моря, выделенного для них, и, кроме рыбы, которую компания бесплатно выдает ему для личного потребления, при хорошем улове остаются еще и деньги.

На новом месте повезло и Юрико. В первый же день она попала на причалы Сумитомо, и ее взяли выгружать руду. Работала она хорошо, и теперь ее постоянно берут, когда приходят суда. Бывает, что работа есть почти пятнадцать дней в месяц. В такие удачные месяцы она сама оплачивает всю стоимость квартиры. Это как раз ее двухнедельный заработок, если работать по двенадцать часов в день. Квартира так дорого обходится потому, что теперь у них две комнаты. Конечно, можно бы жить и в одной, но тогда надо большую, метров двенадцать. У них теперь одиннадцать, но зато две комнаты, а дороже это ненамного.

Закончился второй перерыв последнего дня разгрузки, и Юрико полезла в трюм. На ней, как и на всех женщинах, темные легкие брюки, серая в цветочках блузка и желтая каска. На ногах мягкая обувь.

Чугун оставался только на дне трюма. Туда ведет отвесный трап из металлических прутьев. Это высота четырехэтажного дома. Крепко цепляясь за прутья, Юрико спускается все ниже. Четыре стальных лотка уже внизу. Раздается свисток, и в ответ, точно залпы, загрохотали чугунные чушки.

Каждый лоток нагружают шесть человек. Чушку берут двое. Девяносто три раза в час надо нагнуться, поднять два с половиной пуда и бросить в лоток. А за смену эту несложную опе-

рацию надо повторить тысячу пятьдесят раз. Тридцать шесть тысяч килограммов на двоих за смену.

В первые два дня было проще. Стой себе на одном месте и бросай чушки. А теперь трудно. Чугун лежит на покатых переборках в углах трюма, куда лоток не загонишь. Теперь на одном месте стоять не будешь. И лежат чушки точно вываленные из самосвала. Возьмешь одну — поползет десяток. Их не удержать, они раздавят ноги. Но и возиться с ними нельзя — Сумитомо ждать не будет.

В Одессе я видел, как на одном судне подбирали остатки чугуна. Маленький, смешной бульдозер сгребал их к центру трюма, а «пауки» выносили наверх. И только два-три десятка чушек, зацепившихся за шпангоуты, выбирали руками.

Но здесь не Одесса. Здесь Сумитомо.

Юрико и ее напарнице теперь очень трудно. Они стараются брать чушки так, чтобы не задеть соседних. Подняв груз, надо сделать к лотку всего три — пять шагов. Но, должно быть, и это трудно. Чушка качает из стороны в сторону двух маленьких японских женщин. Подойдя к лотку, они не бросают груз, как раньше, а просто разжимают руки. При этом чугун трет пальцы, сдирает кожу. Но бросать уже нет сил.

Работать в брезентовых рукавицах нельзя: тонкие пальцы не удержат груз. На руках Юрико вязаные хлопчатобумажные перчатки. Они почти не предохраняют рук. Уже пальцы в бинтах. Уже и бинты стерлись, пора бы перевязать, но надо грузить чугун. Надо бросать чушки. Нельзя сбиваться с темпа.

В первый день было куда легче. В первый день ни один человек не упал. В первый день сидя дожидались две минуты, пока поднимется и снова опустится лоток. Теперь на эти две минуты все ложатся. Падают на чугун в ту секунду, когда брошена последняя перед подъемом чушка. И снова качает Юрико и ее напарницу. Но они улыбаются. Надо улыбаться, чтобы тот, кто стоит со свистком, видел: им совсем не тяжело. Просто смешно, что их качает. Надо улыбаться, чтобы и в следующий раз взяли на работу. Улыбаются все. Грузчик, которому раздавило палец на ноге, по привычке улыбался нашему судовому врачу Мише Федорчуку, когда тот делал перевязку. Приходя в себя, терявшие сознание улыбались. Ужасно смешно потерять сознание, пусть это видит человек со свистком.

Здесь, на комсомольско-молодежном судне «Физик Вавилов», у причалов Сумитомо я видел улыбки, страшные как смерть.

Ночью работают только мужчины. Ночной перерыв длится час. За несколько минут японские грузчики съедают свой ужин, а потом спят. Я много раз видел, как спят очень усталые люди.

видел на вокзалах, на целине, на фронте. Но то, что было на палубе, ни с чем не сравнимо. Лежали трупы. Трупы, которым уже несколько дней. Уже обтянула скулы черная кожа, уже виден каждый сустав на пальцах. Лежали тела, будто пораженные током: скорченные, скрюченные, разбросанные. Они окаменели в том виде, в каком оказались, когда съели последнее зерно риса. Во сне одни падали и, не просыпаясь, застывали в таком же согнутом положении, другие так и замирали с палочками в руках, третьих разбрасывало одним рывком, словно судорогой. А потом все затихало. Не слышно было даже дыхания. И вдруг раздавался свисток. Людей подбрасывало. Вскочив на ноги, они улыбались. Страшная, нечеловеческая улыбка. Они улыбались: пусть видит человек со свистком — никакой усталости нет, как смешно, что они задремали.

...Из последних сил выбивалась Юрико. Маленькая Юрико, с маленькими тонкими руками. Мы смотрели, как шла разгрузка. Котловой машинист Гена Маценко, матрос первого класса Володя Алешин, атлетического телосложения механик Боря Пономарев. Мы не могли тебе помочь, Юрико. Не имели права даже выразить тебе сочувствие. Это вмешательство в чужие внутренние дела. Это внутренние дела Сумитомо. Это внутренние дела богини солнца Аматерасу, солнца, которое, изображено на знамени империи Ниппон.

Прощай, Юрико. Мы видели, как ты поднималась из трюма, как, качаясь на прутьях, карабкалась на высоту четвертого этажа. Вслед за тобой совсем близко поднимался Толя Панкратов. Ему нечего было делать в трюме. Может, и полез он для того, чтобы поддержать тебя, если качнешься в последний раз.

Мы покидали порт Кокура в подавленном состоянии. Три дня мы наблюдали мир голого чистогана. На палубах, в каютах только и слышалось: «Почему они терпят?», «Почему молчат?»

Мы шли Симоносекским проливом. Гудели заводы Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. А дальше снова были тихие озера, и эта мелодия — бесконечная, усталая, безысходная.

1970 г.

ДЕНЬГИ

В Бейруте я видел, как продают деньги. Возле банков, универмагов и просто на улицах спекулянты валютой держат в руках тугие веера из ассигнаций. Доллары, фунты, марки, кроны... Они покупают и продают валюту любой капиталистической страны. Они стоят или ходят взад-вперед, зазывая покупателей, заглядывая в лица прохожих, повторяя:

— Чейндж, чейндж... Тэйк-гив, тэйк-гив... Меняю-меняю... даю-беру, даю-беру...

У одного из валютчиков среди долларов и франков я увидел несколько новеньких советских десяток.

Поскольку дальше речь пойдет о том, как их пытаются вывозить за границу, о неимоверных трудностях и огромном риске, на какой идут контрабандисты, хочется внести ясность: кому и для чего за пределами нашей страны нужны советские бумажные деньги? Заодно прояснить и еще один вопрос, впрочем, ясный, но усиленно запутываемый западной пропагандой.

Газета «Известия» регулярно печатает официальный курс рубля. Но позвольте, говорят дикторы западных радиостанций, туфли, которые стоят в СССР двадцать пять рублей, на Западе можно купить за пять долларов. Значит, подлинный курс — пять рублей за доллар, а не девяносто копеек. Следовательно, жизненный уровень американца в пять раз выше уровня жизни советского человека.

Подобного рода пересчеты на туфли или кофты можно услышать порой и у нас. В действительности приведенный вывод можно бы признать правильным только при одном условии — если допустить, что человеку, кроме туфель и кофт, которые мы покупаем раз в полгода, ничего в жизни не надо. А ведь он так устроен, что ему каждый день надо есть, платить за транспорт, за квартиру, он хочет учиться, ходить в кино и театр, к сожалению, должен лечиться, и вообще у него десятки потребностей.

Курс валюты определяется рядом данных, в том числе и так называемой суммой статей бюджетного набора стоимости жизни. Суммой статей, а не одной из них. С этих позиций и надо исходить.

Даже недруги наши признают, что стоимость продуктов питания у нас равна или ниже, чем в капиталистических странах. Ну а все остальное?

Мой фронтовой товарищ, бывший командир батареи, а ныне работник Министерства внешней торговли, рассказал мне о том, как он жил в Вашингтоне.

Его семья занимала двухкомнатную квартиру. К одной из комнат, куда попадаешь прямо из входной двери, прилегала маленькая кухонька. Фактически комната и кухня вместе. И только за квартиру он платил ежемесячно сто девяносто долларов. Сейчас он в Москве, и здесь у него тоже двухкомнатная квартира, но большей площади. Кроме того, холл и отдельная кухня, вдвое превышающая размер вашингтонской. За квартиру он платит одиннадцать рублей, то есть в семнадцать раз меньше. Если еще учесть разницу в площади, получается в двадцать раз.

По логике людей, пересчитывающих все на туфли, кофты, из приведенного факта можно сделать вывод, будто стоимость рубля — двадцать долларов. Однако нам не придет в голову такое утверждение, ибо мы знаем, что нельзя из бюджетного набора стоимости жизни выхватывать одну статью, на основании которой и судить об уровне жизни и курсе рубля.

Когда в семье моего друга родилась дочь, в роддом пришлось заплатить 325 долларов. Вторая дочь родилась в Москве и, естественно, расходов на родильный дом не было.

Билет в метро в США стоит впятеро дороже, чем у нас. Такая же разница в стоимости билетов на автобус и троллейбус. Билет в кино и театр в четыре — шесть раз дороже, чем у нас.

В одном из крупнейших портов мира — Сингапуре я познакомился с морским торговым агентом. Его звали Гаута. Накопив приличную сумму, он уже собирался открыть собственное дело, но серьезно заболел.

За четыре месяца болезни Гаута, как он выразился, стал нищим. Особенно его возмущала медсестра. Какой-то мазью она смазывала ему рану.

— Уже толстый слой, а она все мажет. Ей ничего, а мне,— говорил он,— за каждый грамм платить. Или бинт: крутит и крутит, а ведь платить за каждый сантиметр.

Конечно, трудно представить советского человека в больнице, который бы подсчитывал количество витков бинта. Но и Гаута никак не мог взять в толк, что творится у нас.

— Как же так! — горячился он.— Вы утверждаете, будто за машину «скорой помощи» вы не платите, почему же тогда за такси надо платить? Вы говорите, будто за питание в больнице у вас денег не берут, тогда и в ресторане не должны брать. Что-то у вас концы с концами не сходятся. Ведь получается, что болеть выгодно...

Так вот, если жизнь мерить не только туфлями, кофтами, которые действительно в некоторых странах дешевле, чем у нас, а всей суммой расходов на удовлетворение потребностей чело-

века, то и получается, что действительная цена доллару — девяносто копеек.

К этому же выводу мы придем, если брать более крупные масштабы. Если чугун, иголки, машины, ткани — одним словом, вся продукция, выпускаемая нами за год, оценивается, скажем, в двести миллиардов рублей, то в США за эти же товары пришлось бы заплатить двести двадцать миллиардов долларов. Опять-таки то же самое соотношение: доллар — девяносто копеек.

Люди бизнеса все это отлично понимают. Если к тому же прибавить, что нашему рублю не угрожают инфляции, биржевые бури, кризисы, станет ясно, сколь устойчива и крепка наша валюта. Потому и ринулись за ней. Одни, используя туфли, кофты, другие, чтобы снабдить интуристов, уезжающих в СССР, третьи... О третьих мне не рассказали. Должно быть, это те, кто снабжается деньгами для подрывной работы.

Как только просочились за границу первые советские ассигнации, органы государственной безопасности поставили непреодолимый заслон на путях возможной экономической диверсии.

В первый период контрабандисты ввозили к нам промтовары, рассчитывая увозить деньги от беспошлинной реализации. Попытки оказались наивными. Провалы следовали один за другим. Они не могли понять, почему чемоданы сотен и сотен туристов подчас даже не раскрываются в наших таможнях, а люди с контрабандой обязательно проваливаются. Свои неудачи объясняли все тем же затасканным, надоевшим: повсюду расставлены «агенты ЧК». Именно так объяснил свой провал коммерсант и контрабандист Забо, а дело было куда проще.

По пути в Одессу дежурная по коридору на теплоходе «Армения» обратила внимание на странное поведение Забо. Оплатив стоимость двухместной каюты, он ехал в ней один и не разрешал делать уборку. Он и не выходил почти из каюты. Не вышел, когда дежурная меняла постельное белье. Он лишь поспешно убрал со стола и спрятал отвертку.

Коридорная пожаловалась администрации: за долгие годы работы не помнит случая, чтобы во время смены белья человек торчал в каюте, явно мешая работе, чтобы не отлучился за весь рейс хоть на полчаса. В Одессе узнал об этой детали и оперативный работник Юрий Александрович Леонтьев.

Я хорошо его знаю. Добрый, интеллигентный человек, остроумный, интересный собеседник. Удивительно приятная улыбка. Ни позы, ни жеста — все просто, естественно. Мне кажется странным, что он на такой работе: слишком доверчивый, немного стеснительный.

Слесарь, машинист, инженер, майор в органах государственной безопасности.

На лице Юрия Александровича шрам, похожий на складку. Метка врага. Побежденного им врага. Шрам ему не мешает. Мешает боль на сердце. Боль от бессилия, когда знаешь, что перед тобой преступник, а доказать не можешь. Она осталась с тех дней, когда только начинал борьбу с контрабандой и опыта не хватало.

Особого значения прихотям Забо он не придал. Мало ли чудаков на свете! Но ему просто интересно уже было посмотреть на этого Забо, и он пошел в досмотровый зал.

Ничего подозрительного в вещах Забо не оказалось. В одном чемодане сувениры, в двух — личные вещи. Очень мало вещей, почти пустые чемоданы. Юрий Александрович лишь мельком взглянул на проверку таможенников и все-таки подумал, что Забо — контрабандист. Ход его рассуждений был прост: ну зачем человек везет два почти пустых чемодана? То были не просто чемоданы, а кофры, складывающиеся гармошкой. Когда вещей в них нет, они кажутся небольшими, но при желании можно напихать бог знает сколько.

Не исключена возможность, подумал Леонтьев, что в иностранном порту, где Забо поднялся на борт «Армении», кофры были полными. До Одессы несколько дней хода, и за это время он спрятал в каюте их содержимое. После досмотра в Одессе кофры отнесут обратно в каюту, судно пойдет дальше.

Билет у Забо до Батуми. В запасе у него снова несколько дней, и будут все возможности заполнить свои кофры. Значит, то обстоятельство, что, заботясь об удобствах интуристов, им предоставляют возможность путешествовать по стране на том же судне, на каком они прибыли, Забо решил использовать для своих целей.

Так рассуждал Юрий Александрович...

В Одессе администрация судна принесла Забо извинения, заявив, что в его каюте не горит свет. Поэтому придется перейти в другую, еще более удобную.

Забо пожал плечами: он привык к своей каюте, свет ему не нужен и никуда переходить не желает.

Администратор еще раз извинился, объяснил, что не может рисковать ни его благополучием, ни судном, ибо не исключена возможность, что в каюте где-то короткое замыкание, которое даст вспышку. Как ни упирался Забо, ему пришлось подчиниться.

Вскоре в каюту пришли монтеры. Видимо, опыта работы на теплоходе у них было мало. Никак не могли определить, где проходит скрытая проводка. Осмотрели места крепления пере-

борок, потолок, даже пол. Судя по закрашенным шурупам и болтам, их не трогали с самой постройки судна.

В потолок был заделан большой плафон, удерживаемый ободом на шурупах. Монтер машинально провел пальцами по ободу. Пальцы скользили по масляной краске, как по стеклу. Но в одном месте чуть-чуть затормозились. Что-то липкое. Оказывается, не очень хорошо в этом месте подсохла краска. Как раз там, где была головка шурупа. Отыскал контуры головки второго шурупа, приложил к ней палец. И снова что-то липкое. Стало ясно, что шурупы закрасили недавно. Странно...

Монтер отвернул шурупы, снял плафон вместе со стояком для лампочек. Над потолком пустое пространство. Посветил фонариком и увидел какие-то пакеты. Спустя короткое время появился здесь и Леонтьев.

1232 пары безразмерных носков, 57 нейлоновых изделий, 34 шерстяные кофты, 2180 многостержневых шариковых ручек — вот что спрятал над потолком Забо.

Перед ним опять извинились: оказывается, можно было его не тревожить, оказывается, просто перегорели пробки на главном щите, он может снова вернуться в полюбившуюся ему каюту. Пусть только немного подождет, пока там сделают уборку.

Забо не стал ждать уборки. На это и рассчитывал Леонтьев.

Забо шел не торопясь, и было неясно, решил он возвращаться в свою каюту или нет. Безучастно, словно не замечая, взглянул на тюки, уносимые из каюты, и, насвистывая веселую мелодию, проследовал мимо.

Не выдал себя Забо, и задержать его оснований не было.

Он не из тех, кто смирится с поражением. Нет, он сторицей возместит убытки...

Убедившись, что промтовары — дело громоздкое, ненадежное, Забо, как и другие матерые контрабандисты, перешел на золото.

Казалось бы, пусть везут к нам золото. Но ведь важно, в чьи руки оно попадет. Скупают его, как правило, те, кто деньги берет не из сберкассы, а из кубышки. Туда оно и попадет. А деньги уплывут из страны.

К новой операции Забо готовился тщательно. Изучал провалы своих собратьев, анализировал их ошибки и просчеты. Установил, что провезти золото удавалось многим, но их неизменно задерживали на обратном пути с деньгами. Повторялась та же закономерность, что с промтоварами. Сотни и сотни интуристов, казалось, не интересуют таможню. А вот как раз тот, кто везет деньги, попадается.

Он продолжал считать, будто за иностранцами следят все те же «агенты ЧК». Не мог понять главного: приезжая к нам,

контрабандисты попадали в другое общество. Как бы ни маскировался контрабандист, он обязательно оставлял следы, бросающиеся в глаза любому из нас. Но об этих следах речь еще пойдет ниже.

Затевая крупную операцию, Забо решил действовать не своими руками. Не рисковать. Самое рискованное и трудное дело — провоз денег через границу — должен осуществлять советский человек.

В одесском клубе моряков, где проходил открытый судебный процесс над группой иностранцев, занимавшихся контрабандой советских денег, я увидел бармена с теплохода «Армения» Арама. Судно это совершало регулярные рейсы по ближневосточной линии до острова Кипр. На теплоходе задолго до процесса я и познакомился с этим человеком.

В его баре всегда собиралось больше людей, чем во втором, хотя ассортимент и музыкальные записи у них были одинаковыми. Смотреть на Арама было приятно. Он работал красиво и легко. Бокалы, рюмки, чашечки кофе, бутылки мелькали в его руках, точно у жонглера. Радостно и искренне приветствовал входящих, каким-то чутьем угадывая, что вот этот пришел выпить бутылку пива, а тот хочет кофе. И когда они подходили к стойке, перед ними уже стояли откупоренная бутылка и дымящаяся чашка. Готовя коктейль, успевал заметить жест сидящего за столиком и, не отрываясь от своего дела, изящно бросить через весь зал пачку сигарет, которая с удивительной точностью попадала в руки заказчика. Он подсчитывал в уме и запоминал, с кого сколько причитается, и называл сумму, как только к нему подходили рассчитываться. Арам был остроумен и находчив, его всегда уместные шутки вызывали смех.

Еще в первую свою поездку Забо обратил внимание на Арама. Теперь решил поближе с ним сойтись. Узнав расписание «Армении», приехал на Кипр и в порту Фамагуста купил билет до Стамбула. Почти всю дорогу проводил в баре. Вскоре Арам уже по-дружески называл его Курабом — так представился Забо. В действительности это было имя его помощника, нищенски бедного и безвольного человека, который фактически продался Забо за какую-то услугу.

В Стамбуле Арам и Забо расстались друзьями. Рейс «Армении» длится две недели. Когда теплоход снова появился в Фамагусте, Забо и Кураб поднялись на борт с туристскими билетами в СССР.

Ехали они в разных каютах. Забо целыми днями сидел в баре, их дружба с Арамом окрепла, а Кураб почти не выходил из каюты, и бармен не знал о его существовании.

В Одессе при таможенном досмотре Кураб предъявил тяже-

лую золотую цепь и другие золотые вещи, предварительно записав их в таможенную декларацию.

— Хочу покрасоваться у вас во всем блеске.

— Красуйтесь,— ответили ему,— только не забудьте увезти обратно свой блеск.

В Новороссийске Забо и Кураб сошли и улетели в Ереван. Но за короткий путь между двумя советскими портами у Забо состоялся решающий разговор с Арамом. Как и предполагал Забо, они нашли общий язык.

Спустя дней десять, когда «Армения» вернулась в Одессу, они снова встретились. Получив увольнение в город, Арам отправился в Одесское управление КГБ и сказал, что должен сделать важное заявление. Его принял полковник. Как только начался разговор, пригласил к себе Леонтьева.

Арам подробно рассказал всю историю знакомства с иностранным туристом, его настойчивое стремление сблизиться и, наконец, его просьбу провезти небольшой сверток. Просит по-дружески, готов хорошо поблагодарить: к иностранцам сильно придираются, а бармена едва ли это затруднит.

Не зная, как поступить, Арам пока согласия не дал, обещал подумать. И вот пришел.

— А что в свертке?

— Не знаю.

— Дайте согласие и принесите сюда. Прежде всего надо посмотреть, а там видно будет.

Спустя некоторое время Арам снова появился, вынул из чемоданчика сверток.

— Вот...

В нем оказалось пять тысяч рублей.

Арам был поражен и как-то сразу сник.

— Что с вами? — спросил Леонтьев.

И тот откровенно признался: боится. Боится мести. Кураб (так он называл Забо) подумает, будто деньги Арам присвоил. Такого контрабандисты не простят. Судно заходит в десятки иностранных портов, и уж они найдут способ разделаться с ним. Если устроить очную ставку, Кураб откажется от своих денег, уличить его не удастся. Но тогда Арама будет ждать еще бóльшая кара.

Его стали успокаивать, обещая обязательно придумать такое, что отведет от него любые подозрения. Неожиданно у самого Арама родился хороший план. Он назовет Курабу несколько мест, где легко спрятать деньги, скажем, в кресле курительного салона, в люстре — одним словом, чтобы тот знал, где они спрятаны. При досмотре его личной каюты назовет таможенникам это место. О находке — уж он постарает-

ся — узнает все судно. И Кураб ничего не заподозрит, и деньги будут изъяты. С планом согласились. Арама горячо поблагодарили, снова тщательно упаковали деньги, пожелали успеха. Успокоенный, он ушел.

— А теперь давайте думать,— сказал полковник.— Во-первых, Кураб может разгадать этот нехитрый план, и мы действительно поставим под удар хорошего парня. А во-вторых, надо не только изъять деньги, но и разоблачить контрабандиста.

Леонтьев предложил свой план, основанный на том, что заболел гриппом кладовщик «Армении» и его сняли с рейса. Спустя минут двадцать на судне начали медосмотр тех, кто общался с кладовщиком. Вызвали и Арама. У него обнаружили все признаки инфекционного заболевания, выписали направление в больницу, велели побыстрее спускаться на причал, где ждет санитарная машина. Он едва упросил врача дать ему хоть десять минут на сборы.

Как теперь поступить, Арам не знал. На счастье, из соседней каюты вышел Леонтьев.

— Я уже в курсе дела,— сказал он, проходя мимо.— Верните сверток, объясните, что заболели и не идете в рейс.

Арам так и поступил Захватив свой чемоданчик, в котором лежали деньги и кое-какие вещички, он легко нашел каюту Кураба, хотя ни разу в ней не был. Там находился Забо. Они обменялись несколькими фразами. Оставив сверток, Арам побежал к трапу.

Леонтьеву доложили что в каюту заходил Арам. Все идет по плану. Контрабандист будет схвачен на месте преступления. Куда бы он ни спрятал деньги, их найдут обязательно.

Леонтьев знал это точно. Но знал он не все. Не знал, что мысль заявить о контрабандисте в КГБ и план Арама, как поступить с деньгами, принадлежали не ему, а Забо. Что прямо из управления КГБ Арам явился к Забо и стенографически точно передал весь разговор, все, что там происходило.

Забо не мелкий спекулянт. Это авантюрист крупного масштаба, умный и дальновидный. Пять тысяч рублей — деньги, конечно, большие. Но стоит потерять их, чтобы приобрести во много раз больше. Рассуждал он так. Получив сообщение Арама, органы КГБ подумают, будто он их надежный помощник. Ему окажут полное доверие и вряд ли в следующие рейсы станут тщательно досматривать. Тайников же в баре сколько угодно. Вот тогда и начнется настоящая работа. Араму тоже этот план понравился, поскольку в глазах контролирующих органов он становился вне подозрений.

Но и Арам знал не все. Не знал подлинного имени Забо, не знал о существовании подлинного Кураба. Решив проверить,

не поведет ли с ним Арам двойную, вернее, уже тройную игру, Забо полностью обезопасил себя. Вот как он это сделал.

Каюты Забо и Кураба находились рядом. Между каютами общий умывальник. Задолго до начала досмотра Забо поменялся местами со своим помощником, пройдя через умывальник и не выходя в коридор. Если бы ничего неожиданного не произошло перед самым досмотром, каждый занял бы свое место. Но явился Арам, рассказал о происшедшем, повторив фразу Леонтьева: «Верните сверток владельцу».

Значит, Арам ведет игру честную и на него в дальнейшем можно положиться. Не сомневаясь, что бармена спросят, вернул ли он деньги владельцу, велел ему не беспокоиться и ответить точно, как было. После ухода Арама Забо опять-таки через умывальник позвал Кураба, приказал спрятать сверток.

— У меня шесть душ детей! — взмолился Кураб.

— Замолчи! — крикнул Забо и ушел в свою каюту.

Он не сомневался: деньги у Кураба найдут. Вот и хорошо. «Агенты ЧК» убедятся в точности информации Арама. Правда, Курабу не поздоровится, но ради будущих операций стоит пожертвовать и таким верным помощником.

Когда таможенники пришли в каюту Кураба, он беспомощно развел руками:

— Украли. Не успел выйти из номера гостиницы в Ереване, как все исчезло. И золотая цепь, и все драгоценности. Вот...— И он предъявил справку милиции о том, что действительно заявлял о пропаже золота, значившегося в декларации.

Деньги у него легко нашли. Он завернул их в нейлоновый шарф и завязал на теле поясом.

А Забо? Пока у него были только потери, но почву для крупной контрабанды он подготовил надежную.

...В беседке парка сирийского города Алеппо встретились пять человек из трех стран. Они выслушали предложение Забо, согласились вложить деньги в его дело, возместить его потери по подготовке операции и уплатить ему комиссионные.

В помощь Забо выделил трех человек, знавших армянский язык. Чтобы не подвергать лишнему риску Арама, решили провезти в СССР золото без его помощи, рекомендовали Забо выбрать удобный момент и сообщить Араму пароль, после чего больше с ним не общаться.

Золото легче продать, если оно не в слитках и не в изделиях, а в монетах. Начали скупать английские, русские, турецкие, сирийские золотые деньги. Достаточное количество не раздобыли, но нашли мастера, который умел чеканить старые русские десятки. Искуснейший шорник сработал широкий и толстый ремень, в который по просьбе заказчика вложил пять-

десят монет. Столь же искусный краснодеревщик заделал множество монет в массивные «плечики» для одежды. Изобрели еще несколько способов прятать золото.

И оно благополучно было доставлено в Ереван, где жила сестра Забо. Ее муж, Азат, работал на заводе слесарем, но где-то добывал и перепродавал женские сумки и другие товары.

Вместе с большой группой интуристов Забо остановился в гостинице. К сестре пошел только один раз, чтобы свести Азата со своим товарищем. Через Азата тот и познакомился с Арутюном Назаретяном, Саркисом Гезаляном и Артуром Джагласяном, скупавшими не только дорогие вещи, но и золото. Вскоре в сделку вступили все помощники Забо.

Контрабандисты и покупатели, не торопясь, прощупывали друг друга. Никто не выкладывал своих возможностей, продавали по пять — десять монет, потом намекали, что можно раздобыть еще. Первым крупную сделку совершил Гезалян с одним из помощников Забо. Выехав за город, минут пятнадцать ходили взад-вперед, подтверждая друг другу вчерашнюю договоренность, зашли в кустарник и обменялись пакетами. В одном было сто золотых монет, в другом — семь тысяч рублей.

К этому времени в Ереван прилетел Леонтьев. Его интересовал Забо. Было у него и еще одно небольшое дело, по которому он и зашел в отделение «Интуриста». Какая-то девушка жаловалась подруге:

— Ну что мне делать! Понимаешь, ничего их не интересует. Ни музеи, ни театры, ни архитектура, ни красивые места, ну, ничего решительно!

Оказывается, из полсотни туристов, которых она так хорошо обслуживает, попались четыре «трудных», и просто неизвестно, зачем они приехали.

Леонтьев выяснил имена четырех. Одним из них был Забо. Спустя несколько дней стала известна важная деталь. После закрытия крупного универмага кассирша рассказала сослуживцам, что какому-то типу дала по его просьбе сотенную купюру вместо ста рублей пятерками. «Может быть, еще есть,— сказал он,— я вам сто три рубля дам за сотню».

И снова контрабандисты не учли, что попали в чужое для них общество. Милиционеру, находившемуся тут же, этот разговор не понравился. Зачем человек сотенные билеты собирает да еще лишнюю трешку дает? Что-то здесь не так. О своих сомнениях доложил начальству. Стало это известно и работникам КГБ. А для них подобный факт — верный признак: деньги готовятся для вывоза.

Леонтьев поговорил с кассиршей. С помощью ереванских коллег установили, что этот тип — один из помощников Забо.

И еще интересный факт случайно узнал Леонтьев. Пассажир сел в такси, по дороге захватил еще одного ждавшего на углу, и они уехали за город. Почти все время молчали. Возле каких-то кустарников остановились, велели развернуться и, чуть отъехав, подождать. Погуляли немного, зашли в кустарник и вскоре снова поехали в город.

Для шофера поездка была выгодной, но он злился. Что же это они такой путь проделали? Может, спрятали чего?

Это был пожилой человек, старый фронтовик, и он решил сообщить о своих наблюдениях кому следует. Его спросили, где сошли пассажиры. Он назвал два адреса: гостиницу и частный дом. По описанию шофера Леонтьев сразу признал в одном из пассажиров помощника Забо, а Саркис Гезалян был взят под подозрение впервые.

Вне подозрений оставался Азат. И это имело значение чрезвычайное. Именно ему была вручена крупная сумма. Взяв по «семейным обстоятельствам» отпуск на несколько дней, Азат улетел в Сочи, где и поднялся на борт «Армении», идущей в Одессу. Отыскал Арама и показал ему фотографию Забо.

На переходе Сочи — Туапсе в каюту номер 205 Арам вошел с пустым баулом. Вскоре вернулся к себе, запер двери, задраил люк и при свете узкого луча настольной лампы раскрыл баул. Сорок одна тысяча рублей, пятьсот долларов, опечатанный моток платиновой проволоки весом около семисот граммов — все точно, как и сообщал Азат. Честно, в соответствии с договоренностью, отсчитал и спрятал в карман три тысячи рублей. Остальное упаковал в два целлофановых пакета, вложенных один в другой, накрепко завязал и запер в шкаф.

В тот ночной час никто не мог бы прийти на камбуз. А он вошел туда, взобрался к запасному баку с водой под потолком и опустил целлофановый пакет в воду.

В Одессе сошел на берег и спрятал дома заработанные им три тысячи. А тем временем из Еревана рейсом на Одессу готовился вылететь Забо. Судя по расписанию, вполне поспевал на очередной рейс «Армении».

Друзья Забо тепло проводили его, долго потом стояли у ограды, наблюдая посадку, и ушли, когда убрали трап и тягач потянул самолет. На взлетной площадке произошло недоразумение. Дело в том, что посадку начали поздно, и по указанию стюардессы люди садились не на свои места, а где придется.

Перед самым взлетом выяснилось, что на борту два лишних пассажира. Начали снова проверять билеты. Сразу же обнаружили этих двоих, которые, оказывается, должны лететь со следующим рейсом. Попутно обнаружили неправильно оформленные документы у интуриста — иностранца. По радио с

аэровокзала срочно вызвали машину, спустили раздвижной трап, и командир корабля попросил всех троих сойти вниз. Они и сошли: Леонтьев со своим коллегой и Забо. В машине и предъявили ордер на арест. Поступить иначе Леонтьев не мог: если взять Забо из гостиницы, всполошится вся его группа, а в Одессе по ряду важных обстоятельств его арест был крайне нежелателен. Часа через три состоялся первый допрос.

Именно в это время тяжелые минуты переживал Арам: шел таможенный досмотр. Он сидел в каюте, напряжение нарастало до дрожи, пока не пришла в голову единственно правильная мысль: шепнуть таможеннику, чтобы осмотрели на камбузе запасной водяной бак. И он обрадовался. Упал с плеч непосильно тяжелый груз. Он представил себе, как будут его благодарить и поздравлять. Арам отправился искать таможенников. Какие широкие просторы открылись перед ним! Через полчаса таможенники и пограничники покинут судно, раздадутся знакомые и всегда возбуждающие команды: «Поднять трап!», «Отдать все концы!». Не приди ему в голову эта счастливая мысль, на всю жизнь лег бы на душу тяжелый камень, который уже потом не снять. Уплыли бы на «черный рынок» Запада советские деньги и важнейшее стратегическое сырье — платина. И какое это счастье, что одной его фразы достаточно, чтобы не упасть в пропасть, над которой уже навис, и превратиться из предателя в гордого сына своей страны.

Должно быть, не пришли в голову Арама такие мысли. Просто очень хотелось мне, чтобы он так подумал, и невольно я написал эти слова. В действительности не думал он об этом и в коридор не выходил. Он сидел в своей каюте, как загнанная мышь, и вслушивался. Долетавшие сквозь открытый иллюминатор шум портовой сутолоки, смех, прощальные возгласы не задевали его слух. Точно настроенный на одну волну, он ловил только ее, ждал только определенных слов. И они раздались:

— Поднять трап!

Сжалось, остановилось сердце. Он зажмурился и минуту просидел в сладостной истоме. Все. Можно идти в бар.

В Эгейское море вошли ночью. Никем не замеченный, проник на камбуз, извлек из бака целлофановый пакет. Запершись в каюте, вскрыл его. Теперь уж действительно ему нечего было опасаться. В Фамагусте двое предъявят фотографию Забо, и он скажет, где сверток.

Средиземное море было спокойным и солнечным. До острова Кипр оставалось шесть часов хода. Арама вызвал к себе капитан Дмитрий Васильевич Кнаб. За сегодняшний день это был третий вызов: капитан собирался дать пассажирам традиционный прощальный ужин.

— Что же ты не несешь? — обиженно сказал Дмитрий Васильевич, когда появился Арам.— Видишь, и товарищи уже нервничают,— показал он на сидевших рядом помощников.

— Что подать? — с готовностью ответил Арам.

— Как что? Советские деньги, доллары, платину...

Арам выдержал этот чудовищный удар:

— Вы все шутите, Дмитрий Васильевич.

...Он упирался. Упирался, когда назвали точную сумму рублей, сумму долларов, вес платины. Сник после слов Кнаба:

— В Фамагусте никто не предъявит вам фотографию, потому что вы будете нести вахту по камбузу. А ведь посторонних туда не пустят.

Спустя короткое время вся контрабанда была перенесена в капитанский сейф.

Когда «Армения» входила в Эгейское море, Леонтьев и его армянские коллеги еще не знали, кто и кому передал деньги. Но все нити постепенно сходились к одной точке. Все скупленное у контрабандистов золото при обыске было обнаружено у Гезаляна и двух его дружков. Они признались, откуда оно и сколько за него заплачено. Но ни у Забо, ни у его помощников крупных денег не оказалось. После очных ставок «покупателей» и «продавцов», после множества показаний каждого в отдельности упираться дальше было бессмысленно. Первым во всем признался Забо, попросив учесть этот факт, когда будет суд. И еще одно обстоятельство просил учесть: лично он не занимался контрабандой, главные виновники — три его товарища.

Телеграмма капитану Кнабу дала возможность пресечь преступление. А суд воздал виновным по заслугам.

* * *

Преступление группы Забо на первый взгляд распутывалось благодаря случайностям. Случайно Леонтьев и его коллеги из Еревана определили состав группы Забо, случайно узнали, что он собирает крупные купюры, случайно обнаружили его связь с Гезаляном и еще десяток случайностей. Нет, не случайность это. Закономерность! Пусть не эти, так другие «случайности» выдали бы с головой заморских преступников. Не та среда для них, и деться им от нее в нашей стране некуда.

1964 г.

«МНЕ Б ТОЛЬКО РЕЧКУ ПЕРЕПЛЫТЬ...»

Поездка в Бонн началась для меня неприятностью. Двухместное купе в вагоне Москва — Париж, где мне надлежало ехать, было превращено в багажное. Три кофра, швейная машинка, чемоданы, баулы, тюки занимали все купе, высились до уровня верхней полки. Свободным оставался уголок у оконного столика, куда и втиснулась неопределенного возраста женщина с маленьким лицом, похожая на мышь. Остренький подбородочек, острые ушки, острый нос и очень маленький хвостик жиденьких волос.

Владелица багажа повернула голову, хвостик шевельнулся и скрылся, и я увидел еще остренькие глазки.

Лицо ее было выразительно. Оно выражало готовность дать отпор. Она не испытывала неловкости, а значит, винить ее не имело смысла. Надо было искать пути к мирному сосуществованию, ибо ехать в этом купе предстояло тридцать шесть часов, а места не было, хотя, согласно купленному билету, нижняя полка принадлежала мне. Я робко, может быть, даже несколько заискивающе, поздоровался.

Это был мой просчет. Увидев, что противник сдался без боя, она ответила не сразу, возможно прикидывая, нет ли здесь подвоха, или соображая, как вести себя дальше. Ее ответ звучал не «здрасте», хотя именно это слово она произнесла, а нечто вроде снисходительного: «То-то же, смотри у меня!» Поскольку и это я снес, она потеряла ко мне интерес и отвернулась к окну.

Я пошел к проводнику просить место в другом купе. Вежливый, предупредительный, он с досадой развел руками:

— Я уж и связываться с ней не хочу. В прошлом году ездила вот так же, а теперь опять... Во время войны вышла замуж в лагерях за полицая, а потом обосновались в Бельгии. Он боится сюда нос показать, а она ездит к своим и его родственникам, скарб перетаскивает, чтоб ничего не осталось... Подождите немножко, пересажу вас, одно местечко есть.

В соседнем купе ехала Оля, девушка лет девятнадцати, монтер с какого-то завода. Она волновалась и нервничала, убедительно доказывая, как спокойно себя чувствует, ибо волноваться ей абсолютно не из-за чего и о нем она даже думать не хочет. Правда, парень он положительный, ударник коммунистического труда, но гордый. Перед самым призывом в армию они и поссорились из-за его гордости. Так и уехал, не попрощавшись. А потом прислал ребятам письмо. Оказывается, где-то под Берлином служит. Вместе с Лёней с их же завода.

Написал — через полгода в отпуск приедет, хочет проверить, как там без него живут.

Она и не думала ему писать. Раз он свой характер выказывает, и она не будет унижаться. Послала письмо Лёне. Просто так, без значения. Интересно же знать, как живут за границей. Вот и просила сообщить ей об этом. О себе для приличия написала. Много работает, а вечерами учится, даже в кино некогда ходить. А если и ходит, то только с девочками.

Это Лёне написала. О нем и не спросила. Чего это ради она должна унижаться первой! Лёня ответил и про него написал: его все уважают и он отличник боевой и политической подготовки... Это и так ясно, он и на заводе таким был. Но надо же, привета и то не передал. И армия его не перевоспитала.

Ей было интересно, как там живут за рубежом, и она стала собирать деньги на туристскую поездку. А то все ездят, а она еще ни разу нигде не была. Путевку дали со скидкой, но все равно деньги большие, и на них можно было много всего купить. Зато с Берлином ознакомится, где водружали Знамя Победы над рейхстагом, все достопримечательные места, музеи или что там у них еще есть посмотрит. Пригороды, наверно, красивые...

Брестский вокзал с обеих сторон обтекают пути. По одну сторону от него расстояние между рельсами, как и по всей нашей стране,— 1524 миллиметра, а по другую — 1435. Здесь нам стоять около двух часов. Поезд загонят в парк, поднимут вагоны домкратами и заменят тележки. Потом состав подадут на другую сторону вокзала. Следующая остановка уже на польской земле.

Пока готовился поезд, мы ездили смотреть Брестскую крепость. Когда вернулись, увидели на перроне мою бывшую соседку по купе со всеми ее вещами. Рядом стоял человек в форме таможенника. Проводник радостно говорил:

— Вот стерва, барахло свое для видимости возила, золото у нее нашли. В тряпках оказалось...

— А у меня ничего не проверяли,— с сожалением сказала Оля.

— Да ни у кого не проверяли,— заметил стоявший рядом.— Они знают, где искать.

— И что же теперь с ней будет?

— А ничего не будет,— улыбнулся проводник.— Золото отберут, и пусть везет свое барахло в свою Бельгию...

Перед Берлином я подошел к Оле, стоявшей в коридоре у окна.

— Написала Лёне, что приеду с этим поездом, и вагон указала... А может, вообще не встретят... Ну и не надо. Не к ним же

я в гости еду... Если не встретят, разве найдешь? Только номер воинской части...

Губы ее подрагивали: вот-вот расплачется. Задолго до остановки взяла свой чемоданчик и пошла в тамбур.

Поезд еще двигался вдоль перрона, когда мы увидели солдата. Он бежал, улыбаясь, махал рукой Оле.

Мне очень хотелось узнать, «он» это или Лёня. Когда удалось выбраться из вагона, на перроне их уже не было.

После Берлина вагон опустел. Кроме меня, осталась лишь грустная и странная пожилая чета из Франции. Я обратил на них внимание еще в Москве. Они ждали какого-то Диму, высматривая его сквозь окно на перроне, то и дело поглядывая на дверь тамбура.

Она называла его Данилой, а он ни разу не произнес ее имени. Маленькая, сухонькая, послушная, она заглядывала ему в глаза и все спрашивала:

— Ну где же он, Данила?

Старик не отвечал жене, переступал с ноги на ногу и тихо не то напевал, не то бормотал:

Мне б только речку переплыть,
А там я знал бы, как мне жить...

Поезд тронулся. Старушка тихо заплакала.

— Опоздал Дима,— всхлипывала она.

— Замолчи! — крикнул Данила.— Не опоздал он, провожать нас постеснялся.

Часами они стояли в коридоре и смотрели в окно. Он объяснял ей:

— Депо. Видишь? Электродепо... Стадо пасется. Видишь?.. Картошка. Всю жизнь путевые обходчики картошку сажают возле своих хат.

Старушка молча кивала.

— Лес. Совсем как наш, видишь?

— Так это же и есть наш, а там не наш.

— Дура ты,— грустно и беззлобно заключил он.— И там не наш, и это не наш...

И опять она тихо плакала, а он упрямо напевал:

Мне б только речку переплыть,
А там я знал бы, как мне жить...

Казалось, вот на глазах разыгрывается какая-то трагедия. Хотелось поговорить с ними, но все не получалось. Правда, в Бресте мы вместе ездили смотреть крепость, но вопросы задавали они, а о себе ничего и не рассказали.

После Берлина Данила пригласил меня в купе.

— Вот,— показал он на фигурную бутылку,— для проводов сохранил, думал, Дмитрий, племянник мой, подойдет А он вот...— И Данила развел руками.— Может, не побрезгуете..

Не много рассказал о себе Данила и за стаканом вина. Был он когда-то помощником мастера подсобного цеха луганского трубного завода и вел практику слесарного дела в заводском училище. А потом война забросила на чужбину Долго скитались по странам, пока не осели под Парижем, основав собственное дело. Так и живут.

Поезд приближался к Кёльну, где мне предстояло сходить, и я начал прощаться.

Данила сказал:

— Будете в наших краях, заходите. Это всего двадцать километров от Парижа.

Может, просто из вежливости приглашал, может, не думал, что, даже попади я во Францию, стану искать их в каком-то маленьком поселке, но слова его показались искренними И старушка — звали ее Евдокия Ильинична подтвердила

— Приезжайте, приезжайте...

В Кёльне поезд стоит несколько минут. Когда я вышел на перрон, заметил, что оба они, прижавшись к окну, грустно смотрят в мою сторону. Было неловко просто уйти, и я подошел поближе. Улыбаясь, они приветственно подняли руки. Когда поезд тронулся, старик исчез, но тут же появился в дверях тамбура. Глядя через плечо проводника, он махал мне рукой.

Было обидно, что так и не узнал судьбу людей, для которых лес «и там не наш, и это не наш», которым бы «только речку переплыть», чтобы начать новую жизнь.

Вскоре, однако, мне довелось побывать в Париже, и я решил навестить их, особенно потому, что Данила — мой земляк. Они обрадовались. Данила обхватил меня своими большими руками и не выпускал, то тиская, то прихлопывая по плечу а Евдокия Ильинична топталась вокруг нас, без конца повторяя: «Бог ты мой, бог ты мой...»

Квартира у них отдельная. Кухня метров семи и комната чуть поменьше, но в ней вполне уместилась широкая кровать. Данила показал и источник своих доходов — собственное дело. Оно находится в том же двухэтажном доме, где они живут,- под лестницей, рядом с входом в их квартиру. Это слесарное производство. Если испортится у кого замок, несут к нему Надо ключ сделать или ручку у чемодана укрепить — тоже к нему идут. Расценок на свои работы Данила не устанавливает — дают кто сколько может.

Зарабатывает он хорошо. Если бы не квартира, на которую уходит почти половина доходов, мог бы уже прилично накопить.

Но все равно хватает на то, чтобы оплатить квартиру, страховку, налоги за производство и все другие виды налогов, и остается еще на жизнь. Правда, на питание остается мало, да много ли надо двум старикам?

За аренду производственного помещения домовладелец ничего с них не берет. Вместо этого Данила выполняет кое-что по мелочам для дома. Следит, чтобы исправно работали приборы отопления и водопроводная сеть. Ремонтирует краны, если они портятся, прочищает трубы, когда засорятся, выполняет другую мелкую работу.

Данила добросовестно исполнял свои обязанности, и хозяин это видел. Видел, что прогадал. Так он и сказал Даниле: работа по дому в среднем не отнимает и двух-трех часов в день, и не возмещает стоимости выгодного места под лестницей. Но Данила — человек хороший, и можно пойти ему навстречу. Просто пусть Евдокия, которой все равно нечего делать, один раз в день подметает и всего один раз в неделю моет коридоры и лестницы да время от времени убирает во дворе. Жильцы аккуратные, мусора немного, какая уж там уборка!

То, что дверь в их квартиру рядом с лестницей, очень удобно. Если случится заказчик во время завтрака, обеда или ужина, можно оставить еду, поесть всегда успеется, зато люди знают: к Даниле можно идти в любое время. Не будь этого преимущества, вряд ли имел бы он клиентуру, потому что охотнее идут к толстяку Планшоне, у которого есть и токарный и сверлильный станки.

Данила не любит Планшоне, хотя тот ничего плохого ему не сделал. Напротив, завидев Данилу где-нибудь на улице в воскресный день, всегда первым любезно поздоровается и пригласит в гости. «Заходи на стаканчик вина, Данила,— весело подмигивая, скажет он.— Заходи, не стесняйся, я угощу. Сегодня большой и выгодный заказ получил»,— и обязательно рассмеется.

И что тут смешного, непонятно. Просто дурачок какой-то. И врет он: дела у него идут плохо.

Данила не любит Планшоне и его глупый смех. Даниле хочется вот так же непринужденно ответить толстяку и в пику ему тоже рассмеяться. Сказать, что у него и самого дела идут хорошо и сам он приглашает на стаканчик вина. Он каждый раз думает вот так сказать и еще громче, чем толстяк, рассмеяться, но ничего из этого не получается. Он лишь буркнет что-то в ответ и заспешит, чтобы не послать ко всем чертям пузатого, потому что повода для этого нет, а вежливые, но колкие слова не приходят в голову.

Двадцать лет сидит он под деревянной лестницей. Он привык к электрическому свету в дневное время, его не раздражают скрипучие шаги над головой. Он слушает их и разговаривает сам с собой: «Ишь, как рано прискакал Поль, должно быть, с уроков сбежал... А старик Морме опять клюнул. Сейчас ему достанется... Э-э, да, никак, Шарлотта нового гостя ведет! Этих шагов ни разу здесь не было. Вон как тяжело ступает, немолод уже, а тоже...»

Данила привык к этой жизни и не ропщет. Он ни к кому не ходит в гости, и никто не посещает его. Есть в поселке еще несколько эмигрантов, но они не встречаются, ненавидят друг друга, может быть, потому, что идет между ними глухая, скрытая борьба за место в жизни в этом чуждом для них мире, где все они словно из одной партии уцененных товаров. И паспорта у них уцененные. Это только «вид на жительство», который не дает и тех прав, что имеет любой бродяга француз. И на вопрос о подданстве, гражданстве они отвечают: «Без подданства, без гражданства». Они не граждане.

Когда дом затихает и запирается парадная дверь, ведущая к лестнице, Данила складывает инструмент, снимает фартук и идет домой. Наступают самые мучительные минуты. Именно в эти минуты одолевает его непостижимо щемящее чувство. Собственно, чувство это никогда не покидает его, но днем оно ослабевает, затушевывается. Оно остается и живет в нем, будто затянутое пленкой. А вот к ночи душа начинает болеть, как оголенная рана.

Он гнал от себя видение белой хатки на Донце, где родился и вырос, откуда ушел на трубный завод. Он видел ее по ночам в парижском предместье с удивительной ясностью, вплоть до трещин на стенах их глиняного коровника.

Он лежал с открытыми глазами в абсолютной темноте, а перед ним стояла его конторка в цехе, и весь цех, и ребята, которых он учил слесарному делу. Это были не воспоминания, не застывшие видения, не пейзажи или фотографии. Это была жизнь.

В центре ее постоянно находился он сам. То мирно разговаривал, то спорил, то смеялся, и он помнил, о чем разговаривал, по какому поводу спорил, над чем смеялся.

Это было сладостно и до стона мучительно. Если засыпал в середине разговора, продолжал беседу во сне именно с того места, на котором она была прервана. И когда открывал глаза, заканчивал разговор с той полуфразы, на которой проснулся. Поэтому он не знал, когда заснул, когда проснулся и спал ли вообще. Скорее всего, то забывался, то спохватывался, но не улавливал границ между забытьем и бодрствованием.

Данила ненавидел ночь и ту минуту, когда Евдокия шла готовить постель. Он ненавидел и свою постель, где провел столько бессонных ночей.

Однажды он лежал, стараясь не шевелиться, и, щадя жену, делал вид, будто спит. Пусть хоть она отдохнет. Ей тяжелее. Она испытывает то же, что и он, и еще дополнительно его капризы, его плохое настроение, которое он вымещает на ней, потому что больше не на ком.

Когда стало ясно, что удалось обмануть Евдокию и уже можно было не подавлять вздоха, рвавшегося из груди, он услышал ее тихий голос:

— Попробуй все-таки заснуть, Данила.

Тогда он закричал, что вечно она не дает ему покоя и будит среди ночи и что это в конце концов невыносимо.

Он резко поднялся, надел штаны и ушел в свою мастерскую. Здесь стояла детская коляска, сданная ему в ремонт. Он хотел работать. У него были для этого силы, ему требовалось применить их, дать выход тому, что скопилось в голове. Взяться за коляску он не рискнул: неизбежно потревожит соседей.

Он сидел, уже ни о чем не думая, и ему было жаль Евдокию. Она безответная. Она ничего ему не скажет, не возмутится, не упрекнет. Она просто ни за что не заснет, пока он не вернется. Он упрямо сидел, и терзался из-за нее, и не мог подняться с места.

Они прожили долгую жизнь, и все, что надо было сказать друг другу, давно сказали, и теперь им не о чем разговаривать. Она знала его привычки, знала, что готовить ему на обед, и он не мог даже попросить горчицу или перец, потому что всегда все стояло на месте. Они молча обедали, и он молча уходил под лестницу.

Никогда не думали они, что могут остаться на чужбине. Это была дикая и нелепая мысль, поэтому и не могла она появиться у них. Они твердо знали: как только кончится война, тут же уедут. Только бы дотянуть до конца войны. Вот тогда он и услышал где-то эти слова, накрепко засевшие в голове: «Мне бы только речку переплыть...» Только бы дотянуть.

А когда война кончилась, пошла эта умно организованная, подлая ложь: всех, кто был в плену или по другим причинам оказался здесь, расстреливают на границе. Люди стали задерживаться с отъездом. Они тоже решили пока остаться, пусть пройдет немного времени, пусть успокоится обстановка.

И опять ждали каких-то новостей, потому что не может быть, чтобы все осталось так, как есть. Должно же что-то

произойти, после чего они смогут спокойно поехать домой. Они ждали этого мифического часа, глубоко веря в него, а годы шли. Постепенно вера угасала, все меньше оставалось надежд на чудо, надо было действовать самостоятельно. Как действовать, они не знали. Многие уже уехали, а они все ждали.

...Данила долго сидел среди ночи под лестницей, тупо уставившись на коляску, пока в хаосе туманных мыслей не проплыла одна, за которую он ухватился, отгоняя все остальные, боясь, чтобы не вылетела она вот так же внезапно, как и появилась. И когда мысль эта окрепла в нем и превратилась в твердое решение, он медленно поднялся, медленно пошел в комнату, зажег свет и торжествующе сказал:

— Ты не спишь, Дуся?

— Это ты мне говоришь, Данила? — испуганно подняла она голову.

Она давно забыла это имя. Веселый Даня называл ее так только до войны. Она уже не помнит, когда это было. Счет времени у нее начался с той минуты, когда стало ясно, что эвакуироваться не успеют, и он сказал: «Плохи наши дела, Евдокия». Так назвал он ее тогда впервые. Но это показалось естественным, такая была обстановка.

Уже много лет он никак ее не называет. Нет необходимости. Если обращается к ней, то просто: «Сходила бы в магазин наждачной бумаги купить», или: «Посмотри, не оставил ли я на столе очки?» В тех редчайших случаях, когда называл ее по имени, то только «Евдокией».

И вдруг — Дуся. Она испугалась еще больше, чем два часа назад, когда он так неожиданно и несправедливо обидел ее. Быстро привстала и потянулась за платьем.

— Нет-нет, ты лежи. Послушай, что я скажу.— Он сел возле нее на постели. Она подвинулась, и он, наклонившись, заговорил шепотом: — Мы уедем отсюда, Дуся. Что нам здесь делать? Это уже решено твердо. Напишу Клаве, все-таки жена моего родного брата. Ну когда-то не ответила, может, и не дошло письмо, а сейчас ответит. Поедем к ней, все разузнаем, а потом вернемся за вещами. Или продадим к черту. Там купим новое. Пойду на свой завод, не может быть, чтобы знакомых не осталось. А может, списки сохранились, я ведь стахановцем был, помнишь? Может, и приказ уцелел — как передовика производства меня тогда в помощники мастера выдвинули, помнишь?

Голова у Евдокии затуманилась. Надо было ответить Даниле, что-нибудь сказать, но она боялась сказать невпопад, боялась прикоснуться к этой картине, возрожденной им, потому

что за его словами увидела всю их прошлую жизнь в целом, и по частям, и по кусочкам, вроде того дня, когда пришли вместе с Данилой заводские друзья, чтобы отметить его выдвижение.

Именно в этот день принес он столь странный и неожиданный подарок. Это была шелковая ночная рубашка голубого цвета, с кружевами, которая и не очень-то ей была нужна, и размером не подходила, и она никак не могла сообразить, почему вдруг он это купил.

Данила стеснялся своего подарка и избегал ее взгляда. А она все спрашивала, и он рассердился и сказал: пусть не пристает, если не понимает, что в доме праздник.

Уже и до этого она стала догадываться, но еще не верилось и хотелось, чтобы он вслух сказал словами, что это подарок ей, Дусе, в честь его выдвижения, ибо и она причастна к его труду, и он знает это, благодарит и ценит ее. И хотя его отвлекли друзья и ничего больше он не сказал, она теперь уже твердо знала, почему он это принес, и убежала в другую комнату, прижала рубашку к лицу, чтобы никто не увидел слез.

Она все вспомнила. Ей хотелось, чтобы Данила говорил еще, а он неожиданно умолк. Тогда она сама сказала:

— А помнишь, как ты на общем заводском собрании выступал? Человек пятьсот, наверное, слушали. И все поздравляли. Конечно, тебя помнят...— Ей хотелось добавить: «Даня. Тебя помнят, Даня...», но она разучилась говорить это слово. Оно прозвучало бы как чужое, и не хватило смелости произнести его...

Рано утром Данила сел за письмо Клаве. Коляска, принятая в срочный ремонт, подождет. Он сейчас занят. Да и вообще мастерская у него еще закрыта. А то привыкли: ночь, полночь, когда хотят, тогда и ходят. Подумаешь, французы! Плевать на них! Пусть лучше вспомнят, как гнала их русская армия. Хватит, поунижались! Он занят важным делом, и пусть не беспокоят. А не нравится, пусть отправляются к своему Планшоне...

Вскоре пришла настоящая, большая радость: почтальон принес письмо из Москвы. Сын Клавы, их родной племянник Дима, о существовании которого они не знали, сообщал, что их письмо пришло, как раз когда он приезжал в Луганск навестить мать, а сам он работает и учится в Москве, и, если они хотят приехать, пусть приезжают. И мать просила написать, что будет рада их приезду.

Разрешение дали неожиданно быстро. Разрешение ехать на родину, о чем сказали ему в советском консульстве на

бульваре Мальзерб в Париже, и это само по себе было ошеломляющей радостью.

Им хотелось повезти Диме хорошие подарки, может быть, костюм, им не жалко для этого денег. Беда только, размеров не знают. Ну ничего, дорогие подарки привезут во вторую поездку, а пока купили кое-что оригинальное, чего в России, конечно, нет.

...Уже была ночь, уже ушла спать Евдокия Ильинична, а чуть захмелевший Данила неторопливо вел рассказ о трагедии своей жизни.

Я слушал Данилу и невольно вспоминал инженера Николая Лаврова, с которым случайно познакомился в Версале. Потом мы несколько раз с ним встречались. Особенно запомнилась мне одна встреча на озере. Он принес с собой обещанную мне книгу Д. Мейснера «Миражи и действительность».

— Вот,— сказал он,— прочтите. Ее автор – известный в прошлом политический деятель, чуть ли не правая рука Милюкова. Я жил так же, как описана здесь жизнь большинства эмигрантов. Как и у них, из десятилетия в десятилетие, из года в год распадалась, крошилась, выветривалась моя идеология, идеология человека, не принявшего революции. Но, чтобы судить о моей жизни, надо иметь в виду одно отнюдь немаловажное обстоятельство. Я инженер-конструктор высокой квалификации. Такого положения добились немногие эмигранты.

Между Лавровым и Данилой пропасть. Но в одном вопросе они абсолютно едины.

Ностальгия! Я много слышал об этой болезни. От нее не умирают. Еще ни один врач не констатировал смерть от ностальгии. Но она давит человека, душит его, доводит до отчаяния, до безумия.

— Вам этого не понять,— говорил мне Данила.

Но именно такие слова произнес и Лавров.

Почему не понять? Мне приходилось бывать на чужбине по нескольку месяцев. Однажды больше трех лет.

— Это совсем не то,— с досадой махнул рукой Лавров.— У вас оставалось главное: сознание, что пройдет какое-то время, и вы обязательно вернетесь. Вернетесь в свой дом, к своим друзьям и родным, в свой лес, к своей реке. Нет-нет, это совсем не то. Это тоска по родине, которую потерял навсегда. А оставаться на чужбине не хватает сил. Все кажется постылым, отвратительным, непереносимым: и язык, и дома, и запахи. Да-да, что вы так смотрите?! Разве можно сравнить аромат украинской деревни с французской? Да что деревня? Куда не пойдешь — все чужое. Нравы, обычаи, весь уклад жизни, чуждый и нелепый, к которому не привыкнуть, и тебя,

как замурованного в бетон, окружает мертвая тишина в этом крикливом, гудящем, многолюдном мире, и одиночество охватывает так, что хочется выть...

Я одинок и беззащитен. Вся система построена так, чтобы человек не переставал чувствовать себя зависимым, униженным, беспомощным. В бюро, где я работаю, ни один инженер не знает, сколько зарабатывает такой же как он, сидящий рядом и выполняющий такую же, как он, работу. Заработок держится в страшной тайне. Управляющий или владелец предприятия дает вам грошовую надбавку, прикладывая к губам палец: «Смотри не проговорись, один ты это получил». И молчит человек. И лезет из кожи, изворачивается, только бы шеф был доволен. Эта система изолирует человека от товарищей, воспитывает в нем эгоизм, чувство зависти.

Такая система повсюду. Попробуйте спросить француза, сколько он зарабатывает. Никто не ответит.

Это хитрая и безжалостная система. Обратили ли вы внимание, ну, хотя бы в вашей гостинице, как все вежливы, предупредительны, как вам улыбаются, как подхватывают ваши чемоданы?

Вы думаете, это воспитание? Вы думаете, это вежливые, радостные люди? Нет! Это страх, страх, за место. Улыбка — фактор экономический. Пусть попробует не улыбаться портье, пусть попробует отвернуться, если оскорбит его богатый заморский турист.

Мне рассказывали, что у вас бывают конфликты между служащими гостиницы, даже если это уборщица, и постояльцами, словно у них одинаковые права. И будто администрация даже разбирается, кто из них виноват. У нас такой конфликт просто немыслим. Можно сколько угодно хамить, никакому портье в голову не придет жаловаться или хоть как-то проявить обиду. Его просто выгонят, и нигде уже не найдет работы человек, изгнанный за «недостаточную учтивость». Он снесет любое оскорбление и будет прятать слезы, улыбаясь.

Да что говорить о портье,— с какой-то безнадежностью покачал головой Лавров.— Вот я, совсем не рядовой инженер, а мне тоже плюют в лицо. И стыдно и унизительно, а я молчу, улыбаюсь. Несколько дней назад мой шеф, желая похвалить меня, в присутствии нескольких человек сказал: «Да какой же он русский, он настоящий француз!»

Я молча снес обиду. Это ведь сам шеф! Скажи я хоть слово, и это был бы последний день моей работы в фирме. Я вынужден вести себя так, чтобы как можно меньше проявлялось мое русское происхождение.

Вот так-то,— грустно улыбнулся Лавров.— Но, знаете,

даже не в этом, по сути, унизительном факте главное. В прошлом году я изобрел специальную термитную печь. Извините за нескромность, это было великолепное инженерное решение трудной проблемы. Когда только появилась идея, я сам не мог поверить в простоту, с какой можно вести сложнейшие процессы. Я не спал ночи, еще и еще проверяя теоретические обоснования моей смелой мысли. Эта идея поглотила меня. Я жил только ею. Хорошо понимая, какой экономический эффект дает моя печь, я даже не подсчитал его. Меня увлекла только инженерная сторона дела. Поверьте, это было удивительное, оригинальное решение.

Моя печь дала шефу сотни тысяч франков; мне же он дал месячное содержание. И опять приложил палец к губам. И я молчу. Моего имени нет на моем изобретении. Печь фирмы. Штамп фирмы. Фирма — это шеф. Если я скажу, что это мое изобретение, меня высмеют.

Кому же отдаем свое творчество, свои бессонные ночи? — говорил Лавров, словно жалуясь мне.— Созданное нами, конструкторами, идет только шефу. Ему одному. Ему не интересно оригинальное решение, безразличен полет конструкторской мысли. Бизнес! Только бизнес! Вот в чем разница между трудом инженера у нас и у вас.

— Так почему же вы не возвращаетесь на Родину? — вырвалось у меня.

— О, это большой и сложный вопрос. Но я вам отвечу Я приехал сюда юношей, в годы революции. Конечно же, не собирался оставаться. Трудно и очень долго объяснять, как получилось, что прожил здесь всю жизнь. Скажу лишь, немалую роль сыграли и дезинформация, и тонкая антисоветская пропаганда, да и собственная инерция как-то уже устроенного человека. Прошу поверить лишь одному: меня всегда радовали ваши успехи и огорчали неудачи. Последний удар моим прежним сомнениям нанесла великая победа советского народа в войне.

Я понимаю: как специалист мог бы найти себе применение на Родине. Думаю, что и Родина простила бы мои юношеские ошибки. Да и немного их было. Казалось бы, все хорошо. Но вот теперь посмотрите на меня со стороны.

В годы разрухи я покинул Родину. Выжидал, когда она начала выкарабкиваться из тягчайших болезней. Выжидал, когда встала и, на мой взгляд, на нетвердых еще ногах шагнула. Смотрел на нее со стороны, когда пошла вперед. Не взял винтовки, когда она обливалась кровью, хотя сердце мое, поверьте, было в крови от ее ран.

После победы думал, что вот теперь как раз могу пригодить-

ся. Да не было уверенности, что в тот момент примет меня Родина. С какими же глазами возвращаться сейчас, когда поднялась она на такую высоту? Да и возраст мой уже пенсионный.

Нет, уж видно, судьба такая,— тяжело вздохнул он,— до конца дней работать на французскую фирму, отдавать ей себя, терпеть похвалу, что похож я на француза. Не прошли мы всех мук с Родиной, и нет у нас прав делить с ней счастье. Только и радости, что пойдешь на Сен-Женевьев де Буа, где все русское. И тянет на это кладбище, хоть нет там родных или близких.

Лавров разволновался и умолк. Молчал и я. Я не знал, что ему сказать. Так и ходили мы молча по берегу озера, от его машины до забора частной купальни и обратно.

Успокоившись, он снова заговорил:

— В таком же положении находятся и те, кого забросила сюда война... Я, конечно, исключаю,— остановился он,— горстку ничтожеств, сделавших своей профессией предательство, кстати, к этой же категории я отношу и тех, кто уже после войны эмигрировал. За последние десять лет можно насчитать...— он прищурился, вспоминая,— можно насчитать человек семь-восемь. О каждом таком случае широко оповещает и долго трубит враждебная вам печать. Так вот эти, прожившие всю жизнь в советских условиях, не могут выдержать условий Запада.

Вспомните, пожалуйста, сколько они здесь выдержали? Год, два? — спрашивал он так, будто я виноват в том, что больше они не выдержали.— Явились в советское посольство и взмолились: «Готовы нести любое наказание, только верните на Родину».

— А остальные? Остальным здесь хорошо?

— Очень хорошо,— рассмеялся Лавров.— Вот, например, грузин, забыл его фамилию, говорят, инженером был, но обиделся, что в кандидаты или в доктора не вышел, и сбежал сюда. Как сейчас помню эпизод, описанный в газете. Это было в шестьдесят седьмом году, во время четвертьфинала теннисных игр на кубок Дэвиса в Дюсельдорфе. Когда советский теннисист Александр Метревели пришел после трудной игры в раздевалку, к нему бросился этот плачущий грузин. Он снимал ладонями пот с рук и ног Метревели и со словами: «Родина, Родина» — размазывал по своему лицу. Это видела вся раздевалка, и кто-то сказал: «Что же вы не возвращаетесь на Родину? Проситесь, авось пустят».— «Как возвращаться! — закричал грузин.— Они меня зарежут».— «Кто зарежет, что вы чепуху несете!» — «Как кто! — возмутился он.— Соседи

зарежут, товарищи зарежут, лучший друг зарежет! Они не послушают милицию».

Вот! — торжествующе закончил Лавров.— Этот хотя и рвет на себе волосы, а возвращаться боится. Бывших товарищей боится.

А вообще я вам скажу: их презирают здесь так же, как и у вас. Да и забыли о них. Просто к слову пришлось. Что они для страны? А вот сами мучаются, как тот грузин. Обязательно мучаются. Понимаете, живое существо не может без родины. Птицы гибнут тысячами, а летят на родину, в то единственное место, где только и может зародиться жизнь. Даже такой талант, как Бунин, не мог взлететь на чужой земле.

А Шаляпин? — повысил он голос.— Вот, кстати, дайте Мейснера. Прочтите.— Он полистал книгу и, показав мне нужное место, прочитал сам: — «Все люди, сколько-нибудь знавшие Шаляпина... видели, как тоска по Родине точит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год его сердце. Никакой дождь долларов, сыпавшихся на него во всех странах мира, и никакие овации, охватывавшие залы всех стран мира, в которые входил этот артист, не меняли смысла этой трагедии».

Ша-ля-пин! — поднял он вверх палец.— Гений. А малявки,— сморщился Лавров,— приползшие сюда сегодня? Вы знаете, этих я вообще...— пожал он плечами, видимо, не найдя нужного слова.— Ну первая эмиграция. Вполне понятно. Ведь совсем новая эпоха, грандиозная ломка, отдавшаяся эхом во всем мире. Людей этой эмиграции я не считаю предателями. Они защищали свой класс и его интересы. Это же естественно, вне зависимости от того, разделяем мы их взгляды или нет. А кое-кто из интеллигенции вроде меня не понял, а потому и не принял революции. Да и не мудрено было ошибиться, ведь рождался новый, невиданный ранее мир.

Трудно мне обвинять и эмиграцию периода последней войны. Строго говоря, это ведь не эмиграция. Это люди, которых духовно искалечила и расшвыряла война, или немногие откровенные предатели вроде Власова, решившие, что Родине уже не подняться и надо побыстрее надевать другую шкуру. Так как же к ним можно относиться! Даже Деникин — подумайте, Деникин! — когда пришли к нему власовцы бить челом, заявил, что с предателями Родины не желает разговаривать. Так и не выслушал их, хотя знал, что явились они предлагать ему высокие посты и звания... А эти... Они интересны, да и то на короткое время, лишь тем, кто использует их против Родины. Используют и бросят.

После дня, проведенного на озере, я еще несколько раз встречался с Лавровым в Париже и у него дома. И о чем бы ни заходил разговор, главной темой для него оставалась Родина. Глубоко тосковал, постоянно думал о ней, но, пожалуй, прав он: возвращаться ему уже поздно.

А вот Данила решился. Поэтому мне особенно интересен был его рассказ.

Он заранее написал Диме, с каким поездом приедут, в каком вагоне, указал приметы, чтобы парень мог легко их найти. И он действительно встретил их и отвез в гостиницу, потому что сам жил в общежитии. В тот вечер на их заводе был большой молодежный бал, где он выступал в самодеятельности, зато весь следующий день, благо воскресенье, обещал провести с ними.

Он приехал сразу после завтрака. Они вместе осматривали Кремль, которого никогда не видели, глазам своим не верили, глядя на станции метро. Больше всего поразил их тот совершенно естественный, но непостижимый факт, что все, ну буквально все, говорили по-русски. На улицах, в кафе, в автобусах — решительно повсюду слышалась только русская речь.

Собственно говоря, ничего другого они и не ждали, вернее, не думали об этом, иначе же не могло быть. И тем не менее это было удивительно и волнующе.

Часам к семи вечера приехали к Диме в общежитие. Их встретил Владлен — товарищ Димы и его сосед по комнате. Стол был красиво накрыт.

Данила был очень доволен экскурсией, а тут еще такой стол, и он совсем растрогался. В какой-то момент, когда ребята вышли из комнаты по хозяйственным делам, он сказал:

— Пожалуй, не поедем завтра в Луганск. Поживем здесь дня два-три. Москва ведь!

Евдокия согласилась.

Все сели за стол. Первый тост подняли за гостей. И опять у Данилы навертывались слезы. Он благодарил за душевный прием, предложил выпить за Диму и его друга Владлена.

Потом извлек из кармана баночку и, улыбаясь, сказал:

— Это вам сувенир, Дима. Лучшая французская горчица.

Ребята были смущены. Данила видел это, но настойчиво предлагал отведать горчицы.

Дима открыл крышечку, и со свистом выскочил чертик.

— Вот это да! — восхитился Владлен.

Все смеялись. Было очень смешно. А Данила вытащил из кармана фигурку де Голя, и это оказался пробочник. И опять все смеялись, а Дима благодарил за подарки.

Кто-то из соседей заглянул в дверь, и вскоре все общежитие узнало, что у Димы гости из Франции. Набилась полная комната. Это были рабочие ребята, учившиеся в заводском вузе, дотошные, остроумные, и они хохотали, рассматривая сувениры.

Только один из них, Костя, самый молодой, хотя был уже выпускником института, не хохотал, а прищурившись, улыбался, поглядывая то на сувениры, то на гостей.

— Вот что значит заграница! — с той же улыбкой подмигнул он Владлену.— Разве у нас такое сделают?

Данила перехватил Костин взгляд, и это царапнуло его. Неожиданно стало тихо.

— Расскажите нам о Франции, пожалуйста,— попросил кто-то.— Как выглядят Лувр, Сорбонна, как живет молодежь?

— Верно,— подхватил Костя.— Мне давно хотелось послушать иностранца.

Данила помрачнел. Надо бы сказать этому ехидному парню, пусть не зарывается, но грубить в гостях неловко. Да и грубить вроде нет повода. Парень-то ему не нагрубил. Вроде так оно и есть. Хорошо бы вежливо осадить его, а как? Вежливые, но колкие слова, как и при встречах с Планшоне, не приходили в голову. И бог с ним, с этим парнем, некогда подбирать для него слова, надо что-то ответить ребятам.

А что мог сказать Данила о Париже? В Лувре он не был, о Сорбонне не слышал, как живет французская молодежь, не знал. Он стал описывать Эйфелеву башню, где ему довелось побывать лет пятнадцать назад. Говорил сбивчиво, мучительно думая, о чем же еще рассказать ребятам.

В комнату вошел комендант общежития. Спросил, почему здесь распивают водку, хотя никто уже не пил.

Ему объяснили: случай особый, приехали родственники из Франции.

Он ушел, многозначительно взглянув на часы. И все посмотрели на часы, поняв его без слов: посторонним лицам не разрешалось оставаться здесь позже двенадцати. До двенадцати было еще далеко. Разговор не клеился. Ребята опять стали открывать крышку горчичницы, вертеть пробочник. Выскакивал чертик, де Голль размахивал руками. Все грустно улыбались.

Постепенно комната пустела. Собрались уходить и старики.

В гостинице Данила сказал:

— Может, нам в Луганск уехать завтра, Евдокия? Надо бы сначала с Клавой повидаться, дело сделать, а потом уже разгуливать по Москве.

Евдокия согласилась.

...Клава встретила их с искренней радостью. Вспоминали прошлое. Заговорили о ее муже Федоре, погибшем на войне. Она показала его награды — орден Отечественной войны 1-й степени и орден Отечественной войны 2-й степени. По статуту эти ордена вручаются на хранение семье погибшего и передаются потом из поколения в поколение.

За несколько месяцев до конца войны Федору удалось побывать дома, а спустя две недели пришло это страшное извещение...

Даниле было жаль Клаву. Еще не старая и собой крепкая, а вот осталась одна. И люди хорошие попадались, но из-за сына отказывала. Сына воспитала. А теперь — поздно...

Незаметно в разговорах пролетело часа два.

— Да что же я сижу,— всплеснула руками Клава,— скоро люди придут!

Клава работала на фабрике и в тот день взяла отгул. Оказывается, в честь их приезда пригласила друзей с фабрики и двух однополчан мужа.

Знакомя Данилу с гостями, Клава говорила, что это брат Федора и хотя живет во Франции, но человек трудовой, рабочий. Люди, приветливо улыбаясь, пожимали руки Даниле и Евдокии.

Его сердце наполнялось гордостью. Он давно не был в такой большой и дружеской компании. Он забыл уже, что люди вот так собираются просто для веселья. Было в его жизни такое или нет? Конечно, было. Но еще тогда, когда хотелось жить.

Он понимал: первый тост поднимут за него и Евдокию. И он заранее подготовился, заранее придумал нужные слова для ответа. Было шумно и весело. Данила пока не вникал в разговоры, повторяя про себя ответный тост. Надо сказать так, чтобы видели, как он любит Родину. Чтобы не считали его здесь иностранцем, как тот молокосос.

Когда все уселись и налили рюмки, поднялся самый пожилой человек. Он предложил выпить за хозяина этого дома, своего боевого друга и командира, за всех, кто своим потом и кровью обеспечил победу и дал возможность людям жить, работать и вот так собираться.

Данила не обиделся. Тост был правильный. Хотя, странное дело, что-то досадное было в нем. Вроде выпили за всех присутствующих, кроме него и Евдокии. Данила злился на себя за эту мысль.

Следующий тост подняли за женщин — главную силу их фабрики и за лучшего бригадира — хозяйку дома. Этот тост вызвал особое оживление. Все хотели чокнуться с Клавой,

потянулись к ней, и каждый добавлял какие-то слова, и Данила понял, кто же на самом деле есть Клава. И душа коллектива, и делегат каких-то конференций, и депутат райсовета, и просто хороший товарищ, и надежный друг.

И даже после того, как люди выпили, разговор о Клаве продолжался. Она только отмахивалась от похвальных слов, а Данила думал о том, какое это счастье — иметь столько друзей, знать, что ты не одинок.

Потом поднялся седой человек лет сорока пяти, сидевший напротив Данилы, звали его Алексей Никитич, и предложил выпить за гостей из Франции. Люди выпили.

После длинного и шумного тоста за Клаву получилось как-то сухо и официально. Ответная речь, которую Данила умно подготовил, показалась ему сейчас неподходящей.

Потом долго закусывали, разговаривали, смеялись. Даниле тоже хотелось приобщиться к разговору, но никак не мог придумать, что бы такое ему сказать. Говорили о фабричных делах, о каких-то заседаниях, о вечерах, должно быть похожих на этот. Будто продолжали они давно начатый разговор, в который никак ему не втиснуться.

Данила внимательно прислушивался. Он тоже улыбался, когда люди смеялись, кивал в такт говорившему, понимающе поддакивал, а то и вставлял несколько слов, но никак не мог ухватить существо разговора и решительно не понимал, чему смеются. Он будто и участвовал в разговоре, но оставался за какой-то незримой чертой, отделявшей его от этих людей, и никак ему не удавалось переступить ее.

Центром разговора был то один, то другой, и настал наконец момент, когда все внимание обратилось к Даниле.

— Молодцы все-таки французы,— сказал Алексей Никитич.— Шутка ли, десять миллионов в забастовке участвовали. Вы тоже бастовали?

Вот тогда-то и смолкли все, ожидая, что он скажет.

Что мог сказать Данила!

— Да-а, было дело,— солидно протянул он.— Весь транспорт встал, заводы и фабрики остановились...

Он понимал, что это известно и без него. А что же еще сказать? В их маленьком поселке не очень-то видна была забастовка. Пока он обдумывал, кто-то шепотом заговорил с соседом на краю стола, разговор перекинулся дальше, стал громче, возник общий спор, и уже никто не смотрел на Данилу. И опять он почувствовал, что остался один. Никто не сказал ему обидного слова. Напротив, все вежливо улыбались, предлагали закусить или выпить, но все яснее становилось, что единственно об этом и могут они говорить с ним.

Данила мог бы, конечно, рассказать, как тяжко ему на чужбине. Он не решался на такой разговор, боясь вопросов, на которые трудно будет ответить, которых им не понять. А они, видимо, из деликатности не поднимали этой темы.

Евдокия нашла себе дело: помогала Клаве уносить на кухню посуду и подавать к столу пироги.

Данила задумался. Выпивший лишнего бывший фронтовик сидел возле него и клевал носом. И вдруг, точно его подтолкнули, встряхнул головой и уставился на Данилу.

— Молчишь, француз? — дружелюбно сказал он.— А ты бы объяснил, что делал, когда мы кровь проливали.

— Ты с ума сошел, Паша! — возмутилась Клава.— Напился и сиди себе.

— А что? — мирно и добродушно улыбаясь, развел он руками.— Напился. Верно, напился. И что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.— Он громко рассмеялся, а потом очень серьезно, словно протрезвев, добавил: — И ты, Клава, думаешь, как я, и все они,— обвел он пальцем окружающих.

Сразу несколько человек цыкнули на него.

— Ну хорошо, хорошо, не буду,— оттолкнул он ладонями воздух.— Извини, француз, не виню тебя. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. В войну сохранил себя, кому охота умирать? А после войны, когда мы по карточкам голодали и землю на бабах пахали, какой же дурак сюда поедет...

Почему же молчат остальные? Почему не прервут его? И, только выслушав эту длинную тираду, точно спохватившись, Алексей Никитич крикнул:

— Да замолчи ты, как тебе не стыдно!

Друг Паши, тоже бывший фронтовик, вызвался проводить его домой. Тот и не сопротивлялся. Мирно пошел и уже с порога, обернувшись, добавил:

— Ты теперь не уезжай, француз. Теперь хорошо живем. Говори: «Люблю родину» — и требуй квартиру...

Пашин друг потащил его за собой и захлопнул дверь, но из-за двери отчетливо донеслось:

— Трехкомнатную! Дадут как сознательно вернувшемуся...

— Не обращайте внимания, выпил много,— сказал Алексей Никитич.

Данила не слушал. Ему хотелось упасть на пол, обхватив голову руками, и кричать. За что! Разве он виноват! Как объяснить им это? Ведь и они улыбку прячут. Жестокие люди. За что? Ни разу нигде не совершил он преступления перед Родиной.

На следующий день Клаве надо было выходить во вторую смену. Завтракали молча. А потом Данила не выдержал, высказал свою обиду.

— Понять должны,— закончил он,— разрешили мне приехать, значит, нет за мной вины. А если что и не так, простила меня Родина. Чего же теперь попрекать?

— Оно конечно,— вздохнула Клава.— Только скажу тебе, не таясь. Родина — это мать. А мать всегда простит сына. Даже если бросил ее, когда вся в крови лежала. А люди не прощают. Они знают: Родина поднимется и простит, а уж бросил ее, считай — оторванный ломоть. Ни автогеном, ни дуговой не приваришь. И винить их не в чем.

— Так что же они, вот те, что были, больше, чем Родина?

— Не знаю, Данила, как тут делить. Знаю только, что в них моя опора. И в горе и в радости. И обижайся не обижайся, ссориться с ними не буду. Особенно с Пашей. Человек он надежный и другом Федору в бою был.— Она умолкла, потом серьезно сказала: — Хватит об этом. Если в чем моя помощь нужна, всегда помогу. А сейчас советую город посмотреть, не узнаете его теперь.

На автобусе объезжали и осматривали город. Ни одного района, кроме тоже сильно изменившейся улицы Ленина, узнать было нельзя. Новые дома, новые кварталы. Это раздражало его. Перед ним был чужой город. А где же родное?

Возвращались угрюмые. Возле дома Клавы Данила сказал:

— Ты иди, а я через часок вернусь,— и заспешил, зашагал, чтобы не успела она ни о чем спросить.

Данила шел на свой завод. У проходной — она осталась почти такой, как была,— возле газетного стенда дождался гудка. И без того екало сердце, а тут люди пошли. Первой высыпала молодежь. Шумной, веселой ватагой. Такими и раньше были его ученики на этом заводе. А потом все смешалось в толпе: и молодые, и совсем пожилые, даже старше, чем он. Вглядывался, всматривался, стараясь узнать знакомых, страшась, что они узнают его первыми и он не успеет спрятаться.

Толпа росла, вытягивалась. Надвинув кепку на брови, шагнул, еще шагнул, а глаза бегали, бегали, пока не замерли.

Колька! Его ученик Колька. Самый смышленый и боевитый, степенно вышагивал, окруженный рабочими. Боже мой, как постарел! Наверное, мастер теперь или начальник цеха.

Данила провожал его взглядом, пока тот не скрылся в толпе. И снова бегали его глаза. Узнал еще кого-то, чьей фамилии не мог вспомнить. Не отдавая себе отчета, робко приблизился к потоку, подобрал его шаг, слился с ним и, часто глотая, пошел.

1969 г.

ПАУТИНА

Есть люди, которые располагают к себе с первой же встречи. Именно таким оказался Алексей Богданович Мартынов, ответственный работник объединения «Союззагранпоставка» (по причинам, которые читателю станут ясными, его имя и фамилию пришлось изменить).

Обаятельный человек, интересный собеседник, он немало поездил по миру и многое повидал в жизни. За границей Алексей Богданович проводил довольно много времени — да и познакомились мы с ним лет десять назад за пределами Родины,— но о других странах говорить не любит. Он хорошо рисует и, даже сидя на заседаниях, делает какие-то наброски. Это его хобби.

Каждый раз, когда он бывал в Москве, мы обязательно встречались. Однажды вместе провели отпуск на юге. Помню, греясь на пляже, я рассказывал ему об одной антисоветской акции на Западе, свидетелем которой довелось быть. Он сидел, глядя куда-то вдаль или, вернее, никуда не глядя, задумавшись, не реагируя на слова, которые, как мне казалось, не могли не вызвать определенных эмоций. Когда я кончил, он оставался в той же неподвижной позе, ушедший в себя. Откровенно говоря, я подумал, что он не слушал меня.

Только минуты через две он как бы встряхнулся и задумчиво сказал:

— Могу рассказать вам тоже кое-что. Теперь это уже не секрет.

Вот его рассказ.

— В 1967 году я полгода провел в Канаде,— начал он.— Работал на выставке «Экспо-67». Среди деловых людей, с которыми приходилось общаться, был Вильямс Джефри — представитель фирмы «Барнет Дж. Дансон-Ассошиейтс лимитед». Ее контора находилась в центре Монреаля на тихой улочке Драммондстрит. Это был удивительно приятный человек. Выше среднего роста, спортивного склада, с открытой улыбкой. Веселый, жизнерадостный, казалось, беззаботный, он тем не менее отличался большой деловитостью и бескорыстно помогал мне в делах. Хорошо зная фирмы и конъюнктуру, порой давал мне весьма полезные советы. Естественно, я был ему благодарен, тем более что и мое свободное время он часто старался как-то скрасить.

Он никогда не был в Советском Союзе, с жадностью расспрашивал о нем, искренне восторгаясь нашими достижениями,

хотя многое ему казалось странным и непонятным. Однажды, например, Джефри предложил мне давать консультации фирмам, что, по его словам, могло бы стать для меня хорошим бизнесом. Речь шла о самых элементарных вещах, публикуемых в наших проспектах и каталогах, и моя задача заключалась в том, объяснял он, чтобы сообщать о наиболее важном и интересном. Организацию такого бизнеса для меня и без вознаграждения он брал на себя. Об этой своей идее говорил, широко улыбаясь, явно ожидая моей благодарности. Когда я, действительно поблагодарив его, сказал, что у нас это не принято и частным бизнесом советские люди не занимаются, он был просто поражен. Как? Почему? Это же не во вред вашей стране, а только на пользу. Странные порядки.

Время от времени мы с Джефри обменивались мелкими сувенирами. Вы знаете мою слабость, и даже в Канаде я делал кое-какие зарисовки, эскизы. Однажды я подарил Джефри нарисованные мною уголок русской природы и памятник русской старины. Выслушал от него целый каскад комплиментов. Неожиданно Джефри щелкнул двумя пальцами. Идея! Он предложил мне нарисовать новогоднюю открытку и брался найти издателя в США или Канаде, который заплатит за нее не менее 25 тысяч долларов. Правда, какой-то очень небольшой процент комиссионных надеется за это получить от меня и сам.

Он никак не мог понять, почему даже от такого предложения я отказываюсь. Ведь это сугубо личное дело. Не вмешивается же ваше государство в частные дела своих граждан.

Я высказал сомнение в реальности его идеи. В самой Канаде, сказал я, найдутся десятки, если не сотни художников, которые за такую сумму согласятся нарисовать открытку и сделают это куда более профессионально. Да, возразил он, но их работы — дело привычное. А открытка, созданная советским человеком, коммерсантом, это же сенсация!

«Нет уж, избавьте меня от такой сенсации. Я не люблю разговоров вокруг моей персоны...»

Как я понял значительно позднее, Вильямс, видимо, расценил мой ответ так: заработать я не прочь, но негласно.

Встречались мы довольно часто, и по делам выставки, и в свободные вечера. Время от времени в заботах о моем бизнесе его одолевали новые идеи, но уже такие, что остались бы в полной тайне. Все это начинало мне не нравиться, но, откровенно говоря, особого значения его словам не придавал. Находил объяснение в образе мыслей западного коммерсанта, клетки которого заполнены идеями бизнеса.

В конце 1967 года я вернулся в Москву. Расстались мы

с Джефри дружески. А через некоторое время меня направили снова на работу в Канаду, в долгосрочную командировку с семьей. Здесь возобновились мои деловые контакты с Вильямсом. И не только деловые.

Надо сказать, что порой даже серьезные вопросы решаются не за столом переговоров, а на загородных прогулках, в праздничные дни, во всяком случае, не во время официальных встреч. Так, например, одна выгодная для нас сделка произошла совершенно случайно на даче Вильямса на их семейном празднике, куда я был приглашен вместе с женой и детьми. Когда на стол подали пирожки, все гости восторгались ими, а Джефри сказал:

«Вкусно, конечно, но какого огромного труда стоит их изготовление».

«А у нас,— заметил я,— создан автомат, машина для изготовления пирожков. Производительность ее огромна, а по вкусу... Редкая домашняя хозяйка изготовит такие».

Этим сообщением Джефри очень заинтересовался. Его аргументированные доводы помогли мне заключить контракт на продажу в Канаду наших пирожковых автоматов.

Однажды он предложил мне поужинать вместе с женами в ресторане «Ритц». Не стесняясь, я сказал, что такие шикарные рестораны мне не по карману.

«Понимаю,— сочувственно закивал он,— дети... и накормить, и одеть, и выучить... Но вы какой-то странный человек. С вашими способностями и возможностями обрекаете себя на весьма скромную жизнь».

Намек более чем прозрачный. Тем не менее, трудно было понять, всерьез человек говорит или на таком низком уровне шутит.

Я проанализировал всю историю наших отношений с Вильямсом. По-иному предстали передо мной и многие, на первый взгляд незначащие реплики. И подумалось: не сводятся ли заботы о моем «бизнесе» к тому, чтобы под любым предлогом всучить мне деньги, поставить меня в какую-то зависимость. Будто плетется вокруг меня какая-то паутина...

И знаете,— продолжал Мартынов,— за свою не такую уж долгую жизнь, на каких бы должностях не был, я свято исполнял свой долг. Мое поведение всегда было безупречным. За себя был спокоен. Как и всякий советский человек за рубежом, с особой силой ощущал величие своей страны, знал, что нахожусь под ее могучей защитой. И появилось желание разобраться, чего же они хотят от меня и кто это «они».

Следующее предложение Джефри не заставило себя ждать. Речь шла о совсем пустяковой услуге, которую я бы в любой

момент охотно выполнил. Однако именно эта просьба особо насторожила, ибо он обещал довольно приличное вознаграждение. На этот раз Вильямсу показалось, что я заинтересовался.

«Наконец-то! — радостно хлопнул меня по плечу Джефри.— Вот теперь я вижу человека дела.— Обеими руками он крепко сжал мои руки и вкрадчиво добавил: — Ты получишь гарантии, что об этом никто не узнает. Ты получишь такие гарантии, которые даже в голову прийти не могут. Перед тобой откроется блестящая перспектива».

Такой специалист, как я, разглагольствовал он, обладающий столь обширной информацией о конъюнктуре мирового рынка, живя в Канаде, в течение двух-трех лет стал бы миллионером.

К этой теме Джефри больше не возвращался. Наши встречи носили чаще всего сугубо деловой характер. К тому времени закончился срок моего пребывания в Канаде, я собирался домой, и меня уже перестали интересовать чудачества Джефри. За неделю до отъезда отправился в Оттаву, чтобы выполнить необходимые формальности.

В вагоне поезда, напоминавшего наши электрички, находилось всего три человека. На какой-то станции вошел еще один. Я бы не обратил на него внимания, но он сел рядом со мной. Странный человек. Очень худой, длинный, узкоплечий, сутулый. Лицо чахоточное, на котором выделялся горбатый нос. Близко расположенные глаза словно вдавлены вглубь. Лет ему было примерно сорок.

«Отвратительная погода, черт возьми»,— сказал он, глядя на меня откуда-то из глубины своими крошечными, сверлящими глазками.

«Это точно, отвратительная,— подтвердил я, думая о его неприятной физиономии».

Сказав еще несколько общих фраз, он тем же индифферентным тоном добавил:

«Я вас знаю, у нас есть общие знакомые бизнесмены. Хотелось бы сделать вам привлекательное предложение».

«Кто вы и что вам угодно?» — удивился я.

«Не торопитесь, выслушайте меня, господин Мартынов. Я руководитель подразделения РСМП[1], занимающегося советской колонией в Монреале. Обращаюсь к вам от имени канадского правительства».

---

[1] РСМП (RCMP) — сокращенное название «Королевской Канадской конной полиции», под которой с давних времен маскируется центральный орган контрразведки Канады, выполняющий комбинированные функции, что и ЦРУ и ФБР в США.

КАК СОВЕРШИЛОСЬ УБИЙСТВО

Сначала главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера хотели похитить. Но должно быть, потом, в последнюю минуту решили, что лучше все же убить. Возможно, потому что несколько попыток были неудачными и проваливались, а может быть, версия с похищением вовсе придумана обвиняемыми по этому делу, чтобы смягчить свою вину. Их — человек тридцать, и почти по всем вопросам они дали противоречивые, а порой исключающие друг друга ответы. Но вот насчет способа устранения главнокомандующего будто сговорились. Все утверждают, что ни во время многочисленных подготовительных совещаний, где распределялись роли и разрабатывались планы, ни на репетициях нападения на генерала ни разу не шла речь об убийстве. Только о похищении. И на вопрос: «Что такое «Операция «Альфа»?» — отвечали единодушно: «Похищение генерала Рене Шнейдера». И почему вдруг в него стреляли, никто понять якобы не может. Но в конце концов не в этом главное.

Как два «пежо» и «додж» прижали к тротуару генеральский «мерседес», как ударил его сзади «джип», как побежали к «мерседесу» люди, на ходу вытаскивая кольты, я не видел. Но путь от дома № 551 по улице Себастьян Элькано в Сантьяго, где жил генерал и откуда выехал в свой последний рейс, я повторил. И побывал в тех переулках и на тех местах, где стояли машины заговорщиков, ожидая сигнала, где останавливалась полицейская машина, снявшая с постов двух карабинеров, которые, конечно же, могли помешать покушению. И разобрался в том, кто как действовал, кто какие машины вел, когда был получен сигнал о приближении генерала, кто стрелял и что произошло дальше. Поэтому всю историю с убийством мог бы описать подробно. Но поскольку эта история, вернее, техника убийства интересовала главным образом тем, что позволяла отчетливее представить роль различных людей в этом деле, с них я и начну.

Когда стало ясно, кто убил главнокомандующего и для чего это убийство понадобилось, я пошел к председателю Верховного суда Чили сеньору Рамиро Мендесу, чтобы задать вопросы, оставшиеся неясными. Таких вопросов было несколько, о них тоже придется еще говорить, но прежде всего хотелось получить авторитетное разъяснение, почему не судят главных преступников. Ведь от каждого из участников заговора тянутся ниточки, и где-то они переплетаются так, что распутать их трудно, хотя и возможно, а где-то отчетливо видно, в каком месте они берут начало и кто именно их так запутывает.

Сдержав свой порыв встать и послать его ко всем чертям, решил все же послушать, что он скажет дальше.

«Так вот,— продолжал он.— Один наш общий друг сказал мне, что вы не прочь пополнить свои денежные сбережения. Это естественное человеческое желание. Заработок никогда не помешает. Итак, у вас есть товар, у меня деньги. Если вы согласитесь поддерживать с нами контакты, я готов предоставить вам письменные гарантии любого из четырех высокопоставленных лиц Канады. Я имею в виду министра иностранных дел Шарпа, премьер-министра провинции Квебек Бурасса, министров Пелетье или Шарбоно. А может, вы хотите остаться в Канаде или США? Конечно, с семьей?»

Значит, вот на кого работает мой «друг» Джефри!

Должно быть, этому типу Вильямс доложил, будто я уже «готов», ибо тон его был хозяйский, что ли. В его словах чувствовалось высокомерие, какие-то едва уловимые пренебрежительные нотки, даже брезгливость. Правда, все его слова были вежливыми, на лице играла улыбочка, но сквозь нее и проступало его подлинное отношение к «купленному» человеку.

Уняв волнение, я довольно спокойно спросил:

«Какой же товар вы имеете в виду?»

«Информацию,— невинно, просто по-детски, как бы удивляясь моей непонятливости, ответил он.— Отнюдь не военную и даже не экономическую. Просто расскажете о своих товарищах по работе в Канаде и Москве, об их привычках и склонностях, о сильных и слабых сторонах характера, об их материальной обеспеченности, ну и прочие такие мелочи. Я же, в свою очередь,— он быстро обернулся на далеко позади нас сидящих пассажиров,— я, в свою очередь,— вот.— Он достал из бокового кармана длинный конверт, положил его себе на колени и открыл клапан. Там лежала пачка толщиной в палец новеньких, будто только что отпечатанных, долларов.— Вы можете этот пакет получить сейчас,— сказал он, пряча его в карман,— если я смогу за него отчитаться перед своим начальством. Впрочем,— сказал он,— поезд подходит к Оттаве, вас, я знаю, будут встречать. Через неделю вы уезжаете совсем, подумайте хорошенько, соберитесь с мыслями, ведь все равно уезжаете. Вознаграждение, если желаете, можно выплатить и в советских рублях. Его размер будет зависеть от количества и полноты информации. Встретимся через четыре дня в полдень на вокзале в Монреале под часами у касс».— Он резко встал и стремительно направился к выходу.

Отъезда на родину всегда ждешь с огромным нетерпением, ждешь как праздника. На этот раз я считал не дни. Часы

считал. Конечно же, никуда я не пошел в назначенное мне время. В двенадцать десять раздался телефонный звонок.

«Я ведь вас жду! В условленном месте под часами».

Я повесил трубку, не ответив.

Трудно передать тот радостный, нет, счастливейший миг, когда я ступил на борт океанского лайнера «Александр Пушкин», когда услышал команду: «Поднять трап, отдать все концы!»

В ту минуту мне казалось, что я тоже отрубил все концы, все ниточки паутины. Не знал я тогда, как спецслужбы Канады исподволь, не торопясь, начинают плести паутину, как на все лады испытывают человека, как, однажды наметив жертву, они уже не выпускают ее из своего поля зрения, где бы человек ни находился.

Вильямс не оставлял меня и в Москве. Регулярно присылал письма, фактически проверяя, работаю ли я еще на старом месте. Сообщил, что в Москву приедет его друг инженер-механик Петер Стефен, работающий на фирме «Дансон корпорейшн». Просил, если потребуется, оказать ему содействие. Спустя некоторое время Стефен позвонил мне. Передал привет от Вильямса, справился о самочувствии, спросил, не собираюсь ли в Канаду.

На мой вопрос, в какую организацию он прибыл, Стефен, немного замявшись, ответил, что приехал со сборной хоккейной командой.

«Так вы еще и хоккеист?» — сказал я.

«Нет, нет,— засмеялся он,— я в административной группе команды».

Не трудно было сообразить, что инженеру-механику там делать нечего. От встречи, о которой он просил, я под благовидным предлогом уклонился. Это было осенью 1972 года.

Вскоре меня направили в Канаду на национальную ярмарку в Торонто.

На душе теперь было не так тревожно. Я уже был не наедине со своей тайной. И далеко не простое любопытство владело теперь мною в предстоящих встречах. Обо всем, что произошло со мной в Канаде, сообщил компетентным товарищам, как только приехал домой. Они и решили узнать, чего же добивается канадская разведка от советского человека.

На третий день пребывания на выставке я отправился посмотреть павильон транспорта. Остановился у одного из стендов и тут же услышал:

«Здравствуйте, господин Мартынов».

Я обернулся. Знакомое лицо.

«Здравствуйте, господин Инкогнито».

«Почему «Инкогнито»,— сказал он, отводя меня от стенда.— Я ведь вам представился тогда в поезде. Впрочем, понимаю. Вот мое удостоверение».

Это было закатанное в пластик удостоверение сотрудника РСМП. На лицевой стороне сверху напечатанная на машинке фамилия Ф.Ф. Дэнтрмонт — сотрудник РСМП.

Он повторил мне все, что говорил в поезде, начав с денег. Снова предложил, если пожелаю, остаться в Канаде.

«Что касается гарантий,— заметил он довольно небрежно,— то РСМП может обеспечить их вам за подписью кого угодно...»

Я слушал его не перебивая. Условились встретиться на следующий день в дорогом ресторане гостиницы «Фор сизонз Шератон». Считая, что я окончательно сломлен и завербован, он начал на этой встрече уверенно, тоном хозяина:

«Мы уже несколько лет только ведем беседы с вами, а дела нет. Пора приступать».

«Но и с вашей стороны только одни разговоры»,— возразил я.

«Хорошо, первый шаг сделаем мы. Завтра я вас познакомлю со своим шефом. Это руководитель отдела РСМП Билл Клифф».

Знакомство состоялось на старом пароходе, превращенном в плавучий ресторан «Харбор Боут». Клифф оказался удивительно добродушным, обаятельным и остроумным сорокалетним человеком. Встретил меня радостно, как старого приятеля. Выше среднего роста, круглолицый, немного лысеющий со лба, с голубыми невинными глазами. И по внешнему виду, и в поведении — прямая противоположность Дэнтрмонту. Клифф также предъявил удостоверение РСМП.

Он сказал:

«Мне известно, что вы проявляете особое беспокойство о своей безопасности. Наши службы работают так, что какая бы то ни было утечка информации исключена. Тем не менее к вашим опасениям мы относимся с пониманием.— И он положил передо мной визитную карточку с именем Михаила Дзюбы, сотрудника фирмы «Дангарвин Компани лимитед».— Это ваша карточка,— сказал он.— На это имя вам будет выписан канадский паспорт и открыты банковские счета в Канаде и Швейцарии. Если хотите, мы можем познакомить вас с американской или английской спецслужбами — ЦРУ или СИС, которые также готовы предложить вам сотрудничество. Теперь о связи с нами. Вы часто выезжаете в другие страны. На визитной карточке условный телефон. Диспетчер дежурит там круглые сутки. Из любой страны можете звонить мне, и я вас найду.

В случае провала обращайтесь к первому секретарю любого канадского посольства и назовите мою фамилию. Вы будете взяты под защиту Канады, и вам немедленно доставят ваш паспорт».

«Но первых секретарей может быть несколько»,— заметил я.

«Неважно, к любому первому секретарю, но именно к первому».

«Сколько же коллег у Клиффа в канадских посольствах»,— мелькнуло у меня в голове.

Клифф дал мне условный текст для связи с ним, который просил не записывать, а запомнить.

Через несколько дней я вернулся в Москву к своей работе. И здесь по некоторым признакам я чувствовал, что меня не выпускают из вида. Это весьма убедительно подтвердилось во время моей командировки в США. Клиффу я не позвонил. Однако на шестой день моего пребывания в Нью-Йорке он разыскал меня сам. Так я убедился, что щупальца РСМП раскинулись довольно широко. В связях разведок Канады и США не приходилось сомневаться. Клифф этого и не скрывал. На мой вопрос, как ему удалось найти меня в этом городе, Клифф ответил:

«Помогло ЦРУ».

«Значит, и ЦРУ уже меня знает?!» — недовольно спросил я.

Клифф вкрадчиво проговорил:

«Вам это даже выгодно, вы у них всегда можете найти защиту».

Клифф раскрыл свой чемодан-портфель и начал извлекать оттуда документы: канадский паспорт с моей фотографией на имя Михаила Дзюбы, свидетельство о рождении, карточка социального страхования, расчетные книжки банков Канады и Швейцарии — все на то же имя.

Я смотрел на эти документы и глазам не верил. Мне ведь о коварстве спецслужб говорили и раньше, казалось бы, чему теперь-то удивляться. Но поверьте, когда над своей фотокарточкой увидел чужое имя и эти слова «гражданин Канады», мне стало не по себе.

Клифф мое замешательство, конечно, истолковал по-своему.

«Вот что значит РСМП,— торжествующе сказал он.— Вы еще не знаете наших возможностей. Но это еще не все». С самодовольным видом он молча извлек из папки документ и положил передо мной. На бланке генерального прокурора Канады Уоррена Олманда, являвшегося одновременно министром юстиции, и за его подписью было напечатано:

«Настоящее письмо гарантирует в соответствии с канад-

ским законом об эмиграции 8(I), что Михаил Дзюба является гражданином Канады со всеми вытекающими последствиями.

Одновременно канадское правительство гарантирует предоставление убежища Михаилу Дзюбе в любое удобное для него время». И дата — 23 сентября 1973 года...

Вы же знаете,— продолжал Мартынов,— выдержки у меня достаточно. Но когда впервые прочитал это письмо, просто растерялся.

Ну пусть, допускаю, спецслужбы могут и счета в банке открыть, и страховые карточки оформить. Паспорт уже серьезнее. Это ведь предоставить гражданство. Это уже функция государства. Могу допустить, что и подобную акцию разведорганы совершают в обход уполномоченных на то правительством учреждений. Но письмо... письмо же министра юстиции, члена парламента и от имени правительства. И эта гарантия выдается человеку, которого они уже считали своим шпионом в Советском Союзе.

...С Клиффом условились о следующей встрече, во время которой я должен буду представить ему информацию и получить деньги.

Это тоже было совсем не просто, должен вам сказать, хотя информацию мы подготовили еще в Москве, и довольно тщательно. Обмен деньги — товар происходил в полупустом ресторане «Шале Свис». На первый взгляд, моя устная информация выглядела солидно. Здесь были прежде всего характеристики на некоторых людей, сообщил кое-какие внутренние дела своей организации. Я просто передал ему содержание разговоров, происходивших в одном из помещений советского учреждения в Канаде, которые, как мы все подозревали, подслушивала канадская разведка. Назвал товары и оборудование, якобы намеченные к закупке в Канаде, и, наконец, сказал:

«На сегодня хватит».

Клифф не возражал. Достал объемный конверт с долларами. Примерно, третья часть их была переложена закладкой, как в читаемой книге.

«Здесь круглая сумма,— сказал он.— А это, я надеюсь, вы не будете возражать? — И Клифф, согнув закладку вокруг тонкой пачки, переложил ее в свой карман. На его лице появилась удивительно обаятельная улыбка.— Об этом будем знать только мы двое, не правда ли? — И он поднял бокал: — За хорошее начало».

В Нью-Йорке была у нас еще одна встреча. Он подготовил для меня задание. Были в нем и не очень значительные вопросы, но немало и весьма серьезных. Например, экономические интересы ФРГ, Франции и Италии в Советском Союзе.

Анализ этих вопросов со всей очевидностью показал, что речь идет далеко не о мелком шпионаже. Судя по всему, канадская разведка намеревалась нанести нашему государству большой моральный и политический урон. Ее действия могли привести к миллионным убыткам в экономике, таили в себе угрозу для безопасности нашей страны.

А ведь начинали с комплиментов, с «невинной» попытки дать человеку «заработать». И как же расчетливо, не торопясь, полагая, что долларами ставят все в большую зависимость, загоняют свою жертву в тупик.

В Москве было решено подготовить для Клиффа новую «информацию». Готовили очень продуманно.

Вскоре я выехал в командировку в Швейцарию на промышленную выставку в Базеле. Несмотря на большую загрузку, я не стал дожидаться, пока меня разыщет Клифф. Позвонил в Оттаву по данному мне телефону и передал для него заранее обусловленный текст: «Переговоры по машинам для уборки снега могут быть продолжены в Швейцарии на промышленной выставке с 24 апреля по 2 мая. Дзюба».

Он появился через три дня. От прежнего добродушия не осталось и следа. Сухой, официальный тон, почти нескрываемое высокомерие. Разговор босса со своим подчиненным:

«Покажите ответы на мои вопросы».— «Я ничего не писал и писать не буду. Сообщить кое-что могу».

Выслушав мою «информацию», резко бросил:

«Это не совсем то, о чем я просил. Этого недостаточно. Я привез вам очередной гонорар и новые вопросы. А сейчас буду называть фамилии ваших товарищей по работе, вы же будете характеризовать их. Особо прошу отметить недостатки и пороки людей».

Он дал мне для подготовки к следующей беседе два дня. Она состоялась в ресторане «Базель». В этот раз на его прессинг я решил ответить многословием. Наговорил ему столько, что он буквально увяз в моей «информации». Он вручил мне очередной конверт с деньгами. В следующий мой приезд в какую-либо страну, предупредил Клифф, вместо него может явиться господин Норман. Так, по крайней мере, назовет себя. Он предъявит фотокарточку Клиффа и личное удостоверение сотрудника РСМП или спецслужбы другой страны.

«С ним можете разговаривать открыто, как и со мной. Он будет полностью в курсе наших дел».

В конце прошлого года дела опять привели меня в Швейцарию, на сей раз в Женеву. Я снова отправил условную телефонограмму.

На четвертый день мне позвонил человек, назвавшийся

Норманом. Предложил встретиться для деловых переговоров в ресторане. Я пришел туда раньше его и сел за уединенный столик. Вскоре появился человек высокого роста и, поздоровавшись, плюхнулся на стул рядом со мной.

«Докладывайте!» — грубо приказал он.

Я возмутился: «Кто вы и что вам угодно?»

Быстрым движением он извлек визитную карточку и положил передо мной. Я прочитал: «Стадник. Торговый представитель фирмы «Хаски инджекшен молдинг системз лимитед» в Оттаве».— «Это ничего мне не говорит, господин Стадник»,— сказал я. «Стадник — это вы! — отрезал он.— Это ваша визитная карточка. Михаил Дзюба умер. Нет больше Дзюбы. И Билла Клиффа нет, ушел на пенсию». При этом он показал мне фотографию Клиффа и свое удостоверение личности сотрудника РСМП на имя Томаса Квилли. «Я четвертый человек в руководстве РСМП. Теперь будете работать со мной. Звонить будете мне по телефону, указанному на визитной карточке Стадника».— «Хорошо,— сказал я,— Клифф в сорок лет ушел на пенсию?! Но почему же мне надо менять фамилию? На имя Дзюбы открыты счета в банках, выписано много разных документов».

«Менять надо обязательно,— властно сказал он.— Дзюбу знают ЦРУ и службы других стран. Парни из ЦРУ проваливают одно дело за другим. С разоблачением их деятельности выступают газеты чуть ли не каждый день. Они завалили не одного агента и назревают новые скандалы. Если будете в США, ни в коем случае не ищите связи с нами через них. Забудьте обо всем, что вам о ЦРУ говорил Билл. Что касается документов и счетов в банках, то какая же это проблема?»

Квилли достал из кармана пачку бумаг, извлек оттуда канадский паспорт с моей фотографией на имя Ярослава Стадника.

Я лихорадочно думал, как же мне вести себя, а Квилли, брезгливо глядя на меня, подсовывал новые документы: кредитную карточку Канадского банка, письмо об открытии счета, страховую карточку, но уже на «мое» новое имя.

На визитной карточке, переданной мне для связи, стояла марка фирмы «Хаски» — одной из крупнейших в своей области компаний Канады. Ей принадлежат десятки заводов, и она имеет отделения в США, Европе и Японии.

Он вытаскивает красочные каталоги и проспекты фирмы, говорит о моих полномочиях и правах действовать от имени «Хаски». Значит, и эта фирма заодно с разведкой. А может быть, именно она и подобные ей командуют канадской разведкой? Становилось трудно играть роль купленного и прятать в себе все нарастающую к ним ненависть.

Какое-то резкое слово Квилли отрывает меня от этих мыслей. Оказывается, он дает мне новое задание.

Квилли вручил мне лист бумаги, на котором от руки были написаны вопросы:

«1. Схема и описание «Союззагранпоставки» и Ваше место в этой организации. 2. Направление деятельности и интересы «Союззагранпоставки» в Канаде. 3. Конкретные лица, работающие по линии «Союззагранпоставки» в Канаде и их интересы. 4. Изменения в личном составе или направлениях работы любого министерства, которые могут отразиться на Северной Америке и, следовательно, на Канаде. 5. Какие советские предприятия оборонного характера являются клиентами «Союззагранпоставки». Их местонахождение и почтовые адреса. 6. Имена руководителей этих предприятий и их характеристики. 7. Потребности конкретных советских министерств в оборудовании, закупаемом «Союззагранпоставкой» для выполнения советской космической программы. 8. Характер заявок, поступающих в «Союззагранпоставку» от министерств, занятых производством военной продукции. Виды этой продукции...» и т. д.

Разведывательный характер вопросов не оставлял сомнений. И снова передо мной лежал конверт с долларами.

Квилли сказал, что к следующей встрече приготовит мне другой перечень вопросов, которые для них представляют особый интерес. Поэтому против каждого вопроса он поставит цену. От 100 долларов до многих тысяч.

Как он был уверен, что этот своеобразный прейскурант побудит меня работать на них с удвоенной энергией!

Рассказ Мартынова заставил меня о многом задуматься.

Репутация канадской РСМП оказалась сильно подмоченной рядом скандальных разоблачений. Мировой общественности стало известно о фактах негласной слежки за видными общественными и политическими деятелями Канады и о том, что на них были заведены секретные досье. Стало известно, что РСМП устанавливает подслушивающую аппаратуру в служебных помещениях и на квартирах многих канадских граждан.

Тесные связи РСМП и ЦРУ вскрываются не впервые. В свое время в мировой печати широко освещалась шпионская роль канадских представителей в Международной комиссии по наблюдению во Вьетнаме, которые, совершая челночные переезды из Сайгона в Ханой и обратно, информировали агрессоров о результатах варварских бомбардировок американской авиацией территории Северного Вьетнама. Можно и дальше перечислять провалы и разоблачения РСМП...

Алексей Мартынов не придет на очередную встречу к

представителям спецслужб. Он не желает больше выслушивать их замыслы против своей Родины.

Пусть вильямсы, дэнтрмонты, клиффы, квилли выбросят на мусор заготовленные ими шпионские вопросы.

Я обращаюсь к президенту канадского банка «Бэнк оф Монтреол». Закройте счета № 5003—439 в Оттаве на имя Михаила Дзюбы и № 1065—795 на имя Ярослава Стадника, ибо таких людей не существует. А заодно объясните, почему банк выдал мифическому Стаднику кредитную карточку под номером 519 1819 0465 827? Пусть президент швейцарского банка «Свис бэнк корпорейшн» в Цюрихе по тем же соображениям закроет счет № РО—326—863.

Я обращаюсь к честным канадским журналистам. Проверьте все, о чем рассказал Алексей Мартынов. Конечно, в банках едва ли удастся получить какие-либо справки. Но пойдите в страховое общество, проверьте, на каком основании, по чьим заявлениям и кому выданы карточки социального страхования № 612006692 и 472146067 на имя Михаила Дзюбы и Ярослава Стадника.

Совсем не трудно проверить, как, кем, на основании чего был 1 апреля 1975 года выдан паспорт № AF-287302 и свидетельство о рождении 10 октября 1930 года в канадской провинции Саскачеван за № F — 63641 на имя Михаила Дзюбы, а 3 мая 1977 года в Оттаве — паспорт № ДН — 406638 (реферативный № J — 396057) на имя Ярослава Стадника, родившегося 26 апреля 1930 года в Оттаве.

Обратитесь в фирму «Дансон корпорейшн» с вопросом, что делал инженер-механик Питер Стефен в Москве в составе административной группы Национальной хоккейной команды Канады? Посетите фирму «Хаски». Пусть вам покажут торгового представителя фирмы в Оттаве — несуществующего Стадника. Попробуйте позвонить по «его» телефону № (613) 749—0080, данному в фирменной визитной карточке. Или наберите номер (613) 234—8602 по визитной карточке Михаила Дзюбы, представителя фирмы «Дангарвин».

Вам ответят не из контор фирм. Вам ответят из штаб-квартиры РСМП канадской разведывательной службы.

Если вы это сделаете, станет ясно, к каким подлогам прибегает РСМП и ЦРУ для организации шпионажа против СССР.

И хорошо бы спросить членов канадского парламента господ Кассита и Елмека, активно раздувающих антисоветскую кампанию шпиономании: что они могут теперь сказать канадской общественности.

1978 г.

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В 1971 году президент Чили Сальвадор Альенде объявил «Операцию правда». Это было вызвано все нарастающей кампанией клеветы против народного строя. Он пригласил представителей различных стран, чтобы они лично посмотрели, что же в действительности происходит в Чили, и рассказали бы миру правду.

Это были не персональные приглашения, они относились не к представителям стран только определенного социального уклада, не зависели от политического мировоззрения или профессии лиц, пожелавших участвовать в «Операции правда». Единственное обязательное условие сводилось к тому, чтобы каждый ее участник объективно рассказал в своей стране обо всем, что увидит собственными глазами.

На это приглашение откликнулись многие. В Сантьяго приехали представители латиноамериканских и европейских стран, Соединенных Штатов и других государств. Я тоже был участником «Операции правда».

На первой пресс-конференции президент познакомился с каждым из нас. Мы пришли туда вместе с Владимиром Чернышевым, который в ту пору был собственным корреспондентом «Правды» в Чили. «С особым удовольствием,— сказал нам Альенде,— я приветствую здесь представителей Советского Союза». Но если бы даже не произнес он этих слов, мы бы все равно ощутили их по его удивительно обаятельной улыбке и крепкому дружескому рукопожатию.

Естественно, я в полной мере воспользовался возможностью познакомиться с этой бурлящей классовыми битвами страной, уникальной по своей географии, с ее чудесными, мужественными людьми.

Пересек ее всю от крайнего севера с его субтропической жарой до Магелланова пролива и Огненной Земли на юге, с его июльскими морозами и холодными ветрами. Встречался со многими людьми — сторонниками Народного единства и представителями крайней реакции.

Пробыл там более месяца и повидал многое. Но прежде всего изучил историю убийства главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера, происшедшее за несколько дней до вступления Альенде на пост президента. Как увидим, это имело большое значение.

КАК СОВЕРШИЛОСЬ УБИЙСТВО

Сначала главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера хотели похитить. Но должно быть, потом, в последнюю минуту решили, что лучше все же убить. Возможно, потому что несколько попыток были неудачными и проваливались, а может быть, версия с похищением вовсе придумана обвиняемыми по этому делу, чтобы смягчить свою вину. Их — человек тридцать, и почти по всем вопросам они дали противоречивые, а порой исключающие друг друга ответы. Но вот насчет способа устранения главнокомандующего будто сговорились. Все утверждают, что ни во время многочисленных подготовительных совещаний, где распределялись роли и разрабатывались планы, ни на репетициях нападения на генерала ни разу не шла речь об убийстве. Только о похищении. И на вопрос: «Что такое «Операция «Альфа»?» — отвечали единодушно: «Похищение генерала Рене Шнейдера». И почему вдруг в него стреляли, никто понять якобы не может. Но в конце концов не в этом главное.

Как два «пежо» и «додж» прижали к тротуару генеральский «мерседес», как ударил его сзади «джип», как побежали к «мерседесу» люди, на ходу вытаскивая кольты, я не видел. Но путь от дома № 551 по улице Себастьян Элькано в Сантьяго, где жил генерал и откуда выехал в свой последний рейс, я повторил. И побывал в тех переулках и на тех местах, где стояли машины заговорщиков, ожидая сигнала, где останавливалась полицейская машина, снявшая с постов двух карабинеров, которые, конечно же, могли помешать покушению. И разобрался в том, кто как действовал, кто какие машины вел, когда был получен сигнал о приближении генерала, кто стрелял и что произошло дальше. Поэтому всю историю с убийством мог бы описать подробно. Но поскольку эта история, вернее, техника убийства интересовала главным образом тем, что позволяла отчетливее представить роль различных людей в этом деле, с них я и начну.

Когда стало ясно, кто убил главнокомандующего и для чего это убийство понадобилось, я пошел к председателю Верховного суда Чили сеньору Рамиро Мендесу, чтобы задать вопросы, оставшиеся неясными. Таких вопросов было несколько, о них тоже придется еще говорить, но прежде всего хотелось получить авторитетное разъяснение, почему не судят главных преступников. Ведь от каждого из участников заговора тянутся ниточки, и где-то они переплетаются так, что распутать их трудно, хотя и возможно, а где-то отчетливо видно, в каком месте они берут начало и кто именно их так запутывает.

Председатель Верховного суда Рамиро Мендес — это один из правофланговых чилийской реакции. Беседовали мы два часа, и хотя общего языка не нашли и ясных ответов я не получил, но его взгляд на это дело оказался интересным с точки зрения расстановки политических сил. Значит, и к беседе с Рамиро Мендесом надо будет вернуться.

А пока, чтобы яснее стала вся история, разберемся, кто же такой генерал Шнейдер, кому он мешал и кто его убил. И одни ли и те же это люди, у которых он стоял на пути и кто в него стрелял.

Генерал Рене Шнейдер Черо был человеком образованным и весьма разносторонним. Еще в молодости увлекался историей, изучал искусства и религии. Стремился постичь мир шире, чем он виделся из стен военной академии, где служил, с вышек горного полка или дивизии, которыми командовал. Хорошо разбирался в живописи (сам ею занимался), музыке, литературе, изучал философию. Последняя книга, которую он прочитал, вернее, оставшаяся недочитанной на его столе, была посвящена идеям Маркузе. При всех этих качествах он прежде всего был солдатом. Да и внешне походил на солдата. Коренастый, сильный, с большими солдатскими руками.

Рене Шнейдер не был сторонником левого демократического движения, хотя весь ход событий в Чили неумолимо приближал его к идеям этого движения. Тем более не был он на стороне правых. Он любил армию и, искренне заблуждаясь, считал ее орудием надклассовым. Роль армии, заявил он, «защита от внешней агрессии и обеспечение внутренней безопасности и порядка, узаконенного конституцией». Он защищал ту конституцию, которая существовала, и своей доктрине был верен до конца дней. Генерал Шнейдер защищал это порождение национальной буржуазии и капитала США с удивительной настойчивостью и мужеством. Может быть, в силу того что был солдатом и точно соблюдал закон, а возможно... возможно, далеко смотрел генерал и увидел новую ситуацию, созданную демократическими силами, при которой оружие буржуазии может быть направлено против нее. Теперь уже никогда не добиться ясности в этом вопросе. Впрочем, не станем навязывать никаких точек зрения. Пусть каждый сам разберется в фактах и сделает свои выводы.

На пост главнокомандующего армией Рене Шнейдер был назначен неожиданно, при обстоятельствах чрезвычайных. В мае 1968 года среди офицеров вооруженных сил началось брожение. Раздавались голоса о том, что правительство Фрея не заботится о своей армии, что офицеры живут в трудных материальных условиях и дальше так продолжаться не может.

Президент Фрей встревожился. Был смещен министр обороны. Офицерам обещали рассмотреть и решить их проблемы в самом недалеком будущем. И волнения улеглись. Так казалось. Однако никаких изменений в армии не произошло, недовольство вновь стало нарастать, пока не кончилось взрывом.

21 октября 1969 года генерал Роберто Вио Марамбио, один из организаторов волнений, уволенный за это в отставку, поднял восстание в полку «Такна», находившемся в Сантьяго. Это было сигналом для полка «Юунге» в Сан-Филипе, где тоже поднялся мятеж. Создалась угроза военного переворота. (Кстати военные перевороты в странах Латинской Америки не такая уж редкость, и они имеют давние традиции. Скажем, в Боливии за последние сто лет было около ста двадцати переворотов.)

Вот в такой критический момент, 24 октября 1969 года, Рене Шнейдер и был назначен главнокомандующим армией. Но это лишь одна сторона дела и при этом — не главная. К тому моменту в Чили происходили куда более глубинные процессы, встревожившие все политические силы. Это был период, когда окончательно сформировался мощный блок левых демократических партий. И нетрудно было видеть, что на предстоящих президентских выборах он явится весьма опасным конкурентом для реакции, рвавшейся к власти. Власть она ощущала почти реально, ибо за годы правления христиано-демократов во главе с Фреем его правительство в достаточной мере скомпрометировало себя громкими декларациями, оставшимися на бумаге и в эфире. Поэтому в лице христиано-демократов крайне правые не видели серьезного конкурента. Многочисленные разрозненные левые силы и их партии тоже не представляли опасности, пока каждая из них выставляла своего кандидата. А поначалу так и было: в первый период подготовки к выборам каждая из пяти демократических партий выставила своего кандидата. Но впоследствии левые силы объединились в единый блок и вместо пяти кандидатов выставили одного — Сальвадора Альенде. Так вот, единый блок всех демократических сил и общий кандидат — это уже весьма и весьма серьезно и до крайности опасно для реакции. Она решила поддержать военный переворот, который опять-таки поставил бы ее у кормила.

Создавшаяся ситуация была ясна и демократическим силам, и они подняли трудящихся на подавление военного мятежа. Коммунистическая партия Чили разоблачала связи генерала Роберто Вио с реакционной национальной партией, разъясняла, что военный мятеж это не конфликт между Фреем и армией, а угроза родине, попытка преградить путь народу к власти. Единый профсоюзный центр (КУТ) призвал население не поддерживать заговорщиков, разъясняя, что они действуют

в интересах реакции. Все демократические партии и организации вступили в борьбу против заговора Вио. Начались массовые демонстрации и забастовки протеста против мятежа.

Этому натиску реакция нашла что противопоставить. Немало честных людей были сбиты с толку ее демагогическим лозунгом: «Бороться против генерала Вио — значит защищать правительство Фрея». Генерал Вио через реакционную печать кричал о том, что восстание носит локальный характер и восставшие остаются верны президенту и конституции, что военные никогда не пойдут против профсоюзов. Нам нет дела до борьбы правых и левых, которые представляют лишь отдельные категории населения, говорил Вио. Мы — армия, представляющая весь народ, и за его интересы боремся.

Рупор реакции — широко распространенная газета «Меркурио» и другие ее органы настойчиво подменяли слова «бунт», «мятеж» словом «забастовка».

Коммунистическая и социалистическая партии, все силы Народного единства не уставая разоблачали лживость враждебной пропаганды. В своем интервью по радио генеральный секретарь ЦК Компартии Луис Корвалан вскрыл все корни антинародного мятежа.

Это был острейший момент борьбы объединенных демократических сил против наступления и маневров реакции. В этой борьбе победил блок Народного единства, профсоюзы, все трудящиеся. Восставшие полки сдались на милость правительству, а организаторы мятежа во главе с генералом Вио были отданы под суд.

Поскольку на этом деятельность Роберто Вио не заканчивается, а в последующих событиях он будет играть решающую роль, видимо, следует представить его.

Генерал Роберто Вио, сын генерала Аброси Вио, мечтал не только о большой военной карьере. Властолюбивый, злой, мятущийся, слабохарактерный, он не мог скрыть, что в мечтах своих уходил далеко за пределы военных полигонов. Этому способствовало и то обстоятельство, что он довольно успешно продвигался по служебной лестнице. С должности командира полка президент Фрей назначает его на пост губернатора департамента Лао. Вио получает возможность установить тесные контакты с американскими хозяевами «Чили эксплорейшн компани». (Не с их ли помощью были получены генералом крупные суммы накануне восстания в «Такна», о чем сообщала чилийская печать.) Затем новое назначение — военный советник в Колумбии. В 1969 году его производят в генералы, и он становится командиром дивизии в Антофагасте — важном экономическом и стратегическом районе страны. Здесь и начал он будо-

ражить офицерство и, получив отставку, отправился в Сантьяго, где и поднял бунт в полку «Такна».

Далее происходят вещи более чем странные, в обычные понятия не укладывающиеся. Мятежный генерал, которого должны судить, становится одной из популярнейших фигур в стране. Он дает интервью, выступает с призывами, его портреты воспроизводятся в реакционной печати. А после того как блок Народного единства выставил кандидатуру Альенде, генерал Вио на многолюдном митинге совсем недвусмысленно намекает на то, что он готов стать президентом и «послужить родине». И не постеснялся при этом сообщить, как собирается править страной. «Я думаю,— сказал он,— что вновь будет утверждено Право Силы».

Конечно, и американские, и чилийские владельцы медных рудников, селитры, заводов понимали, что этот недалекий и надутый чувством собственного величия генерал — фигура весьма неимпозантная и никаких шансов на успех не имеющая. Зато на любую провокацию, какой бы подлости она ни требовала, пойдет по первой указке. А положение реакционных сил складывалось так, что выбирать не приходилось. Они готовы были идти на самые крайние меры, только бы предотвратить катастрофу, которая станет для них неотвратимой, если к власти придет Народное единство.

Именно катастрофа. Вдумайтесь! Буржуазные конституции обычно провозглашают равные права для всех слоев общества, всех политических течений, для магната и рабочего. Так выглядит их показная конституция. Но в чистом виде она бывает только на политической рекламе. Пути народа к реализации предоставленных ею прав ограждены непреодолимыми кордонами. И вот впервые в истории мира левые демократические силы зависимой от американского империализма страны создали условия, чтобы, не нарушая конституции, взорвать эти кордоны и строго на ее основе, пользуясь ею как незыблемым законом, созданным национальной буржуазией и ее зарубежными партнерами для защиты своих интересов, вырвать у нее власть и освободиться от иностранного гнета.

Это нечто невиданное и неслыханное оглушило реакцию, напугало умеренно правых и многих центристов, привело в смятение одураченных жупелом коммунизма. Все они еще не верили в нависшую угрозу, еще как-то надеялись, что не может же это случиться на самом деле, и вот-вот развеется наваждение, когда грянуло четвертое сентября. В мировой эфир понеслись слова: «На выборах победил Альенде».

Эти слова объединили все антинародные слои общества в мощный кулак. Начался крестовый поход внутренней и внеш-

ней реакции, началось массированное наступление на все жизненные центры народного блока под девизом: «Не допустить Альенде к власти».

Но позвольте! Ведь голосование закончено, ведь он получил уже больше голосов, чем кандидат правых Хорхе Алессандри, чем представитель христиано-демократов Радомир Томич. А других конкурентов не было.

Все это верно. И тем не менее у реакции оставалось много возможностей продолжать борьбу за президентское кресло. Дело в том, что абсолютного большинства, то есть больше половины голосов избирателей, не получил ни один кандидат. По конституции в таких случаях окончательное решение — кому быть президентом — выносит сессия Национального конгресса (парламент).

Практически у парламента не было иного выхода, как утвердить кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. В истории Чили не было случая, чтобы парламент поступил иначе. Любое решение не в пользу Альенде при данных обстоятельствах объяснению не поддавалось бы. Однако за этот сомнительной стерильности шанс уцепились.

До заседания Национального конгресса, где должен был окончательно решиться вопрос, оставалось семь недель. Этого времени, как полагала реакция, вполне достаточно для того, чтобы реализовать план, состоявший из двух разделов. Первый — найти хоть какую-нибудь возможность, хоть какой-нибудь повод, чтобы дать отвод Сальвадору Альенде. И второй — если даже такой повод и найдется, но не будет гарантии, что это принесет победу,— совершить военный переворот до заседания конгресса.

Первый вариант, как весьма ненадежный, был вскоре отвергнут. Остался второй. Единственный и последний шанс. И вот тут-то фигура мятежного генерала Роберто Вио Марамбио выплыла на первый план. Для реакции это была удивительно подходящая кандидатура. Во-первых, с его помощью можно будет совершить переворот, и, во-вторых, он удовлетворится местом в правительстве, а в президентское кресло сядет более подходящий представитель капитала.

Главной преградой на пути к цели был Рене Шнейдер, который и в создавшейся сложнейшей обстановке подтвердил свою доктрину и заявил, что армия будет твердо стоять на защите конституции, обеспечит законное проведение Национального конгресса, который и решит, кому быть президентом

Это был патриотический шаг, требовавший от генерала большого мужества и личной храбрости, ибо он отчетливо видел обстановку в стране, в полной мере понимал, против

каких вероломных и жестоких сил поднялся. Позицию Шнейдера разделяли генерал Карлос Пратс и некоторые другие военачальники. Военный переворот при таких условиях затруднялся чрезвычайно. Но слишком велики были силы, готовившие его. Ловкий политический трюк реакции дал возможность доживающему последние дни в президентском дворце Эдуардо Фрею сместить командующего военно-морским флотом. Вместо него Фрей назначил одного из реакционнейших представителей вооруженных сил, участника заговора адмирала Уго Тирадо Барроса.

На пути к осуществлению заговора оставалась главная сила — Рене Шнейдер. Попытки подобным же образом убрать и его окончились провалом. Тогда и приступили к «Операции «Альфа». Первый ее этап — шантажировать, запугать непокорного, создать ему невыносимые условия и заставить добровольно уйти со сцены. И невыносимое началось. В его квартире непрестанно звонили телефоны, грозные голоса угрожали расправой. Вокруг его дома бродили подозрительные, которые исчезали в темноте, как только появлялись карабинеры охраны. Жену генерала осаждали какие-то женщины, умолявшие повлиять на мужа. Приходили латифундисты, промышленники, уговаривали командующего не допустить к власти «марксистские» силы. Шли анонимные и не анонимные письма с угрозами и оскорблениями. Раздавались звонки с требованием ответить, где в данный момент находится генерал. Ни минуты покоя, ни днем, ни ночью.

Бурлил Сантьяго-де-Чили. Гремели плакаты: «Не спи, чилиец,— на пороге русские». Надрывались репродукторы: «Остановить нашествие коммунистов». Тянулись очереди оформлявших свое бегство за границу. На площадях, в зданиях рвались бомбы. Началась финансовая паника. Саботаж на медных рудниках. Захлебывалась «Меркурио»: «Нация накануне гибели». Трагические фигуры женщин в черном, точно траурные процессии, опоясывали президентский дворец «Ла Монеда»

Хаоса и паники в стране добивалась реакция, как верных союзников и оправдания военного переворота. И первый шаг на пути к нему — ликвидация Рене Шнейдера.

Роберто Вио Марамбио лихорадочно готовил главный удар. В сговор с ним вступили начальник гарнизона Сантьяго генерал Камилио Валенсуэла, начальник корпуса карабинеров генерал Висенте Уэрта Селис, знали о заговоре президент Фрей и даже министр внутренних дел, именно тот человек, чей пост и долг повелевали ему бороться против любых беспорядков и заговоров.

Заранее были распределены будущие портфели, заранее

знали участники заговора, кто какие места займет после переворота в правительстве, в государственном и военном аппаратах. А ненавистный им генерал Рене Шнейдер, словно отвечая заговорщикам, не уставая повторял свою доктрину о том, что армия не даст нарушить конституцию. С подобными заявлениями он выступал в печати, на официальных встречах и приемах, перед офицерами, среди друзей и знакомых. И не только выступал. В кругах высшего командования как в Сантьяго, так и в других городах он нашел надежную опору. Он окружил себя верными долгу людьми, цементировал армию, объезжая войска, призывал верно служить родине.

Деятельность Рене Шнейдера подстегивала мятежного Вио к тому, чтобы быстрее убрать главнокомандующего. К этому делу он привлек около тридцати человек, главным образом молодежь из зажиточных и аристократических семей. Впрочем, весьма разношерстной была эта группа — от профессионального уголовника Мельгосы, недавно вышедшего из тюрьмы, до сенатора Рауля Моралеса.

Заговорщики имели в своем распоряжении более десяти автомобилей, автоматические револьверы, карабины, гранаты, взрывчатку, бомбы, баллоны с одурманивающими и слезоточивыми газами, противогазовые маски, холодное оружие.

Все участники были разбиты на группы, каждая из которых выполняла строго определенные функции с точным распределением обязанностей внутри групп.

Наиболее деятельным участником заговора был адвокат Гильермо Карей — сын адвоката, обслуживавшего высшие слои аристократического общества,— связанный с американским капиталом через меднорудную компанию «Анаконда». Этот тридцатилетний, весьма пробивной адвокат состоял в личной дружбе со многими влиятельными лицами, в том числе с президентом Эдуардом Фреем. Политические контакты заговорщиков с главарями внутренней и внешней реакции и легли, кроме Вио, на Гильермо Карея, впоследствии сумевшего удрать к своим покровителям в Штаты.

«Группу террористов», которая сеяла панику среди населения, взрывая бомбы в разных районах города, возглавил отпрыск весьма зажиточных родителей Энрике Арансибиа. На «группу снабжения» возлагалось обеспечение заговорщиков оружием и автотранспортом. Переправкой оружия из-за границы занимались Гильермо Карей и сенатор Рауль Моралес. Задача «особой группы», как показали на следствии ее участники,— похищение Рене Шнейдера, а в действительности — убийство его, ибо и сам факт убийства, и показания шофера командующего, и все материалы дела — это неопровержимое

доказательство того, что даже попытки к похищению не было.

В «особую группу» входили уже названный выше уголовник Мельгоса, выходцы из семей крупной аристократии Аллан Лесли Коопер и братья Искиедро — Диего и Хулио, являвшиеся студентами католического университета, активный сотрудник ультраправой газеты «Тисониа» Андрес Годфрей Видой, коммерсант Сильва Доносо и другие. Участникам этой группы были присвоены клички, и далеко не все знали друг друга по имени.

Было проведено несколько репетиций покушения на командующего. Для этого одну из машин, на которой, условно считалось, находится генерал Шнейдер, пускали по тому же маршруту, по которому обычно следует генерал. Последняя «генеральная» репетиция вполне удовлетворила Роберто Вио. Она проводилась глубокой ночью в районе Лос-Доминикос под командованием молодого фанатика из реакционного Алессандрийского легиона Луиса Гальярдо. Предоставленный отставным генералом Экгором Мартинесом Амаро «оппель», управляемый опытным водителем, мчался по городу, имея задание без остановок проехать до определенного пункта. С разных мест в погоню за ним пошли десять машин. «Оппель» был прижат к тротуару задолго до того, как достиг цели.

Настала пора действовать. Нападение на генерала назначили на 19 октября, в день годовщины мятежа в полку «Такна». Однако не это обстоятельство определило дату покушения. Просто случай представился в высшей степени подходящий, и Роберто Вио не упустил его. Дело в том, что 24 октября исполнился год, как Рене Шнейдер занял пост главнокомандующего. По традиции в этот день генералитет решил устроить ужин. Рене Шнейдер не мог отказаться от этой встречи, хотя решительно воспротивился против двадцать четвертого, ибо именно в этот день предстояла сессия Национального конгресса, где окончательно утверждалась кандидатура президента. Генералы решили собраться девятнадцатого.

Это был довольно интимный ужин, где присутствовали только узкий круг генералов и их жены, но затянулся он до двух ночи. О вечере никто, кроме его участников, не знал. Однако о давней традиции знал Вио. И знал дату встречи.

...Семь машин заговорщиков находились в различных местах в засаде. Как только появится «мерседес» Шнейдера, одна из них должна была фарами дать сигнал остальным. Все было рассчитано. Другой дороги у генерала не было. Он проедет только здесь.

В два тридцать на почти пустынной улице показался автомобиль. На семи машинах включили стартеры. Но сигнала не

последовало, хотя он проехал мимо «сторожевой» машины. И действительно, то был не генеральский «мерседес», а «оппель». А о том, что именно в нем сидел Рене Шнейдер, спохватились слишком поздно.

На этот раз генерал избежал покушения только благодаря чистой случайности. Все сводилось к тому, что незадолго до ужина Шнейдер дал свой «мерседес» сыну для какой-то поездки, а тот задержался. И генерал сам сел за руль собственного «оппеля».

Роберто Вио был взбешен не только провалом, но главным образом тем, что до сессии Национального конгресса оставалось всего трое суток. Если к этому времени не убрать Шнейдера, рухнет все, что столько времени готовилось. И он ни минуты не дает передышки своим подручным. К исходу ночи, вернее, к шести утра направляет в район, где жил главнокомандующий, девять машин с тем, чтобы заговорщики проникли в особняк генерала.

План этот, конечно, был сумасбродным и абсолютно нереальным. Дом охранялся карабинерами, имел надежную связь со штабом армии. Даже не совершив попытки проникнуть за ограду, заговорщики вернулись ни с чем.

Поскольку медлить Вио не мог, он, рассчитывая на безнаказанность, предпринимает новую весьма рискованную попытку. К пяти часам вечера в тот же день машины террористов сосредоточиваются на площади Бульнес, где находится министерство обороны. Идет зоркое наблюдение за главным входом. Нельзя повторить ошибки, какая произошла из-за «оппеля». Надо точно проследить, на какой машине поедет главнокомандующий.

И они выследили. В семь часов к подъезду министерства подкатил «мерседес», и тут же вышел Рене Шнейдер. Машины заговорщиков тронулись одновременно с его автомобилем. В этот час «пик» центральные улицы забиты транспортом. Все движутся очень медленно, подолгу задерживаясь у перекрестков. Однако генеральский «мерседес» идет на большой скорости, обходя весь транспорт по осевой. Регулировщики беспрепятственно пропускают его под красный свет. И преследователи, лишенные такой возможности, вскоре теряют его из виду.

Во всей этой истории в голове не укладывается многое. Но особенно одно обстоятельство. О том, что плетется заговор, как уже говорилось, знали многие. Одни молчали, ибо являлись его вдохновителями или имели к нему прямое отношение. Другие внутренне поддерживали его, делая вид, будто ничего не знают, хотя по зову долга обязаны были вмешаться. Ведь бесчисленные репетиции, сборища большого количества заговорщиков,

добыча оружия, транспорта, вся эта возня и шумиха, которую они даже не пытались скрывать, не могли не обратить на себя внимание блюстителей порядка. Да и разговоров об этом в правительственных кругах было немало. Но президент Фрей и министр внутренних дел никаких шагов против заговора не предпринимали.

Вся обстановка была ясна и Рене Шнейдеру. Но он не оценил в должной степени ни меры подлости Роберто Вио Марамбио, ни того обстоятельства, что мятежному отставному генералу предоставлены огромные возможности. Конечно, Шнейдер не знал о неудавшихся на него покушениях, но бесспорно предвидел их. Убедительным доказательством служит тот факт, что он рекомендовал своим помощникам ежедневно менять маршруты следования на службу и домой. Его информация президенту Фрею и министру внутренних дел о шантаже и угрозах, о готовящемся заговоре не побудила их к мерам по охране жизни главнокомандующего. Сам же он ограничился тем, что стал постоянно носить с собой пистолет. К сожалению, этого было слишком мало.

22 октября рано утром Рене Шнейдер выехал на службу и, точно предчувствуя роковую минуту, положил рядом портфель с пистолетом. На одной из улиц «додж» заговорщиков ринулся в бок генеральскому «мерседесу», и шофер рванул руль к тротуару, едва увернувшись от удара. Но тут же перед самым его радиатором неожиданно и резко затормозили два «пежо», а сзади налетел на него и стукнул «джип». Вырваться из этого кольца было невозможно. Генерал выхватил револьвер, но Сильва Доносо уже успел разбить молотком стекла, а Коопер, Мельгоса и другие — разрядить в него автоматы и пистолеты.

Так свершилось убийство. Оно всколыхнуло всю страну. Восприняли его по-разному. Кое-кто из высших чинов, кому и надлежало в этот момент свершить переворот, пришли в замешательство, ибо они все-таки ожидали похищения главнокомандующего, а не убийства, поднявшего на ноги страну. Именно вот это последнее обстоятельство — страх за собственную шкуру — и остановило тех, кто готовил уже для себя большие портфели. А бояться было чего. Во-первых, весьма решительную позицию заняли такие люди, как ближайший помощник Рене Шнейдера генерал Карлос Пратс. Было заявлено, что «доктрина Шнейдера» остается в силе, гарантируется нормальное проведение сессии Национального конгресса, где должен быть утвержден президент. В эти напряженнейшие минуты жизни Чили трудящиеся в полной мере восприняли широкие разъяснения всех демократических партий и профсоюзного центра о подлинных целях убийства главнокомандующего.

Всеобщая двухчасовая национальная забастовка против действий заговорщиков и мягкотелости к ним правительства явилась внушительным предупреждением реакции о том, что захватить власть ей не дадут.

В стране было объявлено чрезвычайное положение. Движение людей и всех видов транспорта тщательно контролировалось, а в ночное время запрещалось.

До заседания парламента оставался один день. Большинство в парламенте принадлежало группе партий, не входящих в Народное единство. По предварительному сговору все они, попирая извечные традиции, должны были проголосовать не за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, а за представителя правых Хорхе Алессандри (идущего по списку вторым) под тем предлогом, будто победа на выборах Альенде вызвала в стране панику и террор.

Однако реакция видела, как поднялся против нее народ в связи с убийством Шнейдера. И поняла, что это значит. Она не могла не видеть, что при создавшейся обстановке любой ее трюк, направленный против Народного единства, неизбежно вызовет взрыв, который может смести ее с лица чилийской земли.

Что касается империализма, отмечал Луис Корвалан, прежде всего американского, то ему, разумеется, претит то, что происходит в нашей стране. Победа, одержанная чилийским народом, застряла в горле американского империализма, как кость, которую он не может проглотить. Дело в том, подчеркивал генеральный секретарь Чилийской компартии, что представители Народного единства пришли к власти, если так можно выразиться, на законном основании, то есть путем демократических выборов. Конечно, сам этот факт не остановил бы империалистов, но они боятся реакции общественности, прежде всего международной, на такое попрание ими же восхваляемой буржуазной демократии. Кроме того, победа Народного единства была достигнута в момент, когда в Латинской Америке происходил новый подъем революционной борьбы. В подобных условиях, указывал Луис Корвалан, непросто открыто выступить против нашей страны. Такой шаг создал бы угрозу подрыва позиций империализма в других странах, кто знает, во скольких.

На такой риск международный империализм идти не мог.

Чилийской реакции оставалось спасти хотя бы мощную оппозицию в парламенте, сохранить там реакционных и правых депутатов, которые в дальнейшем не дали бы возможности новому правительству провести ни одного мероприятия, начиная с национализации медных рудников. И Хорхе Алессандри

призвал своих единомышленников в парламенте не голосовать за него, а руководство христианских демократов повелело своим представителям отдать голоса Сальвадору Альенде.

Власти действовали решительно. Были арестованы почти все участники заговора. Высшие судебные органы с той же оперативностью и энергией мешали установлению истины. Апелляционный суд, не имея на то никаких оснований, освободил нескольких обвиняемых, и они тут же сбежали за пределы страны. Верховный суд запретил привлечь к ответственности некое высокопоставленное лицо, хотя его участие в заговоре сомнений не вызывало.

Почему? С этим вопросом мне и хотелось обратиться к председателю Верховного суда сеньору Рамиро Мендесу.

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Вблизи гостиницы «Карера», где остановилось большинство участников «Операции правда», находился Центр «Операции», наделенный большими полномочиями. По его планам министерства, ведомства, предприятия знакомили приехавших с жизнью Чили. Нам было предложено несколько программ и маршрутов поездок по стране, было предусмотрено много пресс-конференций и встреч с государственными деятелями и официальными лицами. В полном соответствии с заявлением президента из намеченных мероприятий каждый сам выбирал наиболее подходящие для себя. Если же вопросы, интересовавшие того или иного участника «Операции», выходили за пределы программ Центра, они разрешались в индивидуальном порядке.

Таким образом, обеспечивались возможности самого полного и широкого ознакомления со всеми областями жизни страны. Предложенные программы были обширными, охватывали политическую, экономическую и культурную сферы, но, естественно, заранее предусмотреть абсолютно все запросы участников «Операции» не могли. В частности, не намечалось встречи с председателем Верховного суда. А мне, повторяю, хотелось поговорить с ним, выяснить некоторые обстоятельства, связанные с убийством генерала Рене Шнейдера. Хотелось также поговорить с кардиналом, узнать, как относится церковь к мероприятиям нового правительства.

Дело в том, что церковь владела земельными угодьями в десятки и десятки тысяч гектаров. А такие огромные угодья, согласно аграрной реформе, подлежали национализации. Кроме того, хотелось побывать на медном руднике «Теньенте»,

посещение которого, как и встреча с кардиналом, программой не предусматривалось.

Почему именно медный рудник? Медь — основа экономики Чили. «Теньенте» — это целый комплекс, удельный вес которого в общей добыче чилийской меди довольно высок.

В Центре «Операции правда» обещали выполнить мои просьбы. Однако опасения у меня вызывала возможность встречи с Рамиро Мендесом. Дело в том, что он был ярым сторонником реакции, откровенно поддерживал ее провокационные действия и, как я думал, мог не согласиться на беседу с советским представителем. Опасения оказались напрасными. Видимо, Мендес не мог демонстративно проявить свое враждебное отношение к объективной акции правительства, какой и являлась «Операция правда». На телефонный звонок из Центра ответил, что готов к беседе в любое время.

Серая громада здания суда, почерневшего от времени, производила странное впечатление. Будто исполинский склеп: красиво и гнетуще. Тяжелые высоченные колонны, тяжелые, кованные медью врата высотою в два этажа вместо обычных дверей, а высоко-высоко под самой крышей гигантскими буквами, не то высеченными из камня, не то выложенными камнем, слова: «Суд справедливости». Близ входа — изваяние Фемиды и отлитое в бронзе грозное «Lex» — закон. Это же слово метровыми буквами из травы выложено внизу. И еще в нескольких местах внутри здания — тот же «Lex». Довольно настойчиво убеждают вас в том, что все здесь подчинено закону.

Длинные галереи направо и налево от входа, образованные железной колоннадой, тускло освещены застекленным куполом, железные переплеты которого держатся тоже на десятках металлических колонн. Широкие, словно предназначенные для массовых шествий ступени ведут на второй и третий этажи. Черные колонны, черные переплеты, могучие стены высотой во все здание, тяжелые, глухие, незыблемые. Возможно, так и должен выглядеть суд. Что-то неприступное, неумолимое, вечное. А может быть, это впечатление создавалось или, по меньшей мере, усиливалось той правдой, которая уже была мне известна.

Дело в том, что все до единого преобразования в стране, все мероприятия — от аграрной реформы до национализации меднорудной промышленности — правительство Народного единства проводит только на конституционной основе, только в соответствии с существующими законами. И в бессилии реакция стремится оболгать эти действия правительства, представить их так, будто совершается нарушение законов. А в глухом здании суда человек, к которому я шел, и являлся одним

из представителей чилийской реакции. Может быть, сознание этого и вызывало определенные эмоции.

В его приемной, как в картинной галерее, стены увешаны огромными портретами, написанными маслом. И под каждым — фамилия и две даты — рождения и смерти. Это предшественники сеньора Рамиро Мендеса за последние столетия. И каждый из них провел в этом здании долгие годы.

Рамиро Мендесу без малого семьдесят. Поначалу он показался подтянутым и бодрым. Но очень скоро я увидел, что передо мной суетящийся, полный неожиданных эмоций старичок, то и дело повторяющий только что уже сказанное им. Он курил, вернее, посасывал погасшую сигару, ежеминутно откладывал ее и как только снова брал, спрашивал: «Не хотите ли сигару?» Не дав ответить, спохватывался: «Ах, да, не хотите» — и, теряя мысль, нетерпеливо щупал пальцами воздух, точно пытаясь извлечь ее оттуда.

Ему хорошо в своем огромном кабинете, еще более тяжелом, чем все в этом здании, и не только из-за мебели, которую не сдвинуть с места, но и от толстенных сводов законов, какими уставлены стены. Мендесу уютно здесь, ибо кабинет этот предоставлен ему на всю жизнь и практически нет силы, которая могла бы его сместить. Так думает Мендес.

— И знаете, хи-хи-хи,— тоненько, совсем по-детски смеется он,— в учреждениях люди стремятся поскорее на пенсию (конечно, если у них есть деньги), а у нас ну решительно никто. Вот члену Верховного суда Армандо Сильва семьдесят четыре. Но дело даже не в годах. На заседаниях он дремлет, а на пенсию не идет... Хи-хи-хи...— И он хлопает ладошками по коленкам.

— До какого же возраста служат члены Верховного суда?

— Странный вопрос,— удивился Мендес.— Вам, видимо, непонятна вся наша независимая демократическая система. В стране три самостоятельных, независимых друг от друга взаимоконтролируемых начала: парламент, президент и Верховный суд. На этих трех китах держится государство. Суд — это пирамида. Целая система судов, охватывающая все области жизни народа. На самой вершине — Верховный суд, состоящий из тринадцати человек и возглавляемый председателем, в данном случае — мною.

При этих словах Мендес улыбается радостно, искренне, непосредственно, как ребенок, получивший красивую заводную игрушку, которую может пускать куда ему вздумается.

Все судьи, объяснил Мендес, во-первых, не избираются, а назначаются, а во-вторых,— на всю жизнь, то есть согласно закону «до тех пор, пока хватает сил».

Когда иссякают силы, определяет только сам член Верховного суда, но что-то Мендес не мог припомнить случая, чтобы кто-нибудь из его коллег заявил об этом.

Новых членов Верховного суда формально назначает президент, фактически же сам суд, ибо президент не волен предложить свою кандидатуру. Он может лишь выбрать из числа рекомендуемых судом.

Эта «независимая демократическая» система была мне действительно непонятна. Я сказал: «Тринадцать членов Верховного суда остаются на своих постах десятилетиями. За такое время кто-либо из них может отстать от требований жизни, потерять объективность, наконец, не оправдать доверия, да мало ли что может случиться. Как же назначать на всю жизнь!»

Пока я говорил, Мендес все более радостно улыбался. И лицо его выражало: «Боже мой, какие наивные еще есть люди».

— Все предусмотрено! — победно сказал он.

Оказывается, парламент вправе отозвать судью, «не выполняющего своего долга». Но это теоретически. Практически же отзыв невозможен. Не только из-за сложнейших и длительных процедур, какими должна сопровождаться подобная акция, но главным образом потому, что члены Верховного суда подбираются из могущественной касты, верно служащей капиталу. Потому никогда и не возникал вопрос об отзыве судей с любой ступени пирамиды.

А формально демократия соблюдается. Существует даже квалификационная комиссия, ежегодно определяющая служебное соответствие судей.

— А кто назначает комиссию? Из кого она формируется?

— Кто же компетентен судить о члене Верховного суда? — снова удивился Мендес моему вопросу.— Только Верховный суд. Он и назначает из своей среды комиссию.

А я и в самом деле не мог понять, как это люди сами себя назначают и сами себя проверяют. Потому так убедительно звучали для меня слова Луиса Корвалана, который сказал: «Мы предлагаем также существенное изменение в системе судебных органов. В настоящее время действует реакционная система самоназначения судей — членов Верховного суда. Ее следует заменить выбором этих судей единой палатой Национального конгресса... Мы за государство, основанное на праве, на законах, на более демократических законах, чем те, которые действуют сейчас в нашей стране».

Мендес еще долго и с упоением говорил о «пирамиде», на вершине которой сидел, и я начал постепенно переходить к делу, по которому пришел.

В одной из провинций произошли волнения на землях латифундистов. Были они результатом и загибов сверхлевацких элементов, и искренних заблуждений одних, поддавшихся провокационным лозунгам, и правильных действий вторых, вызванных обстановкой. Но так или иначе, во время этих событий погибли люди от рук латифундистов. Виновники убийств были арестованы. Однако по указанию Верховного суда их немедленно освободили. Так вот, не может ли сеньор председатель разъяснить, какими мотивами он при этом руководствовался.

— Вот видите! — торжествующе сказал Мендес.— Вы живете эмоциями, а я — законом. Поинтересовались ли вы, где именно были убиты люди?.. Вот видите! — повторил он так, будто уличил меня в преступлении.— А ведь хозяева латифундий стреляли в крестьян на сво-ей соб-ствен-ной земле,— поднял он вверх ладонь.

— Значит, латифундист может стрелять в человека, если увидит его на своей земле, скажем, площадью в сто тысяч гектаров?

— А как же? — поразился Мендес.— Собственность неприкосновенна и охраняется законом.

Вот так сеньор Рамиро Мендес толкует закон. Что-либо доказывать ему было бесполезно, и я перешел к делу генерала Шнейдера. Почему Верховный суд запретил не только судить, но и допрашивать одного из сенаторов, который участвовал в заговоре и обеспечивал доставку оружия из-за границы?

— Конечно, убийство Рене Шнейдера — глупое, жестокое преступление. Но судить за это сенатора противозаконно, хотя к такому выводу Верховный суд пришел не единодушно.

И дальше шли длинные и путаные объяснения, в которых ясна была лишь их реакционная сущность: то, что одни считают заговором, другие — прогрессивным движением. И судить за это нельзя. Выходит, можно убивать, бросать бомбы, совершать поджоги, только бы своевременно прикрыться ширмой прогресса.

Как ни старался Мендес опираться на закон, он не мог скрыть, что верно стоит на защите интересов реакционных сил. Это бесспорно являлось стимулом для их дальнейших вылазок. Потому и свершались все новые провокации и покушения на государственных и общественных деятелей, что заговорщики были уверены в безнаказанности, в том, что высший судебный орган, как и его глава, на их стороне.

В ЧРЕВЕ МЕДНОЙ ГОРЫ

Трудности появились там, где я их не ждал. В Центре «Операции правда» объяснили, что по техническим причинам поездка на медный рудник «Теньенте» откладывается на день-два. Потом снова откладывалась. Сообщая об этом, сотрудник Центра чувствовал себя неловко. Казалось, и сам он не очень верит в «технические причины». Но именно такую причину выставляли ему в управлении внешних сношений «Теньенте», находящемся в Сантьяго.

Это управление обязано было незамедлительно выполнить просьбу Центра, наделенного, как уже говорилось, большими полномочиями. Тем более, что ссылка на технические причины выглядела несостоятельной. В самом деле, меднорудный комплекс «Теньенте» действовал на полную мощность, каждый день на работу выходили тысячи людей, почему же нельзя побывать там еще одному человеку, если производство не секретное? Мне особенно хотелось побывать в шахтерском поселке, расположенном у шахты, где проживало двенадцать тысяч человек. Но поездка и туда лимитировалась техническими причинами.

Чилийские друзья объяснили мне создавшуюся ситуацию.

В Кордильерах, внутри исполинской каменной горы на высоте около трех тысяч метров, находится самый большой в мире медный рудник под землей. А снаружи, на крутом склоне горы в скалах,— жилища шахтеров.

Это и есть знаменитые чилийские медные копи «Теньенте». Чилийские в том смысле, что они находятся в Чили и добывают медь чилийцы. А хозяева здесь другие. В Нью-Йорке я видел их главный штаб. А в Чили — только поставленных ими администраторов. Администраторы живут и отдыхают не в скалах, а в другом месте. В этом другом месте я тоже побывал и немножечко отдохнул, как они. Я расскажу об этом потом.

Хозяев в «Теньенте» было много, начиная с испанцев. Потом были англичане, немцы, французы, итальянцы, конкурировавшие друг с другом в борьбе за чилийскую медь. Чилийцев к этому делу они не допускали. Постепенно всех вытеснили американцы. Первым, кто пустил чилийскую медь в американское русло, был Вильям Брейден. Его большой портрет, писанный маслом, в золоченой раме я видел в Сантьяго в управлении внешних сношений «Теньенте».

Около семидесяти лет на руднике безраздельно господствовал иностранный капитал. При новом правительстве пришлось поделиться. Контрольный пакет оказался в руках чилийского государства — 51 процент акций. Так в «Теньенте» прекратила свое существование могущественная «Кеннекот купер

корпорейшн» и появилась «Соснедад минера эль Теньенте». Внешне все выглядело хорошо, красиво. В действительности это был маневр медных магнатов, чтобы в условиях нарастающей борьбы народов за независимость не упустить чилийскую медь. В их руках осталось около половины акций, новая компания осталась, как и была, частной, а не государственной, а главное — остался поставленный ими административный аппарат. Поэтому остался на стене и портрет человека в золоченой раме.

Правительство Народного единства во главе с президентом Сальвадором Альенде не желало мириться с полумерой. Прежние владельцы понимали, что скоро у них выкупят все сорок девять процентов акций. Но пока что не отдавали. Говорили, что это противоречит чилийской конституции. И верно, противоречило. Ничего не скажешь. Они ведь большие специалисты по чилийской конституции. Не без их участия она создавалась. И заботятся не о себе, а о справедливости и чилийцах, чтобы конституция свято выполнялась. Не зря же они были столь дальновидными, что при создании конституции предусмотрели возможность нынешней ситуации. Правда, не догадались — ведь в конституцию жизнь может внести поправки.

Именно те, какие уже были к тому времени внесены на утверждение парламента.

Для монополий США потеря чилийской меди — удар чувствительный. Один миллион долларов в день вывозили они из Чили в виде чистого дохода от эксплуатации медных рудников. Впрочем, не будем подсчитывать их потери и не будем убиваться. У них ведь остались богатейшие рудники и заводы в США, Канаде и других странах. А для Чили медь — это семьдесят процентов всей ее экономики. Это восемьдесят процентов ее экспорта. Из 21 страны мира, добывающей медь, Чили отстает лишь от США и СССР. Она производит меди больше, чем десяток других стран, вместе взятых.

На «Теньенте» американцы обычно не пускали посторонних. В крайних случаях показывали «Чукикамату», где добыча ведется открытым способом, а шахтерский поселок вообще доступен для посетителей. А вот путь в «Теньенте» был перекрыт уже за одиннадцать километров до поселка. И хотя к моменту, о котором идет речь, в руках монополий США оставалось лишь 49 процентов акций, они пытались безраздельно командовать копями. Видимо, они и не желали допустить на шахту советского представителя, используя для этого поставленный ими административный аппарат. Настойчивые требования Центра «Операции» привели к тому, что разрешение в конце концов было получено.

Вместе с переводчиком Перето и представителем управления внешних сношений «Теньенте» мы выехали из Сантьяго рано утром. Перето — коммунист, партийная принадлежность представителя фирмы мне не была известна. Знал лишь, что образование он получил в Калифорнийском университете и около двадцати лет прослужил на американских предприятиях по добыче меди. Это один из тех администраторов, которых сохранила медная корпорация после потери контрольного пакета акций, кому щедро платят.

До шахтерского центра — города Ранкагуа — девяносто километров. А до рудника оттуда еще километров пятьдесят. Дорога широкая, асфальтированная, едем быстро. Спустя минут двадцать увидели поперек нее сооружение из трех арок. У каждой выглядывает из окошечка служащий или стоит у порожка с квитанционной книжкой. Наша, как и другие машины, притормаживает, и на ходу шофер вручает служащему десять эскудо, одновременно получая приготовленные заранее квитанцию и три эскудо сдачи.

Оказывается, дорога платная. Подобных арок на ней немало. Перед ними, вытянувшись в длинную цепочку, на высоких столбах надписи с крупными цифрами: три, пять, семь, двенадцать. Это стоимость проезда в зависимости от вида транспорта. Справа и слева от дороги — бедные поселки и деревушки. То и дело следы уже полгода назад прошедших президентских выборов. Надписи на стенах, на камнях, на крышах... Альенде... Алессандри... Томич... Никто не стирает фамилий кандидатов, добивавшихся президентского поста. Приятно удивляет огромный серп и молот на скале. Чуть дальше крупно: «Альенде».

В самом начале пути на редкие вопросы представитель фирмы отвечал не сразу, медленно, демонстрируя свое величие. И я не стал больше задавать ему вопросы. Всю дорогу мы разговаривали с Перето, а наш спутник хранил гордое молчание. Я спросил Перето, не пытались ли враги Народного единства использовать против Альенде эмблему труда, которую я не раз встречал в Сантьяго и вот сейчас здесь, у шоссе.

— Еще как! — улыбнулся Перето.— В Сантьяго на огромном щите был изображен в красках стреляющий советский танк, а над ним надпись: «Чилиец! Если хочешь увидеть это на наших улицах, голосуй за Альенде». В реакционной печати была уйма рисунков, карикатур, наподобие следующей. В центре восседают русские офицеры и генералы, а Альенде приютился в уголке. Надпись гласила: «Вот что произойдет в Чили при правительстве Альенде».

Конечно, говорит Перето, враги народной власти пытались серп и молот обернуть против нее, и кое на кого их пропаганда

оказывала влияние. Но, думаю, символ Советского Союза рядом с фамилией Альенде дал ему немало голосов.

На сороковом километре второй раз заплатили за проезд по шоссе. И тут же начались хижины из травы. Вернее, из снопов.

— Как живут эти люди? — спрашиваю переводчика.

— Не живут. Существуют.

Движение на шоссе не густое, многие машины обращают на себя внимание. На маленькой легковушке нарисован огромный кувшин. Почему кувшин? Захотел и нарисовал. Огромные цистерны, не меньше железнодорожных, ярко раскрашенные, мчатся с большой скоростью. В них — вино. К слову, чилийское вино, как утверждают знатоки, не уступает лучшим винам, завоевавшим мировую популярность, и оно все увереннее пробивает себе дорогу на мировом рынке.

Величественно следуют гигантские тягачи с тридцатитонными прицепами, груженными чушками красной меди. Это уже с «Теньенте». Незаметно въезжаем в Ранкагуа, где расположено несколько управлений медных копей и городок шахтеров. Почти все домики одноэтажные, маленькие, красивые, выкрашенные в разные цвета.

От Ранкагуа сворачиваем с главной магистрали. Едем по отлично асфальтированной дороге, недавно построенной фирмой «Теньенте». Горы, то покрытые кустарником, то голые, вдоль и поперек пересечены колючей проволокой. Такие преграды переполосовали всю страну, и возведены они владельцами земли. Каждый ограждал свои тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч гектаров. Сейчас значительная часть земли национализирована. Но ограды остались, как границы сельскохозяйственных кооперативов, государственных и частных владений. Впрочем, «национализировано», можно сказать, условно, ибо государство не отбирает землю, а выкупает. Правда, выплачивается лишь десять процентов ее стоимости, а остальная сумма — с рассрочкой на двадцать лет.

Постепенно горы становятся выше, исчезла растительность. Неожиданно за поворотом мы увидели дым. Очень много дыма. Густой, тяжелый, он двигался, расползался, накрывая огромную территорию. Дым не уходил вверх, а оседал, и от него темнело на дороге. Было противоестественно. Горы, совершенно дикие, только голые горы со всех сторон, исполинские, обрывистые, и не может быть здесь ни жизни, ни дыма. Но это не мираж. Где-то далеко внизу из ущелья показались трубы. Только верхушки труб, из которых валил дым. Трубы медеплавильного завода.

Мы поднимаемся выше и едем по дороге, каких мне не при-

ходилось видеть. Обычно горная дорога идет «серпантином». С самолета она кажется извилистой ступенькой. По одну ее сторону — гора, по другую — пологий спуск или обрыв. А тут либо она разрезает гору и едешь в образовавшемся ущелье, либо обрывы с обеих сторон. Машина движется, как по дамбе. Но все равно вокруг только горы. На них уже никакой растительности. Ни деревца, ни кустика, ни травы, ни земли. Сплошной камень.

Исполинские массивы, что высятся со всех сторон, не назовешь и скалами. Скалы предполагают выступы, углы, плоскости. Ничего подобного здесь нет. Это и не гладкий камень, обветренный, обмытый, как валун. Будто плавился исполин, оплывал при сильном ветре, образовавшем морщины или рябь, и так все это и застыло. Что-то от сотворения мира. Безмолвное, безжизненное, вечное... Кордильеры...

Машина петляет в горах одинокая, маленькая, точно муравей среди небоскребов, и трудно оторвать от них глаз, и на глазах они меняют цвет. Это поражает до суеверия. Значит, не безжизненные, значит, что-то таинственное, фантастическое происходит в этих немыслимых горах.

Мчится машина, часто меняя направление, солнце оказывается то справа от нас, то слева, и не сразу понимаешь, что это его лучи так преображают горы.

Неожиданно совсем близко открываются промышленные здания и узкоколейка с длинным составом непривычно высоких хопров, перегораживающих нам путь. Это обогатительная фабрика меднорудного комплекса «Теньенте». Сверхсовременное предпрпятие. Где-то под землей в одиннадцати километрах отсюда по крутым трубопроводам несется с шахты руда, там же под землей попадает в бункеры, под которыми движутся составы, автоматически нагружаемые и идущие по подземной электрорельсовой дороге сюда на обогатительную фабрику. Руда дробится, мелется, смешивается с водой, автоматически переходит с одного агрегата на другой, движется по конвейерным лентам, по трубам, через гигантские бассейны, и всюду происходят какие-то процессы, химические или механические, пока не отделятся от нее восемнадцать примесей меди, тоже представляющих ценность. А медный концентрат потечет на медеплавильный завод.

Главный цех обогатительной фабрики — это здание из стекла, бетона и металлических конструкций, разделенное на разных уровнях железными решетками этажей на десять, где сосредоточены сотни и сотни машин и механизмов. Стоя у одной стены, разглядишь противоположную разве что в сильный бинокль. Вращаются гигантские барабаны шаровых мельниц,

жужжат маховики и зубчатки, щелкают рычаги и клапаны в агрегатах, где пенится, вот-вот выплеснется через край, но не выплескивается густая масса медного концентрата. И на всем необозримом пространстве цеха — ни одного рабочего. Впрочем, у какой-то машины возятся двое. Но она отключена от общей линии и ремонтируется. Где-то высоко-высоко, будто стеклянный скворечник — пульт электронного управления фабрикой.

Мы долго осматривали это совершенное производство, слушая объяснения инженера и редкие реплики представителя фирмы, с которым приехали. Потом, взглянув на часы и официально улыбнувшись, он сказал:

— А теперь пора обедать.

— На рудник поедем после обеда?

— На какой рудник? — удивился он.— После обеда, если останется, конечно, время, взглянем на медеплавильный завод, потом — домой.

Он был официален и тверд. Никаких других поручений у него нет, к кому нам обращаться, не знает. Он обязан показать лишь то, что назвал, затем доставить уважаемого гостя в Сантьяго, а точнее, в гостиницу «Карера». Стало ясно, что здесь недоразумения не разрешить. Но хоть завод посмотреть до обеда можно? Ведь не исключено, что потом «не останется времени».

Пожав плечами, он согласился. До завода, расположенного на высоте более двух тысяч метров, ехали минут десять. Может быть, потому, что с фабрики, построенной на основе последних достижений техники, сразу попали на старый завод, он произвел удручающее впечатление. Стиснутый скалами бескрайний навес с изломанным профилем — это и есть завод.

Конверторные печи в черных наростах, окутаны дымом, гарью, копотью. Черные бесформенные глыбы шлака то и дело преграждают путь. Вся площадь вокруг печей, должно быть, при строительстве не была выровнена, поэтому повсюду много каких-то мостков, переходов из кирпича и железобетона, обваливающихся, осыпающихся под ногами. Из печей под куполом бьется обуглившееся несгоревшее топливо. Глубокий слой пыли и гари, в котором утопают ноги, перемешан с кусками шлака. Повсюду валяются вышедшие из строя или отслужившие срок части машин, куски металла, какой-то хлам. Пыль поднимается, а копоть и несгоревшее топливо оседают, и воздух заполнен этой смесью. Хотя стен нет, дышать нечем. По сторонам от навеса — накаленные скалы, а под ним шевелящийся черно-сизый туман. Он движется медленно, пластами, совершая какой-то круговорот то вверх, то вниз, то в стороны, но никуда не уплы-

вает из-под навеса. Люди ходят с твердыми, похоже непроницаемыми повязками, закрывающими нос и рот. Уже через несколько минут машинально ощупываешь затылок, лезешь за воротник и тщетно пытаешься стряхнуть кристаллики гари с влажного тела. Пыль и гарь заползают в нос, хрустят на зубах.

По одну сторону от навеса — подсобные здания и жилые дома с окошечками под самой крышей. Они тоже, точно черной коростой, покрыты толстым бесформенным слоем из грязи и копоти. И кажется, не пятьдесят лет этому заводу, как сказал представитель фирмы, а тысячелетия. И наросты эти образовывались тысячелетиями.

При нас начали чистить одну из печей, и стало ясно, откуда здесь столько шлака и заводских отходов. Гигантский крюк, спущенный с крана в печь, ворочал там раскаленные глыбы, вытаскивал наверх, и они рушились, дымя и быстро остывая. От едкого запаха першило в горле. Потом те, что не разбивались на кусочки, оттащат в сторону и, видимо, на том дело и кончится.

На соседней печи медь поспела. Тонкой струйкой она течет в изложницы карусельного конвейера. Изложниц, расположенных по кругу,— штук пятьдесят. Струйка течет в них безостановочно, заполняя одну за другой расплавленным металлом. Его охлаждают водой. Сначала только капли воды попадают на металл, потом душ сильнее, гуще, и вот уже струя воды окатывает отвердевшую чушку. Вздымаются клубы пара, и окутанный паром рабочий с двумя крюками выковыривает чушку, вернее, отрывает от места. Чуть дальше изложница опрокидывается в узкую ванну с проточной водой, по дну которой движется конвейер, вытаскивающий наверх охлажденную чушку. Ее подхватывают крюками двое рабочих, бросают на тележку, и третий рабочий бежит с ней, грузит на платформу, к которой через несколько минут подойдет тягач.

Ни одной лишней минуты не лежит здесь готовая медь. Высшего качества красная медь, приносившая американским капиталистам один миллион долларов прибыли в день.

Работать на этом заводе тяжело. Только очень здоровым и сильным по плечу. Только таких и брали сюда. Благо безработица давала все возможности большого выбора. Но и сильные держались не долго. Здоровье терялось, таяло, и уже не мог стоять человек у печей, стоять часами, окутанный паром. Тогда его увольняли, он вливался в армию безработных. Найти применение теперь уже слабым своим силам становилось почти невозможно. Как и руда, перемалывались здесь люди и растекались по чилийской земле.

В Центре «Операции правда», когда я туда приехал, уже знали о том, что на рудник меня не пустили. Это вызвало недовольство Центра. Мне сказали, что тем не менее поездка состоится обязательно. Помимо воли я становился чуть ли не участником конфликта. Мне не хотелось этого. Сказал, на поездке не настаиваю, еще осталось многое, что надо увидеть. Из дальнейшего разговора понял: теперь дело уже не только во мне, но главным образом в престиже Центра, в том, что зарубежные администраторы не имели права менять мою программу. Их объяснения, будто они не поняли просьбы, не удовлетворили Центр.

На следующее утро за мной заехали Перето и представитель администрации. Когда машина тронулась, на всякий случай спросил:

— Значит, мы едем на рудник «Теньенте», где я буду иметь возможность спуститься в шахту, а потом посмотреть поселок?

— Нет,— улыбнулся представитель.— Мы покажем вам нечто куда более интересное.

Мне не хотелось смотреть куда более интересное. Я хотел на рудник, о чем и сказал ему.

— Извините,— развел он руками.— Такого поручения у меня нет. Да и попасть туда мы уже не успеем. Не успеем на поезд узкоколейки, а другого пути на шахту нет.

Я знал: реакция и те, кого ей удается ввести в заблуждение, пытаются игнорировать мероприятия правительства, дискредитировать его органы. Думал, это относится к серьезным политическим и экономическим акциям. В голову не могло прийти, что даже на такой малости, как вот эта поездка, кто-то может саботировать указание Центра. Но хорошо помнил последний разговор, происшедший там. Поэтому ехать дальше отказался.

В то утро мне довелось побывать и в Центре, и в управлении внешних сношений «Теньенте». Там я и увидел огромный портрет мистера Вильяма Брейдена в золоченой раме. Он висел в приемной, где уверенно, с чувством собственного достоинства действовала секретарь управления сеньора Сильвия Сарович.

Учтивая, предупредительная, прежде всего попросила не искать в этом недоразумении политической подоплеки, так как поездка на рудник, по ее словам, проблема чисто техническая. Предложила кофе, подарила набор образцов меди «Теньенте» и отлично изданный проспект всего меднорудного комплекса. Не торопясь, тем не менее быстро, куда-то звонила, отвечала на телефонные звонки, принимала и отправляла почту, давала распоряжения. Время от времени обращалась ко мне, объясняя, что делается все возможное, только бы состоялась моя поездка.

Затем явился руководитель отдела информации управления внешних сношений «Теньенте» сеньор Уго Шиллинг. Он тоже был вежлив и тоже говорил, что посещение рудника проблема не политическая, а техническая. Спросил, ясно ли мне это. Я сказал: «Ясно».

Вместе с Перето мы ожидали, чем все это кончится, и он тихонько переводил мне красочный проспект. В нем дана экономическая характеристика медных копей «Теньенте» и подробнейшим образом рассказано, какое великое благо для народа Чили совершили в прошлом и совершают сейчас североамериканцы, разрабатывая чилийскую медь, как много труда и долларов вкладывали и вкладывают в это дело руководители медной корпорации на чилийской земле.

И подумалось: как же цепко они держатся за эту землю, сколько еще усилий народа потребуется, чтобы обрубить их корни, проникшие во все ее поры.

Поездка состоялась. В Ранкагуа к нам присоединился инженер из управления рудником. Мы ехали уже по знакомой дороге, пока где-то в районе обогатительной фабрики не уперлись в закрытый шлагбаум. Дальше ни шоссейной, ни грунтовой дороги нет. На узеньких рельсах стоял поезд из нескольких вагончиков, раскрашенных в разные цвета. Не будь они такими старыми и невзрачными, с облупившейся краской, ничем бы его не отличить от поездов детской железной дороги. И еще одно отличие, бросавшееся в глаза. В голове поезда стояло два тепловоза, хотя, как я подсчитал, вагончиков было всего шесть. Какие же препятствия надо преодолевать, если такой крошечный состав пускают на двойной тяге!

Вагон, куда мы вошли, был полон. Женщины, мужчины, дети. До поселка Севель, где находится рудник,— одиннадцать километров. Весь путь в диких скалах. И все время подъем. С каждым километром в среднем поднимались на сто метров. Конечно, на такую крутизну один тепловоз не вытянет состава. По склону горы вьется вырубленная в скалах ступенька, на которой едва умещаются узенькие рельсы. С одной стороны — отвесная стена, с другой — пропасть. Поэтому в дождь и снегопад узкоколейка не работает. Опасно. А непогода здесь восемь-девять месяцев в году. Значит, на это время шахтерский поселок в скалах отрезан от всего мира. Да и в хорошую погоду спускаются с гор немногие. Во-первых, эти вагончики ходят один-два раза в сутки, а во-вторых, погода в горах капризна, может измениться неожиданно. Как потом попадешь на шахту?

Одиннадцать километров мы поднимались в сплошных скалах. Временами скорость не превышала двух-трех километров в час. Это в тех местах, где особенно круты повороты и не

исключена опасность свалиться. Даже если у окна сидишь, земли не увидишь. Едешь, будто по канатной дороге.

Для руды построен более надежный путь — подземный или, вернее, подскальный трубопровод. Ему не страшна непогода. Круглыми сутками безостановочно течет руда на старую обогатительную фабрику и на новую, о которой речь шла выше. Ну, а люди пока пользуются узкоколейкой.

Чем выше поднимаемся, тем страшнее и красивее. Ползет крошечный составчик в исполинских скалах, карабкается, вот-вот соскользнет и рухнет. Снеговые вершины залиты солнцем. Но кажется, будто они подсвечены изнутри. Будто хрустальные они. Хрусталь переливается, грани сверкают. Брызгами искрятся водопады. Ни одна капля воды не пропадает. Сложная система водосбора соединяет дождевые капли в ручейки, потоки, направляет в железобетонные хранилища. Горы обильно снабжают водой и шахту, и поселок.

Миновали вырубленный в цельном массиве камня тоннель и неожиданно вдруг увидели снег. Им было покрыто полотно железной дороги и маленькая станция, где мы остановились, с вокзалом, похожим на вагончик наших строителей, и буквально игрушечный снегоочиститель, стоявший тут же, и вся земля. Все это было неправдоподобно, похоже на декорацию, и только мальчики, игравшие в снежки, делали картину реальной.

Поезд стоял минуту. Мы продолжали карабкаться наверх, куда-то на небо, медленно, тяжело, в полном одиночестве, среди исполинских нагромождений, и почему-то думалось о космосе.

Одиннадцать километров до станции Севель, где расположены шахта и поселок, мы преодолели за час. Высота — около трех тысяч метров. Все в снегу. Снег падает, и хотя тает, его много. И только на очень крутых склонах он не удерживается, и они выделяются огромными черными пятнами.

Прямо от платформы начиналась крутая, как трап, лестница. И весь поселок в таких лестницах. Здесь нет улиц, переулков, площадей. Вместо улиц и переулков — лестницы. Вместо площадей — лестничные площадки. Здесь просто дома в скалах. Каждый дом имеет только номер. Почтовый адрес так и пишется: Севель, дом номер такой-то. А в Севеле этом живут двенадцать тысяч человек.

В отличие от всех населенных пунктов, дома здесь стоят не рядами, а в зависимости от местности: то один над другим, то под разными углами, то перпендикулярно друг к другу. Есть одиночные дома, удаленные от других, есть группы домов, и все они разбросаны в самом хаотическом беспорядке. Между домами сообщение только по лестницам, по очень добротным железобетонным лестницам, которые кроме обычной для них

функции несут дополнительную: укрепляют скалистый грунт, чтобы не осыпался.

Дома высокие, один даже тринадцатиэтажный. Но только с фасада он тринадцатиэтажный. Как и все остальные, он прилепился к склону горы, поэтому с тыльной стороны только два этажа — двенадцатый и тринадцатый. Но хода отсюда нет, мешает гора. Вход по железному трапу — сбоку на узкую террасу, идущую вдоль всего дома со стороны фасада. С этой террасы ведет трап на следующую, и так до тринадцатого этажа. А с террас — вход в квартиры, как в каюты с палубы. Лифтов нет.

Лестницы, трапы, железные, железобетонные, деревянные, идущие в дома, куда-то вверх вдоль домов, проходящие где-то над крышами, огражденные решетками, сетками, перилами, беспорядочно переплетаются, и уже не поймешь, куда они ведут. Но чем выше поднимаешься по этим лестницам и трапам, тем яснее становится, что все они, в конечном счете, сходятся у главной проходной в рудник.

Мы поднялись ступенек на сто пятьдесят, а до входа было еще далеко. Остановились передохнуть на большой площадке, где изогнутый дугой по форме горы стоял длиннющий барак — какие-то механические мастерские.

Без тренировки и практики до рудника добраться трудно. Представители фирмы куда-то ходили, кому-то звонили и вернулись довольными: надо подняться еще немного, и за нами пришлют тележку грузового фуникулера.

Тележка двигалась по шести рельсам, расстояние между крайними — метров пятнадцать. Ее тянули шесть толстых стальных тросов. Рельсы были и на самой тележке, куда при необходимости загоняли один-два вагона. Тележка несколько раз останавливалась возле производственных помещений для разгрузки или погрузки каких-то тюков и деталей механизмов.

И вот, наконец, мы в главном тоннеле. Здесь какие-то конторки, склады, ламповые, подсобные помещения. Надеваем резиновые плащи, тяжелые резиновые сапоги с застежками, каски. Вежливо улыбаясь, прощаются с нами представители фирмы. Дальше нас будет сопровождать инженер шахты. Он же потом проведет до дрезины к узкоколейке.

Маленький электровоз под непрерывный грохот колокола и вой сирены несется по тоннелю, сворачивая то вправо, то влево, и люди, которых мы обгоняем, жмутся к стенам. От главного тоннеля масса ответвлений. Они низкие, узенькие, как норы. Проехав километра три, останавливаемся на ярко освещенной площадке. Здесь тоже какие-то подсобные помещения. Идем в ламповую, привьючиваем к поясу аккумуляторы, на

каски насаживаем лампочки. Снова долго едем, пока не упираемся в тупик. Оказывается, мы точно под вершиной горы. И в шахту надо не спускаться, а подниматься. Огромная скоростная клеть несется вверх, и штреки мелькают, как этажи в высотном доме, когда поднимаешься в лифте. И вот, наконец, последний. Вернее, первый. Номера штреков идут сверху вниз.

Сколько же осталось до вершины этого каменного исполина? Кто знает! Известно лишь, что медную гору начали разрабатывать еще инки и запасов руды осталось на двести лет

В бесчисленных штреках, которые мы исходили, было темно и тихо. Но в чреве каменного гиганта находились две тысячи человек. Рассеявшись по одному и привязавшись канатом над горловинами пропасти, они вгрызались изнутри в его тело.

У каждого — лом, кувалда да этот канат на поясе. Где-то внутри горы руду взрывают динамитом, крошат отбойными молотками, а местами она залегает так, что забойщик лишь отодвигает заслонки и она рушится в бездонную горловину, как горный поток. Далеко-далеко внизу попадает в многокилометровый трубопровод, в саморазгружающиеся хопры, на ленты транспортеров.

Стоя на доске на краю пропасти, шахтер управляет потоком. Жизни это не угрожает. Если он оступится или затянет его поток, канат удержит. Если ударит его камнем, он отцепит канат и побредет в медпункт. Хороший, с большой пропускной способностью медпункт. Это совсем рядом, в штреке. Правда, чтобы попасть в штрек, надо еще выбраться из узенького коридорчика, темного и душного, где трудно дышать от жары и рудной пыли, похожей на цемент, надо еще пройти в этом коридорчике, похожем на нору, по мосткам, вернее, доскам, наполовину покрывающим горловину пропасти, у которых с ломом и кувалдой стоят привязанные за столбы креплений шахтеры. Но это и хорошо, что здесь люди, потому что в случае беды любой бросит работу и поможет выбраться.

В каждом штреке таких коридорчиков или ходов великое множество, и штреков много на разных уровнях, но все ходы закрыты дверями, и звук падающей руды доносится не отчетливо, а как далекий, заглушенный горами гул.

Один из первых ударов реакция направила на самый жизненный центр Чили — медную промышленность, и прежде всего на копи «Теньенте», играющие в экономике страны весьма важную роль.

Едва ли не главным исполнителем экономической диверсии явилась реакционнейшая газета «Меркурио». На ее страницах была поднята кампания, призывающая специалистов к саботажу. Указывались фирмы США и других стран, где их примут

на работу. Будто по воинской команде, как по сигналу из одного пункта управления, медные копи покинули около двухсот специалистов. Одни уехали за границу, другие стали искать работу в частных фирмах, третьи просто ушли, выжидая, что произойдет дальше.

Саботаж. Это не саботаж одиночек. Это продуманный, тщательно подготовленный и осуществленный массированный удар. Он был ощутимым, но не смертельным. Добыча меди по стране не только не уменьшилась, но увеличилась.

— А копи «Теньенте» немного полихорадило,— сказал наш спутник,— но они оправились и уверенно набирают темпы. Опытных людей у нас много, почти все опустевшие после саботажников места уже заполнены.

Забегая вперед, добавлю к словам инженера, что после национализации копи «Теньенте» стали давать больше меди, чем когда бы то ни было.

На обратном пути он пригласил нас к себе. У него квартира из трех комнат, хорошо обставленная, но какая-то не настоящая. Будто смотровая площадка. К какому окну ни подойдешь — внизу пропасть, перетянутая лестницами и прижатыми к скалам домами, похожими на стены, на каменные укрепления гор. Впрочем, одна стена без окон, она тоже прилегает к горе.

Жена инженера Лучия угостила нас вкусными лепешками, уставила стол множеством закусок, свежими овощами и фруктами, раскрыла дверцы бара, забитого самыми различными винами и коньяками.

Гостей здесь не ждали, значит, не специально все это готовили. Удивляться, собственно говоря, нечему, инженер получает двадцать одну тысячу эскудо, что составляет примерно 1500 долларов. Значительно больше министра, в восемь-девять раз больше шахтера высшей квалификации.

Эта ставка была установлена прежними владельцами. Расчет простой — администраторам надо платить так, чтобы эти опытнейшие инженеры, обладающие большими организаторскими способностями, не только с радостью соглашались жить, как отверженные, в скалах, но и выжимали бы из рабочих максимум возможного, были бы бездумно преданы хозяевам фирмы. Иначе на такой должности держать не будут.

После прихода к власти правительства Народного единства эти ставки были снижены на шесть тысяч эскудо, а зарплата рабочим повышена на тридцать пять процентов.

...Спустя полчаса мы отправились в дома шахтеров. Поднялись на третий этаж пятиэтажного дома. С тыльной стороны он — двухэтажный. В отличие от многих домов, лестницы здесь

внутренние. Длинный коридор, много дверей. Серые, облезлые, с плесенью стены, мусор, грязь.

Сопровождающий нас инженер постучал в первую попавшуюся дверь. Вышел высокий, широкоплечий шахтер. Зовут его Диего.

— Да, да, заходите,— охотно пригласил он в комнату, узнав, кто мы и зачем приехали.

В комнате живут шесть человек. Железные двухъярусные нары. Сбитый из досок стол, две табуретки, один стул. Пол и стены, как в коридоре и умывальнике. Неубранные постели. Простыни только на двух, на остальных — грязные одеяла поверх матрасов. Из них сыплется не то истертая солома, не то опилки. Простыни темно-серые, как и грязные одеяла. На столе остатки еды, пустые консервные банки, рубаха. Грязная одежда, носки лежат на постелях и под ними. На полу двумя горками спецодежда.

В комнате был только Диего. Трое его соседей ушли в клуб, двое на работу.

Диего жаловался: жить трудно, хотя заработки приличные. Семья в одном месте, он в другом, и родителям надо помогать.

Отвечая на вопрос, как шахтеры используют свободное время, Диего сказал:

— Да не так уж много свободного времени. Восемь часов это только в шахте, да еще перерыв на обед двадцать минут. Ну, а дойти до шахты? Сколько, вы думаете, это занимает?

Диего рассказал подробно об их жизни. От дома до шахты не больше пятисот метров. Но взбираться туда надо долго и подолгу отдыхать на площадках. Иначе не хватит сил работать. Да и по тоннелям рудника надо пройти не один километр, пока доберешься до рабочего места. Возвращаются с работы усталыми и зачастую не раздеваясь валятся в постель. Иногда спускаются на первый этаж, где какая-то женщина содержит столовую. Готовых обедов или ужинов там нет. Если принесешь свои продукты, она поможет сготовить. Кое-какие запасы и у нее есть, может и из них что-нибудь состряпать. Но на все это надо много времени. Поэтому чаще едят всухомятку то, что принесут из магазина. На эти покупки тоже требуется время. Да и помыться надо, белье постирать — одним словом, дел хватает. Если работаешь в первую смену, вечером можно сходить в клуб.

Я попросил инженера проводить нас в дом, где живут семейные рабочие.

— Туда не стоит ходить,— сказал он смущенно.— Там очень плохо живут.

— А здесь?

— Ну, все-таки лучше. Пойдемте, я покажу вам клуб.

В Севеле несколько клубов, один принадлежит шахте, остальные частные. Мы пошли в первый. Огромная комната была уставлена круглыми столами. За каждым играли в карты, и тесным кольцом позади играющих стояли болельщики. От густого дыма трудно было дышать. Впрочем, дышать трудно и вне помещения. И не только потому, что на такой высоте разрежен воздух. Круглые сутки на поселок оседает дым. Он идет из труб нескольких подсобных предприятий и старой обогатительной фабрики, расположенных в Севеле, видимо, дотягивается и с медеплавильного завода. Кроме комнаты, где играли в карты, нам показали еще зал. Крошечный пустой зал с помостом вместо сцены и лавками с облупившейся краской.

В частном клубе стояло несколько маленьких бильярдных столов, а по соседству что-то вроде кафе, где можно выпить. Здесь чисто, светло. Но почти все столики были свободными. Так же примерно выглядел и второй частный клуб. Есть еще в поселке кинотеатр, где показывают американские боевики и порнографические фильмы.

Обедать мы поехали в местечко Коя. На автомотрисе спустились к шоссейной дороге, а потом на машине проехали километров десять. Здесь знойное лето. А дальше такое, чему поверить нельзя. Будто в дикие, неприступные скалы спустили на парашютах сказочный оазис. В центре большое красивое здание, вокруг которого на огромной территории разбит парк. Аккуратно подстриженная трава, деревья, точно в дендрарии, самых различных пород. Ивы, образующие совершенно закрытые беседки. Их ветки, спускающиеся с вершин, сливаются со следующими, и так до самой земли. Раздвинешь их, и попадешь в шатер — просторный, прохладный. Сюда не только солнце, но и дождь не пробьется.

Несметное количество цветов. Розы — не обхватишь в две ладони. Большой красивый бассейн с отделением для детей. Лесенки, увитые цветами, мостики, гроты. И будто не талантливые люди создали этот огромный парк, а сама природа. И маленькие уютные полянки, и мостики, и смотровые площадки, будто все это сотворила природа.

Теннисные корты, площадки для бейсбола, крокетные, волейбольные, велотрек и еще множество спортивных площадок и сооружений рассеяно по всему парку. А над ним, в центре его возвышается здание клуба. Здесь огромный холл, ресторан, комнаты отдыха, а под ними — спортивные залы, помещения для игр — от детских до рулетки.

Метрдотель встретил нас в холле. Кроме диванов, кресел, столиков и люстр, здесь ничего нет. Но расставлял мебель, под-

бирал цвета обивки мебели и краски на стенах, бесспорно, художник. Несмотря на огромные размеры холла, в нем по-домашнему уютно и тепло.

Ресторан был почти пуст. Две стены из стекла. Перед глазами дикие, безмолвные, величественные горы, и этот противоестественный здесь оазис. Отсюда он кажется вообще ненастоящим. Так на лубочных картинках изображают рай.

Это клуб для хозяев и высшей администрации шахты «Теньенте» и медеплавильного завода.

Едва приступили к обеду, как за соседний стол сели трое американцев. Муж, жена и парень лет двадцати, должно быть, их сын. Глава семейства толстый, обрюзгший, с лицом, трясущимся, как незастывший студень. Пальцы — даже не сосиски — сардельки. Он чем-то недоволен, что-то бормочет, брюзжит. Два официанта несколько раз бегали в буфет, показывая ему все новые бутылки вина, пока, наконец, он не остановился на одной из них.

Только после этого успокоился, снял пиджак, бросил его на свободный стул. Сзади из брюк вылезла рубашка. Не немножко, а вся. Он видел это, но не заправив ее, грузно сел.

Мы подняли тост за Народное единство. Представитель фирмы, улыбаясь, сказал:

— Всю дорогу вы задавали нам вопросы. Позвольте и мне спросить вас о жизни вашей страны.

Мы говорили тихо, я рассказывал о Советском Союзе, а Перето переводил. Американец, сидевший к нам боком, несколько раз оборачивался, и вдруг у него вырвалось:

— Да это — русский! Откуда здесь русский, что здесь делает русский?!

Я отвечал на какой-то вопрос представителя фирмы. Неожиданно Перето смущенно попросил:

— Позвольте мне в переводе немного подробнее осветить тему.

Откровенно говоря, его слова меня удивили. Перето человек очень скромный, стеснительный, говорит тихо. За три недели нашей работы, стараясь быть совершенно незаметным, ни разу даже своего отношения к разговорам не проявил. Решительно ни во что не вмешивался, хотя человек он образованный, быстро схватывающий суть всякого дела.

— Мой ответ не ясен?

— Нет, нет, что вы,— быстро заговорил Перето,— но все же, прошу вас...

Я согласился.

Теперь, в отличие от обычного, Перето стал говорить громко, решительно, все более распаляясь. Это был не перевод, он

словно произносил речь, в которой я понимал лишь одно часто повторявшееся слово «совьетико». Но смысл его выступления был ясен. Он говорил для американца. Он чувствовал себя хозяином своей страны, своей земли, и той, что была здесь, и которую навезли, чтобы посадить этот сказочный парк, и самого парка, и ресторана, хотел, чтобы американец это понял. И тот понял. Не фигурально, а буквально завертелся на месте. Ругаясь и бесцеремонно отплевываясь, швырнул на стол деньги, вскочил и пошел к выходу. За ним последовали его спутники.

По пути в Сантьяго Перето сказал:

— Вынесено решение разрушить поселок Севель как непригодный для жизни человека и построить городок шахтеров в Ранкагуа, где они будут жить с семьями, а ездить на работу в специальных автобусах.

Я заметил, что подобное решение было вынесено давно, когда президентом был еще Фрей.

— Это верно,— ответил Перето,— но и земельную реформу объявил Фрей. Но за шесть лет его президентства было экспроприировано меньше земли, чем за шесть месяцев при Альенде. Конечно, трудных проблем много, решить их сразу невозможно, но народ видит, что слова нашего правительства не расходятся с делом.

Перето оказался прав. На законном основании во всех инстанциях были приняты поправки к конституции, предложенные Сальвадором Альенде, и это дало возможность национализировать всю меднорудную промышленность. Вся крупная промышленность, полностью или частично находившаяся в руках капитала США, перешла чилийскому государству.

И поселок шахтеров в Ранкагуа начал строиться быстрыми темпами. Самые большие дома в Севеле, где условия жизни были особенно невыносимы, уже опустели. Их жители получили дома в Ранкагуа.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

На окраине Сантьяго я видел больше тысячи сараев. В них живут люди. Есть сараи добротные, сделанные из досок, без щелей, крытые не кусочками битого шифера, а целыми листами, и никакой дождь им не страшен. А иные сооружены из разнообразных картонных ящиков, крепкой упаковочной бумаги, обрезков фанеры и жести, поржавевшей в тех местах, где облупилась краска.

Педро Кабесас живет в хорошем сарае. Таких во всем по-

селке не найдешь и сотни. Стены — из узких досточек в паз, даже пол не земляной, а деревянный, даже электрическое освещение есть.

Поселок из сараев называется Бандера, и он входит в крупнейший район столицы — Гранха, насчитывающий двести двадцать тысяч жителей. При желании Педро Кабесас мог бы иметь еще лучшее жилье. Он мог бы жить в каменном доме, где есть отопление, канализация и другие удобства, ибо он — алькальд, то есть глава всего муниципалитета Гранха, фактически целого города, и не маленького. Но сарай в жизни Кабесаса занимает особое место, это этап в его жизни, это страница истории борьбы коммунистов Сантьяго и других чилийских городов.

* * *

Это было давно. Задолго до победы Народного единства...

...Во главе организации стоял плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. Он и его соратники решили, что операция пройдет успешно, если удастся осуществить ее внезапно, одним ударом. Начать часа в два ночи и закончить на рассвете. Если так и получится, полиция уже ничего не сможет сделать. Если же о ней пронюхают раньше времени, провал неизбежен. Ведь точно такая операция, какую задумали они, провалилась в Пуэрто-Монте только потому, что люди не сумели сохранить тайну. В результате — девять убитых, а остальные ушли ни с чем.

На окраине столицы Педро и его товарищи присмотрели пустырь. И хотя он никем не охранялся, дело было не из легких. «Пустырь» — так только говорится, потому что никто никогда его не использовал, и сквозь его каменистую почву пробился чертополох, и нанесло сюда всякого мусора и отбросов, но пустырь — это земля. Пусть каменистая, пусть ни к чему не пригодная, но земля. Значит, есть и ее полноправный владелец, которому она принадлежит вместе со всем, что на ней есть,— и этим чертополохом, и камнями, что валяются сверху или торчат из нее, и теми, что скрыты под внешним покровом, и всем, что в ней есть на любой глубине.

Пустырь принадлежал династии Костабалов. И это вполне устраивало Педро. Будь здесь человек не очень богатый, имеющий всего гектаров сто, они не стали бы трогать его землю. А у Костабалов тысячи и тысячи гектаров. Не обеднеют.

Осваивать решили, конечно, не весь пустырь. Действуя осмотрительно, чтобы не вызвать подозрений, наметили участок, на котором можно будет разместить триста семей — при-

мерно полторы тысячи человек. Количество участников операции не должно быть маленьким, чтобы полиция не могла с ними легко расправиться. Но и не настолько большим, чтобы потерять управление огромной массой совершенно неорганизованных людей. А полторы тысячи — цифра вполне подходящая. Рассчитали, чтобы на семью достался участок метров десять на двенадцать.

Конечно, на первый взгляд многовато. Ведь каждый должен соорудить только шалаш или палатку. Для этого нужен просто клочок земли. Но ведь и о перспективе надо думать, если уж идти на такое рискованное дело. Если все пройдет хорошо, постепенно раздобудут доски и построят большие сараи, перегородят их картоном или мешковиной, чтобы, как у людей, отдельно была кухня, отдельно широкий топчан для детей, а если их много, то и два топчана, и отдельно для главы семьи и стариков, если они есть.

На это надо тридцать пять — сорок квадратных метров земли. Но Педро взял широкий размах. Ему хотелось, чтобы осталось еще вдвое больше места для двора, где люди смогут развести кур или другую живность, где свободно играли бы дети, которых немало давили или калечили машины, пока они жили под мостами и на улицах.

Педро Кабесас и его товарищи (их было человек двадцать) — все коммунисты — условились, что в целях конспирации ни один из тех, кто будет строиться, не должен об этом знать до самого последнего момента. Так вернее. Но подобное решение накладывало на них большую ответственность. Надо никого не обидеть. Из четырехсот тысяч бездомных Сантьяго надо отобрать только полторы тысячи. При отборе решили исходить из количества детей у бездомного и степени бездомности. Если, скажем, небольшая семья прилично устроилась где-либо под скалой, да еще сумела кусками жести прикрыться от дождя и солнца, ее учитывали в последнюю очередь.

Составить список поручили самым справедливым. Механику по линотипам Эрасмо Майорике предстояло подобрать пятьдесят семей, плотнику Нельсону Хофре — тоже пятьдесят и еще четверым коммунистам — по пятьдесят. Им разрешили включать в список семей по десять резервных, чтобы потом уже сообща точно все решить.

Руководители полусоток, как их называли, обязаны были постоянно консультироваться друг с другом, чтобы их группы были одинаковыми. В каждой примерно одинаковое количество детей, одинаковое количество безработных, стариков и равное количество коммунистов, чтобы в трудную минуту на них можно было опереться.

Немало времени требовала разметка пустыря. Ведь в момент, когда полторы тысячи людей ринутся туда, определять, кому где строиться, будет поздно. Если заранее пойти с рулеткой, — значит, наверняка провалить дело. Заметят. Поэтому на пустыре появлялись парочки влюбленных, которые бродили по нему, то и дело целуясь или садясь отдохнуть, и никому не могло прийти в голову, что они считают шаги, что, садясь, будто для забавы, собирают в кучку камни или закрепляют на булыжнике цветную тряпочку, словно занесло ее сюда ветром, зацепилась она за колючку и просто лежит. Или вдруг пьяный забредет на пустырь и, покачиваясь, вышагивает медленно, старательно, как и положено пьяному, но все равно, на ногах держаться трудно, он падает и, поворочавшись немного, с трудом поднимается, снова идет и снова падает.

Так ставились первые вешки, делалась первая разбивка пустыря, еще не точная, но хоть примерно определявшая границы полусоток, а по возможности и отдельных участков.

А руководители полусоток и их помощники бродили по городу, беседовали с бездомными, будто от нечего делать, но точно выведывали необходимые им данные, а отойдя, заносили их в блокноты. Опасаться, что бездомного в нужный момент не окажется на месте, не приходилось, потому что таких, кто спят там, где их застала ночь, было очень мало, как правило, холостяки. Остальные имели точный адрес. Каждая семья все-таки как-то устраивалась на постоянное жилье. Одни под мостами или у глухих складских стен, другие у вокзала, у подножия гор, а немало их снимали угол в ветхих домиках или навес во дворе, принадлежавших таким же беднякам, как и сами бездомные.

Долго пришлось повозиться и с национальными флагами. Их требовалось триста штук, чтобы каждая семья могла вонзить древко в землю на своем участке во время операции, а потом водрузить на шалаше, ибо сорвать национальный флаг не всякий карабинер решится. А сделать чилийский флаг не просто.

К концу подготовки, на которую ушло около трех месяцев, круг посвященных в это дело расширился. Сначала руководители полусоток сообщили о предстоящей операции коммунистам своей группы, а за два дня до назначенного срока с их помощью — всем остальным.

Бездомных предупредили, что с собой они должны иметь запас воды и пищи хотя бы на три дня, ибо, скорее всего, полиция блокирует пустырь и выйти оттуда удастся не сразу.

Педро Кабесас и его штаб понимали: если полторы тысячи людей одновременно ринутся из города со своим скарбом в

одном направлении к пустырю, их обязательно заметят. Поэтому задолго до назначенного срока бездомные уходили в самых разных направлениях по одиночке, совершали большие обходы только по маршрутам, указанным руководителями, не подозревая, что они окружают пустырь.

Операция была назначена на два часа ночи. Командиры полусоток сверили часы и разошлись в разные стороны, где рассредоточились их люди.

В час ночи пошел дождь. К двум он превратился в ливень. Люди радовались этому. Ровно в два ринулись на пустырь, как в атаку. Бежали, стараясь не выпустить из виду своего руководителя, ибо куда именно надо бежать, никто не знал. Бежали с тюками, рюкзаками, детьми, знаменами, рейками, картонными и фанерными листами. В мокрой одежде с мокрыми вещами по размокшей земле пустыря в сплошной темноте бежали, задыхаясь, люди, и у всех хватало сил, потому что убегали они от проклятой бездомной жизни, с великой верой и надеждой.

На месте их ждали организаторы операции и члены комитетов полусоток, созданных заранее и состоявших из шести человек каждый. А каждый член комитета отвечал за свою группу из восьми семей.

Дождь не утихал, темнота не рассеивалась. Под плач детей началась стройка, как штурм. Первый этап — воткнуть в землю древко знамени, вбить колья, накинуть на них тряпье, создать хоть подобие шалаша, чтобы на нем водрузить национальное знамя.

Люди строили жилье для себя, но по указанию членов комитета безропотно оставляли свои участки, чтобы помочь немощным. Жилье, пусть самое примитивное, пусть только контуры его, едва прикрытые, должны быть готовы на всей территории одновременно, иначе ее не удержать.

И вместе с поселком рождалось нечто иное, куда более важное, что каждый ощущал, не отдавая себе в том отчета. Те, кто имели работу, знали, что у ворот фабрик и заводов ходят толпами безработные, готовые в любую минуту заменить их. Им казалось, будто те, что у ворот, только и ждут, чтобы кого-либо выгнали, чтобы покалечился кто-нибудь, все что угодно, только бы освободилось место. Те, кто не имел ночлега, завидовал хорошо устроившимся под мостами или навесами, успевшим захватить лучшие места.

Всю свою жизнь каждый из них в одиночку боролся за это место под мостом, за место на медных рудниках, на скотоводческих фермах. И в каждом, кто так же в одиночку боролся за свое место в жизни, видел конкурента. Всю свою жизнь эти

люди, будучи незнакомыми, неприязненно, а то и с ненавистью относились друг к другу.

Строя шалашный поселок, впервые ощутили, что они — люди одного класса, один коллектив, интересы у них общие и главный их враг — Костабалы и им подобные. Впервые ощутили великую гордость и ответственность за общее дело, ибо десятки и десятки бездомных вошли в комитеты матерей, безработных, молодежные, бытовые и еще некоторые, организованные в каждой полусотке коммунистами, которые уже в первый час стройки создали свою территориальную организацию в этом новом поселке, названном Бандера, что значит — знамя.

А стройка продолжалась. Уже заканчивали натягивать палатку для медпункта, когда налетели карабинеры, оцепившие поселок.

Слишком поздно. Светило раннее солнце, сушились во «дворах» вещи, бегали возбужденные ночным происшествием дети, а на всех шалашах и палатках висели национальные флаги.

Карабинеров встретил коммунист — депутат парламента. Лицо официальное и неприкосновенное. Прибыли и другие прогрессивные деятели — опытные юристы, заранее подготовившие петиции к властям от имени застройщиков, которые, оказывается, делали какие-то взносы в строительную корпорацию, и хотя деньги небольшие, даже смешно называть их деньгами, но все-таки это взносы, и надо еще разобраться, действительно ли их мало, чтобы занять участок. Правда, без ведома Костабалов пустырь вообще занимать нельзя, но и тут надо разобраться, кто это все так напутал. В петициях было дано множество ссылок на законы, поправки к законам, и становилось ясно: просто сгонять сейчас людей с пустыря нельзя. Вопрос может решить только суд.

Это и объяснил депутат парламента полицейскому начальнику. И тот охотно принял подобное объяснение. Он хорошо знал характер чилийцев, видел, что их здесь полторы тысячи, а откуда полетит в голову камень, не увидишь. И перед начальством есть оправдание: не разрешил сносить шалаши депутат парламента.

Блокада поселка длилась пять дней. За эти дни многие наголодались, многие лишились работы, но утвердились на пустыре прочно. Судебная тяжба — дело долгое, и платить судебные пошлины должен тот, кто в суд обращается. Впрочем, на этот раз вопрос решился быстро. Спустя полгода правительство Фрея не то выплатило Костабалам стоимость земли, не то предоставило им другой участок.

А еще через полгода очередные триста семей бездомных

заселили по соседству еще часть пустыря. Операция прошла более успешно. Во-первых, потому, что уже имелся опыт, а во-вторых, люди первого поселка, состоявшего теперь не из шалашей, а сараев, вышли ночью на помощь вновь прибывшим.

К 1970 году «освоили» весь пустырь. Теперь здесь больше тысячи сараев. Это и есть поселок Бандера, входящий в столичный район Гранха, где алькальдом — коммунист, бывший плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. На последних муниципальных выборах он получил больше всех голосов. И вообще коммунисты в этом районе пользуются огромным авторитетом. Но и ответственность на них, на социалистов, на представителей других партий Народного единства легла огромная. Жить в сарае лучше, чем под мостом. Но сарай остается сараем. Керосиновое освещение, земляные полы, отсутствие канализации не могут не тревожить алькальда и весь муниципалитет.

В стране не хватает четырехсот тысяч жилищ для трех миллионов жителей. Каждый третий чилиец либо не имеет жилья, либо оно непригодно для жилья. Сто тысяч домов не имеют воды. По восемь человек живут в одной комнате. Это наследие прошлых режимов тягчайшим грузом легло на правительство Народного единства. И оно приняло «Чрезвычайный план строительства ста тысяч жилищ».

Немалое место в плане отведено району Гранха. Я осматривал этот район, особенно поселок Бандера, и меня поражало одно обстоятельство. Поселки нищеты в разных странах разные. В Сингапуре, например, они сосредоточены на старых баржах. Перепрыгивая с одной на другую, рыщут там голодные собаки, но чаек не увидишь: ничто съедобное не летит за борт. По дну барж ползают дети. Здесь они рождаются, здесь умирают. В Индии жилье нищеты чаще всего сделано из упаковочного материала, и их карликовые картонно-фанерные домики лепятся друг к другу, как ячейки в сотах. Совсем по-другому выглядят трущобы Парижа. Но есть одно общее для всех поселков нищеты: лица и фигуры людей. Они выражают безнадежность. Полное безразличие ко всему окружающему. Кажется, людям совсем неважно, будут они жить или нет.

Поселок Бандера, особенно та его часть, где еще не успели соорудить сараев, — одна из разновидностей поселков нищеты. Но вот лица людей не могут не удивлять. Жизнерадостные, веселые. Чему же радоваться?

— Поедемте, посмотрите, — сказал секретарь райкома Коммунистической партии Оскар Рамос.

Мы поехали вчетвером — Оскар Рамос, Педро Кабесас и архитектор района коммунист Франциско Эйхо. В глубине поселка Рамос сказал:

— Остановите машину, где вам хочется.

— Ну, хотя бы здесь.

У ограды какая-то женщина кричала:

— Реже, Реже, сейчас же домой!

Мы вышли из машины, и Кабесас спросил, можно ли войти в ее дом. Она радостно заулыбалась. Видно, хорошо знала своего алькальда. Конечно, можно.

В доме две комнаты, одна из них — детская, и кухня. Всего тридцать два квадратных метра. Три кровати. Здесь живут восемь человек. Рабочий лесопильного завода Филимер Арамеда, его жена Гирея и их шестеро детей. Филимер и Гирея имеют отдельную кровать, а дети спят по трое на одной. В земляной пол вбиты четыре кола, на них щит. Это единственный стол в доме. Три самодельных стула, лавка. Стены и потолок сделаны из горбыля. Повсюду щели. В детской много тряпичных кукол. Они аккуратно рассажены на постелях.

— Когда идет дождь,— радостно говорит Гирея,— нам все равно где находиться — на улице или в доме. Здесь все заливает.

Она улыбается, улыбаются и мои спутники.

— Ну, хватит,— говорит Педро Кабесас,— пошли во двор.

Позади жилища Гиреи на ее участке строится кирпичный дом. Еще немного, и подведут под крышу. А готов он будет через три месяца. И переедет сюда Гирея со своей семьей.

Темнело. Но вдоль всей улицы, по обе ее стороны, были отчетливо видны позади сараев кирпичные остовы будущих коттеджей.

Вот почему улыбались люди поселка нищеты. И еще потому, что теперь Гирея получает бесплатно три литра молока в день. По пол-литра на ребенка, как получает каждый ребенок Чили.

Стены огромного сарая, где помещается контора строительства городка, заклеены списками, в которых точно указано, кто и когда получит новую квартиру. А на большом плакате дана таблица, по которой определялась очередность. Здесь два главных критерия: зарплата и количество детей. Чем меньше зарплата и больше детей, тем быстрее семья получит квартиру.

Как же не радоваться простому люду из поселка нищеты!

НА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Летом на Огненной Земле ветры не дуют. Но лето короткое — самый конец декабря и январь. И зимние месяцы — июнь, июль, август — почти безветренны. А в остальное время года стихия бушует. Ее выдерживают только самые устойчи-

вые сорта красного дуба. На нем незарастаемые следы тягчайшей борьбы. Листьев почти нет. Каждую ветку будто крутили вдоль оси, а потом заламывали назад, пытаясь завязать петлю, но так и оставили, и торчат они в неестественно согнутом состоянии. И ствол скручен, он весь в узлах и наростах, будто исполинская сила выжимала из него соки, как выжимают белье, а скрутив до отказа, еще и выгибала то вниз, то вверх, то в стороны. Волокна идут не прямо, а загнуты в клубки, и колоть его почти невозможно. Так и стоит на Огненной Земле красный дуб, страшный и великолепный в своем уродстве.

Я смотрел на деревья, слушал скотоводов, тех, кто всю жизнь разводил овец в степях Огненной Земли, и тех, кто охваченный золотой лихорадкой, пересекал материки и океаны, чтобы достичь Магелланова пролива, готовый хоть вплавь перебраться на заветный берег Огненной Земли.

Здесь они жаждали бури. Жаждали увидеть вздыбленный штормовой океан. В такие дни проклинали все на свете моряки, они гибли в обломках разбитых о скалы кораблей, а игроки удачи в безумной радости и сами, точно обезумевшие, метались по берегу. Бывший золотоискатель, а ныне скотовод Натали Масло рассказал мне, что в тихие дни он намывал не больше двух граммов золота, а в сильную бурю — до пятидесяти, а иной раз и до ста граммов.

Но и большая удача страшна. Ни отдыхать, ни спать не придется, пока не выберется удачник куда-нибудь подальше от свидетелей своего богатства. Нередко на добычу уходили двое, а возвращался один. И этот один с двойной добычей страшился не суда. Какие там суды. Страшился, что в любую минуту может стать добычей третьего. А у тысяч тех, кто шел на Огненную Землю за золотом и не находил его, кто, отчаявшись, проклинал жизнь, не имея средства выбраться оттуда, оставался единственный выход — идти пеоном в могущественную компанию латифундистов «Огненная Земля». Компания имела миллион гектаров земли, миллион овец, сотни мясокомбинатов, заводов по переработке шерсти и кожи. Ее владения распластались по обе стороны Магелланова пролива, захватив почти всю Огненную Землю, включая и ту часть острова, что принадлежит Аргентине, и просторы чилийской Патагонии с обширным районом Последней Надежды, и всей провинции Магальянес.

Компания насчитывала семь тысяч акционеров. За этой цифрой маскировалось меньше двух десятков подлинных хозяев «Огненной Земли», в руках которых находилось до восьмидесяти процентов акций. Среди владельцев — Педро Подкленович, Кампос Менендес, бывший президент Виделла, церковь, представители иностранного капитала.

«Огненная Земля» торговала со многими странами, то и дело тесня на международном рынке шерсти таких сильных конкурентов, как Австралия и Англия. И чем больше были ее доходы, тем сильнее гнула и скручивала людей, отбирая самых сильных из множества жаждущих работы. Ее могущество росло и, казалось, как невозможно укротить стихию, уродующую красный дуб Огненной Земли, так и найти силы, способной обуздать «Огненную Землю», и она вечно будет властвовать над людьми.

Победа Народного единства обезглавила «Огненную Землю», экспроприировав все ее владения.

Мне предстояло посмотреть, как управляют ими те, кто был у компании пеонами, пастухами, рабочими. Именно в их руки перешли земли, стада, предприятия компании.

С тревогой пересекал я Магелланов пролив, ибо до этого имел немало встреч с открытыми и замаскированными врагами нового строя, немало перелистал страниц «Меркурио» — самой крупной, самой многотиражной и самой реакционной газеты Чили, щедро финансируемой банковской корпорацией Эдвардсов, еще находился под впечатлением беседы с правофланговым чилийской реакции — председателем Верховного суда. И все они в разной форме, то откровенно злобно, то пряча злобу за слюнявой пеленой демагогии о благе народа, рисовали мрачную перспективу для экономики, что принесет аграрная реформа.

Тихим и ласковым, трогательно заботящемся о людях выглядел беспощадный и жестокий Николас Симунович, один из крупнейших латифундистов страны. Он принял меня в своем особняке в центре провинции Магальянес городе Пунта-Аренасе на берегу Магелланова пролива.

— Я родился и вырос на Огненной Земле,— сказал он.— Начал свою карьеру на голом месте, и все, чего достиг, это только вот этими руками,— и поднял ладонями вверх, развел в стороны свои большие и сильные руки.— ...И головой,— добавил помолчав.

На вопрос, чего же он достиг, Симунович отвечал задумчиво, как бы оглядываясь на всю свою жизнь. Не так уж и много, другие добиваются большего, но все-таки не стыдно ему перед людьми. Кое-что, конечно, сделал.

В его рассказах несколько пропусков, поэтому, приводя их, я тоже в соответствующих местах буду делать пропуски.

Восемьдесят лет назад его отец отправился на Огненную Землю искать золото (пропуск). Когда Николасу исполнилось двадцать лет, отец послал его в Европу изучать шерсть. Несколько лет провел в Англии, Австрии, Бельгии, Югославии...

На какие деньги?.. (Пропуск.) Затем вернулся на Огненную Землю и поступил в качестве рядового служащего на фирму по перепродаже шерсти, принадлежавшую англичанину, французу и немцу. Вскоре стал их компаньоном на равных началах (пропуск). Потом выкупил их паи (пропуск) и стал единственным владельцем фирмы. Чтобы заниматься не перепродажей, а продавать кожу и шерсть собственного производства, пришлось купить около тридцати тысяч овец (пропуск). По местным условиям, чтобы прокормить овцу, нужен гектар земли. Купил (пропуск) тридцать три тысячи гектаров земли. Обработкой шерсти и кожи, производством мяса, естественно, выгоднее заниматься самому. Купил (пропуск) и построил мясокомбинат и кожевенный завод в Пунта-Аренасе, мясокомбинат и фабрику по переработке шерсти в Сантьяго (пропуск), ну, еще на паях с компаньонами банк (пропуск), вскоре открывший отделения в других городах.

Вот и все, чего он достиг собственными руками. Дальше Симунович говорил так, как пишут у нас в фельетонах, если хотят карикатурно изобразить капиталиста. Но говорил серьезно, убежденно, прижимая руку к груди:

— Поймите, мне ведь два обеда в день не надо. И два костюма одновременно я не надену. Для того чтобы хорошо жить, достаточно одного маленького предприятия. А я постоянно увеличиваю свое хозяйство. Во имя чего? Только для того, чтобы дать людям работу, чтобы сделать их счастливыми. Это приносит мне огромное удовлетворение, во имя этого я живу.

Спустя несколько дней мы поехали с Симуновичем на его предприятия. Ему хотелось показать, как умело организовал он производство, а мне хотелось посмотреть на осчастливленных им людей. Не стану подробно описывать технологический процесс убоя овец и разделки туш. Неэстетично. Скажу лишь о необходимом. Именно на производстве я убедился, что в главном Симунович прав: чтобы увеличить богатство, он работает головой. Я не видел, как он работает собственными руками. А вот головой...

Огромное стадо медленно движется в загон сквозь узкую дверь. Здесь двое рабочих хватают по овце, забивают их и туши бросают на конвейер. В нескольких шагах еще двое навешивают туши на движущиеся крюки и совершают первую операцию по разделке. Туши движутся, переходя из рук в руки, пока освежеванные, выпотрошенные, вымытые не попадают в холодильное помещение. По другим конвейерным путям идут шкуры, потроха, отбросы.

Чтобы увеличить производительность, Симунович не стал ускорять ход конвейера. Может быть, потому, что это было уже

невозможно. Он увеличил штат. На убое овец стоял один человек, а Симунович поставил двоих. И на разделку стало поступать ровно вдвое больше туш. И ровно вдвое быстрее пришлось работать всем остальным. Казалось бы, пустяк — увеличил штат только на одного человека, а производительность всего предприятия удвоилась.

Это результат работы головы Симуновича и рук рабочих. Я видел, как они работают. Это фокусники. Это жонглеры. Движения молниеносны и точно рассчитаны. За их руками невозможно уследить. Их руки с ножами мелькали, как спицы в велосипедном колесе. А два огромных парня все забивали и забивали овец, и туши неумолимо двигались на людей. И стоял человек возле этих двоих, не то надсмотрщик, не то администратор, только затем, чтобы не дать им снизить темпа убоя. Он стоял и тупо смотрел на них, и они, под этим взглядом и включившись в бешеный ритм раздельщиков, бросали и бросали на конвейер обезглавленные туши, и казалось, будто сыплются туши из необъятного бункера.

Восхищенно смотрел на эту картину Симунович, то и дело подталкивая меня локтем, чтобы и я любовался ею, чтобы в полной мере оценил плоды его труда. Из меланхолично задумчивого, каким он был у себя дома, этот человек превратился в комок энергии. Он полностью включился в темп своего производства. С нестарческой поспешностью бегал от одного агрегата к другому, раздражаясь от того, что я не тороплюсь за ним. В холодильнике поднимал и бросал туши, чтобы я слышал, как они хорошо заморожены, стучал пакетами в целлофане и шептал с придыханием: «Почки, мозги, языки... Это в Европу». Точно полоскал руки в высушенной и распушенной шерсти, растягивал мокрые, обработанные шкуры: «Это тоже в Европу, в Италию...»

Потом, позже, уже без Симуновича я видел, как, отработав смену, шли домой рабочие. Шли молча, тяжело, с упавшими на грудь головами, как идут каторжники. А у ворот с завистью смотрели на них десятка два безработных. Я видел их стоявших у ворот и в тот момент, когда шел вместе с Симуновичем. Они и на него смотрели. С мольбой и надеждой. Он их не заметил. Успокоившись, объяснял мне, что психологически готовится к трудным дням, которые неизбежно наступят. Ему заплатят лишь десять процентов стоимости, а остальные с рассрочкой на двадцать лет. И он останется ни с чем, даже пенсию не дадут. И плоды его труда не достанутся сыновьям. Впрочем, за сыновей он спокоен. Оба они учатся в университете и будут твердо стоять на ногах.

Главное, что беспокоит, это необразованность тех, в чьи

руки попадет его добро. Надо ведь знать, как воспроизводить стада, какой процент молодняка оставлять для потомства. Надо очень много знать. Шерсть на мировом рынке все больше вытесняется синтетикой, и цены на нее падают. В прошлом году он продавал килограмм шерсти за 1,2 доллара, а в этом году — по 0,7 доллара. Надо внимательно следить за конъюнктурой мирового рынка. Как же с этим справятся пастухи и пеоны?

Симунович объяснял мне все это, как бы ища сочувствия и поддержки, подчеркивая, что не о себе заботится, а о людях. Он говорил как-то просяще, словно надеясь, авось я похлопочу за него и останется в его жизни все по-прежнему.

Я не стал хлопотать. Тем более, что за его сыновей я тоже спокоен. Ведь едва ли доллары, которые платит ему сегодня Европа, он вложит в производство. Судя по всему, сейчас он только продает, а доллары оседают на его счетах в иностранных банках.

Посмотрев на несметные его стада, на ограды колючей проволоки, за которыми, как тихие волны, колыхались спины овец, я отправился на Огненную Землю. Хотел узнать, как ведется хозяйство на фермах, принадлежавших компании «Огненная Земля». Как, в самом деле, пастухи и пеоны управляются с делом.

Мы отправились вместе с известным чилийским писателем коммунистом Франсиско Колоане и директором КОРИ[1] провинции Магальянес Америко Фонтано Гонсалесом.

На юге Чили — и в районах Последней Надежды, и на Огненной Земле, и во всей провинции Магальянес Колоане знают не только потому, что он лауреат Национальной премии и его произведения включены в хрестоматии и школьные программы. Его знают лично, ибо здесь его родные места, где он был и пеоном, и пастухом, и моряком, и рыбаком, где охотился на китов и тюленей, где учился, и пешком исходил эти земли, и знает водные пути в бесчисленных фиордах, и бескрайнюю Патагонию, и дикие Пампы, и индейские поселения острова Чилоэ.

Человек удивительного обаяния и большого писательского дара, горячо любимый людьми.

Америко Фонтано Гонсалес — голубоглазый светлый шатен, молодой и скромный, даже стеснительный, обладающий огромной волей, возглавлял один из острейших участков борьбы чилийского народа за свои права. Человек большой эрудиции, получивший специальное образование по технологии животно-

[1] КОРИ — государственный орган министерства сельского хозяйства по проведению аграрной реформы.

водства, отлично знающий все изменения в конъюнктуре на мировом рынке шерсти, твердый в решениях и добрый к людям, он так же, как и его друг Колоане, радостно встречался со скотоводами Огненной Земли, рабочими-нефтяниками, фермерами, пеонами. Из его рассказов я узнал многое.

Пять миллионов гектаров земли провинции Магальянес, занимающей самую южную часть земного шара, не подлежат обработке. Это камни, скалы, вечные снега, вечные льды. По четыре миллиона занимают леса и пастбища. Из трех с половиной миллионов гектаров пахотной земли два миллиона принадлежит частным лицам. Среди них и такие, как Симунович, и те, кого по нашей терминологии можно назвать бедняками, середняками, кулаками. И как только началась экспроприация крупных хозяйств, сработал заранее подготовленный механизм для контрудара. Началась продуманная провокационная кампания реакции. Как чума, распространился по всей Патагонии слух, будто землю, даже бедняцкую, отберет государство. Чтобы люди поверили в этот нелепый слух, были организованы налеты сверхлевацких элементов на частные земли, были спровоцированы кровавые столкновения, и все это раздутое, разукрашенное, расцвеченное лихой фантазией «Меркурио» и реакционной печатью Запада распространялось среди чилийских крестьян. И немало владельцев мелких и средних хозяйств, конечно же, не подлежавших экспроприации, поверили. Одни из них заняли выжидательную позицию, другие стали лихорадочно сбывать продукцию своего труда, пусть даже по бросовым ценам, и едва ли кто думал о дальнейшем развитии хозяйства.

Предчувствуя не мнимую, а реальную угрозу, латифундисты бросились было сбывать землю и стада. Да кто же купит в такое смутное время? И от того, что землю можно взять совсем по дешевке, а никто не берет ее, тревога увеличивалась.

...На Огненную Землю из Пунта-Аренаса мы летим втроем. Наняли маленький самолетик, и его владелец, добродушный летчик Леонидас Кобас, в знак особого уважения к советскому человеку предложил без дополнительной оплаты показать с воздуха всю провинцию Магальянес. Нет, не города и поселки, а ее дикую природу.

Фиорды, фиорды, фиорды... Тысячи, тысячи островов, островков, скал. Вулканы, вечные снега, вечные льды, вечное безмолвие. Особенно низко летим над районом плавучих ледников. Величественно течет с гор самый большой глетчер. Пока были на высоте двух тысяч метров, казалось, что он широк, как Волга. Но вот мы совсем низко, идем на ледник, будто на посадку. Я сижу рядом с Кобасом, который говорит: «Ширина

глетчера — несколько километров. Толщина льда — до 15 метров». Лед неповторимо чистой, прозрачной и удивительно нежной голубизны, иссечен, и образовались острые, как на исполинской пиле, зубья.

— Удобное для посадки место,— говорит Франсиско, а лихой летчик делает разворот над этим глетчером, и мы летим над озером, где плывут льдины, спустившиеся с гор.

Берем курс на Огненную Землю. Где-то очень далеко снега и льдины создали фантастическую, но воспринимаемую совершенно реально картину. Будто в блеске солнца тянутся могучие крепостные стены, и сама крепость, и нагромождение домов... Это западное побережье острова, самая его высокая гряда. Вблизи миражи рассеиваются, и кажется, что попал в Антарктиду. А восточное побережье — степи, холмы. Где-то там и поныне бродят, точно отверженные, одиночки в поисках золота. Два океана омывают остров и властвуют там, как хотят. От них и льды, и нестерпимая жара.

Пролетев над Портвиниром — столицей Огненной Земли, приземлились далеко на юго-западе от нее на чистом поле, близ поселений скотоводов Камерона и Тимаукеля. Самолет попрыгал на кочках, подрулил к маленькому навесу и встал.

Полное разочарование. Какая же это Огненная Земля? Степь, степь да невысокие холмы. Прибывшая за нами машина выезжает на грунтовую дорогу, забитую кикенами — дикими гусями. Уступать дорогу они не хотят, поднимаются в воздух тяжело и лениво, буквально перед самым радиатором. Едем вдоль Магелланова пролива. На большой отмели длинная, полукругом низенькая каменная ограда. Ее построили еще индейцы. Во время отлива она задерживала рыбу.

Неизменная деталь чилийского пейзажа, как только выедешь за пределы города,— колючая проволока. Ею перегорожены поля, леса, перелески, гористая местность, вся земля. Это границы частных владений. Проволокой расчерчена и Огненная Земля. И еще характерная черта пейзажа. На полевых дорогах обязательно встретишь пастуха на лошади, а за ним — запасную оседланную лошадь и несколько собак. Собаки умные, отлично несущие службу. Они остро чувствуют малейшие нюансы в свисте пастуха, и по его свисту легко управляют многотысячным стадом.

Животноводческая ферма Камерон, куда мы прибыли, лежала в ложбине. Небольшой разбросанный поселок. Изуродованный ветрами красный дуб. Повсюду сушатся овечьи шкуры. На специальных перекладинах, на перилах моста, на деревьях. Раньше ферма Камерон принадлежала компании «Огненная Земля». Теперь — госхоз — государственное хозяйство. Им уп-

равляет исполнительный комитет из пяти человек, избранный на общем собрании. Председатель комитета Рауль Казанова, человек солидный, авторитетный. Два года он работал в образцовых фермах Новой Зеландии, изучая скотоводство и корма. Затем шестнадцать лет на Огненной Земле в качестве администратора маленькой фермы. Теперь ему доверено крупное хозяйство Камерона: 186 тысяч гектаров земли, 130 тысяч овец, 1700 коров, 460 лошадей. Членом исполкома и правой рукой председателя является старший пастух Альберто Баркес. Высокий, красивый, с большими баками, сильный человек. Опыта и ему не занимать. Из своих тридцати шести лет он двадцать два в скотоводстве. Член исполкома Мануэль Эляскес — фигура весьма ответственная — мастер по стрижке овец. Мастер высокого класса. Механик Ромон Вильегас ведает в исполкоме тракторами и автомашинами. Пятым членом исполкома является пеон Ромон Баскес, человек энергичный, трудолюбивый, всеми уважаемый.

Мы сидели в здании исполкома фермы и беседовали о ее делах. На вопрос, не упали ли доходы после экспроприации, Альберто Баркес удивленно развел руки:

— Как же они могут упасть? Ведь все хозяйство и раньше мы сами вели. Только доходы в другое место шли.

— Понимаете,— вмешался в разговор Америко Гонсалес.— На этой ферме внешне почти ничего не изменилось. Зарабатывают люди столько же, сколько и раньше. Продукции дают не больше, хотя, конечно же, и не меньше. А по существу, здесь произошла революция. Главное в ней то, что люди стали людьми. Из одиночек, постоянно находившихся под страхом остаться без работы, неуверенных в будущем, они превратились в коллектив, имеющий собственное хозяйство. И ведь коллектив о нем заботится. Впервые в жизни люди несут общественные функции. Созданы комитеты, отвечающие за состояние дорог, за бытовые условия, за рост поголовья и другие. Человеку из Советского Союза, привыкшему к тому, что общественные функции несут сами же трудящиеся, видимо, трудно сразу оценить, как преобразило это людей, как подняло их достоинство и наполнило гордостью. На общее собрание люди идут как на праздник. А когда впервые на него пригласили женщин и предложили им занять первые ряды, это было событие, равное рождению человека.

— Вы хотите видеть новое,— сказал Гонсалес,— поедемте.

Мы поехали. В нескольких километрах от фермы — хозяйственные и складские здания, огромное помещение для стрижки овец. А чуть подальше среди деревьев — два аккуратных домика. Это школьный интернат. Нас встречает учитель Эдуардо

Соварсо. В интернате двадцать восемь детей. Вот спальня мальчиков. Аккуратно заправлены кровати, чисто, уютно. Спальня девочек в другом помещении. На одной из кроватей у подушки трогательно примостилась куколка с обиженным лицом.

Учебные помещения скромные, но повсюду чистота, на стенах детские рисунки, стенная газета.

Пять дней в неделю дети находятся в интернате, два дня — дома.

И все это на Огненной Земле, там, где властвовала «Огненная Земля». Интернат полностью содержится на государственные средства. К тому времени, о котором идет речь, уже через полгода после победы Народного единства в девятнадцати из двадцати пяти провинций Чили под контроль КОРИ перешло 381 крупное имение. Свыше пяти тысяч крестьян получили землю. Темпы аграрной реформы нарастали. Для выкупа земли у латифундистов отпускаются большие средства. Бюджет КОРИ увеличился втрое и составляет более трех с половиной миллиардов эскудо. Эти деньги пойдут на выкуп земли для тридцати тысяч крестьян.

Я разговаривал со многими рабочими на нескольких фермах. И пожалуй, лучше всех объяснил мне внутреннее состояние людей бывший объездчик диких лошадей Мануэль Симантранс. Ему пятьдесят восемь лет, но он крепок и ловок. Это старый приятель Франсиско Колоане, который нас познакомил и рассказал историю своего знакомства с Мануэлем. Объездчик охотился за дикими быками, и они вместо того, чтобы убегать, вдруг ринулись на него, забили рогами лошадь, и Мануэль оказался под нею. И то ли подумали быки, что он тоже мертв, то ли хотели показать человеку свое благородство, но они не тронули его. Вот тогда-то Франсиско и поехал к объездчику, чтобы подробнее расспросить об этой истории.

Мануэль сказал мне:

— Мы будем очень стараться, чтобы у нас все шло хорошо. Будем стараться потому, что раньше доходы шли хозяевам «Огненной Земли», а теперь на оплату миллионов литров молока, что бесплатно получают все дети Чили, на бесплатные интернаты, на строительство ста тысяч квартир, на все, что улучшает жизнь народа.

На следующий день Франсиско Колоане показал мне запись в своем блокноте:

«Мы побывали на четырех фермах и у нефтяников Огненной Земли. Возвращались домой на огромном пароме. Спускаться вниз не хотелось. Мы стояли на палубе. Была ночь, были огромные звезды, были воды Магелланова пролива. И на душе было хорошо».

БРАТЬЯ

На медных рудниках в скалах диких Кордильер, в пустыне Атакаме и Сантьяго, на Огненной Земле и в обширных районах Патагонии — всюду, где довелось побывать, с удивительной теплотой и любовью встречали чилийцы советских людей.

На самом юге Латиноамериканского материка в центре провинции Магальянес — Пунта-Аренасе шло городское собрание коммунистов и тех, кто помогал им в избирательной кампании.

В собрании участвовало человек двести. Оно было торжественным, праздничным. Вместе с Франсиско Колоане и переводчиком мы приехали в город, когда собрание уже началось. Попали туда с большим опозданием. Устроиться тихонько сзади на свободных местах не удалось — Колоане здесь многие знали в лицо. Встретили его радостно, шумными аплодисментами, пригласили пройти вперед. Когда люди утихли, председательствовавший объявил, что вместе с Колоане прибыл советский писатель.

И вот тут-то и произошло совершенно невообразимое. Зал гремел от аплодисментов и здравиц в честь Советского Союза. Со всех сторон неслись возгласы, в которых отчетливо выделялись слова «совьетико» и «коммунисти». Зал рукоплескал стоя.

Откровенно говоря, я растерялся. Надо было как-то унять эту бурю. И тут в голову пришла мысль, на которой хотелось бы остановиться. За рубежами нашей Родины бывают тысячи и тысячи советских людей. Многие потом делятся впечатлениями, выступая в печати, по радио, телевидению. И о том, как их встречали, либо совсем не говорят, либо скороговоркой сообщают о теплых улыбках и рукопожатиях, торопясь при этом заверить, что вся теплота относилась не лично к ним, а к нашей стране.

Подобной оговорки можно бы и не делать за абсолютной очевидностью этой истины. Тем не менее люди словно стесняются рассказывать, как их встречали. А мы ведь знаем, как встречают, например, в той же Латинской Америке представителей США. Не очень тепло встречают. В лучшем случае — безразлично. И это тоже характеризует отношение не к данному гражданину, а к строю его страны. Так пусть они стесняются сообщать о своих встречах за рубежом.

Когда на собрании в Пунта-Аренасе я лихорадочно думал о том, как остановить шквал приветствий, и пришла в голову эта мысль: «А зачем? Почему надо мешать людям выразить свою любовь к нашей Родине, к народам нашей страны, к нашему образу жизни? Нет, пусть бушует зал». И еще долго не

умолкали приветственные возгласы и рукоплескания. А когда собрание кончилось, трудно было уйти. Просто физически не отпускали. Задавали вопросы, жали руки, дружески хлопали по плечу. Или просто смотрели. Это ведь тоже немало. Я видел их глаза. Так смотрят родные.

Но может быть, это не показатель отношения к нам чилийцев? Это ведь было собрание только коммунистов и им сочувствующих. Нет, показатель. Я изъездил немало чилийских городов и сел, встречался с самыми различными людьми и повсюду видел восторженное к нам отношение. Только выражалось оно по-разному.

В Сантьяго я присутствовал на собрании чилийских писателей. В нем принимали участие итальянский писатель Карл Леви, боливийский писатель Нестор Табоада Теран, испанский — Состре и другие. Гостей представили собравшимся. Как и положено в приличном обществе, их приветствовали аплодисментами. Не буду упирать на то, что советского представителя встретили с особой теплотой. Но я обратил внимание на рыжего человека, сидевшего поблизости от меня. Он был единственным, кто не аплодировал советскому представителю. Это-то и бросалось в глаза.

Первую речь произнес президент общества писателей Чили Луис Мерино Рейес. Когда он заявил, что абсолютно подавляющее число населения поддерживает правительство Народного единства, рыжий человек громко выкрикнул: «Это ложь!» И потом, на протяжении почти всей речи Рейеса, он бросал реплики, вызывающие возмущение собравшихся, требуя немедленно предоставить ему слово. И когда в ответ на заявление Рейеса, что слова тот не получит, зал одобрительно загудел, рыжий вскочил, закричав: «А я все равно буду говорить».

Командовать ему не дали. Первым бросился к нему романист и исследователь чилийского фольклора Диего Муньес, а за ним еще несколько человек. Рыжий отчаянно сопротивлялся, но под крики всего зала «вывести» его вытолкали за дверь, а потом и вовсе вышвырнули на улицу. Собрание спокойно продолжалось. Когда оно закончилось, ко мне подошло несколько человек. Поэтесса Мария Христиана Менарес сказала:

— Извините, пожалуйста, за этот инцидент, он нам очень неприятен.

Кто-то из иностранных писателей заметил:

— А все-таки зря не дали ему высказаться. Ведь явно все собрание против него. Ну, и пусть освистанным сошел бы с трибуны и не смог бы кричать потом, что нарушена демократия.

— Нет, нельзя было давать ему слова,— решительно возра-

зила поэтесса.— Вы правы, что все собрание против него. И не желает его слушать. А он решил силой заставить нас подчиниться ему. Вот это вы считаете демократией?

Ее оппонент молчал.

— Нет,— вновь заговорила она горячо.— Мы хорошо знаем, о чем он будет говорить. Он выступает не только против единства, но и против всего прогрессивного, что сейчас проводится в стране. Так вот, демократия по-нашему — заглушить голос реакции. Подлинная демократия — это подчинение большинству.

Поэтессу поддержали все стоявшие рядом.

— И знаете,— как бы доверительно сказала она,— в этом инциденте есть еще одна сторона, может быть, главная. Этот тип еще и ярый антисоветчик. И мы не желаем заставлять советского человека слушать клевету на Советский Союз.

К нам подошло еще несколько человек, и спор продолжался. Вернее, это был уже не спор, а беседа единомышленников. Писатели говорили о том, что реакционные силы, не желая мириться с новым строем, ведут атаку против всех мероприятий правительства и что пора положить этому конец.

Один из участников беседы заметил:

— А что касается Советского Союза, то я вполне согласен с Марией. Любой реакционер, выступающий против нового строя, неизменно оказывается и антисоветчиком. И напротив, всякий антисоветчик рано или поздно проявляет себя как противник Народного единства. Поэтому мы не видим между ними разницы. И как ни парадоксально, но действия реакции еще более укрепляют нашу любовь к Советскому Союзу.

О том, как чилийцы относятся к нам, могу судить по личным впечатлениям. Я не встретил в Чили уголка, где бы любовь к Советскому Союзу не проявлялась. Порой она принимала самые неожиданные и трогательные формы.

Путешествуя по Огненной Земле вместе с Франсиско Колоане и Америко Фонтано Гонсалесом, мы поздним вечером забрели в рабочий поселок нефтяников Весьентес. Глава семьи Карен Дисто, на вид ему лет тридцать, работает механиком на государственном заводе по переработке нефти. Заводом это предприятие можно назвать лишь условно, ибо там всего сорок рабочих. Впрочем, предприятие механизировано и продукции дает много. Жена Карена — Миста — жизнерадостная молодая женщина, безработная художница.

В небольшой комнате, разделенной на две низеньким стеллажом, с маленькими креслицами и столиком, кроме хозяев, было трое их друзей, рабочих того же завода. Один из них, как и Карен, коммунист, двое — социалисты. В этот поздний вечер

они сидели за учебником диалектики, на первой странице которого было написано: «Перевод с русского».

Наш приход был встречен бурной радостью. Они сразу узнали Франсиско Колоане и радовались тому, что в их доме знаменитый писатель. А когда Америко сказал, что вместе с ним и человек из Советского Союза, люди просто растерялись. Какое-то время с благоговением и молча смотрели на меня, пока Миста не сказала:

— Этого не может быть.

И тут все пришло в движение.

— Садитесь, вот сюда садитесь...

— Нет, вот здесь будет удобнее...

— Как же так, боже мой...

Миста вдруг стала наводить порядок на стеллаже, поправлять скатерть. Двое убежали на кухню. На столе появилось вино, а в руках красивого парня с пышными бакенбардами — гитара.

...Мы сидели до глубокой ночи. Как ни старался я говорить о Чили, разговор шел о Советском Союзе. Когда я сказал об этом, Карен улыбнулся и очень убежденно, как-то душевно ответил:

— Мы ведь ничего не знаем о вашей великой стране. Говорите, пожалуйста, мы просим вас.

— Так уж и ничего? А радио вы слушаете?

— Слушаем. Но Советский Союз нам трудно ловить. Мы каждый день слушаем Америку, и каждый день не верим.

...Паром через Магелланов пролив, который нам предстояло пересечь, чтобы попасть на мыс Последняя Надежда, отходил в четыре утра. И хотя до пристани было недалеко, Карен куда-то убежал и вернулся с двумя машинами. Это были повсеместно распространенные на Огненной Земле, да и в других городах Чили, широкие полугрузовики «форд» с кабиной, рассчитанной на трех человек.

Когда пришло время прощаться, Миста отвела мужа в сторону. По глазам было видно, что она просит о чем-то. Он утвердительно и радостно закивал и направился к маске клоуна на стене. Это была удивительная маска, на которую я обратил внимание, как только вошел в дом. Удивительное заключалось в том, что широко улыбающийся клоун готов был вот-вот расплакаться. То ли от того, что я видел маску с разных ракурсов, то ли от освещения, но в какие-то минуты казалось, будто он только улыбается. А всмотришься — и видишь, какое большое горе на душе у этого человека, и неизвестно, хватит ли дальше сил балагурить, и хлынут сейчас слезы, и он забьется в истерике.

Маску создала Миста из черной марли. Сначала вылепила заготовку, накрыла ее марлей, пропитанной сильно вяжущим веществом, потом растягивала складки, делала морщинки, накладывала мазки золотой краской. Когда марля отвердела, ее сняли с заготовки. Я не знаю, можно ли называть эту маску произведением искусства, но смотреть на нее хочется долго. И не сразу уходят мысли о судьбе этого человека. Видимо, дольше чем надо смотрел я на него...

Карен снял со стены барельеф, а Миста тщательно завернула его в крафтбумагу и подошла ко мне:

— Это в память об Огненной Земле.

Когда Карен еще снимал маску, я понял намерение супругов и твердо решил не брать такого подарка, тем более что Карен сказал:

— Это любимое творение Мисты.

Попытался как можно убедительнее объяснить, почему отказываюсь. Но Миста сказала:

— А вы не можете решать, брать или не брать. Это Огненная Земля посылает Москве. А у вас пусть он на хранении будет, и напишите мне, как будет себя чувствовать. Я ведь действительно люблю его.

...Машину, в которой мы ехали с переводчиком, вел Карен Дисто, вторую, с Колоане и Гонсалесом,— его друг. Было темно до черноты. Шел дождь. Всю дорогу Карен сокрушался: «Ну, как же можно, всего на несколько часов. Что я завтра скажу товарищам по ячейке? Обидятся, почему не позвал».

Заводская ячейка коммунистов состоит из девяти человек. Почти каждый четвертый рабочий — коммунист. В те дни они готовились к созданию организации единого действия. Такие организации создавались повсеместно на предприятиях, в учреждениях, деревнях, учебных заведениях. Их были уже тысячи и тысячи.

Комитеты единого действия, созданные в период подготовки к президентским выборам, сыграли немалую роль в победе левых сил. Количество этих организаций умножилось к муниципальным выборам, где окончательно утвердилась их дееспособность. Теперь функции их расширились, и они стали надежной опорой нового строя.

...У пристани выяснилось, что паром задерживается минут на сорок.

Карен говорит:

— Это бывает не так уж редко. Течение очень капризно. Оно достигает двадцати километров в час, при ветре до ста километров, да еще дважды в сутки меняет направление. А во время прилива уровень воды поднимается на двенадцать мет-

ров. И ничего удивительного,— улыбается он.— Ведь сюда устремляются, здесь сталкиваются воды двух океанов. И неизвестно, какой из них сильнее и свирепее.

Карен достал из-за сиденья большой термос и чашечки. Это предусмотрительная Миста снабдила на всякий случай чаем.

Дождь не утихал. Мелкий, густой, тоскливый. Свет от фонарей увязал в нем и не пробивался на пристань. Волны были черными. Мы сидели в кабине и пили чай. Карен рассказывал.

Этот остров Магеллан назвал Огненной Землей потому, что, проходя мимо него по проливу, увидел множество огней. Должно быть, горел газ. А теперь здесь один из главных источников чилийской нефти. Большие ее запасы обнаружены на дне Магелланова пролива. Но ставить вышки на таком коварном проливе невозможно. Поэтому к ней подбираются через наклонные штреки, идущие с берега.

Карен с гордостью рассказывал, как впервые в Чили была обнаружена нефть. Два года ее искали немецкие и французские специалисты, но нашел нефть чилийский инженер Эдуардо Симен, и вовсе не там, где искали иностранцы. Это был довольно популярный человек, хотя имя его знали немногие. Он был известен больше по кличке «Осьминог», которой удостоили его футбольные болельщики как непревзойденного вратаря. Нефть он обнаружил 28 декабря, а этот день соответствует нашему первому апреля. Поэтому никто ему не поверил. И только на следующий день открытие Симена признали.

Карен оборвал свой рассказ, словно спохватившись, и снова заговорил о Советском Союзе.

...Огненная Земля, Патагония, Последняя Надежда, Магелланов пролив... Что-то бесконечно далекое, романтическое, таинственное...

Так, возможно, воспринимали чилийцы мою Родину на другом берегу океана. Но всем своим существом они вместе с нами. Совсем близко.

* * *

Я видел в Чили, как готовился фашистский переворот. Но известие о нем потрясло.

В Москве встречался с чилийскими демократами, которым удалось скрыться от арестов. Они и рассказали подробности путча.

Сигналом к военному перевороту послужил мятеж на военном флоте в Вальпараисо. Мятежники захватили порт, телеграф, радио и другие важные центры этого второго по величине

города Чили. Затем военная хунта в составе командующего сухопутными войсками генерала Аугусто Пиночета, командующего ВМФ адмирала Хосе Торибио Мерино Кастро, командующего ВВС Густава Ли Гусмана и командующего корпусом карабинеров Сесара Мендоса Дурана передала ультиматум, требующий отставки президента Альенде.

О том, как развивались события во дворце «Ла Монеда» в день переворота, о великом подвиге выдающегося борца за свободу чилийского народа, одного из крупнейших демократических деятелей Латинской Америки президента Чили Сальвадора Альенде и его героической смерти подробно рассказал премьер-министр Революционного правительства Кубы Фидель Кастро. Привожу почти полностью этот рассказ, переданный из Гаваны агентством Пренса Латина.

«В 6.20 утра 11 сентября в резиденции президента Альенде на улице Томаса Моро раздался телефонный звонок. Президента предупреждали, что начинается государственный переворот. Он сразу же поднял по тревоге свою личную охрану и принял решение отправиться в президентский дворец, чтобы со своего президентского поста защищать правительство Народного единства. В сопровождении 23 человек охраны, вооруженных автоматическими винтовками, двумя пулеметами и 3 базуками, они прибыли в президентский дворец в 7.30 утра на четырех машинах.

С винтовкой в руке президент вошел во дворец через главный вход. В это время дворец «Ла Монеда», как обычно, охраняли карабинеры.

Уже находясь внутри дворца, Альенде собрал сопровождавших его людей, сообщил им о серьезности положения и о своей решимости бороться до самой смерти, защищая конституционное, законное народное правительство Чили от фашистского переворота, проанализировал имеющиеся возможности и отдал первые распоряжения относительно обороны «Ла Монеды».

В течение часа С. Альенде трижды выступил по радио с призывом к народу. Он заявил о своей готовности защищаться до конца.

В 8.15 представитель фашистской хунты обратился к президенту с предложением о сдаче, уходе со своего поста и о предоставлении ему самолета, на котором он мог покинуть страну вместе с родственниками и сотрудниками. Президент отверг это предложение, сказав, что «генералы-предатели не знают, что такое человек чести».

Затем в своем кабинете президент провел краткое совещание с группой прибывших во дворец высших офицеров корпуса карабинеров, которые отказались защищать правительство.

Со словами презрения С. Альенде приказал им уйти из дворца немедленно. Во время этого совещания в «Ла Монеду» прибыли адъютанты трех родов войск. Президент заявил им, что сейчас не время доверять военным, и попросил их покинуть дворец. Тем не менее он дружески распрощался с майором Суаресом, занимавшим пост военно-воздушного адъютанта в течение нескольких лет.

Через несколько минут после ухода адъютантов и офицеров корпуса карабинеров руководитель гарнизона карабинеров, охранявших дворец, выполняя инструкцию своего начальства, направил одного из своих подчиненных ко всем карабинерам, находившимся во дворце, с приказом покинуть его. Карабинеры начали покидать дворец, унося с собой часть вооружения. Танки и бронетранспортеры карабинеров, предназначенные для обороны «Ла Монеды», также покинули свои позиции.

Между тем в «Ла Монеду» начали прибывать министры, секретари, советники. Прибыли дочери президента Беатрис и Исабель, многочисленные сторонники и члены партий блока Народного единства, чтобы в этот критический час находиться вместе с президентом.

Примерно в 9.15 начался обстрел президентского дворца. Пехотные подразделения общей численностью около двухсот человек пошли в наступление по улицам, прилегающим к площади Конституции, открыв стрельбу по дворцу. Число охранявших «Ла Монеду» не превышало 40 человек. С. Альенде приказал отвечать на огонь и сам лично принимал участие в этой перестрелке. Пехота отступила, неся многочисленные потери.

Тогда фашисты ввели в бой танки. Одни танки двигались по улице Монеда, другие — по улицам Театинос, Аламеда, Моранде. Несколько танков появилось на площади Конституции. Выстрелом из базуки один танк был уничтожен. Другие открыли огонь по кабинету президента. Их поддержали пулеметы с бронетранспортеров.

В 10.45 президент собрал всех находившихся во дворце и сказал, что для борьбы, которая должна развернуться в будущем, потребуются руководители и исполнители, и поэтому все, у кого нет оружия, должны при первой же возможности покинуть дворец. Те, у кого есть оружие, должны находиться на своих боевых постах. Однако никто из присутствующих не согласился покинуть «Ла Монеду».

Между тем бой продолжался. Фашисты выдвигали новые ультиматумы, угрожая, что если защитники не сдадутся, то в бой будут введены самолеты чилийских ВВС.

В 11.45 президент собрал своих дочерей и всех женщин, на-

ходившихся во дворце (всего 9 человек), и приказал им покинуть «Ла Монеду», поскольку считал, что они могут погибнуть, и тут же попросил у нападающих 3-минутную передышку, чтобы эвакуировать женщин из дворца. Фашисты отказались дать передышку, однако в этот момент войска начали отходить, чтобы дать возможность самолетам атаковать «Ла Монеду». Это временное прекращение огня дало возможность женщинам покинуть дворец.

Примерно в 12 часов дня начался воздушный налет. Первые ракеты с самолетов взорвались в «Ла Монеде».

Подходил к концу третий час. Снаряды были уже на исходе. Тогда президент приказал взломать дверь склада вооружения гарнизона карабинеров, охранявших дворец. Он сам пересек зимний двор «Ла Монеды» и, видя, что дверь склада не поддается, приказал взорвать ее гранатами. В складе было найдено четыре пулемета, большое количество винтовок «СИК», патроны, противогазы и каски. После того как оружие было разобрано, Альенде приказал всем занять свои места и сам с оружием в руках воскликнул: «Так пишется первая страница этой истории! Мой народ и Америка допишут остальное!»

В этот момент начался новый воздушный налет. От взрыва бомб вылетали стекла из окон, и их осколки нанесли Альенде легкое ранение. Это была первая рана, которую он почувствовал. Через несколько минут началась новая комбинированная атака с использованием самолетов, танков, артиллерии и пехоты.

Именно в этот момент С. Альенде совершил самый настоящий подвиг. Несмотря на огонь, охвативший дворец, Альенде с базукой в руках ползком пробрался в свой кабинет и одним выстрелом вывел из строя танк, стоявший на улице Моранде. Несколько мгновений спустя второй защитник подбил еще один танк.

Фашисты ввели в бой новые танки и бронетранспортеры, усилив огонь по входу во дворец, охваченный пламенем. Президент с несколькими защитниками спустился на первый этаж и отразил попытку фашистов проникнуть во дворец со стороны улицы Моранде. Тогда фашисты временно прекратили огонь и обратились к защитникам дворца с просьбой выслать двоих парламентеров.

Фашисты обратились к парламентерам с требованием сдаться, предлагая президенту и другим защитникам покинуть дворец и направиться в любую страну, куда они захотят. С. Альенде заявил о готовности защищать дворец до последней капли крови, выражая не только свое мнение, но и мнение всех защитников. Сопротивление продолжалось.

В 1.30 президент поднялся на второй этаж, чтобы осмотреть боевые порядки защитников.

К этому времени фашистам удалось захватить первый этаж дворца, но участники обороны продолжали отражать их атаки на втором этаже. Только к двум часам дня нападающим удалось прорваться в одно из помещений второго этажа. С. Альенде с несколькими товарищами забаррикадировался в красном зале. В тот момент, когда он пытался преградить вход фашистам, пуля угодила ему в живот. С. Альенде оперся на стул и продолжал стрельбу по наступающим фашистам до тех пор, пока вторая пуля, попавшая в грудь, не сразила его. Уже мертвого его буквально изрешетили автоматной очередью.

Увидев, что президент мертв, его личная охрана бросилась в контратаку и заставила фашистов отступить. Затем они перенесли тело Альенде в кабинет президента, усадили на президентское кресло, надели президентскую ленту и обернули его чилийским флагом.

Даже после смерти президента защитники дворца продолжали сопротивление. Лишь к четырем часам дня пожар, продолжавшийся в течение нескольких часов, погасил последнее сопротивление. Многие были удивлены, узнав, что 40 человек удерживали «Ла Монеду» в течение семи часов, отражая мощные атаки артиллерии, танков, авиации и пехоты.

С. Альенде был твердым и решительным в выполнении своего обещания умереть, защищая дело народа. Его сила духа, организаторский талант и личный героизм удивительны. Ни один президент на этом континенте не совершал подобного подвига. Много раз благородные намерения подавлялись грубой силой, но никогда еще эта грубая сила не встречала такого сопротивления со стороны человека идеи, оружием которого всегда было слово».

Когда бомбардировщики хунты уже сбрасывали на Сантьяго свой смертоносный груз, когда били их артиллерия и танки, уничтожившие правительственные радио- и телецентры, главари хунты предложили президенту Сальвадору Альенде самолет, чтобы он покинул страну. С негодованием отвергнув это предложение, и перед тем как надеть каску и взять в руки оружие, чтобы стоять насмерть и умереть как солдат, Сальвадор Альенде в последний раз обратился к народу через единственную уцелевшую радиостанцию «Магальянес». Он начал так:

«Соотечественники! Вероятно, это последняя возможность обратиться к вам. Авиация разбомбила «Радио Порталес» и «Радио Корпорасьон».

Сообщив, как подло предала народ хунта, президент продолжал:

«Перед лицом этих фактов мне остается лишь сказать трудящимся: «Я не отрекусь!» В этих исторически сложившихся обстоятельствах я своей жизнью оплачу верность народа. И говорю вам, я уверен, что семена, которые мы посеяли в благородном сознании тысяч и тысяч чилийцев, нельзя будет вырвать окончательно.

У них есть сила,— говорил он о предателях.— Они могут, конечно, взять верх. Но они не остановят социальных процессов ни с помощью преступлений, ни с помощью силы.

История принадлежит нам, и ее делают народы.

Трудящиеся моей отчизны! Я хочу поблагодарить вас за вашу верность, за ваше доверие, оказанное мне. Я был лишь выразителем великих чаяний справедливости, я дал вам слово, что буду соблюдать Конституцию и законность, и так я поступал. И в этот решительный момент, в этот последний раз, когда я могу обратиться к вам, я хочу сказать — извлеките урок из того, что произошло: иностранный капитал, империализм в союзе с реакцией создали условия, при которых вооруженные силы сломили традицию, которой был верен генерал Рене Шнейдер и верность которой подтвердил капитан Арайя, жертвы тех же социальных элементов, которые сегодня врываются в ваши дома, послушные чужой руке, стремясь отвоевать власть, чтобы защищать привилегии и интересы.

Я обращаюсь к скромной женщине нашей отчизны, к крестьянке, которая поверила нам, к работнице, которая больше трудилась, к матери, которая знает, как мы заботились о детях, я обращаюсь к специалистам моей отчизны, к техническим специалистам — патриотам, которые работали невзирая на бойкот и мятеж своих коллег, защищавших привилегии капитала.

Я обращаюсь к молодежи, к тем молодым людям, которые пели, которые привнесли радость и боевой дух в нашу борьбу

Я обращаюсь к чилийцу: к рабочему, крестьянину, интеллигенту, к тем, которых будут преследовать, потому что уже много часов, как в нашей стране действует фашизм, насаждая терроризм, взрывая мосты, уничтожая воздушные линии, газо- и нефтепроводы, и все это совершается при молчании тех, кто обязан был бы воспротивиться этому.

История их осудит наверняка. Радио «Магальянес» заставят замолчать, и, может быть, спокойный металл моего голоса не дойдет до вас.

Неважно! Нас все равно услышат! Я всегда буду с вами, во всяком случае, я останусь в вашей памяти как человек достойный, верный делу трудящихся. Народ должен защищаться, но не должен приносить себя в жертву. Народ не должен дать себя уничтожить, но и не позволит унизить себя.

Трудящиеся моей страны! Я верю в Чили и в ее будущее. Найдутся в Чили люди, которые преодолеют все, и в этот горький и тяжкий момент, когда стране пытаются навязать предательство, знайте, что недалек тот день, когда вновь откроются светлые горизонты, чтобы люди достойные строили лучшее общество.

Да здравствует Чили!

Да здравствует народ!

Да здравствуют трудящиеся!

Это мои последние слова.

Я уверен, что жертвую не напрасно, я уверен, что, по крайней мере, это будет моральным уроком, который покарает низость, трусость, предательство».

Последнее обращение Сальвадора Альенде к народу, его спокойный, сильный и добрый голос услышали люди Чили и народы мира. Услышали раскаленную правду и приняли как программу борьбы.

...В Большом зале Центрального дома литераторов я слышал последнее обращение к народу Сальвадора Альенде, записанное на пленку корреспондентом советского радио в Чили. Слышал, что происходило дальше. Только две-три секунды после его выступления длилось молчание. И вдруг вспыхнула песня. Боевая революционная песня чилийского народа. Ее пели коммунисты, демократы, все, кто в эту минуту находился на радиостанции «Магальянес». В эту песню ворвался молодой, сильный голос и тут же был подхвачен теми, кто находился у микрофонов. Это были призывы к борьбе, вера в силы народа. Их слова, под аккомпанемент песни, неслись над страной. Их не мог забить слышавшийся гул самолетов. Может быть, тех же, что разбомбили «Радио Порталес» и «Радио Корпорасьон». Теперь они шли на «Магальянес». Это понимали те, кто были у микрофонов. Они знали, что вызывали вражеский огонь на себя, знали, что это последние минуты их жизни, но и песня, и революционные призывы звучали как победный гимн, как слава жизни.

Микрофон замолк вдруг. Мы не слышали бомбового удара. Но ощутили его каждой своей клеткой. Не шелохнувшись, сидел огромный переполненный зал, и казалось, раздайся сейчас клич, как один, поднялись бы советские люди, чтобы смести с лица земли новое фашистское логово.

Каждый из нас повторяет сегодня последние слова Сальвадора Альенде: «Я верю в Чили и в ее будущее... История принадлежит нам, и ее делают народы».

1978 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

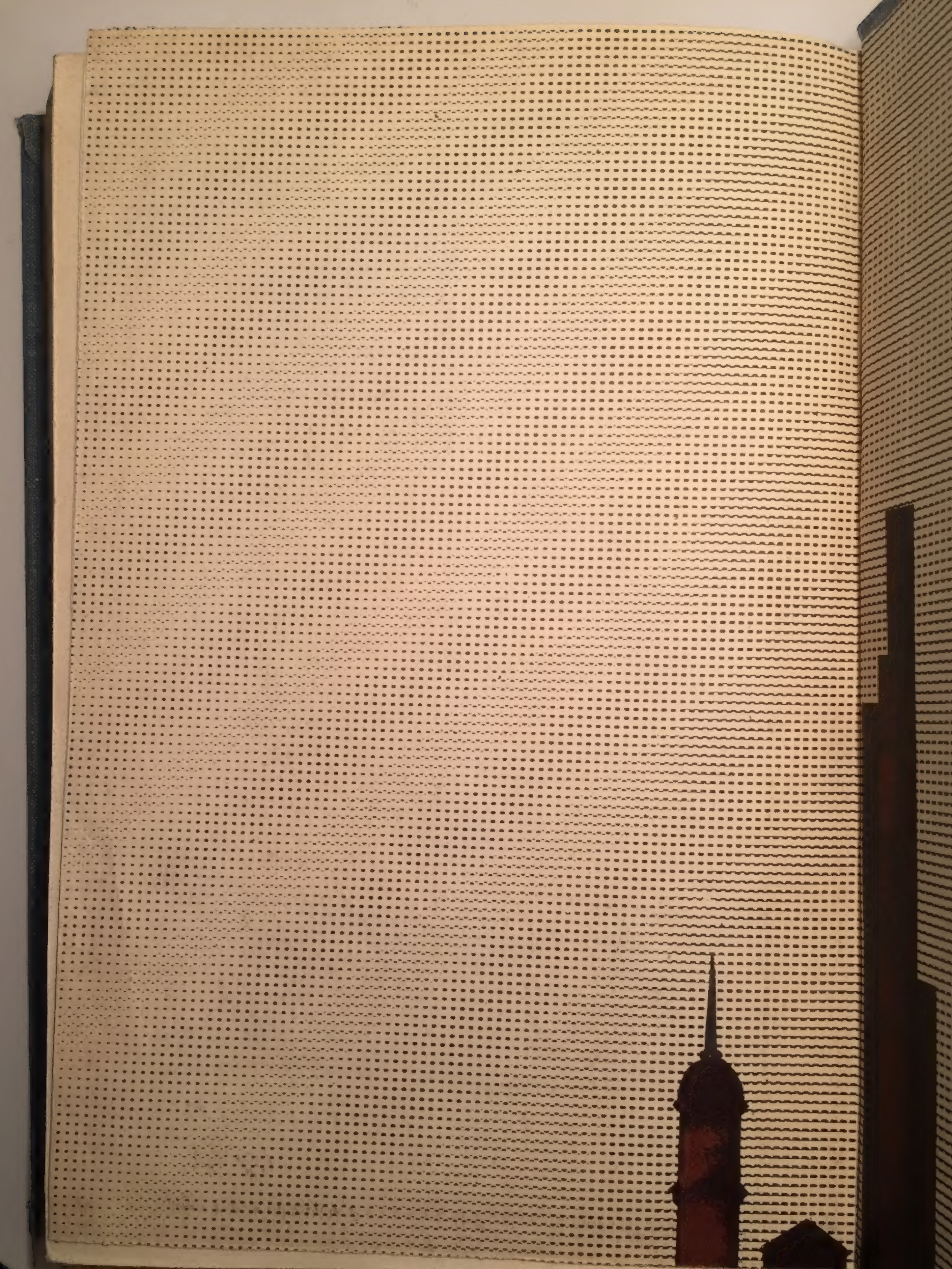
Аркадий Яковлевич Сахнин

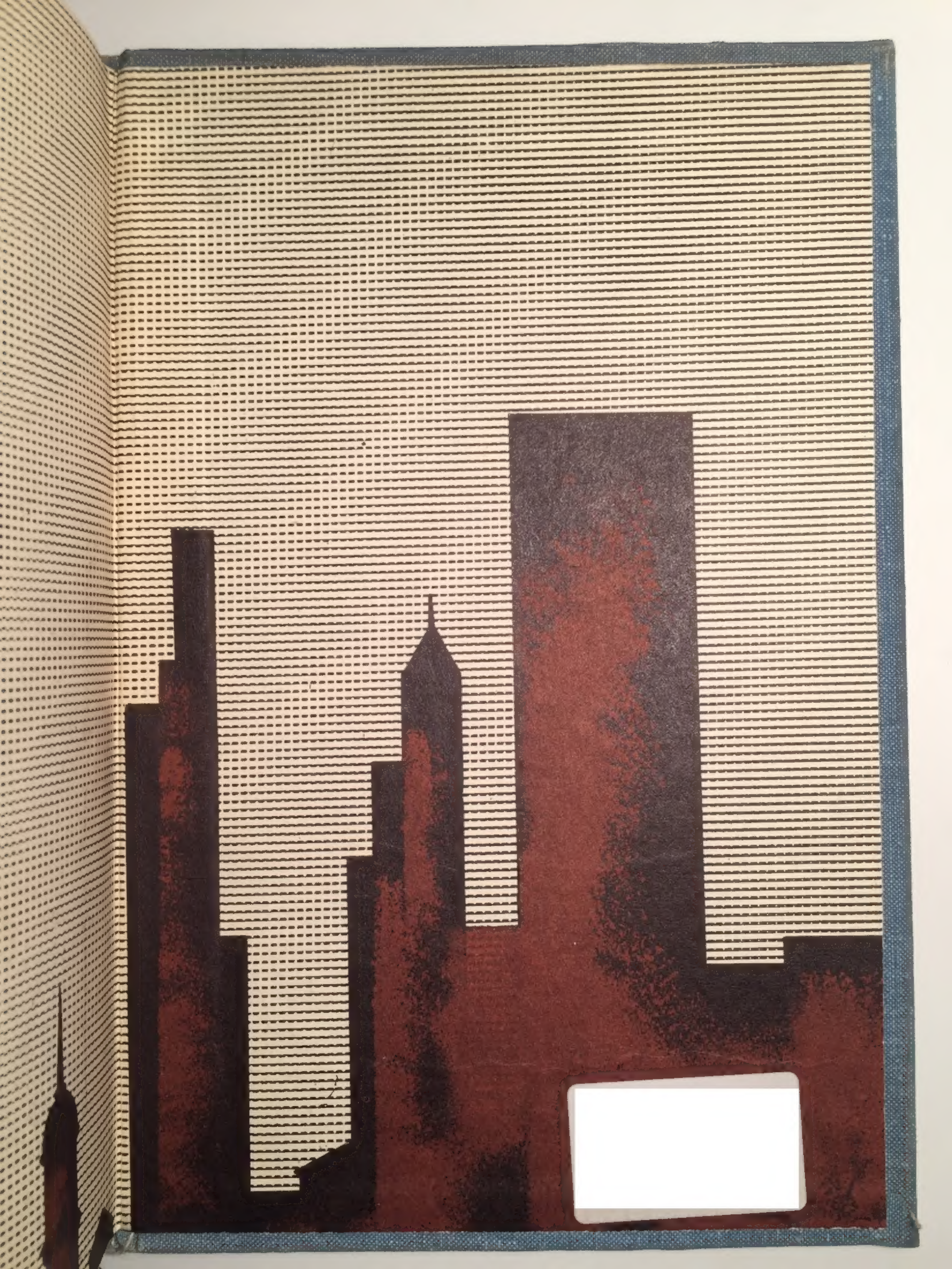
ТОЛПА ОДИНОКИХ

ИБ № 4467

Ответственный редактор *И. В. Пахомова.* Художественный редактор *Е. М. Ларская.* Технический редактор *Л. С. Степина.* Корректоры *Э. Л. Лофенфельд* и *А. П. Саркисян.* Сдано в набор 04.01.79 Подписано к печати 25.10.79. А13902. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 38,0. Уч.-изд. л. 39,81. Тираж 220 000 (100 001—220 000) экз. Заказ № 4126. Цена 1 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





1р. 50к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“


Толпа
одиноких